Салман Рушди
Дети полуночи

Книга первая

Прорезь в простыне

Я появился на свет в городе Бомбее… во время оно. Нет, так не годится, даты не избежать: я появился на свет в родильном доме доктора Нарликара 15 августа 1947 года. А в какой час? Это тоже важно. Так вот: ночью. Нет, нужно еще кое-что добавить… Если начистоту, то в самую полночь, с последним ударом часов. Стрелки сошлись, словно ладони, почтительно приветствуя меня. Ах, пора, наконец, сказать прямо: именно в тот момент, когда Индия обрела независимость, я кувырнулся в этот мир[1][2]. Все затаили дыхание. За окнами – фейерверки, толпы. Через несколько мгновений мой отец сломал большой палец на ноге, но это сущие пустяки по сравнению с тем, что свалилось на меня в сей злополучный, полуночный миг, – берущие под козырек часы, их скрытая тирания, наручниками приковали меня к истории, и моя судьба неразрывно сплелась с судьбою моей страны. И в последующие три десятка лет не было мне избавления. Колдуны предрекли меня, газеты восславили мое появление на свет, политики удостоверили мою подлинность. Меня тогда никто не спрашивал. Я, Салем Синай, позже прозываемый то Сопливцем, то Рябым, то Плешивым, то Сопелкой, то Буддой, а то и Месяцем Ясным, прочно запутался в нитях судьбы – что и в лучшие из времен довольно опасно. А я ведь даже нос не мог подтереть в то время.

Зато теперь время (ничего не значащее для меня) стремится к своему концу. Мне скоро исполнится тридцать один. Может быть. Если позволит моя осыпающаяся, изнуренная плоть. Но я не надеюсь спасти свою жизнь, я даже не могу рассчитывать на тысячу и одну ночь. Я обязан работать быстро, быстрей, чем Шахерезада, если хочу найти хоть какой-нибудь смысл, да, смысл. Должен признаться: больше всего на свете я страшусь бессмыслицы.

А нужно сообщить так много, слишком много историй, уйму жизней, событий, чудес, мест, слухов, такую густую смесь невероятного и приземленного! Я был поглотителем жизней; узнав меня хотя бы в одной из моих ипостасей, вы тоже поглотите их немало. Пожранные толпы теснятся, толкаются во мне; и, ведомый памятью о широкой белой простыне с прорезанной в центре неровной круглой дырою дюймов семь в диаметре, прилепившись мечтою к этому пробуравленному, искромсанному полотнищу, моему талисману, моему сезам-откройся, я начну, пожалуй, заново выстраивать мою жизнь с той точки, когда она началась на самом деле, года за тридцать два до начала, с такой же очевидностью, с такой же *данностью,* как и мое преследуемое боем курантов, запачканное злодеянием рождение.

(Простыня, кстати, тоже испачкана, там три старых выцветших красных пятна. Как нам вещает Коран: «Читай, во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка»)[3].

Однажды утром в Кашмире, ранней весной 1915 года, мой дед Адам Азиз, пытаясь молиться, ударился носом о смерзшуюся кочку. Три капли крови выкатились из его левой ноздри, тут же загустели в морозном воздухе и легли на молитвенный коврик, обратившись в рубины. Он отпрянул, выпрямился, не вставая с колен, и обнаружил, что слезы, выступившие на глазах, тоже затвердели – и в тот самый миг, когда он презрительно

1
2
3

стряхивал с ресниц бриллианты, дед решил никогда больше не целовать землю – ни во имя Бога, ни во имя человека. И это решение пробило в нем брешь, оставило пустоту в жизненно важных нутряных полостях, сделало уязвимым перед женщинами и историей. Еще не догадываясь об этом, несмотря на только что прослушанный курс медицины, он встал, свернул молитвенный коврик в толстую сигару и, придерживая его правой рукой, оглядел долину светлыми, избавленными от «бриллиантов» глазами.

Мир обновился в очередной раз. Долина, вызревшая в зимнее время под скорлупою льда, сбросила его оковы и лежала теперь перед ним влажная и желтая. Свежая травка еще выжидала под землей, но горы, почуяв тепло, отступали все дальше, все выше, к летним кочевьям. (Зимою, когда долина съеживалась подо льдом, горы смыкались и скалились, будто злобные челюсти, вокруг приозерного городка).

В те дни еще не построили радиовышку, и храм Шанкарачарьи[4], маленький черный пузырь на холме цвета хаки, возвышался над улицами Шринагара и над озером. В те дни на берегу еще не было военного лагеря – бесконечные змеи покрытых маскировочной тканью грузовиков и джипов не закупоривали узких горных дорог и солдаты не прятались за горными хребтами у Барамуллы и Гульмарга. В те дни путешественников, фотографировавших мосты, не расстреливали, как шпионов, и если бы не пловучие домики англичан на озере, долина имела бы почти тот же вид, что и при Могольских императорах[5], несмотря на весеннее обновление; но глаза моего деда – им от роду было двадцать пять лет, как и всему остальному в Адаме, – все видели по-иному… к тому же, свербел разбитый нос.

Секрет такого дедова зрения вот в чем: пять лет, пять весен провел он вдали от дома. (Судьбоносная кочка, притаившаяся под случайной складкой молитвенного коврика, явилась всего лишь катализатором.) По возвращений он смотрел на все повидавшими мир глазами. Не красоту крошечной долины, окруженной гигантскими зубьями, замечал он, а тесноту ее и близкий горизонт, и было ему грустно, вернувшись домой, оказаться в таком заточении. А еще он чувствовал, хотя не мог себе этого объяснить, как старый городишко выталкивал из себя его, образованного, со стетоскопом в кармане. Под зимним льдом городишко лежал холодный и безучастный, но теперь сомнения отпали: из Германии Адам вернулся во враждебную среду. Много лет спустя, когда он, заткнув свою брешь ненавистью, принес себя в жертву на алтарь черного каменного бога в храме на склоне холма, дед попытался вспомнить свои детские весны в раю, какими они были, пока дальняя дорога, кочка и тяжелые танки не испортили все на свете.

Утром, когда долина, облачившись в молитвенный коврик, словно в перчатку, расквасила ему нос, дед все еще самым нелепейшим образом пытался представить дело так, будто ничего не изменилось. Итак, он встал в половине четвертого, в жестокий утренний заморозок, совершил положенное омовение, оделся и нахлобучил на голову отцовскую каракулевую шапку; затем захватил молитвенный коврик в виде свернутой сигары, отнес его в крошечный прибрежный садик перед темным старым домом и развернул над затаившейся кочкой. Земля коварно прогибалась под ногами, казалась обманчиво мягкой, и он ступал беспечно, хотя и с опаской. «Во имя Бога, милостивого, милосердного… – зачин, который он произнес, сложив руки книжечкой, укрепил какую-то его часть, а другую, гораздо большую, смутил, – …слава Аллаху, Господу миров…» – но Гейдельберг никак не шел из головы: там была Ингрид, пусть и недолго, но *его* Ингрид, и она усмехалась, видя, как он обезьянничает, повернувшись лицом к Мекке; там были его друзья Оскар и Ильзе, анархисты; они высмеивали молитву, как и любую форму идеологии – «…Милостивому, Милосердному, Царю в день Суда!» – Гейдельберг, где, кроме медицины и политики, он узнал еще и то, что Индия, как радий, была «открыта» европейцами; даже Оскара переполняло восхищение Васко да Гамой[6]; вот что в конце концов оттолкнуло Адама Азиза от его друзей: их святая

4
5
6

вера в то, что его, индийца, каким-то образом изобрели их предки. «…Тебе одному мы поклоняемся и просим помочь…» – и вот он здесь и, несмотря на их постоянное присутствие в мыслях, старается воссоединиться с собою прежним, тем, кто ведать не ведал их влияния, зато знал все, что потребно знать о смирении, скажем, о том, чем он был занят сейчас, и руки его, подчиняясь былой памяти, протянулись вперед: большие пальцы прижаты к ушам, прочие растопырены, когда он преклонил колена: «…Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал…» Но все без толку, попал он в какое-то странное средостение между верой и неверием – и ведь все это не более чем претензия – «…не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших». Мой дед склонил чело к земле. Вперед он склонился, а земля, укрывшись под молитвенным ковриком, выгнулась ему навстречу. И вот настал звездный час затаившейся кочки. Кочка стукнула его по кончику носа, и этот удар как бы подвел итог – его отвергли и Ильзе-Оскар-Ингрид-Гейдельберг, и долина-и-Бог. Упали три капли. Сверкнули рубины и бриллианты. И мой дед, выпрямившись, принял решение. Встал. Свернул коврик в сигару. Глянул через озеро. И навсегда остался замкнутым в этом средостении – не способный поклоняться Богу и не утративший окончательно веры в его существование. Непрерывные шатания: брешь.

Молодой, только что окончивший курс доктор Адам Азиз стоял, повернувшись лицом к весеннему озеру и вдыхая ветер перемен, а спина его (необычайно прямая) обращена была к переменам куда более многочисленным. Пока он был за границей, отца хватил удар, а мать это скрыла. Голос матери, ее отрешенный, стоический шепот: «…Потому что твоя учеба важнее, сынок». Мать, которая всю жизнь провела в четырех стенах, на женской половине, вдруг нашла в себе необъятные силы и завела небольшую ювелирную лавку (бирюза, рубины, бриллианты), что и позволило Адаму, вместе со стипендией, закончить медицинский колледж; и вот он вернулся домой и обнаружил, что прежде казавшийся неизменным семейный порядок перевернулся с ног на голову: мать ходит на работу, а отец, чей мозг скрыт покрывалом болезни, сидит в деревянном кресле в затененной комнате и щебечет по-птичьи. Пташки тридцати видов прилетали к нему и рассаживались на наличник наглухо закрытого окна, болтая о том о сем. Он казался вполне счастливым.

(…И вот уже я вижу, как начинаются повторы: и бабка моя нашла в себе необъятные… и удар тоже разбил не только… и у Медной Мартышки были свои птички… уже сбывается проклятие, а ведь мы еще не заикнулись о носах!)

Озеро уже очистилось ото льда. Таяние началось, как всегда, внезапно, застав врасплох множество мелких лодчонок и больших шикар[7], что тоже было нормально. Но пока эти лежебоки спали на суше, мирно похрапывая подле своих владельцев, самая дряхлая лодка пробудилась в два счета, как это часто бывает со стариками, и первой стала курсировать по очистившейся глади озера. Шикара Таи… и это тоже вошло в обычай.

Взгляните, как старый лодочник Таи споро скользит по мутной воде, как он стоит, согнувшись, на корме своего суденышка! Как его весло, деревянное сердечко на желтом стержне, резко погружается в водоросли! В тех краях его считают чудаком, потому что он гребет стоя…и по другим причинам тоже. Таи, спеша передать доктору Азизу срочный вызов, вот-вот приведет в движение всю историю… Адам же, глядя на воду, вспоминает, как Таи учил его много лет назад: «Лед, Адам-баба[8], всегда дожидается под самой кожицей воды». Глаза у Адама светло-голубые, удивительная голубизна горного неба просачивается обычно в зрачки кашмирцев – и те умеют смотреть. Они видят – здесь, перед собою, будто призрачный скелет прямо под поверхностью озера Дал! – тонкие штрихи, сложное переплетение прозрачных линий, холодные, ждущие своего часа вены будущего. Годы в Германии, столь многое окутавшие туманом, не лишили Адама этого дара – видеть. Дара Таи. Азиз поднимает глаза, видит, как приближается лодка Таи, буквой «V» рассекая волны, приветственно машет рукой. Таи тоже поднимает руку – но повелевающим жестом: «Жди!»

7

8

Мой дед ждет, и пока он вкушает последний в своей жизни покой – топкий, непрочный покой, – я воспользуюсь этим зиянием и опишу его.

Заглушив естественную зависть урода к мужчине видному и статному, свидетельствую, что доктор Азиз был высоким. Выпрямившись у стены родного дома, он закрывал двадцать пять кирпичей (по кирпичу на каждый год жизни), а значит, был ростом примерно в шесть футов и два дюйма. Кроме того, он отличался силой. Он отрастил густую рыжую бороду, к досаде матери, которая говорила, что только хаджи, совершившие паломничество в Мекку, имеют право носить рыжую бороду. Волосы, однако, были темнее. О небесно-голубых глазах вы уже знаете. Ингрид твердила: «Тот, кто создал твое лицо, был помешан на ярких красках». Но главной чертой дедовой внешности был вовсе не цвет волос и глаз, не рост, не сила рук и не прямая осанка. Вот он, отраженный в воде, колышущийся чудовищным листом подорожника посередине лица… Адам Азиз, дожидаясь Таи, взирает на свой подернутый рябью нос. На лице менее выразительном такой нос царил бы один, даже тут вы замечаете его первым и помните дольше всего. «Сира-нос»[9], – изрекла Ильзе Любин, а Оскар: «Слоновий хобот». Ингрид заявила: «По такому носу можно через реку перебраться». (Переносица была весьма широкая).

Вот он, нос моего деда: ноздри раздуваются, изгибаются, будто в танце. Между ними возносится триумфальная арка, сперва выдвигается вперед, затем резко скругляется к верхней губе великолепным, чуть покрасневшим кончиком. Таким носом несложно стукнуться о кочку. Не премину засвидетельствовать мою благодарность этому могучему органу, если б не он, кто бы поверил, что я – родной сын моей матери, внук моего деда? Только благодаря этому колоссальному органу мог я претендовать на право первородства. Нос доктора Азиза, сравнимый лишь с хоботом слоноголового бога Ганеши[10], неоспоримо свидетельствовал о том, что быть ему патриархом. Сам Таи ему об этом поведал. Едва Азиз достиг отрочества, как дряхлый лодочник заявил: «С таким носом впору основать династию, мой царевич. Породу будет сразу видать, без ошибки. Моголы дали бы себе правые руки отрезать за такие носы. Потомки теснятся в твоих ноздрях, – тут Таи выразился довольно-таки грубо, – как сопли».

У Адама Азиза был нос патриарха. У моей матери – нос благородный, свидетельствовавший отчасти о долготерпении; у тетки Эмералд – носик заносчивый и чванный; у тетки Алии – интеллектуальный; у дяди Ханифа был нос непризнанного гения; дядя Мустафа держал его по ветру, но оставался всегда на вторых ролях; у Медной Мартышки семейного носа вообще не было; а у меня… я – опять же другое дело. Не годится сразу раскрывать все секреты.

(Таи подплывает все ближе. Он, возгласивший о могуществе носа, везущий деду весть, которая катапультирует его прямиком в будущее, правит своей шикарой, скользит по озерной глади этим ранним утром…)

Никто не помнит тех дней, когда Таи был молодым. Он сновал все в той же лодчонке, все так же согнувшись на корме, по озерам Дал и Нагин… с начала времен. Во всяком случае, насколько всем вокруг было известно. Жил он где-то в пропитанной грязью утробе старого, состоящего из деревянных лачуг квартала, и его жена выращивала корни лотоса и другие изысканные яства на одном из многочисленных плавучих огородов, что колыхались на поверхности вод весной и летом. Сам Таи радостно признавал, что понятия не имеет, сколько ему на самом деле лет. Супруга тоже не знала: он, по ее словам, был уже весь задубелый, когда они поженились. Лицо его было будто вылеплено ветром и водою: складки кожи словно легкая зыбь. Во рту у него торчало два золотых зуба, других не было. Мало кто в городе с ним дружил. Немногие из лодочников и торговцев приглашали его выкурить кальян, когда он проплывал мимо причалов, где швартовались шикары, или ветхих продовольственных складов и чайных, во множестве теснившихся по берегам.

9

10

Общее мнение о Таи давно уже выразил отец Адама Азиза, торговец драгоценными камнями: «Мозги у него вместе с зубами повывалились». (Но нынче Азиз-сахиб[11] сидит поглощенный птичьими трелями, а Таи просто и величественно продолжает свой путь). Это впечатление лодочник и сам поддерживал собственной болтовней – причудливой, высокопарной, безостановочной, чаще всего адресованной самому себе. Звуки его голоса далеко разносятся над водою, и озерный люд хихикает, заслышав эти монологи, но в смехе сквозит почтение, даже страх. Почтение – потому, что старый дурень знает озера и холмы лучше любого насмешника; страх – оттого, что лодочник, неизмеримо древний, утратил счет своим годам, а все ж они не склонили его цыплячьей шеи, не помешали заполучить весьма завидную жену и заделать ей четырех сыновей… да и других еще, как болтают, – другим прибрежным подругам. Лихие парни на пристанях были убеждены, что у него припрятана где-то куча денег – может быть, золотые зубы, отложенные про запас, постукивающие в мешочке, будто орехи. Годы спустя, когда дядюшка Пых, пытаясь всучить мне свою дочь, предлагал вырвать ей зубы и вставить золотые, мне припомнилось забытое сокровище Таи… и то, как Адам Азиз ребенком любил его.

Таи зарабатывал себе на жизнь как простой паромщик, несмотря на все слухи о богатстве: за плату возил через озера сено, коз, овощи и бревна; и людей тоже. Когда он разъезжал взад-вперед по озеру наподобие такси, Таи воздвигал шатер в центре своей шикары: полог и занавеси из веселенькой цветастой материи; раскладывал такие же цветастые подушки и обкуривал лодку ладаном. Шикара Таи, скользящая к берегу с развевающимися занавесками, навсегда осталась для доктора Азиза самым рельефным образом наступающей весны. Скоро понаедут английские сахибы и Таи повезет их в сады Шалимара и к Королевскому источнику, болтая без умолку, показывая пальцем, согнувшись на корме. Он был живым опровержением веры Оскара-Ильзе-Ингрид в неотвратимость перемен… ушлый, долголетний, привычный дух долины. Водяной Калибан[12], может, слишком приверженный к дешевому кашмирскому бренди.

Вспоминается голубая стена моей спальни, на которой, рядом с письмом от премьер-министра, долгие годы висел маленький Рэли[13], глаз не сводящий со старого рыбака, на котором было надето что-то очень похожее на красные дхоти[14], и который – сидя на куче плавника, что ли? – указывал перстом на море и рассказывал свои рыбацкие байки… а маленький Адам, мой будущий дед, прилепился сердцем к лодочнику Таи именно из-за его нескончаемых речей, которые все прочие люди считали признаком помешательства. То были волшебные речи: слова сыпались, будто деньги сквозь пальцы дурня, проскальзывали меж двух золотых зубов вместе с икотой и выхлопом бренди; они то парили над самыми отдаленными Гималаями прошлого, то впивались со всей проницательностью в какую-то деталь настоящего, – в Адамов нос, например, – разбирая по косточкам ее смысл, как вивисектор – подопытную мышку. Дружба эта весьма регулярно обдавала Адама кипятком. (Да, кипятком. Буквально. А его мать тем временем твердила: «Я этих паразитов повыведу, даже если придется заживо сварить тебя»). И все же старый любитель монологов болтался в своей лодчонке у берега, к которому примыкал дальний конец сада, и Азиз сидел у его ног, пока не доносились из дома зловещие голоса: приходилось идти и выслушивать нотацию матери о том, какой Таи грязный и как прожорливые микробы целыми армиями перебираются с его дряхлого гостеприимного тела на белоснежные накрахмаленные шаровары Адама. Но Адам постоянно возвращался на берег и вглядывался в утренний туман, пытаясь различить согнутый силуэт нечестивого оборванца, скользящего на своей волшебной лодке по зачарованным водам.

11

12

13

14

«Да сколько же тебе лет, Таи-джи?»[15](Доктор Азиз, взрослый, рыжебородый, уже примериваясь к будущему, вспоминает день, когда он спросил то, о чем спрашивать нельзя). На миг воцарилась тишина, гремящая, как водопад. Монолог прервался. Только весло шлепало по воде. Он плыл в шикаре вместе с Таи, примостившись среди коз на охапке соломы, отлично зная, что дома его ждет палка и горячая ванна. Он хотел послушать рассказы – и вот одним-единственным вопросом заставил замолчать рассказчика. «Нет, скажи, Таи-джи, ну сколько тебе на самом деле лет?» И тут словно ниоткуда возникает бутылка бренди: дешевое пойло таилось в складках широкого, теплого халата. Пьющего пробирает дрожь, он рыгает, в глазах огонь. Просверк золота. И – наконец! – речь: «Сколько лет? Спрашиваешь, сколько мне лет, молокосос, длинный нос…» Таи, предвосхищая рыбака на стене, указует на горы. «Вот столько, накку, сколько им!» Адам – накку[16], носач – следит за указующим перстом. «Я видел, как рождались эти горы; я видел, как умирали цари. Послушай. Послушай, накку… – снова бутылка бренди, а за ней голос и слова, пьяней всякого пойла, – …я видел того Ису, того Христа, когда он приходил в Кашмир. Смейся, смейся: эту историю я приберег для тебя. Когда-то ее записали в старых, давно потерянных книгах. Когда-то я знал, где та могила, где тот могильный камень, на котором выбиты ноги со стигматами, кровоточащими раз в году. Памяти совсем не осталось, но я знаю, хотя и не умею читать»[17]. От грамоты он отмахивается величественным жестом, словесность рассыпается в прах под его рукою. Рука вновь скользит под халат, к бутылке бренди, взлетает к губам, потрескавшимся от холода. Губы у Таи всегда были нежные, как у женщины. «Слушай, слушай, накку. Сколько я всего повидал. Йара[18], видел бы ты того Ису, когда он пришел, борода до самой мошонки, а сам лысый, как яйцо. Стар был, измотан, а о вежестве не забывал. «После вас, Тайджи, – говаривал бывало, или: – Присаживайтесь, пожалуйста», и речь такая почтительная, ни разу дурнем не назвал, даже на «ты» не обратился. Воспитанный, ясно? А ел-то как! Такой голодный, что я только диву давался. Святой он там или черт, а только, клянусь тебе, мог сожрать целого козленка в один присест. И что с того? Я и говорю ему: ешь, набивай брюхо, человек приходит в Кашмир радоваться жизни или умирать, или и то, и другое. Дело свое он закончил. Просто пришел сюда, чтобы пожить еще немножко». Околдованный этим настоянным на коньяке портретом лысого прожорливого Христа, Азиз слушал, а позже повторял слово в слово остолбеневшим родителям, которые торговали камнями и не тратили время на пустые выдумки.

«Ах, ты не веришь? – он облизывает губы, ухмыляется, знает, что ничуть не бывало, что все как раз наоборот. – Слушаешь вполуха? – Хотя знает, как жадно ловит Азиз каждое его слово. – Может, солома колется, а? Ах, баба-джи, как жалко, что я не могу усадить тебя на шелковую подушку с золоченым кружевом, вроде той, на какой сиживал император Джахангир[19]! Ты, поди, думаешь, что император Джахангир был садовником, – наседает он на моего деда, – потому что он выстроил Шалимар. Дурачок! Что ты знаешь об этом? Имя его значит «Окружающий Землю». Разве такие имена бывают у садовников? И чему только учат нынче вас, мальчишек, – одному Богу известно. А вот я… – тут он слегка запыхтел, – я знал его точный вес, до последней толы[20]! Спроси, сколько в нем было маундов[21], сколько серов[22]! От счастья он тяжелел и в Кашмире бывал особенно тяжелым. Я носил его в паланкине… нет-нет, глянь-ка, ты опять не веришь, этот здоровенный огурчище на твоей физиономии качается туда-сюда, как и маленький огуречик в твоих широких штанах. Ну

15
16
17
18
19
20
21
22

давай, давай, спрашивай меня! Проверяй! Спроси, сколько раз кожаные ремни оплетали ручки паланкина – и я тебе отвечу: тридцать один. Спроси, какое слово последним произнес император – и я поведаю тебе: «Кашмир». Дышал он с трудом, а сердце имел доброе. Кто я, по-твоему, такой? Какой-нибудь невежда, лживый бродячий пес? Давай-ка вылезай из лодки, мне этакую носяру не свезти; пускай отец выбьет из тебя мою болтовню, а матушка выпарит в кипятке твою шкуру».

В бутылке бренди лодочника Таи многое предсказано: я вижу, как моим отцом завладевают джинны… будет вам и лысый чужестранец… еще кое-кого напророчила болтовня Таи, того, кто станет утешителем моей бабки на старости лет и тоже будет рассказывать ей истории… да и до бродячих псов недалеко… Ну, хватит. Я уже нагнал на себя страху.

Невзирая на битье и кипяченье, Адам Азиз плавал с Таи в его шикаре, раз за разом, среди коз-сена-цветов-мебели-лотосовых корней, но только не вместе с английскими сахибами – и раз за разом выслушивал удивительные ответы на один-единственный наводящий ужас вопрос: «Ну, Таи-джи, сколько же тебе лет, честно?»

У Таи Адам выведал секреты озера: где можно плавать, не цепляясь за водоросли; как называются одиннадцать разновидностей водяных змей; где лягушки мечут икру; как нужно готовить корень лотоса; и где несколько лет назад утонули три англичанки. «Есть целое племя женщин, которые приходят к этой воде, чтобы утонуть, – говорил Таи. – Иногда они знают об этом, иногда – нет, но я-то сразу понимаю, стоит мне только почуять их запах. Они прячутся под водою Бог знает от кого или от чего – но от меня им не спрятаться, баба!» Смех Таи, которым заразился Адам – громоподобный, раскатистый, – казался жутким, когда исторгался из старого, высохшего тела, но был таким естественным для моего высоченного деда, что никто позже и не догадывался, что этот смех на самом деле ему не принадлежит (мой дядя Ханиф унаследовал этот смех, так что пока он не умер, частичка Таи жила в Бомбее). И от того же Таи мой дед услышал все о носах.

Таи заткнул себе левую ноздрю. «Ты знаешь, что это такое, накку? Это – место, где внешний мир встречается с миром внутри тебя. Если им никак не сойтись, ты здесь это чувствуешь. Тебе это мешает, и ты трешь нос, чтобы он перестал свербеть. Такой нос, как твой, дурень ты безмозглый, – великий дар. Говорю тебе: доверяйся ему. Если нос тебя остерегает, оглядись вокруг, или тебе конец. Следуй за своим носом, и ты далеко пойдешь». Он прокашлялся, обвел глазами горы минувших лет. Азиз снова уселся на солому. «Знавал я одного офицера из войска того Искандера Великого[23]. Имени не припомню. Меж глаз у него громоздился точно такой же овощ. Когда войско стало на привал подле Гандхары[24], он влюбился в какую-то тамошнюю шлепохвостку. И нос у него зачесался, как бешеный. Он тер его, тер, а все без толку. Дышал парами давленых листьев эвкалипта. Не помогло, баба! Чесотка эта свела его с ума, но чертов дурень все же пустил корни и остался со своей маленькой ведьмой, когда войско вернулось домой. И что из него получилось, а? Болван, да и только, ни то ни сё, серединка на половинку, со сварливой женою и чесоткой в носу, и в конце концов он воткнул себе меч в брюхо. Ну, что ты на это скажешь?»

…Доктор Азиз в 1915 году, в тот день, когда рубины и бриллианты сделали и его «серединкой на половинку», вспоминает эту историю, пока Таи подплывает на расстояние голоса. Нос у Адама чешется. Адам его трет, мнет, трясет головой, и вот наконец слышится крик Таи:

– Эй! Доктор-сахиб! У Гхани, помещика, заболела дочка.

От этой краткой вести, от этого бесцеремонного крика, несущегося через водную гладь, – а ведь лодочник и его ученик не виделись полдесятка лет, – от того, что женственные губы не сложились в приветственную, как-давно-не-видались, улыбку, время понеслось вскачь, закружилось водоворотом, замутилось, взыграло, взволновалось…

23

24

– …Только подумай, сынок, – говорит матушка Адама, прихлебывая свежую лимонную воду, откидываясь на тахту в привычном изнеможении, – как повернулась жизнь. Столько лет я даже щиколотки свои держала в тайне, а теперь на меня глазеют чужие люди, даже не родичи.

…А Гхани-помещик стоит перед большой, написанной маслом картиной в изогнутой позолоченной раме; на картине изображена Диана-охотница. Нацепив темные очки с толстыми стеклами и свою знаменитую ядовитую улыбочку, он рассуждает об искусстве: «Картину эту, доктор-сахиб, я купил у одного англичанина, которому не повезло. Всего-то за пятьсот рупий, я даже не торговался. Что такое пять сотен? Я, знаете ли, люблю культуру».

– …Погляди, сынок, погляди, – говорит матушка Адама, когда тот приступает к осмотру, – чего только мать не сделает ради своего дитяти. Погляди, как я страдаю. Ты ведь доктор… потрогай эти прыщи, эту угревую сыпь, представь себе, как болит у меня голова утром-днем-вечером-ночью. Налей еще воды, сынок.

…Молодого доктора охватило судорожное волнение, ничего общего не имевшее с Гиппократовой наукой, и он завопил в ответ на призыв лодочника: «Сейчас еду! Только вещи соберу!» Нос шикары втыкается в кромку сада. Адам бросается в дом, под мышкой молитвенный коврик, свернутый наподобие сигары; голубые глаза моргают, не успев привыкнуть к полутьме; вот он закинул сверток на самую высокую полку, поверх стопок номеров газеты «Форветс»[25], работы Ленина «Что делать?» и других памфлетов – пыльного эха полустершейся немецкой жизни; вот вытаскивает из-под кровати подержанный кожаный чемоданчик, который его матушка называет «доктори-атташе», и, когда вылезает вместе с ним на свет божий и бросается вон из комнаты, мелькает на мгновение надпись «Гейдельберг», вытравленная на дне. Дочь помещика, пусть и больная, – это очень кстати для доктора, желающего сделать карьеру. На самом деле, именно *больная* она и кстати.

…А я торчу здесь, как пустая банка из-под солений, в озерце углового света и вижу перед собой воочию моего деда шестьдесят три года тому назад: он прямо-таки требует, чтобы о нем написали; и в ноздри мне ударяет кислый дух поруганной скромности, от которой у его матери вызревают фурункулы, и уксусная крепость решения, принятого Адамом Азизом: завести такую успешную практику, чтобы ей больше не пришлось возвращаться в ювелирную лавку; подслеповатая затхлость большого, полного теней дома, где молодой доктор стоит, весьма сконфуженный, перед картиной, на которой изображена невзрачная девушка с живым взглядом, а за ней, далеко на горизонте, олень, пронзенный стрелой из ее колчана. Все важное в нашей жизни происходит большей частью без нас, но я, кажется, как-то исхитрился найти способ заполнить пробелы в своем знании, и потому все хранится в моей голове, все, до малейшей детали, даже клубы тумана, что поднимаются наискось, влекомые рассветным ветерком… все-все, а не только некие ключи к прошлому, на которые натыкаешься, открыв, например, старый жестяной сундук, – право, лучше бы ему, оплетенному паутиной, оставаться под замком.

…Адам наливает матери лимонной воды и, обеспокоенный, продолжает осмотр. «Помажь эти прыщи и эту сыпь кремом, амма[26]. От головной боли – таблетки. Фурункулы надо вскрыть. Но, может, тебе надевать покрывало, когда ты сидишь в лавке… тогда нескромный взгляд не достиг бы… подобные болезни часто происходят от воображения…»

…Весло плещет по воде. Плевок смачно плюхается в озеро. Таи прочищает горло и сердито бормочет: «Ничего себе. Молокосос-длинный нос уезжает, не успев ничему путному научиться, и возвращается большим человеком, доктором-сахибом, с большим баулом, битком набитым разными заграничными штуками, а сам-то еще глуп, как филин. Плохо дело, ей-богу, плохо».

…Доктор Азиз неловко переминается с ноги на ногу, завидя улыбочку помещика – разве можно чувствовать себя вольготно, когда к тебе обращаются с такой ухмылкой, – и

25
26

ждет гримасы, реакции на собственную незаурядную внешность. Он уже привык к выпученным глазам, к открытым ртам: людей поражает его рост, многоцветное лицо, нос… но Гхани невозмутим, и молодой доктор со своей стороны тоже тщится не выказать смущения. Он перестает раскачиваться. Гость и хозяин глядят друг на друга, никак не обнаруживая своих друг о друге мыслей, закладывая основы будущих отношений. И тут Гхани меняет тон: любитель искусства превращается в человека крутого, властного. «Это для вас недурной шанс, юноша», – говорит он. Азиз отводит взгляд, смотрит на Диану. На обозрение выставлены изрядные пространства ее подпорченной розовой плоти.

…Мать мычит, мотает головой. «Нет, сынок, где тебе понять, ты стал большим доктором, но ювелирная лавка – совсем другое дело. Кто купит бирюзу у женщины, скрытой под черным капюшоном? Нужно внушить доверие. Покупатели должны видеть меня, а я должна страдать от мигрени и фурункулов. Ладно, иди, не ломай себе голову из-за твоей бедной матери».

– …Большой человек, – Таи сплевывает в озеро, – большой баул, большой человек. Тьфу! Разве у нас дома не хватает сумок, с чего это вдруг тебе приспичило притащить эту штуку из свиной кожи, оскверняющую человека при одном только взгляде на нее? А внутри – вообще Бог знает что. Доктор Азиз, сидящий за цветастыми занавесками и вдыхающий запах ладана, отвлекается от мыслей о пациентке, ждущей на другом берегу. Яростный монолог Таи достигает его сознания, производит впечатление тяжелого, тупого удара, будто запах больничной палаты перебивает пары благовоний… старик чем-то взбешен, его охватил непостижимый уму гнев, направленный, похоже, на былого приверженца, или, точнее и еще загадочнее, на его сумку. Доктор Азиз пытается завязать беседу: «Здорова ли твоя жена? Говорят ли еще о твоем мешке с золотыми зубами?» …Он старается возродить прежнюю дружбу, но Таи непримирим, брань так и рвется из него мощно, неудержимо. Чемоданчик из Гейдельберга буквально трещит под напором этой бури оскорблений. «Блядская свинячья кожа из заграницы[27], растудыть ее сестрицу!.. Битком заграничными штуками набита. Великая вещь. Теперь, если кто-то сломает руку, этот баул не позволит костоправу обернуть ее листьями. Теперь мужчина должен глядеть, как жена его лежит рядом с этим баулом, а оттуда скачут ножи и кромсают ей утробу. Ну и дела! Вот что иностранцы повбивали в головы нашей молодежи. Правду говорю: плохо дело, куда как плохо. Гореть этой сумке в аду вместе с мудями неверных».

…Гхани, помещик, щелкает подтяжками. «Недурной шанс, да-да. О вас хорошо говорят в городе. Отличное медицинское образование. Хорошая… неплохая семья. А нынче наша знахарка заболела, так что пользуйтесь случаем. Эта женщина вечно болеет последнее время, слишком стара, да и, разумеется, не в курсе новейших веяний – что-что? Вот и я говорю: врач, исцелися сам. И еще скажу: в делах я беспристрастен. Чувства, любовь, неясность – только для семьи. Если я не получаю первоклассной работы – все, до свидания! Понятно? Так вот: моя дочка Назим нездорова. Лечите ее как следует. Помните: у меня всюду друзья, а болезнь поражает равно людей высоких и низких».

– …Ты еще настаиваешь бренди на водяных змеях, чтобы сохранить мужскую силу, а, Таи-джи? Ты еще ешь корни лотоса просто так, без специй? – Робкие вопрошания, сметенные бурным потоком ярости Таи. Доктор Азиз принимается за диагноз. Для лодочника Таи сумка представляет собой заграницу; эта вещь – чужая, пришлая; это – зримый прогресс. Да-да: она в самом деле занимает мысли доктора, и в ней лежат ножи и лекарства от холеры, от малярии, от оспы; и она стоит между лодочником и доктором, разводит их по разные стороны. Доктор Азиз пытается совладать с печалью, совладать с яростью Таи, которая понемногу проникает в него, сливается с его собственной, той, что нечасто дает о себе знать, но является без предупреждения, бурно исторгаясь из самых глубин, сметая все на своем пути, а когда утихает, доктор удивляется, что же так потрясло всех вокруг… Они подплывают к дому Гхани. Помещик ждет, когда причалит шикара, стоит

27

на узкой деревянной пристани, сцепив руки. Азиз старается думать только о предстоящей работе.

«Ваш домашний врач ничего не имеет против моего визита, Гхани-сахиб?» …Робкий вопрос отметается небрежно, походя. Помещик отвечает: «О, она ничего не будет иметь против. Прошу вас, следуйте за мной».

…Лодочник ждет у причала. Удерживает лодку в равновесии, пока Адам Азиз вылезает с чемоданчиком в руке. И тут наконец Таи обращается непосредственно к нему, к моему деду. Презрительно скривившись, Таи спрашивает: «Скажи-ка мне, доктор-сахиб, есть ли в твоей сумке, сделанной из дохлых свиней, такая машинка – чужестранные доктора употребляют ее, чтобы нюхать?» Адам трясет головой в недоумении. В голосе Таи нарастает, ширится отвращение. «Да вы знаете, о чем я, господин: такая штуковина вроде слоновьего хобота». Азиз, догадавшись, наконец, к чему клонит старик, отвечает: «Стетоскоп? Конечно, есть». Таи отталкивает лодку от причала. Плюет. Отплывает подальше. «Так я и знал, – кричит. – Теперь ты приладишь эту машинку вместо своего носяры».

Мой дед даже не берет на себя труд объяснять, что стетоскоп – скорее «уши», чем «нос». Он подавляет досаду, обиду и злость покинутого ребенка; его ждет пациент. Время упокоилось, обрело равновесие, сосредоточилось на важности момента.

Дом был роскошный, но скудно освещенный. Гхани вдовел, и слуги явно этим пользовались. Паутина оплетала углы, пыль слоями лежала на обитых деревом стенах. Они прошли по коридору; одна дверь оказалась приоткрыта, и сквозь нее Азиз разглядел ужасающий беспорядок в комнате. Этот мимолетный взгляд и – одновременно – блик света на темных очках Гхани внезапно открыли Азизу, что помещик слеп. Чувство неловкости усилилось: слепой, объявляющий себя ценителем европейской живописи? Поражало и то, что Гхани ни разу не споткнулся… вот они остановились перед прочной дверью из тика. Гхани сказал: «Подождите здесь пару минут», – и скрылся за дверью.

Позже Адам Азиз клялся, что в эти две минуты одиночества, которые он провел в полутемном, оплетенном паутиной коридоре помещичьего дома, его охватило неудержимое, с трудом подавляемое желание повернуться и бежать прочь со всех ног. Загадочная любовь слепого к живописи лишала мужества, мурашки бегали по спине от коварного, ядовитого бормотанья Таи, нос чесался так, что Азиз подумал, не подхватил ли он часом венерическую болезнь, а ноги медленно, будто подошвы вдруг налились свинцом, начали поворачиваться; и тут доктора словно громом поразило: он почувствовал, что с этого места, из этого момента уже не будет возврата, и едва не обмочил свои шерстяные немецкие штаны. Он, не сознавая того, весь вспыхнул, и в этот миг будто вживе явилась перед ним его мать – вот она сидит на полу перед низким столиком и рассматривает на свет бирюзу: сыпь, словно румянец, обметала ей щеки. На лице матери выражалась та же мера презрения, какой окатил его лодочник Таи. «Давай, давай беги, удирай, – говорила она голосом Таи. – Что тебе за дело до бедной старой матери». Доктор Азиз забормотал, не отдавая себе отчета: «Негодный сын у тебя, Амма: разве ты не видишь, что в середке у меня дыра размером с дыню?» На губах матери показалась страдальческая улыбка: «Ты всегда был бессердечным мальчишкой», – сказала она, вздохнула, обернулась ящеркой на стене коридора и показала сыну язык. У доктора Азиза больше не кружилась голова, он даже не был уверен, что в самом деле говорил вслух, и понятия не имел, что за дыра такая, – и тут вдруг поймал на себе чей-то взгляд. Женщина с бицепсами борца глядела на него, манила пальцем, приглашая войти. По тому, как на ней было надето сари, доктор определил, что женщина эта – служанка, но в ней не замечалось угодливости. «Ты зеленый, как рыба, – заявила она. – Ох уж эти молодые доктора. Являются к добрым людям в дом, а у самих все нутро переворачивается. Входите, доктор-сахиб, вас ждут». Чуть крепче, чем следовало, стиснув в руке чемоданчик, он прошел вслед за служанкой через темную тиковую дверь.

…В просторную спальню, столь же скудно освещенную, как и остальной дом, хотя длинные, пропитанные пылью стрелы солнечного света и проникали сквозь веерообразное

окошко, прорубленное высоко в стене. Эти тусклые лучи освещали самую примечательную сцену, какую только доводилось видеть доктору; столь странную, невероятную картину, что ноги его опять повернулись к двери. Еще две женщины, тоже сложенные, как профессиональные борцы, стояли неподвижно в солнечном свете, и каждая держала край огромной белой простыни; руки их были подняты высоко над головами так, что полотнище простиралось между ними, будто занавес. Господин Гхани возник из мрака, окружавшего озаренную солнцем простыню, и позволил растерянному Адаму с полминуты таращить глаза на немыслимую картину, а потом, так и не дождавшись от него ни единого слова, доктор сделал открытие.

В самом центре простыни была прорезана дыра – грубый, неровный круг дюймов семи в диаметре.

– Закрой дверь, нянюшка, – велел Гхани первой из теток, а потом, повернувшись к Азизу, продолжил доверительным тоном. – В этом городе полно лоботрясов, которые уже пытались залезть в комнату моей дочки. Ей нужны, – он кивнул в сторону трех мускулистых теток, – нужны защитницы.

Азиз все смотрел на продырявленную простыню. Гхани сказал:

– Ну же, начинайте: можете осмотреть мою Назим прямо сейчас. Pronto[28].

Мой дед обвел глазами комнату.

– Но где же она, Гхани-сахиб? – выпалил он наконец. Тетки приняли надменный вид и, как показалось Азизу, напрягли мускулы на случай, если бы он попытался совершить что-то неподобающее.

– О, вижу, вы смущены, – возгласил Гхани, и его ядовитая ухмылочка стала еще шире. – Вы, молодежь, вернувшись из Европы, забываете о некоторых вещах. Доктор-сахиб, моя дочь – порядочная девушка, тут спору нет. И она не станет выставлять себя напоказ перед чужими. Вы должны понимать, что вам не будет дозволено увидеть ее ни за что, ни при каких обстоятельствах; соответственно, я попросил ее разместиться за этой простыней. Там она, послушная девочка, и стоит.

Нотка неистовства прокралась в голос доктора Азиза.

– Гхани-сахиб, скажите мне, как я смогу осмотреть ее, не глядя?

Гхани улыбнулся.

– Будьте любезны определить, какую часть моей дочери вам необходимо подвергнуть осмотру. И тогда я велю ей поместить нужный сегмент перед дырой, которую вы видите. Таким образом цель будет достигнута.

– На что же, раз на то пошло, жалуется госпожа? – в отчаянии вскричал мой дед. И господин Гхани, закатив глаза и преобразив свою улыбочку в гримасу горя, ответил:

– Бедная девочка! У нее ужасно, невыносимо болит живот.

– В таком случае, – несколько принужденно сказал доктор Азиз, – пусть она соблаговолит показать мне живот.

Меркурий-хром

Падма, наша пухленькая Падма, великолепно дуется. (Читать она не умеет и, как прочие любители рыбы, терпеть не может, когда кто-то знает то, чего не знает она. Падма – крепкая, веселая, утешение моих последних дней, но определенно собака на сене). Она старается выманить меня из-за стола: «Эй, поешь, все пропадает». А я упрямо склоняюсь над бумагой. «Но что такого бесценного, – спрашивает Падма и гневно машет рукою, – в твоих бумажках-подтереть какашку?» Я отвечаю: теперь, когда я обмолвился об особенном своем рождении, когда простыня с прорезью натянута между доктором и пациенткой, мне уже нет пути назад. Падма фыркает. Бьет себя запястьем по лбу. «Ладно, голодай-голодай, кому до этого дело?» Фыркает еще раз, громко, окончательно. Но я не возражаю, пускай ведет себя,

28

как хочет. Целыми днями помешивает она кипящее в котлах варево, чтобы заработать на жизнь; уксусные пары нынче вечером бросились ей в голову. Крутобедрая, с густым пушком на руках, она мечется по комнате, бурно жестикулируя, наконец, выбегает вон. Бедная Падма. Вечно ей приходится за все отдуваться. Даже за свое имя: понятное дело, давным-давно, когда Падма была еще маленькой, мать рассказала ей, что назвали ее в честь богини лотоса, которую в деревнях обычно зовут Владычицей Навоза.

В заново воцарившейся тишине я возвращаюсь к своим бумажкам, припахивающим куркумой, полный желания извлечь из их скудости рассказ, вчера оставленный на полдороге, – точь-в-точь Шахерезада, ради спасения жизни ночь за ночью возбуждавшая любопытство царя Шахрияра! Сразу скажу: предчувствия, которые испытал мой дед, стоя в коридоре, имели под собой основание. На последующие месяцы и даже годы он подпал под – иного определения мне не сыскать – колдовские чары этой огромной, пока еще незапятнанной простыни с прорезью.

– Опять? – изрекла мать Адама, закатывая глаза. – Говорю тебе, сынок: эта девушка болеет от хорошей жизни. Перекормлена сластями, избалована – а все потому, что нет твердой материнской руки. Ну ступай, лечи свою невидимую больную, а мать твоя как-нибудь перетерпит жалкую, пустяковую мигрень.

Дело в том, что за эти годы помещичья дочка Назим Гхани умудрилась подхватить поразительное количество не слишком серьезных болячек, и всякий раз посылали шикару за молодым доктором-сахибом, долговязым и носатым, который уже становился известным в долине. Визиты Адама Азиза в спальню, пронизанную солнечными стрелами, охраняемую тремя мускулистыми тетками, сделались еженедельными, и каждый раз ему дозволялось взглянуть сквозь изувеченную простыню на очередной семидюймовый кружочек девичьего тела. За больным животом последовали слегка вывихнутая правая щиколотка, вросший ноготь на большом пальце левой ноги, крошечный порез на левой лодыжке. «Столбняк – вот что страшно, доктор-сахиб, – твердил помещик. – Моя Назим не должна умереть от царапины». Потом перестало сгибаться правое колено, и доктору пришлось вправлять его через дыру в простыне… а спустя какое-то время болезни переместились выше, минуя некие неназываемые зоны, и расцвели пышным цветом на верхней половине тела. Девушка страдала от таинственного недуга, который ее отец называл Гниль на Пальцах: на руках у нее чешуйками отслаивалась кожа; от слабости в запястьях, в связи с чем Адам прописал ей таблетки кальция; от жестоких запоров, которые лечились многократным приемом слабительного, ибо и речи не могло быть о том, чтобы доктору позволили поставить ей клизму. То ее лихорадило, то она страдала от пониженной температуры. В таких случаях ей ставился градусник под мышку, а доктор, запинаясь, что-то мямлил по поводу относительного несовершенства подобного метода. Под мышкой другой руки у нее развился опоясывающий лишай, в очень легкой форме, и Адам Азиз сделал присыпку желтым порошком; после лечения, в ходе которого потребовалось втирать присыпку, бережно, однако довольно решительно, хотя мягкое потаенное тело содрогалось и корчилось и доктор слышал из-за простыни судорожный смех, – ибо Назим Гхани очень боялась щекотки – чесотка прошла, но вскоре помещичью дочку одолели новые болезни. Летом ее донимала анемия, зимой – бронхит. («У нее такие нежные бронхи, – объяснял Гхани, – как маленькие флейты»). Где-то далеко гремела, двигалась от битвы к битве Мировая война, а в оплетенном паутиной доме доктор Азиз тоже вел упорное сражение с нескончаемыми недугами своей разделенной на сегменты пациентки. И за все эти военные годы ни одна болезнь у Назим ни разу не повторилась. «А это только доказывает, – толковал Гхани, – что вы – хороший доктор. Лечите раз и навсегда. Но увы! – тут он ударял себя кулаком в лоб. – Она тоскует по матери, бедная девочка, и тело ее страждет. Она так сильно любила мать».

Мало-помалу доктор Азиз нарисовал в уме облик Назим, плохо склеенный коллаж из кусочков, осмотренных в разное время. Этот призрак разделенной на части женщины стал преследовать его, и не только в мечтах. Слепленная воображением, она сопровождала его всюду, всегда стояла перед внутренним взором, так что и наяву и во сне он ощущал под

кончиками пальцев мягкую, вздрагивающую от щекотки плоть, крохотные безупречные запястья, красивые щиколотки; ему всюду чудился ее запах, запах лаванды и чамбели[29]; он всюду слышал ее голос, ее детский смех – но призрак был безголовым, потому что доктор ни разу не видел лица.

Его мать лежала на кровати ничком, широко раскинув руки. «Иди, иди сюда, помассируй мне спину, – говорила она, – иди ко мне, сынок мой, доктор: только твои пальцы и могут размять мышцы старой матери. Жми, жми, сыночек мой, надутый, как гусь, страдающий от запора». Он мял ей плечи. Она ворчала, передергивалась, расслаблялась. «Ниже, – указывала, – теперь выше. Справа. Вот так. Умный мой сын, которому невдомек, куда клонит этот Гхани. Такой образованный у меня сынок, а никак не догадается, почему эта девица все время страдает от своих ничтожных хворей. Послушай, сынок, взгляни хоть разик чуть дальше собственного носа: Гхани думает, что ты для нее – хорошая партия. Учился за границей и все такое. Я сидела в лавке, и меня раздевали глаза чужих мужчин ради того, чтобы ты женился на своей Назим! Конечно, все так и есть, иначе бы Гхани и не взглянул в нашу сторону. – Азиз надавил сильнее. – О Боже, не нужно меня душить только потому, что я говорю правду!»

К 1918 году вся жизнь Адама Азиза уже заключалась в этих поездках через озеро. Рвение его росло, ибо стало ясно, что по прошествии трех лет помещик и его дочка решили понизить планку. Сегодня Гхани заявил: «Уплотнение на правой груди. Это опасно, доктор? Взгляните. Взгляните хорошенько». И вот, в обрамлении прорези, появилась совершенной формы, девичья прелестная… «Я должен прощупать», – сказал Азиз, стараясь совладать со своим голосом. Гхани похлопал его по спине: «Щупайте, щупайте! – вскричал он. – Руки целителя! Врачующее прикосновение, а, доктор?» И Азиз протянул руку… «Извините за такой вопрос, но у госпожи случайно нет месячных?» Заговорщицкие улыбочки расцвели на лицах мускулистых теток. Гхани закивал, довольный: «Есть. Только не смущайтесь, старина. Вы теперь наш семейный доктор». И Азиз: «Тогда не о чем беспокоиться. Гнойники сойдут, когда кончатся месячные…» А в следующий раз: «Потянула связку на бедре, сзади, доктор сахиб. Дикая боль!» И вот посреди простыни, слепя глаза Адаму Азизу, явилась восхитительно круглая, неподражаемая ягодица… И Азиз: «Будет ли позволено, чтобы…» Гхани произносит свое слово, за простыней покорно соглашаются; тесемка развязывается, и шальвары спадают с небесной красоты крестца, который дивом дивным выпирает из дырки. Адам Азиз с трудом настраивает себя на медицинский лад… протягивает руку… щупает. И готов поклясться, что видит, с превеликим изумлением, как на попке проступает стыдливый, но жаркий румянец.

Весь вечер маячил перед глазами Адама этот маков цвет. Неужто волшебство творилось по обе стороны дыры? Взволнованный, он представлял себе лишенную головы Назим, как она трепещет от его испытующего взгляда, его термометра, его стетоскопа, его пальцев, и пытался выстроить его, доктора, образ, сложившийся в ее уме. Она, конечно, была в худшем положении, ибо видела только его руки… Адам начал питать беззаконную, отчаянную надежду: вдруг у Назим Гхани разболится голова, вдруг она расцарапает свой незримый подбородок – тогда они смогут посмотреть друг другу в лицо. Он понимал, сколь далеки его чувства от профессиональной этики, но не стал их сдерживать. Он ничего не мог поделать. Чувства эти зажили собственной жизнью. Короче говоря, мой дед влюбился, и простыня с прорезью стала представляться ему чем-то священным, чудотворным, ибо сквозь нее он увидел то, что закрыло, наконец, дыру в его теле, которая возникла, когда кочка стукнула его по носу, а лодочник Таи предал поношению.

В день, когда закончилась Мировая война, у Назим случилась столь долгожданная головная боль. Подобные совпадения с историей устилали, а может, оскверняли путь моей семьи в большом мире.

Адам едва осмелился взглянуть на то, что явилось в обрамлении прорези. А вдруг она

29

безобразна; может, этим и объясняется весь спектакль… но он все же взглянул. И увидел мягкое лицо, отнюдь не уродливое, оправу, бархатную подушечку для глаз, сверкающих, словно самоцветы, карих, с золотыми крапинками: тигриных глаз. Доктор Азиз влип окончательно. А Назим выпалила: «Но Боже мой, доктор, вот это нос!» Гхани – сердито: «Дочка, подумай, что ты…» Но пациентка и доктор дружно расхохотались, и Азиз заявил: «Да-да, превосходный образчик. Мне говорили, что потомки теснятся в моих ноздрях… – тут он прикусил язык, ибо чуть было не добавил: …как сопли».

И Гхани, слепой Гхани, который три года простоял подле простыни, улыбаясь, улыбаясь и улыбаясь, опять улыбнулся своей коварной улыбочкой – и она отразилась на губах мускулистых теток.

Тем временем лодочник Таи, никому ничего не объясняя, вдруг прекратил мыться. В долине, буквально пропитанной свежей озерной водой, где последние бедняки могли гордиться своей чистоплотностью (и в самом деле гордились), Таи предпочел вонять. Вот уж три года, как он не окунался в воду и даже не подмывался, оправив естественную надобность. Носил он, немытый, все ту же одежду, год за годом; только зимой надевал халат поверх зловонных штанов. Глиняный горшочек с горячими углями, который он, по обычаю кашмирцев, носил под халатом, чтобы согреваться в жестокую стужу[30], лишь пробуждал к жизни и усиливал зловоние. Он взял за правило медленно проплывать мимо дома Азиза, и кошмарный смрад от его тела просачивался через крохотный садик к самому дому. Цветы засыхали, птицы улетали прочь от окна старого Азиза. Разумеется, Таи растерял всех своих клиентов; особенно англичане не желали, чтобы их перевозила этакая помойка в человеческом облике. Все озеро облетела весть, что жена Таи, доведенная до остервенения столь внезапной приверженностью старика к собственной грязи, взмолилась, чтобы тот объяснил, в чем дело. И Таи ответил: «Спроси того доктора, что вернулся из заграницы, спроси носача, немца Азиза». Была ли то и в самом деле попытка оскорбить докторовы сверхчувствительные ноздри (которые не чесались уже, предчувствуя опасность, под целительным воздействием любви)? Или же то было утверждение косности, неизменности, вызов вторжению «доктори-атташе» из Гейдельберга? Однажды Азиз прямо спросил у старика, к чему все это, но Таи лишь дохнул на него и поплыл прочь. Выдох этот чуть не расколол Азиза надвое: острый он был, как топор.

В 1918 году отец доктора Азиза, лишившись своих птиц, умер во сне; а мать, которая смогла продать ювелирную лавку благодаря успехам Азиза, все расширявшего свою практику, и для которой смерть мужа явилась милостивым избавлением от жизни, полной ответственности, слегла и последовала за супругом еще до окончания сорокадневного траура. К тому времени, как индийские полки вернулись с фронтов, доктор Азиз остался сиротой и сделался свободным человеком – вот только сердце его выпало через дыру дюймов семи в диаметре.

Опустошительный эффект поведения Таи: оно разрушило добрые отношения доктора Азиза с плавучим озерным людом. Ребенком непринужденно болтавший с женами рыбаков и цветочницами, теперь он всюду встречал косые взгляды. «Спросите носача, немца Азиза». Таи заклеймил его как чужака, то есть человека, которому нельзя полностью доверять. Люди не любили лодочника, но их смущало внезапное преображение старика, к которому явно приложил руку доктор. Азиз обнаружил, что бедняки в чем-то подозревают его, даже избегают, и это его больно ранило. Теперь он понял, что затеял Таи: старик пытался выгнать его из долины.

История с прорезью в простыне тоже сделалась всеобщим достоянием. Мускулистые служанки явно не умели держать язык за зубами, как это казалось на первый взгляд. Азиз стал замечать, что люди показывают на него пальцем. Женщины хихикали, прикрыв ладошкой рот…

30

«Я решил: пусть Таи празднует победу», – заявил он. Три служанки – две, что держали простыню, и третья, отиравшаяся около двери, – напрягли слух, стараясь услышать хоть что-то сквозь вату в ушах. («Я попросила отца, чтобы он их заставил заткнуть уши, – поведала ему Назим. – Теперь эти болтушки не смогут трепать языком направо и налево»). Глаза Назим, обрамленные краями дыры, сделались огромными.

…Как у него самого несколько дней назад, когда он, бродя по улицам городка, увидел, как прибывает последний автобус этого зимнего сезона, весь изукрашенный яркими, разноцветными изречениями (спереди красовалось: ДА БУДЕТ ВОЛЯ БОЖЬЯ! зелеными буквами, подведенными красным; сзади желтая с синим обводом надпись кричала: СЛАВА БОГУ! а нахально-бордовая вторила: ПРОСТИ-ПРОЩАЙ!) и узнал, сквозь паутинку новых ободков и морщинок на лице, Ильзе Любин, которая выходила…

Теперь Гхани-помещик оставлял его на попечении стражниц с заткнутыми ушами: «Можете немного поговорить: отношениям доктора с пациенткой доверительность пойдет только на пользу. Я наконец это понял, Азиз-сахиб, простите мои прежние вторжения». Язычок Назим развязывался с каждым днем. «Что это за речи? Вы – мужчина или мышь? Покинуть дом из-за вонючего лодочника!»…

– Оскар погиб, – рассказывала Ильзе, сидя на тахте его матери и прихлебывая свежую лимонную воду. – Умер, как клоун. Пошел говорить с солдатами, призывал их не быть пешками. Дурачок и вправду думал, будто они побросают ружья и разойдутся. Мы смотрели в окошко, и я молилась, чтобы его не затоптали. Полк уже научился ходить строем, ребят было попросту не узнать. Оскар бросился прочь с плаца, добежал до угла, но запнулся о развязанный шнурок и упал на асфальт. Штабная машина задавила его насмерть. Вечно у него, у простофили, развязывались шнурки… – тут бриллианты повисли, застывая, у нее на ресницах… – Такие, как он, позорят имя анархиста.

– Ну ладно, – смирилась Назим, – у вас появится прекрасная возможность найти работу. Университет в Агре – славное место, не думайте, будто я не знаю. Доктор университета… звучит неплохо. Так и скажите, что вы за этим едете, тогда – другое дело. – Ресницы опустились над краем дыры. – Мне, конечно, будет вас не хватать…

– Я влюблен, – признался Адам Азиз Ильзе Любин. И чуть позже: – …Хотя я видел ее только сквозь прорезь в простыне, по частям; клянусь тебе, у нее краснеют ягодицы.

– Тут что-то такое носится в воздухе, – изрекла Ильзе.

– Назим, я уже получил работу, – волнуясь, сообщил Адам. – Сегодня пришло письмо. Приглашение действительно с апреля 1919 года. Ваш отец говорил, что может найти покупателя на мой дом и на ювелирную лавку тоже.

– Вот и чудно, – надулась Назим. – Значит, теперь мне нужно искать другого доктора. Или снова звать старую каргу, которая толком ничего не знает.

– Ведь я – сирота, – сказал доктор Азиз, – и поэтому пришел сам, а не послал родных. И все же я пришел, Гхани-сахиб, в первый раз пришел без вызова. Мой визит – не визит врача.

– Дорогой мой мальчик! – кричит Гхани, хлопая Адама по плечу. – Конечно, ты женишься на ней. Я дам первоклассное приданое! На свадьбу денег не пожалею! Это будет свадьба года, о да!

– Я уезжаю и не могу оставить тебя, – сказал Азиз помещичьей дочке Назим. А Гхани воскликнул: «Довольно ломать комедию! К чему теперь эта дурацкая простыня! Бросайте ее, женщины: перед вами – юные влюбленные!»

– Наконец-то, – сказал Адам Азиз, – я вижу тебя целиком. Но теперь я должен уйти. Больные ждут… и одна моя старая знакомая гостит у меня, я должен рассказать ей, чтобы она порадовалась за нас с тобой. Очень хорошая подруга из Германии.

– Нет, Адам-баба, – сказал его помощник, – я с самого утра не видел Ильзе бегам[31]. Она наняла шикару старого Таи и поехала кататься.

31

– Что тут скажешь, господин? – смиренно бормотал Таи. – Мне и в самом деле оказали честь и вызвали в дом такого большого человека, как вы. Господин мой, госпожа наняла меня для поездки в сад Моголов, хотела посмотреть, пока озеро не замерзло. Такая тихая госпожа, доктор-сахиб, за все время не сказала ни слова. Вот я и погрузился, по обычаю стариков, в свои собственные недостойные мысли, а когда очнулся – глядь, а ее на месте и нет. Сахиб, жизнью жены клянусь: невозможно ничего разглядеть из-за спинки сиденья, так что же я вам расскажу? Поверьте бедному старому лодочнику, ведь он был вам другом, когда вы были молоды…

– Адам-баба, – перебил помощник, – простите, но я только что нашел эту записку на ее столе.

– Я знаю, где она, – доктор Азиз пристально взглянул на Таи. – Не понимаю, зачем ты опять вмешиваешься в мою жизнь, но ты сам однажды показал мне это место. И сказал: «Некоторые иностранки приходят к этой воде, чтобы утонуть».

– Я, сахиб? – Таи, изумленный, зловонный, невинный. – Да у вас от горя помутился рассудок! Откуда мне знать такие вещи?

А после того, как тело, распухшее, опутанное водорослями, вытащили лодочники с застывшими лицами, Таи подплыл туда, где швартовались шикары, и поведал тамошним людям, которые шарахались от вони, скорее подобающей больному дизентерией волу: «Он во всем винит меня, только вообразите! Таскает сюда распутных европейских женщин, а я должен отвечать, когда они прыгают в озеро!.. И откуда, спрашивается, он знал, где нужно искать? Да-да, спросите-ка его, спросите носача Азиза!»

Ильзе оставила записку. Там значилось: «Я этого не хотела».

Я ничего не проясняю; о событиях, которые слетают с моих уст как попало, искаженные то спешкой, то пристрастием, пускай судят другие. Теперь приступлю прямо к делу и скажу, что в долгую суровую зиму 1918–1919 года Таи захворал, подцепил жестокую кожную болезнь, сходную с той, что в Европе называют Королевским недугом[32], но отказался пойти к доктору Азизу и лечился у местного гомеопата. А в марте, когда на озере растаял лед, в просторном шатре, воздвигнутом у дома помещика Гхани, была сыграна свадьба. По брачному контракту Адаму Азизу полагалась порядочная сумма, благодаря которой молодые могли купить дом в Агре; приданое включало в себя, по особой просьбе доктора Азиза, некую изувеченную простыню. Молодые сидели на помосте, застывшие, увешанные гирляндами, а гости проходили один за другим и бросали рупии им на колени. Этой ночью мой дед застелил простыней с прорезью ложе, на которое возлег с юной женой, и наутро холстина была украшена тремя каплями крови, образовавшими небольшой треугольник. Утром простыню вывесили, и после церемонии свершения брака лимузин, нанятый помещиком, отвез деда и бабку в Амритсар, где им предстояло сесть на приграничный почтовый. Горы собрались в кружок и глазели на деда, который уезжал из дому в последний раз. (Однажды он вернется в эти края, но больше не покинет их). Азизу показалось, будто старый лодочник стоит на берегу и смотрит, как они проезжают, – но он, наверное, ошибся: ведь Таи был болен. Вздувшийся пузырем на вершине храм Шанкарачарьи, который мусульмане стали называть Тахт-э-Сулайман, или Престол Соломона, проводил их вполне равнодушно. По-зимнему голые тополя и занесенные снегом поля шафрана вились вдоль дороги, машина катила на юг, и в ней, на заднем сиденье, – старый кожаный чемоданчик, в котором, среди прочих вещей, лежали стетоскоп и простыня. Доктор Азиз чувствовал в желудке пустоту, словно он сделался невесомым.

Или летел в бездну.

(…А теперь меня выбрали привидением. Мне девять лет, и вся наша семья – отец, мать, Медная Мартышка и я – гостит у дедушки с бабушкой в Агре; дети – я в их числе – затеяли обычное новогоднее представление, а меня выбрали призраком. И потому украдкой, чтобы

32

не выдать тайны предстоящего спектакля, я рыскаю по дому в поисках призрачного одеяния. Деда нет дома, он посещает больных. Я проник в его комнату. Там, на комоде, стоит старый сундук, пыльный, покрытый паутиной, но незапертый. А внутри – дар в ответ на мои молитвы. Простыня, да какая – с уже прорезанной дыркой! Вот она, в кожаном чемоданчике, запихнутом в этот сундук, под старым стетоскопом и покрытой плесенью баночкой мази Викс… явление простыни в нашем спектакле произвело подлинную сенсацию. Едва увидев ее, дед с воплем вскочил. Он выбежал на подмостки и тут же, перед всеми, лишил меня призрачного облачения. Бабушкины губы были так плотно сжаты, что, казалось, исчезли совсем. И оба они, один – громыхая басом всеми забытого лодочника, другая – выражая свою ярость исчезновением губ, превратили ужасное привидение в плачущего, совершенно потерянного малыша. Я удрал, я улепетнул, я сбежал на маленькое кукурузное поле, так и не поняв, что произошло. Я сидел там – может, на том самом месте, где сидел Надир Хан! – несколько часов, повторяя снова и снова, что никогда больше не стану открывать запретные сундуки, хотя и ощущая некоторую обиду: ведь, если уж на то пошло, сундук вовсе и не был заперт. Но их ярость подсказала мне, что простыня эта имела какое-то важное значение).

Меня прервала Падма – принесла еду, но не поставила на стол, а принялась шантажировать: «Уж коли ты все время портишь глаза этой писаниной, мог бы хоть мне почитать». Итак, я был вынужден спеть песенку за ужин, но, может быть, наша Падма на что-нибудь да сгодится, ведь невозможно избежать ее критических суждений. Особенно бесят Падму мои замечания насчет ее имени. «Да что ты знаешь, городской юнец? – кричит она и рубит ладонью воздух. – В моей деревне нет никакого позора носить имя в честь Богини Навоза. Так и напиши, что ты неправ, целиком и полностью». Исполняя желание моего лотоса, я и включаю ниже краткое славословие Навозу.

Навоз, дарующий плодородие, заставляющий колоситься поля! Навоз, из которого, пока он еще свежий и влажный, лепят лепешки и продают деревенским строителям, а те укрепляют им стены саманных домишек! Навоз, что является в мир из задней части коровы и проходит долгий путь, прежде чем обнаружить свою божественную природу! О да, я был неправ, мое суждение предвзято, несомненно, из-за того, что его злополучные запахи оскорбляли мой чувствительный нос – как чудесно, как невыразимо прелестно быть названной в честь Подательницы Навоза!

…6 апреля 1919 года священный город Амритсар весь провонял (божественный, Падма, небесный запах!) калом. И, может быть, эта (прекрасная!) вонь не оскорбляла нос на лице моего деда – ведь кашмирские крестьяне, как говорилось выше, латали навозом прохудившиеся стены. Даже в Шринагаре торговцы с тележками, полными круглых лепешек навоза, были обычным зрелищем. Но та материя была подсушенной, приглушенной, полезной. Навоз в Амритсаре был свежим и (что хуже) обильным. И был он не только коровьим. Он исходил из крупов коней, впряженных в оглобли двуколок, телег и повозок; да и мулы, и люди, и псы тоже отвечали зову природы, сливаясь в единое братство дерьма. Впрочем, и коровы там были: их священные стада бродили по пыльным улицам, и каждое отмечало, испражняясь, свою территорию. А мухи! Этот Враг Общества Номер Один целыми стаями перелетал, жужжа и ликуя, с одной дымящейся кучи на другую, и везде отдавал должное обильным дарам, и везде откладывал яйца. Люди кишели в городе наподобие мух. Доктор Азиз смотрел из гостиничного окна, как джайн[33] с маской на лице подметает перед собой дорогу метлой из веток, чтобы не наступить на муравья или даже на муху. Пряные, сладкие запахи исходили от тележек уличных торговцев. «Горячие пакора, пакора горячие!»[34] Европейская женщина покупала шелка в лавке через дорогу, и мужчины в тюрбанах глазели на нее. У Назим – теперь уже Назим Азиз – ужасно болела голова; впервые она пожаловалась дважды на одно и то же недомогание, вероятно, жизнь за пределами тихой

33
34

долины выбила ее из колеи. У ее кровати быстро пустел кувшин свежей лимонной воды. Азиз стоял у окна и вдыхал в себя город. Башенка Золотого Храма[35]блестела на солнце. Однако нос у Адама чесался: что-то было не так.

Крупный план правой руки моего деда: ногти, суставы, пальцы – все неожиданно большое. Кустики рыжих волос на тыльной стороне ладони. Большой и указательный пальцы сомкнуты, их разделяет лишь толщина бумаги. Короче: мой дед держит листовку. Ему сунули ее в руку (тут мы дадим общий план – любому жителю Бомбея известны киношные термины), когда он входил в вестибюль гостиницы. уличный мальчишка проскользнул во вращающуюся дверь, роняя по пути листовки, а чапраси[36]ринулся вслед за ним. Безумные обороты двери, кругом-и-кругом – и вот рука чапраси тоже взывает к крупному плану, большой палец тоже прижат к указательному, их разделяет лишь ухо мальчишки. Юного сеятеля подметных листков выставляют вон, но мой дед не расстается с посланием. Теперь, глядя из окна, он видит его же на противоположной стене, и на минарете мечети, и в набранном крупным шрифтом заголовке газеты под мышкой разносчика. Листовка-газета-мечеть-и-стена кричат: «Хартал!» Что значит буквально: день траура, бездействия, тишины. Но перед нами Индия в зените славы Махатмы, когда даже язык повиновался указаниям Ганди-джи[37], и это слово обрело под его влиянием новый смысл. «Хартал – 7 апреля»[38], вторят друг другу мечеть-газета-стена-и-листовка, ибо Ганди постановил, что вся Индия в этот день должна замереть. Скорбеть вполне мирно, оплакивая продолжающееся присутствие англичан.

– Не понимаю, при чем тут хартал: ведь никто не умер, – всхлипывает Назим. – Почему не ходят поезда? Надолго мы тут застряли?

Доктор Азиз замечает на улице бравых, подтянутых молодых людей и думает: индийцы сражались за британцев, многие повидали мир, они испорчены заграницей. Их нелегко будет загнать обратно в старый мир. Напрасно британцы пытаются перевести назад стрелки часов. «Акт Роулетта[39]не следовало утверждать», – бормочет он.

– Что еще за рулет? – причитает Назим. – По мне, так все это страшная чепуха.

– Против политической агитации, – поясняет Азиз и снова погружается в свои мысли. Таи когда-то сказал: «Кашмирцы – особенные. Они, например, трусы. Дай кашмирцу в руки ружье – и оно, если выстрелит, то по чистой случайности. У парня так и не хватит духу спустить курок. Мы – не то, что индусы, те вечно дерутся». Азиз не может выкинуть Таи из головы, он не чувствует себя индийцем. К тому же Кашмир – не просто часть Империи, а независимое княжество. Он не уверен, касается ли его хартал, объявленный листовкой-мечетью-стеной-газетой, хотя Азиз и находится сейчас на оккупированной территории. Он отворачивается от окна…

И видит, как Назим рыдает в подушку. Жена часто плачет с тех пор, как он попросил ее во вторую ночь немного двигаться. «Двигаться куда? – спросила она. – Двигаться как?» Он смутился: «Я хотел сказать – двигайся, как женщина…» Она завизжала в страхе: «Боже мой, за кого я вышла замуж? Вот они, мужчины, побывавшие в Европе! Встречаются там с ужасными женщинами, а потом хотят, чтобы и мы стали такими же, как те! Послушай, доктор-сахиб, муж ты мне или нет, но я тебе не какая-нибудь… непотребная тварь». Эта битва, которую мой дед так никогда и не выиграл, задала тон всему их браку, и тот вскоре стал ареной непрерывных сокрушительных войн, настолько опустошающих, что юная девушка, скрытая за простыней, и стеснительный молодой доктор быстро превратились в двух незнакомцев, чужих друг другу… «Что на этот раз, жена?» – спрашивает Азиз. Назим

35
36
37
38
39

прячет лицо в подушку. «Как это – что? – глухо мычит она. – Ты еще спрашиваешь? Сам ведь хочешь, чтобы я ходила голая перед чужими мужчинами». (Азиз велел ей снять лицевое покрывало).

Доктор пытается втолковать: «Рубашка скрывает тебя от шеи до запястий и до колен. На ногах – шаровары до щиколоток. Остаются ступни да лицо. Жена, разве есть в твоем лице и ступнях что-то неприличное?» Но она стенает: «Все вокруг увидят не только это! Они увидят, как стыдно мне, стыдно-стыдно!»

И вот – происшествие, подводящее нас к миру меркурий-хрома… Азиз, взбеленившись, вытаскивает из чемодана жены все лицевые покрывала, бросает их в жестяную коробку для мусора с портретом гуру Нанака[40]на боковой стороне и поджигает. Огонь, застав его врасплох, поднимается столбом, лижет занавески. Адам бросается к двери, вопит, зовет на помощь, а дешевые шторы пылают… носильщики-постояльцы-прачки влетают в комнату, бьют по горящей ткани пыльными тряпками, полотенцами, чужим бельем. Приносят ведра с водой, огонь потухает; Назим, скорчившись, прячется в постели, пока человек тридцать пять сикхов, индусов, неприкасаемых толпятся в полной дыма комнате. Наконец все они уходят, и Назим произносит две фразы перед тем, как упрямо сомкнуть уста:

– Ты сумасшедший. Я хочу еще лимонной воды.

Мой дед открывает окна, поворачивается к молодой жене: «Дым нескоро выветрится, пойду прогуляюсь. Ты со мной?»

Губы крепко слоты, глаза прищурены, яростно, однократно качнулась голова в отрицательном жесте; и вот мой дед один выходит на улицу. Напоследок бросает: «Забудь, что ты была хорошей кашмирской девушкой. Подумай, как тебе стать современной индийской женщиной».

…А в военном городке, в штаб-квартире Британской армии, бригадир Р.Е. Дайер[41]фабрит себе усы.

Наступило 7 апреля 1919 года, и великий замысел Махатмы принял в Амритсаре чудовищные очертания. Магазины закрылись, железнодорожный вокзал бездействует, но взбунтовавшаяся толпа берет их штурмом. Доктор Азиз с кожаным чемоданчиком в руке мечется по улицам, оказывая помощь, где возможно. Затоптанные остаются лежать там, где упали. Он перевязывает раны, обильно смазывая их меркурий-хромом: от этого они кажутся еще более кровавыми, но лекарство, по крайней мере, обеззараживает их. Наконец доктор возвращается в гостиничный номер в одежде, пропитанной красной жидкостью, и Назим, увидев его, впадает в панику: «Дай помогу тебе, дай помогу, о Аллах, за кого же я вышла замуж; вольно ж бродить по задворкам и драться со всякой швалью!» Подбегает со смоченными в воде ватными тампонами. «И почему ты не можешь быть порядочным доктором, как все, и лечить серьезные болезни? О Боже, да ты весь в крови! Сядь же, сядь, я тебе промою раны!»

– Это не кровь, жена.

– Я что, слепая, по-твоему? Что ж ты делаешь из меня дуру, даже когда на тебе места живого нет? Разве жена не имеет права хотя бы обмыть тебе кровь?

– Да это меркурий-хром, Назим. Такое красное лекарство.

Назим – а она уже развернула бурную деятельность, хватаясь за тряпки, сооружая тампоны – застывает на месте. «Ты это делаешь нарочно, – говорит она, – чтобы выставить меня дурой. А я не дура. Я прочла несколько книг».

Наступает 13 апреля, а они все еще в Амритсаре. «Эта заварушка еще не кончилась, – сообщает Адам Азиз своей жене Назим. – Нам нельзя уезжать, видишь ли: могут опять понадобиться врачи».

– Значит, нам сидеть здесь до скончания века?

40

41

Он трет рукою нос.

– Нет, боюсь, все свершится скорее.

В этот день улицы внезапно заполонила толпа, все двигались в одну сторону, плевать они хотели на военное положение, введенное Дайером. Адам говорит своей жене Назим: «Похоже, они собираются устроить митинг. Не миновать стычки с войсками. Митинги запрещены».

– Но тебе-то зачем идти? Почему ты не подождешь, пока тебя позовут?

…Огороженный участок земли может быть чем угодно – от пустыря до парка. Самый обширный такой участок в Амритсаре называется Джаллианвала Багх. Трава там не растет. Повсюду валяются булыжники, консервные банки, стекла и другие предметы. Чтобы попасть туда, нужно пройти по очень узкому переулку между двумя зданиями. 13 апреля тысячи и тысячи индийцев протискиваются в этот переулок. «Это – мирный митинг протеста», – сообщает кто-то доктору Азизу. Толпа выносит его в конец проулка. Чемоданчик из Гейдельберга зажат в правой руке. (Можно обойтись без крупного плана). Он, я знаю, очень напуган, потому что нос у него чешется сильнее, чем когда-либо, но хорошо обучен своему ремеслу и, выбросив страхи из головы, выходит на пустырь. Кто-то произносит зажигательную речь. Торговцы снуют в толпе, предлагая чанну[42] и сладости. Над полем столбом вьется пыль. Нигде, насколько может видеть мой дед, вроде бы нету ни головорезов, ни смутьянов. Несколько сикхов расстелили скатерть на земле, расселись в кружок и принялись за еду. По-прежнему воняет навозом. Азиз проникает в самую гущу толпы, когда бригадир Р.Е. Дайер во главе пятидесяти отборных солдат приближается ко входу в проулок. Он – военный комендант Амритсара, важная персона, куда там: кончики его нафабренных усов топорщатся от важности. Когда пятьдесят один человек строевым шагом проходят проулок, в носу у моего деда уже не просто чешется, а невыносимо свербит. Пятьдесят один человек входят на пустырь и занимают позицию: двадцать пять человек справа от Дайера и двадцать пять – слева; Адам Азиз перестает замечать что-либо вокруг, ибо в носу свербит уже сверх всякой меры. Когда бригадир Дайер произносит команду, на деда нападает неудержимый чих. «А-апчхи!» – бухает он, как из пушки, и валится вперед, теряя равновесие, увлекаемый вниз собственным носом, и тем самым спасает себе жизнь. «Доктори-атташе» раскрывается, падает наземь; бутылочки, баночки с линиментом, шприцы разлетаются, катаются в пыли. Доктор ползает под ногами у людей, яростно шарит по земле, старается спасти медикаменты, пока их не растоптали. Раздается сухая дробь – словно зубы клацают в зимний холод – и кто-то падает на него сверху. На рубашке расплываются красные пятна. Теперь уже раздаются крики и вой, но странное клацанье не смолкает. Еще и еще люди, будто споткнувшись, падают сверху на деда. Он начинает опасаться, не сломают ли ему спину. Замок чемоданчика упирается в грудь, от него остается ужасный, доселе не виданный синяк, который не сошел и после смерти деда, настигшей его многие годы спустя на вершине Шанкарачарьи, или Такт-э-Сулайман. Нос его притиснут к бутылочке с красными пилюлями. Клацанье прекращается, раздаются голоса людей, птичьи крики. Но шагов не слышно совсем. Пятьдесят бойцов бригадира Дайера опускают автоматы и уходят прочь. Они выпустили в общей сложности тысячу шестьсот пятьдесят патронов в безоружную толпу. Из них тысяча шестьсот шестнадцать попали в цель, кого-то убив или ранив. «Хорошая стрельба, – похвалил Дайер своих людей. – Славно поработали»[43].

Когда этим вечером мой дед явился домой, бабка изо всех сил старалась вести себя, как современная женщина, чтобы угодить ему, и ее ни капельки не смутил его вид. «Вижу, ты опять пролил меркурий-хром, медведь неуклюжий», – ласково проговорила она.

– Это кровь, – отозвался дед, и бабка упала в обморок. Когда дед привел ее в чувство с помощью нюхательной соли, она спросила: «Ты ранен?»

42

43

– Нет, – ответил он.
– Но где же ты был, ради Бога?
– Только не на земле, – сказал он и весь затрясся в ее объятиях.

Должен признаться, и моя рука задрожала не только из-за описываемых событий, но и потому, что я заметил тончайшую, с волосок, трещинку у себя на запястье, прямо под кожей… Неважно. Все мы обязаны смерти жизнью. Так позвольте же мне закончить мой рассказ неподтвержденным слухом о том, будто бы лодочник Таи, который избавился от злокачественной золотухи вскоре после того, как мой дед покинул Кашмир, дожил до 1947 года, а тогда (гласит история) старика ужасно разозлила распря между Индией и Пакистаном из-за его родной долины, и он направился в Чхамб специально, чтобы встать между враждующими сторонами и поучить их уму-разуму[44]. Кашмир для кашмирцев – вот какую линию он проводил. Естественно, его застрелили. Оскар Любин, возможно, одобрил бы этот риторический жест; Р.Е. Дайер похвалил бы его убийц за меткую стрельбу.

Пора в постель. Падма ждет, и мне нужно немного тепла.

«Плюнь-попади»

Пожалуйста, поверьте: я разваливаюсь на части.

Это не метафора, не увертюра к какой-нибудь мелодраматической, зубодробительной, дурно пахнущей попытке бить на жалость. Я просто хочу сказать, что начинаю растрескиваться вдоль и поперек, будто старый кувшин: мое бедное тело, ни на что не похожее, уродливое, битое-перебитое историей, которой слишком много, подвергнутое дренированию сверху и снизу, изувеченное дверями, размозженное плевательницами, начало расходиться по швам. Короче говоря, я распадаюсь, пока еще медленно, хотя появились некоторые признаки ускорения. Я только хочу, чтобы вы приняли тот факт (я его уже принял), что в итоге я раскрошусь на (примерно) шестьсот тридцать миллионов частичек безымянной и, безусловно, беспамятной пыли. Вот почему я решил довериться бумаге до того, как все позабуду. (Мы – нация забывающих).

Бывают минуты, когда меня охватывает ужас, но они проходят. Панический страх, словно пускающее пузыри морское чудище, всплывает, чтобы глотнуть воздуха, бурлит на поверхности, но неизменно возвращается в глубины. Для меня важно оставаться спокойным. Я жую бетель с орехами, отхаркиваюсь и плюю в сторону дешевой медной чаши, играя в старинную игру «плюнь-попади», игру Надир Хана, которой тот научился от стариков в Агре… нынче вы можете купить «жгучие паны»[45], где кроме бетелевой массы, от которой краснеют десны, имеется еще и утеха кокаина, завернутая в лист. Но это бы означало жульничество.

…От исписанных мною страниц поднимается запах чатни[46], который ни с чем не спутаешь. Так что хватит ходить вокруг да около: я, Салем Синай, обладающий самым утонченным органом обоняния, какой только знала история, посвящаю свои последние дни серийному производству консервов. И вы раскрываете в изумлении рот: «Повар? – восклицаете в ужасе. – Простой хансама[47], прислуга? Как это может быть?» Но это правда: такое мастерство, такая одаренность и в приготовлении пищи, и в связывании слов бывает нечасто, а мне она досталась. Вы изумлены, но, видите ли, я – не один из тех кухонных парней, которым вы платите по 200 рупий в месяц; я сам себе господин и тружусь под мигающим оком моей собственной шафранно-зеленой неоновой богини. И мои фруктовые и овощные консервы так или иначе связаны с моей же ночной писаниной – днем среди банок с

44
45
46
47

маринадами, ночью среди этих листков я посвящаю все свое время великой задаче сохранения. Память, как и плоды, нужно спасти от порчи, приносимой тиканьем часов.

Но Падма стоит у моего плеча, торопит обратно в мир линейного повествования, во вселенную того-что-будет-дальше: «С такой скоростью, – жалуется Падма, – тебе стукнет двести лет, пока ты доберешься до собственного рождения». Она притворяется безразличной, подходит ко мне, словно невзначай выставляя бедро, но меня не проведешь. Теперь я знаю: что бы там Падма ни говорила, а ее задело. Сомнения нет, моя история держит ее за горло – Падма вдруг перестала пилить меня: шел бы, мол, домой, принял бы ванну, снял бы пропахшую уксусом одежду, оставил бы хоть на минуту погруженный в сумерки консервный завод, где запахи специй навсегда въелись в воздух… нынче моя навозная богиня ставит раскладушку в углу конторы и готовит мне еду на двух почерневших газовых горелках, лишь иногда прерывая уговорами мое озаренное угловой люминисцентной лампой писание: «Ты бы хоть немного подвигался, иначе умрешь еще не родившись». Поступаясь законной гордостью умелого рассказчика, я стараюсь просветить ее. «Вещи – даже люди – пропитывают друг друга, – объясняю, – как вкус при готовке. Самоубийство Ильзе Любин, к примеру, пропитало старого Адама, лужей хлюпало внутри него, пока он не увидел Бога. Так же точно, – произношу я нараспев самым серьезным тоном, – прошлое просочилось в меня… и мы не можем от него отделаться…» Она пожимает плечами, отчего ее грудь приятно колышется, и обрывает меня: «А по-моему, так это – дурацкий способ рассказывать историю собственной жизни, – громко заявляет она, – раз ты еще даже не добрался до того, как твой отец встретил твою мать».

…И Падма, несомненно, пропитывает меня тоже. История изливается из моей растрескавшейся плоти, а мой лотос мало-помалу просачивается внутрь, со всей своей приземленностью, парадоксальными суевериями, неуемной любовью к вымыслу, так что сейчас уместно будет рассказать историю Миана Абдуллы. Обреченная птичка-колибри – легенда нашего времени.

…А Падма – женщина великодушная: она не оставляет меня в эти последние дни, хотя я мало что могу для нее сделать. Да, это именно так – и опять же уместно упомянуть об этом прежде, чем приступать к рассказу о Надир Хане, – сейчас я не мужчина. Несмотря на многочисленные и разнообразные прелести Падмы, вопреки всем ее ухищрениям я не могу просочиться в нее, даже когда она кладет свою левую ногу на мою правую, а правой ногой обвивает мне поясницу; даже когда склоняет свое лицо к моему и нежно воркует; даже когда шепчет мне на ухо: «Теперь, когда ты покончил с писаниной, поглядим, не поднимется ли другой твой карандашик!» – нет, что бы она ни делала, я никак не могу попасть в ее плевательницу.

Хватит признаний. Склоняясь перед неизбежным, покорствуя Падминому давлению, ее пристрастию к «тому-что-будет-дальше» и памятуя о том, что мне отпущен весьма ограниченный срок, я оставляю позади меркурий-хром, совершаю прыжок и приземляюсь в 1942 году. (В самом деле, уже пора свести друг с другом моих родителей).

Похоже, что в этом году, в конце лета, мой дед доктор Адам Азиз заразился оптимизмом в самой опасной форме. Разъезжая на велосипеде по Агре, он насвистывал пронзительно, фальшиво, но безмятежно. Он, безусловно, не был одинок, потому что, несмотря на энергичные старания властей подавить эту заразу, в означенный год она распространилась по всей Индии, и пришлось принять самые крутые меры, чтобы справиться с ней. Старики в магазинчике, где продавали пан, в самом конце Корнуолис-роуд, жевали бетель и подозревали какую-то ловушку. «Я прожил вдвое больше, чем следовало, – сказал самый старший, у которого голос потрескивал, словно старый радиоприемник, потому что десятки прожитых лет терлись друг о друга подле его голосовых связок, – и никогда не видел столько веселья в такие скверные времена. Всех будто бес попутал». Действительно, микроб оказался упорным – сама погода могла бы погубить заразу в зародыше, ибо было очевидно, что грядет засуха. Трескалась земля. Пыль съедала края дорог, а в иные дни на перекрестках, засыпанных щебенкой, разверзались зияющие провалы. Жующие бетель

старики у лавки, где продавали пан, заговорили о недобрых предзнаменованиях; развлекаясь игрой «плюнь-попади», они рассуждали о том, как из разъятой на части земли полезет бесчисленное безымянное бог-весть-что. Вроде бы у какого-то сикха из мастерской по ремонту велосипедов в полуденный зной слетел с головы тюрбан, и его волосы, без всякой на то причины, встали дыбом на голове[48]. И, если вернуться к прозе жизни, воды уже не хватало до такой степени, что молочники перестали разбавлять молоко… Где-то далеко снова разворачивалась Мировая война. В Агре нарастал зной. А мой дед насвистывал. Старики из лавки, где продавали пан, считали этот свист признаком дурного вкуса, при сложившихся-то обстоятельствах.

(И я, как те старики, харкаю, отплевываюсь и возвышаюсь над трещинами).

Верхом на велосипеде, привязав к багажнику кожаный чемоданчик-атташе, мой дед ехал и насвистывал. Несмотря на чесотку в носу, губы складывались в улыбку. Несмотря на то, что синяк на груди так и не сошел за двадцать три года, дед пребывал в прекрасном расположении духа. Воздух, проникая сквозь его губы, сам преображался в звук. Насвистывал он старую немецкую мелодию: «Танненбаум».

Эпидемию оптимизма вызвал один-единственный человек, чье имя, Миан[49]Абдулла, употребляли только газетчики. Для всех остальных он был Колибри, Жужжащая Птичка; невероятно, чтобы мог появиться на свете такой человек, и все же он существовал. «Фокусник, ставший чародеем, – писали газетчики, – Миан Абдулла явился из знаменитого квартала фокусников в Дели и стал надеждой ста миллионов индийских мусульман». Колибри был основателем, председателем, объединителем и вдохновителем Свободного Исламского Собрания, и в 1942 году шатры и трибуны были воздвигнуты на главной площади Агры, где предполагалось провести второй ежегодный съезд партии. Мой дед, которому стукнуло пятьдесят два года, который поседел от прожитых лет и прочих печалей, начинал насвистывать, проезжая через эту площадь. Вот он бойко виляет на своем велосипеде, пролагая путь среди коровьих лепешек и детишек… а в другое время, в другом месте он сказал своей подруге, рани, правительнице Куч Нахин:[50]«Я начинал как кашмирец, не слишком приверженный исламу. Потом получил синяк на груди, превративший меня в индийца. Я и сейчас не слишком ревностный мусульманин, но я – за Абдуллу. Его борьба – моя борьба». Глаза деда сохранили голубизну кашмирских небес… вот он приехал домой, и хотя взгляд еще светился довольством, свист прекратился, ибо во дворе, полном злобных гусей, встретило его хмурое лицо моей бабушки, Назим Азиз, которую он так неосмотрительно полюбил по частям, и которая затем собралась воедино и превратилась в грозную, величественную матрону, каковой навсегда и осталась: к ней давно уже пристало весьма любопытное прозвание Достопочтенной Матушки.

Она прежде времени постарела, расплылась; две огромные бородавки, ведьмины соски, выросли у нее на лице, и она жила за стенами невидимой крепости, ею самой и построенной, за чугунной оградой традиций и непререкаемых правил. В том же году Адам Азиз заказал большие, в полный рост, фотографии членов своей семьи, чтобы повесить в гостиной; три девочки и два мальчика позировали фотографу, но Достопочтенная Матушка взбунтовалась, когда пришел ее черед. Фотограф попытался снять ее, застав врасплох, но бабушка вырвала у него из рук камеру и разбила об его же череп. Фотограф, к счастью, выжил, но нигде на свете нет ни единой фотографии моей бабки. Ее-то уж не заманишь внутрь маленькой черной коробочки. Хватит того, что она живет в неприкрытом, гололицем бесстыдстве – и речи быть не может о том, чтобы ее в таком виде увековечили.

Возможно, именно вынужденная необходимость обнажать лицо, вкупе с непрекращающимися требованиями Азиза, чтобы супруга двигалась под ним, привели ее на баррикады, и домашние правила, установленные ею, представляли собой столь

48
49
50

непроницаемую систему самообороны, что Азиз после многочисленных бесплодных попыток более-менее махнул рукой, отказавшись штурмовать многие из ее равелинов и бастионов, и позволил большой, раздувшейся паучихе царить в избранных ею областях. (Возможно, то была вовсе и не система самозащиты, но средство защититься от себя самой).

Среди предметов, которым вход был закрыт, находились и любые разговоры о политике. Когда доктор Азиз желал поговорить о подобных вещах, он навещал свою подругу рани, а Достопочтенная Матушка дулась, правда, не слишком сильно – ведь она знала, что визиты эти означали ее победу.

Два сердца имело ее королевство: кухню и кладовку. В первую я никогда не входил, но помню, как заглядывал в щелку меж запертых на замок раздвижных дверей кладовки, за которыми простирался загадочный мир – подвешенные проволочные корзины, прикрытые от мух полотенцами, знакомые мне банки с гуром[51]и другими сластями; закрытые лари с аккуратно прилаженными квадратными ярлычками, где хранились орехи, репа и мешки с зерном; гусиные яйца и деревянные щетки. Кладовка и кухня были ее неотчуждаемой территорией, и бабка яростно защищала их. Когда она носила последнего ребенка, мою тетку Эмералд, муж предложил избавить ее от тяжелой обязанности присматривать за кухаркой. Она ничего не сказала, но на следующий день, когда Азиз подошел к кухне, появилась оттуда с тяжелым чугунком в руках и загородила ему дорогу. Бабка была толстая, да еще и беременная, так что пройти не было никакой возможности. Адам Азиз нахмурился: «Что это, жена?» И моя бабка ответила: «Это, как-его, очень тяжелый горшок, и если я хоть раз увижу тебя здесь, как-его, то суну туда твою голову, добавлю чуточку дахи[52], и выйдет, как-его, корма»[53]. Не знаю, откуда привязался к бабке этот лейтмотив «как-его», но с годами он вторгался в ее речь все чаще и чаще. Мне хочется думать, что то был бессознательный вопль о помощи… вопрос, поставленный на полном серьезе. Достопочтенная Матушка хотела нам намекнуть, что, несмотря на свой внушительный вид и могучие формы, она плывет по миру без руля и ветрил. Она не знала, видите ли, как что называется.

…А за обеденным столом она царила единовластно, как прежде. На стол не ставили никакой еды, не раскладывали тарелок. Карри[54]и разная посуда располагались на низеньком столике под ее правой рукой; Азиз и дети ели то, что она подавала. Такова была сила обычая, что, даже когда супруг страдал запором, она не позволяла ему самому выбирать себе пищу и не прислушивалась ни к его пожеланиям, ни к чужим советам. Крепость неколебима, даже когда среди вассалов и происходят непредусмотренные волнения.

За все время долгого затворничества Надир Хана, весь тот срок, когда дом на Корнуоллис-роуд посещали молодой Зульфикар, влюбленный в Эмералд, и преуспевающий коммерсант Ахмед Синай, торгующий прорезиненными плащами и кожей, который так сильно обидел мою тетку Алию, что та затаила злобу на целых двадцать пять лет, а потом самым жестоким образом расквиталась с моей матерью, железная хватка Достопочтенной Матушки ничуточки не ослабела, и еще до того, как приход Надира положил начало великому молчанию, Адам Азиз попытался эту хватку ослабить и вступил в сражение со своей женой. (Все сказанное поможет показать, сколь глубоко был он поражен оптимизмом).

…В 1932 году, за десять лет до описываемых событий, он взял в свои руки воспитание детей. Достопочтенная Матушка переполошилась, но традиция отводила отцу эту роль, так что возразить она не могла. Алии было одиннадцать лет, второй дочери, Мумтаз, почти девять. Двум мальчикам, Ханифу и Мустафе, восемь и шесть, а маленькой Эмералд не исполнилось и пяти. Достопочтенная Матушка поверяла свои страхи домашнему повару Дауду: «Он забивает детям головы чужими языками, как-его, да и другим хламом тоже». Дауд орудовал чугунками, а Достопочтенная Матушка продолжала кричать: «Так стоит ли

51
52
53
54

удивляться, как-его, если младшая называет себя Эмералд? По-английски, как-его? Этот человек испортит мне моих детей. Не клади столько кумина[55]в это, как-его; думай больше о своей готовке и меньше лезь в чужие дела».

Она поставила одно-единственное условие: дети должны получить религиозное воспитание. В отличие от Азиза, которого раздирали противоречия, она была крепка в вере. «У тебя есть Колибри, твоя Жужжащая Птичка, – твердила она, – а у меня, как-его, Глас Божий. И звук его краше, чем, как-его, жужжание этого типа». То был один из немногих случаев, когда она заговорила о политике… а потом настал день, когда Азиз выпроводил вон наставника в вере. Большой и указательный пальцы сомкнулись на ухе маулави[56]. На глазах Назим ее супруг подтащил бедолагу, растрепанного, со стоящей торчком бородою, к дверце в садовой стене; тут она задохнулась от возмущения, а потом завопила во весь голос, когда нога мужа приложилась к благословенным мясистым частям. Меча громы и молнии, подняв все паруса, Достопочтенная Матушка бросилась в бой.

– Недостойный ты человек, – напустилась она на мужа, – забыл ты, как-его, всякий стыд! – Дети наблюдали за ссорой с безопасного расстояния, укрывшись на задней веранде. И Азиз: «Да знаешь ли ты, чему этот тип учит твоих детей?» И Достопочтенная Матушка в свою очередь вопрошала: «Что еще способен ты сотворить, дабы призвать кару, как-его, на наши головы?» Азиз за свое: «Думаешь, только письму насталик[57], да?» А жена, распаляясь все пуще: «Налопаться свинины? Как-его? Плюнуть на Коран?» Но доктор, повысив голос, тут же находится с ответом: «Или стиху из „Коровы“[58]? Так ты полагаешь?» …Не желая ничего слушать, Достопочтенная Матушка доходит до высшей точки: «Выдать дочек за немцев!?» Тут она прерывается, чтобы набрать воздуху, и мой дед может наконец объяснить, в чем дело: «Он учил их ненависти, жена. Говорил, что надо ненавидеть индусов, буддистов, джайнов, сикхов и разных прочих вегетарианцев. Разве ты хочешь, женщина, чтобы твои дети ненавидели весь мир?»

– А ты разве хочешь, чтобы они росли безбожниками? – Достопочтенная Матушка уже видит, как воинства архангела Гавриила спускаются в ночи, дабы низвести ее нечестивых отпрысков в ад. Ад она представляет себе очень живо. Там жарко, будто в Раджпутане в июне, и каждого грешника заставляют выучить по семь чужих наречий… – Я даю обет, как-его, – сказала моя бабка, – клянусь тебе, что ни одна крошка еды из моей кухни не достигнет твоих уст! Ни единого чапати[59], пока ты не приведешь маулави-сахиба обратно и не облобызаешь, как-его, прах его ног!

Голодная война началась в тот же день и едва не стала в самом деле смертельным поединком. Верная своему слову, Достопочтенная Матушка в часы трапез протягивала мужу пустую тарелку. Доктор Азиз тут же нанес ответный удар, отказавшись питаться вне дома. День за днем пятеро детей наблюдали, как тает на глазах их отец, в то время как мать, суровая, хмурая, мрачно стережет блюда с едой. «Ты когда-нибудь совсем пропадешь? – приступала к нему заинтригованная Эмералд, но тут же прибавляла в испуге: – Только не делай этого, если не знаешь, как вернуться обратно». На лице Азиза появились впадины, даже нос стал казаться тоньше. Тело его превратилось в поле битвы и каждый день подвергалось разрушениям. Он говорил старшей, Алии, умной девочке: «В каждой войне поле битвы терпит больше потерь, чем любая из армий. Это естественно». Он стал нанимать рикшу, навещая больных. Хамдард, рикша, стал беспокоиться за него.

Рани Куч Нахин направила послов для переговоров с Достопочтенной Матушкой. «Неужто в Индии и без того не полно голодающих?» – спросили посланцы у Назим, и та смерила их взглядом василиска, взглядом, который уже сделался легендой. Сцепив руки на

55
56
57
58
59

коленях, в муслиновой дупатте,[60] туго повязанной вокруг головы, она сверлила посетителей круглыми, без век, глазами, пока те не потупили взгляд. Голоса их обратились в камень, оледенели сердца – одна в комнате с чужими людьми, мужчинами, моя бабка сидела во славе, и никто не смел поднять на нее очей. «Полно голодающих, как-его? – торжествующе вскричала она. – Может быть, да. А может, и нет».

Но, по правде говоря, Назим Азиз сильно переживала: хотя голодная смерть Азиза со всей ясностью доказала бы превосходство ее понятия о миропорядке, ей вовсе не хотелось овдоветь из чистого принципа; однако из сложившейся ситуации она не видела иного выхода, как только пойти на попятный и потерять лицо, а, привыкнув открывать его на людях, бабка скорей умерла бы, чем потеряла хотя бы малую его частицу.

– Скажись больной, что тебе стоит? – нашла решение Алия, умная девочка. Достопочтенная Матушка отступила согласно всем законам тактики, объявив, что у нее колики, нестерпимые колики, и слегла в постель. В ее отсутствие Алия протянула отцу оливковую ветвь в виде чашки куриного бульона. Через два дня Достопочтенная Матушка встала (впервые в жизни не пожелав, чтобы ее обследовал муж), вновь взяла власть в свои руки и, пожав плечами в знак согласия с решением дочери, как ни в чем не бывало передала Азизу еду.

С тех пор прошло уже десять лет, но и в 1942 году старики у лавки, где по-прежнему продают пан, при виде насвистывающего доктора хихикают и предаются воспоминаниям о тех днях, когда из-за жены он едва не пропал совсем, хотя и не знал, как вернуться обратно. Уже опускается вечер, а они все подталкивают друг друга локтями: «А помнишь, как…», или: «Весь высох, как скелет на бельевой веревке! Не мог даже ездить на своем…», или: «Говорю тебе, баба: эта женщина может делать поразительные вещи. Я слыхал, будто ей снятся сны ее дочерей: она узнаёт, что замышляют девчонки!» Но вечер вступает в свои права, и тычки прекращаются: подходит время состязаний. Ритмично, в полной тишине, движутся челюсти; губы внезапно вытягиваются в трубочку, но из них не излетает созданный из воздуха звук. Не свист, но длинная красная струя бетелевого сока исходит из провалившихся губ и направляется с неукоснительной точностью к старой медной плевательнице. Старики дружно хлопают себя по ляжкам, нахваливают друг друга: «Вах, вах, господин!» или: «Вот это выстрел, прямо в яблочко!» Вокруг группы старцев город, скрадываемый мглой, предается бесцельным вечерним развлечениям. Дети гоняют обруч, играют в пятнашки, пририсовывают бороды к портретам Миана Абдуллы. А старики ставят плевательницу на дорогу, все дальше и дальше от стены, рядом с которой они сидят на корточках, и мечут туда все более и более длинные струи. Но плевки летят куда надо. «Ах, хорошо, хорошо, яра!» Уличные сорванцы затеяли игру: скачут взад-вперед, увертываются от красных потоков, встревают со своими пятнашками в высокое искусство «плюнь-попади»… Но вот армейская штабная машина мчится, разгоняя сорванцов… в ней бригадир Додсон, военный комендант города, погибающий от жары… и его адъютант, майор Зульфикар, подающий ему полотенце. Додсон отирает пот с лица, сорванцы разбегаются, машина опрокидывает плевательницу. Багровая, словно кровь, жидкость с темными сгустками красной дланью застывает в уличной пыли, указуя обвиняющим перстом на сдающую свои позиции власть англичан.

Память о подпорченной плесенью фотографии (может, творении того же самого незадачливого фотографа, чьи снимки в натуральную величину едва не стоили ему жизни): Адам Азиз, пылающий в лихорадке оптимизма, пожимает руку человеку лет пятидесяти, бодрому, нетерпеливому; седая прядь пересекает его лоб едва заметным шрамом. Это – Миан Абдулла, Колибри. («Видите, доктор-сахиб, я держусь молодцом, Ну-ка, стукните меня по животу – хотите попробовать? Давайте, давайте. Я в отличной форме…» На фотографии живот скрывают фалды белой рубашки навыпуск, а рука моего деда вовсе не сжата в кулак, но поглощена ладонью бывшего фокусника). А позади них женщина с

60

кротким, благосклонным взглядом – рани Куч Нахин, которая начала уже покрываться белыми пятнами, – болезнь, просочившаяся в историю и вспыхнувшая в чудовищном масштабе сразу после Независимости… «Я – жертва, – шепчет рани сфотографированными, навеки застывшими губами, – несчастная жертва межкультурных контактов. На моей коже проступает наружу мой интернациональный дух». Да, на фотографии запечатлена беседа: оптимисты, встретившись со своим лидером, начинают чревовещать. Подле рани – теперь слушайте внимательно: история и генеалогия вот-вот пересекутся! – стоит немного странный юноша, пухлый, с животиком; глаза его похожи на озера стоячей воды, волосы длинные, как у поэта. Надир Хан, личный секретарь Колибри. Не будь этот парень заморожен моментальным снимком, он бы смущенно переминался с ноги на ногу. Он лепечет сквозь глуповатую застывшую улыбку: «Да, это правда, я пишу стихи…» Тут встревает Миан Абдулла, басит сквозь открытый рот, в котором поблескивают острые зубы: «Да еще какие стихи! Страница за страницей – без единой рифмы!..» И рани – любезным тоном: «Так вы – модернист?» Надир робко: «Да». Какое напряжение возникает теперь на застывшей, неподвижной картинке! Какая едкая насмешка в речах Колибри: «Ничего, не беспокойтесь: искусство возродится, мы еще вспомним о нашем славном литературном прошлом!»… Что это: тень или хмурая складка на секретарском челе?.. Голос Надира, шелестящий тихо-тихо с потускневшей фотографии: «Я не верю в высокое искусство, Миан-сахиб. Ныне искусство должно быть вне категорий: моя поэзия и… ну хоть игра „плюнь-попади“ одинаково ценны». И рани, добрая женщина, обращает все в шутку: «Ну что ж, я, пожалуй, приготовлю отдельную комнату, где можно будет жевать пан и плеваться в цель. У меня есть чудесная серебряная плевательница, инкрустированная лазуритом, – приходите все и попытайте счастья. Пусть даже ваши неточные плевки забрызгают стены! Это, по крайней мере, не пятна постыдной болезни». И вот уже фотография исчерпала запас слов, вот уже я замечаю внутренним взором, что все это время Колибри смотрел на дверь, которая находится за плечом моего деда, на самом краю снимка. За дверью – история, она зовет. Колибри не терпится выйти… но он был среди нас, и его присутствие завязало две нити, которые протянулись через все мои дни: одна ведет в квартал фокусников, на другой подвешена история Надира – безрифменного, безглагольного поэта, и бесценной серебряной плевательницы.

«Что за чепуха, – толкует наша Падма. – Как фотография может говорить? Отдохни, ты слишком устал, у тебя мысли путаются». Но когда я рассказываю ей, что Миан Абдулла обладал странным свойством непрерывно жужжать, не то чтобы музыкально или немузыкально, но как-то механически, как жужжит мотор или динамо-машина, в это она легко верит и даже замечает рассудительно: «Ну, раз он был такой энергичный, тут нет ничего удивительного». И снова вся обращается в слух, так что я форсирую тему и сообщаю, что жужжанье Миана Абдуллы становилось то громче, то тише, в прямой зависимости от того, сколько работы ему предстояло сделать. Иногда оно достигало таких низких нот, что ломило зубы, а когда поднималось до самой высокой, горячечной точки, у всех, кто находился поблизости, наступала эрекция. («Арре бап[61], – смеется Падма, – что ж удивляться его популярности среди мужчин!») Надир Хан, его секретарь, постоянно подвергался воздействию этой причудливой вибрации, и его уши, челюсть, пенис вели себя так, как то определял Колибри. Почему же тогда Надир оставался, не уходил, несмотря на эрекции, смущавшие его при посторонних, несмотря на зубную боль и служебные обязанности, которые иногда отнимали у него двадцать два часа из двадцати четырех? Не потому, я думаю, что он, поэт, считал своим долгом находиться в центре событий, а потом увековечить их в литературе. И не потому, что жаждал славы для себя. Нет, у Надира было нечто общее с моим дедом, и этого было достаточно. Он, Надир, тоже подцепил заразу оптимизма.

61

Как и Адам Азиз, как и рани Куч Нахин, Надир Хан ненавидел Мусульманскую Лигу[62]. («Кучка прихлебателей! – восклицала рани своим серебряным голоском, скользя с октавы на октаву, будто лыжник с горы. – Землевладельцы, блюдущие свои интересы! Что общего у них с мусульманами? Ползают на брюхе перед британцами, формируют правительства для них, теперь, когда Конгресс отказался это делать! – В тот год была принята резолюция „Прочь из Индии!“[63]– И кроме того, – заключала рани, – они безумцы. Иначе с чего бы им вздумалось разделить страну?»)

Миан Абдулла, Колибри, создал Свободное Исламское Собрание почти что собственными силами. Он пригласил лидеров нескольких дюжин разрозненных мусульманских группировок и предложил образовать свободную федерацию как альтернативу догматизму и продажности Лиги. Фокус удался – все явились на зов. То было первое Собрание, в Лахоре; Агра ожидала второго. Скоро шатры заполнятся участниками аграрных движений, активистами рабочих профсоюзов, видными богословами и членами региональных группировок. И будет подтверждено то, что уже прозвучало на первой ассамблее: Лига, выдвигая требование разделить Индию, говорит лишь от собственного имени. «Они повернулись к нам спиной, – гласили плакаты Собрания, – а теперь хотят, чтобы мы стояли за них!» Миан Абдулла был против раздела.

В припадке прогрессирующего оптимизма покровительница Колибри, рани Куч Нахин, ни единым словом не упомянула про тучи, сгущающиеся на горизонте. Она ни разу не указала на то, что Агра всегда была оплотом Мусульманской Лиги, она лишь изрекла примерно следующее: «Адам, мальчик мой, если Колибри хочет созвать Собрание здесь, я не собираюсь намекать ему, что лучше бы выбрать Аллахабад». Она взяла на себя все расходы, ни на что не жалуясь и ни во что не вмешиваясь; однако же, надо признаться, наживая в городе немало врагов. Рани жила не так, как другие индийские князья. Вместо охоты на куропаток[64]она поощряла ученых. Вместо скандальных гостиничных интриг она занималась политикой. Поползли сплетни: «Эти ее ученые из Университета: все знают, что у них есть дополнительная нагрузка. Они приходят к ней в спальню в темноте, и она никогда не показывает им своего пятнистого лица, а завлекает их в постель певучим голосом ведьмы!» Адам Азиз никогда не верил в ведьм. Ему было хорошо в кружке ее блистательных друзей, которые одинаково свободно владели персидским и немецким. Но Назим Азиз, которая отчасти верила в истории о рани, никогда не сопровождала его в дом княгини. «Если Бог хотел, чтобы люди говорили на многих языках, – твердила она, – почему он вложил нам в уста только один?»

Так вот и получилось, что ни один из оптимистов, соратников Колибри, не был готов к тому, что случилось. Они играли в «плюнь-попади» и не замечали, как трескается земля.

Иногда легенды творят реальность и становятся полезнее, чем факты. И, значит, согласно легенде, то есть, согласно изящной сплетне, пущенной стариками у лавки, где продают пан, – падение Миана Абдуллы свершилось из-за того, что на вокзале в Агре он купил веер из павлиньих перьев, хотя Надир Хан и предупреждал его, что это – плохая примета. Более того: в ночь новолуния Абдулла и Надир работали допоздна, и когда взошел новый месяц, оба увидели его через стекло. «Такие вещи многое значат, – рекли старики, жующие бетель. – Мы жили слишком долго, мы знаем». (Падма кивает в знак согласия.)

Штаб Собрания находился в университетском городке, на первом этаже исторического факультета. Ночная работа Абдуллы и Надира подходила к концу; Колибри жужжал на низких нотах, и у Надира разламывались зубы. На стене висел плакат, агитирующий против раздела, выражающий любимую мысль Абдуллы – то была цитата из поэта Икбала[65]: «Где

62
63
64
65

земля, чужедальняя Богу?» И вот убийцы вошли в университетский городок.

Факты: Абдулла нажил много врагов. Отношение к нему британцев было двойственным. Бригадир Додсон не желал его присутствия в городе. В дверь постучали, и Надир открыл. Шесть новых лун вплыли в комнату, шесть изогнутых ножей в руках у мужчин, одетых в черное, с масками на лицах. Двое схватили Надира, а остальные двинулись к Жужжащей Птичке.

«И в этот момент, – рассказывают старики, жующие бетель, – Колибри зажужжал на высокой ноте. Все выше и выше, йара, и глаза убийц вылезли из орбит, и члены их напряглись под черными плащами. И тогда, – о, Аллах, тогда! – запели ножи, и Абдулла возвысил голос, он жужжал высоко-высоко, как никогда раньше не жужжал. У него было крепкое тело, и длинные изогнутые клинки с трудом проходили в него, убивали с трудом; один сломался о ребро, но другие запятнались красным. Но вот – слушайте! – жужжание Абдуллы стало таким высоким, что человеческое ухо уже не улавливало его, зато ему внимали городские псы. В Агре живет восемь тысяч четыреста двадцать бродячих псов, около того. Конечно же, в ту ночь иные жрали, другие подыхали, третьи седлали сучку, а четвертые просто не слышали зова. Скажем, таких было тысячи две; значит, остается шесть тысяч четыреста двадцать собак, и все они повернулись и побежали к университету; многие неслись по железнодорожным путям с дальнего конца города. Всем известно, что это правда. Все в городе видели это, все, кроме тех, кто спал. Псы приближались с шумом, будто войско, и путь их был устлан косточками, какашками, клоками шерсти… и все это время Абдулла жужжал, жужжал и жужжал, а ножи пели. И знайте вот еще что: внезапно глаз одного из убийц треснул и вывалился из орбиты. Потом обнаружили осколки стекла, растоптанные на ковре в мелкую крошку!»

Старики рассказывают: «Когда явились псы, Абдулла уже был почти мертв, а ножи затупились… собаки ворвались, словно дикие, вскочили через окно, в котором уже не было стекол, потому что жужжание Абдуллы разнесло их вдребезги… они ломились в дверь, пока не треснула древесина… они были повсюду, баба!.. иные с перебитыми лапами, иные – плешивые, но все по большей части зубастые, а некоторые и с острыми клыками… И теперь глядите: убийцы не боялись, что им помешают, и не выставили караула, так что собаки их застигли врасплох… те двое, что держали Надир Хана, бесхребетного, пали под тяжестью обезумевших тварей; собак, наверное, шестьдесят восемь впились им в глотки… убийцы были так жутко растерзаны, что ни один человек не мог сказать, кто они такие».

«В какой-то миг, – рассказывают старики, – Надир выпрыгнул из окна и побежал. Собаки и убийцы были слишком заняты и не погнались за ним».

Собаки? Убийцы? …Не верите мне, убедитесь сами. Попробуйте что-нибудь выяснить насчет Миана Абдуллы и его Собраний. Вы обнаружите, что его история запрятана глубоко под ковер… а теперь давайте я расскажу вам, как Надир Хан, его секретарь, провел три года под циновками в доме моих родных.

В молодости он жил в одной комнате с художником, чьи картины становились все больше и больше по мере того, как он старался всю жизнь охватить своим искусством. «Только погляди на меня, – сказал он перед тем, как покончить с собой, – я хотел рисовать миниатюры, а подцепил слоновью болезнь!» Разбухшие события этой ночи ножей-полумесяцев напомнили Надир Хану его соседа, ибо жизнь, эта вредина, опять не укладывалась в натуральную величину. Она обернулась мелодрамой, и это смутило поэта.

Как Надир Хан пробежал незамеченным через ночной город? Я приписываю этот факт тому, что он был плохим поэтом, а значит, имел врожденный инстинкт выживания. Бежал он как-то застенчиво, будто извиняясь, что ведет себя, как в дешевом триллере, из тех, что продают книгоноши на железнодорожных станциях, а то и просто дают впридачу к бутылочкам с зеленым лекарством от простуды, тифа, мужского бессилия, тоски по дому и бедности… На Корнуоллис-роуд опустилась теплая ночь. В жаровне у опустевшей стоянки рикш не светились угли. Лавка, где продают пан, давно закрылась, и старики уснули на крыше, и им снилась завтрашняя игра. Страдающая бессонницей корова, лениво жуя пачку

сигарет «Ред энд уайт», прошла мимо бродяги, спящего на тротуаре, и это означало, что он проснется поутру, потому что корова не обращает внимания на спящего до тех пор, пока не наступит его смертный час. Тогда она задумчиво подталкивает его носом. Священные коровы жрут что попало.

Большой старый каменный дом моего деда, купленный на деньги, вырученные от продажи ювелирной лавки, и на приданое дочери слепого Гхани, высился в темноте на почтительном расстоянии от дороги. Позади дома был сад, окруженный стеной, а у калитки приютилась низенькая сторожка, которую задешево сдавали семье старого Хамдарда; жил там и его сын Рашид, молодой рикша. Перед сторожкой находился колодец, колесо которого вращали коровы; по оросительным каналам вода струилась оттуда к небольшому кукурузному полю, простиравшемуся до ворот в стене, что выходила на Корнуоллис-роуд. Между домом и полем пролегала небольшая канава, по берегам которой пробирались пешеходы и рикши. В Агре велорикши совсем недавно пришли на смену арбе, которую тащил человек, зажатый между оглоблями. Могли здесь проехать даже легкие двуколки, запряженные лошадьми, но уже с трудом… Надир Хан прошмыгнул в ворота, распластался на мгновение у стены и чуть не сгорел со стыда, отливая. Затем, явно расстроенный пошлостью своего решения, метнулся к кукурузному полю и спрятался там. Наполовину скрытый высохшими на солнце стеблями, он улегся на землю в позе зародыша.

Рашиду, молодому рикше, было семнадцать лет, и он возвращался из кино. Утром он видел, как двое мужчин толкали невысокую тележку, на которой были установлены домиком две огромные, написанные от руки афиши, рекламирующие новый фильм «Гае-вала», где в главной роли снимался Дев, любимый актер Рашида. «СРАЗУ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТИ НЕДЕЛЬ БЕШЕНОГО УСПЕХА В ДЕЛИ! ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ НЕДЕЛИ В БОМБЕЕ, – вопили афиши. – ВТОРОЙ ГОД ПОЛНЫЕ СБОРЫ!» Фильм представлял собой восточный вестерн. Главный герой, Дев, особой стройностью не отличавшийся, один разъезжал по равнине. Та явно напоминала Индо-Гангскую низменность. «Гае-вала» значит «коровий пастух», и Дев играл храброго парня, в одиночку, без всякой помощи, бдительно охранявшего коров. В ОДИНОЧКУ! и С ВЕРНОЙ ДВУСТВОЛКОЙ! он отбивал многочисленные стада, которые гнали по равнине на бойню, побеждал погонщиков и освобождал священных животных. (Фильм снимался для индуистской аудитории, в Дели он вызвал бунты. Члены Мусульманской Лиги гнали коров на бойню мимо кинотеатров, и их растерзала толпа). Песни и танцы были хороши, главная танцовщица – очень красивая; правда, она выглядела бы изящней, если бы ее не заставили танцевать в ковбойской шляпе вместимостью в десять галлонов. Рашид сидел на передней скамье, свистел и орал вместе со всеми. Он съел две самосы[66], сильно потратился – мать будет недовольна, зато получил удовольствие. Пока он ехал домой на своем велосипеде с коляской, Рашид отрабатывал некоторые приемы из фильма: низко свисал набок, съезжал на полной скорости с пологого склона, укрывался от врагов за коляской, как Гае-вала – за крупом коня. Наконец он въехал на пригорок, повернул руль, и, к полному его восторгу, велосипед с коляской легко влетел в ворота и заскользил по кукурузному полю. Гае-вала использовал этот трюк, подъезжая к группе погонщиков, которые посиживали себе в кустах, ни о чем не догадываясь, пили и играли. Рашид вцепился в руль и ринулся на кукурузное поле, нападая – НА ВСЕМ СКАКУ! – на беспечных погонщиков, выставив вперед заряженные пистолеты. Приближаясь к лагерю, он испустил «вопль ненависти» для пущего переполоха. Й-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я! Конечно же, он не стал по-настоящему кричать так близко от дома доктора-сахиба, но на всем скаку разинул рот в беззвучном вопле. БЛЯМ! БЛЯМ! Надир Хан никак не мог уснуть и теперь открыл глаза. И увидел – ЭЭЭЙЯЯЯ! – неясно выступающий из тьмы силуэт, несущийся на него, как почтовый поезд, и вопящий во всю глотку – впрочем, он, наверно, оглох, потому что крика не слышит! – и вскочил на ноги, раздвинув чересчур пухлые губы, чтобы заорать, и тут Рашид заметил его и тоже обрел голос. Ухая от страха в унисон, оба

66

повернулись друг к другу задом и припустили прочь. Потом остановились, заметив, что противник бежал, и уставились один на другого сквозь засохшие будылья[67]. Рашид узнал Надир Хана, заметил его порванный костюм и разволновался.

– Я – друг, – забормотал Надир вне себя. – Я должен видеть доктора Азиза.

– Но доктор спит, его нет на поле. – «Успокойся, – приказал себе Рашид, – перестань городить чепуху! Это друг Миана Абдуллы!..» Но Надир, кажется, вообще ничего не слышал, лицо его отчаянно кривилось, он старался вытолкнуть слова, застрявшие между зубов, словно куски курятины… «Моя жизнь, – наконец удалось ему выдавить, – в опасности».

И Рашид, все еще полный впечатлений от «Гае-Вала», пришел на помощь. Он провел Надира к дому, к боковой двери. Та была закрыта на задвижку и на замок, но Рашид потянул за болты, и замок выскочил. «Индийский», – прошептал он, и все стало понятно. Надир забрался внутрь, а Рашид прошипел: «Можете положиться на меня, сахиб. Никому – ни слова! Клянусь сединами моей матери».

Он приладил замок на место. Спасти секретаря, правую руку Колибри!.. Но от чего? От кого?.. Ну что ж,в жизни иногда бывает интересней, чем в кино.

– Так это он? – вопрошает Падма в некотором смятении. – Этот жирненький, мягонький, трусливый толстячок будет твоим отцом?

Под ковром

Так пришел конец эпидемии оптимизма. Утром уборщица вошла в штаб Свободного Исламского Собрания и обнаружила умолкшего Колибри на полу; его окружали следы лап и разорванные в клочья убийцы. Она закричала; но позже, когда представители власти прибыли и отбыли, ей велели все вычистить. Убрав безмерное количество собачьей шерсти, передавив бесчисленных блох, вычистив из ковра осколки разбитого стеклянного глаза, она заявила университетскому распорядителю работ, что, если такие вещи будут повторяться, следовало бы немного повысить ей жалование. Она, наверное, была последней жертвой оптимистической заразы, и в данном случае выздоровление наступило быстро, потому что распорядитель был крут и тут же уволил ее.

Убийц так и не опознали; не были поименованы и те, кто им заплатил. Майор Зульфикар, адъютант бригадира Додсона, вызвал в кампус моего деда, чтобы тот выправил своему другу свидетельство о смерти. Майор Зульфикар пообещал зайти к доктору Азизу, чтобы поделиться немногими доступными ему сведениями; мой дед высморкался и вышел вон. Шатры на площади спускались, как проколотые надежды; Собранию больше не суждено было собраться. Рани Куч Нахин слегла. Всю жизнь она не замечала болезней, а теперь позволила им вступить в свои права и долгие годы не покидала постели, наблюдая за тем, как все ее тело становится белым, будто простыня. А старый дом на Корнуоллис-роуд в те времена был полон будущих матерей и возможных отцов. Вот видишь, Падма, скоро ты все узнаешь.

С помощью моего носа (он хоть и утратил силу, которая столь недавно позволяла ему творить историю, зато обрел другие, не менее полезные свойства), развернув его в сторону прошлого, я вдыхаю воздух дедова дома в дни, последовавшие за смертью жужжащей надежды Индии; и сквозь годы долетает до меня странная смесь запахов: беспокойство, душок скрытности, связанный с расцветающими романами, и резкая вонь властного любопытства моей бабки… пока Мусульманская Лига ликует, разумеется, тайно, при виде поверженного противника, деда моего можно найти (мой нос его находит) в кабинетике, который он называет «вместилищем грома»: там он сидит каждое утро со слезами на глазах. Но то не горькие слезы утраты; Адам Азиз всего лишь платит свою цену за индианизацию и жестоко страдает от запоров. Он бросает злобные взгляды на хитроумный клистир, висящий на стене туалета.

67

Зачем я вторгаюсь в столь интимные частности? Зачем, когда я мог бы рассказать, как после смерти Миана Абдуллы Адам погрузился в работу, взяв на себя уход за больными в трущобах у железнодорожного полотна, вырывая их из рук у знахарей, которые впрыскивали перечную воду и верили, что жареные пауки излечивают слепоту; продолжая притом исполнять обязанности университетского врача; когда я мог бы описать подробно, как росла и крепла привязанность между моим дедом и его второй дочерью Мумтаз, которую мать недолюбливала из-за темного цвета кожи; отцу же, обуреваемому страстями, внутренне неудовлетворенному, истосковавшемуся по нежности, не задающей вопросов, были дороги ее мягкость, заботливость и хрупкость; зачем, когда бы я мог вместо этого описать, сколь чувствительным сделался в те времена его нос, как он беспрерывно чесался; зачем, спрашивается, решил я поваляться в дерьме? Затем, что именно в названном кабинетике находился Адам Азиз после того, как подписал свидетельство о смерти, и именно там внезапно раздался голос – тихий, робкий, смущенный голос обделенного рифмами поэта – и заговорил с ним из глубин огромной старой бельевой корзины, стоявшей в углу; изумление доктора было столь сильным, что подействовало как слабительное, и клистирное сооружение так и осталось висеть на своем гвозде. Рашид, юный рикша, завел Надир Хана во «вместилище грома» через черный ход, и поэт спрятался в бельевой корзине. Когда застигнутый врасплох сфинктер моего деда раскрылся, слуха его достигла мольба об убежище, заглушенная простынями, грязным бельем, старыми рубашками и смущением молящего. Вот так Адам Азиз и решил спрятать Надир Хана.

И тут уже начинает припахивать скандалом, потому что Достопочтенная Матушка Назим думает о своих дочерях: об Алии, которой двадцать один год; о черной Мумтаз, девятнадцатилетней; и о прелестной, порхающей Эмералд, которой нет еще пятнадцати, и которая, однако, кидает на мужчин такие взгляды, какие старшим сестрам и не снились. Игроки в «плюнь-попади», и молодые рикши, и парни, что возят по городу тележки с афишами новых фильмов, и студенты университета – все называют трёх сестер «Тин Батти», Три Огонька… и как может Достопочтенная Матушка позволить, чтобы чужой мужчина обитал в том же доме, что и степенная Алия, Мумтаз, с ее смуглой, светящейся кожей, и Эмералд с лукавым взором? «Ты тронулся умом, муженек; эта смерть повредила тебе рассудок». Но Азиз был непреклонен: «Он останется». В подполе… ведь тайники – ключевая особенность индийской архитектуры, и в доме Азиза имеются обширные подземные покои, куда можно попасть через люки в полу, прикрытые коврами и циновками… Надир Хан вслушивается в неясный рокот ссоры и страшится за свою судьбу. Боже мой (я нюхом чую мысли поэта с потными ладошками), мир сошел с ума… да люди ли мы вообще в этой стране? Или скоты? И если мне придется уйти, долго ли дожидаться, пока те ножи явятся за мною?.. В мозгу у него мелькают образы веера из павлиньих перьев – молодого месяца, увиденного сквозь стекло, – и преображаются в колющие, покрытые красным клинки… Наверху Достопочтенная Матушка бубнит: «Дом полон молодых, как-его, незамужних девиц: так-то ты заботишься о чести своих дочерей?» И – терпкий дух лопнувшего терпения: великий, всесокрушающий гнев Адама Азиза вспыхивает огнем, и вместо того, чтобы указать, что Надир Хан будет жить в подполе, покрытый ковром, и вряд ли сможет оттуда запятнать честь дочерей; вместо того, чтобы воздать должное безглагольному, безгласному барду и его чувству приличия, которое столь велико, что, даже если ему и приснится, будто он делает девушке рискованное предложение, бедняга покраснеет во сне; вместо того, чтобы опереться на голос рассудка, мой дед ревет: «Замолчи, женщина! Этому человеку нужно убежище, и он останется здесь». И, словно стойкие, неистребимые духи, – тяжелое облако решимости обволакивает мою бабку, и она изрекает: «Очень хорошо. Ты требуешь от меня, как-его, молчания. Значит, отныне и навсегда мои уста, как-его, не произнесут более ни слова». И Азиз завывает: «О проклятие, женщина, не морочь нам голову своими безумными клятвами!»

Но уста Достопочтенной Матушки сомкнулись, и опустилась тишина. Запах тишины, будто вонь от тухлого гусиного яйца, наполняет мои ноздри; заглушая все остальное, она, эта

тишина, охватывает всю землю. Пока Надир Хан хоронится в сумеречном подземном мире, хозяйка дома тоже укрывается за глухою стеной безмолвия. Вначале мой дед выстукивал стену в поисках трещин, но не нашел ни одной. Наконец он сдался и стал ждать хоть каких-то слов, в которых отразились бы частички ее существа, так же, как когда-то вожделел к небольшим отрезкам плоти, которые видел сквозь продырявленную простыню; а молчание наполняло весь дом, от стены к стене, от пола до потолка; даже мухи перестали жужжать, и комары не зудели перед тем, как впиться в тело, и не шипели во дворе гуси. Дети сначала говорили шепотом, потом умолкли совсем, а на кукурузном поле юный рикша Рашид испускал безмолвный «вопль ненависти» и, некогда поклявшись сединами матери, хранил свой собственный обет молчания.

В это-то болото безмолвия однажды вечером забрел коротышка с головой такой же плоской, как и надетое на нее кепи; с ногами, кривыми, как тростинки на ветру; нос почти касался вздернутого подбородка, и голосок поэтому был тонким и пронзительным – как же иначе, ведь ему приходилось протискиваться через такую узкую щель между гортанью и нависающей над ней челюстью… был он настолько близорук, что двигался по жизни маленькими шажками, завоевав себе репутацию усердного, но тупого служаки, и это нравилось начальникам: они чувствовали, что им хорошо служат, но ничем не угрожают; человечек в накрахмаленном, отглаженном мундире, пропахшем одеколоном «Бланко» и моральными устоями – и все же, несмотря на его вид тряпичной куклы из балаганчика, над ним витал ни с чем не сравнимый аромат успеха: майор Зульфикар, человек с большим будущим, явился, как и обещал, чтобы поделиться немногими доступными ему сведениями. Убийство Абдуллы и подозрительное исчезновение Надир Хана не выходили у него из головы, и поскольку он знал о том, что и Адам Азиз был заражен микробом оптимизма, то принял тишину, царящую в доме, за траурное молчание и довольно быстро удалился. (Тем временем Надир ютился в подвале вместе с тараканами). Сидя неподвижно в гостиной среди пятерых детей, положив кепи и стек на рентгеновский аппарат, под испытующими взорами юных Азизов, чьи изображения в натуральную величину были развешаны по стенам, майор Зульфикар влюбился. Он был близорук, но не слеп, и в до невозможности взрослом взгляде юной Эмералд, самого яркого из «трех огоньков», сумел прочесть, что эта девчушка разгадала его будущее и ради грядущего блеска простила ему его внешность; и еще до того, как покинуть дом, Зульфикар решил жениться на ней, выдержав приличествующий срок. («Это она и есть? – спрашивает Падма. – Эта развязная не по годам девчонка – твоя мать?» Но другие матери, ждущие своего часа, другие будущие отцы снуют туда-сюда среди молчания).

В это топкое, бессловесное время проснулись и чувства старшей, степенной Алии, и Достопочтенная Матушка, затворившая себя в кладовке и на кухне, запечатавшая свои уста, никак не могла, из-за принесенного обета, выразить опасения по поводу молодого коммерсанта, торгующего прорезиненными и кожаными изделиями, который начал навещать ее дочь. (Адам Азиз всегда настаивал, чтобы его дочерям позволялось дружить с молодыми людьми). Ахмед Синай – «Ага!» – торжествующе вопит Падма, услышав знакомое имя, – встретил Алию в университете и был вроде бы достаточно умен для начитанной, развитой девушки, на лице которой нос моего деда казался выражением слишком многия мудрости; но Назим Азиз не особенно доверяла этому ухажеру, потому что в двадцать лет он уже успел развестись. («Единожды ошибиться может всякий», – сказал ей Адам, и опять едва не вспыхнуло сражение, ибо ей показалось, будто в голосе доктора зазвучали слишком личные нотки. Но тут Адам добавил: «Через год-два этот развод забудется, и тогда мы сыграем первую свадьбу в нашем доме, в саду поставим большой шатер, пригласим певцов, накупим сластей и все такое прочее». А что там ни говори, подобная мысль была Назим по душе). И вот, блуждая по обнесенным стенами садам тишины, Ахмед Синай и Алия общались без слов, но хотя все ждали, что он сделает предложение, – безмолвие, похоже, сковало и ему язык, так что вопрос так и не был задан. Именно в то время лицо Алии отяжелело, челюсть отвисла – от этого унылого выражения ей так и не удалось избавиться до самой кончины.

(«Ну что ты, – стыдит меня Падма, – разве можно такими словами описывать свою почтенную матушку»).

И еще одно: Алия унаследовала от матери склонность к полноте. С годами она раздулась, как шар.

А Мумтаз, которая вышла из материнского лона черной, как полночь? Мумтаз умом не блистала, не была она и красавицей, как Эмералд, зато была она доброй, послушной и одинокой. С отцом она проводила больше времени, чем другие сестры; разгоняла его дурное настроение, которое в те дни часто усиливалось из-за того, что нос у доктора беспрерывно чесался; она же и взяла на себя заботу обо всех нуждах Надир Хана: каждый день спускалась в его подземный мир, таскала подносы с едой и щетки, даже опорожняла его персональное «вместилище грома», чтобы и золотарь не догадался о присутствии в доме чужого. Когда Мумтаз сходила вниз, Надир Хан опускал глаза; и в этом немом доме они ни разу не обменялись ни словом.

Что, бишь, говорили игроки в «плюнь-попади» о Назим Азиз? «Она подглядывает сны дочерей, дабы знать, что замышляют девчонки». Да, иного объяснения нет – в нашей стране происходили и более странные вещи, откройте любую газету да почитайте пикантные репортажи о чудесах в той ли, иной деревне, – да, Достопочтенная Матушка начала видеть сны своих дочерей. (Падма принимает это на веру не моргнув глазом; но то, что другие проглотят, как ладду[68], и не подавятся, она моментально отвергнет. У всякой публики своя структура веры). Итак, уснув ночью в своей постели, Достопочтенная Матушка навещала сны Эмералд, где натыкалась на другие сны – на тайную фантазию майора Зульфикара: большой современный дом с ванной около постели. Это было пределом амбиций майора, и таким способом Достопочтенная Матушка выяснила не только то, что ее дочка тайком встречается со своим Зульфи в местах, где можно говорить, но и то, что амбиции Эмералд идут гораздо дальше. И (почему бы и нет?) в снах Адама Азиза она увидала, как муж ее совершает свой скорбный путь вверх по какой-то горе в Кашмире, а в животе у него дыра величиной с кулак, и догадалась, что Азиз ее разлюбил, а также предвосхитила его смерть; годы спустя, услышав, как он умер, Назим произнесла: «О, я так и знала».

…Еще немного, думала Достопочтенная Матушка, и наша Эмералд расскажет своему майору о госте, живущем в подполе, и тогда я снова обрету способность говорить. Но вот однажды ночью она вторглась в сны своей дочери Мумтаз, чернавки, которую так и не смогла полюбить из-за того, что кожа ее была темна, как у рыбачки с юга, и поняла: неприятности на этом не кончатся, потому что Мумтаз Азиз, как и ее подковерный воздыхатель, влюбилась.

Доказательств не было. Вторжение в сны – или материнская осведомленность, или женская интуиция, называйте это как хотите, – не имеет силы в суде, а Достопочтенная Матушка знала, что обвинить дочь в любовных шашнях под родительским кровом – дело серьезное. Вследствие чего Достопочтенная Матушка почувствовала себя несгибаемой и крепкой, как сталь, и решила ничего не предпринимать, не нарушать молчания: пусть Адам Азиз сам убедится, как новомодные идеи губят его детей – да, пускай сам все обнаружит после того, как он всю жизнь затыкал рот ей, приличной женщине, воспитанной в старых понятиях. «Ох, сильна баба», – замечает Падма, и я соглашаюсь.

– Ну и что? – спрашивает Падма. – Так по ее и вышло?

– Да, в некотором роде так все и вышло.

– Были любовные шашни? В подполе? И даже сводни не понадобилось?

Подумай об обстоятельствах – смягчающих обстоятельствах, в полном смысле этого слова. В подполе позволительно то, что при ярком дневном свете покажется нелепым или даже скверным.

– Жирный поэт сотворил это с бедной чернавкой? Сотворил?

68

Он просидел внизу долго – достаточно долго, чтобы начать разговаривать с проворными тараканами или трепетать от страха при мысли, что в один прекрасный день его попросят уйти, или видеть во сне ножи-полумесяцы и завывающих псов, или желать снова и снова, чтобы Колибри воскрес и сказал ему, что делать дальше; или обнаружить, что в подполье не пишутся стихи, – и вот девушка приносит еду; не чинясь, убирает ночные горшки – и ты опускаешь глаза, но все же видишь щиколотку, изящную, стройную, окутанную сиянием, темную, как ночи в подземелье…

– Я и не думала, что он способен на такое, – восхитилась Падма. – Этот вялый, ни на что не годный толстяк!

Но на самом деле в доме, где у каждого, даже у беглеца, что прячется в подвале от своих безликих врагов, пересыхает во рту и язык прилипает к нёбу; где юные сыновья вынуждены уходить в кукурузное поле, к молодому рикше, чтобы судачить о шлюхах, сравнивать, чей член длиннее, и робко делиться мечтами о карьере в кино (Ханиф спит и видит такую карьеру, чем приводит в ужас его зрящую чужие сны матушку, которая считает, что кино – это большой бордель); где жизнь обернулась гротеском, когда история вторглась в нее; на самом деле во мраке подземелья беглец не может совладать с собой, взгляд его поднимается выше, к тонким ремешкам сандалий, мешковатым шароварам, широкому кафтану; выше, к повязанной из скромности дупатте; еще выше, туда, где глаза встречаются – и тогда…

– Что тогда? Ну же, баба, что?

Девушка робко улыбается ему.

– Что?

И нижний мир процветает улыбками, и что-то начинается.

– Ах, так? Ты хочешь сказать, что это – все?

– Да, все: до того дня, когда Надир Хан добивается встречи с моим дедом – слова едва доносятся из тумана безмолвия – и просит руки его дочери.

– Бедняжка, – заключает Падма. – Кашмирские девушки обычно белые, как горный снег, а она уродилась черной. Ну что ж: цвет кожи, возможно, помешал бы ей сделать хорошую партию, так что этот Надир не дурак. Теперь его не смогут выгнать, обязаны кормить да укрывать, а ему-то, червяку толстому, всех делов – зарыться в землю поглубже. Да, похоже, он вовсе не дурак.

Мой дед всячески пытался убедить Надир Хана, что опасности больше нет – убийцы мертвы, да и истинной целью их был Миан Абдулла; но Надир Хан видел во сне поющие ножи и умолял: «Еще рано, доктор-сахиб, пожалуйста, разрешите остаться ненадолго». И вот однажды вечером, в конце лета 1943 года – вновь стояла засушливая погода – мой дед, чей голос казался далеким и призрачным в этом доме, где произносилось так мало слов, созвал детей в гостиную, увешанную их портретами. Войдя, они обнаружили, что матери нет – она предпочла затвориться в своей комнате, опутанной паутиной молчания, – зато явились законник и (Азиз, хоть и не по доброй воле, вынужден был исполнить желание Мумтаз) мулла: обоих прислала болящая рани Куч Нахин, оба были «в высшей степени достойны доверия». И там была их сестра Мумтаз в наряде невесты, и рядом с ней, напротив рентгеновского аппарата, восседал гладковолосый, тучный, донельзя смущенный Надир Хан. Таким образом, на первой свадьбе в доме не было ни шатров, ни певцов, ни сладостей, и гостей самый минимум; а когда обряд закончился и Надир Хан откинул покрывало с лица новобрачной, Азиз при этом ощутил внезапный шок, снова на какое-то мгновение стал молодым, опять очутился в Кашмире, на помосте, по которому проходили люди и бросали рупии ему на колени – мой дед взял со всех присутствующих клятву не выдавать того, что в подполе обретается новоявленный зять. Эмералд поклялась последней, с явной неохотой.

После чего Азиз с сыновьями спустили через люк, прорезанный в гостиной, разные предметы обстановки: ковры, и подушки, и лампы, и большую, удобную кровать. И наконец Надир и Мумтаз удалились под своды подвала: люк захлопнулся, ковер развернули и

положили на место, и Надир Хан, любящий и нежный муж, забрал супругу в свой нижний мир.

Мумтаз Азиз стала вести двойную жизнь. Днем она была незамужней девушкой, жила скромно и целомудренно в доме своих родителей, весьма посредственно училась в университете, обладая зато усидчивостью, благородством и терпением, которые отличали ее всегда, даже когда на ее пути встречались говорящие бельевые корзины; даже когда ее сплющивало, будто рисовый блин; зато ночью, спускаясь через люк, она входила в озаренный светом ламп, уединенный брачный покой, который тайный ее супруг имел обыкновение называть «Тадж-Махал», потому что люди звали Тадж-биби ту, прежнюю Мумтаз – Мумтаз Махал, жену Шах Джахана, чье имя значило «повелитель мира»[69]. Когда она умерла, супруг построил ей мавзолей, увековеченный на почтовых открытках и коробках шоколадных конфет; наружные коридоры его воняют мочой, стены покрыты граффити, а крики посетителей и гидов эхом отдаются под сводами, хотя всюду имеются надписи на трех языках с просьбой соблюдать тишину. Как Шах Джахан и его Мумтаз, Надир со своей смуглой леди лежали рядышком, и инкрустированная лазуритом вещица составляла им компанию – прикованная к постели, умирающая рани Куч Нахин послала им в качестве свадебного подарка изумительно вычеканенную, изукрашенную лазуритом и другими драгоценными камнями серебряную плевательницу. В своем уютном, озаренном светом ламп, уединенном мирке муж и жена играли в игру стариков.

Мумтаз готовила для Надира пан, но самой ей этот вкус не нравился. Она цыркала струями нибу-пани[70]. Его фонтанчики были красными, ее – лимонного цвета. То было самое счастливое время в ее жизни. Как она сама сказала потом, когда окончилось великое безмолвие: «В конце концов у нас пошли бы дети, просто тогда это было неудобно, вот и все». Мумтаз Азиз всю жизнь любила детей.

Тем временем Достопочтенная Матушка месяц за месяцем жила в тисках молчания, настолько полного, что даже распоряжения слугам отдавались знаками; однажды повар Дауд глазел на нее, стараясь понять ее бешеную, невразумительную жестикуляцию, в результате чего упустил из виду кипящую подливу; та сбежала и пролилась ему на ногу, превратив ступню в яичницу из пяти пальцев; он открыл было рот, чтобы завопить, но не смог издать ни звука, после чего окончательно убедился, что старая карга – настоящая ведьма, и со страху не решился покинуть службу. Так он и оставался в доме до самой своей смерти, ковыляя по двору и отбиваясь от гусей.

Времена выдались тяжелые. Засуха привела к нормированию продуктов, множились постные дни и дни без риса, и в такой обстановке трудно было кормить лишний подпольный рот. Достопочтенная Матушка вынуждена была основательно покопаться в своей кладовке, и злость ее загустела, будто соус на медленном огне. Из бородавок на лице полезли волоски. Мумтаз с беспокойством наблюдала, как мать от месяца к месяцу раздается вширь. Невысказанные речи разбухали внутри… Мумтаз казалось, будто кожа у матери вот-вот лопнет.

А доктор Азиз целыми днями не бывал дома, стараясь держаться подальше от мертвящей, отупляющей тишины, так что Мумтаз, проводившая ночи в подполье, очень редко виделась с отцом, которого любила; Эмералд не нарушила клятву и не выдала майору семейную тайну, зато и сама скрыла от домашних свои отношения с ним, что, по ее мнению, было вполне справедливо; а на кукурузном поле Мустафа, и Ханиф, и Рашид, юный рикша, апатично ждали перемен; дом на Корнуоллис-роуд плыл себе по волнам времени, пока не достиг 9 августа 1945 года – и тут кое-что случилось.

Для семейной истории, конечно, существуют свои собственные диетические правила. Можно поглотить и переварить только дозволенные ее части, порции прошлого,

69
70

предписанные халалом[71], куски, из которых выпущена алая кровь. Жаль, что от этого истории получаются не такими сочными; так что я, пожалуй, первым и единственным из моей семьи решусь законами халала пренебречь. Не позволяя ни единой капли крови вытечь из плоти рассказа, я приближаюсь к запретной теме и неустрашимо двигаюсь вперед.

Что же случилось в августе 1945 года? Умерла рани Куч Нахин, но не об этом я хочу рассказать, хотя на смертном одре она так побелела, что было трудно разглядеть ее на фоне простыней; исполнив свое предназначение и внедрив в мою историю серебряную плевательницу, она вовремя удалилась… да и муссоны в 1945 году не подвели. Орде Вингате и его чиндиты, а также армия Субхаш Чандры Боса[72], воюющая на стороне японцев, шлепали по бирманским джунглям под непрекращающимися дождями. Участники ненасильственного сопротивления в Джалландхаре[73], мирно лежа на рельсах, тоже мокли до костей. Трещины в иссохшей, спекшейся земле стали затягиваться; двери и окна в доме на Корнуоллис-роуд были подоткнуты полотенцами, которые приходилось постоянно выжимать и подкладывать заново. Придорожные пруды кишели комарами. А подвал – Тадж-Махал смуглянки Мумтаз – отсырел, и она в конце концов захворала. Несколько дней она никому ничего не говорила, но, видя, как ввалились и покраснели у нее глаза, как бьет ее лихорадка, Надир, испугавшись, что это воспаление легких, упросил ее показаться отцу. Следующие несколько месяцев она провела в своей девичьей постели, и Адам Азиз сидел у изголовья дочери, клал ей на лоб холодные компрессы и старался сбить температуру. 6 августа наступил перелом. 9 августа Мумтаз настолько оправилась, что смогла принимать твердую пищу.

И тогда мой дед извлек старый кожаный чемоданчик с буквами ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, вытисненными внизу: поскольку дочь так ослабла после болезни, он решил подвергнуть ее тщательному медицинскому осмотру. Когда доктор расстегнул чемоданчик, бедняжка ударилась в слезы.

(Вот оно начинается, Падма: час настал.)

Через десять минут долгий век тишины закончился навсегда – дед мой с ревом выскочил из комнаты, где лежала больная. Воплями скликал он жену, дочерей, сыновей. У доктора были могучие легкие, и звуки достигли ушей Надир Хана в его заточении. Ему нетрудно было догадаться, чем вызван переполох.

Семья собралась в гостиной, вокруг рентгеновского аппарата, под вечно юными фотографическими портретами. Азиз на руках принес туда Мумтаз и усадил ее на кушетку. На лицо его было страшно смотреть. Представляете, что творилось у него в носу? Вот какую бомбу должен был он взорвать: после двух лет супружества дочь его оставалась девственницей.

Прошло три года с тех пор, как Достопочтенная Матушка говорила в последний раз: «Дочка, это правда?» Тишину, клочьями паутины обметавшую углы дома, наконец унес ветер; но Мумтаз просто кивнула головой: да, правда.

Потом она заговорила. Сказала, что любит мужа, а то, другое, со временем тоже наладится. Он – хороший человек, и когда будет можно иметь детей, уж как-нибудь постарается. Сказала, что это в браке не главное, так она думает, поэтому она и не хотела ни с кем делиться, и отец напрасно так громко кричит об этом при всех. Она сказала бы еще больше, но Достопочтенную Матушку прорвало.

Слова, скопившиеся за три года, изверглись из нее (хотя плоть, растянувшаяся, чтобы их удержать, ничуть не уменьшилась). Дед стоял недвижимо рядом с рентгеновским аппаратом все время, пока бушевала буря. Кто все это измыслил? Какой сумасшедший дурак впустил в дом этого труса, который даже и не мужчина? Жил здесь три года, как-его, птичкой небесной, на всем готовом – а тебе в голову хоть раз пришло, каково оно, как-его,

71
72
73

стряпать обед без мяса; ты когда-нибудь имел хоть какое-нибудь представление о том, сколько стоит рис? Кто тут раззява, да, раззява, доживший до седых волос; кто допустил этот позорный брак? Кто отправил родную дочь в постель, как-его, к этому подонку? Чья голова набита проклятой ерундой, как-его, всякими мудреными исхищрениями; у кого мозги так размякли от диких чужестранных идей, что он, не дрогнув, толкнул собственное дитя на столь противный природе союз? Кто всю жизнь гневил Бога, как-его, и на чью голову обрушилась кара? Кто навлек несчастье на этот дом?.. Так она честила моего деда целый час и девятнадцать минут, а когда выдохлась, в тучах тоже иссякла вода и во всем доме стояли лужи. Но еще до того, как она замолчала, ее младшая дочь Эмералд повела себя чрезвычайно странно.

Эмералд подняла руки к вискам, сжала их в кулаки, вытянув указательные пальцы. Пальцы внедрились в ушные раковины, и это действие, казалось, вселило в Эмералд жизнь, вырвало ее из кресла – и вот она бежит, зажимая уши пальцами, бежит – ВО ВЕСЬ ОПОР! – не набросив дупатты, выскакивает на улицу, шлепает по лужам, мимо стоянки рикш, мимо лавки, где продают пан, и откуда уже начали потихонечку выбираться старики, чтобы подышать чистым, свежим воздухом, какой бывает после дождя; стремительный ее бег вверг в изумление уличных мальчишек, которые приготовились уже к своей излюбленной игре – скакать туда и сюда между струями бетеля; виданое ли дело, чтобы молодая госпожа, тем паче из сестер «Тин Батти», бегала одна, как безумная, по раскисшим от ливня улицам, заткнув уши пальцами и даже не накинув на плечи дупатты? Нынче города полны современных, одетых по моде девиц без дупатты; но в ту пору старики горестно зацокали языками, ведь женщина без дупатты – бесчестная женщина, и зачем, спрашивается, Эмералд-биби решила оставить дома свою честь? Старики пребывали в недоумении, но Эмералд знала, что делает. В этом свежем, чистом воздухе, какой бывает после дождя, она ясно и четко увидела, что источник всех семейных несчастий – трусливый толстячок (да, Падма), укрывшийся в подполе. Надо избавиться от него – и все снова будут счастливы… Эмералд бежала не переводя дыхания до самого военного городка. Там расквартированы войска, там она найдет майора Зульфикара! Нарушив клятву, тетка моя вбежала к нему в кабинет.

Зульфикар – славное мусульманское имя. Так звался обоюдоострый меч Али, племянника Мухаммада[74]. Подобного оружия не видывал свет.

О, да: кое-что случилось в мире в этот день. Оружие, какого не видывал свет, обрушилось на желтых людей в Японии[75]. А в Агре Эмералд применила собственное секретное оружие. Было оно кривоногим коротышкой с плоской головою и с носом, который почти касался подбородка; оно, это оружие, мечтало о большом современном доме с канализацией, водопроводом и ванной возле кровати.

Майор Зульфикар не был окончательно уверен в том, что именно Надир Хан стоял за убийством Колибри, но ему не терпелось что-нибудь обнаружить. Когда Эмералд рассказала ему о подземном Тадж-Махале, выросшем посреди Агры, он так возликовал, что даже забыл рассердиться, и ринулся на Корнуоллис-роуд с отрядом из пятнадцати человек. С Эмералд во главе они ворвались в гостиную. Моя тетка: предательство на прекрасном лице, не прикрытые дупаттой плечи и широкие розовые шаровары. Азиз молча смотрел, как солдаты скатывают ковер и поднимают громоздкую крышку люка, а моя бабка пыталась утешить Мумтаз: «Женщины должны выходить замуж за мужчин, – говорила она. – Не за мышей, как-его-там! Нет стыда в том, чтобы оставить этого, как-его-там, червя». Но дочка продолжала плакать.

А Надира-то в подполье и не оказалось! Догадавшись по первому воплю Азиза, что ожидает его, не в силах совладать со смущением, накатившим, как принесенный муссоном дождь, он исчез. Остался открытым люк в одном из туалетов – да, в том самом, почему бы и

74

75

нет, где он обратился к доктору Азизу из своего гнездышка в бельевой корзине. Деревянное сооружение, «вместилище грома», «трон», завалилось набок, и пустой эмалированный горшок выкатился на коврик из кокосового волокна. Вторая дверь из туалета выходила на канаву у кукурузного поля, и дверь эта была открыта. Ее запирали снаружи, но только на сделанный в Индии замок, так что взломать ее не составило труда… а в уединенном Тадж-Махале, озаренном мягким светом ламп, – серебряная плевательница и записка, адресованная Мумтаз и подписанная ее мужем, содержащая три слова, шесть слогов, три восклицательных знака:

«Талак! Талак! Талак!»

По-английски не передать громового звучания этих слов на урду, и все же вы знаете, что они означают. «Я развожусь с тобой. Я развожусь с тобой. Я развожусь с тобой.»[76]

Надир Хан поступил как порядочный человек.

О, ужасный гнев майора Зульфи, когда он понял, что птичка улетела! Вот как он видел мир: сквозь красную пелену. О, ярость, сравнимая лишь с неистовством моего деда, хотя и выраженная отнюдь не столь величаво! Вначале майор Зульфи скакал вверх и вниз, обуреваемый приступами бессильной злобы; наконец овладел собой и бросился через туалетную комнату, мимо трона, вдоль кукурузного поля к воротам, что выходили на улицу. Нигде не видно улепетывающего, пухлого, длинноволосого, безрифменного поэта. Взгляд налево: никого. Направо: ноль. Взбешенный Зульфи сделал свой выбор, метнулся мимо стоянки велорикш. Старики играли в «плюнь-попади», и плевательница стояла посреди дороги. А мальчишки скакали туда-сюда между струями бетелевого сока. Майор Зульфи бежал, вперед-вперед-вперед. Между стариками и их целью оказался он, но ему не хватило сноровки уличных сорванцов. Ах, злополучный миг: низко летящая плотная струя красного сока угодила ему прямо в промежность. Пятно в форме пятерни вцепилось в ширинку форменных штанов, надавило, остановило майора на всем скаку. Майор Зульфи застыл во всесокрушающем гневе. О, минута еще более злая: другой игрок, решив, что сумасшедший вояка пробежит себе мимо, пустил вторую струю. Вторая красная длань пожала первую, и тем преисполнился день майора Зульфи… неспешно, рассчитывая каждое движение, он подошел к плевательнице и пинком опрокинул ее в пыль. Прыгнул на нее – раз! другой! еще! – смял в лепешку, стараясь не показывать, что ушиб ногу. Затем, собрав остатки достоинства, захромал прочь, к машине, припаркованной у дедова дома. Старики подняли подвергнутый надругательству резервуар и принялись тычками распрямлять его.

– Теперь, когда я выхожу замуж, – толковала Эмералд своей сестре Мумтаз, – просто некрасиво с твоей стороны, что ты даже не пытаешься выглядеть веселой. И ты должна поговорить со мной, обо всем рассказать. – Тут Мумтаз, хотя и улыбнулась младшей сестренке, но все же подумала, что Эмералд совсем обнаглела, раз ведет такие речи, и, может быть, нечаянно, чуть сильней надавила на палочку хны, которой красила подошвы невесте. – Эй! – взвизгнула Эмералд. – Не дури! Я просто подумала, что мы бы могли как-нибудь подружиться.

После исчезновения Надир Хана отношения между сестрами стали несколько натянутыми, и Мумтаз отнюдь не обрадовалась, когда майор Зульфикар (который решил не предъявлять моему деду обвинения в укрывательстве разыскиваемого преступника и все уладил с бригадиром Додсоном) испросил соизволения взять в жены Эмералд и получил оное. «Это похоже на шантаж, – думала она. – И потом, как насчет Алии? Старшая дочь не должна выходить замуж последней, а поглядите только, с каким терпением ждет она своего коммерсанта». Но Мумтаз промолчала, улыбнулась мягко, снисходительно, и все присущее ей от природы прилежание употребила на подготовку к свадьбе, согласившись даже, что следует веселиться вместе со всеми. Алия же продолжала ждать Ахмеда Синая. («Она никогда не дождется», – утверждает Падма: верно, так и есть).

76

Январь 1946 года. Шатры, сласти, гости, песни, невеста в обмороке, церемонный, внимательный жених; прекрасная свадьба… во время которой коммерсант, торгующий кожей, Ахмед Синай, вдруг обнаружил, что до крайности увлечен беседой с недавно разведенной Мумтаз. «Вы любите детей? – Какое совпадение, я тоже…» – «И вы так и не заимели ребенка, бедная вы моя? Ну, по правде говоря, моя жена не могла…» – «Ах, неужели, какое горе для вас, и у нее, наверное, был скверный нрав!» – «О, чертовски скверный… ах, простите. Сильные чувства увлекли меня, заставили забыться». – «Ничего страшного, не стоит переживать. Она била тарелки и все такое?» – «Била ли она тарелки? Однажды мы целый месяц ели с газеты!» – «Ах, нет, Боже мой, что за небылицы вы рассказываете». – «Ах, конечно, вы такая умная, вас не проведешь. Но тарелки она все-таки била». – «Бедный вы, бедный». – «Нет, это вы бедная, бедная». А в мыслях: «Такой милый парень – а с Алией всегда казался ужасно скучным…» И: «…Эта девочка, я даже не взглянул на нее ни разу, но, Боже правый, теперь…» И: «…сразу видно, он любит детей, и я бы могла…» И: «…что такого, что кожа темная…» Все заметили, что, когда дело дошло до песен, Мумтаз нашла в себе силы и стала подпевать, зато Алия не разжимала губ. Ей было больнее, чем ее отцу в Джаллианвала Багх, хотя на ее теле и не осталось никакого видимого знака.

«Что ж, печальная сестричка, ты все же сумела повеселиться».

В июне того же года Мумтаз вторично вышла замуж. Ее сестра, последовав примеру матери, не сказала с ней ни слова до тех пор, пока, незадолго до смерти обеих, не увидела возможности отомстить. Адам Азиз и Достопочтенная Матушка безуспешно пытались убедить Алию, что такие вещи случаются, и лучше обнаружить это сейчас, чем после замужества, и что Мумтаз глубоко задета и ей нужен мужчина, чтобы прийти в себя… и потом, Алия ведь такая умница, с ней все будет хорошо.

– Но все-таки, все-таки, – твердила Алия, – невозможно же выйти замуж за книгу.

– Поменяй имя, – посоветовал жене Ахмед Синай. – Пора начать все сначала. Выбрось в окошко Мумтаз и ее Надир Хана, а я стану звать тебя по-другому. Амина[77]. Амина Синай: ну, как, нравится?

– Как скажешь, так и будет, супруг, – ответила моя мать.

«В конце-то концов, – писала умница Алия в своем дневнике, – кому охота выходить замуж и покоряться чужой воле? Только не мне, нет, никогда».

Миан Абдулла был фальстартом для многих оптимистов; его секретарь (чье имя запрещено было произносить в доме моего деда) – заблуждением для моей матери. Но в годы засухи многие посеянные семена не взошли.

– Так что же случилось с толстячком? – сердится Падма. – Ты что, не собираешься об этом рассказывать?

Публичное оглашение

Тогда начался несбыточный январь, и время как будто застыло, и такой неподвижной казалась его поверхность, словно 1947 год и вовсе не наступал. (Хотя, конечно же, на самом-то деле…) В этом месяце министерская миссия[78]– старый Петик-Лоуренс, умный Криппс, воинственный А.В. Александер – убедилась, что ее план передачи власти провалился. (Но, конечно же, на самом-то деле всего через несколько месяцев…) В этом месяце вице-король Уэйвелл[79]понял, что он – человек конченый, выброшенный на свалку, или, по нашему меткому выражению, спекшийся. (И это, конечно же, на самом-то деле только ускорило ход событий, поскольку на его место пришел последний из вице-королей,

77
78
79

который…) В этом месяце мистер Эттли[80]был вроде бы сверх меры поглощен делами, решая будущее Бирмы совместно с господином Аунг Саном[81]. (Хотя, конечно же, на самом-то деле он инструктировал последнего вице-короля перед тем, как было объявлено о его назначении; будущий последний вице-король встретился с королем и получил чрезвычайные полномочия, так что скоро, скоро…) В этом месяце Учредительное собрание[82]самораспустилось, так и не учредив Конституции. (Но, конечно же, на самом-то деле граф Маунтбеттен[83], последний вице-король, вот-вот заявится к нам с неумолчным тиканьем своих часов, с солдатским ножом, который натрое раскроит наш субконтинент; с женой, которая тайком поедала цыплячьи грудки, запершись в сортире). И посреди этой зеркальной неподвижности, сквозь которую невозможно разобрать, как с натугой поворачиваются шестеренки большой машины, моя мать, новоявленная Амина Синай, которая, на первый взгляд, тоже не двигалась и не менялась, хотя великие дела творились у нее под кожей, однажды утром проснулась с головой, гудящей от бессонницы, и языком, обложенным от сна, который так и не приснился, и произнесла, сама того не желая: «Что здесь делает солнышко, о Аллах? Оно встало не там, где надо».

…Я вынужден прервать рассказ. Не хотел я возвращаться к сегодняшнему дню, потому что Падма начинает нервничать, как только повествование мое зацикливается на себе самом, как только, подобно неопытному кукольнику, я выставляю на обозрение руки, что дергают за веревочки; но я попросту обязан выразить свой протест. И вот, вторгаясь в главу, по счастливой случайности названную «Публичное оглашение», я желаю огласить (в самых по возможности сильных выражениях) следующее предупреждение для всех, нуждающихся в лечении: «Некий доктор Н.К. Балига, – собираюсь прокричать я – прокричать с крыш через громкоговорители, установленные на минаретах! – попросту шарлатан. Следует заточить его, отрубить ему голову, выбросить из окошка. Или хуже: подвергнуть собственному его шарлатанскому лечению – пусть гнойные прыщи и проказа выступят по всему его телу из-за неверно прописанных пилюль. Чертов дурак, – подчеркиваю я свою мысль, – не видит дальше собственного носа!»

Выпустив пар, я должен предоставить моей матушке еще немного поразмыслить над странным поведением солнца и объяснить, что наша Падма, обеспокоенная моими заявлениями о том, что я разваливаюсь на части, втайне доверилась доктору Балиге – этому шаману! этому травнику! – и в итоге проклятый шарлатан, который недостоин того, чтобы я прославил его описанием, явился ко мне. Ни о чем не подозревая и желая сделать Падме приятное, я позволил осмотреть себя. Я должен был ожидать худшего: худшее и случилось. Возможно ли в такое поверить: мошенник объявил, что я здоров! «Не вижу никаких трещин», – уныло пробубнил он, отличаясь от Нельсона при Копенгагене[84]тем, что у него не было ни единого зрячего глаза, и слепота его являлась не свободным выбором упрямого гения, но неодолимым проклятием собственного неразумия! В слепоте своей он оспаривал здравость моего рассудка, бросил тень сомнения на достоверность моих свидетельств и Бог-знает-что-еще: «Я не вижу трещин».

В конце концов сама Падма спровадила его. «Не беспокойтесь, доктор-сахиб, – сказала Падма, – мы присмотрим за ним». По лицу ее было заметно, что она признает свою дурацкую вину… да изыдет Балига, чтобы больше никогда не возвращаться на эти страницы. Но Боже мой! Неужто профессия врача – призвание Адама Азиза – упала столь низко? В выгребную яму, полную таких вот Балиг? В конце концов, по правде говоря, можно обойтись и без докторов… и я возвращаюсь назад, к причине того, что Амина Синай проснулась однажды утром с солнцем на губах.

80
81
82
83
84

– Оно встало не там, где надо! – невольно вскрикнула Амина, и потом, сквозь смутный гул в голове от скверно проведенной ночи, уловила наконец, что за этот несбыточный месяц пала жертвой обмана, ибо случилось вот что, и не более того: она проснулась в Дели, в доме нового мужа, где окна спальни выходили на восток, к солнышку; так что солнышко-то, по правде говоря, стало на месте, это она лежала не там, где надо… но даже после того, как ей удалось уловить эту простейшую мысль и сложить ее в одну кучу с другими подобными ошибками, которые она совершала с тех пор, как приехала сюда (путаница насчет солнца происходила каждое утро, будто мозг отказывался признать изменившиеся обстоятельства и новое, надземное расположение кровати), что-то продолжало ее смущать, не давало чувствовать себя как дома.

«В конце концов, можно прожить и без отца», – сказал доктор Азиз на прощание своей дочери, а Достопочтенная Матушка добавила: «Еще один сирота в семье, как-его, но не переживай, Мухаммад был сиротой, да и твой Ахмед Синай, как-его, по крайней мере наполовину, кашмирец». Затем доктор Азиз собственноручно затащил зеленый жестяной сундук в купе, где Ахмед Синай ждал молодую жену. «Приданое не маленькое, но и не роскошное, – пояснил мой дед. – Мы не богачи, сам понимаешь. Но мы тебе дали достаточно, Амина же даст еще больше». В зеленом жестяном сундуке: серебряные самовары, парчовые сари, золотые монеты, полученные доктором Азизом от благодарных пациентов, настоящий музей, экспонаты которого – исцеленные болезни и спасенные жизни. И вот доктор Азиз поднял дочь (собственными руками) и втиснул ее в купе вслед за приданым, препоручая заботам человека, давшего ей новое имя и тем самым заново сотворившего ее, то есть, в некотором смысле ставшего ей отцом… и затем пошел (собственными ногами) по платформе, следом за поездом, пустившимся в путь. Будто рысак на эстафете, пробежавший свой этап, стоял он, окутанный дымом, затертый лоточниками, словно сошедшими со страниц комиксов, в сутолоке вееров из павлиньих перьев, горячих закусок, в вязком полусонном гомоне присевших на корточки носильщиков и в окружении глиняных зверей на тележках торговцев сувенирами, – а поезд набирал скорость, направляясь в столицу, стараясь как можно быстрее пробежать следующий этап эстафеты. А в купе новоявленная Амина Синай (сияющая, словно новенькая монета) сидела, поставив ноги на зеленый жестяной сундук, не поместившийся под скамейку. Опершись подошвами сандалий о музей отцовских достижений, она мчалась прочь, к новой жизни, оставив Адама Азиза позади, – а тот посвятил себя попыткам слить воедино достижения западной и традиционной медицины, и эти старания мало-помалу изнурили его; он уверился, что власть предрассудков, идолов и прочей магии никогда не иссякнет в Индии, потому что хакимы, местные лекари, не желают сотрудничать; с возрастом, когда мир утратил четкость очертаний, доктор стал сомневаться в собственных убеждениях, так что перед тем, как увидеть Бога – Азиза никогда не хватало ни на веру, ни на безверие, – он, наверное, уже ожидал чего-нибудь подобного.

Едва поезд отошел от станции, Ахмед Синай, вскочил с места и закрыл на все болты и задвижки дверь купе, к вящему изумлению Амины; но тотчас же снаружи послышались толчки, пальцы хватались за ручку двери, голоса молили: «Впусти нас, махарадж![85]Махараджин, ты едешь там, упроси мужа открыть». И всегда-всегда, во всех поездах этой истории звенели эти голоса, стучали и молили кулаки, – и в почтовом приграничном до Бомбея, и во всех экспрессах на протяжении долгих лет; это всегда пугало, пока, наконец, и я не оказался снаружи, цепляясь за поручень изо всех сил и упрашивая жалким голосом: «Эй, махарадж! Впустите меня, знатный господин».

– Безбилетники, зайцы, – заметил Ахмед, но то были не просто зайцы. Они являли собой пророчество. Не заставили себя ждать и другие.

…А теперь солнце взошло не там, где надо. Моя мать лежала в постели, ей было не по себе, но она с волнением прислушивалась к тому, что творилось у нее внутри и что было пока ее тайной. Рядом смачно храпел Ахмед Синай. Он не страдал бессонницей, его ничем

85

не прошибешь, разве что заботами, которые заставили притащить домой серую сумку, набитую деньгами, и спрятать ее под кроватью, улучив момент, когда, как он думал, Амина не видит. Мой отец спал крепко, окутанный целительным покровом величайшего дара моей матери, который на поверку стоил куда дороже, нежели содержимое зеленого жестяного сундука: Амина Синай принесла в дар Ахмеду свое неистощимое прилежание.

Никто не мог сравниться в этом с Аминой; никто никогда не прилагал столько усилий к чему бы то ни было. Темнокожая, с блестящими глазами, моя мать от природы была самой дотошной женщиной на земле. Она прилежно расставляла цветы в коридорах и комнатах своего дома в Старом Дели; ковры выбирались с бесконечным тщанием. Она могла потратить двадцать пять минут, переставляя туда-сюда кресло. Когда она закончила устройство дома, добавив несколько штрихов здесь, изменив кое-какие детали там, Ахмед Синай обнаружил, что его сиротское жилище преобразилось, исполнившись нежности и любви. Амина вставала раньше него, прилежание заставляло ее стирать пыль отовсюду, даже с бамбуковых штор (пока он не согласился употреблять для этой работы хамала[86]); но Ахмед так и не узнал, что самым самоотверженным, самым решительным образом жена прилагала свои таланты не к внешней стороне их жизни, а к нему самому, Ахмеду Синаю.

Зачем она вышла замуж? Чтобы утешиться, чтобы иметь детей. Но первые бессонные ночи, от которых шумело в голове, отодвигали главную цель в неопределенное будущее, да и дети не всегда появляются сразу. А потому Амина стала видеть во сне и наяву лицо поэта, которого должна была изгнать из своих мыслей, и просыпалась, шепча имя, которое запрещено было произносить. Вы спросите: как она с этим справлялась? Я отвечу: стискивала зубы и упорно боролась с собой. Вот что она твердила себе: «Неблагодарная дура, или ты не видишь, кто теперь твой муж? Или не знаешь, как положено относиться к мужу?» Чтобы избежать бесплодных споров по поводу того, как следует отвечать на эти вопросы, скажу сразу, что, по мнению моей матери, женщина должна хранить нерушимую верность супругу и любить его беззаветно, от всего сердца. Но трудность состояла вот в чем: Амина, чья голова была отуманена Надир Ханом и бессонницей, не могла со всей искренностью предоставить Ахмеду Синаю эти две вещи. И, призвав на помощь свой дар прилежания, она стала приучать себя к тому, чтобы любить мужа. Для этого она мысленно разделила его на составляющие, имея в виду как телесный его облик, так и привычки, каталогизируя в уме и раскладывая по ящичкам очертание губ, любимые словечки, предрассудки и предпочтения… короче говоря, и на нее простерлась власть продырявленной простыни, что висела между ее родителями, ибо она решила влюбиться в мужа по частям.

Каждый день она выбирала какой-нибудь фрагмент Ахмеда Синая и сосредоточивалась на нем всем своим существом до тех пор, пока он не становился ей близким и родным, пока она не чувствовала, как из глубины души поднимается нежность, привязанность и, наконец, любовь. Так она приучилась обожать его чересчур громкий голос, от которого звенело в ушах и пробирала дрожь; и то, что он всегда пребывал в хорошем настроении до бритья, а после – неизменно, каждое утро – становился суровым и резким, вел себя деловито и отстраненно; и смутно-печальный взгляд его ястребиных глаз с тяжелыми веками, за которым, она была уверена, скрывается душевная доброта; и то, как выступает вперед его нижняя губа; и его малый рост, из-за которого он раз и навсегда запретил жене носить высокие каблуки… «Боже мой, – твердила она себе, – да ведь миллион разных вещей можно полюбить в каждом мужчине!» И она продолжала трудиться без устали. «Да и вообще, – рассуждала она наедине с собой, – кто может утверждать, будто познал до конца, целиком и полностью, другого человека?» – и прилежно старалась любить и обожать его пристрастие к жареной пище, обилие цитат из персидской поэзии, сердитую складку между бровями… «Таким образом, – рассуждала она, – я всегда смогу найти в нем что-нибудь новое и полюбить это, и, значит, наш брак никогда не застынет на мертвой точке». Так, употребив старание, моя мать приноровилась к жизни в древнем городе. Жестяной сундук стоял, ни

86

разу не открытый, в старом шкафу.

Ахмед ни о чем не догадывался, ничего не подозревал, – а супруга неустанно трудилась над ним и его жизнью, и вот, мало-помалу, Синай стал походить на человека, которого он никогда не знал, а дом его – на подвальную комнату, в которой он никогда не бывал. Под влиянием кропотливого волшебства, столь темного, что сама Амина, возможно, и не догадывалась, какие силы творят его, волосы Ахмеда Синая поредели, а те, что остались, сделались прямыми и сальными, и он вдруг обнаружил, что по собственной воле отращивает их до самых мочек. И живот у него стал выпирать, пока не превратился в податливое, мягкое пузо, к которому меня так часто притискивали и которое никто из нас, по крайней мере сознательно, не сравнивал с пухлыми телесами Надир Хана. Зохра, троюродная сестра Ахмеда, однажды заметила игриво: «Сел бы на диету, кузен-джи, а то тебя никак не обнять!» Но все без толку… и мало-помалу Амина создала в Старом Дели мир, полный мягких подушек; занавесила окна так, чтобы в комнаты проникало как можно меньше света, на жалюзи набросила черную ткань – и все эти мелкие преобразования, выливаясь в геракловы труды, помогали ей свыкнуться с мыслью, что теперь она должна любить другого мужчину. (И все же ее посещали запретные сны о… и ее всегда тянуло к мужчинам с мягкими животиками и отросшими, обвисшими волосами.)

Новый город из Старого увидеть невозможно. В Новом городе раса розовокожих завоевателей выстроила дворцы из розового камня, но на узких улочках Старого города дома наклонялись, выставлялись вперед, елозили, закрывая друг другу вид на розоватые жилища облеченных властью. Впрочем, никто и не смотрел в ту сторону. В мусульманских кварталах, лепившихся вокруг Чандни Чоук, люди охотнее обращали взгляды вовнутрь, в огороженные дворики своих жизней; с радостью опускали жалюзи на окнах и верандах. На узких улочках молодые бездельники держались за руки, сплетали пальцы, целовались при встрече, стояли плотным кольцом, касаясь друг друга бедрами, повернувшись вовнутрь. Тут не было зеленных лавок, и коровы не забредали сюда, зная, что тут их не почитают священными. Беспрерывно бренчали велосипедные звонки. И над всей этой какофонией разносились крики бродячих торговцев фруктами: «Люди, сюда ступа-а-айте, финики по-купа-а-айте».

В то январское утро, когда мои мать и отец заимели друг от друга секреты, ко всему этому прибавился нервный перестук шагов г-на Мустафы Кемаля и г-на С.П. Бутта, а также назойливый рокот трещотки Лифафы Даса[87].

Когда перестук шагов впервые зазвучал в переулках квартала, Лифафа Дас с его кинетоскопом и барабаном был еще довольно далеко. Ноги, что пустились отбивать дробь по тротуару, вылезли из такси и зашагали по узким улочкам, а в это время в угловом доме моя мать у себя на кухне помешивала кхичри[88], которое готовила к завтраку, и прислушивалась к беседе моего отца с его троюродной сестрой Зохрой. Шаги прогрохотали мимо торговцев фруктами и тянущих руки попрошаек, а моя мать подслушала: «Никак я на вас, новобрачных, не могу наглядеться: такие вы сладкие!» Шаги приближались, а отец мой весь зарделся. В те дни он был еще недурен: нижняя губа не слишком выпирала, морщинка между бровями едва наметилась… и Амина, помешивая кхичри, услышала, как взвизгнула Зохра: «Гляди, порозовел! Да какой же ты светлый, кузен-джи!» И тот включил для нее индийское радио, чего никогда не позволял делать Амине; Лата Мангешкар пела заунывную любовную песню, что-то вроде «Точно как я, ты-не-ду-у-у-маешь так», а Зохра продолжала: «Милые розовые детки рождаются у правильно подобранных пар, а, кузен-джи, – у красивых белых родителей, так ведь?» Шаги звучали, и варево булькало в кастрюле, и речи текли себе дальше: «Как ужасно уродиться черным, правда, кузен-джи, – просыпаться по утрам и видеть, как на тебя глядит из зеркала собственная твоя неполноценность! Конечно, черные все знают; черные ведь тоже понимают, что быть белым красивей, ты-не-думаешь-так?» Шаги уже совсем

87

88

близко, и Амина топает в столовую с кастрюлей в руках, едва-едва себя сдерживает, думает: «Угораздило же ее явиться именно сегодня, когда я хотела сообщить новость, да еще и денег придется просить при ней». Ахмед Синай любил, чтобы у него просили денег как следует, вымогали каждый грош ласками и сладкими словами, пока салфетка, лежащая на коленях, не начинала подниматься вместе со штуковинкой, шевелящейся в пижамных штанах; и Амина не возражала, благодаря своему прилежанию она приучилась любить и это тоже; и когда ей нужны были деньги, она гладила мужа и лепетала: «Джанум, солнце мое, пожалуйста…» и «Ну хоть немножко, чтобы купить вкусной еды и оплатить счета…» и «Ты такой щедрый, дай мне сколько захочешь, этого будет достаточно, я знаю»…уловки уличных попрошаек ей придется пустить в ход перед этой бабищей с глазами, как блюдца, визгливым голосом и громкой болтовней про черных и белых. Шаги чуть не у самой двери, и Амина в столовой с горячим кхичри наготове, так близко от глупой Зохриной башки, что Зохра вопит: «О, конечно же, присутствующие исключаются! – просто на всякий случай, потому что она не уверена, подслушивала Амина или нет, и: „О, Ахмед, кузен-джи, какой ужас, неужто можно подумать, будто я имела в виду нашу милую Амину, она же вовсе и не черная, она просто как белая женщина, стоящая в тени!“ Амина же, с кастрюлей в руках, смотрит на прелестную головку и думает: плеснуть, что ли? И – хватит ли духу? Но быстро успокаивается: „Это для меня великий день, и она первая заговорила о детях, так что теперь мне будет легче…“ Но она опоздала: завывания Латы по радио заглушили звонок в дверь, и никто не слышал, как старый Муса, посыльный, пошел отпирать; Лата затушевала тревожный перестук шагов вверх по лестнице, но вдруг – вот они, уже на пороге, ноги г-на Мустафы Кемаля и г-на С.П. Бутта, шаркают и замирают.

– Мошенники нанесли нам оскорбление! – г-н Мустафа Кемаль – таких тощих людей Амина Синай еще не видела – выпаливает нелепую старомодную фразу (он привержен к тяжбам и в судах нахватался подобных оборотов) и развязывает цепную реакцию балаганной паники, а маленький, писклявый, мягкотелый С.П. Бутт, у которого в глазах пляшут дикие обезьяны, добавляет масла в огонь, произнеся одно-единственное слово: «Поджигатели!» И вот Зохра странным рефлекторным движением прижимает радиоприемник к груди, заглушая Лату своими сиськами и истошно вопя: «О, Боже, о, Боже, какие поджигатели, где? Здесь, в доме? О, Боже, я чувствую жар!» Амина застывает с кхичри в руках и глядит на двоих мужчин в деловых костюмах, а супруг ее, послав к чертям все секреты, встает, выбритый, но еще не одетый, из-за стола и спрашивает: «Что-то со складом?»

Склад, камора, пакгауз – называйте как хотите, но стоило Ахмеду Синаю вымолвить это слово, как в комнате воцарилась тишина; только, разумеется, голос Латы Мангешкар все еще исходил из ложбинки между грудей Зохры; ведь эти трое владели сообща одним таким обширным строением, расположенным в промышленной зоне на окраине города. «Только не склад, Боже сохрани», – молилась про себя Амина, потому что торговля прорезиненными тканями и кожей шла хорошо – через майора Зульфикара, который стал теперь адъютантом Главного штаба в Дели; Ахмед Синай получил контракт на поставку кожаных курток и водонепроницаемых чехлов для армии, и огромные запасы материала, от которого зависела вся их жизнь, хранились в этом пакгаузе. «Но кто способен на такое? – стенала Зохра в унисон своим поющим грудям. – Что за безумцы нынче бродят на воле по белому свету?»… и тут Амина впервые услышала имя, которое муж от нее скрывал, и которое в те времена вселяло ужас во многие сердца. «Это „Равана“», – сказал С.П. Бутт… Но «Равана» – имя многоголового демона, да неужто же демоны снова населяют землю?[89]«Что это еще за чушь?» – Амина, унаследовав отцовскую ненависть к предрассудкам, требовала ответа, и г-н Кемаль ответил: «Так называет себя кучка ублюдков, госпожа: банда мерзавцев-поджигателей. Смутные времена настали; смутные времена».

На складе – кожа, рулон за рулоном; и продукты, которыми торговал г-н Кемаль – рис, чай, чечевица; он их запасает, припрятывает по всей стране в огромных количествах, тем

89

самым защищая себя от многоголового, многозевного, прожорливого чудища, то есть народа – стоит пойти у него на поводу, и цены в урожайные годы упадут так низко, что богобоязненные коммерсанты станут голодать, а чудище – жиреть… «Экономика – это дефицит, – заверяет г-н Кемаль, – значит, мои запасы не только поддерживают цены на приличном уровне, но и являются фундаментом всего экономического здания». А еще там, на складе, товары г-на Бутта, штабеля картонных коробок, на которых начертаны слова «Аг-Марка». Надо ли говорить вам, что «аг» означает «огонь». С.П. Бутт был производителем спичек.

– Наша информация, – изрекает г-н Кемаль, – касается лишь факта возгорания в том районе. Определенный склад не обозначен.

– Тогда почему это должен быть наш склад? – спрашивает Ахмед Синай. – Почему, ведь у нас еще есть время уплатить?

– Уплатить? – прерывает его Амина. – Кому уплатить? За что уплатить? Муженек, джанум[90], жизнь моя, что здесь происходит? Но… «Нам нужно идти», – говорит С.П. Бутт, и Ахмед Синай выбегает прямо в мятой пижаме, топочет по улице вместе с тощим и с мягкотелым, оставив позади несъеденное кхичри, женщин с вытаращенными глазами, приглушенную Лату и висящее в воздухе имя Раваны… «банда злодеев, госпожа, беспредельщики, головорезы, мерзавцы все до единого!»

И последние, дрожащим голосом произнесенные слова С.П. Бугта: «Проклятые индусы-поджигатели, бегам-сахиба. Но что мы, мусульмане, можем поделать?»

Что известно о банде «Равана»? Она подделывалась под фанатичное антимусульманское движение – в дни, предшествующие мятежам, что привели к разделению страны, в те дни, когда можно было по пятницам безнаказанно разбрасывать свиные головы во дворах мечетей, подобная позиция не казалась чем-то исключительным. Члены банды глубокой ночью писали лозунги на стенах Старого и Нового города: РАЗДЕЛЕНИЮ НЕТ – НАЖИВЕМ МНОГО БЕД! МУСУЛЬМАНЕ – ЕВРЕИ АЗИИ! и так далее. И банда сжигала дотла принадлежащие мусульманам фабрики, магазины, склады. Но кое-что известно не всем: под маской расовой ненависти скрывалось блестяще задуманное коммерческое предприятие. Анонимные телефонные звонки, письма, составленные из газетных заголовков, поступали к бизнесменам-мусульманам, которым предлагался выбор – единожды заплатить некую сумму наличными или оказаться на пепелище. Интересно, что банда соблюдала правила. Повторных требований никогда не поступало. Но дело свое они знали: нет серых сумок с отступными – и огонь пожирает витрины магазинов, фабрики, пакгаузы. Большинство платило, не рискуя довериться полиции. В 1947 году мусульмане вряд ли могли на нее положиться. И еще говорят (хотя в этом я не уверен), что к письмам вымогателей прилагался список «клиентов, получивших обслуживание», то есть заплативших и сохранивших свой бизнес. Банда «Равана» вполне профессионально предъявляла рекомендации.

Двое мужчин в деловых костюмах и один в пижаме бежали по узким улочкам мусульманского квартала к Чандни Чоук, где их ждало такси. Их провожали любопытными взглядами не только из-за контраста в одежде, но и потому, что они старались не бежать. «Не выказывайте паники, – сказал г-н Кемаль. – Ведите себя спокойно». Однако ноги отказывались повиноваться и мчались вперед. Рывками, то набирая скорость, то заставляя себя переходить на прогулочный шаг, они покинули пределы квартала, встретив по пути молодого человека с черным металлическим кинетоскопом на колесах и продавленным барабаном: то был Лифафа Дас, направлявшийся к месту, где и состоялось публичное оглашение, давшее название этой главе. Лифафа Дас стучал в барабан и зазывал: «Идите поглядите, весь мир осмотрите, идите поглядите! Взгляните на Дели, взгляните на Индию, идите поглядите! Идите поглядите, идите поглядите!»

90

Но Ахмеду Синаю своих забот хватало.

Местные ребятишки придумали клички большинству обитателей квартала. Трое соседей именовались «боевые петухи», потому что в число их входили синдхский и бенгальский домохозяева, а между их домами вклинилось одно из немногих в квартале индусских жилищ. У синдха, выходца из провинции Синд, и бенгальца было мало общего – они говорили на разных языках и готовили разную пищу, – но оба были мусульманами и ненавидели внедрившегося между ними индуса. Со своих крыш они осыпали его дом отбросами. Высовывались из окон, выкрикивали оскорбления на разных языках. Подбрасывали обрезки мяса к его порогу … а он, в свою очередь, нанимал мальчишек, которые кидали камни им в окна – камни, обернутые записками: «Погодите, – говорилось в них, – придет и ваш черед»… Так вот, местные ребятишки никогда не звали моего отца его настоящим именем. Он был известен им как «тот тип, который не может идти вслед за собственным носом».

Ахмед Синай так плохо ориентировался в пространстве, что, предоставленный самому себе, часто терялся в извилистых проулках своего квартала. Не раз беспризорные сорванцы натыкались на коммерсанта, блуждающего наугад, и за монетку в четыре анны[91] провожали его домой. Я упоминаю об этом потому, что думаю: склонность моего отца сворачивать не в ту сторону не только досаждала ему всю жизнь – она, видимо, и послужила причиной его увлечения Аминой Синай (ведь благодаря Надир Хану она показала, что тоже горазда поворачивать не туда); и, что еще важнее, его неспособность следовать за собственным носом передалась и мне, до некоторой степени затуманив носовитое наследие, полученное от других, так что долгие годы я не мог разнюхать, где лежит мой путь… Но хватит об этом: я дал трем дельцам достаточно времени, чтобы добраться до промышленного района. Хочу добавить только, что (и это, по моему мнению, тоже было следствием неумения ориентироваться в пространстве) вокруг моего отца даже в минуты триумфа витал душок будущего краха, запах каверзного, неверного поворота, который притаился буквально за углом; аромат, который невозможно было смыть самыми частыми омовениями. Г-н Кемаль, чуявший этот запах, шептал на ушко С.П. Бутту: «Эти кашмирцы, приятель, правду говорят, что они никогда не моются». Подобный навет связывает моего отца с лодочником Таи… тем Таи, что в припадке самоубийственного гнева решил отречься от чистоты.

В промышленном районе под вой пожарных сирен мирно спали ночные сторожа. С чего бы это? Как же так? А все потому, что со сбродом из «Раваны» заключалась сделка: в ночь, когда банда совершала поджог, сторожей подкупали, и они принимали снотворное, а затем выносили свои раскладушки из зданий. Таким образом, бандиты не брали лишнего греха на душу, а ночные сторожа получали прибавку к своему скудному жалованию. То было полюбовное и весьма разумное соглашение.

Стоя среди спящих ночных сторожей, г-н Кемаль, мой отец и С.П. Бутт смотрели, как обращенные в пепел велосипеды поднимаются в небо густыми черными облаками. Бутт-отец-Кемаль встали рядком возле пожарных машин, и облегчение накатывало на них волною, потому что горел склад «Индийских велосипедов Арджуна»[92] – хотя продукция и носила имя героя индусской мифологии, все знали, что завод принадлежит мусульманам. Омытые волной облегчения, отец-Кемаль-Бутт вдыхали воздух, полный испепеленных велосипедов, кашляли и плевались, когда дым от дотла спаленных колес, облачком воспарившие призраки цепей-звонков-багажников-рулей, лишенные плоти рамы «Индийских велосипедов Арджуна» попадали к ним в легкие и извергались оттуда. Грубая картонная маска была прибита к телеграфному столбу напротив пылающего склада – многоликая маска, маска дьявола со множеством оскаленных лиц, с толстыми изогнутыми губами и ярко-алыми ноздрями. Лики многоголового чудища, царя демонов Раваны, сердито

91
92

взирали на тела ночных сторожей, спавших так крепко, что ни у пожарных, ни у Кемаля, ни у Бутта, ни у моего отца не хватило духу их потревожить; а с небес на них сыпались окалина и пепел педалей и камер.

– Чертовски скверно обстоят дела, – заметил г-н Кемаль. Он не сочувствовал. Он осуждал владельцев компании «Индийские велосипеды Арджуна».

Взгляните: дым пожарища (и облачко облегчения тоже) поднимается и сбивается в шар на блеклом утреннем небе. А теперь смотрите, как он движется на запад, к сердцу Старого города; как вытягивается, Боже правый, словно перст, указующий на мусульманский квартал возле Чандни Чоук!.. Как раз в эту минуту Лифафа Дас криками зазывает народ в том самом проулке, где живут Синаи:

– Идите поглядите, весь мир осмотрите, идите поглядите!

Вот почти и настало время публичного оглашения. Не отрицаю, я взволнован: слишком долго ходил я вокруг да около, занимался подоплекой моей собственной истории, и хотя остались еще события, которые нельзя пропустить, все же приятно бросить взгляд в будущее. И вот с надеждой, с упованием слежу я за указующим перстом на небесах, опускаю взор на квартал, где живут мои родители, на велосипеды, на уличных торговцев, нахваливающих во все горло жареный горошек в бумажных кульках, на держащихся за руки, плотной стеной стоящих попрошаек; на взметенный ветром мусор; на мух, снующих маленькими водоворотами вокруг лотков со сладостями, – все это уменьшенное до крошечных размеров, ибо мы смотрим с высоты небес. И дети, тучи детей, которых выманила на улицу трещотка Лифафы Даса, и его голос: «Дуния-декхо, посмотри на мир!» Голозадые мальчишки, девчонки без нижних сорочек и другие детки, попригляднее, в белых школьных рубашках, в шортах на эластичных поясах со змеевидной застежкой в форме буквы S; пухлые малыши с короткими, толстыми пальчиками – все сбились в кучу вокруг черного ящика на колесах, и среди них есть девочка с одной-единственной длинной и густой непрерывной бровью, нависающей над правым и левым глазом, – восьмилетняя дочь того самого грубияна-синдха, который уже водрузил у себя на крыше флаг пока еще воображаемого государства Пакистан[93]; который даже сейчас осыпает соседа бранью, в тот момент, когда дочь его выскакивает на улицу с чаванни в руках, надменная, будто маленькая королева, со смертоносным словом, затаившимся за плотно сжатыми губками. Как ее зовут? Не знаю, но эти брови знакомы мне.

Лифафа Дас: кто по злосчастной случайности прислонил его черный кинетоскоп к стене, где была намалевана свастика[94](в те дни они всюду попадались на глаза; экстремисты из РСС[95]испещрили ими все стены; не нацистская свастика, обращенная противусолонь, а древний индийский символ власти. «Свасти» на санскрите означает «добро»)… Лифафа Дас, чье явление я возвестил, был молодой парень, совершенно невидимый до тех пор, пока не расплывался в улыбке, тогда он становился прекрасным; или пока не принимался бить в барабан, и тогда он делался неотразимым для детишек. Эти бродяги с барабанами по всей Индии кричат: «Дилли декхо», «на Дели поглядите!» Но вокруг простирался Дели, и Лифафа Дас соответственно кричал по-другому: «Идите поглядите, весь мир осмотрите!» Гипербола со временем завладела его умом; все больше и больше открыток вкладывал он в кинетоскоп, предпринимая отчаянную попытку исполнить обещанное, все на свете вместить в свой ящик. (Мне на память вдруг пришел художник, друг Надир Хана: неужто все индийцы больны этой болезнью – неодолимым желанием замкнуть в капсулу весь зримый мир? Хуже того: не заражен ли ею и я?)

В кинетоскопе Лифафы Даса были картинки с Тадж-Махалом, с храмом Минакши[96],

93
94
95
96

со священным Гангом, но вместе с этими прославленными видами владелец волшебного ящика демонстрировал и более современные изображения – Стаффорд Криппс, покидающий резиденцию Неру; неприкасаемые, к которым прикасаются; образованные люди, в огромном количестве спящие на рельсах; рекламный кадр какой-то европейской актрисы с горою фруктов на голове – Лифафа Дас называл ее Кармен Веранда; даже приклеенная на картон фотография из газеты, изображающая пожар в промышленном районе. Лифафа Дас не собирался ограждать свою публику от не-всегда-приятных примет времени… и часто, когда он забредал в эти переулки, взрослые вместе с детьми выходили посмотреть, что новенького появилось в его ящике на колесах; среди постоянных клиентов была и бегам Амина Синай.

Но сегодня в воздухе носится истерия: какая-то неосознанная угроза опустилась на квартал, будто облако сожженных дотла индийских велосипедов повисло над головами… и вот свора спущена, зло вырвалось на волю, девочка с одной сплошной бровью визжит, по-детски картавя, хотя детской невинности в ней нет и в помине. «Я пегвая! Убигайтесь пгочь… дайте мне поглядеть! Мне не видно!» А глазенки уже приникли к отверстиям, дети следят за тем, как меняются открытки, и Лифафа Дас говорит (он не прерывает своей работы, крутит и крутит ручку, двигает открытки в ящике): «Одну минуточку, *би би*[97], до всех очередь дойдет, только чуточку подождите». На что однобровая маленькая королева отвечает: «Нет! Нет! Я хочу быть пегвой!» Лифафа перестает улыбаться, становится невидимым, пожимает плечами. Неистовой яростью пылает лицо маленькой королевы. И вот оно, оскорбление; смертельное острие дрожит на ее губах: «И ты, нахал, еще смеешь являться в этот квартал! Я тебя знаю, мой отец знает тебя, все знают, что ты индус!!»

Лифафа Дас стоит молча, вертит ручку своего ящика, но однобровая, с конским хвостом валькирия распевает, тыча в него толстым пальцем, а мальчишки в белых школьных рубашках и с пряжками в виде змей подхватывают: «Индус! Индус! Индус!» И вот взмывают вверх жалюзи, и отец девочки высовывается из окна, вступает в свару, выкрикивает оскорбления, найдя новую мишень; бенгалец не остается в стороне и вопит по-бенгальски… «Потаскун! Насильник! Порочишь наших дочерей!» – вспомним, что в газетах как раз недавно писали о нападениях на мусульманских детей, так что внезапно слышится вопль – женский вопль, может быть, вопль глупой Зохры: «Насильник! О, мой Бог, они нашли негодяя! Попался!» И вот безумие облака, воздетого, словно указующий перст, и призрачность расшатанного века накрывают квартал, и вопли несутся из каждого окна, и мальчишки скандируют: «На-силь-ник! На-силь-ник! Нас-нас-нас-иль-ник!» – даже не постигая смысла этого слова; детишки отпрянули от Лифафы Даса, и тот тоже двинулся прочь, таща свой ящик на колесах, надеясь скрыться, но его окружают голоса, жаждущие крови; уличные попрошайки направляются к нему; проезжие бросают велосипеды; цветочный горшок летит по воздуху и разбивается о стену рядом с ним; он прижимается спиной к чьей-то двери, а какой-то парень с сальной челкой на лбу нежно ему улыбается: «Так это вы, мистер? Мистер Индус, это вы бесчестите наших дочерей? Вы, значит, поклоняетесь идолам и спите с родными сестрами?» И Лифафа Дас: «Нет, ради всего святого…», – и глупо улыбается… и тут за его спиной отворяется дверь, и он валится назад, в темный прохладный коридор, где стоит моя мать Амина Синай.

Все утро она провела наедине со смешками Зохры и отголосками имени демона Раваны, ведать не ведая, что творится там, в промышленном квартале, и ум ее блуждал на свободе, и она размышляла над тем, что весь мир, кажется, обезумел; и когда послышались вопли, и Зохра, которую она не успела остановить, внесла свою лепту, что-то ожесточилось в ней, и Амина осознала, что она – дочь своего отца, ей явилось призрачное воспоминание о Надир Хане, который укрывался на кукурузном поле от ножей-полумесяцев, и в ноздрях у нее защипало, и она бросилась вниз по лестнице – выручать, невзирая на истошный визг Зохры: «Что ты делаешь, сестричка-джи, это же скотина, не пускай его сюда, ты что, потеряла

97

рассудок?» …Моя мать открыла дверь, и Лифафа Дас ввалился внутрь.

Вообразите-ка себе ее этим утром: смуглая тень между беснующейся толпой и ее жертвой; лоно ей раздирает незримая, невысказанная тайна: «Вах, вах, – смеется она над толпой. – Ну и герои! Герои, ни дать ни взять! Всего пятьдесят против такого ужасного чудища! О Аллах, глаза мои сияют от гордости».

…А Зохра: «Назад, назад, сестричка-джи!» А сальная челка: «Зачем защищаешь эту сволочь, бегам-сахиба? Нехорошо поступаешь». И Амина: «Я его знаю. Он – порядочный человек. Ступайте, ступайте прочь, разве вам нечем заняться? Здесь, в мусульманском квартале, вы собираетесь разорвать человека в клочья? Ступайте, не стойте здесь». Но толпа оправилась от изумления и снова наступает… и вот. Вот оно пришло.

– Послушайте, – крикнула моя мать. – Послушайте хорошенько. Я беременна. Я – мать, у меня будет ребенок, и я даю этому человеку убежище. Хотите убивать – давайте убейте заодно и мать; покажите всему миру, что вы за люди!

Таким вот образом мое явление – приход в мир Салема Синая – было оглашено перед скопившейся толпой еще до того, как об этом услышал мой отец. Похоже, с самого моего зачатия я сделался общественным достоянием.

Но хотя моя мать была права, сделав свое публичное оглашение, она все же ошибалась. И вот почему: ребенок, которого она носила, не станет ее сыном.

Моя мать приехала в Дели; прилежно трудилась над тем, чтобы полюбить мужа; Зохра, кхичри и перестук торопливых шагов помешали ей сообщить новость; она услышала крики; сделала публичное оглашение. Это подействовало. Благая весть о моем рождении спасла человеку жизнь.

Когда толпа рассеялась, старый Муса, посыльный, выбрался на улицу и подобрал кинетоскоп Лифафы Даса; Амина тем временем наливала парню со столь красившей его улыбкой стакан за стаканом свежей лимонной воды. Казалось, пережитый опыт не только иссушил его, но и наполнил горечью, потому что бедняга клал по четыре ложки сахара в каждый стакан, а Зохра тем временем в диком ужасе скорчилась на диване. И наконец Лифафа Дас (напитавшись лимонной водой, подсластившись сахаром) сказал: «Бегам-сахиба, вы – великая женщина. Если позволите, я благословлю ваш дом и вашего будущего ребенка. Но также, пожалуйста, дайте соизволение, я хочу сделать для вас еще одну вещь».

– Спасибо, – сказала моя мать, – но вы вовсе ничего мне не должны.

Но он продолжал (сладкий сахар обволакивал ему язык). «Мой двоюродный брат, Шри Рамрам Сетх, – великий провидец, о бегам-сахиба. Хиромант, астролог, предсказатель судьбы. Пожалуйста, придите к нему, и он откроет вам будущее вашего сына».

Колдуны меня предрекали… в январе 1947 года мою мать Амину Синай одарили пророчеством в обмен на дар спасенной жизни. И несмотря на слова Зохры: «С ума ты сошла – идти куда-то с этим типом, Амина, сестричка, даже не думай об этом, в наше время надо быть осторожной»; несмотря на память об отцовском скептицизме, о том, как большой-указательный пальцы сомкнулись на ухе маулави, предложение это затронуло в моей матери некую струнку, и струнка та ответила за нее: «Да». Амину застали врасплох посреди нерассуждающего изумления, каким сопровождалось открытие нового-с-иголочки-материнства, – только нынче утром она окончательно убедилась, что беременна, – и она произнесла: «Да. Да, Лифафа Дас, будь добр, жди меня через несколько дней у ворот Красного форта[98]. Отведешь меня к твоему двоюродному брату».

– Я буду ждать вас каждый день. – Он сложил ладони и вышел.

Зохра была так ошарашена, что, когда Ахмед Синай вернулся домой, всего лишь затрясла головой и сказала: «Вы, новобрачные, оба сумасшедшие: муж и жена – одна сатана; лучше мне уйти, живите, как знаете!»

Муса, старый посыльный, тоже держал рот на замке. Он всегда оставался на заднем

98

плане наших жизней, всегда, кроме двух раз… один – когда он нас покинул, другой – когда вернулся, чтобы ненароком разрушить наш мир.

Многоголовые чудища

Если признать, что случайностей не бывает, а, следовательно, Муса – какой бы он ни был старый и преданный – являл собою всего лишь бомбу с замедленным механизмом, которая тикает под сурдинку вплоть до назначенного часа, то это значит, что мы, истые оптимисты, должны запрыгать, ликуя, ибо, раз все измыслено заранее, нам, стало быть, придается смысл, и не нужно уже бояться того, что мы живем наобум, без причины и цели; если же мы, наоборот, пессимисты, то можем прямо сейчас сложить руки и ничего не делать, понимая всю бесполезность мыслей-решений-действий – ведь думай не думай, а все равно ничего не изменится: чему суждено быть, то и будет. Так в чем же все-таки оптимизм? В судьбе или в сумятице? Был мой отец опти– или пессимистом, когда моя мать сообщила ему новость (которую услышали уже все соседи), а он ответил: «Говорил я тебе – это вопрос времени?» Похоже, беременность моей матери была предопределена судьбой, а вот в моем рождении немалую роль сыграл случай.

«Это вопрос времени», – сказал мой отец, с виду весьма довольный; но время, насколько я успел это испытать, – вещь ненадежная, на него нельзя полагаться. Его ведь можно даже разделить, разграничить: часы в Пакистане поставлены на полчаса вперед по отношению к индийским часам… г-н Кемаль, который ничуть не ратовал за разделение, любил повторять: «Вот доказательство безумия всего этого плана! Лига пытается оторваться, опередить нас на целых тридцать минут! Время неделимо, – кричал г-н Кемаль, – на том мы стояли и будем стоять!» А С.П. Бутт добавлял: «Если они могут так вот просто поменять время, что же тогда есть действительность? Что, я вас спрашиваю? Что есть истина?»

Кажется, сегодня день великих вопросов. Через зыбкую пелену лет я отвечаю С.П. Бутту, который перестал интересоваться временем, когда мятежные сторонники разделения перерезали ему глотку: «Действительность не всегда совпадает с истиной». В дни раннего детства истиной для меня была некая скрытая подоплека историй, которые рассказывала мне Мари Перейра – Мари, моя нянька, которая значила для меня гораздо больше и гораздо меньше, чем мать; Мари, знавшая о нас все. Истина скрывалась за горизонтом, куда был обращен указующий перст рыбака, изображенного на картине, что висела у меня на стене; юный Рэли слушал его рассказы. И теперь, когда я пишу в свете яркой угловой лампы, я соизмеряю истину с этими ранними впечатлениями: а как бы Мари рассказала об этом? Что поведал бы тот рыбак?.. И по этим стандартам непререкаемой истиной является то, что в январе 1947 года моя мать узнала обо мне все за шесть месяцев до моего появления на свет, в то время как мой отец сражался с царем демонов.

Амина Синай ждала удобного момента, чтобы воспользоваться предложением Лифафы Даса, но после того, как был сожжен склад Индийских велосипедов, Ахмед Синай два дня сидел дома, не ходил даже в свою контору на Коннот-плейс, будто избегая какой-то неприятной встречи. Два дня серая сумка с деньгами лежала якобы спрятанная под кроватью с той стороны, где спал он. Мой отец явно не желал обсуждать причины, по которым здесь находилась эта серая сумка, и Амина сказала себе: «Ну и пусть, какая разница?» – потому что у нее тоже была своя тайна – человек, терпеливо ждущий ее у ворот Красного форта на вершине Чандни Чоук. Надувая губки при мысли о своем тайном капризе, моя мать приберегала для себя Лифафу Даса. «Раз он ничего мне не рассказывает, почему я должна?» – возмущалась Амина.

И вот холодным январским вечером… «Мне нужно выйти сегодня», – сказал Ахмед Синай, и несмотря на ее уговоры. – «Такой холод, простудишься, заболеешь…» – надел деловой костюм и плащ, под которым таинственная сумка выпирала до смешного заметным брюхом; и в конце концов она сказала: «Закутайся хорошенько», – и отпустила его туда, куда он собрался идти, только спросив: «Ты поздно придешь?» На что он ответил: «Да,

разумеется». Через пять минут после его ухода Амина Синай направилась к Красному форту, с головой погружаясь в свое собственное приключение.

Один путь начался от крепости, другой должен был кончиться в крепости, но этого не произошло. Один предсказал будущее, другой определил его географические координаты. На одном пути забавно плясали обезьяны; и в другом месте обезьяны тоже пустились в пляс, но это привело к катастрофе. И в том, и в другом приключении сыграли свою роль коршуны. Многоголовые чудища таились в конце каждой из дорог[99].

Итак, по порядку… Вот Амина Синай стоит у высоких стен Красного форта, откуда правили Моголы; отсюда, с этих высот скоро объявят о рождении новой нации… мать моя не была ни властительницей, ни вестницей, но ее встретили тепло (несмотря на погоду). Озаренный последним светом дня, Лифафа Дас восклицает: «Бегам-сахиба! О, как чудесно, что вы пришли!» Темнокожая, в белом сари, она приглашает парня в такси, тот хватается за заднюю дверцу, но водитель грозно рычит: «Что это ты придумал? Кем ты себя вообразил? Ну-ка давай, голубчик, садись вперед, пускай госпожа сядет на заднее сиденье!» И Амина втискивается сзади, рядом с черным кинетоскопом на колесах, а Лифафа Дас рассыпается в извинениях: «Вы простите меня, а, бегам-сахиба? Я хотел как лучше».

Но вот, едва дождавшись своей очереди, другое такси тормозит возле другого форта, доставив в целости и сохранности троих мужчин в деловых костюмах, и у каждого под плащом туго набитая серая сумка… один – длинный, как день без завтрака, тощий, как скверно состряпанная ложь; второй кажется вовсе бесхребетным, а у третьего выпячена нижняя губа, живот похож на тыкву, сальные редеющие волосы спускаются до мочек ушей, а на лбу между бровями – предательская морщинка, которая с возрастом углубится, станет шрамом горечи и гнева. Таксист весь кипит, невзирая на холод. «Пурана кила![100]– кричит он. – Выходите все, пожалуйста! Старый форт, приехали!» Было много, много разных Дели, и Старый форт с почерневшими развалинами – Дели такой древний, что наш собственный Старый город казался рядом с ним грудным младенцем. В эти-то невероятно древние руины привел Кемаля, Бутта и Ахмеда Синая анонимный телефонный звонок; им был отдан приказ: «Сегодня ночью, в Старом форте. Сразу после заката. И никакой полиции… иначе склад взлетит на воздух!» Вцепившись в серые сумки, они вступили в древний, осыпающийся мир.

…Вцепившись в свою сумочку, моя мать сидит рядом с кинетоскопом, а Лифафа Дас едет на переднем сиденье, подле сбитого с толку, сердитого шофера и указывает дорогу в лабиринте улиц по ту сторону от Главного почтамта; и по мере того, как она проникает все глубже в проулки, где нищета, словно бурный поток, разъедает асфальт, где люди влачат жизнь невидимок (над ними, как и над Лифафой Дасом, тяготеет это проклятие, но не все умеют так красиво улыбаться), новое ощущение охватывает ее. Под давлением этих улиц, становящихся с каждой минутой все уже, все многолюднее с каждым дюймом, она утрачивает «городской взгляд». Если вы смотрите городским взглядом, вы не видите невидимых людей, и тогда мужчины с безобразно раздутыми от слоновой болезни мошонками или нищие калеки в тележках не встречаются на вашем пути, а бетонные выемки для будущих сточных труб ничем не напоминают спальни. Моя мать потеряла свой городской взгляд и от новизны открывшегося ей зрелища раскраснелась; новизна эта, словно град и ветер в лицо, щипала ей щеки. Гляньте-ка, Боже мой, у этих прелестных детишек черные зубы! Подумать только… девочки ходят с голой грудью! Какой ужас, право! И, упаси Аллах, убереги Господь, – метельщицы улиц, – нет, какой кошмар! – спины согнуты, пучки прутьев в руках, нет знака касты; неприкасаемые, Боже правый!.. и всюду калеки, которых изувечили любящие родители, дабы обеспечить им пожизненный доход от нищенства… да, нищие в тележках, взрослые мужчины с ножками ребенка, в тачках, сработанных из выброшенных роликов и старых ящиков из-под манго; моя мать вскрикивает:

99

100

«Лифафа Дас, поворачиваем обратно» …Но он улыбается своей прекрасной улыбкой и заявляет: «Отсюда пойдем пешком». Поняв, что сразу ей не уехать, Амина просит таксиста подождать, и тот бурчит недовольно: «Да, конечно, что еще остается делать, как не ждать такую великую госпожу; а когда вы явитесь, придется тащиться задним ходом до самого шоссе, поскольку здесь мне не развернуться!» …Детишки дергают ее за подол сари, отовсюду высовываются головы, глаза пристально глядят на мою мать, а та думает: «Будто бы тебя окружает какое-то жуткое чудище с сотнями, тысячами, миллионами голов, – но она быстро приходит в себя: – Нет, какое там чудище, просто бедные, бедные люди – что с них взять? Есть в них некая мощь, сила, не сознающая себя, возможно, впавшая в бессилие от долгого неупотребления… Нет, эти люди не впали в бессилие несмотря ни на что. Мне страшно», – невольно всплывает мысль, и в этот момент кто-то трогает ее за плечо. Она оборачивается и смотрит в лицо – возможно ли! – белого человека: тот протягивает шершавую руку и произносит голосом звонким, как чужестранная песня: «Подайте, бегам-сахиба…» – твердит, твердит и твердит эти три слова, будто старая заезженная пластинка, и Амина смущенно вглядывается в белое лицо, видит длинные ресницы и нос с патрицианской горбинкой; она смущена потому, что это белый человек, а белые люди не просят милостыню. «Всю дорогу от Калькутты пешком, – тянет он нараспев, – посыпав голову пеплом, как вы видите, бегам-сахиба, – от стыда, ибо там оказался я из-за резни – помните, бегам-сахиба? В прошлом августе… тысячам перерезали горло за четыре дня, полных воплей, и стонов, и хрипов…»[101] Лифафа Дас стоит рядом, не зная, что делать, как обращаться с белым человеком, хоть бы и нищим, и… «Слыхали ли вы про белого? – спрашивает бродяга. – Да, среди убийц, бегам-сахиба, он блуждал по городу в ночи с кровавыми пятнами на рубашке, белый человек, лишившийся рассудка из-за грядущего ничтожества себе подобных, – слыхали, а?» …И умолкает на минуту странно певучий голос, а потом раздается опять: «То был мой муж». Только теперь моя мать различает высокую грудь под лохмотьями… «Подайте, сжальтесь над моим позором». Тянет ее за руку. Лифафа Дас тянет за другую руку, шепчет: «Это хиджра[102], скопец поганый; пойдемте, бегам-сахиба», – но Амина стоит как столб; ее тянут в разные стороны, а ей хочется сказать: «Погоди, белая женщина, дай мне закончить то, за чем я пришла, а потом заберу тебя в мой дом, накормлю, приодену, верну в привычный тебе мир»; но в этот самый миг женщина пожимает плечами и несолоно хлебавши уходит по сужающемуся проулку, уменьшается, съеживается на глазах, превращается в точку и – вот! – исчезает в жалкой клоаке. А Лифафа Дас, с каким-то невиданным выражением на лице восклицает: «Они все спеклись! Им конец! Скоро все они уберутся отсюда, и тогда мы сможем вволю убивать друг друга». Легонько дотронувшись до своего живота, Амина следует за ним в темный дверной проем, и лицо у нее горит.

…А в это время в Старом форте Ахмед Синай ждет «Равану». Мой отец в свете заката: он стоит в темном дверном проеме полуразрушенной комнаты в осыпающейся стене форта; пухлая нижняя губа выпирает, руки сцеплены за спиной, голова полна забот о деньгах. Он никогда не был счастливым человеком. Всегда от него чуть-чуть припахивало будущим крахом; он тиранил слуг; возможно, жалел, что когда-то ему не хватило духу оставить торговлю кожей, начатую покойным отцом, и посвятить себя подлинному призванию – перекомпоновке Корана в строгом хронологическом порядке. (Однажды он сказал мне: «Когда Мухаммад изрекал свои пророчества, люди записывали его слова на пальмовых листьях, которые затем как попало складывали в ларец. После того, как пророк умер, Абу Бакр[103] и другие пытались припомнить правильный порядок, но память часто их подводила». Снова он свернул не туда: вместо того, чтобы переписывать священную Книгу, скрывается в руинах, ожидая демонов. Стоит ли удивляться, что он не был счастливым и мое рождение не

101
102
103

помогло. Едва появившись на свет, я сломал ему большой палец на ноге.) …Итак, повторяю, мой отец предается горестным размышлениям о деньгах. О жене, которая вымогает рупии, а по ночам обчищает его карманы. О бывшей жене (которая в конечном итоге погибла от несчастного случая: пререкалась с погонщиком верблюдов, и верблюд укусил ее в шею) – она пишет длиннющие письма, без конца клянчит деньги, несмотря на достигнутое при разводе соглашение. И троюродная сестра Зохра хочет, чтобы он дал ей приданое – она родит и вырастит сыновей и дочерей, те переженятся и выйдут замуж за его детей и еще глубже запустят лапы в его кассу. А вот майор Зульфикар обещает большие деньги (в те времена майор Зульфикар с моим отцом весьма ладили). Майор писал отцу: «Ты должен решиться и уехать в Пакистан, когда его создадут, чего не миновать. Для таких, как мы, это будет настоящее золотое дно. Хочешь, представлю тебя самому М.А. Дж…» – но Ахмед Синай не доверял Мухаммаду Али Джинне[104]и не принял предложения Зульфи; так что, когда Джинна стал президентом Пакистана, оказалось, что мой отец опять пропустил нужный поворот. И, наконец, приходили письма от старого друга отца, гинеколога доктора Нарликара из Бомбея. «Британцы отплывают косяками, Синай-бхаи[105]. Недвижимость дешевле грязи! Продавай все, приезжай сюда, скупай и живи остаток дней в роскоши!» Стихи Корана не находили места в голове, полной денежных расчетов… а между тем вот он стоит, мой отец, рядом с С.П. Буттом, который умрет в поезде по дороге в Пакистан, и Мустафой Кемалем, которого растерзает толпа в его собственном большом доме на Флэгстафф-роуд; там он и останется бездыханный, с надписью на груди: «Паскудный жмот», выведенной его собственной кровью… мой отец стоит рядом с двумя обреченными, стоит и ждет в тени руин, чтобы подсмотреть, как шантажисты придут забирать его деньги. «Юго-западный угол, – сказали по телефону. – Башня. Каменная лестница внутри. Нужно подняться. Последняя площадка. Там оставить деньги. Уйти. Понятно?» Презрев приказ, они прячутся в полуразрушенной комнате; где-то над ними, на последней площадке угловой башни, три серые сумки ждут в сгущающейся мгле.

…В сгущающейся мгле душной лестницы Амина Синай поднимается к пророчеству. Лифафа Дас подбадривает ее – теперь, когда она сдалась на его милость, въехав на такси в узкое горлышко квартала, он почувствовал, что женщина дрогнула, пожалела о своей решимости – и по пути наверх он ее успокаивает. Темная лестница полна глаз, сверкающих сквозь щелястые двери, услаждающих себя видом смуглой госпожи, взбирающейся наверх; облизывающих ее, словно блестящие, шершавые языки кошек; Лифафа утешает, уговаривает, а моя мать чувствует, как воля покидает ее: «Будь что будет», – но сила духа и трезвый взгляд на мир всасываются темной губкой затхлого воздуха лестничной клетки. Вяло переступает она ногами, следуя за своим провожатым на самый верх колоссального мрачного проема в полуразрушенном многоквартирном доме, где Лифафа Дас с двоюродными братьями снимают крохотный угол …там, высоко, смутный свет пробивается сквозь щели, падает на головы выстроившихся в шеренгу калек. «Мой другой брат, – объясняет Лифафа Дас, – костоправ». И она проходит мимо мужчин со сломанными руками, женщин, чьи ноги заломлены назад под невозможным углом; мимо рухнувших с высоты мойщиков окон и разбившихся каменщиков; она, дочь врача, проникает в мир, который древнее шприцев и больниц, и вот наконец Лифафа Дас возвещает: «Мы пришли, бегам», – и ведет ее через комнату, где костоправ привязывает ветки и листья к раздробленным членам, заворачивает расколотые головы в кроны пальм, так что пациенты становятся похожи на искусственные деревья, настолько буйно расцветают их раны… еще выше, на плоскую просторную железобетонную крышу. Амина, моргая в ярком свете фонарей, различает бредовые очертания – пляшущие обезьяны, скачущие мангусты, змеи, вьющиеся в корзинах; а на парапете – силуэты больших птиц; нахохленные, суровые, они изогнуты так же жестоко, как и их клювы: стервятники.

104

105

– Арре бап, – кричит она, – куда ты меня ведешь?

– Не бойтесь, пожалуйста, бегам, – отвечает Лифафа Дас. – Там живут мои братья – троюродные и четвероюродные. Один водит обезьян…

– Я как раз их дрессирую, бегам! – раздается голос. – Глядите: обезьяна идет на войну и умирает за родину!

– …А другой работает со змеями и мангустами.

– Глядите, как прыгает мангуст, сахиба! Глядите, как танцует кобра!

– Но откуда птицы?..

– Да, это так, госпожа: тут, у парсов, Башня безмолвия[106], совсем рядом, и когда там нет мертвецов, стервятники прилетают сюда. Сегодня они спят; иногда, мне кажется, им нравится смотреть, как мои братья работают.

Маленькая комнатка на дальнем конце крыши. Лучи света просачиваются сквозь дверь, в которую входит Амина… За дверью – мужчина того же возраста, что ее муж, тучный, со множеством подбородков, в покрытых пятнами белых штанах, в красной клетчатой рубашке, босой; он жует анисовое семя и прихлебывает из бутылки Вимто[107]; сидит, скрестив ноги, в комнате, стены которой увешаны изображениями Вишну во всех его аватарах[108], а еще объявлениями: ЗДЕСЬ УЧАТ ПИСАТЬ и ПЛЕВАТЬ НА ПОЛ – ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА. Мебели никакой нет… и Шри Рамрам Сетх сидит, скрестив ноги, в шести дюймах над уровнем пола.

Должен признаться, к вящему ее стыду, моя мать закричала…

…А в это время в Старом форте обезьяны кричали на валу. Разрушенный город, покинутый людьми, стал приютом для мартышек. Длиннохвостые чернолицые обезьяны завладели всем зданием, сверху донизу. Вверх-вверх-вверх залезают они, запрыгивают на самые высокие точки, сражаются за место обитания, а после принимаются разбирать по камушку крепость. Падма, это правда: ты ведь никогда там не была, ты не стояла в полутьме, не глядела, как, стараясь из последних сил, эти мохнатые твари выламывают камни – тянут и раскачивают, раскачивают и тянут, один за другим, один за другим… каждый день обезьяны скатывают камни вниз по стенам – и эти камни отскакивают от углов и осыпей, падают в канавы. Придет день, и не будет больше Старого форта, лишь куча мусора, а на ней – обезьяны, криками празднующие победу… и есть среди них одна, крадущаяся вдоль вала – пусть это будет Хануман, предводитель обезьяньего войска, который помог царевичу Раме одолеть настоящего Равану; Хануман, что управляет летающими колесницами[109]… Глядите, как он спешит к этой башне – к своей территории; как он прыгает, голосит, обегает от стены к стене все свое царство, чешет зад о камни – и вдруг замирает, учуяв нечто, чего здесь не должно быть… Хануман бросается к нише, на самую верхнюю площадку, где трое мужчин оставили три мягких серых чужеродных предмета. И пока обезьяны танцуют на крыше за зданием почты, обезьяний царь Хануман исполняет пляску гнева. Набрасывается на серые штуковины. Ого, да они совсем легкие, не нужно раскачивать и тянуть, тянуть и раскачивать… глядите, как Хануман тащит мягкие серые камни к самому краю длинного ската внешней стены форта. Глядите, как он разрывает их: крик! крэк! крок!.. Глядите, как ловко извлекает он бумажные потроха из этих серых предметов: пусть себе сыплются дождем на камни, уже поверженные в ров!.. Бумажки летят не спеша, с ленивой грацией, и погружаются, как дивные воспоминания, в лоно тьмы; и вот – бух! плюх! еще раз бух! – три мягких серых камня летят через бортик, вниз-вниз во тьму, и напоследок слышится тихий безутешный шлепок. Хануман, сделав свое черное дело, теряет к нему интерес, убегает на одну из вершин своего царства и принимается раскачивать камень.

…И в это время снизу из-под стены мой отец увидел гротескную фигуру,

106
107
108
109

выступающую из темноты. Не зная ничего о катастрофе, свершившейся наверху, он наблюдает за чудищем из полуразрушенной комнаты: какая-то тварь в лохмотьях, в маске демона: картонные лица скалятся со всех сторон… это пришел человек от банды «Равана». Чтобы забрать деньги. С бьющимися сердцами трое бизнесменов смотрят, как призрак из кошмарного сна безграмотных крестьян исчезает в пролете лестницы, ведущей к той, верхней площадке, и через мгновение в гулкой ночной тишине слышат из уст демона вполне человеческую брань: «Мать вашу! Ах вы, кастраты!» …Ничего не понимая, видят, как их нелепо выряженный мучитель появляется. в дверном проеме, вываливается в темноту, пропадает. Его ругательства… «Сраные ослы! Свинячьи дети! Говноеды!»… доносит легкий ветерок. И они бегут наверх в диком смятении; Батт находит серый лоскут; Мустафа Кемаль склоняется над смятой рупией; и может быть, – да, почему бы и нет? – мой отец улавливает краем глаза темную, расплывчатую тень обезьяны… и они все понимают.

И вот они вопят и стонут, и г-н Бутт визгливо ругается, вторя проклятиям демона; и в головах у всех троих бушует немая битва: деньги или склад, склад или деньги? Коммерсанты раздумывают, объятые тихой паникой, над головоломкой, – но даже если они и оставят выкуп на милость уличных псов и бродяг, как удержать поджигателей?; и наконец, при полном молчании, неодолимая сила наличности одерживает верх, и они стремглав спускаются вниз по каменным ступеням, через заросшие травой лужайки, в разрушенные ворота, и скатываются – ВПЕРЕМЕШКУ! – в ров, хватают рупии, набивают ими карманы: загребают, прочесывают, скребут, не обращая внимания на лужи мочи и горы гнилых фруктов, лелея несбыточную надежду, что этой ночью – милостью Всемогущего – только этой, одной-единственной ночью, банда не исполнит своей угрозы. Но, конечно же…

…Но, конечно же, на самом деле Рамрам-провидец не парил в воздухе в шести дюймах от пола. Моя мать затихла, взглянула пристальней и разглядела маленькую полку, выступающую из стены. «Дешевый трюк, – сказала она себе, а потом: – Что я делаю в этом Богом забытом месте, где спят стервятники и пляшут обезьяны; чего жду от гуру, который левитирует, сидя на полочке, каких глупостей способен он наговорить?»

Амина Синай не знала, что второй раз во всей этой истории я вот-вот заявлю о своем присутствии. (Нет, не зародыш-обманка у нее в животе, а я, именно я, в моей исторической роли, о которой писали первые министры: «…он, в некотором смысле, является зеркалом всех нас». Великие силы действовали этой ночью, и все присутствующие ощущали их мощь и трепетали.)

Двоюродные братья – все четверо – столпились в дверном проеме, через который прошла смуглая госпожа, слетелись, как мотыльки к свече, на ее хриплый, зловещий крик… спокойно смотрели костоправ, укротитель кобр и дрессировщик обезьян, как она продвигается вперед, как Лифафа Дас ведет ее к ни на что не похожему предсказателю судьбы. Шепотом подбадривали ее (а может, и хихикали, прикрывшись натруженными ладонями?): «Ах, какую дивную судьбу он предскажет, сахиба!» и «Ну, давай же, кузен-джи, госпожа ждет!» …Но кто такой этот Рамрам? Базарный шут, грошовый хиромант, предрекающий сладкую жизнь глупым бабам, или настоящий держатель ключей? А Лифафа Дас – видел ли он в моей матери женщину, которая удовольствуется фальшивым факиром ценою в две рупии, или же он сумел заглянуть глубже и узреть таящуюся в подполье сердечную слабость? И когда пророчество явилось на свет, были ли братья также изумлены? А пена у рта? Что вы на это скажете? И правда ли, что моя мать, под обескураживающим влиянием этого истерического вечера, несколько ослабила железную хватку, которой сжимала свою истинную природу, и та вырвалась на волю; темный, безвидный воздух на лестнице всосал ее, словно губка, – и душа Амины пришла в такое состояние, когда все может случиться наяву и во все можно поверить? Есть другая ужасная возможность, но до того, как огласить свое жуткое подозрение, я должен описать все как можно точнее, несмотря на тонкий, пленчатый занавес двусмысленностей; да, я должен описать Амину Синай, ее ладонь, косо протянутую навстречу хироманту, ее глаза, широко распахнутые, немигающие, похожие на кусочки лакрицы, – а братья при этом (хихикая?): «Как чудесно он

прочтет тебе судьбу, сахиба!» и «Ну, говори же, кузен-джи, говори!» – но занавес опять падает, так что я не уверен, начал ли он как дешевый цирковой базарный шарлатан, склоняя на все лады необходимые банальности о линиях жизни, линиях сердца и детях-мультимиллионерах, в то время как братья поддерживали его криками: «Вах-вах!» и «Вот это мастер, йара!» – а потом, изменился ли он потом? – Рамрам застыл неподвижно, глаза его закатились под лоб, сделались белыми, как два яйца, – спросил ли он голосом странным, словно исходящим из глубины зеркал: «Вы позволите, госпожа, прикоснуться к тому месту?» – и братья умолкли, стали похожи на спящих стервятников; и ответила ли моя мать тем же странным голосом: «Да, позволю», и провидец оказался третьим мужчиной за всю ее жизнь, который дотрагивался до нее, не считая членов семьи? – тогда ли, в тот ли самый момент мгновенный, резкий разряд электричества прошел между толстыми, короткими пальцами и кожей Амины? И лицо моей матери, лицо испуганного зайчишки, когда она увидела, как пророк в клетчатой рубашке начинает кружиться и глаза его, все еще белые, как яйца, тускло светятся на пухлом лице; и вдруг по нему пробегает дрожь, и снова раздается странный высокий голос, и слова исходят из губ (эти губы я тоже опишу, но позже, потому что сейчас…) «Сын».

Братья умолкли; обезьяны на сворках тоже прекратили лопотать, кобры свернулись в корзинах – и устами кружащегося прорицателя заговорила сама история. (Так ли это было?) Вначале: «Сын… да еще какой сын!» И вот оно началось: «Сын, сахиба, который никогда не станет старше своей отчизны – ни старше, ни моложе». И теперь по-настоящему испугались укротитель змей, дрессировщик мангустов, костоправ и владелец кинетоскопа, ибо они никогда не слышали от Рамрама подобных речей, а тот продолжает, нараспев, высоким фальцетом: «Будут две головы, – но ты увидишь только одну, – будут колени и нос, нос и колени». Нос и колени, колени и нос – слушай внимательно, Падма, этот тип ни в чем не ошибся!.. «Газеты его прославляют, две матери млеком питают! Велосипедистка его полюбит, но толпа едва не погубит! Сестры горько рыдают, кобра из тьмы выползает…» Рамрам кружится все быстрей-быстрей, а четверо братьев перешептываются: «Что же это, баба?» и «Боже милостивый, Шива, сохрани нас!» А Рамрам: «Корзина ему даст приют – его голоса поведут! Друзья изувечат, играя, – кровь потечет, предавая!» И Амина Синай: «О чем это он? Я не понимаю. Лифафа Лас, что это с ним?» Но неумолимо, блестя скорлупою глаз, крутясь вокруг женщины, застывшей как статуя, продолжает Рамрам Сетх: «Плевательница ему череп пробьет – соки свора врачей извлечет – джунгли его позовут – колдуньи своим назовут! Солдаты его пытают, тираны огнем испытают…» Амина умоляет объяснить, что все это значит, а братья, впав в неистовство, хлопают в ладоши в бессильной тревоге, ибо что-то снизошло на всех, и никто не смеет коснуться Рамрама Сетха, который кружится все быстрей и наконец доходит до высшей точки: «Он будет иметь сыновей и не будет иметь сыновей! Он состарится, не став стариком! И умрет… не став мертвецом».

Так это было или нет? Тогда ли Рамрам Сетх, совершенно разбитый прошедшей через него силой, куда большей, чем его собственная, вдруг рухнул на пол с пеной у рта? Вложили ли ему между скрежещущих зубов тросточку дрессировщика мангустов? Сказал ли Лифафа Дас: «Бегам-сахиба, оставьте нас, пожалуйста: нашему брату-джи совсем худо?»

И, наконец, укротитель кобр – или дрессировщик обезьян, или костоправ, или даже сам Лифафа Дас, владелец кинетоскопа на колесах, сказал: «Слишком много пророчеств, ребята. Наш Рамрам этим проклятым вечером слишком много пророчествовал».

Много лет спустя, преждевременно впав в слабоумие, когда призраки всех родов извергались из прошлого и плясали у нее перед глазами, моя мать вновь увидела парня с кинетоскопом, которого спасла, объявив благую весть о моем рождении, и который отплатил ей тем, что привел ее к слишком многим пророчествам, и заговорила с ним ровно, не тая злобы. «Значит, ты вернулся, – сказала она. – Ну, хорошо, тогда слушай: лучше бы я поняла тогда то, что имел в виду твой кузен – насчет крови, колен и носа. Потому что – кто знает? – может быть, у меня был бы другой сын».

Как и мой дед в самом начале, в затянутом паутиной коридоре в доме слепца, а также и

в самом конце; как и Мари Перейра, потерявшая своего Жозефа; как и я сам, моя мать всюду видела призраков.

…Но теперь, когда возникают все новые и новые вопросы, когда нужно разъяснять все новые двусмысленности, я просто обязан предать гласности свои подозрения. Подозрение – тоже многоголовое чудище; у него даже слишком много голов; почему же тогда я не могу удержаться, почему отстегиваю поводок и спускаю его на собственную мать?.. Как, я спрашиваю, можно описать живот провидца? И память, моя новая, всеведущая память, охватывающая львиную долю жизней матери-отца-деда-бабки и всех прочих, – подсказывает: мягкий, выпирающий, круглый, как кукурузный пудинг. И снова, внутренне сопротивляясь, спрашиваю я: как выглядят его губы? И неизбежный ответ: пухлые, вывороченные, поэтичные. И в третий раз вопрошаю я свою память: что там с его волосами? И слышу в ответ: редеющие, темные, прямые, падающие на уши. И теперь, весь во власти нелепых подозрений, задаю я последний вопрос… не могла ли Амина, на самом деле чистая, непорочная, …из-за своей слабости к мужчинам, похожим на Надир Хана, не могла ли она… утратив на мгновение рассудок, тронутая жалким состоянием провидца, не решилась ли… «Нет! – слышится яростный крик Падмы. – Да как ты смеешь говорить подобные вещи? О такой прекрасной женщине – о собственной матери? Чтобы она могла? Ты ничегошеньки не знаешь и несешь такое?» И, конечно же, она, как всегда, права. Если бы она знала все, то, наверное, сказала бы, что я пытаюсь отомстить: ведь я действительно видел, что делала Амина за грязными стеклами кафе «Пионер»; и, может быть, тогда и родилось мое нелепое подозрение, и, презрев законы логики, отодвигалось во времени, пока не достигло, полностью созревшим, этого раннего – и почти наверняка невинного – приключения. Да, так оно, скорее всего, и есть. Но чудище не спешит угомониться… «Ага, – говорит оно, – а как насчет сцены, которую она закатила Ахмеду, когда тот объявил, что они переезжают в Бомбей?» И теперь оно, это чудище, передразнивает мою мать: «Ты, всегда только ты решаешь. А я? Что, если я не хочу… только-только привела я этот дом в порядок, и вот!..» Так что, Падма, была ли то злость ревностной хозяйки – или маскарад?

Да, сомнение остается. Чудище спрашивает: «Почему же она так и не рассказала мужу об этом визите?» Ответ обвиняемой (его оглашает Падма от лица моей отсутствующей матери): «Да ты подумай только, как бы он разозлился, Боже мой! Даже если бы и не был потрясен этой историей с поджигателями. Посторонний мужчина; жена, вышедшая из дому тайком, – да он бы просто взбесился! Совершенно взбесился бы!»

Недостойные подозрения… следует отринуть их, приберечь суровые речи на потом, когда исчезнет двусмысленность, поднимется завеса тумана, и Амина предоставит мне твердые, ясные, неопровержимые доказательства.

Но, конечно же, когда мой отец пришел домой поздно ночью, запах сточной канавы перебивал обычно исходящий от него душок будущего краха; из глаз катились слезы, оставляя на щеках полосы пепла; ноздри его были забиты серой, а голова посыпана прахом развеявшихся дымом кож… ведь, конечно же, бандиты сожгли склад.

«А ночные сторожа?» – спали, Падма, спали. Предупрежденные заранее, приняли сонное питье так, на всякий случай… Отважные лала[110], воинственные патаны[111]– рожденные в городе, они никогда не видели Хайбера[112], и развернули пакетики, и высыпали порошок ржавого цвета в кипящий котелок с чаем. Раскладушки они оттащили подальше от отцовского склада, чтобы до них не долетели падающие балки и дождем рассыпающиеся искры. Потом улеглись на свои веревочные постели, выхлебали чай и погрузились в полное горечи и услады забвение, даруемое наркотиком. Сперва до хрипоты восхваляли излюбленных шлюх, оставленных в Пушту, затем стали дико хохотать, словно мягкие,

110
111
112

легкие пальцы дурмана щекотали их… затем место смеха заняли сны, сторожа скитались по самым дальним ущельям дурмана, быстрее ветра неслись на скакунах дурмана, и наконец уснули крепким сном без сновидений, и ничто на свете не могло пробудить их до того, как наркотик закончит свой путь по их телам.

Ахмед, Бутт и Кемаль приехали на такси – водитель, утративший остатки мужества при виде этих троих, набравших полные горсти скомканных банкнот, которые воняли как черт знает что, соприкоснувшись во рву со многими пренеприятными субстанциями, ни за что не стал бы их ждать, но они отказались платить. «Отпустите меня, важные господа, – канючил шофер. – Я человек маленький, не держите меня здесь…» – но они уже повернулись к бедняге спинами и припустили к пожарищу. Шофер смотрел, как они мчатся, вцепившись в рупии, изгвазданные в гнилых помидорах и собачьем дерьме; разинув рот, глазел он на горящий склад, на облака дыма в ночном небе и, как все участники этой сцены, вынужден был вдыхать воздух, полный запахов кож, спичечных коробков и паленого риса. Прикрыв глаза, подглядывая сквозь растопыренные пальцы, маленький шофер такси, у которого до таких дел нос не дорос, увидел, как г-н Кемаль, тощий и длинный, похожий на взбесившийся карандаш, лупил чем попало и пинал ногами объятые сном тела ночных сторожей – и едва не уехал в ужасе, бросив свою выручку, когда мой отец заорал: «Поберегись!» …и все же остался, несмотря ни на что, и увидел, как склад развалился на части, изъеденный липкими красными языками; увидел, как излился из склада поток невиданной лавы из спекшихся вместе риса, чечевицы, гороха, непромокаемых курток, спичечных коробков и солений; увидел, как жаркие, красные цветы пламени взметнулись к небесам, когда содержимое склада вытекло на твердую желтую почву и застыло черной, обугленной дланью отчаяния. Да, конечно же, склад был сожжен, он падал им на головы пеплом с небес, он набивался в разинутые рты покрытых синяками, но мирно храпящих сторожей. «Боже сохрани», – пробормотал г-н Бутт, но Мустафа Кемаль, человек практичный, отозвался: «Слава Богу, мы хорошо застрахованы».

«Я был прав тогда, – позже твердил Ахмед Синай своей жене, – я был прав, когда решил бросить торговлю кожами. Продать контору, склад, забыть все, что я когда-либо знал об этом деле. Тогда же – не раньше не позже – я окончательно выкинул из головы завиральный пакистанский проект Зульфи, муженька твоей Эмералд. В этом пламени, в этом пекле, – откровенничал мой отец, а жена его тем временем кипела от ярости, – я решил уехать в Бомбей и заняться недвижимостью. Недвижимость там дешевле грязи, – уверял он, пресекая вот-вот готовые слететь с ее губ возражения, – Нарликару лучше знать».

(А со временем он назовет Нарликара предателем).

В моей семье все идут туда, куда их толкают, – замораживание сорок восьмого года было единственным исключением из правила. Лодочник Таи вытеснил моего деда из Кашмира; меркурий-хром изгнал его из Амритсара; крушение спокойной жизни под коврами привело к отъезду моей матери из Агры; а многоголовые чудища спровадили моего отца в Бомбей, чтобы я смог там родиться. К концу января моя история, движущаяся толчками, подошла наконец к тому моменту, когда мне почти пора появиться на свет. Есть тайны, которые так и не разъяснятся, пока я сам не выйду на сцену… например, тайна самого загадочного пророчества Шри Рамрама: «Будут нос и колени, колени и нос».

* * *

Страховку выплатили, январь подходил к концу; и пока Ахмед Синай ликвидировал свое дело в столице и готовился к отъезду в город, где – доктору Нарликару, гинекологу, лучше знать, – недвижимость в тот момент стоила дешевле грязи, моя мать сосредоточенно, сегмент за сегментом, приучала себя любить мужа. Всем сердцем привязалась Амина к его ушам в форме вопросительного знака; к замечательно глубокому пупку, куда ее палец без малейшего усилия погружался до первого сустава; полюбила она и его узловатые колени; но,

как бедняжка ни старалась (и, разрешая все сомнения в ее пользу, я все же не могу найти для этого подходящей причины), оставалась в супруге одна часть, которую она так и не исхитрилась полюбить, хотя эта штука, бывшая у него в полном порядке, у Надир Хана определенно бездействовала; в те ночи, когда муж взгромождался на нее, – ребенок в ее животе был тогда не более лягушки – ей это совсем не нравилось.

– Нет, не так быстро, джанум, жизнь моя, осторожней, пожалуйста, – просила она, и Ахмед, чтобы затянуть процесс, возвращается мыслями к пожару; к последнему, что случилось той огнедышащей ночью: в тот самый момент, как он собрался уходить, раздался с небес хриплый, зловещий крик, и он посмотрел наверх, и успел разглядеть, что стервятник – ночью! – да, стервятник с Башен Безмолвия летит прямо над его головой; вот мрачная птица роняет расклеванную до кости руку парса, правую руку, и эта самая рука – р-раз! – хлещет его по лицу, падая на землю; Амина же, лежа под ним в постели, честит себя на все корки: «Ну почему ты не можешь получить удовольствие, глупая ты женщина, придется тебе как следует постараться».

Четвертого июня мои родители, которых напрасно свела судьба, отправились в Бомбей на Приграничном Почтовом. (К ним в дверь ломились, отчаянно звенели голоса, кулаки стучали: «Махарадж! Открой, на одну минуточку! Оэ, пролей млеко и мед твоей милости, великий господин, сжалься над нами!» А среди приданого в зеленом жестяном сундуке таилась за семью печатями украшенная лазуритом изящной чеканки серебряная плевательница). В тот же самый день граф Маунтбеттен Бирманский объявил на пресс-конференции о разделе Индии и повесил на стену календарь, который отсчитывал время в обратную сторону: семьдесят дней до передачи власти… шестьдесят девять… шестьдесят восемь… тик-так.

Месволд

Сначала были рыбаки. До «тик-так» Маунтбеттена, до чудищ и публичных оглашений; когда подпольного брака никто еще не мог и вообразить себе и никто в глаза не видывал серебряной плевательницы; раньше, чем меркурий-хром; задолго до того, как мускулистые тетки держали продырявленную простыню; в еще более древние времена, прежде Дальхаузи[113] и Эльфинстона[114]; до того, как Ост-Индская компания[115] построила свой форт; до первого Уильяма Месволда[116]; в начале времен, когда Бомбей представлял собой пустынный остров в форме гантели, за узкой частью которой можно было провидеть наилучшую, крупнейшую гавань в Азии – ведь Мазагун и Уорли, Матунга и Махим, Сальсетт и Колаба тоже острова – короче говоря, до мелиорации, до того, как тетраподы[117] и затопленные сваи превратили Семь Островов в длинный полуостров, похожий на вытянутую, что-то хватающую руку, указующую на запад, на Аравийское море; в первозданном мире, где не водилось еще башенных часов, и рыбаки – их называли коли[118] – выходили в море на арабских дау, одномачтовых судах, поднимавших красные паруса навстречу заходящему солнцу. Они ловили креветок и крабов и всех нас сделали любителями рыбы. (Или большинство из нас. Падма поддалась этим водяным чарам, но мои домочадцы, в чьих жилах текла чуждая кашмирская кровь, хранящая ледяную сдержанность кашмирских небес, все до одного предпочитали мясо).

Были еще кокосы и рис. А надо всем этим – благотворное, охватывающее все стороны жизни влияние богини, чье имя – Мумбадеви, Мумбабай, Мумбай – возможно, дало название

113
114
115
116
117
118

городу[119]. Однако португальцы называли это место Бом Баия из-за гавани, не из-за богини ловцов морских тварей… португальцы были первыми захватчиками, укрывавшими в гавани торговые суда и солдат, но в один прекрасный день 1633 года чиновнику Ост-Индской компании, которого звали Месволд, явилось видение. Видение это – мечта о британском Бомбее, укрепленном, охраняющем запад Индии от всех пришельцев, имело такую силу, что время пришло в движение. Колесо истории поворачивалось со скрипом; Месволд умер, а в 1660 году Карл II Английский женился на принцессе Екатерине из португальского дома Браганца[120]– той самой Екатерине, которой всю жизнь пришлось играть вторую роль при торговке апельсинами Нелл[121]. Но утешением ей могло послужить то, что Бомбей как ее приданое попал в британские руки, возможно, положенный в зеленый жестяной сундук, – и мечта Месволда на шаг приблизилась к воплощению. Еще немного времени – и 21 сентября 1668 года компания наконец-то наложила лапы на остров… и вот португальцы ушли восвояси вместе со всеми своими претензиями на форт и земли, и в мгновение ока здесь вырос город Бомбей, о котором пелось в старинной песенке:

Первая в Индии,
Звезда Востока,
На Запад глядящие
Врата в Индостан.

Наш Бомбей, Падма! Он был тогда другим; не было еще ночных клубов, и консервных фабрик, и отелей «Оберой-Шератон», и киностудий; но и тогда он рос с головокружительной быстротой: возник собор и конная статуя Шиваджи, воинственного царя маратхов[122]; памятник этот (как все мы верили) оживал по ночам и пускался галопом по городским улицам, наводя ужас на жителей – скакал и скакал прямо по Приморскому бульвару! По песку Чаупати! Мимо высотных домов на Малабарском холме, заворачивая за угол Кемпа, мчался на бешеной скорости до самого Скандал-Пойнт! А потом, почему бы и нет, все дальше и дальше, по моей родной Уорден-роуд, вдоль бассейнов для белых и цветных на Брич Кэнди, прямо к гигантскому храму Махалакшми и старому Уиллингдон-клубу… В годы моего детства, едва в Бомбее наступали скверные времена, как какой-нибудь страдающий бессонницей любитель ночных прогулок оповещал всех, будто видел своими глазами, как скакала статуя; несчастья входили в город моей юности, повинуясь неслышному ритму серых копыт каменного коня.

Где они теперь, те первые жители? Кокосовые пальмы пережили их всех. На пляже в Чаупати до сих пор предлагают кокосы, срубая с них верхушку, а на пляже в Джуху, под томными взглядами кинозвезд, живущих в отеле «Сан-энд-Сэнд», мальчишки до сих пор лазают на пальмы и срывают бородатые плоды. Рису не так повезло; поля риса теперь лежат под асфальтом; многоквартирные дома высятся там, где раньше в виду моря колыхались посевы. Но мы, горожане, остались великими поглотителями риса. Рис из Патны, Басмати, Кашмира ежедневно свозится в метрополию, а наш собственный местный рис наложил свой отпечаток на всех нас, так что не напрасно был он собран и обмолочен. Что же до Мумбадеви, то нынче она утратила популярность, народ стал более привержен к слоноголовому Ганеше. Календарь праздников свидетельствует о ее закате: у Ганеши – «Ган-пати-бабы» – есть свой день, Ганеша Чатуртхи[123]; когда колоссальные процессии собираются и движутся к Чаупати, неся изображения бога из папье-маше, которые затем сбрасывают в море. День Ганеши – праздник вызывания дождя, церемония эта притягивает

119
120
121
122
123

муссоны; она происходила и в те дни, когда я еще не появился на свет с последним «тик-так» часов, включенных на обратный отсчет времени, – но где же день Мумбадеви? Его нет в календаре. Из всех первоначальных обитателей города коли, рыбаки, пострадали более всего. Оттесненные в крохотную деревушку на большом пальце похожего на ладонь полуострова, они, надо признать, дали название всему кварталу – Колаба. Но пройдите по дамбе Колаба до самого конца – мимо дешевых магазинов одежды, иранских ресторанов и второразрядных домов, где снимают квартиры учителя, журналисты и клерки, – и вы найдете их, притулившихся между военно-морской базой и морем. Иногда женщины коли, чьи руки воняют креветками и крабами, нахально втискиваются в самое начало очереди на автобус в своих алых (или пурпурных) сари, бесстыдно подоткнутых между ног, и с болезненным блеском застарелых поражений и обид в рыбьих глазах навыкате. Форт, а потом город отобрал у них землю; копры (позже тетраподы) растащили по частям море. Но каждый вечер арабские дау[124]все еще поднимают свои паруса, стремясь к закату… в августе 1947 года британцы, не сумев удержать в руках эти рыбацкие сети, эти кокосы, рис и богиню Мумбадеви, сами готовились к отплытию; никакое владычество не длится вечно.

А 19 июня, через две недели после своего прибытия на Приграничном Почтовом, мои родители заключили весьма любопытную сделку с одним из таких отплывающих англичан. Звали его Уильям Месволд.

Дорога к имению Месволда (теперь мы входим в мое царство, проникаем в сердцевину моего детства, и горло у меня чуть-чуть опухает) ответвляется от Уорден-роуд; там, на углу, автобусная остановка и ряд небольших магазинчиков. Игрушечный магазин Чималкера; рай любителей книги; ювелирный магазин Чиманбхай Фатбхой, а прежде всего – кондитерская Бомбелли, с пирожным «Маркиз», с шоколадками-длиной-в-ярд! Названия эти много говорят воображению, но сейчас не время этим заниматься. За отдающим честь картонным рассыльным прачечной Бэнд-Бокс начинается дорога домой. В те дни никто не мог себе даже представить розового небоскреба женщин Нарликара (отвратительной копии Шринагарской радиовышки!), и дорога поднималась на невысокий холм, размером примерно с двухэтажное здание; вилась вокруг и выходила к морю, к Клубу пловцов Брич-Кэнди, где розовая публика могла плавать в бассейне, повторяющем очертания Британской Индии, не боясь соприкоснуться с темной кожей; и здесь, великолепно расположенные возле неширокого подъездного пути, высились дворцы Уильяма Месволда, а на них висели таблички, которые – благодаря мне – вновь появятся там многие годы спустя; таблички, где значилось одно слово, всего одно, и оно вовлекло моих ни о чем не подозревающих родителей в необычную игру, затеянную Месволдом; слово было такое: ПРОДАЁТСЯ.

Имение Месволда: четыре одинаковых дома, построенных в стиле, подходящем для исконных владельцев (дома завоевателей – жилища римлян; трехэтажные обиталища богов на двухэтажном Олимпе; чахлый, низкорослый Кайлас!) – просторные, прочные здания с красными островерхими крышами и башенками на углах, белыми, будто слоновая кость, в высоких, с узкими концами, шапочках из красной черепицы (в таких башенках заточали принцесс!) – дома с верандами, с комнатами для прислуги, куда вели с черного хода чугунные винтовые лестницы, – и этим домам их владелец, Уильям Месволд, дал величавые имена европейских дворцов: вилла Версаль, вилла Букингем, вилла Эскориал и Сан-Суси. Все они были увиты бугенвиллией, золотые рыбки плавали в бледно-голубых бассейнах; кактусы росли среди декоративных каменных горок; крохотные кустики-недотроги прятались за стволами тамариндов; всюду порхали бабочки, цвели розы; на лужайках были расставлены плетеные кресла. И в тот день в середине июня господин Месволд продал свои опустевшие дворцы за смехотворную цену – однако на определенных условиях. Итак, сейчас, без дальнейших предисловий, я представлю вам его, всего целиком, с прямым пробором в волосах… титан ростом в шесть футов, этот Месволд, с лицом свежим, светлым, будто

124

лепестки роз, и вечно юным. Мы еще поговорим о прямом проборе, ровном, словно выверенном по рейсшине, неотразимом для женщин, у которых возникало неудержимое желание нарушить его… Волосы Месволда, причесанные на прямой пробор, имеют непосредственное отношение к моему появлению на свет. Вокруг таких вот безукоризненных проборов и вращается история, к ним тянется противоположный пол. Пробор – как натянутый канат, по которому идешь высоко над землей. (Но, несмотря ни на что, даже я, ни разу не видавший его, ни разу не бросивший взгляда на зубы, сверкающие в томной улыбке, или на сногсшибательную, волосок к волоску причесанную шевелюру, – даже я, повторяю, не способен таить на него обиду.)

А его нос? Каким он был? Крупным, заметным? Должно быть, так, этот нос достался ему в наследство от благородной французской бабушки – из Бержераков! – чья кровь аквамарином разливалась по его венам и оттеняла его светский шарм неким налетом жестокости, неким сладким убийственным ароматом полынной настойки.

Имение Месволда продавалось на двух условиях: дома должны были быть куплены целиком, со всеми предметами обстановки, и новые владельцы должны были сохранить все, вплоть до малейшей вещицы; и полностью вступить во владение можно было только после полуночи 15 августа.

– Все-все? – переспросила Амина. – Я и ложки не могу выбросить? О Аллах, этот абажур… Мне нельзя убрать отсюда даже расческу?

– Дом под ключ, со всей обстановкой, – проговорил Месволд. – Таковы мои условия. Прихоть, мистер Синай… вы позволите отбывающему колонизатору сыграть в эту маленькую игру? Что нам, британцам, еще остается делать, как не играть в наши игры?

– Нет, ты послушай, послушай, Амина, – позже убеждал ее Ахмед. – Разве ты хочешь всю жизнь прожить в гостинице? Цена фантастическая, совершенно фантастическая. И что он сможет поделать потом, когда передаст права? Тогда ты и выкинешь любой абажур, какой тебе будет угодно. Осталось потерпеть каких-то два месяца, даже меньше…

– Вы станете пить коктейль в саду, – говорит Месволд. – В шесть часов каждый вечер. Время коктейля. За двадцать лет не нарушалось ни разу.

– Но, Боже мой, эта краска… и комоды полны старого тряпья, джанум… нам придется жить на чемоданах, некуда повесить костюм!

– Скверно обстоят дела, мистер Синай, – сидя среди кактусов и роз, Месволд прихлебывает виски. – Никогда не видел ничего подобного. Сотни лет достойного правления – и так вот, вдруг: бросайте все и уезжайте. Признайтесь же, мы были не так уж плохи – построили вам дороги. Школы, поезда; ввели парламентскую систему – всё вещи очень полезные. Тадж-Махал разрушался на глазах, пока англичанин не взял его под защиту. А теперь нате вам: независимость. Через семьдесят дней извольте убираться вон. Я против, категорически против – но что тут поделаешь?

– Ты только взгляни, джанум: ковер весь в пятнах – и целых два месяца мы должны жить, как эти грязные бриташки? А в ванную ты заглядывал? Перед горшком не поставлена вода. Я никогда не верила, но это правда, Боже мой, они подтирают зад одной только бумагой!..

– Скажите, мистер Месволд, – Ахмед говорил по-особому, в присутствии англичанина он растягивал слова, скверно подражая оксфордскому произношению, – скажите, зачем тянуть? Быстрей продать – больше получить, разве не так? Давайте ударим по рукам.

– И всюду-всюду английские старухи, баба?! Негде даже повесить фотографию отца!..

– Мне кажется, мистер Синай, – мистер Месволд вновь наполняет стаканы, а солнце ныряет в Аравийское море прямо за бассейном Брич-Кэнди, – что за чопорной английской внешностью нередко таится чисто индийская страсть к аллегории.

– И столько пить, джанум… это плохо, очень плохо.

– Я не совсем понял, мистер Месволд, гм… – что вы имели в виду.

– Ах, видите ли, в некотором роде я тоже передаю власть. И мне страшно хочется сделать это одновременно с Британией. Я же говорю: игра. Исполните мою прихоть, а,

Синай? Ведь цена-то недурна, признайтесь.

– Он что, спятил, а, джанум? Подумай, можно ли заключать с ним сделку, если он – помешанный?

– А теперь слушай меня, жена, – говорит Ахмед Синай, – эта история тянется слишком долго. Мистер Месволд прекрасный человек, воспитанный, честный; одно имя чего стоит… И потом: другие покупатели не поднимают столько шума, будь уверена… В любом случае, я сказал ему «да», так что на этом и покончим.

– Возьмите крекер, – говорит мистер Месволд, пододвигая блюдо. – Ну что ж, мистер Си, решайтесь. Да, странные творятся дела. Никогда не видел ничего подобного. Мои прежние съемщики, старожилы в Индии, уезжают – бросают все. Грустное зрелище. Больше не хотят от Индии ничего. В одночасье. Я человек простой, мне этого не понять. Они будто бы умывают руки – ни лоскутка не берут с собой. «Пусть пропадает», – говорят. В Англии начнут все сначала. Деньжата у них водятся, у всех, сами понимаете, но все же как-то не по-людски. Меня оставили отдуваться. Тогда-то мне и пришла в голову эта мысль.

– Да-да, решай-решай, – взвивается Амина. – Я жду ребенка, у меня живот, как гора, – так что мне за дело? Мне жить в чужом доме и растить малыша, ну и что?.. Ах, чего ты только не выдумаешь мне назло…

– Да не реви ты, – говорит Ахмед, шлепая взад-вперед по гостиничному номеру. – Дом хороший. Сама знаешь, что хороший. А два месяца… даже меньше, чем два… что, толкается? Дай пощупать… Где? Здесь?

– Вот тут, – говорит Амина, шмыгая носом. – Здорово толкнул.

– А мысль моя состоит в том, – объясняет мистер Месволд, глядя на заходящее солнце, – чтобы разыграть передачу имущества, как некий спектакль. Просто так, абы кому оставить все, что вы видите? Нет – выбрать подходящих людей – таких, как вы, мистер Синай! – и передать им все абсолютно нетронутым, работающим, в полном порядке. Оглянитесь вокруг: все, что вы видите, в великолепном состоянии, не правда ли? Все тип-топ, как мы любили говорить. Или, как вы говорите на хиндустани: «Саб кучх тикток хай»[125]. Все великолепно.

– Прекрасные люди покупают дома, – Ахмед подает Амине платок, – прекрасные новые соседи… вот господин Хоми Катрак в вилле Версаль, он – парс[126], но у него конюшня скаковых лошадей. Фильмы делает и все такое. Еще Ибрахимы в Сан-Суси, у Нусси Ибрахим тоже будет ребенок, так что вы подружитесь… а у старика Ибрахима в Африке большие-пребольшие плантации сизаля[127]. Хорошая семья.

– Потом я смогу сделать с домом все, что мне захочется?..

– Да, конечно, потом, когда он уедет…

– Сработало великолепно, – говорит Уильям Месволд. – Знаете ли вы, что это моему предку пришло в голову построить здесь город? Бомбейский Рафлз[128], так сказать. Я, его потомок, в этот важный переломный момент тоже, как мне кажется, должен сыграть свою роль. Да, великолепно… когда вы переезжаете? Одно ваше слово – и я удаляюсь в «Тадж-отель». Завтра? Великолепно. Саб кучх тикток хай!

Вот люди, среди которых я провел мое детство: г-н Хоми Катрак, кинопродюсер и владелец скаковых лошадей, с дочерью-идиоткой Токси: ее держали взаперти, и за ней ухаживала нянька, Би-Аппа, самая страшная женщина, какую я когда-либо знал; и еще Ибрахимы из Сан-Суси, старик Ибрахим Ибрахим, с подагрой и плантациями сизаля; его сыновья Исмаил и Исхак, и крохотная, суетливая, невезучая жена Исмаила, Нусси, которую мы прозвали Нусси-Утенок за ее переваливающуюся походку; в животе у нее подрастал

125
126
127
128

тогда мой дружок Сонни, подходя все ближе и ближе к злополучной встрече с акушерскими щипцами… Виллу Эскориал поделили на квартиры. На первом этаже жили Дубаши, он – физик, впоследствии светило на научно-исследовательской базе в Тромбее; она – тайна за семью печатями: в ней, с виду пустой и ничтожной, таился истовый религиозный фанатизм – но пусть пока таится; скажу только, что эти двое были родителями Сайруса (зачатого через несколько месяцев), моего первого наставника, игравшего женские роли в школьных спектаклях и носившего кличку Кир Великий[129]. Над ними жил друг отца доктор Нарликар, тоже купивший здесь квартиру… был он такой же черный, как моя мать, имел способность как бы светиться изнутри, когда что-то волновало его или сердило; ненавидел детей, хотя и помог нам всем явиться в этот мир; смерть его выпустила на волю, на погибель городу целое племя женщин, способных на все, сметающих любую преграду со своего пути. И, наконец, на верхнем этаже жили капитан Сабармати и Лила; капитан Сабармати, одна из самых горячих голов во флоте, и его жена с весьма дорогостоящими запросами; он был вне себя от счастья, что удалось так дешево купить ей жилье; он долго не верил в свою удачу. Их сыновьям было в то время одному полтора года, другому – четыре месяца; выросли они недалекими и шумными; прозывали их Одноглазый и Масляный, и они не знали (откуда же им знать?), что именно я сломаю им жизнь… Избранные Уильямом Месволдом, эти люди, которые составят впоследствии центр моего мира, переехали в имение, смирившись со странными прихотями англичанина: ведь цена-то и в самом деле была божеская.

…Осталось тридцать дней до передачи власти, и Лила Сабармати висит на телефоне: «Как ты это терпишь, Нусси? В каждой комнате – по хохлатой птице, а в комоде я нашла съеденные молью платья и старые лифчики!» А Нусси делится с Аминой: «Золотые рыбки – о, Аллах, терпеть не могу этих тварей, но Месволд-сахиб сам приходит кормить их… а еще там полно полупустых банок со средством Боврила, и он говорит, что нельзя выкидывать… это безумие, сестричка Амина, до чего мы дошли?» …А старый Ибрахим отказывается включать вентилятор на потолке у себя в спальне, бормочет: «Эта машина упадет, она отрежет мне голову когда-нибудь ночью; разве может такая тяжесть долго держаться на потолке?» …а Хоми Катрак, не чуждый аскетической практики, вынужден спать на широком мягком матрасе; он страдает от болей в спине и недосыпания; темные круги, бывшие от природы у него под глазами, от бессонницы превратились в настоящие завитки, и его посыльный говорит ему: «Не диво, что чужеземные сахибы все убрались восвояси, сахиб: они, верно, до смерти хотели выспаться». Но все терпят до конца, к тому же есть и приятные стороны, не только проблемы. Послушайте Лилу Сабармати («Уж слишком она красива, чтобы быть хорошей женой», – твердит моя мать)… «Пианола, сестричка Амина! И работает! Целый день я сижу-сижу, играю все подряд! „Белые руки любил я близ Шалимара“… такая прелесть, просто чудо, знай только нажимай на педали!» …Ахмед Синай обнаружил шкафчик со спиртным на вилле Букингем (до того, как перейти к нам, то был собственный дом Месволда); он открывает для себя прелести настоящего шотландского виски, кричит: «Ну и что? Мистер Месволд немножечко чудной, только и всего – разве нам трудно ему подыграть? Разве мы с нашей древней цивилизацией не сумеем себя вести цивильно?» …и осушает стакан одним глотком. Хорошие и плохие стороны: «Столько птиц, и за всеми присматривать, сестричка Нусси, – жалуется Лила Сабармати. – Я терпеть не могу птиц, я их ненавижу. И моя маленькая киска, пусечка моя, так волнуется, так волнуется!» …И доктор Нарликар весь горит от обиды: «Над моей кроватью! Портреты детей, братец Синай! Говорю тебе: пухлые! Розовые! Три штуки! Где справедливость?» …Но до отъезда остается всего двадцать дней, вещи водворяются на место, острые углы сглаживаются; никто и не заметил, как это произошло: имение, имение Месволда, что-то меняет в своих жильцах. Каждый вечер ровно в шесть они пьют коктейль у себя в саду, а когда заходит Уильям Месволд, без всяких усилий по-оксфордски растягивают слова; они учатся включать вентилятор, пользоваться газовой плитой и кормить по часам хохлатых птиц; и Месволд, наблюдая за превращением

129

своих жильцов, что-то бормочет себе под нос. Прислушайтесь как следует, что такое он говорит? Да, вот именно. «Саб кучх тикток хай», – бормочет Уильям Месволд. Все идет отлично.

Когда бомбейская редакция «Таймс оф Индиа», желая подать близящийся праздник независимости под броским, вызывающим человеческий интерес углом, объявила, что та бомбейская женщина, которая ухитрится родить своего ребенка в самый миг рождения новой нации, получит приз, Амина Синай, которой только что приснился сон о липкой бумаге, не могла оторваться от газеты. Эту газету она сунула под нос Ахмеду Синаю, торжествующе тыкая пальцем в нужное место, и в голосе ее звучала абсолютная уверенность.

– Видишь, джанум? – объявила Амина. – Это буду я.

И встали перед их глазами жирные заголовки: «Нам Позирует Малыш Синай – Дитя Славного Часа!»; явилось видение первоклассных глянцевых обложек с крупноформатными снимками младенца, но Ахмед вдруг засомневался: «Подумай, как трудно рассчитать время, бегам» – однако же она, поджимая губы, упрямо твердила свое: «Тут нечего и говорить; это точно буду я; мне все известно заранее. Не спрашивай, откуда».

И когда Ахмед поделился жениным пророчеством, сидя за коктейлем с Уильямом Месволдом, Амина осталась неколебимой, хотя Месволд и поднял ее на смех: «Женская интуиция – прекрасная вещь, миссис Си! Но, если по-честному, вряд ли можно ожидать от нас…» Даже под злобным взглядом соседки, Нусси-Утенка, тоже беременной и тоже прочитавшей тот номер «Таймс оф Индиа», Амина не сдавала позиций, ибо предсказание Рамрама глубоко запечатлелось в ее сердце.

По правде говоря, чем дальше развивалась беременность, тем более тяжким грузом ложились слова прорицателя на ее плечи, свинцом заливали голову, отягощали выпирающий живот; так что, опутанная паутиной страхов, видящая уже воочию рождение ребенка с двумя головами, она оказалась неподвластна исподволь действующей магии имения Месволда; ее никак не затронули коктейли, хохлатые птицы, пианолы и английский акцент… Вначале Амина относилась неоднозначно к своей уверенности в том, что именно она выиграет приз «Таймса», ибо была убеждена: если эта часть предсказания сбудется, все остальное наступит в свой черед, что бы оно там ни значило. Так что ни законной гордости, ни нетерпеливого ожидания предстоящей удачи не звучало в ее словах, когда моя мать сказала: «Какая там интуиция, мистер Месволд. Это абсолютно точно».

А про себя добавила: «И вот еще что: у меня родится сын. И за ним придется хорошенько присматривать, иначе…»

Сдается мне, в самом сердце моей матери, может быть, даже глубже, чем она о том догадывалась, коренились суеверные представления Назим Азиз, и теперь они начали определять ее образ мыслей и поступки; мнения Достопочтенной Матушки о том, что аэропланы – измышление дьявола, фотоаппараты могут украсть у человека душу и существование призраков столь же достоверно, сколь и существование Рая, и великий грех сдавливать некое благословенное ухо между большим и указательным пальцами – ныне стали закрадываться в голову ее дочери-чернавки. «Хоть мы и сидим посреди всего этого английского хлама, – все чаще и чаще думала моя мать, – все же здесь Индия, и такие люди, как Рамрам Сетх, знают то, что знают». Так скептицизм любимого отца сменился легковерием моей бабки; и в то же самое время искорка авантюризма, которую Амина унаследовала от доктора Азиза, мало-помалу затухала, придавленная иной, весьма весомой тяжестью.

К тому времени, как в июне начались дожди, зародыш уже полностью сформировался. Колени и нос уже обозначились, и столько голов, сколько могло там вырасти, заняли свое место. То, что было (в самом начале) не более точки, распространилось, выросло в запятую, слово, предложение, абзац, главу; теперь оно подвергалось более сложным превращениям; становилось, можно сказать, книгой, хоть бы и целой энциклопедией, даже и лексиконом живого языка… я хочу сказать: бугор в животе моей матери так возрос, так отяжелел, что,

когда Уорден-роуд у подножья нашего двухэтажного холма вся потонула в грязно-желтой дождевой воде и стояли, ржавея, застрявшие автобусы, и детишки плескались в текущей бурным потоком дороге, и тяжелые, намокшие газетные листы плавали по ее поверхности, – Амина сидела в башенке на втором этаже, изнемогая под весом круглого, словно налитого свинцом, живота.

Дождь без конца. Вода затекает на подоконник; на цветных витражах танцуют тюльпаны, оправленные в свинец. Полотенца, подложенные под оконную раму, пропитываются водой, тяжелеют, сочатся, текут ручьями. Море – серое, осевшее, расплющивается, тянется вдаль, смыкаясь на горизонте с грозовыми облаками. Барабанный бой дождя в ушах, вдобавок к смятению, вызванному словами провидца, и легковерием женщины, которой вот-вот настанет срок родить, и нагромождением чужих вещей, заставляет Амину воображать самые невероятные вещи. Стиснутая растущим младенцем, Амина мнит себя преступницей, осужденной на казнь: во времена Моголов убийц раздавливали под большим валуном… впоследствии, вспоминая последние дни перед тем, как она стала матерью, дни, когда неуемное «тик-так» и обратный отсчет дней в календарях гнал всех и вся к пятнадцатому августа, Амина говорила: «Я ничего об этом не знаю. Для меня время тогда совсем замерло. Ребенок у меня в животе остановил все часы. В этом я совершенно уверена. Не смейтесь, помните башенные часы на вершине холма? Говорю вам: после тех дождей они никогда не шли».

…А Муса, старый слуга отца, приехавший с моими родителями в Бомбей, ходил и рассказывал другим слугам в кухнях, крытых красной черепицей, дворцов, в людских комнатах Версаля, Эскориала и Сан-Суси: «Ребенок будет первый сорт, что да, то уж да! Громадный, с доброго тунца, погодите, сами увидите!» Слуги радовались: рождение ребенка – доброе дело, а если малыш крупный, здоровый, то чего уж лучше…

…И Амина, чей плод остановил часы, сидела неподвижно в башенке и говорила мужу: «Положи сюда руку, пощупай… Здесь, чувствуешь?.. Такой большой, крепкий мальчишка, месяц наш ясный».

А когда дожди кончились и Амина настолько отяжелела, что двое сильных слуг с трудом поднимали ее на ноги, Уи Уилли Уинки вновь пришел петь на круглую площадку между четырьмя домами; и только тогда Амина поняла, что у нее не одна, а две серьезные соперницы (по крайней мере, она знала об этих двух), тоже могущие претендовать на приз «Таймс оф Индиа», и что, как бы ни верила она в пророчество, на финишной прямой предстоит жестокая борьба.

– Уи Уилли Уинки меня зовут; ужин почую – и тут как тут!

Бывшие фокусники, бродяги с кинетоскопом на колесах, певцы… еще до моего рождения была отлита эта форма. Фигляры зададут тон всей моей жизни.

– Надеюсь, вам у-добно!.. Или вам съе-добно? Ах, шутка-шутка, леди и люди, дайте мне посмотреть, как вы смеетесь!

Высокий-смуглый-красивый клоун с аккордеоном стоял на круглой площадке. В садах у виллы Букингем большой палец на ноге моего отца прохаживался (вместе с девятью своими коллегами) рядом, под прямым пробором Уильяма Месволда …втиснутый в сандалию, похожий на луковицу, он знать не знал о надвигающейся беде. А Уи Уилли Уинки (его настоящего имени мы так никогда и не узнали) сыпал шуточками и пел. С веранды, расположенной на уровне второго этажа, Амина смотрела и слушала, а с Соседней веранды ее сверлил ревнивый взгляд соперницы – Нусси-Утенка.

…А я, сидя за своим столом, чувствую, как сверлит меня нетерпение Падмы. (Иногда я тоскую по более разборчивой публике, которая поняла бы необходимость ритма, размеренности, незаметного, исподволь, введения партии струнных, которые затем поднимут голос, усилятся, подхватят мелодию; которая бы знала, например, что, хотя тяжесть и муссонные дожди заглушили часы на городской башне, ровный, пульсирующий «тик-так» Маунтбеттена остался, тихий, но неодолимый; еще немного – и он заполонит наш слух

сухою дробью метронома или барабана). Падма вот что говорит: «Знать ничего не хочу об этом Уинки; дни и ночи я жду и жду, а ты еще не добрался до собственного рождения!» Но я советую потерпеть, всему свое время; я увещеваю мой навозом вскормленный лотос, ибо и Уинки явился с определенной целью и на своем месте; вот он дразнит беременных дам, что сидят на своих верандах, говорит им в перерывах между песенками: «Слыхали вы про приз, леди? Я тоже слыхал. Моей Ваните скоро подойдет срок, скоро-скоро; может, ее, а не ваше фото будет в газете!» …Амина хмурится, а Месволд улыбается (напряженно, с чего бы?) под своим ровным пробором, а отец мой, человек рассудительный, с презрением выпячивает нижнюю губу; его большой палец совершает променад, а сам он замечает: «Этот нахал слишком далеко заходит». Но в повадке Месволда заметны признаки смущения, даже вины! – и он выговаривает Ахмеду Синаю: «Глупости, старина. Древняя привилегия шутов, знаете ли. Им позволено издеваться и дразнить. Отдушина, так сказать, для накопившихся эмоций». Отец мой пожимает плечами, хмыкает. Но он не дурак, этот Уинки, и теперь льет масло на оскорбление, сластит пилюлю, говоря: «Рождение – славная штука; два рождения – вдвойне славная! Двойня – славная! Шутка, леди, ясно вам?» И вот резко меняется настроение, появляется драматическая нотка, всепоглощающая, ключевая мысль: «Леди и люди, неужто ж вам удобно здесь, в самой середке долгого прошлого Месволда-сахиба? Оно вам, должно быть, чужое, ненастоящее; но теперь это место – новое, леди, люди; а новое место станет настоящим, когда увидит рождение. Родится первый ребенок, и оно, это место, станет для вас домом». И он запел: «Дейзи, Дейзи…» Мистер Месволд подпевал, но темная тень запятнала его чело…

…Вот в чем все дело: да, это сознание вины, ибо наш Уинки, конечно же, умница и острослов, но тут ему смекалки не хватило, и приходит время раскрыть первый секрет прямого пробора Уильяма Месволда, потому что этот пробор сместился, и прядка волос затенила лоб: однажды, задолго до «тик-така» и продажи домов-со-всем-содержимым, мистер Месволд пригласил Уинки и его Ваниту, чтобы те спели лично для него в той зале, которая нынче служит моим родителям большой приемной; послушав немного, он сказал: «Эй, Уи Уилли, сделай мне одолжение, а? Нужно получить лекарство по этому рецепту, страшно болит голова, сбегай на Кемпов угол, возьми пилюли у аптекаря, слуги мои все слегли, простыли». Уинки, человек подневольный, сказал: «Да, сахиб, мигом, сахиб», – и ушел; а Ванита осталась наедине с прямым пробором, и пальцы так и тянулись, неудержимо тянулись к нему; а Месволд сидел не шевелясь на плетеном стуле, и на нем был легкий кремовый костюм, и роза в петлице, и вот Ванита подошла, вытянув пальцы, и коснулась волос, и нащупала пробор, и растрепала пряди.

Так что теперь, через девять месяцев, Уи Уилли Уинки отпускал шуточки насчет того, что жене скоро родить, а на челе англичанина появилась тень.

– Ну так что? – не унимается Падма. – Какое мне дело до этого Уинки и его жены, о которых ты ничего толком не рассказал?

Иным людям ничем не угодишь, но Падма скоро удовлетворит свое любопытство, очень скоро.

Но теперь она будет еще больше разочарована, потому что по длинной, вздымающейся в небо спирали я уношусь прочь от событий в имении Месволда – прочь от золотых рыбок, птиц, родильных гонок, прямых проборов; прочь от больших пальцев и черепичных крыш – лечу я через весь город, свежий, омытый дождями; оставив Ахмеда и Амину слушать песенки Уи Уилли Уинки, я направляю свой полет к району Старого форта, за фонтаном Флоры, и приближаюсь к просторному зданию, залитому тусклым, фланелевым светом, полному ароматов ладана, что поднимаются из колеблющихся курильниц… потому что здесь, в соборе Св. Фомы, мисс Мари Перейра в эту минуту узнает, какого цвета Бог.

– Голубого, – изрек молодой священник совершенно серьезно. – Все доступные нам сведения, дочь моя, указывают на то, что Господь наш Иисус Христос был прекраснейшего, кристально чистого небесно-голубого оттенка.

Маленькая женщина за деревянной решеткой исповедальни на мгновение затихла. Напряженная тишина, скрывающая работу мысли. А потом: «Да как же так, Отче? Люди не бывают голубыми. Нет голубых людей нигде во всем огромном мире!»

Изумление маленькой женщины, замешательство священника… потому что не так, вовсе не так она должна была реагировать. Епископ сказал: «С новообращенными бывают проблемы… когда они спрашивают насчет цвета, а они почти всегда это делают… важно навести мосты, сын мой. Помни, – так вещал епископ, – Бог есть Любовь, а индуистский бог любви, Кришна[130], всегда изображается с синей кожей. Говори им, что Бог – голубой, так ты перекинешь мост между двумя верами; действуй осторожно, ненавязчиво; к тому же, голубой цвет – нейтральный, так ты уйдешь от обычной проблемы цвета, от черного и белого; да, в общем и целом я уверен, что следует избрать именно такое решение». И епископы могут ошибаться, думает молодой священник, однако же сам он попал в переделку, потому что маленькая женщина явно входит в раж и принимается сурово отчитывать его из-за деревянной решетки: «Голубой – да что это за ответ, отче; кто поверит в такое? Вам бы следовало написать Его Святейшеству Римскому Папе, уж он-то наставил бы вас на путь истинный; но не нужно быть Римским Папой, чтобы знать: голубых людей не бывает!» Молодой батюшка закрывает глаза, делает глубокий вдох, пытается защититься: «Люди красили кожу в голубой цвет, – запинаясь, бормочет он. – Пикты[131], кочевники-арабы; будь ты более образованна, дочь моя, ты бы знала…» Но за решеткой раздается громкое фырканье: «Что такое, отче? Вы сравниваете Господа нашего с дикарями из джунглей? О Боже, стыдно слушать такое!»… И она говорит и говорит, говорит еще и не такое, а молодой батюшка, у которого внутри все переворачивается, вдруг по внезапному наитию понимает: что-то очень важное кроется под этой голубизной, и задает один-единственный вопрос, и гневная тирада прерывается слезами, а молодой священник лепечет, охваченный паникой: «Ну же, ну же: ведь Божественный Свет Господа нашего никак не связан с каким-то кожным пигментом?»…И голос едва пробивается сквозь потоки соленой влаги: «Да, отец мой, вы все же не такой уж плохой священник; я ему то же самое твержу, теми же словами, а он ругается и не желает слушать…» Вот и *он* вошел в нашу историю, и все проясняется, и мисс Мари Перейра, крохотная, целомудренная, смятенная, исповедуется в грехе, и исповедь эта дает ключ к мотивам того, что сделала она в ночь моего рождения, внеся последний, наиболее важный вклад в новейшую историю Индии; с того времени, как мой дед стукнулся носом о кочку, и до времени моего возмужания такого вклада не вносил никто.

Вот она, исповедь Мари Перейры: как у всякой Марии, был у нее свой Иосиф. Жозеф Д’Коста, санитар в клинике на Педдер-роуд, а именно в родильном доме доктора Нарликара («Ага!» – Падма наконец улавливает связь), где сама Мари служила акушеркой. Сначала все шло как нельзя лучше: он приглашал ее на чашечку чая, или ласси[132], или фалуды[133]и говорил нежные слова. Глаза у него были, как буравчики, жесткие и сверлящие, зато речи – ласковые и красивые. Мари, крохотная, пухленькая, целомудренная, расцветала от его ухаживаний, но теперь все изменилось.

– Вдруг, вдруг ни с того ни с сего он стал все время принюхиваться. Странно так, задирая нос. Я его спрашиваю: «Ты что, простыл, Джо?» А он говорит нет; нет, говорит он; я принюхиваюсь к северному ветру. А я ему говорю: Джо, в Бомбее ветер дует с моря, с запада дует ветер, Джо… Тонким, прерывающимся голоском описывает Мари Перейра, как разозлился на это Жозеф Д’Коста, как стал втолковывать ей: «Ты, Мари, ничего не знаешь, ветер нынче дует с севера и несет с собой смерть. Эта независимость – она только для богатых, а бедняков заставят давить друг друга, как мух. В Пенджабе, в Бенгалии. Мятежи,

130
131
132
133

мятежи, бедняки на бедняков[134]. Такое поветрие».

И Мари ему: «Ты городишь чепуху, Джо; тебе-то что до этих скверных, паршивых дел? Разве мы не можем жить тихо-спокойно?»

«И не надейся: ничегошеньки ты не знаешь».

«Но, Жозеф, даже если это и правда насчет резни, так то индусы и мусульмане; к чему добрым христианам встревать в эту распрю? Те ведь убивали друг друга с начала времен».

«Опять ты со своим Христом. Как же ты не можешь взять в толк, что это – религия белых? Оставь белых богов белым людям. Умирают-то нынче наши. Нужно бороться, нужно показать народу общего врага, понятно?»

И Мари: «Вот почему я спросила насчет цвета, Отче… и я говорила Жозефу, говорила и говорила, что драться нехорошо; оставь, мол, эти несуразные мысли; но он вообще перестал со мной разговаривать, начал общаться с опасными людьми; слухи поползли, Отче, будто бы он бросает кирпичи в большие машины, да еще и бутылки с зажигательной смесью; он сошел с ума, Отче; говорят, он помогает поджигать автобусы, взрывать трамваи и все такое. Что же делать, Отче, я уж и сестре все рассказала. Моей сестре Алис, она хорошая девушка. Я сказала: «Джо ведь живет возле самой бойни, может, запах на него так влияет и путает мысли». Тогда Алис пошла к нему: «Я с ним поговорю, – сказала, а потом: – О, Боже, что делается с нашим миром… я вам все начистоту, Отче… о, баба…» И слова потонули в потоках слез, и тайны просочились солеными струйками, потому что Алис, вернувшись, сказала, что, как ей кажется, Мари сама виновата: зачем было так донимать Жозефа речами, что он уж и видеть ее не может, вместо того, чтобы поддержать его благородное, патриотическое начинание и вместе с ним пробуждать народ. Алис была моложе, чем Мари, и куда красивее; и вот все вокруг принялись сплетничать, склонять на все лады Алис-и-Жозефа, а Мари совсем потеряла терпение.

– Эта девица, – говорит Мари, – что она знает-понимает в политике? Вцепилась когтями в моего Жозефа и повторяет любую чушь, какую тот несет, точь-в-точь будто глупая птица майна[135]. Клянусь, Отче…

– Осторожней, дочь моя. Не поминай имя Господа всуе…

– Нет, Отче, Богом клянусь, я все что угодно сделаю, чтобы вернуть своего парня. Да-да: несмотря на то, что… даже если он… ай-о-ай-ооо!

Соленая водица омывает подножие исповедальни… и не встает ли ныне новая дилемма перед молодым батюшкой? Несмотря на рези в желудке, не взвешивает ли он на незримых весах святость и нерушимость исповеди и опасность для цивилизованного общества таких людей, как Жозеф Д'Коста? В самом деле: спросит ли он у Мари адрес Жозефа, сообщит ли потом… Короче говоря, поведет ли себя этот скованный по рукам и ногам подчинением епископу, страдающий желудком молодой священник так же, как Монтгомери Клифт в «Исповедуюсь», или по-иному? (Когда несколько лет назад я смотрел этот фильм в кинотеатре «Нью-Эмпайр», мне не удалось прийти к определенному выводу). Но нет, и опять, и в этом случае лучше подавить необоснованные подозрения. То, что случилось с Жозефом, скорее всего случилось бы с ним так или иначе. И, похоже, молодой священник имеет касательство к моей истории лишь потому, что первым из посторонних услышал, как яростно ненавидит богачей Жозеф Д'Коста и как неутешно горюет Мари Перейра.

Завтра я приму ванну и побреюсь; надену новехонькую курту[136] белоснежную, накрахмаленную, и такие же шаровары. Я обую до зеркального блеска начищенные туфли с загнутыми носами и аккуратно причешусь (хотя и не на прямой пробор); зубы мои засияют… одним словом, я постараюсь выглядеть наилучшим образом. («Слава тебе, Господи», – выпячивает губы Падма).

Завтра наконец-то иссякнут истории, которые я (не присутствовавший при их

134

135

136

зарождении) вынужден был выуживать из бурлящих образами укромных уголков моего мозга; потому что сухую дробь метронома, календарь Маунтбеттена с его обратным отсчетом времени уже нельзя не замечать. В имении Месволда есть своя бомба с часовым механизмом – это старый Муса; но его не слышно, потому что другой звук распространяется вширь, оглушительный, всепоглощающий; звук убегающих мигов, приближающих неотвратимую полночь.

«Тик-так»

У Падмы этот звук в ушах: что может быть лучше отсчета времени, чтобы возбудить интерес? Сегодня я наблюдал, как работал мой цветик навозный: как бешеная двигала она чаны, будто бы время от этого проходит быстрее. (А может, это так и есть: по моему опыту, оно, время, так же изменчиво и непостоянно, как подача электричества в Бомбее. Не верите – узнайте время по телефону; поскольку часы электрические, они врут безбожно. Или это мы врем …если для нас слово «вчера» означает то же, что и слово «завтра», мы, следовательно, временем не владеем).

Но сегодня у Падмы в ушах раздается тиканье часов Маунтбеттена… они сделаны в Англии и идут неукоснительно точно. А сейчас фабрика опустела; испарения остались, но чаны остановились; и я держу слово. Разодетый в пух и прах, я приветствую Падму, а та бросается прямо к моему столу, садится на пол передо мной, приказывает: «Начинай». Я слегка улыбаюсь, довольный собой; ощущаю, как дети полуночи выстраиваются в очередь у меня в голове, толкаются, борются, будто рыбачки коли; я им велю подождать, теперь уже недолго; прочищаю горло, встряхиваю перо и начинаю.

За двадцать два года до передачи власти мой дед стукнулся носом о кашмирскую землю. Проступили рубины и бриллианты. Под кожей воды лед дожидался своего часа. Был принесен обет: не кланяться ни Богу, ни человеку. Обет создал пустоту, которую на какое-то время заполнила женщина, скрытая за продырявленной простыней. Лодочник, однажды предрекший, что династии таятся в носу у моего деда, перевез его через озеро, кипя от возмущения. Там встретили его слепые помещики и мускулистые тетки. Простыня была натянута в полутемной комнате. В тот день и стало складываться мое наследство – голубое кашмирское небо, пролившееся в дедовы глаза; бесконечные страдания моей прабабки, определившие долготерпение моей матери и стальную хватку Назим Азиз; дар моего прадеда беседовать с птицами, который вольется прихотливым ритмом в вены моей сестры Медной Мартышки; разлад между дедовым скептицизмом и бабкиными суевериями; а в основе всего призрачная сущность продырявленной простыни, из-за которой моя мать вынуждена была прилежно трудиться, чтобы полюбить, наконец, мужчину всего, хотя бы и по кусочкам; ею же я был приговорен наблюдать собственную жизнь – ее смысл, ее строение тоже по клочкам и по фрагментам; а когда я это понял, было уже поздно.

Часы тикают, годы уходят – а мое наследство растет, ибо теперь у меня есть мифические золотые зубы лодочника Таи и его бутылка бренди, предрекшая алкогольных джиннов моего отца; есть у меня Ильзе Любин для самоубийства и маринованные змеи для мужской силы; есть у меня Таи-ратующий-за-неизменность против Адама-ратующего-за-прогресс; щекочет мне ноздри и запах немытого лодочника, прогнавший моих деда с бабкой на юг и сделавший возможным Бомбей.

…И теперь, подстрекаемый Падмой и неумолимым «тик-так», я двигаюсь вперед, включая в повесть Махатму Ганди и его мирную забастовку, внедряя туда большой и указательный пальцы; заглатывая момент, когда Адам Азиз никак не мог понять, кашмирец он или индиец; теперь я пью меркурий-хром и оставляю всюду отпечатки рук, побывавших в пролитом бетелевом соке; я поглощаю целиком всего Дайера вместе с его усами; деда моего выручил нос, зато несводимый синяк появился у него на груди, так что и он, и я в неутолимой боли находим ответ на вопрос: индийцы мы или кашмирцы? Меченные синяком от застежки портфеля из Гейдельберга, мы разделяем с Индией ее судьбу, но в глазах

остается чужеродная голубизна. Таи умирает, но чары его не рассеиваются, и все мы так и живем наособицу.

…Мчась вперед, я останавливаюсь, чтобы подобрать игру «плюнь-попади». За пять лет до рождения нации наследство мое прирастает, включает в себя заразу оптимизма, которая вспыхнет снова уже в мои времена, и трещины в земле, которые будут-были проявлены на моей коже, и бывшего фокусника Колибри, который начинает собой целый ряд бродячих артистов, что следовали один за другим параллельно моей судьбе; и бабкины бородавки, похожие на ведьмины соски, и ненависть, которую она испытывала к фотографам, и как-его, и ее попытки взять деда измором, и упорное молчание, и здравый ум моей тетушки Алии, обернувшийся одинокой женской судьбой, полной горечи, и прорвавшийся, наконец, беспощадной местью, и любовь Эмералд и Зульфикара, которая позволит мне начать революцию, и ножи-полумесяцы, роковые луны, что эхом отдадутся в ласковом прозвище, какое дала мне моя мать, ее наивном «чанд-ка-тукра»[137], ясный… Теперь я прирастаю, плавая в лонных водах прошлого; питаюсь жужжанием, звучащим все выше-выше-выше, пока собаки не приходят на помощь; бегством на кукурузное поле, куда на выручку приходит Рашид, юный рикша, насмотревшийся приключений Гае-Вала, мчащийся на своем велосипеде – ВО ВЕСЬ ОПОР! – и заходящийся в беззвучном вопле; он же раскрыл секреты сделанного в Индии замка и завел Надир Хана в туалет, где стояла бельевая корзина; последняя делает меня тяжелее, я толстею от бельевых корзин, а потом от подковерной любви Мумтаз и безрифменного поэта; округляюсь еще, заглотив мечту Зульфикара о ванне у самой постели, и подпольный Тадж-Махал, и серебряную плевательницу, инкрустированную лазуритом, – брак распадается и вскармливает меня. Тетка-предательница бежит по улицам Агры, забыв свою честь, и это тоже меня вскармливает; и вот конец фальстартам, и Амина больше не Мумтаз, и Ахмед Синай сделался в каком-то смысле ей и отцом, и мужем… В мое наследство входит этот дар, дар заводить новых родителей, когда это необходимо. Умение порождать отцов и матерей: этого хотел Ахмед, но так никогда и не добился.

Через пуповину всасывал я в себя безбилетников, и веер из павлиньих перьев, купленный не в добрый час; прилежание Амины проникает в меня, а вместе с ним и другие зловещие знаки – перестук шагов, материнские просьбы денег, продолжающиеся до тех пор, пока салфетка на коленях моего отца не вздымается, подрагивая, маленьким шатром – и пепел дотла сожженных «Индийских велосипедов Арджуны», и кинетоскоп, куда Лифафа Дас пытался вместить все что ни есть в мире, и упорные злодеяния шайки негодяев; многоголовые чудища ворочаются во мне – Раваны в жутких масках, щербатые восьмилетние девчонки с одной непрерывной бровью; толпы, вопящие: «Насильник». Публичные оглашения питают меня, и я прорастаю в свое время, и остается всего семь месяцев до начала пути.

Сколько же вещей, людей, понятий приносим мы с собою в мир, сколько возможностей и ограничений! Потому что таковы родители ребенка, рожденного в эту полночь; и для всех детей полуночи дело обстояло так же. Среди родителей полуночи: крушение плана правительственной миссии, неколебимая решимость М.А. Джинны – умирая, он хотел при жизни увидеть созданный им Пакистан, и был готов на все ради этого – тот самый Джинна, с которым мой отец, как всегда пропустивший нужный поворот, не пожелал встретиться; и Маунтбеттен, с его поразительной спешкой и женой-пожирательницей цыплячьих грудок; и еще, и еще, и еще – Красный форт и Старый форт, обезьяны и стервятники, роняющие руки; и белые трансвеститы, и костоправы, и дрессировщики мангустов, и Шри Рамрам Сетх, который предсказал слишком многое. И мечта моего отца упорядочить Коран находит свое место; и поджог склада, превративший его из торговца кожами во владельца недвижимости; и тот кусочек Ахмеда, который Амина не смогла полюбить. Чтобы понять одну только жизнь, вы должны поглотить весь мир. Я вам это уже говорил.

137

И рыбаки, и Катерина Браганца, и Мумбадеви-кокосы-рис; статуя Шиваджи и имение Месволда; бассейн в форме Британской Индии и двухэтажный холм; прямой пробор и нос от Бержераков; вставшие башенные часы и круглая площадка; страсть англичанина к индийским аллегориям и совращение жены аккордеониста. Хохлатые птицы, вентиляторы, «Таймс оф Индиа» – все это часть багажа, который я прихватил с собой в этот мир… что ж удивительного, если я родился тяжелым? Голубой Иисус проник в меня, и отчаяние Мари, и революционное неистовство Жозефа, и вероломство Алис Перейры… из всего этого я сделан тоже.

Если я и кажусь немного странным, вспомните дикое изобилие моего наследства… может быть, если хочешь остаться личностью посреди кишащих толп, следует впасть в гротеск.

– Наконец-то, – замечает довольная Падма, – ты научился рассказывать по-настоящему быстро.

13 августа 1947 года: небеса неблагоприятны. Юпитер, Сатурн и Венера что-то не поделили; мало того, три раздраженных светила движутся в самый зловещий из всех домов. Бенаресские астрологи в страхе называют его: «Карамстан! Они входят в Карамстан!»[138]

Пока астрологи суетливо оповещают боссов из Партии конгресса[139], моя мать после полудня прилегла вздремнуть. Пока граф Маунтбеттен сожалеет о том, что нет мастеров оккультных наук в его генеральном штабе, тени от лопастей вентилятора медленно вращаются, навевая на Амину сон. Пока М.А. Джинна, твердо зная, что его Пакистан родится через одиннадцать часов, на целые сутки раньше, чем независимая Индия, до появления которой остается тридцать шесть часов, поднимает на смех протесты ревнителей гороскопов, забавляется, качает головой, – голова Амины тоже мечется на подушках из стороны в сторону.

Но она спит. В эти дни тяжелой, как чан, беременности загадочный сон о липкой бумаге от мух измучил ее… Вот и сейчас, как и прежде, она бродит в хрустальной сфере, полной коричневых, вьющихся полос липучки; бумага липнет к одежде, разрывает ее в клочки, а Амина продирается сквозь бумажную чащу, бьется в тенетах, рвет бумагу, но та все липнет и липнет, и вот Амина нагая, и младенец толкается внутри, и длинные щупальца-липучки тянутся, хватают колышущийся живот; липнет бумага к волосам, ноздрям, зубам, соскам, ляжкам, и Амина в крике открывает рот, но коричневый липкий кляп падает на губы, наглухо склеивает их…

– Амина-бегам! – говорит Муса. – Проснитесь! Дурной сон, бегам-сахиба!

События этих последних часов – последние горькие капли моего наследства: за тридцать шесть часов до моего прихода матери снилось, будто она прилипла к коричневой бумаге-ловушке, точно муха. А во время коктейля (за тридцать часов до моего прихода) Уильям Месволд навестил моего отца в саду виллы Букингем. Прямой пробор шествует рядом, шествует над большим пальцем ноги, и мистер Месволд вспоминает. Байки о первом Месволде, чья мечта дала городу жизнь, звучат в вечернем воздухе, и догорает предпоследний закат. А мой отец, обезьянничая, по-оксфордски растягивая слова, страстно желая произвести впечатление на отбывающего англичанина, отвечает тем же: «На самом деле, старина, наш род тоже знатный, и даже очень». Месволд слушает, склонив голову, уткнув красный нос в кремовый лацкан, скрывая прямой пробор под широкополой шляпой, тая под ресницами искорки веселья… Ахмеду Синаю виски развязало язык; преисполненный сознания собственной важности, он продолжает с еще большим пылом: «Кровь Моголов, по правде говоря». А Месволд на то: «Да ну? Неужели? Вы меня разыгрываете». И Ахмед, зайдя слишком далеко, уже вынужден стоять на своем: «По внебрачной, конечно, линии, но – Моголы, без сомнения».

138

139

Вот так, за тридцать часов до моего рождения мой отец показал, что и ему нужны выдуманные предки… так он сочинил родословную, которая позже, когда пары виски отуманили память и джинн из бутылки совсем запутал его, полностью вытеснила реальные узы родства… так, чтобы его слова прозвучали убедительнее, он ввел в нашу жизнь фамильное проклятие.

– Да-да, – уверял отец, а Месволд склонял голову набок, совершенно серьезный, не улыбаясь даже краешком губ, – многие старинные семьи имеют свое проклятие. В нашем роду оно передается по мужской линии, старшему сыну – в письменном виде, конечно, ибо произнести эти слова – значит высвободить всю их мощь, сами понимаете. А Месволд: «Как интересно! И вы помните свое проклятие?» Отец кивает, выпятив губы, торжествующе хлопая себя по лбу: «Все здесь, все, до единого звука. Заговор не использовался с тех пор, как один наш предок поссорился с императором Бабуром[140]и проклял его сына Хумаюна[141]… жуткая история, которую каждый ребенок знает».

Придет время, когда мой отец, истерзанный, окончательно отступит перед реальностью, затворится в синей комнате и станет припоминать слова проклятия, которое он сам выдумал этим вечером подле своего дома, пока стоял рядом с потомком Уильяма Месволда и хлопал себя по лбу.

Теперь я нагружен снами о липкой бумаге и воображаемыми предками, и мне остаются до рождения еще целые сутки… но продолжается неумолимое «тик-так»: двадцать девять часов до прихода, двадцать восемь, двадцать семь…

Какие еще сны снились в эту последнюю ночь? Может быть, тогда – а почему бы и нет – доктору Нарликару, который не знал, какая драма вот-вот развернется в его родильном доме, впервые приснились тетраподы? Может быть, в эту последнюю ночь – пока Пакистан рождался на северо-западе от Бомбея – моему дяде Ханифу, который (как и его сестра) приехал в Бомбей и влюбился в актрису, божественную Пию («Ее лицо – целое состояние», – написали однажды в «Иллюстрейтед Уикли»), впервые пригрезился замысел фильма, первого из трех его шедевров?.. Похоже на то: мифы, кошмары, фантазии носились в воздухе в ту ночь. Но вот что достоверно: в ту последнюю ночь мой дед Адам Азиз, теперь совсем один в старом большом доме на Корнуоллис-роуд, если не считать жены, чья сила воли, казалось, возрастала по мере того, как годы одолевали Азиза, да еще дочери Алии, которая так и замкнется в горьком своем девичестве, пока бомба не разорвет ее в клочки восемнадцать лет спустя – почувствовал внезапно, как сдавили его железные крючья ностальгии, и лежал без сна, и острия буравили ему грудь; наконец, в пять утра четырнадцатого августа – девятнадцать часов до прихода – невидимая сила подняла его с кровати и повлекла к старому жестяному сундуку. Открыв сундук, он обнаружил старые немецкие журналы, работу Ленина «Что делать?», свернутый молитвенный коврик и наконец то, что захотел увидеть вновь с такой неодолимой силой, – белое, сложенное, тускло мерцающее в свете зари. Дед вынул из жестяного сундука своей прошлой жизни запятнанную, прорванную простыню и обнаружил, что дыра выросла, что вокруг появились другие дырки, поменьше; и в припадке дикой ностальгической ярости растолкал изумленную жену и завопил благим матом, потрясая у нее перед носом ее собственной историей:

– Моль поела! Гляди, бегам, поела моль! Ты забыла положить нафталин!

Но отсчет времени продолжается… восемнадцать часов до прихода, семнадцать, шестнадцать… и вот уже в родильном доме доктора Нарликара слышны крики роженицы. Там сидит Уи Уилли Уинки; его жена Ванита восемь часов мучается и не может родить. Это началось как раз тогда, когда за сотни миль М.А. Джинна провозгласил полночное рождение нации мусульман… но она все еще корчится на постели в «благотворительной палате» родильного дома доктора Нарликара, предназначенной для бедняков… глаза ее вылезли из орбит, тело блестит от пота, но ребенок не желает выходить, да и отца его не видать; сейчас

140

141

только восемь утра, но, судя по всему, младенец вполне может дождаться полуночи.

Слухи по городу: «Статуя скакала прошлой ночью!»… «И светила сулят беду!» …Но, несмотря на зловещие знаки, город держался и новый миф высверкивал в краешках его глаз. Август в Бомбее – месяц праздников: день рождения Кришны и день кокоса, а в этом году – четырнадцать часов до прихода, тринадцать, двенадцать – в календаре появится еще один праздник, новое мифическое торжество, ибо нация, доселе не существовавшая, вот-вот завоюет себе свободу и выбросит всех нас, словно из катапульты, в созданный заново мир, который имел за плечами пять тысяч лет истории, придумал шахматы и торговал со Средним царством Египта[142], но все же был до сих пор миром воображаемым; в мифическую страну, которая ушла бы в небытие, если бы не феноменальные усилия коллективной воли – если бы не мечта, не сон, видеть который согласились мы все; массовая галлюцинация, одолевшая в той или иной мере бенгальцев и пенджабцев, мадрасцев[143]и джатов[144], которую время от времени приходится освящать и возобновлять кровавыми ритуалами. Индия, новый миф, коллективная фантазия, в пределах которой возможно все; сказка, сравниться с которой могут лишь два других мощных мифа: Деньги и Бог.

Одно время я был живым воплощением этой сказки, этой коллективной мечты, но теперь я хотел бы оставить макрокосм, уйти от общих понятий к более частному ритуалу; я не стану описывать массовые кровопролития на границах разделенного Пенджаба (где расчлененные нации омывались в крови друг друга[145], а некий майор Зульфикар с лицом Пульчинелло скупал имущество беженцев по абсурдно заниженным ценам, закладывая основы состояния, способного соперничать с богатством Низама из Хайдерабада[146]); я отвращу взор свой от вспышек насилия в Бенгалии и от долгого миротворческого похода Махатмы Ганди. Я эгоист? У меня узкие взгляды? Но это простительно, как мне кажется. В конце концов, мы рождаемся не каждый день.

Двенадцать часов до прихода. Амина Синай, пробудившись от кошмара о липучках, не заснет больше до того, как… Рамрамом Сетхом полны ее мысли, ее несет по бурному морю, где волны восторга сменяются глубокими, темными, влажными пустотами страха, от которых кружится голова. Но срабатывает что-то еще: взгляните-ка на ее руки, как они, без участия разума, опускаются на живот, нажимают; взгляните на ее губы, которые шепчут без ее ведома: «Ну давай, выходи, копуша, смотри не опоздай для газет!»

Восемь часов до прихода… в четыре пополудни Месволд поднимается в гору, на двухэтажный холм, в своем черном «ровере» 1946 года. Паркуется на круглой площадке между четырьмя благородными виллами, но сегодня он не идет к пруду с золотыми рыбками, не навещает кактусовый сад; не приветствует Лилу Сабармати своим обычным: «Как пианола? Все в ажуре?»; не здоровается со старым Ибрахимом, который сидит в тени веранды в кресле-качалке и размышляет о сизале; не глядя ни на Катрака, ни на Синая, он встает в самом центре круга. Роза в петлице, кремовая шляпа прижата к груди, пробор сверкает в лучах послеполуденного солнца – Уильям Месволд смотрит прямо перед собой, и взгляд его скользит мимо башни с часами и Уорден-роуд, плывет над бассейном Брич-Кэнди в форме карты Британской Индии, проницает волны, золотящиеся в предвечернем свете, и шлет приветствие, а там, на горизонте, солнце начинает свое неспешное погружение в океан.

Шесть часов до прихода. Время коктейля. Те, кто пришли на смену Уильяму Месволду, сидят у себя в садах; только Амина хоронится в своей башне, избегая ревнивых, украдкой бросаемых взглядов соседки Нусси, которая, наверно, тоже торопит своего Сонни: скорей, скорей, вниз, вниз, между ног; все с любопытством уставились на англичанина, а тот стоит неподвижный, застывший, прямой, словно рейсшина, с которой мы уже сравнивали его

142
143
144
145
146

пробор; но тут всеобщим вниманием завладевает вновь явившееся лицо. Это высокий, жилистый человек; четки в три ряда обвивают его шею, пояс из куриных костей стягивает талию; темная кожа присыпана пеплом, длинные волосы распущены – голый, если не считать четок и пепла, садху[147]пробирается между покрытых красной черепицей дворцов. Муса, старый посыльный, бросается к нему, хочет прогнать, но замирает, не решаясь приказывать святому человеку. Миновав обратившегося в столп Мусу, садху проникает в сад виллы Букингем, проходит мимо моего изумленного отца и садится, скрестив ноги, подле садового крана, откуда капает вода.

– Что тебе нужно здесь, садху джи? – вопрошает Муса с невольным почтением, а садху отвечает, спокойный, как горное озеро:

– Желаю дождаться прихода Единственного, Мубарака – Благословенного. Это произойдет очень скоро.

Хотите верьте, хотите нет: мое рождение предрекли дважды! И в этот день, когда все совершалось вовремя, чувство времени не подвело мою мать; едва последнее слово покинуло уста садху, как из башни на уровне второго этажа, из-за стекол, украшенных пляшущими тюльпанами, раздался пронзительный крик, содержащий, точно коктейль, равные части безумного страха, восторга и ликованья… «Арре? Ахмед! – вопила Амина Синай. – Джанум, ребенок! Он идет, пора, пора!»

Словно электрический разряд прошел по имению Месволда… и вот прискакал тощий, с ввалившимися глазами Хоми Катрак и бодро заявил: «Мой „студебеккер“ в вашем распоряжении, Синай-сахиб, берите его, езжайте срочно!» …Остается еще пять с половиной часов, а Синаи, муж и жена, уже спускаются с двухэтажного холма на чужом автомобиле; вот мой отец жмет на газ большим пальцем ноги; вот моя мать прижимает руками живот, полный, как луна; вот они скрылись из виду, свернули, покатили мимо прачечной «Бэнд-Бокс» и рая любителей книги, мимо ювелирного магазина Фатбхой и игрушек Чималкера, мимо шоколадок-длиною-в-ярд и ворот, ведущих на Брич-Кэнди, направляясь к родильному дому доктора Нарликара, где в благотворительной палате Ванита, жена Уи Уилли, все еще страждет и тужится, выпучив глаза, выгибая спину, а повитуха по имени Мари Перейра ждет своего часа… так что ни Ахмеда с его выпяченной губой, тыквоподобным животиком и вымышленными предками, ни темнокожей, опутанной пророчествами Амины не было на месте, когда солнце, наконец, село над имением Месволда, и в тот самый миг, когда оно исчезло совсем – пять часов две минуты до прихода – Уильям Месволд поднял над головой длинную белую руку. Длинная рука нависла над напомаженными черными волосами, длинные белые пальцы сомкнулись над прямым пробором; второй и последний секрет раскрылся, ибо пальцы согнулись, вцепились в пряди и, оторвавшись от головы, не выпустили добычу, так что через минуту после захода солнца мистер Месволд стоял в закатном зареве посреди своего имения, держа в руке собственный волосяной покров.

– Лысенький! – вскрикивает Падма. – То-то ровные были у него волосы: так я и знала, в жизни этого не бывает!

Лысый-лысый, полированная башка! Раскрылся обман, на который купилась жена аккордеониста. Как у Самсона, сила Уильяма Месволда таилась в его волосах, а теперь, блестя лысым черепом в полумраке, он швыряет шевелюру в окошко автомобиля, раздает с видимой небрежностью подписанные акты на владение его дворцами и уезжает прочь. Никто из живущих в имении Месволда никогда больше не встречался с ним; но я, ни разу не видевший этого человека, забыть его не могу.

И вот все стало вдруг шафрановым и зеленым. Амина Синай – в палате с шафрановыми стенами и зеленой деревянной мебелью. В соседней палате – Ванита, жена Уи Уилли Уинки, вся позеленевшая, с белками глаз, тронутыми шафраном: ребенок наконец начал свой спуск

147

по внутренним трубам и проходам, которые, несомненно, тоже расцвечены зеленым и желтым. Шафрановые минуты и зеленые секунды истекают из стенных часов. За стенами родильного дома доктора Нарликара – фейерверки и толпы, тоже окрашенные в цвета ночи: шафрановые ракеты, зеленый искрящийся ливень; мужчины в желтых рубашках, женщины в лимонных сари. Стоя на шафраново-зеленом ковре, доктор Нарликар говорит с Ахмедом Синаем: «Я сам займусь вашей бегам, – говорит он ласково, вкрадчиво, в тональности этого вечера. – Не беспокойтесь ни о чем. Ждите тут, места много». Доктор Нарликар не любит детей, но он опытный гинеколог. В свободное время он выступает, пишет памфлеты, поносит нацию – все по вопросу противозачаточных средств. «Контроль за рождаемостью, – говорит он, – это Задача Номер Один. Придет день, когда я вобью это в ваши тупые головы и тогда останусь без работы». Ахмед Синай улыбается смущенно, нервно. «Хотя бы на эту ночь, – говорит он, – забудьте ваши идеи – примите моего ребенка».

До полуночи двадцать девять минут. В родильном доме доктора Нарликара едва-едва хватает персонала; многие прогуливают – лучше праздновать рождение нации, чем возиться с рождением детей. В желтых рубашках и зеленых юбках они толпятся на ярко освещенных улицах, под бесчисленными балконами, на которых прозрачные светильники из тонкой глины наполнены неким таинственным маслом; в этих светильниках, окаймляющих каждый балкон, каждую крышу, плавают фитили, тоже двух цветов: половина ламп горит шафрановым светом, вторая половина полыхает зеленым.

Сквозь толпу, это многоголовое чудище, прокладывает себе путь полицейский автомобиль, и желто-голубые мундиры сидящих в нем людей в потустороннем свете ламп кажутся шафраново-зелеными. (Мы заскочили на дамбу Колаба всего на одну секундочку, только чтобы поведать, что за двадцать семь минут до полуночи полиция гонится за опасным преступником. Имя: Жозеф Д'Коста. Санитара в родильном доме нет и не было уже несколько дней; нет его ни в комнатушке около боен, ни в жизни обезумевшей от горя девственницы Мари).

Двадцать минут проходит; а-а-а-а – кричит Амина Синай с каждой минутой все громче, все чаще; а-а-а-а – слабо, устало вторит ей Ванита из соседней палаты. Чудище на улицах уже празднует вовсю, новый миф струится по жилам, заменяя красные кровяные тельца шафраново-зелеными. А в Дели серьезный, натянутый как струна человек сидит в Зале собраний и готовится произнести речь[148]. В имении Месволда золотые рыбки застыли в пруду, а жильцы ходят из дома в дом, угощают друг друга фисташковыми сластями, обнимаются, целуются: сегодня все едят зеленые фисташки и шафрановые колобки-ладду. Два младенца движутся по тайным ходам, а в Агре стареющий доктор сидит рядом со своей женой, у которой на лице две бородавки, будто ведьмины сиськи; меж заснувших гусей и траченных молью воспоминаний на них накатило молчание, им никак не найти что сказать друг другу. И во всех городах, и местечках, и деревнях маленькие светильники горят на подоконниках, крылечках, верандах, а в Пенджабе в это время горят поезда; зеленым вспыхивает вздувающаяся краска, шафрановым полыхает горящий бензин, и это самые большие лампы в мире.

Город Лахор пылает тоже.

Натянутый как струна серьезный человек поднимается на ноги. Окропленный священной водой Танджора, он выпрямляется во весь рост; благословенным пеплом на лбу начертаны знаки; он прочищает горло. Нет в руках заранее приготовленной речи; нету в памяти заранее придуманных слов – Джавахарлал Неру начинает: «…Многие годы назад мы назначили встречу судьбе, и вот пришло время получить обещанное – не целиком и не в полной мере, но в достаточной степени…»

Без двух минут полночь. В родильном доме Нарликара темнокожий сияющий доктор, рядом с которым стоит акушерка по имени Флори, тоненькая, любезная девушка, не имеющая значения для нас, подбадривает Амину Синай: «Тужьтесь! Сильнее! Я вижу

148

голову!..» – а в соседней палате некий доктор Боз вместе с мисс Мари Перейрой присутствуют при завершении длившихся полные сутки родов Ваниты… «Ну еще, в последний раз; давай же, давай – сейчас все кончится!» Женщины вопят и стонут, а мужчины в соседней комнате не произносят ни звука. Уи Уилли Уинки – не до песен ему сейчас – скорчился в углу и раскачивается взад и вперед, взад и вперед… Ахмед Синай оглядывается, ищет стул. Но стульев здесь нет, по этой комнате расхаживают, меряют ее шагами; так что Ахмед Синай открывает дверь, находит стул у пустого стола регистраторши, поднимает его, тащит в комнату для хождений, где Уи Уилли Уинки раскачивается и раскачивается без конца, и глаза его пусты, будто у слепого… выживет она? умрет?.. и вот наконец полночь.

Чудище на улицах взвыло, а в Дели натянутый как струна человек продолжает свою речь: «…С последним ударом полуночи, когда весь мир спит, Индия пробуждается к жизни и свободе… – Сквозь завывания стоглавого чудища слышатся два новых вопля, крика, рева: плач детишек, пришедших в мир, их тщетный протест, смешавшийся с грохотом независимости, что развесила шафран и зелень по ночным небесам. – Настала минута, редкая в истории, когда совершается шаг от старого к новому; когда душа целого народа, так долго угнетаемого, находит, наконец, выражение…» – а в комнате, где пол застлан шафранно-зеленым ковром, Ахмед Синай стоит, держа на весу стул; в этот момент входит доктор Нарликар и сообщает ему: «С последним ударом полуночи, братец Синай, твоя бегам-сахиба родила крупного, здорового малыша: сына!» Тогда мой отец начинает думать обо мне (не зная…); образ мой заполоняет все его мысли, и он забывает о стуле; охваченный любовью ко мне (даже несмотря на…); переполненный ею с головы до кончиков пальцев, он роняет стул.

Да, это моя вина (что бы ни говорили) …мое лицо, мое, и ничье другое, заставило Ахмеда Синая разжать руки и выпустить стул; стул полетел вниз с ускорением двадцать два фута в секунду, и когда Джавахарлал Неру в Зале собраний сказал: «Ныне кончается пора невзгод» и громкоговорители разнесли повсюду весть о свободе, мой отец тоже заорал, но не из-за свободы, из-за меня – стул упал ему на ногу и раздробил большой палец.

Вот мы и подобрались к самой сути: все сбежались на крик, мой отец и его увечье на короткое время отвлекли внимание от двух страдающих матерей и от двух детишек, синхронно родившихся в полночь, ибо Ванита в конце концов разрешилась мальчиком, замечательно крупным. «Вы не поверите, – говорил доктор Бос. – Он все шел и шел, конца ему не было видно, здоровый мальчишка, настоящий богатырь!» И Нарликар, умываясь: «Мой тоже». Но это было чуть позже, а сейчас Нарликар и Бос заняты пальцем Ахмеда Синая; акушеркам велено обмыть и спеленать новорожденную пару, и тут-то мисс Мари Перейра и внесла свой вклад.

– Ступай, ступай, – говорит она бедняжке Флори, – посмотри, может, там надо помочь. Здесь я сама справлюсь.

И когда Мари осталась одна – двое младенцев на ее руках, две жизни в ее власти – она это сделала ради Жозефа, свой маленький частный революционный акт. «За это он, конечно, меня полюбит», – так она думала, меняя ярлычки с именами на двух гигантских младенцах, даря бедному малышу жизнь-полную чашу и осуждая ребенка, рожденного от богатых, на аккордеон и нищету… «Полюби меня, Жозеф!» – одна только эта мысль сверлила мозг Мари Перейры, и дело было сделано.

На щиколотку богатыря с глазенками голубыми, как небо Кашмира, – голубыми, как у Месволда, и носом, столь же выдающимся, как у кашмирского дедушки или у французской бабки, – она прикрепила ярлычок с именем: *Синай.*

В шафрановые пеленки завернули меня, поскольку, благодаря преступлению Мари Перейры я был признан ребенком полуночи, чьи отец и мать ему не родные, чей сын – не его сын… Мари взяла дитя, рожденное моей матерью, того младенца, которому не суждено было стать ее сыном, второго здоровенького бутуза, но с глазками уже карими и коленками узловатыми, как у Ахмеда Синая, завернула его в зеленые пеленки и отнесла Уи Уилли

Уинки, а тот глядел в пустоту, будто слепой; а тот вряд ли увидел новорожденного; а тот знать ничего не знал о прямых проборах… Уи Уилли Уинки только что сказали, что Ванита не пережила родов. Через три минуты после полуночи, пока доктора возились со сломанным пальцем, она истекла кровью и умерла.

А меня отнесли к моей матери, и та ни минуты не сомневалась в том, что я – ее сын. Ахмед Синай, с большим пальцем ноги в лубке, присел к ней на постель, и она сказала: «Глянь-ка, джанум, у бедного мальчонки дедов нос». Муж смотрел на нее в недоумении, пока она проверяла, нет ли у младенца второй головы; убедилась, что все в норме, и окончательно расслабилась, осознав, что не все предсказания сбываются.

– Джанум, – заволновалась тогда моя мать, – позвони в газеты. Позвони в «Таймс оф Индиа». Что я тебе говорила? Приз мой.

«Сейчас не время для мелочной и деструктивной критики, – вещал Джавахарлал Неру в Зале собраний. – Не время для злопыхательства. Мы должны построить благородное здание свободной Индии, в котором будут жить все ее дети». Поднимается стяг – шафрановый, белый, зеленый.

– Так ты – англо? – ахает в ужасе Падма. – Что ты такое говоришь? Ты – англо-индиец? Твое имя не принадлежит тебе?

– Я – Салем Синай, – отвечаю. – Сопливец, Рябой, Сопелка, Лысый, Месяц Ясный. Как это – мое имя мне не принадлежит?

– Все это время, – сердито причитает Падма, – ты мне морочил голову. Твоя мать, ты говорил, твой отец, твой дед, твои тетки. Что ж ты за человек такой, если не можешь даже правду сказать о своих родителях? Тебе все равно, что твоя мать умерла родами? Что твой отец, может быть, еще живет, нищий, без гроша в кармане? Что ж ты за чудище такое?

Нет, я не чудище. И я никому не морочил голову. Я дал ключи к разгадке… но есть вещи, более важные. Вот, например: когда по чистой случайности вышло наружу преступление Мари Перейры, все мы поняли, что это *все равно!* Я так и остался их сыном, а они – моими родителями. Нам всем не хватило воображения, мы решили, что не можем переделать прошлое… если спросить моего отца (даже его, несмотря на все, что случилось!); если спросить, кто его сын, ничто на свете не заставило бы его указать на немытого, с узловатыми коленками мальчишку аккордеониста. Хотя он, этот Шива, стал в конце концов чем-то вроде героя.

Итак, были колени и нос, нос и колени. На самом деле по всей новой Индии, о которой мы все мечтали, родились дети, бывшие лишь частично отпрысками своих родителей – дети полуночи были детьми *времени,* рожденными, как вы понимаете, самой историей. Такое бывает. Особенно в стране, которая сама – не более чем мечта или сон.

– Довольно, – дуется Падма. – Не хочу больше тебя слушать. – Не такого двухголового младенца ожидала она, и теперь ей обидно. Ну что ж, будет она слушать или нет, мне есть что порассказать.

Через три дня после моего рождения Мари Перейру замучили угрызения совести. Жозеф Д’Коста, скрываясь от полиции, бросил не только Мари, но и сестру ее Алис, и маленькая, пухленькая акушерка – боясь сознаться в своем преступлении – поняла, какую совершила глупость. «Ослица, несчастная ослица!» – корила она себя, но тайны не открывала. Однако решила хоть как-то горю помочь. Оставила работу в родильном доме и явилась к Амине Синай: «Госпожа, разок увидев вашего малыша, я прямо влюбилась в него. Не нужна ли вам няня?» И Амина, с материнской гордостью, блистающей во взоре: «Да, нужна». Мари Перейра («Ты бы лучше *ее* называл своей матерью, – встревает Падма, тем самым доказывая, что ей все-таки интересно. – Это она тебя сделала, знаешь ли») с этой самой минуты посвятила жизнь моему воспитанию, связав остаток дней своих с памятью о собственном бесчинстве.

20 августа Нусси Ибрахим последовала за моей матерью в клинику на Педдер-роуд, а

малыш Сонни последовал за мной в мир, но он не хотел появляться, пришлось наложить щипцы; доктор Бос от волнения нажал слишком сильно, и Сонни родился с мелкими зубчиками на висках, небольшими вмятинками, которые делали его неотразимым, – так волосы Уильяма Месволда привлекали всех женщин. Девочки (Эви, Медная Мартышка, другие) протягивали руки и гладили эти маленькие впадинки… что привело впоследствии к некоторым осложнениям.

Но напоследок я приберег самое интересное. А именно: на следующий день после того, как я родился, нас с матерью в нашей шафранно-зеленой спаленке посетили два корреспондента «Таймс оф Индиа» (бомбейская редакция). Я лежал в зеленой колыбельке, в шафрановых пеленках, и таращил на них глаза. Репортер брал у матери интервью, а высокий, с орлиным носом фотограф занимался исключительно мною. На следующий день и текст, и фотографии появились в газете…

Недавно я сходил в кактусовый садик, где много лет назад зарыл игрушечный жестяной глобус, расколотый, а потом склеенный скотчем, и вынул из него то, что вложил когда-то. Эти предметы я держу сейчас в левой руке, пока пишу правой, и могу разобрать сквозь желтизну и плесень, что одно из них – письмо, адресованное лично мне и подписанное премьер-министром, а второе – газетная вырезка.

Над ней заголовок: ДЕТИ ПОЛУНОЧИ.

И текст: «Очаровательный Малыш Салем Синай, который родился прошлой ночью в ту же минуту, что и независимость Нации, – счастливое Дитя этого славного Часа!»

И большая фотография: первоклассный широкоформатный глянцевый снимок, на котором еще можно разглядеть малыша: щеки усыпаны родинками, нос красный и течет. (Под снимком подпись: *фото Калидаса Гупты).*

Несмотря на заголовок, текст и фотографию, я должен обвинить наших визитеров в том, что они все опошлили: простые журналисты, не видящие дальше завтрашнего номера, они и понятия не имели, какой важности событие довелось им освещать. На первом месте для них стоял человеческий интерес.

Откуда я это знаю? Да оттуда, что фотограф в конце интервью вручил моей матери чек на сто рупий.

Сто рупий! Можно ли представить себе более ничтожную, смехотворную сумму? Такой суммой иные могли бы и оскорбиться. Но я лишь поблагодарю газетчиков за то, что они отметили мое появление на свет, простив им отсутствие истинного исторического чутья.

– Ишь какой гордый, – ворчит Падма. – Сто рупий не так уж мало; в конце концов все люди родятся на свет, ничего в этом нету такого важного-преважного.

Книга вторая

Указующий перст рыбака

Можно ли ревновать к писаному слову? Ненавидеть ночное карябанье, словно соперницу из плоти и крови? И все же я не могу найти иной причины, объясняющей странное поведение Падмы; и толкование мое хорошо тем, что оно столь же диковинно, сколь и ярость, в какую впала она сегодня ночью, когда я по неосторожности написал (и вслух прочел) слово, которого лучше было бы не произносить вовсе… Еще с визита доктора-шарлатана я чуял в Падме некое недовольство, вынюхивал его загадочные следы, исходящие из эндокринных (или эпокринных) желез. Обескураженная, может быть, безрезультатностью полночных поползновений на то, чтобы воскресить мой «другой карандашик», бездарно свисающий огурец, спрятанный у меня в штанах, она постоянно ворчала. (А какой шум подняла она прошлой ночью, когда я открыл ей тайну моего рождения, как разозлилась на то, что сумма в сто рупий показалась мне никудышной!) Винить в этом нужно только меня: погруженный в собственное жизнеописание, я потерял из

виду ее чувства и этой ночью начал с самой что ни на есть фальшивой ноты.

«И я приговорен продырявленной простыней жить по кусочкам, – написал я и прочел вслух, – но мне повезло больше, чем деду: Адам Азиз всю жизнь был жертвой простыни, я же сделался ее властелином – Падма, например, поддалась уже ее чарам. Сидя в колдовских потемках, я каждый день позволяю взглянуть на себя одним глазком, а она, пристроившись рядом на корточках и пожирая меня взглядом, всякий раз попадает в плен, беззащитная, словно мангуст, неподвижно застывший перед движущимися туда-сюда, немигающими глазами королевской кобры; парализованная – да! – любовью».

Вот оно, это слово: любовь. Написанное-и-произнесенное, оно довело голосок моей дамы до немыслимо визгливой ноты, а из уст ее потекли такие неистовые речи, что я бы обиделся, если бы мог еще обижаться на слова. «Любовью к *тебе!* – с издевкою возопила наша Падма. – Да за что любить-то тебя, Боже правый? Какой от тебя толк, барчук несчастный, – и тут она попыталась нанести мне последний, смертельный удар, – на что ты годишься как *любовник?»* Протянув руку, покрытую пушком, золотым в свете лампы, презрительно ткнула она указующим перстом по направлению к моим чреслам, от которых, надо признаться, и впрямь нет никакого проку; длинный, толстый палец, скованный ревностью – к несчастью, он всего лишь напоминает мне о другом, давно потерянном пальце… и она, Падма, видя, что стрела не попала в цель, заорала: «Придурок несчастный! Прав был доктор, прав!» – и в смятении выбежала вон из комнаты. Шаги ее прогрохотали по железным ступенькам лестницы, ведущей в цех; прошелестели между укрытыми темнотою чанами для маринада; потом звякнула задвижка и хлопнула входная дверь.

А я, покинутый ею, вернулся к работе: ничего другого мне не оставалось.

Указующий перст рыбака: незабвенный фокус, композиционный центр картины, что висела на небесно-голубой стене спаленки на вилле Букингем, прямо над небесно-голубой кроваткой, в которой я, Малыш Салем, дитя полуночи, провел свои первые дни. Юный Рэли и кто-то еще сидел в тиковой рамке у ног старого, согбенного, починяющего сети рыбака (были ли у него усищи, будто у моржа?), чья правая рука, вытянутая во всю длину, указывала на водную гладь, простирающуюся до самого горизонта, а байки его, тоже полные просоленной влаги, струились сквозь зачарованный слух Рэли и кого-то еще; потому что там, на картине, я уверен, был еще один мальчик; он сидел, скрестив ноги, в кружевной рубашке и расстегнутом кафтанчике… и вот воспоминания возвращаются ко мне: праздник, день рождения, когда гордая матушка и не менее гордая нянюшка нарядили малыша с носом огромным, будто у великана Гаргантюа, в точно такую рубашечку, точно такой кафтанчик. Портной сидел в небесно-голубой комнатке, под указующим перстом, и срисовывал одеяния английских милордов… «Гляньте, какая прелесть! – воскликнула Лила Сабармати к вящему моему стыду. – Он будто сошел с *этой картины!»*

На картине, что висела в спальне, я сидел подле Уолтера Рэли и провожал взглядом указующий перст рыбака, взглядом, впивающимся в горизонт, за которым скрывалось – что? – возможно, мое будущее, мое роковое предназначение, которое я ощущал с самых первых дней как нечто серое, мерцающее в той небесно-голубой спаленке, вначале почти неразличимое, но неизбежное… ибо перст указывал дальше, за мерцающий горизонт; он указывал за пределы тиковой рамы, через небольшое пространство небесно-голубой стены он вел мой взгляд к другой раме. В ней и заключалась моя неизбежная судьба, навеки припечатанная стеклом: там висел широкоформатный детский снимок под пророческим заголовком; там же, рядышком, висело письмо на первосортной веленевой бумаге, скрепленное государственной печатью, – львы Сарнатха высились над дхарма-чакрой[149], украшая послание премьер-министра, полученное через мальчика-почтальона Вишванатха через неделю после того, как моя фотография появилась на первой странице «Таймс оф Индиа».

Газеты восславили меня; политики узаконили мое положение. Джавахарлал Неру писал:

149

«Дорогой Малыш Салем, прими мои запоздалые поздравления и пожелания счастья! В тебе последнем воплотился древний лик Индии – древний и вечно молодой. С самым пристальным вниманием мы будем наблюдать за твоей жизнью; она, в некотором смысле, станет зеркалом нашей».

И Мари Перейра в ужасе: «Правительство, госпожа? Не оставит вниманием нашего малыша? Да что же с ним не так?» И Амина, не понимая, откуда такая паника в голосе няни: «Это просто манера выражаться, Мари, они вовсе не имели в виду ничего плохого». Но Мари не может успокоиться и всегда, входя в детскую, бросает дикий, настороженный взгляд на письмо в рамочке; затем озирается, дабы удостовериться, не подглядывает ли правительство; в глазах вопрос: что им известно? Неужели кто-нибудь видел?.. Что до меня, то я, когда вырос, тоже не вполне принял пояснения матери; но меня это письмо лелеяло и баюкало, вселяя ложное чувство безопасности, так что, хотя часть подозрений Мари и просочилась в меня, я все же был застигнут врасплох, когда…

А может, перст рыбака вовсе и не указывал на письмо в рамочке; если проследить за этим перстом еще дальше, то взгляд уходит за окно, к подножию двухэтажного холма, через Уорден-роуд, за бассейн Брич Кэнди – к иному морю, не похожему на то, что было нарисовано на картине; к морю, где паруса рыбацких дау багровели в лучах заходящего солнца… значит, то был обвиняющий перст, заставлявший обратить взор на изгоев города.

А может – и от этой мысли я весь дрожу, несмотря на зной, – то был перст предупреждающий, воздетый, чтобы приковать внимание *к себе как таковому;* да, и такое могло статься, почему бы и нет; он пророчествовал о другом пальце, сходном с ним, чье вступление в мою историю извлечет на свет божий ужасную логику Альфы и Омеги… Бог мой, что за идея! Сколько же еще знаков будущего окружало мою колыбель, дожидаясь, пока я пойму, о чем идет речь? Сколько же было предупреждений – скольким из них я не внял?.. Но нет. Я – не «придурок несчастный», если воспользоваться красочным определением Падмы. Я не предамся рассуждениям, заставляющим мир трещать по швам, – во всяком случае, пока я сам в силах противостоять трещинам.

Амина Синай и Малыш Салем ехали домой на взятом взаймы у соседа «студебеккере», а Ахмед Синай вез с собой бумажный пакет. В пакете: стеклянная банка из-под лимонного маринада, вымытая, прокипяченная, очищенная от всего и вновь наполненная. Хорошо закрытая банка с резиновым кружком, туго натянутым под жестяной крышкой и прижатым толстым резиновым жгутиком. Что было запечатано под резиной, сохранено в стекле, спрятано в бумажном пакете? А вот что: домой вместе с отцом, матерью и малышом ехало некоторое количество соляного раствора, в котором, тихо покачиваясь, плавала пуповина. (Была ли она моя или того, Другого? Вот этого я сказать не могу). Пока только что нанятая няня Мари Перейра добиралась на автобусе до имения Месволда, пуповина ехала со всеми удобствами в бардачке «студебеккера», принадлежавшего магнату киноиндустрии. Малыш Синай рос и мужал, а пуповина плавала, не меняясь, в соляном растворе, в глубине тикового комода. И когда, годы спустя, наша семья удалилась в изгнание в Землю Чистых, когда и я сам изо всех сил стремился к чистоте, для пуповины настал короткий звездный час.

Не выбросили ничего: оставили и ребенка, и пуповину; они прибыли в имение Месволда, они дожидались своего часа.

Я не был красивым ребенком. Детские снимки показывают, что мое круглое, как полная луна, лицо было слишком широким, слишком круглым. Чего-то недоставало в области подбородка. Черты мои облекала светлая кожа, но родинки портили ее; темные пятна проступали в западной части лба, темная полоса протянулась по «восточному» уху. И надбровные дуги у меня слишком выдавались вперед – луковичные купола византийских соборов. (Мы с Сонни Ибрахимом были рождены для тесной дружбы: когда мы однажды столкнулись лбами, луковичные наросты над моими бровями вошли во впадины, оставленные щипцами на лбу у Сонни, с той же легкостью, с какой плашка входит в паз в руках умелого плотника). Амина Синай, несказанно счастливая оттого, что у меня только

одна голова, взирала на нее с удвоенной материнской нежностью, она видела меня сквозь радужную дымку, не замечая ни ледяного холода ни с чем несообразных небесно-голубых глаз, ни надбровий, похожих на недоросшие рожки, ни даже огурцом выпирающего носа.

Нос Малыша Салема был чудовищным, и из него вечно текло.

Любопытная черта моего раннего детства: я был крупным и некрасивым, но мне все было мало. С самых первых дней я героически стремился расти и шириться. (Словно бы знал: нужно быть очень большим, чтобы нести бремя моей будущей жизни). К середине сентября я полностью высосал весьма внушительные груди моей матери. Тут же взяли кормилицу, но она ушла, осушенная до дна, превращенная в пустыню, уже через две недели, уверяя всех, что Малыш Салем едва не отгрыз ей соски своими беззубыми деснами. Меня стали кормить из рожка, и я поглотил огромное количество смеси: резиновые соски тоже страдали, доказывая правоту кормилицы. «Книга ребенка» велась старательно; записи показывают, что я рос на глазах, прибавлял в весе день ото дня; но, к несчастью, замеры носа не производились, так что я не знаю, рос ли мой дыхательный орган пропорционально прочим частям тела или же быстрей всего остального. Должен сказать, что обмен веществ у меня проходил как по часам. Отработанные массы обильно извергались из соответствующих отверстий; из носа истекал сверкающий каскад клейких мокрот. Полчища носовых платков, рати подгузников направлялись в большую бельевую корзину, что стояла в ванной комнате моей матери, то и дело испуская изо всех дырок всякую дрянь; глаза я всегда держал сухими. «Что за чудо этот малыш, госпожа, – говаривала Мари Перейра. – Никогда ни слезинки не проронит».

Чудесный Малыш Салем был спокойным ребенком; смеялся я часто, но беззвучно. (Как и мой собственный сын, я был обстоятельным, раздумчивым: сперва слушал, потом стал агукать, а потом уже и говорить). Какое-то время Амина и Мари боялись, что мальчик немой; но, когда они уже были готовы рассказать обо всем отцу (от которого подобные треволнения тщательно скрывались – какому отцу мил неполноценный ребенок!), он вдруг начал издавать звуки и сделался, по крайней мере в этом отношении, совершенно нормальным. «Такое впечатление, – шепнула Амина няньке, – что он взял да и решил нас успокоить».

Другая проблема оказалась серьезней. На нее Амина с Мари обратили внимание лишь через несколько дней. Они настолько были поглощены бурно протекающим сложным процессом своего превращения в двухголовую мать, зрение их было настолько отуманено испарениями зловонных пеленок, что они не заметили абсолютной неподвижности моих век. Амина, вспоминая, как нерожденное дитя в ее животе сделало время стоячим, словно затхлый, заросший пруд, начинала думать: уж не происходит ли теперь обратный процесс – не обладает ли малыш какой-то магической властью над всем временем в округе, неизъяснимым образом убыстряя его бег, из-за чего матушке-нянюшке никогда не переделать всех дел, и у них минутки не остается свободной; да и сам малыш растет с фантастической скоростью; предаваясь подобным хронометрическим грезам, они не обратили внимания на мою проблему. Лишь когда моя мать стряхнула с себя наваждение и сказала себе, что я всего лишь здоровенький, быстро растущий малыш, с прекрасным аппетитом, бурно развивающийся, – покровы материнской любви чуть-чуть раздвинулись, и они с Мари вскричали едва не в унисон: «Глядите-ка, бап-ре-бап![150]Глядите, госпожа! Гляди, Мари! Мальчик никогда не моргает!»

Глаза были слишком голубыми: кашмирская голубизна, голубизна подменыша, голубизна, тяжелая от непролитых слез; слишком голубыми были эти глаза, чтобы открываться и закрываться. Когда меня кормили, глаза мои не смыкались; когда девственница Мари сажала меня на плечо, вскрикивая: «Уф, какой тяжелый, сладчайший Иисусе!» – я срыгивал, не моргая. Когда Ахмед Синай с раздробленным пальцем ковылял к моей кроватке, я встречал протянутые губы проницательным, немигающим взглядом. «Может, мы ошибаемся, госпожа, – засомневалась Мари. – Может, маленький сахиб делает

150

так, как мы, – моргает, когда мы моргаем». И Амина: «Давай моргнем по очереди и посмотрим». По очереди поднимая-опуская веки, они неизменно видели ледяную голубизну; не замечалось ни малейшего, самого легкого дрожания, и потому Амина взяла дело в свои руки, подошла к колыбели и опустила мне веки. Глаза закрылись, дыхание стало ровным и спокойным, в ритме сна. После этого еще несколько месяцев мать и няня поднимали и опускали мне веки. «Он научится, госпожа, – утешала Мари Амину. – Такой хороший, послушный мальчик, конечно же, привыкнет это делать сам». Я научился, и это был первый в моей жизни урок: никто не может взирать на мир постоянно открытыми глазами.

Теперь, глядя назад глазами ребенка, я все прекрасно вижу – удивительно, сколь многое можно вспомнить, если постараться. Вот что я вижу: город, греющийся, будто ящерица-кровопийца, под жарким летним солнышком. Наш Бомбей: он похож на руку, но на самом деле это – рот, всегда открытый, всегда голодный, заглатывающий пищу и таланты, что стекаются сюда со всей Индии. Чарующая пиявка, не производящая ничего, кроме фильмов, рубашек-сафари, рыбы… Сразу после Раздела я вижу, как Вишванатх, юный почтальон, катит на велосипеде к нашему двухэтажному холму с конвертом из веленевой бумаги в сумке, притороченной к багажнику; он гонит на своем стареньком индийском велосипеде «Арджуна» мимо ржавеющего автобуса – брошенного, хотя и не настал еще сезон дождей: его водитель внезапно решил уехать в Пакистан, выключил двигатель и отправился восвояси, оставив полный автобус бог весть куда завезенных пассажиров; те высовывались в окна, цеплялись за багажные сетки, толпились в дверях… я слышу их проклятья: «свинья и сын свиньи, осел и брат осла». Но они так и будут держаться за свои с боем добытые места еще целых два часа, пока, наконец, не оставят автобус на произвол судьбы. А вот еще: первый индиец, переплывший Ла-Манш, мистер Пушпа Рой, подходит к воротам бассейна Брич Кэнди. Шафрановая купальная шапочка на голове, зеленые трусы обернуты полотенцем цветов национального флага – этот Пушпа объявил войну правилу «только для белых». В руках у него брусок сандалового мыла фирмы «Майсур»; он гордо выпрямляется, шествует через ворота… а там наемные патаны накидываются на него; индийцы, как всегда, спасают европейцев от индийского мятежа, и он вылетает вон, отважно сопротивляясь; его хватают за руки за ноги, волокут по Уорден-роуд, швыряют в пыль. Пловец через Ла-Манш ныряет на мостовую чуть ли не под копыта верблюдов, колеса такси и велосипедов (Вишванатх резко сворачивает в сторону, чтобы не наехать на брусок мыла)… но ему все нипочем, он встает, отряхивается и обещает вернуться завтра. Все годы моего детства, день за днем, отмечены этим зрелищем: пловец Пушпа, в шафрановой шапочке, с полотенцем цветов национального флага, против воли ныряет на мостовую Уорден-роуд. В конце концов эта упорная война привела к победе, ибо сейчас в бассейн пускают некоторых индийцев «почище» и дозволяют им насладиться водой, замкнутой в карту Индии. Но Пушпа не принадлежит к тем, которые «почище»: старый, всеми позабытый, он взирает на бассейн издалека… и вот уже все больше и больше людей, целые толпы текут сквозь меня – например, Бано Деви, женщина-борец, знаменитая в те дни; она боролась только с мужчинами и грозилась выйти замуж за любого, кто ее побьет; обет этот привел к тому, что она не проиграла ни единой схватки; и (теперь уже ближе к дому) садху, сидящий под краном у нас в саду, звали его Пурушоттам, а мы (Сонни, Одноглазый, Прилизанный и я) прозвали его Пуру-гуру, он верил, будто я – Мубарак, Благословенный, и решил весь остаток жизни не спускать с меня глаз; дни свои он заполнял тем, что учил моего отца хиромантии и заклинаниями сводил у матери мозоли; а еще передо мной – соперничество старого посыльного Мусы и Мари, новой нянюшки, которое будет расти и расти, пока не окончится взрывом; короче, в конце 1947 года жизнь в Бомбее была так же богата, многослойна, заполнена кишащими толпами и совершенно лишена формы, как и всегда… разве что к тому времени я уже появился на свет и начал потихоньку занимать свое место в центре вселенной; к тому моменту, когда придет пора заканчивать, я всему придам смысл. Не верите? Послушайте, Мари Перейра напевает песенку у моей колыбели:

Чем захочешь ты, тем и станешь,
Станешь ты всем, чем захочешь.

К тому времени, как цирюльник с волчьей пастью из королевской цирюльни на Кавалия Тэнк-роуд сделал мне обрезание (мне было тогда месяца два), я уже пользовался большим спросом в имении Месволда. (Кстати, об обрезании: клянусь, я помню, как ухмылялся цирюльник, когда держал меня за крайнюю плоть, а мой член яростно извивался, словно ползущая змея; помню, как опускалась бритва, помню боль; но ведь уже было сказано, что в то время я даже не умел моргать).

Да, я тогда пользовался большим успехом: обе мои матери, Амина и Мари, не могли налюбоваться мной. Во всех практических проявлениях заботы обо мне они всегда соглашались друг с дружкой. После обрезания они вместе купали меня и вместе хихикали, видя, как мой изувеченный член сердито извивается в воде. «Надо будет приглядывать за этим мальчишкой, госпожа, – сказала Мари с намеком. – Эта его штучка живет сама по себе!» И Амина: «Фу, как не стыдно, Мари, ты невыносима, честное слово…» Но вот опять сквозь приступы безудержного смеха: «Да вы поглядите, поглядите, Госпожа, на его бедную маленькую пипиську!» Потому что член у меня снова задергался, заходил ходуном, заметался, словно петух с отрезанной головой… Вместе Амина и Мари чудесно ухаживали за мной, но когда дело касалось чувств, становились соперницами не на жизнь, а на смерть. Однажды, когда меня возили в коляске по висячим садам холма Малабар, Амина услышала, как Мари говорит другим нянькам: «Глядите, какой у меня здоровенький сыночек», – и страшно переполошилась. С тех пор любимый Малыш Салем стал для них полем битвы; каждая старалась превзойти другую в изъявлениях нежности; а он, теперь уже умеющий моргать и громко воркующий, питался этими чувствами, взрастал на них, вбирая в себя бесконечные объятия, поцелуи, ласки; неудержимо стремясь к тому моменту, когда можно будет обрести основные человеческие свойства: каждый день, но только в те редкие минуты, когда меня оставляли наедине с указующим перстом рыбака, я старался встать прямо в моей постельке.

(И пока я тщетно пытался подняться на ноги, Амина тоже билась в тисках бесполезного решения – она старалась выбросить из головы, забыть раз навсегда сон о неназываемом муже, сменивший кошмар о липкой бумаге в ночь сразу после моего рождения; сон этот был настолько выпуклым и реальным, что сопровождал ее и наяву: Надир Хан ложился к ней в постель и оплодотворял ее; и таким коварно-порочным был этот сон, что Амина совсем запуталась и, не зная, кому приписать зачатие, снабдила меня, дитя полуночи, четвертым отцом наряду с Уинки, Месволдом и Ахмедом Синаем. Смятенная, но беспомощная в тенетах сна, моя мать Амина уже тогда начала окутываться туманом вины, который позже сожмет ей голову черным-пречерным венцом).

Я никогда не слышал, как пел Уи Уилли Уинки в лучшие свои годы. После ослепившей его утраты зрение постепенно вернулось, но что-то резкое, горькое вкралось в голос. Он говорил нам, что все дело в астме, и по-прежнему приходил раз в неделю петь свои песенки, которые, как и он сам, представляли собой реликвии эры Месволда. «Доброй ночи, леди», – пел он и, стараясь шагать в ногу со временем, добавлял к своему репертуару «Тучи скоро унесутся», а чуть позже стал еще исполнять «Почем этот песик в окне?» Разместив крупного младенца с угрожающе крепкими коленками на маленьком коврике неподалеку от себя, он вставал в центре круглой площадки и пел песенки, полные ностальгии, и ни у кого не хватало духу прогнать его. Уинки да перст рыбака – вот, почитай, что и все, что осталось нам от дней Уильяма Месволда, ибо стоило англичанину исчезнуть, как его преемники очистили дворцы от брошенного на произвол судьбы содержимого. Лила Сабармати сохранила пианолу, Ахмед Синай – шкафчик для виски; старик Ибрахим приноровился к вентилятору на потолке; но золотые рыбки передохли: одних морили голодом, других так чудовищно

перекармливали, что они лопались и разлетались на кусочки, на крошечные облачка из чешуек и непереваренного корма; собаки, бродя без присмотра, в конце концов одичали и покинули имение, а выцветшую одежду из старых шкафов раздали метельщикам и другим муниципальным служащим, так что еще долгие годы наследников Уильяма Месволда поминали добрым словом мужчины и женщины, которые носили постепенно обращающиеся в лохмотья рубашки и цветастые платья своих былых хозяев. Но Уинки и картина у меня на стене пережили все перемены; певец и рыбак стали определять нашу жизнь, подобно времени коктейля, привычке, слишком укоренившейся, чтобы избавиться от нее. «Каждая слезинка, каждая печаль, – пел Уинки, – делает тебя все ближе…» С его голосом дела обстояли все хуже и хуже; наконец, он стал звучать, как ситар[151], чей резонирующий корпус, сделанный из лакированной тыквы, обглодали мыши. «Это астма», – твердил он упрямо. Перед смертью он совершенно потерял голос; врачи поставили иной диагноз – рак горла; но и они были неправы, ибо Уинки умер не от болезни, а от горя, потеряв жену, об измене которой даже не догадывался. Сын его, названный Шивой в честь бога размножения и разрушения[152], сидел в те давние дни у его ног и молча нес свое бремя, ибо именно он (так ему самому казалось) был причиной медленного угасания отца; и год за годом мы наблюдали, как глаза его наполняет невыразимая словами злоба; как пальцы ребенка тянутся к камню, сжимаются в кулак, разжимаются, бросают его в окружающую пустоту, сначала это делалось просто так, без цели, потом, с годами, привычки Шивы становились все осмысленней и опасней. Старший сын Лилы Сабармати, тогда восьмилетний, взялся изводить юного Шиву: он-де смотрит букой, и шорты у него нестираны, и коленки узловатые, и тогда мальчик, которого преступление Мари обрекло на нищету и аккордеон, швырнул узкий плоский камешек с краями острыми, как бритва, и выбил своему мучителю правый глаз. После того случая с Одноглазым Уи Уилли Уинки стал приходить в имение Месволда один, оставляя сына в темных лабиринтах, из которых его освободила только война.

Почему в имении Месволда продолжали терпеть Уи Уилли Уинки, несмотря на потерю голоса и бешеного сынка? Однажды он снабдил его обитателей путеводной нитью, придал их жизням высший смысл: «Первое рождение, – сказал он, – сделает вас всех настоящими».

В результате этого утверждения я в мои детские годы пользовался большим спросом. Амина и Мари наперебой ласкали меня; да и все обитатели имения в каждом из домов желали со мной познакомиться; и время от времени Амина, гордясь моей популярностью, хоть и неохотно, а все же расставалась со мной, отдавая взаймы, согласно графику, разным семьям, живущим на холме. В небесно-голубой колясочке, которую толкала Мари Перейра, я совершал свой триумфальный путь по крытым красной черепицей дворцам, в порядке очередности оказывая их обитателям великую милость своим присутствием и позволяя им почувствовать себя настоящими. Так, глядя в прошлое глазами Малыша Салема, я могу раскрыть почти все секреты соседей, потому что взрослые жили в моем присутствии своей обычной жизнью, не боясь, что за ними наблюдают, не зная, что годы спустя кто-то станет вглядываться в былое глазами младенца и решится выпустить, как это говорится, кошек из мешков.

Вот старик Ибрахим в смертельной тревоге: там, в Африке, новые правительства национализируют его плантации сизаля; вот его старший сын Исхак, ввязавшийся в гостиничный бизнес: дело убыточное, и он вынужден занять денег у местных гангстеров; а вот Исхак увивается за женой своего брата, хотя каким образом Нусси-Утенок могла вызвать у кого-то желание, остается для меня тайной; вот муж Нусси, законник Исмаил, который вынес важный урок из того факта, что сыну его при рождении накладывали щипцы: «Ничто не родится само собой, – заявляет он своей утице-жене, – если не подтолкнуть». Применив эту философию к своей адвокатской практике, он подкупает судей, сам выбирает присяжных; во власти детей изменять родителей, и Сонни превращает своего отца в весьма

151
152

преуспевающего плута. А перебравшись на виллу Версаль, я вижу миссис Дюбаш и алтарь бога Ганеши, затиснутый в угол столь сверхъестественно грязной квартиры, что у нас дома слово «дюбаш» стало означать «беспорядок», «кавардак»… «Ах, Салем, замарашка, опять ты устроил дюбаш у себя в комнате!» – кричала Мари. А вот источник кавардака заглядывает ко мне в колясочку, щекочет под подбородком: Ади Дюбаш, гений-атомщик, генератор сора. Его жена уже носит в себе Кира Великого; она отклоняется назад, чувствуя, как он растет, и в уголках ее глаз загорается огонь фанатизма: она выжидает, не давая огню запылать в полную силу до тех пор, пока мистер Дюбаш, ежедневно имевший дело с самыми опасными в мире веществами, не умер, подавившись апельсином, из которого жена забыла вытащить косточки. Меня никогда не приглашали в квартиру доктора Нарликара, гинеколога, который ненавидел детей; но в домах Лилы Сабармати и Хоми Катрака я стал соглядатаем, крошечным свидетелем тысячи и одной неверности Лилы, даже очевидцем того, как начиналась связь жены морского офицера и магната киноиндустрии – владельца скаковых лошадей; это сослужит мне службу, когда в свое время я задумаю месть.

Даже перед младенцем встает проблема, как же называть себя; и я должен сказать, что моя ранняя популярность была многопланова и неоднозначна: меня буквально забрасывали разными точками зрения на сей предмет – я был Благословенным для гуру под садовым краном, соглядатаем для Лилы Сабармати; в глазах Нусси-Утенка я был соперником, причем более удачливым, чем ее Сонни (хотя, к ее чести, она никак не выказывала своей досады и просила одолжить меня, как и все остальные); для моей двухголовой матушки-нянюшки я был всем, чем угодно; каких только ласковых детских прозвищ они не придумывали мне – и лапушка, и кисонька, и месяц ясный.

Но, в конце концов, что со всем этим может поделать младенец – разве поглотить, в надежде позднее извлечь из усвоенного какой-нибудь смысл. Терпеливо, с сухими глазами, я впитал в себя письмо Неру и пророчество Уинки; но самое глубокое впечатление я получил в тот день, когда дочь Хоми Катрака, идиотка, направила свои мысли через круглую площадку прямо в голову мне, малышу.

Токси Катрак, с огромной головой и слюнявым ртом; Токси стоит у зарешеченного чердачного окошка голая, как бубен; мастурбирует с гримасами чрезвычайного отвращения к себе; плюется обильно и часто сквозь прутья своей решетки и порой попадает нам на головы… ей был двадцать один год, этой косноязычной дурочке, появившейся на свет в результате множества кровосмесительных связей, но для меня она была прекрасна, потому что не утратила тех даров, с какими является в мир каждый ребенок и какие потом забирает последующая жизнь. Не помню, говорила ли Токси что-нибудь, когда, под сурдинку, шепотом, посылала мне свои мысли; возможно, нет; лишь булькала да плевалась, но она первая толкнула некую дверь в моем сознании, и когда случилась история с бельевой корзиной, именно Токси сделала возможным то, что произошло.

Вот пока и хватит о раннем детстве Малыша Салема – одно лишь мое присутствие уже оказывает влияние на историю; Малыш Салем уже изменяет людей, окружающих его; в случае с моим отцом я глубоко убежден, что сам и подтолкнул его к крайностям, которые привели со всей, по-видимому, неизбежностью к ужасным временам замораживания.

Ахмед Синай так и не простил своему сыну сломанного пальца. Даже после того, как кости срослись, он немного прихрамывал. Склоняясь над моей колыбелью, отец приговаривал: «Так-то, сынок: лиха беда начало. Едва родился, а уже измочалил родного папашу!» Мне кажется, что в шутке этой таилась доля истины. Ибо после моего рождения все изменилось для Ахмеда Синая. Положение его в домашнем кругу было подорвано моим приходом. В одночасье прилежание Амины оказалось направленным на новый предмет; она уже не клянчила у мужа денег, и салфетка во время завтрака смирно лежала у него на коленях, тоскуя по прежним дням. Теперь все звучало по-иному: «Твоему сыну нужно то-то и то-то», или: «Джанум, ты должен заплатить за это и это». «Гиблое дело», – думал Ахмед

Синай. Мой отец был самолюбив.

Так что именно моими стараниями в дни, последовавшие за моим рождением, Ахмед Синай подпал под власть двух фантазий, которые привели его к гибели: его поманили миры джиннов, лежащие за пределами реальности, и земля под морскими водами.

Помню, как отец как-то вечером в холодный сезон сидит на моей кровати (мне семь лет) и рассказывает чуть охрипшим голосом сказку о рыбаке, который нашел джинна в бутылке, выброшенной на прибрежный песок… «Никогда не верь посулам джиннов, сынок! Только выпусти их из бутылки – и они сожрут тебя живьем!» И я, робко – ибо чую опасность в одышке отца: «Но, абба, разве может джинн взаправду жить в бутылке?» И тут отец, настроение которого подвижно, будто ртуть, разражается хохотом, выходит из комнаты и возвращается, неся темно-зеленую бутылку с белой этикеткой. «Гляди, – провозглашает он зычно, – хочешь увидеть джинна, заключенного здесь?» «Нет!» – завизжал я в ужасе. Но: «Да!» – завопила моя сестрица Медная Мартышка с соседней кровати… съежившись от возбуждения и страха, мы смотрели, как он откупоривает бутылку и драматическим жестом зажимает горлышко ладонью; в другой руке словно из ничего появляется зажигалка. «Да сгинут все злые джинны!» – кричит отец, убирает руку и подносит пламя к горлышку бутылки. Мы с Мартышкой, испуганные, глядим, как зловещий огонек, голубовато-синевато-желтый, медленными кругами движется вниз по внутренним стенкам бутылки, достигает дна, мгновенно вспыхивает и гаснет. На другой день я вызвал целую бурю смеха, когда заявил Сонни, Одноглазому и Прилизанному: «Мой отец воюет с джиннами, он их всех может побить, правда-правда!..» И это была правда. Ахмед Синай, лишенный ласки и заботы, вскоре после моего рождения вступил в бой с джиннами из бутылки, длившийся целую жизнь. Только в одном я ошибался: победы он одержать не смог.

Шкафчики с ингредиентами для коктейлей возбудили его аппетит; но только мое появление окончательно направило его по этой дорожке… В то время в Бомбее был объявлен сухой закон. Существовало единственное средство достать выпивку: зарегистрироваться алкоголиком, так возникла новая поросль докторов, докторов-джиннов, и одного из них, доктора Шараби[153], представил моему отцу Хоми Катрак, ближайший сосед. После чего первого числа каждого месяца мой отец, мистер Катрак и многие другие уважаемые граждане выстраивались в очередь у двери в кабинет доктора Шараби, сделанной из матового стекла, заходили внутрь и появлялись с маленькими розовыми справочками об алкоголизме. Но дозволенная доза была слишком мала для моего отца, и он стал посылать к доктору слуг: садовники, посыльные, шоферы (у него теперь была машина «ровер» 1946 года, такая же, как у Уильяма Месволда), даже старый Муса и Мари Перейра тащили отцу все новые и новые розовые справочки, которые он относил в магазин «Биджай» напротив цирюльни на Кавалия Тэнк-роуд, где мне делали обрезание, и получал взамен положенные алкоголику коричневые бумажные мешки, где звякали зеленые бутылки, полные джинов. И виски тоже: Ахмед Синай размывался, терял очертания, опустошая зеленые бутылки с красными этикетками, принадлежащие его слугам. Бедняки, не имевшие ничего на продажу, обращали свои удостоверения личности в маленькие розовые справочки, а мой отец извлекал из них жидкость и выпивал до дна.

Каждый вечер в шесть часов Ахмед Синай вступал в мир джиннов, и каждое утро, с красными глазами, с больной головой, в изнеможении от битвы, длившейся всю ночь, он небритым выходил к завтраку, и с годами хорошее настроение, державшееся у него до бритья, сменилось ожесточением от войны с духами бутылок.

После завтрака он спускался вниз. Две комнаты первого этажа он определил себе под офис, ибо ориентировался в пространстве не лучше прежнего, а перспектива потеряться в Бомбее по дороге на работу его отнюдь не прельщала; хорошо хоть, что ему удавалось найти путь вниз по лестнице. Размытый, потерявший очертания, мой отец вершил свои дела по купле-продаже недвижимости, и его растущая обида на то, что моя мать так носится со

153

своим ребенком, нашла себе выход в стенах офиса: Ахмед Синай начал заигрывать с секретаршами. После ночей, когда схватки с бутылками порой прорывались в горькие слова: «Ну и жену я себе сыскал! С таким же успехом мог бы купить ребенка и нанять кормилицу!» Потом – слезы, и Амина: «О, джанум, не мучай меня!» И ответная реакция: «Я же еще тебя и мучаю! Значит, внимание супруга – мучение для тебя? Да сохранит Господь от этаких дур!» – и мой отец ковылял вниз делать сладкие глазки девушкам из Колабы. Через какое-то время Амина стала замечать, что секретарши у мужа не держатся долго, уходят внезапно, убегают стремглав по подъездной дороге, не сказав никому ни слова; судите сами, решила ли она закрыть на это глаза или восприняла как некое наказание, но Амина ничего не предпринимала по этому поводу, продолжая посвящать все свое время мне; девушкам она дала коллективное прозвание – одно на всех, только тем и показав, что все-таки владеет ситуацией. «Эти англо, – не без снобизма заявила она Мари Перейре, – с их дурацкими именами Фернанда, Алонсо, Бог знает что еще, а фамилии – язык сломаешь! Сулака и Колако, и черт в ступе. Мне-то что за дело до них? Дешевые штучки. Я их всех зову „девки Кока-Кола“ – разницы между ними особой нет».

Пока Ахмед щипал ягодицы, Амина страдала и терпела; но он, наверное, был бы рад, если бы жена хоть раз показала, что ей не все равно.

Мари Перейра возразила: «Не такие уж глупые у них имена, госпожа; прошу прощения, но все это добрые христианские святые». И Амина вспомнила, как Зохра, двоюродная сестра Ахмеда, смеялась над ее темной кожей и, спеша оправдаться, впала в ту же, что и Зохра, ошибку: «Ах нет, Мари, ты тут ни при чем, как ты могла подумать, будто я смеюсь над тобой?»

С рожками на лбу, с носом-огурцом я лежал в своей кроватке и слушал, а все, что происходило, происходило из-за меня… Однажды, в январе 1948 года в пять часов пополудни, моего отца навестил доктор Нарликар. Они обнялись, как всегда, похлопали друг друга по спине. «Сыграем в шахматы?» – предложил отец, согласно заведенному порядку, ибо визиты эти уже обратились в привычку. Они играли в старые индийские шахматы, шатрандж, лишь попадая из сложных завитков своей жизни на простую и понятную шахматную доску, испытывая хоть на час чувство освобождения; Ахмед мог лелеять мечту о перекомпоновке Корана; а потом пробьет шесть, настанет час коктейля, время джиннов… но в этот вечер Нарликар сказал: «Нет». И Ахмед: «Нет? Что значит – *нет?* Давай садись, сыграем, побеседуем…» Нарликар перебил его: «Сегодня, братец Синай, я должен кое-что тебе показать». Вот они уже в «ровере» 1946 года, Нарликар жмет на педаль, машина трогается с места; они едут на север по Уорден-роуд; справа остается храм Махалакшми, слева – площадка для гольфа клуба «Уиллингдон»; позади – ипподром; они мчатся по Хорнби Веллард вдоль дамбы; в поле зрения возникает стадион Валлабхаи Патель с гигантскими фанерными фигурами борцов: Бано Деви, непобедимая, и Дара Сингх, самый могучий… мельтешат продавцы чанны, люди выгуливают собачек у самого моря. «Стоп», – командует Нарликар, и они вылезают. Стоят, глядя на море; ветерок холодит им лица, а впереди, в конце узкой цементной дорожки, проложенной среди волн, лежит остров, где похоронен мистик Хаджи Али[154]. Паломники вереницей тянутся с Веллард взглянуть на его гробницу.

«Вот, – указывает Нарликар. – Что ты там видишь?» И Ахмед, заинтригованный: «Ничего. Гробницу. Людей. Ты о чем, старина?» И Нарликар: «Да ты не туда смотришь. *Вот!»* И теперь Ахмед замечает, что указующий перст Нарликара направлен на цементную дорожку… «Пешеходная дорожка? – спрашивает он. – На что она тебе? Через пять минут начнется прилив и накроет ее, это всякий знает…» Нарликар, чей лик светится, будто маяк в ночи, ударяется в философию: «Именно так, братец Ахмед, именно так. Земля и море, море и земля в вечной борьбе, а?» Ахмед в недоумении молчит. «Когда-то здесь было семь островов, – напоминает ему Нарликар. – Ворли, Махим, Сальсетт, Матунга, Колаба, Мазагун,

154

Бомбей. Британцы их соединили. Море, братец Ахмед, стало землей. Земля поднялась и больше неподвластна приливам!» Ахмеду страшно хочется виски; нижняя губа у него выпирает, он смотрит, как паломники бегут по сужающейся дорожке. «К делу», – требует он. И Нарликар, весь сияя: «Дело, Ахмед-бхаи, *вот оно!»*

И извлекает из кармана маленькую гипсовую модель в два дюйма высотой: тетрапод! Похожая на объемный знак «мерседеса-бенц», три ножки стоят на ладони, четвертая, наподобие лингама, вздымается в вечернее небо – вещица приковывает моего отца к месту. «Что это?» – вопрошает он, и Нарликар наконец объясняет: «Этот малыш сделает нас богаче, чем целый Хайдарабад, бхаи! Эта крошечная штучка сделает нас, тебя и меня, хозяевами земли и моря!» И он указывает туда, где волны перехлестывают через опустевшую цементную дорожку… «Земля из воды, дружище! Мы станем производить эти штуки тысячами – десятками тысяч! Мы предложим заключить с нами контракт на освоение; нас ждет успех, не упусти его, братец, такой шанс выпадает единожды в жизни!»

Почему мой отец купился на слова гинеколога, возмечтавшего стать предпринимателем; почему согласился вместе с ним грезить наяву? Почему мало-помалу видение бетонных тетраподов в натуральную величину, шагающих через волнорезы четвероногих завоевателей, торжествующих победу над морем, захватило его с той же силой, что и доктора, сияющего, словно медный грош? Почему в последующие годы Ахмед полностью отдаст себя во власть фантазии всякого островитянина, посвятит себя воплощению в жизнь мифа о покорении волн? Может, он боялся пропустить очередной поворот; может, повлияла игра в шатрандж; а может, речи Нарликара ему показались убедительными. «С твоим капиталом да с моими связями, Ахмед-бхай, какие могут быть у нас проблемы? У каждого важного чиновника в этом городе есть сын, которому я помог прийти в этот мир; передо мной открыты все двери. Ты производишь, я достаю контракты! Пятьдесят на пятьдесят, все по-честному!» Но, как мне кажется, существует гораздо более простое объяснение. Мой отец, лишенный внимания жены, которая предпочла ему сына, отуманенный, полустертый виски и джиннами, пытался восстановить свое положение в мире, и мечта о тетраподах давала ему такой шанс. Очертя голову он ринулся в эту безумную авантюру; письма были написаны, связи задействованы, деньги, «черный нал», стали вертеться; и все это сделало имя Ахмеда Синая известным в коридорах сачивалайи[155]– даже до государственного секретариата дошел слух о мусульманине, у которого рупии текут сквозь пальцы, будто вода. И только Ахмед Синай, который каждую ночь напивался до сонной одури, не видел надвигающейся угрозы.

* * *

Наши жизни в тот период определялись письмами. Письмо от премьер-министра пришло, когда мне было от роду семь дней, – я не мог еще сам подтереть себе нос, а читатели «Таймс оф Индиа» слали мне восторженные послания; и однажды январским, утром Ахмед Синай тоже получил письмо, которое никогда не забывал.

За завтраком – красные глаза, затем – подбородок, выбритый ради рабочего дня; шаги вниз по лестнице; настороженные смешки очередной «девки Кока-Кола». Стул со скрежетом придвигается к столу, обитому зеленой кожей. Металлический лязг машинки для разрезания бумаг, одновременно – звонок телефона. Короткий, резкий щелчок – конверт разрезан, и через минуту Ахмед опять бежит вверх по лестнице, громко зовет мою мать, вопит во всю глотку:

– Амина! Иди сюда, жена! Эти ублюдки заморозили мне яйца, взяли да сунули в ведерко со льдом!

После того как Ахмед получил официальное письмо, в котором извещалось, что все его счета заморожены, поднялся всеобщий вой… «Бога ради, джанум, что за выражения!» –

155

говорит Амина, и мне это кажется или и в самом деле малыш в небесно-голубой кроватке краснеет до ушей?

И Нарликар, мгновенно примчавшийся, весь в поту: «Вина целиком на мне: о нас слишком многие знали. Скверные времена, Синай-бхай; заморозим вклады мусульман, говорят эти ловкачи, и те сбегут в Пакистан, оставив свое добро. Схвати ящерицу за хвост, и она его сбросит! Чертовски умные мысли приходят в голову так называемому светскому правительству!»

– Все-все, – твердит Ахмед Синай, – банковский счет, страховка, рента за недвижимость в Курле – все блокировано, заморожено. Согласно распоряжению, сказано в письме. Согласно распоряжению, мне не дадут и четыре анны, жена – ни единого чаванни[156], чтобы глянуть в кинетоскоп!

– Это все фотография в газете, – решила Амина. – Иначе откуда бы эти умники, свалившиеся с небес, знали, кого преследовать? Боже мой, джанум, это моя вина…

– Даже десяти пайсов[157]на пакетик чанны, – гнет свое Ахмед Синай, – ни единой анны, чтобы подать милостыню. Заморожен – будто в холодильнике!

– Это моя вина, – вступает Исмаил Ибрахим. – Я должен был вас предупредить, Синай-бхай. Ведь я слышал о том, что счета замораживают – выбирают, естественно, лишь зажиточных мусульман. Вы должны драться…

– Зубами и когтями! – настаивает Хоми Катрак. – Как лев! Как Аурангзеб[158]– ваш предок, кажется? Как Рани Джанси![159]И тогда поглядим, в какой стране мы живем!

– Есть же суд в этом государстве, – подхватывает Исмаил Ибрахим; Нусси-Утенок улыбается широкой, глупой улыбкой; она кормит грудью Сонни, ее пальцы движутся, поглаживают впадинки, влево-вправо, вверх и вниз, вокруг и около, в четком, заданном, неизменном ритме… – Я стану вашим адвокатом, – говорит Исмаил Ахмеду. – Совершенно бесплатно, дорогой друг. Нет, нет, и слышать не хочу. Как можно? Мы ведь соседи.

– Подкосили, – твердит Ахмед. – Заморозили, как воду.

– Ну, ладно, ладно, – прерывает его Амина. – Преданность ее достигает новых высот, она ведет мужа в свою спальню… – Джанум, тебе нужно прилечь.

И Ахмед:

– Что это, жена? В такое время – меня выпотрошили, прикончили, раскрошили, как сосульку, и ты думаешь о… – Но она уже закрыла дверь, сбросила тапки, раскрыла объятия; руки скользят ниже-ниже-ниже, и вот:

– О, Боже, джанум, я-то думала, ты просто грязно выразился, но это правда! Какие холодные, Аллах, какие холоооодные, ни дать ни взять, маленькие круглые ледышки!

Бывает же такое: после того, как государство заморозило активы моего отца, моя мать ощутила, как шарики его все холодеют и холодеют. В первый день была зачата Медная Мартышка – вовремя, ибо потом, хотя Амина и ложилась каждую ночь с мужем, чтобы согревать его, хотя и прижималась к нему тесно-тесно, чувствуя, как он дрожит, когда ледяные пальцы бессильной ярости шарят по телу, начиная с чресел, она больше не решалась протянуть руку и коснуться их, ибо маленькие ледышки сделались слишком холодными и твердыми на ощупь.

Они – мы – могли бы догадаться, что стрясется какая-то беда. В январе этого года воды возле Чаупати Бич, Джуху и Тромбея были полны дохлых тунцов, которые, совершенно непостижимым образом, плавали кверху брюхом, словно покрытые чешуей персты, указующие на берег.

156

157

158

159

Змейки и лесенки

И другие знамения: видели, как кометы рассыпаются на части над заливом Бэк-бэй; рассказывали, будто из цветов сочится настоящая красная кровь, а в феврале змеи расползлись из института Шапстекера. Прошел слух, будто сумасшедший заклинатель змей из Бенгалии, по прозвищу Тубривала[160], разъезжал по стране, заклиная плененных рептилий и уводя их из змеиных питомников (таких, как питомник Шапстекера, где изучались свойства змеиного яда и разрабатывались противоядия) – словно крысолов из Гаммельна, играл он на своей чарующей флейте, мстя за раздел возлюбленной Золотой Бенгалии[161]. Через какое-то время слухи обросли подробностями: Тубривалла-де семи футов ростом, с ярко-синей кожей. Это Кришна явился покарать свой народ; это пришел небесно-голубой Иисус миссионеров.

Может показаться, будто после моего подмененного рождения, пока я рос и ширился с головокружительной скоростью, во всем, что только могло разладиться, начался разлад. Змеиной зимой 1948 года, а затем в сезон жары и сезон дождей одна беда сменяла другую, так что в сентябре, когда родилась Медная Мартышка, все мы были на пределе, всем нам следовало пару лет отдохнуть.

Удравшие кобры исчезли в городских сточных трубах; полосатых крайтов видели в автобусах. Вероучители расписывали бегство змей как предупреждение: это бог Нага[162]вырвался на свободу, возвещали гуру, дабы покарать нацию за то, что она официально отреклась от своих божеств. (Мы – светское государство, объявил Неру, а Морар-джи[163], Патель[164]и Менон[165]согласились; но Ахмед Синай по-прежнему дрожал, замороженный). И в тот самый день, когда Мари спросила: «Как же мы теперь будем жить, госпожа?» – Хоми Катрак познакомил нас с доктором Шапстекером. Ему был восемьдесят один год; кончик его языка постоянно то показывался между пергаментных губ, то скрывался во рту; но доктор готов был платить наличными за квартиру на верхнем этаже, выходящую окнами на Аравийское море. В те дни Ахмед Синай слег в постель; ледяной, замороженный пот пропитывал простыни: он поглощал в лечебных целях огромное количество виски, но согреться не мог… так что это Амина согласилась сдать верхний этаж виллы Букингем старому знатоку змей. В конце февраля змеиный яд внедрился в наши жизни.

Доктор Шапстекер был из тех людей, что обрастают самыми дикими историями. Наиболее суеверные из ординаторов института клялись, будто он каждую ночь видит во сне, как его кусают змеи, и поэтому подлинные укусы наяву на него не действуют. Шептались также, будто он сам наполовину змея – плод противного природе союза между женщиной и коброй. Его одержимость ядом ленточного крайта – bungarus fasciatus[166]– вошла в легенду. От укуса bungarus нет противоядия, и Шапстекер посвятил свою жизнь поискам такового. Покупая выбракованных лошадей на конюшнях Катрака (и на других тоже), доктор вводил им малые дозы яда; но лошади, увы, не желали вырабатывать антитела: изо рта у них шла пена, они умирали стоя и неизбежно, одна за другой попадали на фабрику, где делают клей. Говорили, будто доктор Шапстекер – «Цап-стикер-сахиб» – уже обрел силу убивать лошадей, просто подходя к ним со шприцем… но Амина не слушала подобные небылицы. «Это старый почтенный джентльмен, – говорила она Мари Перейре. – К чему обращать внимание на досужие сплетни? Он вносит плату и позволяет нам жить». Амина была благодарна

160
161
162
163
164
165
166

европейскому знатоку змей, особенно в дни замораживания, когда у Ахмеда не хватало духу бороться.

«Дорогие батюшка и матушка, – писала Амина. – Клянусь головою и светом очей моих: не знаю, за что на нас такая напасть… Ахмед хороший человек, но эта история стала для него тяжелым ударом. Ваша дочь очень нуждается в ваших советах». Через три дня после получения этого письма Адам Азиз и Достопочтенная Матушка прибыли на Центральный вокзал Бомбея приграничным почтовым; Амина, отвозя их домой на нашем «ровере» 1946 года, бросила взгляд в боковое окошко и увидела ипподром Махалакшми: тут ее впервые и посетила отчаянная мысль.

– Эта современная мебель хороша для вас, молодых, как-его, – изрекла Достопочтенная Матушка. – Дай-ка мне лучше какой-нибудь старенький табурет. Ваши кресла слишком мягкие, как-его, я в них совсем проваливаюсь.

– Он что, болен? – осведомился Адам Азиз. – Может, я осмотрю его, пропишу лекарство?

– Не время валяться в постели, – возгласила Достопочтенная Матушка. – Он должен быть мужчиной, как-его, и вести себя как мужчина.

– Вы прекрасно выглядите, батюшка, матушка, – воскликнула Амина, думая, что отец совсем состарился, годы согнули его; а Достопочтенная Матушка так располнела, что мягкие кресла скрипели под ее тяжестью… и порой, при рассеянном свете, Амине казалось, будто она видит в теле своего отца, в самой середке, темную тень, похожую на дыру.

– Что еще остается нам в нынешней Индии? – спрашивает Достопочтенная Матушка, рубя ладонью воздух. – Бегите, бросайте все, езжайте в Пакистан. Гляньте, как преуспел Зульфикар, он вам поможет устроиться. Будь мужчиной, сынок, поднимись, начни все сначала!

– Он сейчас не желает говорить, – заявляет Амина, – ему надо отдохнуть.

– Отдохнуть? – рычит Адам Азиз. – Да он просто слизняк!

– Даже Алия, как-его, – гнет свое Достопочтенная Матушка, – сама, одна-одинешенька, уехала в Пакистан и теперь живет прилично, преподает в хорошей школе. Говорят, скоро станет директрисой.

– Тс-сс, матушка, он хочет спать… пойдемте в другую комнату…

– Есть время спать, как-его, и время бодрствовать! Послушай, Мустафа зарабатывает много сотен рупий в месяц, как-его, на государственной службе. А что твой муж? От работы рассыплется?

– Матушка, он расстроен. У него такая низкая температура…

– Что ты ему даешь, какую еду? С сегодняшнего дня, как-его, я буду распоряжаться в твоей кухне. Ну и молодежь пошла, сосунки, как-его!

– Как вам угодно, матушка.

– Говорю тебе, как-его, всему виной фотографии в газете. Писала же я тебе, разве нет? Ничего хорошего из этого не выйдет. Фотографии разносят тебя по клочкам. Боже милосердный, как-его, ты на фотографии была такая прозрачная, что сквозь твое лицо видны были буквы с изнанки!

– Но ведь это всего лишь…

– Не надо мне твоих историй, как-его! Слава Богу, хоть ты не свалилась после той фотографии!

Отныне Амина была избавлена от необходимости вести домашнее хозяйство. Достопочтенная Матушка сидела во главе обеденного стола и распределяла пищу (Амина относила тарелки Ахмеду, который лежал в постели и время от времени стонал: «Они меня растерли, жена! Обломали, как ту сосульку!»), а на кухне Мари Перейра старалась ради гостей, готовила самые изысканные и нежные в мире маринады из манго, чатни из лимонов и касонди[167]из огурцов. И теперь, вновь оказавшись в своем собственном доме на положении

167

дочери, Амина стала замечать, как вместе с пищей проникают в нее чувства других людей: Достопочтенная Матушка раздавала карри и тефтели, полные непримиримости, пропитанные личностью их создательницы; Амина ела рыбные блюда упрямства и бириани[168]решимости. И хотя маринады Мари отчасти обладали нейтрализующим эффектом, ибо няня вкладывала в них вину, таящуюся в глубине сердца, и страх перед разоблачением, отчего любой, кто ел эти вкуснейшие блюда, становился подвержен некоей неясной тревоге и снам об указующих, обвиняющих перстах, – еда, которую готовила Достопочтенная Матушка, наполняла Амину здоровой злостью, и даже ее в пух и прах разбитому супругу делалось чуть получше. И вот, наконец, пришел тот день, когда Амина, глядя, как я неловкими ручонками переставляю в ванне лошадок из сандалового дерева и вдыхаю вместе с парами воды сладкий запах сандала, вдруг обнаружила в себе тягу к приключениям, унаследованную от блекнущего отца, ту жилку авантюризма, которая заставила Адама Азиза спуститься вниз из горной долины; Амина повернулась к Мари Перейре и сказала: «Я сыта по горло. Если никто в этом доме не может привести дела в порядок, это сделаю я!»

Игрушечные лошадки скакали перед глазами Амины, когда она, предоставив Мари вытирать меня, ринулась к себе в спальню. Ипподром Махалакшми гарцевал в ее голове, пока она выбирала сари и нижние юбки. Горячечный, отчаянный план заставил разрумяниться ее щеки, когда она приподняла крышку старого жестяного сундука… до отказа набив сумочку монетами и банкнотами благодарных пациентов и свадебных гостей, моя мать отправилась на бега.

С Медной Мартышкой, которая росла внутри, моя мать шествовала мимо паддоков ипподрома, названного в честь богини достатка; бросая вызов утренней тошноте и варикозным венам, стояла в очереди к окошку тотализатора, делала ставки на трех лошадей сразу и на явных аутсайдеров. Не зная о лошадях ни аза, она на длинных дистанциях выбирала кобыл, которые не считались стайерами, и ставила на жокеев, которые умели красиво улыбаться. Сжимая сумочку с приданым, которое пролежало нетронутым в сундуке с тех пор, как Достопочтенная Матушка упаковала его, Амина вдруг ощущала неодолимую симпатию к какому-нибудь жеребцу, по которому плакал институт Шапстекера, – и выигрывала, выигрывала, выигрывала.

– Хорошие новости, – возвещает Исмаил Ибрахим. – Говорил же я: надо драться с этими ублюдками. Я готов хоть завтра начать процесс, но нужны наличные, Амина. У вас есть деньги?

– Найдутся.

– Не для меня, – объясняет Исмаил. – Мои услуги, как я уже говорил, ничего не стоят, я работаю на вас бесплатно. Но, прошу прощения, вы, наверное, сами знаете, как делаются дела: следует одарить, умаслить нужных людей…

– Вот, – Амина вручает ему конверт. – Этого пока хватит?

– Боже мой, – Исмаил от изумления роняет конверт, и крупные купюры разлетаются по гостиной. – Где вы это…

И Амина:

– Лучше не спрашивайте, откуда эти деньги, тогда и я не буду спрашивать, на что вы их потратите.

Деньгами Шапстекера мы кормились, а лошади помогали нам вести борьбу. Матери везло на ипподроме так долго, выручка была столь богатой, что, если бы это не случилось взаправду, в такое было бы трудно поверить… месяц за месяцем она ставила на миленькую прическу жокея, на пегую масть лошади… и никогда не уходила с ипподрома без большого конверта, туго набитого банкнотами.

– Дела идут как нельзя лучше, – сообщал Исмаил Ибрахим. – Но, сестричка Амина, один Бог знает, откуда у вас деньги. Они получены пристойным путем? Законным?

168

И Амина:

– Не забивайте себе этим голову. Что нельзя вылечить, то надо перетерпеть. Кто-то должен был сделать то, что делаю я.

Ни разу за все это время мать не порадовалась своим потрясающим победам, и тяготила ее не только беременность: поедая карри Достопочтенной Матушки, сдобренные старыми предрассудками, она прониклась убеждением, что азартные игры – вторая по гнусности вещь на земле после спиртных напитков; так что Амина, не будучи преступницей, чувствовала, как ее пожирает грех.

Мозоли облепили ей ноги, хотя Пурушоттам-садху, который сидел под водопроводным краном у нас в саду так долго, что падающие капли продолбили плешь в его роскошной спутанной шевелюре, обладал поразительным умением сводить их; тем не менее всю змеиную зиму и жаркий сезон моя мать продолжала биться за дело своего мужа.

Вы спрашиваете, как это возможно? Как домохозяйка, пусть прилежная, пусть полная решимости, может выигрывать на бегах крупные суммы день за днем, месяц за месяцем? Вы думаете про себя: ага, этот Хоми Катрак держит конюшню, а всем известно, что большинство скачек подтасованы; Амина просто выспрашивает у соседа горячие номера! Такое предположение вполне резонно; однако сам господин Катрак проигрывал столь же часто, как и выигрывал; однажды он встретил мою мать у беговой дорожки и был потрясен ее успехом.

(«Пожалуйста, – попросила его Амина, – Катрак-сахиб, пусть это будет нашей тайной. Азартные игры – ужасная вещь; я сгорю со стыда, если моя матушка узнает». И ошеломленный Катрак кивал: «Как вам будет угодно»). Так что не парс стоял за всем этим – но, пожалуй, я смогу дать другое объяснение. Вот оно – в небесно-голубой кроватке, в небесно-голубой спаленке с указующим перстом рыбака на стене: там, когда его мать уходит, сжимая сумочку, битком набитую секретами, сидит Малыш Салем; на лице его застыло напряженное, сосредоточенное выражение; глаза, устремленные в одну точку, подчиненные одной могучей, всепоглощающей цели, даже потемнели до густой, яркой синевы; нос странно дергается – Малыш словно наблюдает за чем-то, происходящим вдали, возможно, и направляет ход событий на расстоянии, как луна направляет приливы.

– Скоро дело пойдет в суд, – говорит Исмаил Ибрахим, – думаю, вы можете быть уверены в успехе, но, Боже мой, Амина, вы что, нашли копи царя Соломона?

Когда я подрос настолько, что смог играть в настольные игры, я влюбился в «змейки и лесенки». О, совершенство в равновесии наград и наказаний! О, вроде бы случайный выбор, определяемый падением игральных костей! Взбираясь по лесенкам, соскальзывая по змейкам, я провел счастливейшие дни моей жизни. Когда в тяжелые для меня времена отец хотел добиться, чтобы я постиг игру шатрандж, я довел его до белого каления, предложив ему вместо того попытать счастья среди лесенок и жалящих змеек.

Во всякой игре заключена мораль, и игра в «змейки и лесенки» открывает тебе, как не смог бы открыть никакой другой род деятельности, ту вечную истину, что, по какой бы лесенке ты ни поднялся, змейка ждет тебя за углом, а каждая встреча со змейкой компенсируется лесенкой. Но дело не только в этом, не только в кнуте и прянике, ибо в данную игру накрепко впаяна неизменная двойственность вещей, дуализм верха и низа, добра и зла; крепкая рациональность лесенок уравновешивает скрытые извивы змеек; оппозиция лестничной клетки и кобры предлагает нам, в метафорическом смысле, все мыслимые оппозиции, Альфу и Омегу, отца и мать; тут и война Мари с Мусой, и полярность коленок и носа… но я очень рано понял, что этой игре не хватает одного важного измерения, а именно – двусмысленности, ибо, как покажут дальнейшие события, возможно и соскользнуть вниз по лестнице, и взобраться наверх, восторжествовать, полагаясь на змеиный яд… Не стану пока вдаваться в подробности, однако замечу: едва моя мать нашла лесенку к успеху, что выразилось в ее везении на скачках, как ей тут же напомнили, что сточные канавы страны кишат змеями.

* * *

Брат Амины Ханиф не уехал в Пакистан. Следуя за своей детской мечтой, о которой он шепнул Рашиду, юному рикше в Агре, на кукурузном поле, Ханиф появился в Бомбее и принялся искать работу на больших киностудиях. Не по летам уверенный в себе, он не только сумел стать самым молодым кинорежиссером в истории индийского кино; он к тому же начал ухаживать за одной из самых ярких звезд этого целлулоидного небосклона и в конце концов женился на ней: то была Пия, чье лицо стоило целого состояния, а сари делались из тканей, замышляя которые дизайнеры пытались доказать, что все известные человеку цвета можно включить в один орнамент. Достопочтенная Матушка не одобряла союз с божественной Пией, но Ханиф единственный из всей семьи освободился от ее сковывающего влияния; жизнерадостный, большой и сильный, наделенный оглушительным смехом лодочника Таи и безобидной вспыльчивостью своего отца Адама Азиза, он попросту привел молодую жену в маленькую, совсем не киношную квартирку на Марин-драйв и сказал: «У нас еще будет время построить хоромы, когда я сделаю себе имя». Она согласилась; она снималась в главной роли в его первом фильме, который частично финансировал Хоми Катрак, а частично – киностудия Д.В. Рама, Лимитед; фильм назывался «Кашмирские любовники», и однажды вечером, в разгар ипподромных страстей, Амина Синай пошла на премьеру. Родители не пошли из-за того, что Достопочтенная Матушка осуждала кинематограф, а у Адама Азиза больше не было сил с ней бороться – он, сражавшийся рядом с Мианом Абдуллой против Пакистана, теперь не спорил с женой, когда она восхваляла эту страну; его хватило лишь на то, чтобы твердо стоять на своем и наотрез отказаться эмигрировать; зато Ахмед Синай, возрожденный к жизни тещиной стряпней, но тяготящийся ее присутствием, встал с постели и решил сопровождать жену. Они сели на свои места рядом с Ханифом, Пией и актером, исполнявшим главную роль, одним из самых блестящих героев-любовников индийского кино, И.С. Найяром. И хотя они этого и не знали, змейка уже затаилась на лестничной клетке… но позволим Ханифу Азизу насладиться его звездным часом, ибо в «Кашмирских любовниках» содержалось нечто, приведшее моего дядю к яркому, пусть мимолетному, триумфу. В те дни героям-любовникам и первым красавицам не позволялось касаться друг друга на экране из опасения, что их лобзанья могут развратить индийскую молодежь… но через тридцать три минуты после начала «Любовников» публика, собравшаяся на премьере, тихо загудела от изумления, потому что Пия и Найяр стали лобызать, но не друг друга, а *предметы.*

Пия целовала яблоко, целовала чувственно, всем своим полным, великолепным, ярко накрашенным ртом; затем передавала яблоко Найяру, и тот прикладывал к противоположной стороне мужественные, страстные уста. Это было рождение так называемого косвенного поцелуя – и насколько он был более изощренным, чем все, что имеем мы в современном кино, сколь полон томной эротики! Публика в кинозале (нынче она ревет и гогочет при виде юной парочки, ныряющей в куст, который затем начинает препотешно трястись – так низко пало у нас искусство намека) глядела, не отрываясь от экрана, как любовь Пии и Найяра на фоне озера Дал и льдисто-голубых кашмирских небес изливала себя в лобызании чашек с розовым кашмирским чаем; у фонтанов в садах Шалимара они прижимались губами к *мечу*… но теперь, когда триумф Ханифа Азиза достиг апогея, змейка уже не хочет ждать; это она устраивает так, что в зале зажигается свет. Перед увеличенными во много раз фигурами Пии и Найяра, которые целуют манго и открывают рты под фонограмму, появляется робкий, обросший какой-то несусветной бородой человечек и выходит на просцениум с микрофоном в руке. Змей может принимать самые неожиданные обличья; вот и теперь, прикинувшись злополучным владельцем кинотеатра, он выпускает свой яд. Пия и Найяр тускнеют и умирают, слышится усиленный микрофоном голос бородача: «Дамы и господа, прошу прощения, но мы получили ужасное известие». Тут голос пресекся – Змей возрыдал, чтобы

потом укусить больнее! – и вновь обрел силу: «Сегодня днем в Бирла-хауз в Дели был убит наш возлюбленный Махатма. Какой-то безумец выстрелил ему в живот, дамы и господа, – наш Бапу покинул нас!»[169]

Публика завопила, не дав ему закончить: яд этих слов проник ей в вены; взрослые люди катались в проходах, схватившись за живот, но не хохоча, а рыдая, вскрикивая: «*Хай Рам! Хай Рам!»*[170] – и женщины рвали на себе волосы; лучшие в городе прически рассыпались по плечам этих дам, отравленных ядом; кинозвезды визжали, как торговки рыбой; что-то ужасное повисло в воздухе, и Ханиф шепнул: «Выбирайся отсюда, сестричка, если это сделал мусульманин, нам несдобровать».

За каждую лесенку – змейка… На сорок восемь часов после преждевременной кончины «Кашмирских любовников» наша семья замкнулась в стенах виллы Букингем: («Забаррикадируйте двери, как-его, – распоряжалась Достопочтенная Матушка. – Если есть слуги индусы, отправьте их домой!»); и Амина даже не решилась пойти на скачки.

Но за каждую змейку – лесенка: по радио наконец передали имя. Натхурам Годсе[171]. «Слава Богу, – воскликнула Амина. – Имя не мусульманское!»

И Адам, которого известие о смерти Ганди состарило еще больше: «За этого Годсе не стоит благодарить Бога!».

Но Амина на радостях впадает в легкомыслие, она бежит без оглядки по длинной лесенке облегчения… «А почему бы и нет, если разобраться? Тем, что его зовут Годсе, он спас всем нам жизни!»

* * *

Ахмед Синай, хотя и встал с постели, на которой лежал якобы больной; однако расслабленность его никуда не делась. Голосом, похожим на мутное стекло, он сказал Амине: «Значит, ты велела Исмаилу обратиться в суд? Ладно, хорошо, но мы все равно проиграем. Чтобы выиграть процесс, судью надобно подкупить…» И Амина тут же бросилась к Исмаилу: «Никогда, ни при каких обстоятельствах не говорите Ахмеду о тех деньгах. У мужчин своя гордость». И, позже: «Нет, джанум, никуда я не иду; нет, малыш меня вовсе не утомил; ты лежи, отдыхай, а я разве что сбегаю в магазин, может, быть, проведаю Ханифа; видишь ли, нам, женщинам, нужно как-то проводить время».

И, возвращаясь с конвертами, откуда так и выпирали рупии: «Берите, Исмаил, теперь, когда мой муж встал, нужно поторапливаться, вести себя осторожнее!» А вечерами, сидя рядом с матерью, как почтительная дочь: «Да-да, разумеется, вы правы, Ахмед скоро разбогатеет, вот увидите!»

И бесконечные проволочки в суде, и конверты быстро пустеют, и младенец растет в животе, так что скоро Амина не сможет втиснуться за руль «ровера» 1946 года; да долго ли еще продлится везение; а тут и Мари с Мусою сцепились, будто два тигра.

С чего начинаются ссоры?

Что за осадок вины-страха-стыда, которым со временем, словно маринадом, пропиталось нутро Мари, заставляет ее вольно или невольно цепляться к старому посыльному, изводить его всевозможными способами: важничать, выпячивая свое привилегированное положение; вызывающе перебирать четки перед носом у благочестивого мусульманина; без возражений принимать титул «мауси»[172], каким наградила ее прочая прислуга в имении и каковой Муса воспринимает как личное оскорбление; чрезмерно фамильярничать с бегам-сахибой; хихикать и шептаться по углам достаточно громко для

169
170
171
172

того, чтобы правильный, безупречный, непогрешимый Муса услышал и счел себя обиженным?

Что за крошечная песчинка, принесенная морем преклонных лет, чьи волны уже захлестывали старого посыльного, угнездилась у него во рту и выросла в темную жемчужину ненависти – что за не свойственный Мусе столбняк, в который он впадал и от которого руки и ноги у него делались свинцовыми, вазы бились, зола просыпалась, а тонкий намек на грядущее увольнение, осознанно ли, неосознанно слетевший с уст Мари, превратился в навязчивый страх, рикошетом ударивший в ту, что явилась его причиной?

И (если не пренебрегать социальным фактором) какое ожесточающее воздействие оказывало на него положение слуги, комната для прислуги, расположенная за черной кухней; там Муса был вынужден ночевать вместе с садовником, мальчиком на побегушках и хамалем[173], в то время как Мари спала в роскоши и почете на камышовой циновке у кроватки новорожденного?

И можно ли, нет ли винить в этом Мари? А вдруг то, что она не в состоянии была больше ходить в церковь, ибо в церкви есть исповедальни, а из исповедален тайны выходят наружу, – вдруг эта неспособность пропитала ее горечью, сделала чуть-чуть резкой, чуть-чуть язвительной?

Или нам следует подняться выше психологии и предположить, что некая змейка притаилась, дожидаясь Мари, а Муса обречен был познать всю двусмысленность лесенки? Или взглянуть даже выше змеек и лесенок и увидеть в этой сваре руку судьбы – и тогда, чтобы Муса вернулся взрывоопасным призраком и взял на себя роль бомбы-в-Бомбее, нужно было как-то устроить его уход… или нам следует спуститься с этих высот в низины комического, и тогда может статься, что Ахмед Синай, которого виски звало на бой, которого джинны толкали на излишнюю грубость, так распалил ветерана-посыльного, что преступление, сравнявшее его с Мари, он совершил из-за уязвленной гордости разобиженного старого слуги, а Мари тут была вовсе и ни при чем?

Покончив с вопросами, перехожу к голым фактам: Муса и Мари постоянно были на ножах. Да, верно: Ахмед оскорблял Мусу, а попытки Амины восстановить мир не имели, похоже, ни малейшего успеха; да, верно: дурманящие тени прожитых лет смутили старику душу, нашептали, что его могут уволить без предупреждения в любой момент, – так вот и случилась эта история, и в августе Амина однажды утром обнаружила: дом обокрали.

Явилась полиция. Амина перечислила, какие вещи пропали: серебряная плевательница, инкрустированная лазуритом; золотые монеты; украшенные драгоценными камнями самовары и серебряная чайная посуда – все, что хранилось в зеленом жестяном сундуке. Слуги были выстроены в холле, где инспектор Джонни Вакил допросил их со всей строгостью. «Ну же, сознавайтесь, – цедил он, похлопывая себя по ноге длинной бамбуковой палкой, – иначе сами увидите, что будет. Хотите простоять на одной ноге весь день и всю ночь? Хотите, чтобы вас обливали водой – то горячей, то холодной? У нас в полиции много способов заставить разговориться…» Разноголосый хор прислуги: «Это не я, инспектор-сахиб, я честный человек, ради всего святого, обыщите мои вещи, сахиб!» И Амина: «Это чересчур, сэр, вы заходите слишком далеко. Уж во всяком случае за мою Мари я ручаюсь: она не виновата. Ее я не позволю допрашивать». Офицер полиции едва скрывает раздражение. Производится обыск вещей прислуги: «На всякий случай, мадам. У этих ребят скудный умишко, может быть, вы обнаружили кражу слишком быстро и негодяй не успел перепрятать добычу!»

Обыск оказался успешным. В свернутой постели Мусы, старого посыльного, – серебряная плевательница. Завязанные в тощий узел с одеждой золотые монеты, серебряный самовар. Спрятанная под складной кроватью пропавшая чайная посуда. И вот Муса бросается к ногам Ахмеда Синая, умоляет: «Простите, сахиб: я был не в себе, я думал, вы выбросите меня на улицу!» Но Ахмед Синай его не слушает, он все еще заморожен: «Я

173

что-то ослаб», – говорит он и выходит из комнаты, а Амина, объятая ужасом, спрашивает: «Но, Муса, зачем же ты принес такую страшную клятву?»

Ибо в промежутке между построением в коридоре и находками в комнате прислуги Муса заявил хозяину: «Это не я, сахиб. Пусть поразит меня проказа, если я вас обокрал! Пусть моя старая кожа покроется язвами!»

Амина в ужасе ждет ответа Мусы. Лицо старого посыльного искажает гримаса гнева, он не говорит, а выплевывает слова: «Бегам-сахиба, я взял только ваши драгоценные вещи, но вы, и ваш сахиб, и его отец забрали всю мою жизнь, а на старости лет унизили, приведя в дом мамушку-христианку!»

На вилле Букингем – тишина: Амина отказалась возбудить дело, но Муса уходит. Закинув за спину свернутую постель, он спускается по железной винтовой лесенке, обнаруживая, что лестницы могут вести и вниз, не только наверх; он уходит все дальше и дальше по склону холма, оставив этому дому свое проклятие.

И (может, проклятие тому виной?) Мари Перейра вот-вот обнаружит, что даже если битва выиграна и лесенки ведут туда, куда надо, – змейки все равно не избежать.

Амина говорит: «Мне не достать больше денег, Исмаил, может быть, этого довольно?» А Исмаил: «Надеюсь, что так, но никогда нельзя знать заранее, хорошо бы все-таки…» В ответ Амина: «Вся беда в том, что я стала слишком толстая и не влезаю в автомобиль. Придется обойтись тем, что есть».

Время для Амины снова замедляется; снова она глядит сквозь матовое стекло, где пляшут в лад красные тюльпаны на зеленых стеблях; во второй раз взгляд ее устремляется к башенным часам, которые не ходят с тех самых дождей 1947 года; и снова зарядили дожди. Сезон скачек закончился.

Бледно-голубая башня с часами, приземистая, облупившаяся, никому не нужная. Она стояла в конце круглой площадки на залитом гудроном бетоне, собственно, на плоской крыше, увенчивающей верхний ярус зданий на Уорден-роуд, вплотную примыкающей к нашему двухэтажному холму; если перелезть через стену, окружающую сад виллы Букингем, то плоская черная, покрытая гудроном поверхность окажется прямо под ногами. А под черным гудроном – детский сад и начальная школа Брич Кэнди, откуда весь учебный год ежедневно доносится треньканье: это мисс Гаррисон играет на пианино неизменные песенки детства; а еще ниже – магазины: «Рай книголюбов», ювелирная лавка Фатбхоя, магазин игрушек Чималкера и кондитерская Бомбелли с шоколадками-длиной-в-ярд. Предполагалось, что дверь в башне заперта, но замок был дешевый, того типа, какой легко узнал бы Надир Хан: «сделано в Индии». И три вечера подряд, непосредственно перед моим первым днем рождения, Мари Перейра, стоя в темноте у окна моей комнаты, видела, как некая тень скользит по крыше, с руками, полными каких-то бесформенных свертков, и вид этой тени наполнял ее несказанным страхом. После третьей ночи она рассказала обо всем моей матери; вызвали полицию, и инспектор Вакил снова явился в имение Месволда вместе с особой бригадой, состоящей из первоклассных офицеров: «Парни как на подбор, бегам-сахиба, бьют без промаха, можете положиться на нас!» Переодевшись метельщиками улиц, спрятав пистолеты под лохмотьями, они держали башню с часами под наблюдением, сметая сор с круглой площадки.

Опустилась ночь. Из-за штор и жалюзи обитатели имения Месволда бросали боязливые взгляды на башню с часами. Метельщики и в темноте продолжали свою работу. Джонни Вакил занял позицию на нашей веранде, спрятав от посторонних глаз ружье… ровно в полночь тень перелезла через боковую стену школы Брич Кэнди и направилась к башне с мешком через плечо… «Пусть войдет, – сказал Вакил Амине. – Нужно убедиться, что это – тот самый тип». Тип, протопав по плоской, покрытой гудроном крыше, добрался до башни, вошел внутрь.

– Инспектор-сахиб, чего вы еще ждете?

– Ш-ш-ш, бегам, это дело полиции; пожалуйста, идите в дом. Мы возьмем его, когда он

будет выходить. Дело верное, он попался, – добавил Вакил с довольным видом, – как крыса в крысоловку.

– Но кто он такой?

– А Бог его знает, – пожал плечами Вакил. – Не иначе какой-нибудь злодей. Сейчас полно всякого сброда.

…И вот ночная темнота расплескивается, как молоко, ее прорезает один-единственный крик, пронзительный, будто скрежет пилы; кто-то в башне бросается к двери, та распахивается; слышен треск; и что-то выползает на черный гудрон. Инспектор Вакил начинает действовать, хватает свое ружье, стреляет с бедра, как Джон Уэйн; метельщики бросают метлы и открывают прицельный огонь… женщины возбужденно вскрикивают, прислуга вопит… тишина.

Что там лежит коричнево-черное, свернувшись серпантином на черном гудроне? Что истекает черной кровью; почему доктор Шапстекер кричит с верхнего этажа, откуда ему все хорошо видно: «Идиоты! Козявки проклятые! Ублюдки, дети педерастов!» Что там такое, с раздвоенным языком, умирает на гудроне, пока Вакил несется сломя голову по плоской крыше?

А там, внутри, за дверью в часовую башню? Что там упало всей тяжестью с таким сокрушительным треском? Чья рука распахнула дверь, на чьих пятах видны две красные сочащиеся дыры, полные яда, от которого не существует противоядия; яда, убившего полные конюшни отбракованных лошадей? Чье тело выволакивают из башни люди в штатском; чье это похоронное шествие без гроба, с лже-метельщиками вместо траурного кортежа? Отчего, когда луна освещает мертвое лицо, Мари Перейра падает, будто мешок с картошкой, закатив глаза, во внезапном драматическом обмороке?

А внутри башни, вдоль стен: что это за странные механизмы, прикрепленные к дешевым часам, откуда здесь столько бутылок, заткнутых тряпками?

– Хорошо, черт возьми, что вы вызвали моих ребят, бегам-сахиба, – говорит инспектор Вакил. – Это Жозеф Д’Коста, он у нас в списке «номер один». Мы за ним гоняемся уже около года. Злодей, каких мало. Видели б вы стены внутри той башни! Полки от пола до потолка, битком набитые самодельными бомбами. Взрывчатки хватило бы на то, чтобы вдребезги разнести весь этот холм и опрокинуть его в море!

Мелодрама громоздится на мелодраму; жизнь приобретает колорит бомбейского кино; змейки сменяют лесенки, лесенки следуют за змейками; среди изобилия событий Малыш Салем заболел. Словно бы не в силах переварить столько разнообразных происшествий, он смежил веки, покраснел и опух. Пока Амина ждала, чем закончится процесс, затеянный Исмаилом против государственных чиновников; пока Медная Мартышка подрастала у нее в животе; пока Мари пребывала в шоке, из которого вышла только тогда, когда ей стал являться призрак Жозефа; пока пуповина плавала в стеклянной банке, а чатни, приготовленные Мари, наполняли наши сны указующими перстами; пока Достопочтенная Матушка распоряжалась на кухне, – мой дед осмотрел меня и сказал: «Боюсь, сомневаться не приходится: у бедного ребенка брюшной тиф».

– О Господь всевышний, – вскричала Достопочтенная Матушка. – Что за черный демон явился, как-его, в этот дом?

Вот как мне передали историю болезни, которая едва не остановила меня прежде, чем я успел начать: в конце августа 1948 года мать и дед дни и ночи ухаживали за мной; Мари, за уши вытаскивая себя из чувства вины, прикладывала к моему лбу холодные компрессы; Достопочтенная Матушка пела мне колыбельные и ложкой заталкивала в меня еду; даже мой отец, на время позабыв о собственных недугах, стоял в дверях, беспомощно всплескивая руками. Но пришла ночь, когда доктор Азиз, весь взмыленный и разбитый, будто старый конь, изрек: «Я больше ничего не могу сделать. К утру мальчик умрет». И среди женских воплей, когда у моей матери от горя начались преждевременные схватки, когда Мари рвала на себе волосы, – раздался стук в дверь, и слуга ввел доктора Шапстекера; тот протянул деду

маленький пузырек и сказал: «Не стану обманывать вас: это или убьет его, или вылечит. Ровно две капли, потом останется только ждать».

Дед, который сидел, сжав голову руками, на валуне своей медицинской премудрости, спросил: «Что это такое?» И доктор Шапстекер, которому почти исполнилось восемьдесят два, облизал уголки губ тонким язычком: «Раствор яда королевской кобры. Иногда помогает».

Змейки могут привести к успеху, а лесенки – спустить вас вниз; мой дед, зная, что я все равно обречен, дал мне яд кобры. Вся семья стояла и смотрела, как яд растекается по детскому тельцу… через шесть часов у меня была нормальная температура. После этого мой феноменальный рост прекратился, но кое-что было обретено взамен утраченного: жизнь и раннее знание двойственной природы змей.

Пока у меня падала температура, в родильном доме доктора Нарликара родилась моя сестра. Это случилось первого сентября, и рождение прошло настолько обычно, без всяких усилий, что его практически не заметили в имении Месволда; в тот же самый день Исмаил Ибрахим посетил моих родителей в клинике и сообщил, что процесс выигран… Пока Исмаил ликовал, я схватился за столбики моей кроватки, когда он воскликнул: «Конец замораживанию! Ваши активы снова принадлежат вам! Решение суда высшей инстанции!» – я, весь красный, боролся с силой тяготенья; и когда Исмаил объявил с честным, открытым лицом: «Синай-бхаи, законность восторжествовала», избегая при этом восхищенного, торжествующего взгляда моей матери, я, Малыш Салем, в возрасте одного года, двух недель и одного дня, встал на ноги в своей кроватке.

Результаты событий того дня были двойственны: я вырос с безнадежно кривыми ногами, ибо слишком рано начал ходить; а Медная Мартышка (так ее прозвали за копну золотисто-рыжих волос, которые потемнели только годам к девяти) узнала, что, если хочешь обратить на себя чье-то внимание, нужно производить как можно больше шума.

Происшествие в бельевой корзине

Вот уже целых два дня, как Падма с шумом и грохотом исчезла из моей жизни. Уже два дня ее место у чана с манговым касонди занято другой теткой – тоже объемистой в талии, тоже с пушком на руках; но, на мой взгляд, это скверная замена! – а мой родной навозный лотос испарился неведомо куда. Равновесие нарушено; я чувствую, как ширятся трещины, которыми пронизано мое тело, ибо я внезапно остался один, без внимающего уха, а это никуда не годится. Меня вдруг охватывает гнев: почему единственный мой ученик так обошелся со мной? И другие до меня рассказывали истории, но их не бросали столь неожиданно. Когда Вальмики, автор «Рамаяны», диктовал свой шедевр слоноголовому Ганеше[174], разве бог покинул его на середине? Конечно же, нет. (Отметьте, что, несмотря на мусульманские корни, я вырос в Бомбее и хорошо знаком с индусскими историями – особенно дорог мне образ хоботоносого, лопоухого Ганеши, торжественно пишущего под диктовку!)

Как обойтись без Падмы? Чем заменить ее невежество и предрассудки – необходимый противовес моему сопровождаемому чудесами всезнайству? Как продолжать без парадоксальной приземленности ее духа, которая не позволяет мне – не позволяла? – потерять почву под ногами? Я будто бы стал вершиной равнобедренного треугольника, меня в равной мере поддерживали божества-близнецы – неистовый бог памяти и богиня лотоса, пустившая корни в настоящем… но неужели же теперь я должен примириться с узостью и одномерностью прямой?

Может быть, я всего лишь прячусь за всеми этими вопросами. Да, возможно, так оно и есть. Нужно сказать просто, не набрасывая покрова из вопросительных знаков: наша Падма ушла, и мне ее не хватает. Вот так-то.

174

Но у меня еще много работы; приступим.

Летом 1956 года, когда многие вещи в мире еще были больше меня самого, у моей сестры Медной Мартышки появилась странная привычка поджигать обувь. В то время, как Насер[175] затопил корабли в Суэцком канале, тем самым замедлив движение в мире и направив его вокруг мыса Доброй Надежды, моя сестра тоже старалась воспрепятствовать передвижению окружающих. Вынужденная биться за внимание взрослых, обуреваемая потребностью находиться в центре событий, пусть даже неприятных (хотя она была моей сестрой, никакие премьер-министры не писали ей писем, никакие садху не наблюдали за ней из-под водопроводного крана и жизнь ее, никем не предвещенная, не зафиксированная фотографиями, с самого начала стала борьбой за достойный старт), – Медная Мартышка свои военные действия перенесла в мир обуви, надеясь, возможно, что, спалив все наши башмаки, она заставит нас постоять на месте достаточно долго, чтобы мы успели заметить ее присутствие… Она не делала даже попытки скрыть свои преступления. Когда мой отец вошел к себе в комнату и обнаружил пылающую пару черных оксфордских туфель, Медная Мартышка стояла над ними с горящей спичкой в руке. Ноздри ей щекотал ни с чем не сравнимый запах паленой кожи, смешанный с запахом гуталина «Вишневый цвет» и еще чуть-чуть с ароматом масла «Три-в-одном». «Гляди, абба![176]– сказала Мартышка, обворожительно улыбаясь. – Гляди, какой красивый цвет – точно как мои волосы!»

Несмотря на все меры предосторожности, веселые красные цветы, от которых без ума была моя сестрица, расцветали этим летом по всему имению, раскрывались в сандалиях Нусси-Утенка и в обуви крупного кинопродюсера Хоми Катрака; пламя цвета огненных волос лизало замшевые мокасины мистера Дюбаша и туфли на шпильках Лилы Сабармати. Спички прятали, прислуга была начеку, но Медная Мартышка не унималась: ни наказания, ни угрозы не могли ее остановить. Около года над имением Месволда поднимался дым от подожженной обуви, потом волосы у сестры потемнели, стали безразлично-каштановыми, и она вроде бы утратила интерес к спичкам.

Амина Синай выходила из себя, но, поскольку сама мысль о том, чтобы бить детей, была ей ненавистна, а повысить голос она была неспособна по природе своей, Мартышку день за днем приговаривали к молчанию. Это было излюбленное наказание моей матери: не в силах ударить нас, она приказывала нам замкнуть уста. Судя по всему, эхо великого молчания, которым ее собственная матушка изводила Адама Азиза, притаилось в ее ушах – молчание тоже разносится эхом, даже более гулким и протяжным, чем любой звук, – и с патетическим «Чуп!»[177] Амина прикладывала палец к устам, заставляя нас онеметь. После подобного наказания я становился как шелковый, но Медная Мартышка была из другого теста. Безмолвствующая, сжимающая губы так же крепко, как и ее бабка, она замышляла всесожжение обуви – подобно тому, как давным-давно другая обезьяна в другом городе сотворила нечто, приведшее к всесожжению целого склада кожи…

Моя сестра была столь же красивой (хотя и худенькой), сколь я был безобразным, но в детстве была страшной непоседой, шаловливой, шумной, крикливой. Сосчитайте окна и вазы, разбитые нарочно-нечаянно; перечислите, если сможете, жирные и сладкие куски, слетевшие с ее предательских тарелок на дорогие персидские ковры! Молчание и в самом деле было для нее самой страшной карой, но Мартышка сносила ее бодро и весело, стоя с невинным видом среди обломков мебели и осколков стекла.

Мари Перейра как-то сказала: «Ох уж эта девчонка! Эта Мартышка! Уж лучше бы родилась с четырьмя ногами!» Но Амина, из чьей памяти никак не хотело стираться то, как она чудом избежала рождения двухголового сына, рассердилась не на шутку: «Мари! Что ты такое несешь? Даже думать не смей!» Но как бы ни возмущалась моя мать, следует признаться, что в Медной Мартышке действительно было столько же от зверька, сколько от

175

176

177

человеческого детеныша; и, как то было известно всей прислуге и всем ребятишкам имения Месволда, она обладала даром разговаривать с птицами и кошками. С собаками тоже; но после того, как ее в шесть лет покусал, по всей видимости, бешеный бродячий пес и ее, орущую, отчаянно брыкающуюся, три недели ежедневно возили в больницу Брич Кэнди делать уколы в живот, Мартышка то ли забыла язык собак, то ли отказалась в дальнейшем иметь с ними дело. У птиц она научилась петь, у кошек переняла некую опасную независимость. Больше всего Медную Мартышку бесило, когда кто-нибудь обращался к ней со словами любви; отчаянно жаждущая ласки, прозябающая в моей всепоглощающей тени, она будто бы заранее подозревая обман, научилась обрушивать свой гнев на всякого, кто желал дать ей то, к чему она так стремилась.

…Как в тот раз, когда Сонни Ибрахим собрал все свое мужество и сказал ей: «Эй, послушай, сестра Салема, ты отличная девчонка. Ты, гм, знаешь ли, очень нравишься мне…» И она тут же направилась к его отцу и матери, которые попивали ласси в саду Сан-Суси, и сказала: «Тетенька Нусси, не знаю, чем только занят ваш Сонни. Я сейчас видела, как они с Кирусом за кустами терли себе пиписьки!»

Медная Мартышка не умела вести себя за столом; она топтала клумбы; все ее считали трудным ребенком, но мы с ней были очень близки, несмотря на письмо из Дели, вставленное в рамочку, и садху-под-садовым-краном. С самого начала я решил взять ее в союзники, а не тягаться с ней; в результате она никогда не обижалась на предпочтение, какое мне оказывали домашние, и говорила: «На что обижаться? Разве ты виноват, что тебя все считают таким расчудесным?» (Но когда, годы спустя, я совершил ту же ошибку, что и Сонни, она обошлась со мной так же, как с ним).

Именно Мартышка, ответив на некий случайный телефонный звонок, начала плести цепь событий, приведших к моему приключению в белой бельевой корзине, сколоченной из деревянных планок.

Уже почти-в-девять лет я знал: все от меня чего-то ждут. Полночь и детские снимки, пророки и премьер-министры создали вокруг меня сверкающую, цепкую ауру ожидания… войдя в нее, мой отец в прохладный час коктейля прижимал меня к своему выпирающему животу, разглагольствуя: «Великие дела! Сын мой, что уготовано тебе? Великие свершения, великая жизнь!» А я, извиваясь между выступающей нижней губой и большим пальцем ноги, пачкал ему рубашку своими вечными соплями и, весь багровея, верещал: «Отпусти меня, абба! Все *смотрят!»* Но он, приводя меня в несказанное смущение, ревел: «Пусть смотрят! Пусть видит целый мир, как я люблю своего сына!» А моя бабка, навестив нас в одну из зим, дала мне отличный совет: «Подтяни-ка носки, как-его, и тогда станешь лучше всех в целом свете!» Плавая в этом мареве предвещаний, я уже чувствовал внутри первые толчки того бестелесного зверя, который и сейчас, в эти «обеспадмевшие» ночи, гавкает и скребется у меня в животе; заклейменный множеством надежд и прозваний (меня окрестили уже Сопелкой и Сопливым), я стал бояться, что все кругом ошибаются, что мое существование, о котором раструбили повсюду, окажется совершенно бесполезным, пустым, без какой бы то ни было цели. И, чтобы убежать от этого зверя, я очень рано приобрел привычку прятаться в большой белой бельевой корзине, что стояла в ванной комнате матери; хотя чудовище и жило внутри меня, – грязное белье, надежно обволакивавшее мое тело, вроде бы погружало его в сон.

Вне бельевой корзины, окруженный людьми, которым, казалось, было присуще опустошающе ясное сознание цели, я с головой погружался в сказки. Хатим Таи и Бэтмен, Супермен и Синдбад помогли мне дожить почти до девяти лет. Когда я ходил за покупками с Мари Перейрой, вгоняемый в трепет ее способностью определять возраст курицы, едва бросив взгляд на ее шею, и пугающей решимостью, с которой няня глядела в глаза снулым тунцам, – я становился Аладдином в волшебной пещере; наблюдая, как слуги протирают вазы с тщанием, величественным и темным, я воображал сорок разбойников Али Бабы, спрятанных в покрытых пылью кувшинах; в саду, взирая на садху Пурушоттама,

изъеденного водой, я превращался в духа лампы – и таким образом старался по возможности избегать ужасной мысли о том, что я на всем белом свете один, лишь я понятия не имею, кем я должен быть и как себя вести. Мысль о цели: она подкралась исподтишка, напала сзади, когда я стоял однажды у своего окна и смотрел вниз на европейских девчонок, что плескались в бассейне формы карты Индии, расположенном неподалеку от моря. «Да где ж ее взять?» – выкрикнул я в тоске, и Медная Мартышка, делившая со мной мою небесно-голубую комнату, подпрыгнула чуть не до потолка. Мне тогда было почти-восемь, ей едва-семь. В таком возрасте слишком рано задумываться о смысле жизни.

Но слугам нет доступа в бельевую корзину; и школьные автобусы там не ходят. В неполные девять лет я поступил в Соборную среднюю школу для мальчиков Джона Коннона на Аутрэм-роуд, в районе Старого форта; каждое утро, умытый и причесанный, я стоял у подножия нашего двухэтажного холма, в белых шортах, с эластичным ремнем в голубую полоску, с пряжкой в форме змеи, с ранцем за спиной; из могучего огурца, моего носа, как всегда, течет; Одноглазый и Прилизанный, Сонни Ибрахим и не по годам развитый Великий Кир тоже ждут автобуса. А в самом автобусе, между дребезжащими сиденьями и ностальгическим поскрипыванием окошек, – какая определенность! Какая почти-девятилетняя уверенность в завтрашнем дне! Сонни хвастается: «Я уеду в Испанию и стану тореадором! Как Чикитас! Эй, торо, эй!» Держа ранец перед собой, как Манолете – мулету, он разыгрывал свое будущее, пока автобус, дребезжа, заворачивал за Кемпов угол, двигался мимо химкомбината «Томас Кемп и Ко.», проезжал под королевской рекламой «Эйр-Индия» («Мой поклон, белый слон! Я лечу в Лондон на самолете «Эйр-Индия»!), и под другими щитами, среди которых через все мое детство прошел Мальчик Колинос, эльф со сверкающими зубами, в зеленой волшебной хлорофилловой шапочке, провозглашающий достоинства зубной пасты «Колинос»: «Зубы белые, блестящие! Зубы „Колинос“ настоящие!» Мальчик на рекламном щите, дети в автобусе: одномерные, сплюснутые определенностью, они знали, для чего существуют. Вот Зобатый Кит Колако, круглый, как шар, с больной щитовидкой парень, уже с пушком над верхней губой: «Я буду управлять кинотеатрами моего отца, а вы, ублюдки, если захотите посмотреть фильм, придете просить у меня местечка!» И Жирный Пирс Фишвала[178], тучный просто от переедания, они с Зобатым Китом считаются первыми в классе хулиганами: «Это что! Это чепуха! У меня будут бриллианты, и изумруды, и лунные камни! Жемчужины величиной с мои яйца!» Отец Жирного Пирса – второй в городе ювелир; главный враг Пирса – сын мистера Фатбхоя, хрупкий, интеллигентный, мало приспособленный для войны с детками, у которых вместо яиц жемчужины… Одноглазый видит себя в будущем знаменитым игроком в крикет; ему не мешает мечтать даже пустая глазница; а Прилизанный, тщательно расчесанный и аккуратный, в отличие от своего брата, кудлатого и встрепанного, говорит: «Все вы – никчемные эгоисты! Я буду служить во флоте, как отец, и защищать свою родину!» Тут в него летят треугольники, рейсшины, шарики жеваной бумаги. В школьном автобусе, который громыхает мимо Чаупати-бич, сворачивает на Марин-драйв у того самого дома, где живет мой любимый дядя Ханиф, оставляет позади вокзал Виктории, направляется к фонтану Флоры, следует мимо станции Черчгейт и рынка Кроуфорда, я сижу тихо-мирно; я – кроткий Кларк Кент, скрывающий свое истинное лицо – но какое оно, это лицо, кто может знать? «Эй, Сопливец! – вопит Зобатый Кит. – Эй, как вы думаете, кем будет наш Сопелка, когда вырастет?» И Жирный Пирс Фишвала вопит в ответ: «Пиноккио!» Остальные присоединяются, затягивают нестройным хором: «Не марионетка я!» …а Кир Великий сидит спокойно, как подобает гению, и размышляет о будущем национальных ядерных исследований.

А дома – Медная Мартышка, жгущая туфли, и отец, который, едва оправившись от своего краха, ввязался в безумный проект с тетраподами… «Где же ее взять?» – молил я, стоя перед окном, а перст рыбака указывал неверное направление: на море.

178

За пределами бельевой корзины крики: «Пиноккио! Нос огурцом! Соплю подбери!» Забившись в свою нору, я мог забыть о мисс Кападиа, учительнице в начальной школе Брич Кэнди: когда я впервые вошел в класс, она повернулась, чтобы меня поприветствовать, увидела мой нос и со страху уронила щетку, которой стирала с доски, раскрошив себе ноготь на большом пальце; увечье это, хоть оно и сопровождалось визгом, было лишь слабым отголоском оплошности моего отца; зарывшись в грязные носовые платки и мятые пижамы, я мог хотя бы на время забыть о том, что я урод.

Я брюшной тиф подцепил; яд кобры меня излечил – и мой ранний лихорадочный рост замедлился. Когда мне было почти-девять, Сонни Ибрахим на полтора дюйма перерос меня. Но одна из частей Малыша Салема не боялась болезней и змеиных вытяжек. Она распласталась у меня между глаз колоссальным грибом, выпирающим, нависающим; будто бы силы чрезмерного роста, изгнанные из остального тела, решили сосредоточиться для одного-единственного всесокрушающего броска… выпирая у меня между глаз, нависая над губами, нос мой был похож на премированный кабачок-гигант. (Но зато у меня не было тогда зубов мудрости; постараюсь уж не забыть и о своих достоинствах).

Что находится в носу? Обычный ответ очень прост: дыхательные каналы, органы обоняния, волоски. Но в моем случае ответ был еще более простым, хотя, надо признаться, несколько отталкивающим: в моем носу находились одни только сопли. Прошу прощения, но я, к несчастью, не могу обойтись без подробностей: из-за вечно заложенного носа я был вынужден дышать ртом, точь-в-точь как выброшенная на берег золотая рыбка; из-за постоянного насморка я был осужден на детство без запахов; дни текли за днями, а я все не знал, как пахнет мускус, чамбели, касонди из манго, домашнее мороженое, да и грязное белье тоже. Неприспособленность к миру вне бельевых корзин становится явным преимуществом, когда вы сидите внутри. Но только на время вашего пребывания там.

Одержимый поисками цели, я очень переживал по поводу своего носа. Наряженный в пропитанные горечью одежды, регулярно присылаемые моей тетушкой-директрисой Алией, я ходил в школу, играл во французский крикет, дрался, воображал себя героем сказок… и переживал. (В те дни тетушка Алия отправляла нам нескончаемый поток детских вещей, крепкие швы которых она пропитывала желчью старой девы; мы с Медной Мартышкой не вылезали из ее подарков, носили вначале распашонки, полные горечи, затем – комбинезончики, подбитые обидой; я вырос в белых шортах, накрахмаленных ревностью, а Мартышка щеголяла в прелестных цветастых платьицах, сшитых из нетускнеющей зависти Алии… не зная, что весь этот гардероб – одна большая паутина мести, мы жили припеваючи и одевались красиво). Мой нос, думал я, этакий слоновий хобот Ганеши, должен был бы дышать лучше всех других носов и, как говорится, на лету улавливать запахи; а он постоянно в соплях, он бесполезен, как деревянный сикх-кабаб[179].

Ну, довольно. Я сидел в бельевой корзине, забыв про свой нос, забыв о восхождении на Эверест в 1953 году, когда Одноглазый, большой забавник, начал хихикать: «Эй, ребята! Как вы думаете, взобрался бы Тенцинг[180]по носяре Сопелки?» И о семейных распрях по поводу того же злополучного носа, во время которых Ахмед Синай не уставал поминать недобрым словом отца Амины: «В моем роду таких носов никогда не бывало! У нас носы великолепные, носы гордые, царственные носы, жена!» К тому времени Ахмед Синай уже почти поверил в родословную, которую сам же и сочинил ради Уильяма Месволда; пропитанный джинами, он чувствовал, как кровь Моголов струится в его венах… забыв и о той ночи, когда мне было восемь с половиной, и отец, изрыгая при дыхании не то джиннов, не то пары джина, вбежал ко мне в спальню, сорвал с меня простыни и заорал: «Чем это ты там занимаешься? Поросенок! Свинья подзаборная!» Я был сонный, невинный, недоумевающий. А он вопил: «Ай-яй-яй! Какой срам! Бог карает мальчиков, которые делают это! Он уже вырастил тебе нос величиной с тополь! Он превратит тебя в карлика, высушит

179
180

твою пипиську!» Мать явилась в ночной рубашке, заслышав переполох: «Джанум, ради Бога: мальчик спокойно спал». Но джинн, завладевший моим отцом, прорычал из его уст: «Да ты погляди только на его рожу! Разве такой нос бывает со сна?»

В бельевых корзинах нет зеркал; ее глубин не достигают ни грубые шуточки, ни указующие персты. Отцовский гнев не проникает через несвежие простыни и брошенные в стирку бюстгальтеры. Бельевая корзина – дыра в мироздании, место, исторгнутое цивилизацией, выведенное за черту; вот почему в ней лучше всего скрываться. Я жил в бельевой корзине, как Надир Хан в его нижнем мире, не испытывая ничьего давления, укрывшись от чрезмерных требований родителей и истории…

…Отец прижимает меня к выпирающему животу, твердит, задыхаясь от внезапно нахлынувших чувств: «Ну ладно, ладно, успокойся, успокойся, ты – хороший мальчик; ты будешь всем, чем захочешь, стоит только захотеть! Спи теперь, спи…» И Мари Перейра вторит ему, шепча свой стишок: «Кем ты захочешь, тем ты и станешь, станешь ты всем, чем захочешь!» Мне уже приходило в голову, что мои родные свято верили в незыблемость основополагающего принципа деловой жизни: сделав в меня вложение, они ожидали дивидендов. Дети получают еду, крышу над головой, карманные деньги, долгие каникулы и любовь, – все это вроде бы совершенно задаром, и большинство малолетних дурачков считает, что им это дается лишь за то, что они родились на свет. «Не марионетка я», – пели мои одноклассники, но я, Пиноккио, отлично видел ниточки, за которые меня дергают. Родителями движет выгода – ни больше ни меньше. Они ждали несметных доходов от моего будущего величия. Не поймите меня превратно: я не в обиде. И в то время я был послушным ребенком. Я страстно желал дать им то, чего они хотели, что было им обещано прорицателями и письмами в рамочке; я просто не знал, как это сделать. Откуда берется величие? Как его достигают? *Когда?..* Когда мне было семь лет, Адам Азиз и Достопочтенная Матушка навестили нас. В свой день рождения я, послушный мальчик, позволил нарядить себя так, как были одеты юные лорды на картине с рыбаком; было мне жарко и тесно в заморском костюмчике, но я улыбался и улыбался. «Ах ты, мой месяц ясный! – воскликнула Амина, разрезая торт, украшенный фигурками домашних животных из марципана. – Какой *ми-и-лый!* Ни слезинки не проронит никогда!» Не давая пролиться потокам слез, скопившихся по ту сторону век оттого, что мне было жарко, неудобно, а среди груды подарков не нашлось шоколадки-длиной-в-ярд, я понес кусочек торта Достопочтенной Матушке – она как раз слегла. Мне подарили игрушечный стетоскоп, и он висел у меня на шее. Бабушка позволила себя осмотреть, и я предписал ей больше двигаться. «Тебе надо ходить по комнате, до шкафа и обратно, раз в день. Я – доктор и знаю, что говорю.» Английский милорд со стетоскопом на шее повел по комнате бабку с ведьминими бородавками; со скрипом, еле волоча ноги, она подчинилась. После трех месяцев такого лечения бабушка совершенно поправилась. Соседи пришли поздравить, принесли расгуллу, гулаб-джамун[181] и другие сласти. Достопочтенная Матушка с царственным видом сидела на табурете в гостиной и сообщала всем и каждому: «Видите моего внука? Это он, как-его, меня вылечил. Гений! Гений, как-его, Божий дар». Так что же это было? Может, пора перестать беспокоиться? Может, гений вовсе и не связан с желанием, учением, знаниями, способностями? Может, в назначенный час он падет мне на плечи, как белоснежная, тонкой выделки кашмирская шаль? Величие – как слетевшая с небес мантия: такую не надо отдавать в стирку. Гений не полощут в речке… Случайная фраза, брошенная бабушкой, подсказала решение, сделалась для меня единственной надеждой, и, как показало время, бабка не так уж и заблуждалась. (Приключение меня почти настигло, и дети полуночи ждут).

Годы спустя в Пакистане, в ту ночь, когда крыша рухнула и превратила мою мать в плоский рисовый блин, Амине Синай явилась в видении старая бельевая корзина. Когда корзина предстала перед ее глазами, Амина поздоровалась с ней, как с не слишком желанной

181

родней. «Значит, это опять ты, – сказала Амина. – Ну, а почему бы и нет? Вещи возвращаются ко мне в последнее время. Ничего нельзя выбросить раз и навсегда». Она состарилась прежде времени, как все женщины в нашей семье, и корзина ей напомнила тот год, когда старость впервые постучалась к ней. Великая жара 1956 года – Мари Перейра уверяла, будто ее вызывали крохотные, невидимые сверкающие мушки – вновь зашумела у нее в ушах. «Тогда меня начали одолевать мозоли», – произнесла вслух Амина, и офицер гражданской обороны, проверявший светомаскировку, подумал с грустной улыбкой: эти старики во время войны закутываются в свое прошлое, будто в саван, и готовы умереть в любую минуту. Он пробрался к двери через горы бракованных полотенец, которыми был забит почти весь дом, оставив Амину в одиночестве перебирать свое грязное белье… Нусси Ибрахим – Нусси-Утенок – всегда восхищалась Аминой: «Что за *походка* у тебя, дорогая! Что за *осанка!* Поразительно, ей-богу: ты будто скользишь по невидимым *рельсам!* Но в лето пылающих мушек моя изящная мама наконец проиграла войну с мозолями, ибо садху Пурушоттам вдруг утратил свою магическую власть. Вода продолбила плешь на его голове; упорно капающие годы изнурили его. Не разочаровался ли он в благословенном ребенке, в своем Мубараке? Может, это из-за меня мантры[182]потеряли силу? Ужасно смущенный, он твердил матери: «Не беспокойтесь, подождите; я поправлю ваши ноги, вот увидите». Но мозоли росли; Амина пошла к врачам, которые заморозили их двуокисью углерода до нулевой температуры; мозоли явились обратно в удвоенном количестве, и Амина начала хромать; дни, когда она скользила по невидимым рельсам, ушли безвозвратно, и моя мать безошибочно определила: к ней впервые наведалась старость. (Битком набитый фантазиями, я превратил свою мать в наяду: «Амма, может быть, ты русалочка, которая, полюбив человека, стала женщиной, и каждый шаг причиняет тебе ужасную боль, словно ты идешь по лезвию бритвы!» Мать улыбнулась, но не рассмеялась).

1956 год. Ахмед Синай и доктор Нарликар играли в шахматы и спорили: отец был ярым противником Насера, а Нарликар открыто восхищался им. «Он не разбирается в политике», – говорил Ахмед. – «Зато у него есть обаяние, – возражал Нарликар, весь светясь от возбуждения. – Никто ему и в подметки не годится». В это же время Джавахарлал Неру обсуждал с астрологами пятилетний план[183], чтобы избежать второго Карамстана; пока большой мир предавался агрессии и оккультным наукам, я забивался в бельевую корзину, в которой уже становилось тесно, а Амину Синай переполняло чувство вины.

Она пыталась выбросить из головы свои выигрыши на скачках, но чувство греха, которым ее мать сдабривала свою стряпню, не отпускало; Амина без особого труда убедила себя в том, что мозоли ей ниспосланы в наказание… не только за давнюю эскападу в Махалакшми, но и за то, что ей не удалось уберечь мужа от розовых справочек об алкоголизме; за дикую, недевчоночью, повадку Медной Мартышки и за несоразмерный нос единственного сына. Теперь, когда я вспоминаю мать, мне кажется, что над ее головой начал сгущаться туман вины – от темной кожи исходило черное облако, застилающее глаза. (Падма поверила бы, Падма бы поняла, что я имею в виду!) И по мере того, как чувство вины росло, туман становился гуще – почему бы и нет? – бывали дни, когда с трудом можно было различить что-либо выше ее шеи!.. Амина обрела редкий дар нести бремя всего мира на своих плечах; от нее начал исходить магнетизм добровольно взятой на себя вины, и с тех пор всякий, кто приближался к ней, испытывал сильнейшую потребность повиниться в чем-либо. Когда люди подпадали под чары моей матери, она улыбалась им ласковой, грустной, туманной улыбкой, и они удалялись облегченные, переложив свое бремя на ее плечи; а туман вины все густел. Амина выслушивала истории о побитых слугах и подкупленных чиновниках; когда дядя Ханиф с женой навещали нас, они в мельчайших подробностях пересказывали ей свои ссоры. Лила Сабармати поверяла свои супружеские измены ее прелестному, приклоненному, терпеливому уху; даже Мари Перейра постоянно боролась с

182
183

почти непреодолимым искушением признаться в своем преступлении.

Встречаясь лицом к лицу со всей виною мира, моя мать улыбалась сквозь туман и крепко зажмуривала глаза; к тому времени, как крыша рухнула ей на голову, ее зрение изрядно ослабло, но бельевую корзину она все же смогла разглядеть.

В чем же по-настоящему заключалась вина моей матери? Я имею в виду – если копнуть поглубже, презрев мозоли, джиннов и чужие признания? То был невыразимый недуг, болезнь, имя которой запрещалось произносить, и которая уже не ограничивалась снами о муже из нижнего мира… моей матерью завладели (как скоро завладеют и моим отцом) чары телефона.

В эти летние вечера, горячие, как полотенца, часто звонил телефон. Когда Ахмед Синай спал у себя в комнате, положив ключи под подушку и спрятав пуповину в шкафу, резкий звук перекрывал жужжание пылающих мушек, и мать, ковыляя из-за своих мозолей, тащилась в прихожую отвечать. И вот – что за выражение застыло на ее лице, окрасив его в цвет запекшейся крови?.. Не ведая, что за ней наблюдают, почему она хватает воздух ртом, будто выброшенная на берег рыба; почему так судорожно дышит?.. И почему через добрых пять минут говорит голосом скрежещущим, как битое стекло: «Извините, вы ошиблись номером»?.. Почему бриллианты сверкают на ее веках?.. Медная Мартышка говорит мне шепотом: «Когда он позвонит в следующий раз, давай это разъясним».

Проходит пять дней. Снова перевалило за полдень, но сегодня Амина ушла навестить Нусси-Утенка, а к телефону кто-то должен подходить. «Скорей! Скорей, не то он проснется!» Мартышка, и в самом деле верткая, хватает трубку прежде, чем Ахмед Синай меняет мелодию своего храпа… «Алё? Да-а-а? Это – семь-ноль-пять-шесть-один; алё?» Мы вслушиваемся; наши нервы на пределе; но телефон молчит. Наконец, когда мы уже собираемся повесить трубку, раздается голос: «…О …да… алло…» И Мартышка, чуть ли не кричит: «Алё? Кто это, скажите, пожалуйста?» Снова молчание; звонящий не в силах повесить трубку, он обдумывает свой ответ, и вот: «Алло… Это компания по найму грузовиков Шанти Прасад?..» И Мартышка, быстрее молнии: «Да, что вам угодно?» Снова пауза; голос, смущенно, чуть ли не извиняясь, произносит: «Я бы хотел заказать грузовик».

О, надуманный предлог для телефонного звонка! О, прозрачное вранье призраков! Таким голосом не заказывают грузовики; это – мягкий, немного чувственный голос поэта… и после того случая телефон звонил регулярно, иногда мать брала трубку, молча слушала, ловя ртом воздух, и наконец, слишком поздно отвечала: «Извините, вы ошиблись номером»; порой мы с Мартышкой толкались у телефона, попеременно прикладывая ухо к трубке, пока Мартышка записывала заказ на грузовик. Я спрашивал: «Эй, Мартышка, как ты думаешь, что будет делать этот тип, когда грузовики *не придут?»* И она, широко раскрыв глаза, дрожащим голосом: «А ты представь себе… что они *придут!»*

Но я не мог понять, каким образом это случится, и крохотное зерно сомнения было посеяно во мне: проклюнулась мысль, что у нашей матери есть секрет – как, у нашей аммы? А ведь сама всегда говорила: «Любой секрет портится внутри тебя; если таить что-то и не рассказывать, начинает болеть живот!» – сверкнула искра, которую мое приключение в бельевой корзине раздует в лесной пожар. (Ибо в тот раз, видите ли, я получил доказательство).

И вот наконец настало время грязного белья. Мари Перейра без конца твердила мне: «Если хочешь вырасти большим, баба?, ты должен быть чистоплотным. Менять одежду, – перечисляла она, – регулярно принимать ванну. Иди помойся, баба?, или я отправлю тебя к прачкам, пусть побьют хорошенько о камень». А еще она стращала меня насекомыми: «Ну ладно, ладно, ходи грязный, тебя никто не будет любить, кроме мух. Они тебя обсядут во сне, отложат яички под кожу!» Выбрав себе такое укрытие, я как бы бросал всем некий вызов. Презрев прачек и мух, я скрывался в нечистом месте, черпал силы и утешение в простынях и полотенцах; сопли мои свободно текли на белье, обреченное камню; и когда я выходил в мир из своего деревянного кита, – зрелая, печальная мудрость грязного белья оставалась со мной,

учила меня несмотря ни на что сохранять холодное достоинство, а еще оповещала об ужасной неизбежности мыла.

В один июньский день я на цыпочках пробрался коридорами уснувшего дома к моему излюбленному убежищу; украдкой прошмыгнул мимо спящей матери к отделанному белым кафелем безмолвию ванной комнаты, приподнял вожделенную крышку и погрузился в мягкую, преимущественно белую ткань, хранящую воспоминания лишь о моих прошлых визитах. Тихо вздыхая, я закрыл за собой крышку, позволил трусам и халатам потереться об меня и заставил себя забыть о том, какая это боль – жить, не имея цели, вот уже почти девять лет.

Воздух заряжен электричеством. Зной звенит, будто пчелиный рой. Мантия висит где-то на небе, готовая нежно окутать мне плечи… где-то некий перст набирает номер; диск телефона крутится, крутится и крутится, электрические сигналы отправляются по проводам: семь, ноль, пять, шесть, один. Раздается звонок. Его приглушенное дребезжание доносится до бельевой корзины, где почти-девятилетний малец лежит, неудобно скорчившись… Я, Салем, весь застыл от страха, что меня обнаружат, ибо скрипнули пружины кровати, мягко прошлепали тапочки по коридору; снова звонок, прервавшийся на половине – и, может быть, мне это кажется? Ведь говорила она тихо – разве расслышишь? – слова, сказанные, как всегда, слишком поздно: «Извините, вы ошиблись номером».

А теперь ковыляющие шаги возвращаются в спальню, и сбываются худшие страхи схоронившегося мальчишки. Дверные ручки поворачиваются со скрипом, предупреждая его; шаги, робкие, осторожные, будто по лезвию бритвы, шаркают по прохладным белым плиткам, глубоко врезаясь в его плоть. Он застыл как ледышка, вытянулся как жердь; сопли беззвучно текут из носа в грязное белье. Завязка от пижамы – змеевидная вестница несчастья! – щекочет левую ноздрю. Чихнешь – погибнешь; он гонит от себя эту мысль.

…Весь окоченевший, охваченный сграхом, он подглядывает через просвет в грязном белье, через щель бельевой корзины… и видит женщину, плачущую в ванной комнате. Из густой черной тучи падают капли дождя. Звук нарастает, губы шевелятся. Голос матери произносит какие-то два слога, опять и опять; вот задвигались руки. Сквозь белье плохо слышно, слоги трудно распознать – что это: Дир? Бир? Дил? – и другой слог: Ха? Ра? Нет: На. Ха и Ра отметаются; Дил и Вир навсегда пропадают, и в ушах у мальчика звенит имя, которое не произносилось с тех пор, как Мумтаз Азиз стала Аминой Синай: Надир. Надир. На. Дир. На.

И руки движутся. В память об иных днях, о том, что случалось после игр в «плюнь-попади» в агрском подполье, они радостно взмывают к щекам; сжимают груди крепче любого бюстгальтера и теперь ласкают голый живот, скользят ниже, ниже, ниже… вот чем мы занимались, любовь моя, этого было достаточно, достаточно для меня, хотя отец и разлучил нас, заставил тебя бежать – а теперь телефон, Надирнадирнадирнадирнадирнадир… руки, сжимавшие трубку, теперь сжимают плоть. А что в ином, далеком отсюда месте делает другая рука?.. К чему она приступает, положив трубку?.. Неважно, ибо здесь, в своем обманчивом уединении, Амина Синай повторяет былое имя, снова и снова и, наконец, разражается целой фразой: «Арре Надир Хан, откуда тебя принесло?»

Секреты. Мужское имя. До-сих-пор-не-виданные движения рук. В мозг ребенка проникают мысли, не имеющие формы; мучительные мысли, никак не складывающиеся в слова; а завязка от пижамы в левой ноздре извивается змеей, забивается глубже-глубже, и на нее уже нельзя не обращать внимания…

А теперь – о, бесстыдная мать! Обнаружившая свое двуличие, питающая чувства, которым нет места в семейной жизни, и более того: без всякого стеснения обнажившая Черное Манго! – Амина Синай, вытерев слезы, чувствует зов более тривиальной нужды; и пока правый глаз ее сына подглядывает в просвет между деревянными планками у самого верха бельевой корзины, мать разматывает сари! И я беззвучно кричу в бельевой корзине: «Не надо не надо не надо не на…!» …но не могу закрыть правый глаз… Я даже не моргаю, и

на сетчатке отпечатывается перевернутое изображение сари, упавшего на пол; изображение, которое, как всегда, переворачивается в мозгу; своими льдисто-голубыми глазами я вижу, как трусики следуют за сари, а потом – о ужас! – мать, в обрамлении белья и деревянных планок, склоняется, чтобы подобрать одежду! И вот оно, вот пронзающее сетчатку – видение материнского крестца, черного, как ночь, круглого, податливого, не похожего ни на что иное, кроме как на гигантское черное манго сорта «Альфонсо»! Подкошенный этим видением, я отчаянно борюсь с собой в бельевой корзине. Полное самообладание становится в один и тот же миг и абсолютно необходимым, и невозможным… под влиянием Черного Манго, подобным удару грома. Нервы мои не выдерживают; завязка от пижамы празднует победу; и пока Амина Синай устраивается на стульчаке, я… Что – я? Чихнул – не чихнул. Это слишком сильно сказано. Но и не просто дернулся в корзине – это было нечто большее. Пора все выложить начистоту: расстроенный двусложным словом и снующими руками, сокрушенный Черным Манго, нос Салема Синая, отвечая на очевидность материнского двуличия, содрогаясь от явственности материнского крестца, поддался пижамной завязке и – о катаклизм, о потрясение основ вселенной – неудержимо *засопел.* Завязка от пижамы, мучительно натянувшись, на полдюйма заползла в мою ноздрю. Но поднялось и еще кое-что: потревоженные судорожным вдохом, сопли, скопившиеся в носу, стали втягиваться вверх-вверх-вверх, мокроты поползли внутрь, а не наружу, презрев законы земного тяготения, действуя против своей природы. Носовые пазухи подверглись невыносимому давлению… и вот в голове у почти-девятилетнего парнишки что-то взорвалось. Заряд соплей, пробив плотину, устремился по темным, неизведанным каналам. Мокроты поднялись выше, чем это им положено. Обильная жидкость достигла, вероятно, пределов мозга… это был удар. Будто взяли и смочили оголенный провод.

Боль.

И потом шум, оглушительный, многоголосый, ужасающий – *внутри черепной коробки!..* А в недрах белой деревянной бельевой корзины, в потемневшем зрительном зале, расположенном за лобной костью, мой нос запел.

Но как раз теперь некогда прислушиваться, ибо один голос в самом деле звучит, и очень близко. Амина Синай открыла нижнюю дверцу бельевой корзины; я скольжу вниз-вниз, и лицо мое скрыто бельем, будто капюшоном. Завязка от пижамы выскакивает у меня из носа – и вот в черных тучах, клубящихся вокруг моей матери, сверкает молния – и мое убежище потеряно для меня навсегда.

– Я не подглядывал! – заверещал я среди носков и простыней. – Я ничего не видел, амма, честное слово!

И многие годы спустя, сидя на плетеном стуле среди бракованных полотенец и бравурных сообщений по радио о неправдоподобных победах, Амина припомнит, как большим и указательным пальцами схватила сына-врунишку и потащила к Мари Перейре, которая, как всегда, спала на камышовой циновке в небесно-голубой спаленке; как сказала ей: «Этот юный осел, этот оболтус и лоботряс не должен рта раскрывать целый день». И как раз перед тем, как на нее упала крыша, Амина сказала вслух: «Это моя вина. Я плохо его воспитала». И когда бомба разорвалась, добавила тихо, но очень решительно, обращая свои последние слова на земле к призраку бельевой корзины: «А теперь уходи, я на тебя насмотрелась».

* * *

На горе Синай пророк Муса, или Моисей, слышал бесплотные заповеди; на горе Хира[184] пророк Мухаммад (известный также как Мухаммед, Магомет, Предтеча и Магома) говорил с архангелом (Гавриилом, или Джебраилом, как вам больше понравится). А на

184

подмостках учебного театра Соборной средней школы для мальчиков Джона Коннона, находящейся «под опекой» Англо-Шотландского общества образования, мой друг Кир Великий, всегда игравший женские роли, слышал голоса, говорившие с Жанной д'Арк словами Бернарда Шоу[185]. Но Кир – исключение; в отличие от Жанны, которая слышала голоса в поле; я, как Муса, или Моисей, как Мухаммад Предпоследний, слышал голоса на холме.

Мухаммад (мир его имени, я должен прибавить; мне бы не хотелось никого оскорблять) услышал голос, возвестивший: «Читай!» – и подумал, что повредился в рассудке; у меня в голове поначалу гудело множество голосов, словно в ненастроенном приемнике; но мои уста были сомкнуты по материнскому приказу, и я не мог просить о помощи. Мухаммад в сорок лет искал поддержки у жены и друзей и нашел ее: «Воистину, – сказали они, – ты – посланник Бога»; я же, подвергнутый наказанию в возрасте почти-девяти, не мог ни поделиться с Медной Мартышкой, ни добиться сочувственных слов от Мари Перейры. Обращенный в немого на вечер, ночь и утро, я в одиночку пытался понять, что со мной происходит; и наконец увидел, как, словно бабочка с вышитыми узорами, вьется надо мной шаль гения, и мантия величия опускается на мои плечи.

В этой знойной, безмолвной ночи я молчал (море шуршало вдали, как бумага; вороны каркали, обуреваемые своими пернатыми кошмарами; шум бесцельно снующих запоздалых такси доносился с Уорден-роуд; Медная Мартышка, пока не заснула с гримаской любопытства на лице, все допытывалась: «Ну скажи, Салем, ведь никто не слышит: что ты натворил? Скажи-скажи-скажи!» …а тем временем голоса во мне звучали наперебой, отдаваясь рикошетом от стенок черепа). Меня сжимали горячие персты волнения, неуемные мушки волнения плясали у меня в животе, ибо наконец-то – как именно, я тогда не вполне понимал – дверь, в которую когда-то толкнулась Токси Катрак, распахнулась настежь; и через нее я смог разглядеть, еще туманную и загадочную, ту цель, ради которой я был рожден.

Гавриил, или Джебраил, сказал Мухаммаду: «Читай!» И началось чтение, по-арабски Аль-Коран: «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка…» Это было на горе Хира в окрестностях благородной Мекки; на двухэтажном холме напротив бассейна Брич Кэнди голоса тоже велели мне читать: «Завтра!» И я повторял с волнением: «Завтра!»

К рассвету я обнаружил, что голосами можно управлять – я был чем-то вроде радиоприемника и мог уменьшать или увеличивать громкость; я мог избирать отдельные голоса; я даже мог усилием воли выключать этот новообретенный внутренний слух. Я сам удивился, как скоро страх покинул меня; к утру я уже думал: «Ребята, да это лучше, чем „Индийское радио“; ребята, это даже лучше, чем „Радио Цейлон“»!»

Вот вам доказательство сестринской преданности: когда двадцать четыре часа истекли, минута в минуту, Медная Мартышка помчалась в комнату матери. (Думаю, было воскресенье: в школу я не пошел. А может, и другой какой день – в то лето устраивались *марши языков,* и школы часто закрывались[186], потому что дороги становились опасными).

– Время вышло! – воскликнула Мартышка, встряхивая сонную матушку. – Амма, проснись, уже время: теперь ему можно говорить?

– Ну ладно, – сказала мать, придя в небесно-голубую комнатку поцеловать меня, – я тебя прощаю. Только никогда больше не прячься там…

– Амма, – заявил я серьезно, – пожалуйста, послушай. Я должен что-то вам рассказать. Что-то важное. Но пожалуйста, пожалуйста, прежде всего разбуди аббу.

И после различных: «Что такое?», «Зачем?» и «Еще чего» мать все же уловила в моих глазах нечто необычайное и в тревоге пошла будить Ахмеда Синая: «Джанум, иди со мной, пожалуйста. Не знаю, что такое стряслось с Салемом».

185

186

Вся семья вместе с нянькой собралась в гостиной. Среди хрустальных ваз и пухлых подушек, стоя на персидском ковре под мелькающими тенями от лопастей вентилятора, я встретил улыбкой нетерпеливые взгляды и стал готовить свое откровение. Вот оно, вот: сейчас начнут оправдываться их вложения, будет получен от меня первый дивиденд – первый, я был уверен, из многих… моя темнокожая матушка, отец с выступающей нижней губой, Мартышка-сестра и скрывающая преступление няня – все ждали в лихорадочном волнении.

Ну, выкладывай. Прямо, без обиняков. «Вы должны узнать первыми», – заявил я, стараясь придать своей речи взрослые интонации. И потом рассказал им. «Я вчера слышал голоса. Голоса звучат у меня в голове. Я думаю – амма, абба, я правда так думаю, что архангелы начали говорить со мной».

«Вот оно! – подумал я. – Вот!» Все сказано! Теперь меня станут хлопать по спине, задарят сластями, начнутся публичные оглашения, может быть, появятся новые фотографии; теперь они все просто раздуются от гордости. О, святая наивность ребенка! В ответ на мое чистосердечие – на мое искреннее, отчаянное желание угодить – на меня набросились со всех сторон. Даже Мартышка: «О, *Боже,* Салем, весь этот переполох, тамаша[187], весь этот спектакль – ради твоего дурацкого бахвальства? У тебя что, черепушка треснула?» А Мари Перейра еще хуже Мартышки: «Иисусе Христе! Святейший Папа Римский, какое богохульство довелось мне услышать!» А еще хуже Мари Перейры – моя мать, Амина Синай: Черное Манго скрыто от глаз, губы, еще теплые от неназываемого имени. Она вскричала: «Убереги нас, Отец Небесный! Из-за этого мальчишки крыша обрушится на наши головы!» (Может, и в этом тоже я виноват?) Амина продолжала: «Ах ты, негодник! Гунда[188], лоботряс! О, Салем, или ты потерял разум? Что случилось с моим дорогим малышом. Ты, видно, хочешь вырасти безумцем – моим *мучителем?»* Но куда хуже криков Амины было молчание моего отца; хуже, чем ее страх, был ярый гнев, омрачивший его чело; а хуже всего была отцовская рука, толстопалая, узловатая, тяжелая, протянувшаяся внезапно и отвесившая мне мощную затрещину, такую, что с этого дня я уже никогда не слышал как следует левым ухом; такую, что по воздуху, напоенному скандалом, я перелетел через всю охваченную переполохом комнату и разбил зеленое матовое стекло, покрывавшее стол; впервые в жизни обретя уверенность в себе, я был вброшен в зеленый, туманно-стеклянный мир, полный режущих краев; в мир, где я не мог уже рассказать самым важным для меня людям, что происходит у меня в голове; я искромсал себе руки зелеными осколками, проникая в бешено вращающуюся вселенную, где я был обречен, пока не сделалось слишком поздно, страдать от постоянных сомнений по поводу того, *зачем* я нужен.

В ванной комнате с белыми плитками, рядом с бельевой корзиной, мать намазала меня меркурий-хромом; порезы скрылись под марлей, а через дверь донесся голос отца: «Жена, пусть никто не дает ему сегодня еды. Ты слышишь меня? Пусть порадуется своей выходке на пустой желудок!»

Этой ночью Амине Синай приснился Рамрам Сетх, парящий в шести дюймах над полом; с закатившимися, белыми, как яичная скорлупа, глазами он приговаривал: «Корзины его сберегут… его голоса поведут» …но когда через несколько дней, в течение которых сон этот не давал ей покоя, Амина набралась храбрости и принялась расспрашивать опального сына о его возмутительных претензиях, тот ответил сдержанно, тая про себя невыплаканные детские слезы: «Я просто валял дурака, амма. Глупая выходка, вы же сами сказали».

Через девять лет она умерла, так и не узнав правды.

«Индийское радио»

Реальность – вопрос перспективы; чем больше вы удаляетесь от прошлого, тем более

187

188

конкретным и вероятным оно кажется. Представьте, что вы находитесь в длинном кинозале: сперва сидите в последнем ряду, а затем постепенно, ряд за рядом, продвигаетесь, пока чуть ли не уткнетесь носом в экран. Мало-помалу лица кинозвезд расползаются в мелькающей зерни, мелкие детали приобретают гротескные пропорции; иллюзия распадается – или, вернее, становится ясно, что иллюзия и *есть* реальность… мы добрались от 1915 до 1956 года, а значит, сильно приблизились к экрану… оставив эту метафору, я повторю, уже безо всякого стыда, свое невероятное заявление: после странного происшествия в бельевой корзине я стал чем-то вроде радиоприемника.

…Но сегодня я смущен и встревожен. Падма не вернулась – уж не сообщить ли в полицию? Может быть, она – Пропавшая Без Вести? В ее отсутствие все, чему я привык доверяться, разваливается на части. Даже мой нос шутит со мною шутки: днем, расхаживая между чанами с маринадами, с которыми управляется целая армия мощных, с пушком на руках, до ужаса деловых теток, я вдруг обнаружил, что не могу по запаху отличить лимон от лайма. Рабочая сила хихикает в кулачок: бедного сахиба одолевает что-то – неужто любовь?.. Падма и трещины, распространяющиеся по мне, радиально, словно паутина, начиная с пупка; да еще жара… в таких обстоятельствах вполне допустимо впасть в некоторое смятение. Перечитывая написанное, я обнаружил ошибку в хронологии. Дата убийства Махатмы Ганди на этих страницах обозначена неверно. Но теперь я уже не могу сказать, как в действительности развивались события; в моей Индии Ганди так и будет умирать не в свой час.

Разве одна ошибка делает неполноценным все мое полотно? Разве в моей отчаянной потребности обрести смысл я зашел так далеко, что готов исказить все факты – переписать заново всю историю своего времени, просто чтобы поставить себя в центр событий? Сегодня, объятый смятением, я не могу судить. Предоставляю это другим. Я не могу возвратиться вспять; я должен закончить то, что начал, даже если со всей неизбежностью конец будет слишком далек от начала. *Йе Акашвани хаи.* Говорит «Индийское радио»[189].

Выскочив на раскаленную улицу наскоро перекусить в ближайшем иранском кафе, я вернулся в мой ночной затон, освещенный угловой люминесцентной лампой, где лишь дешевый транзистор составляет мне компанию. Ночь душная; кипящий, пузырящийся воздух пропитан запахами, что остались от чанов с маринадами; во тьме – голоса. Пары маринадов, тяжелые, угнетающие в жару, заставляют бродить соки памяти, подчеркивают сходства и различия между теперь и тогда… тогда стояла жара, и теперь тоже (не по сезону) жарко. Тогда, как и теперь, кто-то не спал в темноте, слушал бесплотные голоса. Тогда, как и теперь, был он глухим на одно ухо. И страх разрастался в темноте… но не голоса (тогда или теперь) вызывали этот страх. Он, тогда-юный-Салем, испытывал страх от одной только мысли – мысли о том, что оскорбленные родители перестанут любить его; если даже и поверят ему, то сочтут его дар каким-то постыдным уродством… и теперь я, обеспадмевший, направляю свои слова в темноту и боюсь, что мне не поверят. Он и я, я и он… у меня нет больше его дара, у него никогда не было моего. Временами он кажется почти чужим – у него не было трещин. Паутина не опутывала его душными ночами.

Падма поверила бы мне, но Падмы нет. Тогда, как и теперь, я испытывал голод. Но разного рода: тогда меня лишили обеда, а теперь я потерял стряпуху.

И другая, более очевидная разница: тогда голоса являлись не через вибрирующий корпус транзистора (который в нашей части света навсегда останется символом импотенции – с тех самых времен, когда раздачей транзисторов заманивали на стерилизацию, и аппарат громогласно напоминал о том, на что человек был способен до того, как щелкнули ножницы и были завязаны узлы)…[190]тогда почти-девятилетний мальчик, лежа в полночь в кровати, не испытывал нужды ни в каких механизмах.

Разных и похожих, нас единит жара. Блистающее марево жары, тогда и теперь,

---

189

190

скрадывает очертания тогдашнего времени, путает его с нынешним… мое смятение плывет назад по волнам зноя и становится его смятением.

Что хорошо растет в жарком климате: сахарный тростник; кокосовая пальма; некоторые виды проса, например, жемчужное, раги и сорго; льняное семя и (если провести воду) чай и рис. Наша жаркая страна кроме того занимает второе место в мире по производству хлопка – во всяком случае, так было, когда я изучал географию под сумасшедшим взором мистера Эмиля Загалло и еще более стальным и жестким – испанского конкистадора, оправленного в раму. Но тропическим летом вызревают и более странные плоды: цветут невиданные цветы воображения, пропитывая душные, пропотевшие ночи ароматами тяжелыми, как мускус, навевая темные сны о вечном томлении… тогда, как и сейчас, воздух полнился тревогой. *Марши языков* требовали разделить штат Бомбей по лингвистическим границам: одни процессии вела за собой мечта о Махараштре, другие устремлялись вперед, одушевленные миражом Гуджарата[191]. Жара расплавляла перегородки между фантазией и реальностью, и все казалось возможным; беспорядочная полуявь-полудрема полуденного сна отуманивала мозги, и воздух казался густым и липким от неугомонных желаний.

Вот что лучше всего растет в жарком климате: фантазии, небылицы, похоть.

Тогда, в 1956 году, языки отправлялись в воинственные марши по послеполуденным улицам; а в полуночные часы такие же марши бесчинствовали в моей голове. *С самым пристальным вниманием мы будем наблюдать за твоей жизнью; она, в некотором смысле, станет зеркалом нашей.*

Пора поговорить о голосах.

Была бы здесь Падма…

Насчет Архангелов я, конечно, был неправ. Длань моего отца, треснувшая меня по уху, подражая (сознательно? ненамеренно?) другой, лишенной плоти руке, которая однажды залепила ему самому хорошую затрещину – по крайней мере в одном смысле оказала на меня благотворное воздействие: оплеуха заставила меня пересмотреть, а в конце концов и оставить мою первоначальную, содранную с пророков, позицию. Лежа в постели той первой опальной ночью, я углубился в себя, не обращая внимания на Медную Мартышку, чьими упреками полнилась небесно-голубая комната: «Но *зачем* ты это сделал, Салем? Ты всегда самый лучший, и все такое?» …но наконец она, недовольная, уснула, даже во сне беззвучно шевеля губами, а я остался наедине с отголосками отцовского гнева, что звенели у меня в левом ухе, словно нашептывая: «Это не Михаил и не Анаил, не Гавриил тем более; забудь о Кассиэле, Сакиэле и Самаэле! Архангелы больше не говорят со смертными; Книгу завершили в Аравии давным-давно; последний пророк придет лишь затем, чтобы возвестить Судный День». Этой ночью, убедившись, что голоса в моей голове превосходят числом всю ангельскую рать, я решил, не без облегчения, что не меня избрали возвестить о конце света. Мои голоса были далеко не священными – наоборот, они оказались столь же низменными и несметными, как придорожная пыль.

Значит, это телепатия, о которой вы столько читали в гораздых на сенсации журналах. Но я прошу немного терпения – подождите. Подождите немного. Да, телепатия, но больше, чем телепатия. Погодите отмахиваться от меня с презрением.

Значит, телепатия: внутренние монологи тех, кого называют многомиллионными массами, или классами, боролись за жизненное пространство у меня в голове. Вначале, когда я еще довольствовался ролью слушателя, до того, как сам вышел на сцену, передо мной стояла проблема языков. Голоса бормотали на тысячах наречий, от малаялам[192] до нага[193],

191
192
193

от чистейшего урду, на каком говорят в Лакхнау[194], до южного, глотающего слова, тамильского диалекта. Я понимал только часть того, что произносилось в моей черепной коробке. И только потом, когда я начал внедряться глубже, выяснилось, что под поверхностным слоем сообщений – передним планом рассудка, который я только и воспринимал вначале, – язык скрадывался, заменялся повсеместно понятными мысленными формами, далеко выходящими за границы слов… но это случилось лишь после того, как я расслышал за многоязыкой сумятицей у себя в голове те, другие, бесценные сигналы, совершенно ни на что не похожие, в большинстве своем слабые, приглушенные расстоянием, подобные звукам далекого барабана, чей настойчивый мерный рокот иногда прорывался сквозь какофонию голосов, вопивших громче, чем торговки рыбой… эти тайные ночные зовы, эти поиски подобных себе… вспыхивающие на уровне подсознания маяки детей полуночи, возвещающих лишь о том, что они существуют, передающих попросту: «я». С самого севера: «я». И с юга-востока-запада: «я». «Я». «И я».

Но не стоит предвосхищать события. Вначале, до того как достичь больше-чем-телепатии, я довольствовался тем, что просто слушал; вскоре я научился «настраивать» мой внутренний слух на те голоса, которые понимал; еще немного, и я стал различать среди гама голоса моих родных, и Мари Перейры, и друзей, и одноклассников, и учителей. На улице я научился определять потоки мыслей, принадлежащие прохожим, – законы смещения Допплера[195]действовали и в этих паранормальных мирах: голоса усиливались и слабели по мере того, как прохожие сначала приближались, а затем удалялись.

И все это я умудрялся держать при себе. Ежедневно получая напоминание (от звенящего левого, или неправого, уха) о праведном отцовском гневе и страстно желая сохранить хотя бы правое в нормальном рабочем состоянии, я замкнул уста. Девятилетнему мальчишке почти невозможно сохранить втайне какое-то особое знание; но, к счастью, самые близкие и любимые мною люди столь же страстно желали забыть о моей выходке, как я – скрыть правду.

«Ах, Салем, Салем! Что ты вчера наговорил! Какой стыд, мой мальчик, пойди вымой рот с мылом!» Наутро после того, как я попал в опалу, Мари Перейра, трясясь от возмущения, словно одно из тех желе, готовить которые она была мастерица, предложила наилучший способ моего восстановления в правах. Сокрушенно понурив голову, я молча прошел в ванную и там, под изумленными взорами няньки и Мартышки, стал тереть зубы-язык-нёбо-десны зубной щеткой, покрытой вонючей, гадкой пеной дегтярного мыла. Весть о моем драматическом искуплении моментально распространилась по дому стараниями Мари и Мартышки, и мать нежно обняла меня: «Ну, дорогой мой мальчик, не будем больше об этом говорить», а Ахмед Синай за завтраком угрюмо кивнул: «Мальчишке хотя бы хватило ума признать, что он зашел слишком далеко».

По мере того, как заживали порезы от стекла, стиралась и память о неудавшемся откровении, и, когда мне стукнуло девять, никто, кроме меня, уже не помнил тот день, когда я употребил имя архангелов всуе. Вкус мыла много недель оставался во рту, напоминая о том, что тайны следует хранить.

Даже Медная Мартышка купилась на мое показное раскаяние: ей показалось, что я попросту пришел в себя и снова стал паинькой и всеобщим любимцем. Чтобы доказать свою готовность вернуться к прежнему порядку вещей, она подожгла любимые шлепанцы матери и вновь заняла свое законное место на задворках семьи. Мало того: перед чужими она, преисполненная консерватизма, который трудно было предположить у такой сорвиголовы, выступала с родителями единым фронтом и держала круговую оборону, ни словом не обмолвившись о моем единственном заблуждении своим и моим друзьям.

В стране, где любая, физическая ли, умственная особенность ребенка становится

194
195

семейным позором, мои родители, свыкшиеся с родимыми пятнами на лице, носом-огурцом и кривыми ногами, просто отказывались видеть во мне какие-то другие, еще более смущающие качества; я же, со своей стороны, никогда не упоминал о звоне в левом ухе, предвещающем глухоту, или о время от времени возникающей боли. Я узнал, что секреты – это не всегда плохо.

Но вообразите себе сутолоку в моей голове! Там, за отвратительной физиономией, над языком, хранящим вкус мыла, рядом с тугим ухом, в котором лопнула барабанная перепонка, таился не-слишком-ухоженный ум, в котором было столько же всяких безделиц, сколько их водится в карманах девятилетнего мальца… попробуйте-ка влезть в мою шкуру, взгляните на мир моими глазами, послушайте этот шум, эти голоса, а к тому же ни в коем случае нельзя, чтобы кто-нибудь о чем-то догадался, самое трудное – разыгрывать удивление, например, когда мать говорит: «Эй, Салем, знаешь, мы поедем на молочную ферму в Эри, устроим там пикник», а я должен изобразить: «О-о-о, здорово», – хотя давно обо всем знал, потому что слышал ее внутренний голос. И подарки на свой день рождения я увидел в умах дарителей до того, как с них сняли оберточную бумагу. И охота за сокровищами пошла насмарку, потому что в голове отца отпечаталось точное местонахождение всякого ключа, всякого приза. И еще того хуже: навещая отца в его офисе на нижнем этаже, – вот оно, начинается, – едва я переступаю порог, как голова моя наполняется Бог-знает-какой дрянью, потому что отец думает о своей секретарше, Алис или Фернанде, об очередной «девке Кока-Кола»; он медленно раздевает ее в уме, и образы эти прокручиваются в моем мозгу; вот она сидит, голая, как бубен, на плетеном стуле, а теперь встает, и на всей ее заднице отпечаталась сеточка, это – мысли моего отца, *моего отца,* а теперь он как-то странно поглядывает на меня: «Что с тобой, сынок, ты нездоров?» – «Нет, абба, здоров, вполне здоров, но теперь *мне надо идти,* много задано на дом, абба», – и скорее в дверь, бежать, пока он не догадался по моему лицу (отец всегда говорит, что когда я лгу, во лбу у меня зажигается красный свет)… Сами видите, как мне было тяжко: дядя Ханиф ведет меня смотреть борьбу, и еще на пути к стадиону Валлабхбай Патель, на Хорнби Веллард, мне становится грустно. Мы шагаем в толпе мимо гигантских фанерных фигур Дары Сингха, и Тагры Бабы, и прочих, а его грусть, грусть моего любимого дяди, изливается в меня, она притаилась, как ящерка, за оградой его шумного веселья, прячется за оглушительным смехом, некогда принадлежавшим лодочнику Таи; мы садимся на лучшие места, свет прожекторов пляшет на спинах сцепившихся борцов, а я не могу вырваться из захвата дядиной грусти, грусти о неудавшейся карьере в кино – провал за провалом, ему, наверно, никогда больше не дадут снять фильм. Но грусть не должна просочиться в мои глаза. Дядя толкается в мои мысли: «Эй, пахлаван[196], эй, маленький борец, почему у тебя такое вытянутое лицо, оно длиннее, чем скверный фильм; хочешь чанну, пакору, чего ты хочешь?» А я качаю головой: нет, ничего не хочу, Ханиф-маму[197]; и он успокаивается, отворачивается, принимается вопить: «Эй, давай, Дара, жми, покажи ему всех чертей; Дара *йара!»* А дома мать сидит на корточках в коридоре, сбивает мороженое и говорит настоящим, внешним голосом: «Помоги мне, сынок, твое любимое, фисташковое», – и я кручу рукоятку, но внутренний голос матери отдается в моей голове. Я вижу, как она старается наполнить каждый уголок, каждую трещинку в своих мыслях повседневными заботами: цена тунца, перечень домашних дел, нужно позвать электрика, чтобы починил вентилятор в столовой, – как она отчаянно старается сосредоточиться на различных частях своего мужа и полюбить их по очереди, но неназываемое имя находит себе место, те самые два слога, которые вырвались у нее в тот день в ванной комнате, На Дир На Дир На; ей все труднее и труднее класть трубку, когда кто-то попадает не туда – ей, *моей матери.* Говорю вам: когда в голову ребенка попадают взрослые мысли, это может вконец запутать его. И даже ночью нет мне

196
197

покоя: я просыпаюсь в полночь с последним ударом часов, и в голове моей – сны Мари Перейры. Ночь за ночью, в мой собственный колдовской час, и для нее очень много значащий, во сне ее мучает образ человека, давно уже мертвого, его зовут Жозеф Д'Коста, говорит мне сон, пронизанный виною, которой мне не постигнуть; той же самой, что просачивается в нас, когда мы едим маринады Мари, здесь какая-то тайна, но, поскольку секрет лежит гораздо глубже поверхности рассудка, мне его не сыскать, а тем временем Жозеф приходит к ней каждую ночь, порой в образе человека, но не всегда, иногда он – волк или улитка; однажды он был помелом, но мы (она – видя сон, я – подглядывая) знаем, что это он, злобный, безжалостный обвинитель; он клянет Мари на языке своих воплощений: воет, когда он – волк-Жозеф; пачкает слизью, когда он – Жозеф-улитка; лупит палкой, обернувшись помелом… а утром, когда Мари велит мне как следует умыться и собираться в школу, я с трудом удерживаюсь от вопросов; мне всего девять лет, и я совершенно потерялся в сумятице чужих жизней, чьи очертания, размытые жарой, путаются, сливаются воедино.

Чтобы закончить рассказ о первых днях моей преобразившейся жизни, я должен добавить одно мучительное признание: мне пришло в голову, что я мог бы вырасти в глазах родителей, пользуясь моей новой способностью в школе – короче говоря, я начал жульничать в классе. А именно, я настраивался на внутренние голоса учителей и примерных учеников и получал нужные сведения прямо из их умов. Я обнаружил, что мало кто из учителей задает контрольную, не повторяя про себя правильные ответы, а кроме того, я знал, что в тех редких случаях, когда учитель озабочен другими вещами, личной жизнью, например, или финансовыми проблемами, решение всегда найдется в не по годам развитом, удивительном уме нашего классного гения, Кира Великого. Мои оценки начали заметно улучшаться, но не чересчур, ибо я старался сделать мои версии в чем-то отличными от украденных оригиналов; даже когда я стелепатировал с Кируса целое английское сочинение, то добавил к нему несколько посредственных штрихов. Цель моя заключалась в том, чтобы избежать подозрений; этого я не добился, но меня не поймали. Под сумасшедшим, инквизиторским взглядом Эмиля Загалло я сидел невинный, как серафим; перед лицом изумленного, в недоумении качающего головой мистера Тэндона, учителя английского языка, я молча ковал свои ковы[198], зная, что никто бы мне не поверил, даже если бы я, случайно или по глупости, и раскрыл карты.

Подведем итоги: в критический момент истории нашей страны, когда выстраивался Пятилетний План, приближались выборы и марши языков сталкивались в Бомбее, – девятилетний мальчик по имени Салем Синай обрел чудесный дар. Презрев ту пользу, какую его новые способности могли бы принести бедной, отсталой стране, он предпочел скрывать свой талант, разменивать его на бессмысленное подслушивание и мелкое плутовство. Его поведение (должен признать, отнюдь не героическое) было прямым следствием смятения ума, которое неизменно приводит к смешению моральных догм: стремлению делать то, что правильно, и жажде популярности, а именно – весьма сомнительного стремления делать то, что одобряют окружающие. Боясь родительского остракизма, он таит в себе весть о своем преображении; чтобы заслужить одобрение родителей, он злоупотребляет своим талантом в школе. Эту слабость характера можно частично оправдать его нежным возрастом, но только частично. Смятение в мыслях сильно повредило его карьере.

Я могу строго судить себя, если захочу.

Что стояло у края плоской крыши детского сада Брич Кэнди – той самой крыши, куда, как вы помните, можно было очень просто забраться из сада виллы Букингем, если перелезть через боковую стену? Что, неспособное более исполнять задачу, для которой было предназначено, глядело на нас в этот год, когда даже зима позабыла о прохладе; что наблюдало, как Сонни Ибрахим, Одноглазый, Прилизанный и я играем в пятнашки, французский крикет и «семь черепиц», иногда с участием Кира Великого и других

198

приходивших к нам друзей: Жирного Пирса Фишвалы и Зобатого Кита Колако? Что торчало перед нами в тех нередких случаях, когда Би-Аппа, няня Токси Катрак, вопила на нас из дома Хоми с верхнего этажа: «Ублюдки! Оглоеды неугомонные! Прекратите этот базар!» И мы отбегали, оборачивались (дождавшись, пока она скроется из виду) и беззвучно корчили рожи окну, возле которого она только что стояла? Короче – что за строение, высокое, голубое, обшарпанное, надзирало за нашими жизнями и все же пыталось отсчитывать время, дожидаясь не только того уже близкого дня, когда мы наденем длинные брюки, но и явления Эви Бернс? Может, вам нужна подсказка: где, в каком месте некогда хранились бомбы? Где, в каком месте умер когда-то от укуса змеи Жозеф Д'Коста?.. Когда, после нескольких месяцев тайных мучений, я наконец стал искать убежища, где можно было бы спрятаться от голосов взрослых, то нашел его в башне с часами, которую никто не удосужился запереть; и там, наедине со ржавеющим временем, я парадоксальным образом предпринял первые робкие шаги к тому тесному единению со знаменательными событиями и великими людьми, от которого так и не смог освободиться… пока Вдова…

Изгнанный из бельевой корзины, я при малейшей возможности незаметно пробирался в башню времени, лежащего в параличе. Когда круглая площадка пустела от жары или просто так, случайно, и ничей любопытный взгляд не мог бы настичь меня; когда Ахмед и Амина отправлялись в клуб Уиллингдон играть в канасту[199]; когда Медная Мартышка околачивалась возле своих новых героинь, пловчих и ныряльщиц из команды школы для девочек Уолсингама… то есть, когда позволяли обстоятельства, я забирался в свое тайное убежище, вытягивался на соломенном матрасе, который стащил из комнаты прислуги, закрывал глаза и позволял моему новоприобретенному внутреннему уху (связанному, как и всякие уши, с носом) свободно прислушиваться ко всему, что делается в городе – и дальше, к северу и югу, востоку и западу. Подслушивать мысли знакомых мне стало невыносимо тяжело, и я начал испытывать свое искусство на посторонних. Итак, мое вхождение в дела, касающиеся всей Индии, произошло по весьма низменным причинам: взбудораженный массой интимных подробностей, я искал хоть какого-то облегчения за пределами нашего холма.

Вот как открывался мир из полуразрушенной часовой башни: сначала я был не более чем туристом и с любопытством вглядывался в волшебные дырочки своей собственной машины «Дилли-декхо». Барабаны рокотали в моем левом (поврежденном) ухе, когда я впервые взглянул на Тадж-Махал глазами толстой англичанки, у которой пучило живот; а потом, дабы уравновесить север и юг, перескочил в храм Мадурай Менакши и нашел себе место в нечетких, мистических ощущениях поющего гимны жреца. Я посетил Коннахт-плейс в Нью-Дели в оболочке таксиста, который горько сетовал по поводу растущих цен на бензин; в Калькутте я спал без подстилки прямо в сточной канаве. Уже заразившись лихорадкой странствий, я умчался на мыс Коморин и сделался рыбачкой в туго завязанном сари, но с развязными манерами… Стоя на красном песке, омываемом тремя морями, я заигрывал с бродягами-дравидами на языке, которого не понимал; затем я попал в Гималаи, в неандертальскую, покрытую мхом хижину племени гуджар[200], под царственную, совершенно круглую радугу и движущуюся морену ледника Колахои. У золотой крепости Джайсалмер я проник во внутренний мир женщины, изготовлявшей рамки для зеркал, а в Кхаджурахо[201]я был деревенским пареньком, которого пленила полная эротики тантрическая резьба в храмах эпохи Чанделлов[202], что стоят среди полей; я смущался, но не мог оторвать взгляда… в немудрящей экзотике странствий я обретал хоть немного покоя. Но в конце концов туризм перестал удовлетворять меня; проснулось любопытство: «Давай-ка посмотрим, – сказал я себе, – что на самом деле творится вокруг?»

199

200

201

202

С неразборчивостью моих девяти лет я забирался в головы кинозвезд и мастеров крикета; я узнал, что в действительности крылось за сплетней, пущенной журналом «Филм Фэар» о танцовщице Вайджянти-мала; я был у белой черты на стадионе Брэбурна с Полли Умригар; я был Латой Мангешкар, певшей под фонограмму; был клоуном Бубу в цирке за Сивил-лайнз… и, произвольно перескакивая с предмета на предмет, неизбежно должен был открыть для себя политику.

Однажды я был помещиком в Уттар-Прадеше, и живот у меня выпирал над завязками шаровар, когда я приказывал слугам сжечь излишки зерна… в другой раз я умирал с голоду в Ориссе, где, как всегда, не хватало еды: мне было от роду два месяца, и у моей матери пропало молоко. На короткое время я вторгся в ум члена Партии Конгресса, дававшего взятку деревенскому учителю, чтобы тот, человек авторитетный, встал на сторону Ганди и Неру на предстоящих выборах; а еще прочитал мысли крестьянина в Керале, который решил голосовать за коммунистов. Я смелел: в один прекрасный день я намеренно забрался в голову руководителю нашего государственного совета и обнаружил, за двадцать лет до того, как это стало излюбленной национальной хохмой, что Морарджи Десаи ежедневно «пил свою воду»… я был внутри него и ощутил теплоту, когда сей государственный муж опрокинул в себя стаканчик пенящейся мочи[203]. И наконец я достиг самых высот: я стал Джавахарлалом Неру, премьер-министром и автором письма в рамочке: я сидел с великим человеком среди кучки беззубых с клочковатыми бородами астрологов и приводил пятилетний план в гармонию с музыкой сфер… жизнь в высшем свете опьяняет. «Глядите на меня! – заходился я в беззвучном восторге. – Я могу отправиться куда захочу!» В башне, которая когда-то была битком набита взрывчатыми творениями Жозефа Д'Косты, плодами его ненависти, некая фраза (в такт которой весьма уместно звучало «тик-так» в моем левом ухе) совсем готовой пришла мне на ум: «Я – бомба в Бомбее… глядите, как я взрываюсь!»

Ибо у меня появилось чувство, что я так или иначе создаю мир; что мысли, в которые я впрыгиваю, – *мои* мысли; что тела, которые я занимаю, действуют по моей команде; что, когда все текущие события в политике, искусстве, спорте, все богатство и разнообразие новостей, передаваемых центральной радиостанцией, вливается в меня, – я каким-то образом *заставляю происходящее происходить*... То есть мною завладела иллюзия артиста, художника-творца, и многолюдные реальности моей страны я стал считать сырым, необработанным материалом, которому только мой дар способен был придать форму. «Я могу обнаружить все, что угодно, – ликовал я. – Нет такой вещи, какую я не мог бы узнать!»

Теперь, глядя назад на те утраченные, померкшие годы, я могу сказать, что дух бахвальства, обуявший меня тогда, был рефлексом, порожденным инстинктом самосохранения. Если бы я не верил в то, что управляю несметным потоком толп, – личности, сбитые в массу, уничтожили бы меня… но здесь, в часовой башне, полный моего хвастливого ликования, я сделался Сином, древним богом луны (нет, не индуистским: я позаимствовал его из древнего Хадрамаута), способным воздействовать-на-расстоянии и направлять приливы мира.

Но смерть, когда она посетила имение Месволда, все же застала меня врасплох.

Хотя активы моего отца и были разморожены много лет тому назад, местечко ниже пояса у Ахмеда Синая оставалось холодным, как лед. С того самого дня, как он закричал: «Эти ублюдки заморозили мне яйца, сунули в ведро со льдом!» – и Амина взяла их в руки, чтобы согреть, и пальцы ее примерзли, – член Ахмеда впал в спячку; поросший волосами слон внутри айсберга, вроде того, которого нашли в России в пятьдесят шестом году[204]. Моя мать Амина, которая вышла замуж, чтобы иметь детей, чувствовала, как незачатые жизни разлагаются в ее лоне, и винила себя в том, что не может привлечь супруга из-за мозолей и прочего. Она делилась своим злосчастьем с Мари Перейрой, но няня толковала ей,

---

203

204

что нет счастья в том, чтобы тобой наслаждались «мущщины»; за разговором они вместе готовили маринады, и Амина вкладывала свои невзгоды в горячую приправу из лайма, от которой всегда выступали слезы.

Хотя те часы, которые Ахмед Синай проводил в конторе, были наполнены фантазиями о секретаршах, пишущих под диктовку в чем мать родила, видениями Фернанд и Поппи, расхаживающих по кабинету голышом, с сеточкой от плетеного стула на ягодицах, его аппарат никак на это не отзывался; и однажды, когда реальная Фернанда (или Поппи) ушла домой, а мой отец играл в шахматы с доктором Нарликаром, его язык (так же, как и игру) развязали джинны, и он сделал неуклюжее признание: «Нарликар, кажется, я потерял интерес сам-знаешь-к-чему».

Исполненный сияния гинеколог весь засветился от удовольствия; темнокожий, блистающий доктор, фанатичный приверженец контроля за рождаемостью, вперил взгляд в Ахмеда Синая и разразился следующей речью: «Браво! – вскричал доктор Нарликар. – Братец Синай, *ты это прекрасно придумал!* Ты и, должен добавить, я, да мы с тобой, Синай-бхаи, – люди редких духовных достоинств! Не для нас низменные судороги плоти – не лучше ли, не утонченней, хочу я тебя спросить, избегать продолжения рода, отказавшись добавить еще одну жалкую человеческую жизнь к тем огромным толпам, что нищенствуют в нашей стране, и вместо этого направить нашу энергию на то, чтобы *дать им больше земли?* Говорю тебе, дружище, ты, я да наши тетраподы – мы достанем землю с океанского дна!» Дабы отметить эту тираду, Ахмед Синай наполнил стаканы; отец и доктор Нарликар выпили за свою бетонную, о четырех ногах, мечту.

– Земле – да! Любви – нет! – провозгласил доктор Нарликар, слегка запинаясь; мой отец снова налил ему.

В последние дни 1956 года мечта о земле, отвоеванной у моря с помощью тысяч и тысяч больших бетонных тетраподов, – та самая мечта, которая и послужила причиной замораживания, а теперь заменяла отцу сексуальную активность, замороженную вместе с активами, – эта мечта вот-вот, казалось, готова была воплотиться в жизнь. Но на этот раз Ахмед Синай тратил деньги осторожно; на этот раз он скрывался на заднем плане, и его имя не значилось ни в каких документах; на этот раз он усвоил урок замораживания и решил привлекать к себе как можно меньше внимания; так что, когда доктор Нарликар предал его, внезапно умерев и не оставив ни единой записи об участии моего отца в производстве тетраподов, Ахмед Синай (склонный, как мы уже видели, теряться перед лицом катастрофы) был, словно пастью длинного, извивающегося змея, поглощен бездной упадка, из которой так и не выбрался до тех пор, пока, в самом конце своих дней, не влюбился в собственную жену.

Вот какую историю рассказывали в имении Месволда: доктор Нарликар пошел навестить друзей, живших неподалеку от Марин-драйв; возвращаясь домой, он решил прогуляться до Чаупати-бич, съесть бхел-пури[205], выпить кокосового молока. Бодро шагая вдоль волнореза, он догнал хвост марша языков: процессия не спеша продвигалась вперед, мирно распевая песни. Доктор Нарликар подошел к тому месту, где с разрешения муниципального совета был его стараниями поставлен у волнореза один-единственный символический тетрапод – некая икона, священный образ, предвещающий грядущие дни; и тут он заметил нечто, буквально лишившее его рассудка. Кучка нищенок столпилась вокруг тетрапода; женщины совершали «пуджу»[206]. Они зажгли масляные светильники у подножия означенного предмета; одна нарисовала символ ОМ[207]на поднятой лапе; распевая молитвы, тетки подвергали тетрапод тщательному, благоговейному омовению. Чудо техники было

205
206
207

превращено в лингам[208]Шивы; доктор Нарликар, борец с плодородием, прямо-таки осатанел от такого зрелища; ему казалось, будто все вековые, темные, приапические[209]силы древней плодовитой Индии обрушились на стерильную красоту бетона, символ двадцатого столетия. На бегу он осыпал молящихся теток яростной бранью, нестерпимо сияющий в своем гневе; затем пинками расшвырял их маленькие светильники; и, говорят, даже попытался оттолкнуть теток. И это все увидели участники марша языков.

Участники *марша языков* услышали выражения, сорвавшиеся с его уст; они замедлили шаг, подняли голоса в защиту женщин. Стали потрясать кулаками, клясться всеми богами. И тут наш добрый доктор, ослепленный гневом, повернулся к марширующим и прошелся по поводу их общей борьбы, обстоятельств их рождения и поведения их сестер. Над набережной нависла тишина, все подпали под ее власть. Тишина направила шаги марширующих к исполненному сияния гинекологу, который стоял между тетраподом и воющими тетками. В тишине руки марширующих протянулись к Нарликару, а тот, не нарушая молчания, вцепился в четвероногое бетонное чудо, от которого его пытались оторвать. В абсолютном безмолвии страх придал доктору Нарликару силы бюрократа, что цепляется за свое место; руки его буквально прилипли к тетраподу; доктора и его творение было невозможно разъять. Тогда марширующие занялись тетраподом… в молчании начали раскачивать его; без единого звука общие усилия бессчетной толпы одолели его вес. В тот вечер, охваченный демоническим покоем, тетрапод покачнулся, готовясь первым из ему подобных кануть в глубокие воды и начать великое дело приращения земли. Доктор Суреш Нарликар, разинув рот в беззвучном «А», распластался по бетону, словно фосфорецирующий моллюск… человек и его четвероногое чудо рухнули в воду без единого шороха. Всплеск воды разрушил чары.

Говорят, когда доктор Нарликар упал и был раздавлен насмерть своим любимым детищем, найти тело не составило труда, ибо оно сияло, как пламя, посылая свой свет из глубины.

«Ты знаешь, что тут творится?» – «Эй, послушай, в чем дело?» – дети, и я в их числе, столпились у изгороди, за которой начинался сад виллы Эскориал, где находилась холостяцкая квартира доктора Нарликара; и хамал Лилы Сабармати, напустив на себя торжественный вид, сообщил нам: «Принесли домой его смерть, завернутую в шелка».

Мне не позволили увидеть смерть доктора Нарликара, увитую шафрановыми цветами, лежащую на жесткой, узкой кровати, но я все равно обо всем узнал, потому что вести разлетелись далеко за пределы этой комнаты. Больше всего я узнал от слуг имения, для которых было естественно в открытую говорить о смерти и которые, наоборот, редко распространялись о жизни, ибо в жизни все и так очевидно. От посыльного самого доктора Нарликара я узнал, что смерть, поглотившая огромное количество воды, приобрела ее качества: она стала текучей и выглядела то счастливой, то печальной, то безразличной, судя по тому, как падал свет. Тут вмешался садовник Хоми Катрака: «Опасно смотреть на смерть слишком долго, иначе в тебя попадет ее частица, и ты уйдешь с ней внутри и только потом об этом узнаешь». Мы стали расспрашивать: «Узнаем? Как узнаем? По чему узнаем? Когда?» И Пурушоттам-садху, который впервые за много лет вылез из-под садового крана на вилле Букингем, сказал: «Смерть заставляет живых слишком ясно видеть самих себя; побывав рядом с нею, живой начинает выпячивать себя». Столь необычайное заявление было и в самом деле подкреплено фактами, ибо няня Токси Катрак Би-Аппа, которая помогала обмывать тело, сделалась еще более крикливой, злобной, страшной, чем раньше; кажется, все, кто видел, как смерть доктора Нарликара лежала для всеобщего обозрения, испытал это на себе; Нусси Ибрахим поглупела еще больше и стала еще более походить на утицу, а Лила Сабармати, жившая прямо над смертью и помогавшая убирать для нее комнату,

208
209

предалась распутству, которое всегда таилось в ней, и пошла по той дорожке, в конце которой ее встретили пули, а ее муж, командор Сабармати, регулировал уличное движение на Колабе с помощью невиданного жезла…

Но наша семья осталась в стороне от смерти. Отец отказался пойти почтить память покойного и никогда больше не произносил имени усопшего друга, называя его не иначе как «этот предатель».

Два дня спустя, когда новость появилась в газетах, доктор Нарликар внезапно оброс чудовищных размеров семейством, состоящим из одних женщин. Всю свою жизнь он был холостяком и женоненавистником, а после смерти его поглотило море крикливых, всезнающих великанш, которые сползлись из неведомых городских трущоб, с молочных ферм Амула, где они доили коров, из билетных касс кинотеатров, из уличных киосков с содовой водой, из несчастливых браков; в тот год процессий и шествий женщины Нарликара тоже устроили настоящий парад; чудовищный поток несоразмерных бабищ потек на наш двухэтажный холм, настолько запрудив квартиру доктора Нарликара, что снизу, с улицы, можно было видеть их локти, торчащие из окон, и зады, свисающие с веранды. Неделю никто не мог уснуть, ибо воздух содрогался от воя женщин Нарликара; но вопли воплями, а тетки эти на деле оказались столь же ушлыми, как и на вид. Они взяли на себя руководство родильным домом; они вникли во все деловые бумаги; и они с чистой душой не моргнув глазом отстранили моего отца от тетраподов. После всех этих лет он остался ни с чем, с дырой в кармане; а женщины отвезли тело Нарликара в Бенарес и там кремировали, и один из слуг имения шепнул мне, что, как они слышали, пепел доктора был развеян в сумерки над водами Священной Ганги возле Маникарника-гхат и не потонул, а поплыл по волнам крошечными светлячками; а когда пепел вынесло в море, это странное свечение, должно быть, приводило в трепет бывалых капитанов.

Что до Ахмеда Синая, то я готов поклясться: именно после смерти Нарликара и прибытия женщин он начал самым буквальным образом обесцвечиваться… кожа его постепенно бледнела, волосы выцветали, и через несколько месяцев он стал совершенно белым, темными оставались одни глаза. (Мари Перейра сказала Амине: «У этого человека такая холодная кровь, что кожа его обратилась в лед, в белый лед, такой, как в холодильнике»). Должен признаться со всей откровенностью, что, хотя отец и делал вид, будто его беспокоит такое превращение в белого человека, ходил по врачам и так далее, в глубине души он был доволен, когда доктора не смогли объяснить, с чем это связано, и назначить лечение, потому что давно завидовали светлой коже европейцев. Однажды, когда уже было позволено шутить (со времени смерти доктора Нарликара прошел приличествующий срок), он сказал Лиле Сабармати в час коктейля: «Все лучшие люди – белые под своей кожей; я только бросил прикидываться». Соседи, чья кожа была куда темнее, вежливо посмеялись и как будто устыдились чего-то.

Обстоятельства со всей очевидностью указывают: удар, вызванный смертью Нарликара, послужил причиной того, что я получил отца, белого как снег в сочетании с матерью цвета черного дерева; но (хоть и не знаю, сможете ли вы это проглотить) я рискнул бы выдвинуть альтернативное объяснение – теорию, разработанную в отвлеченном одиночестве часовой башни… ибо во время моих непрерывных духовных странствий я обнаружил нечто весьма своеобразное: в первые девять лет независимости подобному расстройству пигментации (первой мне известной жертвой которого была, наверное, рани Куч Нахин) подверглось немалое число индийских бизнесменов. По всей Индии я натыкался на добросовестных национальных дельцов, чье богатство прирастало благодаря первому пятилетнему плану; которые всячески стремились поднять коммерцию… и эти деловые люди сильно, сильно побледнели или продолжали бледнеть на глазах! Кажется, что достойные раблезианских великанов усилия (пусть даже героические), направленные на то, чтобы избавиться от британской опеки и стать хозяевами своей судьбы, согнали краску с их щек… в таком случае мой отец был запоздалой жертвой весьма распространенного, хотя и никем не замеченного, явления. Индийские бизнесмены белели.

Ну, на сегодня писанины довольно: вам будет обо что обломать зубы. На подходе Эвелин Лилит Бернс, мучительно близится кафе «Пионер»; и – что более существенно – другие дети полуночи, в том числе Шива, мой двойник (тот, со смертоносными коленками), давят изо всей мочи. Скоро трещины станут шире и выпустят их…

Кстати: примерно в конце 1956 года певец и рогач Уи Уилли Уинки вроде бы тоже встретил свою смерть.

Любовь в Бомбее

Во время Рамадана, месяца поста, мы ходили в кино так часто, как только могли. После того, как мать прилежно будила меня в пять утра, после завтрака в потемках, состоявшего из дыни и подслащенной лимонной воды, и особенно по воскресеньям, мы с Медной Мартышкой по очереди (а иногда и в унисон) напоминали Амине: «Мы хотели пойти на сеанс десять тридцать! Сегодня в „Метро Каб“ клубный день, пожа-а-а-алуйста, амма!» Затем мы ехали на «ровере» в кинематограф, где не пили кока-колы, не ели ни чипсов, ни мороженого «Кволити», ни самос из жирной бумажки, но в зале по крайней мере работал кондиционер; нам прикрепляли на грудь значки «Каб-клуба», затем устраивались состязания, а дяденька с нелепыми усами объявлял, у кого нынче день рождения; и, наконец, начинался фильм, после анонсов (в которых значилось: «Следующий хит» или «Скоро на экранах») и мультика («Через минуту вы увидите главный фильм, но сначала…!») – например «Квентин Дорвард», или «Скарамуш». «Потрясный ужастик», – делились мы потом друг с другом, как завзятые киношники; или: «Классная похабель!» – хотя никто из нас понятия не имел, что такое ужастик и что принято считать похабным. Молились в нашей семье нечасто (лишь в Ид-уль-Фитр[210]отец водил меня в пятницу в мечеть, где ради праздника я повязывал платок вокруг головы и прижимался лбом к полу)… но постились мы охотно, потому что любили ходить в кино.

Мы с Эви Бернс думали одинаково: величайшей кинозвездой в мире был Роберт Тэйлор. Мне нравился и Джей Сильверхилс в роли Тонто; но его младший партнер, Клейтон Мур, по моему мнению, был слишком толстым для Одинокого Странника.

Эвелин Лилит Бернс явилась в первый день нового 1957-го года к своему овдовевшему отцу, который занимал квартиру в одном из двух приземистых безобразных блочных домов, что выросли почти незаметно для нас у подножия нашего холма: в них существовала странная сегрегация: американцы и другие иностранцы жили (как Эви) в Нур Виль, а добившиеся успеха выскочки-индийцы – в Лакшми Вилас. Из имения Месволда мы взирали сверху вниз на них на всех, на белых и на коричневых; но на Эви Бернс никто бы не осмелился так взглянуть, кроме одного случая. Лишь единожды нашелся тот, кто одержал над ней верх.

Еще до того, как натянуть первую пару длинных брюк, я влюбился в Эви; но любовь в тот год была чем-то вроде цепной реакции. Чтобы сэкономить время, я усажу нас всех на один ряд в кинотеатре «Метро»: Роберт Тэйлор отражается в наших глазах, и мы застыли перед мерцающим светом экрана в немом благоговении и в такой символической последовательности: Салем Синай влюблен-в-сидит-рядом-с Эви Бернс, которая влюблена-в-сидит-рядом-с Сонни Ибрахимом, который влюблен-в-сидит-рядом-с Медной Мартышкой, которая сидит у прохода и жестоко страдает от голода… я любил Эви, наверное, месяцев шесть; еще через два года она вернулась в Америку, зарезала какую-то старуху, и ее отправили в исправительную колонию.

Настало время вкратце выразить мою благодарность: если бы Эви не приехала к нам жить, моя история не пошла бы дальше туризма-в-часовой-башне и жульничества в классе… и, значит, не наступила бы кульминация в приюте вдовы; я не получил бы ясного доказательства смысла собственной жизни; и не прозвучала бы кода на фабрике, полной

210

испарений, над которой царит мигающая, шафраново-зеленая танцующая фигура неоновой богини Мумбадеви. Но Эви Бернс (была она змейкой или лесенкой? Ответ очевиден: *тем и другим)* прибыла вместе со своим серебристым велосипедом и помогла мне не только обнаружить детей полуночи, но и обеспечить раздел штата Бомбей.

Начну сначала: волосы ее были сделаны из соломы, как у огородного пугала, кожа усеяна веснушками, а зубы помещены в клетку из металла. Зубы эти, кажется, были единственным в целом свете предметом, над которым Эви была не властна – они росли как попало, торчали сикось-накось, будто камни из булыжной мостовой, и ужасно болели от мороженого. (Позволю себе сделать одно обобщение: американцы подчинили себе весь мир, но не имеют власти над своими зубами; Индия бессильна, однако у ее детей, как правило, отличные зубы).

Терзаемая зубной болью, моя великолепная Эви справлялась со своими страданиями. Отказываясь зависеть от каких-то костей и десен, она ела пирожные и пила кока-колу при всяком удобном случае и никогда не жаловалась. Сильная девчонка Эви Бернс: эта победа над болью утверждала ее превосходство над нами. Замечено, что американцам нужна граница, которую необходимо отодвинуть; для Эви боль была такой границей, и маленькая американка передвигала ее все дальше и дальше.

Однажды я застенчиво протянул ей цветочную гирлянду (королева ночи для моей предвечерней лилии), которую купил на свои карманные деньги у уличной торговки на Скандал Пойнт. «Я цветов не ношу», – заявила Эвелин Лилит, подбросила в воздух отвергнутую гирлянду и расстреляла ее влет пульками из не дающего промаха пневматического пистолета «Маргаритка». Расстреливая цветы из «Маргаритки», она хотела показать, что не желает быть связанной даже ожерельем – наша своенравная, шальная Лилия Долины. И Ева. Ребро Адама, свет моих очей.

Вот как она явилась: Сонни Ибрахим, братья Сабармати, Одноглазый и Прилизанный, Кирус Дюбаш, Мартышка и я играли во французский крикет на круглой площадке между четырьмя дворцами Месволда. Самая подходящая игра для первого дня нового года: Токси стучит в зарешеченное окно; сама Би-Аппа в хорошем настроении и не орет на нас. Крикет – даже французский крикет, даже когда в него играет детвора – игра спокойная, мирная и благонравная. Кожаный мяч влетает в плетеные воротца, шелестящие аплодисменты, время от времени крик: «Удар! Бейте, сэр!» – «Ах, так??» – но Эви на своем велосипеде все тут же переменила.

– Эй, вы! Слышите, вы! Эй, чё вы там? Оглохли, а?

Я как раз бил по мячу (изящно, как Ранджи, мощно, как Вину Манкад), когда она примчалась к нам на холм на двухколесном велосипеде – соломенные патлы вразлет, веснушки горят угольками, металл во рту сияет, в солнечных лучах, словно огни светофора – огородное пугало верхом на серебристом снаряде… «Эй, ты, с соплями! Хватит пялиться на дурацкий мяч, ты, доходяга! Я вам сейчас покажу кое-что покруче!»

Невозможно изобразить Эви Бернс, не вызвав к жизни ее велосипеда; он был не просто двухколесный, а один из последних великих старичков, индийский велосипед «Арджуна» в прекрасном состоянии, с подвеской-рулем-штангой, обмотанными пятнистой тесьмой, и пятью передачами, и сиденьем из резиновой шкуры гепарда. И серебристая рама (нужно ли напоминать вам, что именно такой масти был конь у Одинокого Странника)… разгильдяй Одноглазый и чистюля Прилизанный, гениальный Кирус, и Мартышка, и Сонни Ибрахим, и я – друзья не разлей вода, истинные дети имения, его законные наследники; Сонни, медлительный, наивный, каким он был всегда, с тех пор, как щипцы оставили вмятинки у него в мозгу, и я с моим опасным тайным знанием – да, мы все, будущие матадоры, и морские офицеры, и так далее, застыли, разинув рты, когда Эви Бернс припустила на своем велосипеде, быстрей-быстрей-быстрей, накручивая круги по нашей площадке: «Смотрите на меня, глядите, как я катаюсь, вы, балбесы!»

Над и под гепардовым сиденьем Эви устроила спектакль. Она делала ласточку, не прекращая крутиться вокруг нас; набирала скорость, а потом вставала на голову прямо на

сиденье! Она могла ездить задом наперед и крутить педали в обратную сторону …законы тяготения подчинялись ей, скорость была ее стихией, и мы поняли, что за сила явилась к нам, что за ведьма на двух колесах; и цветы, увивавшие живые изгороди, роняли свои лепестки, и пыль с круглой площадки поднималась облаками оваций, ибо круглая площадка тоже обрела свою повелительницу: площадка была холстом, а бешено вращающиеся колеса – кистями.

И тут мы заметили, что у нашей героини на правом бедре висит пневматический пистолет «Маргаритка»… «Глядите еще, вы, недоумки!» – завопила она и вытащила свое оружие. Пульки ее поднимали в воздух мелкие камешки; мы подбрасывали анны, а Эви сшибала монеты на лету, и те падали замертво. «Бросайте! Бросайте еще мишени!» – и Одноглазый безропотно пожертвовал свою любимую колоду карт, а Эви отстрелила головы королям. Энни Оукли с пластинкой на зубах – никто не посмел бы поставить под сомнение меткость ее стрельбы, кроме одного случая, после которого и окончилось ее царствование, а случилось это во время великого нашествия кошек, и в наличии имелись смягчающие обстоятельства.

Красная, потная, Эви Бернс слезла с велосипеда и заявила: «С сегодняшнего дня здесь будет новый великий вождь. О'кей, индейцы? Есть возражения?»

Возражений не было; а я понял, что влюбился.

На Джуху-бич с Эви: она выигрывала скачки на верблюдах, могла выпить больше всех кокосового молока, могла открывать глаза под водой, под едкой, соленой водой Аравийского моря.

Разве шесть месяцев – такая большая разница? (Эви была старше меня на полгода.) Разве это дает право на равных разговаривать со взрослыми? Видели, как Эви болтает со стариком Ибрахимом Ибрахимом; она уверяла, будто Лила Сабармати учит ее накладывать макияж; она навещала Хоми Катрака и беседовала с ним о пистолетах. (Трагическая ирония жизни заключалась в том, что Хоми Катрак, на которого в один прекрасный день будет наведен ствол револьвера, являлся истинным фанатиком огнестрельного оружия… в Эви он нашел родственную душу, эта девочка, растущая без матери, была, в отличие от его Токси, острой, как бритва, и умной, как сто чертей. Кстати, Эви Бернс нисколечки не сочувствовала бедной Токси Катрак. «С головой не в порядке, – небрежно роняла она, обращаясь к нам всем. – Давить таких надо, как крыс». Но, Эви, крысы не слабоумны! В твоем лице было больше от этого грызуна, чем во всей презираемой тобой Токси, вместе взятой.)

Вот какова была Эвелин Лилит, и через несколько недель после ее приезда я развязал цепную реакцию, от последствий которой не избавлюсь уже никогда.

Первым был Сонни Ибрахим, Сонни-что-живет-рядом, Сонни с вмятинками от щипцов, который до сих пор спокойно сидел на задворках моей истории, дожидаясь своего часа. В те дни Сонни был вконец измочален: не только щипцы оставили на нем отметины. Любить Медную Мартышку (даже в том смысле, какой вкладывают в это слово десятилетние) было очень непросто.

Как я уже говорил, моя сестра, рожденная после меня и без всяких предзнаменований, бесилась и вспыхивала от любого признания в нежных чувствах. Хотя, как все верили, она понимала язык птиц и кошек, сладкие речи влюбленных пробуждали в ней чуть ли не звериную ярость; но Сонни был слишком прост, чтобы остерегаться. Уже несколько месяцев он донимал ее такими речами: «Сестрица Салема, ты отличная девчонка!» или «Послушай, давай дружить? Мы бы могли как-нибудь пойти в кино с твоей няней…» И столько же месяцев она заставляла его страдать от любви: ябедничала его матери, толкала его в грязные лужи нарочно-нечаянно; однажды даже набросилась на него, оставив на его щеках длинные продольные царапины, а в глазах – грустное выражение побитой собаки; но это ничему его не научило. И тогда она задумала свою самую ужасную месть.

Мартышка ходила в школу для девочек Уолсингема на Нипиан Си-роуд; в той школе было полно высоких, с великолепной мускулатурой европейских дев, которые плавали как рыбы и ныряли, как субмарины. После уроков мы могли наблюдать из окна нашей спальни, как они плещутся в сделанном в форме карты бассейне клуба «Брич Кэнди», куда нам,

разумеется, вход был закрыт… и когда я обнаружил, что Мартышка прилепилась каким-то образом к этим сегрегированным пловчихам, которые относились к ней, как к забавной зверушке-талисману, я впервые на нее по-настоящему обиделся… но спорить с ней было невозможно, она всегда поступала по-своему. Пятнадцатилетние белые девахи, все здоровенные как на подбор, позволяли ей садиться рядом с собой в автобусе школы Уолсингема. Три такие девицы каждое утро ждали автобуса вместе с ней на том же самом месте, где Сонни, Одноглазый, Прилизанный, Кир Великий и я ждали автобуса из Соборной школы.

Однажды утром, не помню почему, мы с Сонни оказались единственными мальчишками на остановке. Может, была эпидемия или что-то в этом роде. Мартышка подождала, пока Мари Перейра оставит нас под присмотром здоровущих пловчих, и тогда то, что задумала сестрица, сверкнуло у меня в голове, потому что я просто так, без особой причины, настроился на ее мысли; я завопил: «Эй!», но было уже слишком поздно. Мартышка заверещала: «Ты в это дело не лезь!» – и вместе с тремя здоровенными пловчихами набросилась на Сонни Ибрахима; нищие попрошайки и бездомные бродяги откровенно забавлялись зрелищем, потому что девицы срывали с пацана одежду тряпка за тряпкой… «Черт, ты так и будешь стоять и смотреть?» – взвыл Сонни, моля о помощи, но я не мог сдвинуться с места: как было выбрать, на чьей я стороне – сестры или лучшего друга? – а он: «Я папе все расскажу!» – уже со слезами, а Мартышка: «Будешь знать, как нести всякую чушь – вот тебе, будешь знать», – прочь башмаки, рубашка в клочья; майку содрала чемпионка по прыжкам с вышки. «Будешь знать, как писать сопливые любовные письма», – вот и носки исчезли, и слезы льются рекой, и… «Пришел!» – завопила Мартышка; подъехал уолсингемский автобус; девы-воительницы вместе с моей сестрицей запрыгнули внутрь и умчались. «Бу-бу-бу-бу, любовничек!» – загоготали они, и Сонни остался на улице, напротив магазина Чималкера и «Рая книголюбов», и стоял он в чем мать родила; вмятинки от щипцов блестели, как горные озера, потому что туда затек вазелин со взмокших волос; глаза у Сонни тоже были на мокром месте: «Зачем она сделала это, а? Зачем – ведь я только сказал ей, что она мне нравится…»

– Спроси чего полегче, – ответил я, не зная, куда девать глаза. – Она всегда так – делает, и все. – Разве мог я тогда догадаться, что придет время, и она обойдется со мной еще хуже.

Но это случится через девять лет – а пока, в начале 1957 года, разгорается избирательная кампания: Джан Сангх[211] борется за приюты для престарелых священных коров; в Керале Е.М.С. Намбудирипад[212] обещает, что при коммунизме у всякого будет еда и работа; в Мадрасе «Анна-ДМК», партия С.Н. Аннадурая[213], раздувает пламя регионализма. Конгресс отвечает реформами, такими, например, как акт об Индуистском праве наследования, по которому индусские женщины получали равные права при передаче имущества… короче говоря, каждый стоял за себя изо всех сил; и только у меня язык прилипал к нёбу в присутствии Эви Бернс, и я решил попросить Сонни Ибрахима поговорить с ней от моего лица.

Мы в Индии всегда легко поддавались влиянию европейцев… Эви жила с нами всего несколько недель, а я уже впал в гротескное подражание европейской литературе. (Мы в школе ставили «Сирано», с сокращениями; а еще я прочел комикс под названием «Классики в иллюстрациях»). Может быть, следовало бы честно признаться, что все, идущее из Европы, повторяется в Индии в виде фарса… Правда, Эви была американкой. Но это не важно.

– Послушай, это нечестно: почему ты сам не поговоришь?

– Сонни, – молил я, – ты ведь мне друг, правда?

– Ага-а-а, а ты мне тогда не помог…

– Но то была моя сестра, Сонни, как бы я стал с ней драться?

211

212

213

– Ну, так занимайся сам своими грязными…

– Эй, Сонни, ты подумай. Подумай хорошенько. К девчонкам нужен особый подход. Видел, как Мартышка взбесилась! У тебя есть опыт, да-а-а, ты через это прошел. Ты теперь знаешь, как надо действовать: потихоньку, осторожно. А я – что я знаю? Может, я ей совсем не нравлюсь. Ты хочешь, чтобы и с меня тоже содрали одежду? Тебе от этого будет легче?

И наивный, добродушный Сонни:

– Ну… нет…

– Тогда ладно. Сходи к ней. Похвали меня как-нибудь. Скажи, чтобы не смотрела на мой нос. Главное – какой я человек. Сделаешь?

– Ну-у-у… я… ладно, только и ты поговори с сестренкой, а?

– Поговорю, Сонни. Но что я могу обещать? Ты же знаешь, какая она. Но поговорю, будь уверен.

Вы можете строить свою стратегию со всем тщанием, но женщины единым ударом разрушат все ваши планы. На каждую успешную избирательную кампанию приходятся две, которые заканчиваются провалом… с веранды виллы Букингем, сквозь жалюзи, я подглядывал за тем, как Сонни Ибрахим обрабатывает моих избирателей… и услышал голос электората – резкий гортанный говорок Эви Бернс, полный убийственного презрения: «Кто? *Этот?* Пойди скажи ему, чтобы подобрал сопли! Этот чихун? Он даже не умеет кататься на *велосипеде!»*

Что было чистой правдой.

Но худшее впереди, ибо сейчас (хотя жалюзи и делят сцену на узкие полоски) не вижу ли я, как лицо Эви смягчается, меняет выражение? – не протягивает ли Эви руку (разрезанную по всей длине дощечкой жалюзи) к моему доверенному представителю – не касаются ли пальцы Эви (с ногтями, обгрызенными до мяса) впадинок на лбу у Сонни, пачкая кончики в растаявшем вазелине? – сказала Эви или нет следующие слова: «Ну вот ты, например, другое дело; ты такой *милый»!* Позвольте мне признаться с грустью: да, я видел; да, она протянула руку и коснулась его; да, она сказала.

Салем Синай любит Эви Бернс; Эви любит Сонни Ибрахима; Сонни сходит с ума по Медной Мартышке; а что говорит Мартышка?

– О, Аллах, не морочь мне голову, – сказала сестра, когда я попытался, проявив изрядное благородство (если учесть, что он провалил свою миссию), выступить в защиту Сонни. Избиратели забаллотировали нас обоих.

Но это еще не конец. Эви Бернс – моя сирена, которой я всегда был безразличен, следует признаться, – неудержимо влечет меня к падению. (Но я не держу на нее зла, ибо, упав, я вознесся).

Наедине с собой, в часовой башне, я отрывался от странствий по субконтиненту, придумывая, как покорить сердце моей веснушчатой Евы. «Забудь о посредниках, – напутствовал я себя. – Ты должен постараться сам!» Наконец я составил план действий: нужно приобщиться к ее интересам, сделать своими ее пристрастия… пистолеты меня никогда не привлекали. Я решил научиться ездить на велосипеде.

В те дни Эви, вняв многочисленным просьбам ребятишек с вершины холма, согласилась обучить их своему искусству; так что я должен был попросту встать в очередь и брать уроки. Мы собрались на круглой площадке. Эви, повелительница, стояла посередине, окруженная пятью вихляющими, жадно ловящими каждое ее слово ездоками… а я, не имея велосипеда, стоял рядом с ней. До того, как появилась Эви, я не выказывал интереса к колесным механизмам, вот мне их и не покупали… я смиренно терпел уколы язвительного Эвиного язычка.

– Ты что, с *луны* свалился, нос-картошкой? Уж не хочешь ли ты прокатиться на моем велике?

– Нет, – соврал я, полный раскаяния, и она чуть оттаяла.

– О'кей, о'кей, – пожала плечами Эви. – Полезай в седло, и посмотрим, из какого теста

ты сделан.

Признаюсь, что, взобравшись на серебристый индийский велосипед «Арджуна», я испытал чистейший восторг; что, пока Эви ходила круг-за-кругом, ведя велосипед за руль и спрашивая время от времени: «Ну что, держишь равновесие? *Нет?* Черт, да вы все и за год не научитесь!» Пока мы с Эви двигались по кругу, я ощущал – так это вроде бы называется – счастье.

Круг-за-кругом-за… Наконец, чтобы ей понравиться, я пробормотал: «О'кей… я думаю, я… можешь отпустить», – и в ту же секунду я был предоставлен самому себе; она крепко толкнула меня на прощание, и серебристая машина полетела, сверкающая, неуправляемая, через круглую площадку… я слышал, как Эви кричит: «Тормоз! Возьмись за тормоз, болван!» – но руки не слушались меня, я будто аршин проглотил, и вот – *гляди, куда едешь* – передо мной возник синий двухколесный велосипед Сонни Ибрахима, столкновение было неизбежным; *поворачивай, псих.* Сонни в своем седле попытался вывернуть руль, но синий мчался к серебристому; Сонни свернул направо, я тоже – *а-а-ай, мой велик* – и колесо серебристого коснулось колеса синего, рама сцепилась с рамой, меня подбросило вверх, и я полетел через руль к Сонни, который по точно такой же параболе приближался ко мне – *хрясь* – наши велосипеды свалились на землю, сплетясь в тесном объятии – *хрясь* – мы с Сонни столкнулись в воздухе, стукнулись головами… Девять лет тому назад я родился с выпирающими набровными дугами, а Сонни получил свои вмятинки от акушерских щипцов; все в этом мире ведет к чему-то, сдается мне; ибо теперь шишки на моем лбу попали прямо во вмятинки Сонни. Идеальное сцепление. Так, сцепившись головами, мы начали опускаться на землю и упали, к счастью, не на велосипеды – *бэмс* – и на какое-то мгновение мир исчез.

Потом появилась Эви, с веснушками, полыхающими огнем: «Ах ты, гад ползучий, коробка соплей, ты разбил мой…» Но я ее не слушал, потому что происшествие на круглой площадке довершило то, что началось с катастрофы в бельевой корзине – они были у меня в голове, уже на переднем плане; уже не приглушенным фоновым шумом, которого я никогда не воспринимал; все они посылали свои сигналы – я здесь, я здесь – с севера-юга-востока-запада… другие дети, рожденные в тот полночный час, звали, перекликались: «я», «я», «я» и «я».

– Эй! Эй, Сопливец! Ты в порядке?.. Эй, позовите кто-нибудь его *мамашу!*

Помехи, сплошные помехи! Различные части моей довольно сложной жизни отказываются с каким-то беспричинным упрямством оставаться в предназначенных для них отсеках. Голоса выплескиваются из часовой башни и заполоняют круглую площадку, которая вроде бы является владением Эви… и теперь, в тот самый момент, когда я должен был бы описать чудесных детей, родившихся под «тик-так», меня перебросили на приграничном почтовом: похитили, погрузили в клонящийся к упадку мир деда и бабки, так что Адам Азиз загораживает естественное течение моей истории. Ну и ладно. *Что нельзя вылечить, нужно перетерпеть.*

В январе, пока я оправлялся от контузии, вызванной падением с велосипеда, родители отвезли нас в Агру на семейную встречу, которая оказалась еще похуже, чем пресловутая (и, по мнению некоторых, вымышленная) Черная Дыра Калькутты[214]. Все две недели мы были вынуждены слушать, как Эмералд и Зульфикар (который дослужился до генерал-майора и требовал, чтобы его называли генералом) сыплют именами и без конца намекают на свое баснословное богатство: они значились седьмыми в списке богатейших семей Пакистана; их сын Зафар попытался (но лишь единожды!) подергать Мартышку за начинающие тускнеть конские хвостики. И мы вынуждены были наблюдать в безмолвном ужасе, как мой дядя Мустафа, государственный служащий, и его жена Соня, наполовину иранка, буквально стирают в порошок своих забитых, запуганных отпрысков, бесполых и безымянных; горький дух девичества Алии носился в воздухе и отравлял нам пищу, и мой отец рано уходил в свою

214

комнату, чтобы начать тайную еженощную войну с джиннами; и многое другое, ничуть, ничуть не краше.

Однажды я проснулся ровно в полночь, с последним ударом часов, и обнаружил сон деда у себя в голове; с тех пор я не мог видеть деда иначе – только так, как он сам видел себя: дряхлым, распадающимся на части; а в самой середке, при соответствующем освещении, можно было различить гигантскую тень. По мере того, как убеждения, придававшие ему силы в молодые годы, тускнели под совместным воздействием старости, Достопочтенной Матушки и постепенного ухода друзей-единомышленников, та прежняя дыра вновь возникла в его теле, превращая Адама Азиза в обычного старика, ссохшегося, опустошенного; Бог (и прочие предрассудки), с которыми он боролся так долго, начали вновь утверждать над ним свою власть… а тем временем Достопочтенная Матушка все две недели находила разные способы по мелочам уязвлять ненавистную жену Ханифа, актерку. Именно в тот раз меня и выбрали привидением в детской игре, и я нашел в старом кожаном бауле, заброшенном на дедов шкаф, простыню, изъеденную молью, в которой была, однако, и дыра побольше, сделанная рукой человека: наградой за это открытие были мне (вы это помните) яростные крики деда.

Но кое-чего я там добился. Я подружился с Рашидом, молодым рикшей (тем самым, который в юности испускал беззвучный вопль на кукурузном поле, а потом ввел Надир Хана в сортир к Адаму Азизу): он взял меня под свою опеку и – слова не говоря моим родителям, которые запретили бы это, ибо еще свежа была память о моем падении, – научил меня кататься на велосипеде. Ко времени нашего отъезда я затолкал в себя этот свой секрет вместе с остальными, правда, его я не собирался долго хранить.

…В поезде на обратном пути за стеной купе звучали голоса: «Эй, махарадж! Откройте, великий господин!» – голоса безбилетников вытесняли те голоса, которые мне хотелось бы слушать; те, новые голоса у меня в голове – и вот мы на Центральном вокзале Бомбея; едем домой мимо ипподрома и храма; а теперь Эвелин Лилит Бернс требует, чтобы я покончил с ее ролью прежде, чем сосредоточиться на более высоких предметах.

– Снова дома! – визжит Мартышка. – Ура! Домой-в-Бом! – (Мартышка опять впала в немилость. В Агре она испепелила сапоги генерала).

* * *

Известно, что Комитет по реорганизации штатов предоставил свой рапорт господину Неру еще в октябре 1955 года; через год эти рекомендации были проведены в жизнь. Индия была поделена заново на четырнадцать штатов и шесть административных округов, управляющихся из центра. Но границы штатов не были образованы реками, горами или другими естественными преградами; то были стены слов. Наречия разделили нас: Керала предназначалась для говорящих на языке малаялам, единственном на земле, чье название составляет палиндром-перевертыш; в Карнатаке вы должны были бы по идее говорить на ка?ннада, а обкорнанный штат Мадрас – ныне известный как Тамил-Наду – заключал в себе приверженцев тамильского. Однако же из-за какого-то недосмотра со штатом Бомбей не проделали ничего подобного, и в городе Мумбадеви *марши языков* становились все более протяженными и крикливыми, и наконец преобразовались в две политические партии, «Самьюкта Махараштра Самити» (Партия Объединенной Махараштры), которая ратовала за язык маратхи и требовала создать на Декане штат Махараштра, и «Маха Гуджарат Паришад» (Партия за великий Гуджарат), которая тоже устраивала *марши языков* и мечтала о создании отдельного штата к северу от Бомбея, между полуостровом Катхьявар и Кичским Ранном… Я разогреваю эту давно остывшую историю, эти старые забытые распри между угловатой скупостью маратхи, языка, рожденного в сухой жаре Декана, и рыхлой мягкостью гуджарати, явившегося из катхьяварских болот только затем, чтобы объяснить, почему в тот февральский день 1957 года, сразу после нашего возвращения из Агры, имение Месволда

оказалось отрезанным от остального города потоком что-то распевающих людей, который запрудил Уорден-роуд сильней, чем потоки воды в сезон дождей. Шествие было таким длинным, что проходило целых два дня; говорили, будто ожившая статуя Шиваджи с каменным лицом скакала во главе ее. Демонстранты несли черные флаги; многие из них были владельцами магазинов и объявили хартал; многие – рабочими с текстильных фабрик Мазагуна и Матунги, которые забастовали; но на нашем холме мы ничего не знали о том, кто они такие и откуда взялись; нас, детей, это бесконечное муравьиное шествие по Уорден-роуд притягивало с такой же неудержимой силой, как лампочка притягивает мотылька. Столь огромной была эта демонстрация, такие страсти обуревали ее, что все предыдущие марши изгладились из умов, словно бы никогда и не происходили, а нам запретили спускаться вниз, чтобы взглянуть хотя бы одним глазком. Так кто же оказался самым смелым? Кто подговорил пробраться хотя бы на середину склона, туда, где дорога делает U-образный поворот к Уорден-роуд? Кто сказал: «Чего вы все испугались? Мы только подойдем чуть-чуть поближе, чтобы *взглянуть»?..* Презрев запреты, вылупив глаза, индейцы последовали за своим веснушчатым американским вождем. («Они убили доктора Нарликара – эти, из марша языков», – припомнил Прилизанный и произнес дрожащим голоском. Эви плюнула ему на туфли).

Но у меня, Салема Синая, было на уме другое. «Эви, – сказал я со спокойной небрежностью, – хочешь посмотреть, как я катаюсь на велике?» В ответ – молчание. Зрелище поглотило Эви… и не ее ли палец отпечатался на левой впадинке Сонни Ибрахима, залитой вазелином, – четко, на всеобщее обозрение? Я повторил более настойчиво: «Я умею кататься, Эви. Я взял велик у Мартышки. Хочешь посмотреть?» И Эви – безжалостно: «Я смотрю на то, что внизу. Это классно. С чего это я стану смотреть на тебя?» И я – уже чуть жалобно, шмыгая носом: «Но я *научился,* Эви, ты просто должна…» Рев толпы с Уорден-роуд заглушил мои слова. Эви повернулась ко мне спиной, и Сонни тоже, и Одноглазый, и Прилизанный; даже Кир Великий показал свой интеллектуальный зад… моя сестра, которая тоже заметила отпечаток пальца и расстроилась, подначивает меня: «Давай, покажи ей. Пусть не задается!» И я вспрыгиваю на Мартышкин велосипед… «Я катаюсь, Эви, смотри!» Езжу кругами, ближе и ближе к сбившимся в кучку ребятам. «Ну что, видишь? *Видишь?»* Минута ликования, а потом Эви – нетерпеливо, обескураживающе небрежно: «Да уберешься ты когда-нибудь с моих глаз, чертова кукла? Я хочу посмотреть, что *там!»* Палец, обгрызенный ноготь и все прочее тычется в сторону марша языков, меня отвергли ради шествия «Самьюкта Махараштра Самити»! И несмотря на крики преданной Мартышки: «Это нечестно! Он правда катается *хорошо!»* – и несмотря на радостное возбуждение от самой езды – я совершенно теряю голову, кручусь вокруг Эви, быстрей-быстрей-быстрей, всхлипываю, уже вне себя, шмыгаю носом: «Да что ты о себе воображаешь, а? Что я должен сделать, чтобы…» И тут начинается нечто другое, ибо я понимаю, что спрашивать не нужно, ведь я просто могу забраться в ее мысли, увидеть, что таится за веснушками и полным железок ртом; в единый миг узнать, что она думает обо мне и как я должен себя вести… и я забираюсь, продолжая крутить педали, но мысли Эви, их верхний слой, поглощены шествием Маратхи; к уголкам мозга прилепились американские попсовые песенки; ничего такого, что заинтересовало бы меня; и теперь, только теперь, теперь, в первый раз, теперь, плача от несчастной любви, я начинаю зондировать… я напираю, я ныряю все глубже, я, прорывая ее оборону, попадаю… в потаенное место, где вижу ее мать: та, в розовом комбинезоне, держит за хвостик крошечную рыбку; а я шарю все глубже-глубже-глубже; да где же оно, то, чем живет Эви; и тут она резко вздрагивает и оборачивается ко мне, а я езжу на велосипеде кругом-и-кругом-и-кругом-и-кругом…

– Убирайся! – визжит Эви Бернс. Поднимает руки ко лбу. Я езжу на велосипеде, на глазах слезы и ныряю глубже-глубже-глубже – туда, где Эви стоит в дверях обитой досками спальни и держит, держит в руках что-то острое и блестящее; и что-то красное капает с кончика; стоит в дверях спальни; и, Боже мой, на кровати – женщина, и она – в розовом. Боже мой, и Эви с этим… и красное пятно на розовом, и приходит мужчина… Боже мой, нет,

нет, нет, нет, нет…

– *Убирайся, убирайся, убирайся!* – изумленные детишки глядят на вопящую Эви, забыв о марше языков, но вдруг вспоминают о нем снова, потому что Эви взялась за багажник Мартышкиного велосипеда – *что ты дела ешь, Эви?* – и толкнула – *ну-ка убирайся ты, паразит, ну-ка убирайся к черту!* – Она толкает меня изо всей силы, и я теряю равновесие, лечу вниз по склону, к концу U-образной дороги, *боже мой, там ведь шествие* – мимо прачечной «Бэнд-Бокс», мимо домов под названием Нур Виль и Лакшми Вилас, – АААА – и вниз, в самое устье процессии, головы-ноги-тела, волны шествия перекатываются через меня, неистово вопя, натыкаясь на этот попавший в историю, потерявший управление, девчоночий велосипед.

Руки хватаются за руль – и я тихо скольжу среди притихшей толпы. Меня окружают белозубые улыбки, вовсе не дружелюбные. «Поглядите-ка, поглядите, маленький сахиб спустился к нам с высокого холма богатеев!» Ко мне обращаются на маратхи, я этот язык едва понимаю, у меня по нему самые плохие отметки. «Что, хочешь примкнуть к „С.М.С.“, маленький господин?» И я, поняв, что мне говорят, но от потрясения не в силах врать, мотаю головой: «Нет». И улыбки, улыбки вокруг: «Ого! Маленький наваб не любит наш язык! А какой язык он любит? – Снова улыбки. – Может, гуджарати? Ты говоришь на гуджарати, господин?» Но гуджарати я знаю не лучше, чем маратхи; я знаю только одно на языке болот Катхьявара – а улыбки торопят, пальцы тычут в меня: «Скажи что-нибудь, молодой господин! Поговори на гуджарати!» – и я выдаю им то, что знаю, забавный, высмеивающий ритмы языка стишок, который Зобатый Кит Колако декламирует в школе, дразня ребят, говорящих на гуджарати:

Су чхе? Сару чхе!
Данда ле ке мару чхе!

Здравствуй, ты! – Очень рад! – Палкой дам тебе под зад! Ерунда, безделица, восемь пустых слов… но когда я их произнес, улыбки обратились в хохот; и голоса вблизи, а потом все дальше и дальше, подхватили мою песенку: «*Здравствуй, ты! – Очень рад!* – и я уже перестал их интересовать. Забирай свой велосипед и катись отсюда, господин-джи, – глумились они. – *Палкой дам тебе под зад!»* Я помчался вверх по склону, а моя песенка двинулась вперед и назад, в голову и в ноги процессии, длившейся двое суток, становясь по мере своего продвижения боевым кличем.

В этот день голова шествия «Самьюкта Махараштра Самити» столкнулась на Кемповом углу с головой демонстрации «Маха Гуджарат Паришад». «С.М.С.» распевала во весь голос: «Су чхе? Сару чхе!», а М.Г.П. яростно ревела; под рекламными щитами «Эйр Индия» и «Мальчик Колинос» партии кинулись друг на друга с немалым пылом, и под слова моего глупого стишка начался первый из языковых беспорядков – пятнадцать человек убитых, больше трех сотен раненых.

Таким образом, именно я поднял волну насилия, которая привела к разделению штата Бомбей, в результате чего город стал столицей Махараштры – по крайней мере, я поддержал победившую сторону.

Так что же было в голове у Эви? Преступление, мечта? Я этого так и не узнал; зато я усвоил нечто другое: если ты глубоко проникаешь в чей-то мозг, *человек это чувствует.*

Эвелин Лилит Бернс после этого случая избегала меня; но, странное дело, излечился и я. (Женщины всегда меняли мою жизнь: Мари Перейра, Эви Бернс, Джамиля-Певунья, Парвати-Колдунья несут ответственность за то, каким я стал; и Вдова, которую я приберегаю напоследок; а под конец – Падма, моя навозная богиня. Да, женщины влияли на меня, но роль их никогда не была основной – может быть, то место, которое они должны были заполнить, та дыра у меня в середке, унаследованная от моего деда Адама Азиза, слишком долго была заполнена голосами. Или – следует принять во внимание любые возможности – я

всегда их немного боялся).

Мой десятый день рождения

– Ох, господин, ну что тут скажешь? Я, несчастная, во всем виновата!

Падма вернулась. И теперь, когда я оправился от яда и опять сижу за столом, она слишком возбуждена, чтобы молчать. Снова и снова мой возвратившийся лотос корит себя, колотит в пышную грудь, завывает во весь голос. (В моем ослабленном состоянии она мне очень мешает, но я ее ни словом не попрекну).

– Поверь, господин, я заботилась только о твоем благе, от всего сердца! Уж такие мы, женщины: ни минуточки покоя не знаем, когда наши мужчины больны и бессильны… Ты даже представить себе не можешь, как я счастлива, что ты поправился!

Вот она, история Падмы (переданная ее же словами; услышав то, что я написал, она, закатывая глаза, завывая и колошматя свои сиськи, со всем согласилась): «Во всем виноваты моя глупая гордость и самомнение, Салем-баба?, из-за них я и сбежала от тебя, хотя и работа здесь хорошая, да и тебе так нужен присмотр! И очень скоро я уже до смерти захотела вернуться.

А потом подумала: как же я вернусь к мужчине, который меня не любит и вечно занят своей глупой писаниной? (Прости меня, Салем-баба?, но я должна говорить одну только правду. А для нас, женщин, любовь – это самое главное).

И я пошла к святому человеку, который научил меня, что делать. Затем на мои несколько пайс я купила билет на автобус, поехала в деревню копать корни, которые помогли бы разбудить твою мужскую силу… слушай, Мистер, какое заклятье я произносила: «Ты, трава, Быками потоптанная!» Потом я перемолола корни, положила в воду, смешанную с молоком, и сказала вот что: «Ты, зелье могучее, приворотное! Выкопать тебя для него Варуна заставил Гандхарву![215]Отдай моему господину Салему твои силы. Дай ему пыл, похожий на Молнию Индры[216]. Ты, зелье, как горный козел, заключаешь в себе всю силу Сущую, все могущество Индры и здоровую силу зверей».

Приготовив питье, я вернулась, и ты, как всегда, сидел один и, как всегда, уткнувшись носом в бумажки. Но, клянусь, свою ревность я припрятала подальше: ревность портит лицо, делает его старым. О, прости меня, Боже: я преспокойненько вылила зелье в твою еду!.. А после – ай-ай – простят ли меня Небеса, но я неграмотная женщина, и если святой человек мне что-то говорит, могу ли я спорить?.. Но теперь тебе лучше, благодарение Богу, и ты, быть может, не станешь гневаться».

Под влиянием Падминого зелья я неделю лежал в бреду. Мой навозный лотос клянется (с диким скрежетом зубовным), что я был весь жесткий, как доска, и на губах выступила пена. Меня лихорадило. В бреду я бормотал что-то насчет змей, но я-то знаю, что Падма – не змея, она не хотела причинить мне вреда.

– Это все любовь, господин, – причитает Падма. – Она может довести женщину до какого угодно безумия.

Повторяю: я Падму не виню. У подножия Западных Гат она искала травы, дающие мужскую силу: mucuna pruritas и корень feronia elephantum – и кто знает, чего она там набрала? Кто знает, что именно растолченное с молоком и подлитое в мою еду довело мои внутренности до состояния пахты, из которой, как известно всем изучавшим индуистскую космологию, Индра создал материю, сбивая этот первоначальный раствор в своей огромной маслобойке? Какая разница? Намерение было благородным; но меня уже нельзя возродить – Вдова постаралась на славу. Даже настоящая mucuna не положила бы конец моему бессилию; даже feronia не придала бы мне «здоровую силу зверей».

Как бы то ни было, я снова сижу за столом, и Падма, пристроившись у моих ног,

---

215

216

торопит меня. Я вновь достиг равновесия – мой равнобедренный треугольник имеет прочное основание. Я – на его вершине, я завис над настоящим и прошлым и чувствую, как к моему перу возвращается беглость.

Волшебство свершилось; Падмины блуждания в поисках приворотного зелья тесно связали меня с миром древних учений и ведовства, столь презираемым ныне большинством из нас; и (несмотря на рези в желудке, горячку и пену у рта) я рад его вторжению в мои последние дни, ибо, созерцая его, я могу возвратить, хоть и в малой мере, утраченное чувство пропорций.

Подумайте только: история в моем изложении вошла в новую фазу 15 августа 1947 года; но, по другой версии, эта непреходящая дата – всего лишь одно мимолетное мгновение Века Тьмы, Калиюги, когда священная корова добронравия стоит, шатаясь, на одной ноге! Калиюга – скверный, проигрышный бросок костей в нашей национальной игре; возраст, худший из всех; век, когда собственность определяет место человека среди людей, когда богатство приравнивается к добродетели, когда мужчин и женщин связывает одна только страсть; когда лицемерие приводит к успеху (удивительно ли, что в такие времена я тоже часто путал добро со злом?)[217]…Калиюга, или Век Тьмы, началась в пятницу 18 февраля 3102 года до Рождества Христова и продлится ни много ни мало 432000 лет![218]Уже ощутив некоторым образом свою мизерность, я все же должен добавить, что Век Тьмы – всего лишь четвертая фаза текущего цикла Махаюги, который, в общей сложности, длиннее в десять раз; а если вы вспомните, что тысяча Махаюг составляют всего один день Брахмы, то поймете, что я имею в виду, говоря о пропорциях.

Малая толика смирения в этом месте (перед тем, как ввести детей, меня пробирает дрожь) не повредит, как я чувствую.

Падма, смущенная, ерзает на полу. «Что ты такое говоришь? – спрашивает она, слегка краснея. – Это – речи брахмана, мне ли их слушать?»

…Рожденного и воспитанного в мусульманской традиции, меня вдруг начинает переполнять более древняя мудрость, а рядом сидит моя Падма, чьего возвращения я так сильно желал… моя Падма! Богиня Лотоса, Подательница Навоза, Подобная Меду, Сотворенная из Золота; та, чьи сыны – Мокрота и Грязь…

– Тебя, поди, опять лихорадит, – обрывает она меня, хихикая. – Как это – сотворенная из золота, господин? И ты знаешь, что детей у меня отродясь не бы…

Падма, та, что обитает вместе с духами якша[219]; та, что являет священные клады земли, и священные реки Гангу, Ямуну, Сарасвати… и трех богинь; одна из Хранительниц Жизни, та, что дарит и утешает смертных, проходящих сквозь паутину снов Майи[220]… Падма, чаша лотоса, который растет из пупка Вишну и в котором рождается сам Брахма[221]; Падма – Исток, мать Времени!..

– Эй, – беспокоится она уже по-настоящему, – дай-ка пощупаю тебе лоб!

…И где же, при таком раскладе, нахожусь я? Я (одаренный, утешенный ее возвращением) – простой ли я смертный или все-таки нечто большее? Такой, каким я уродился, – да почему бы и нет – с носом, как хобот, с хоботом, как у Ганеши, может быть, я – Слон. Тот, кто, как Син, бог Луны, направляет воды, дарит дожди… чьей матерью была царица Ира, супруга Кашьяпы, Старой Черепахи, владыки и прародителя всех земных тварей[222]… Слон, который также являет собой и радугу, и молнию, и чей символический смысл, следует добавить, весьма проблематичен и неясен.

Ну что ж: неуловимый, как радуга, непредсказуемый, как молния, велеречивый, как

217
218
219
220
221
222

Ганеша, я, кажется, все же нашел себе место в древней премудрости.

– Боже мой, – Падма бежит за полотенцем, мочит его в холодной воде, – твой лоб пылает! Ложись-ка лучше; слишком рано ты пустился писать! Это болезнь в тебе говорит, не ты сам.

Но я уже потерял неделю, так что, в горячке я или нет, мне нужно торопиться, потому что, исчерпав (пока) этот кладезь мифов древних времен, я подхожу к фантастической сердцевине моей собственной истории и должен написать просто и доступно о детях полуночи.

Постарайтесь понять то, что я вам сейчас скажу: в первый час 15 августа 1947 года – между полуночью и часом ночи – тысяча и одно дитя родилось в границах новорожденной суверенной Индии. Сам по себе этот факт довольно обычен (разве что число странным образом отдает литературщиной) – в то время рождений в нашей части света происходило больше, чем смертей, примерно на шестьсот восемьдесят семь за один час. Но что сделало данное событие знаменательным (знаменательным! Вот, если хотите, бесстрастное слово!), так это природа рожденных в названный час детей, каждый из которых был по какому-то капризу биологии, а может, благодаря сверхъестественной силе момента или же попросту из чистого совпадения (хотя синхронность такого масштаба смутила бы самого К.-Г. Юнга[223]), одарен чертами, талантами или способностями, которые не могут быть названы иначе, как чудесными. Как будто, если вы позволите ввести элемент фантазии в рассказ, который будет, обещаю, настолько реалистичным, насколько это возможно для меня – как будто история, дойдя до самого значительного, самого многообещающего пункта, посеяла в этот момент семена будущего, которому предстояло коренным образом отличаться от того, что до сих пор было известно в мире.

Произошло ли подобное чудо за границей, в только что отделившемся Пакистане, я не знаю: мои способности к восприятию, пока они не исчезли, ограничивались Арабским морем, Бенгальским заливом, Гималаями, а также искусственными рубежами, перерезавшими Пенджаб и Бенгалию.

Разумеется, не все дети выжили. Недоедание, болезни, несчастные случаи унесли ровно четыреста двадцать из них к тому времени, когда я осознал их существование; хотя можно было бы выдвинуть гипотезу, что эти смерти тоже имели какой-то смысл, ибо число 420 с незапамятных времен символизировало обман, хитрость и надувательство. Так, может быть, эти недостающие дети были уничтожены потому, что они каким-то образом не соответствовали требованиям, не были истинными детьми полуночного часа? Ну, во-первых, это – новая вылазка в область фантазии; во-вторых, все зависит от точки зрения на жизнь – либо сугубо теоцентрической, либо варварски жестокой. Кроме того, вопрос этот не предполагает ответа; и всякое дальнейшее рассмотрение его не имеет смысла.

В 1957 году оставшиеся в живых пятьсот восемьдесят одно дитя приближалось к своему десятому дню рождения, большей частью совершенно не догадываясь о существовании друг друга – хотя, конечно же, были исключения. В городе Бауд на реке Маханади в Ориссе жили сестры-двойняшки, уже ставшие легендой в тех местах, ибо, несмотря на свою впечатляющую некрасивость, обе обладали способностью заставить полюбить себя любовью безнадежной, часто доводящей чуть ли не до самоубийства, так что изумленным родителям без конца досаждали вереницы мужчин, желавших взять в жены какую-либо из поразительных девчонок или даже обеих сразу; были среди них и старики, позорящие свои седины, и юнцы, которым больше пристало бы увиваться за актрисками из странствующего балагана, раз в месяц заезжавшего в Бауд; приходилось наблюдать и другую, более беспокойную процессию – череду пострадавших родителей, которые проклинали двойняшек, утверждая, что те околдовали их сыновей, заставили увечить и бичевать себя и даже (в одном случае) себя истребить. Однако, за исключением подобных редких казусов,

223

дети полуночи росли, ничего не зная о своих истинных братьях и сестрах, товарищах-по-избранию по всей длине и ширине Индии, этого неотшлифованного, скверных пропорций, алмаза.

А потом, после удара, полученного при падении с велосипеда, я, Салем Синай, узнал их всех.

Всем, чей ум не настолько гибок, чтобы принять эти факты, я могу сказать только одно: что было, то было, против истины не пойдешь. Мне просто придется взвалить на свои плечи бремя недоверия и сомнений. Но ни один грамотный человек в нашей Индии не мог не сталкиваться с такого типа информацией, какую я сейчас собираюсь обнародовать – ни один из тех, кто читает нашу национальную прессу, не мог не наткнуться на целый выводок, хотя и меньший, сверхъестественно одаренных детей и разнообразных шарлатанов. Только на прошлой неделе у нас объявился бенгальский мальчик, который объявил, что перевоплотился в Рабиндраната Тагора[224]и принялся выдавать замечательные стихи, к вящему изумлению своих родителей; я сам могу припомнить детей с двумя головами (иногда одной человеческой, другой – какого-нибудь животного) или с прочими любопытными особенностями, например, с бычьими рожками.

Я должен сразу сказать, что не всякий дар детей полуночи был желанным даже для самих этих детей; в некоторых случаях дети, хотя и выжившие, лишались своих дарованных полуночью свойств. Например, (в одном ряду с историей двойняшек из Бауда) позвольте мне упомянуть маленькую нищенку из Дели по имени Сундари, которая родилась в каком-то закоулке позади Главного почтамта, неподалеку от той крыши, на которой Амина Синай слушала Рамрама Сетха, и отличалась такой чрезмерной красотой, что через несколько секунд после рождения ослепила собственную мать и соседок, помогавших при родах; отца, вбежавшего в комнату на вопли женщин, вовремя предупредили, но один беглый взгляд на дочку так повредил ему зрение, что с тех пор он не отличал индийцев от иностранных туристов, и это очень мешало ему при его-то ремесле. Какое-то время этой Сундари приходилось закрывать лицо тряпицей, пока дряхлая, безжалостная двоюродная бабка не схватила ее своими костлявыми руками и не располосовала ей лицо девятью ударами кухонного ножа. К тому времени, как я узнал о ней, Сундари хорошо зарабатывала; ибо любой, глядя на нее, не мог не пожалеть девочку, когда-то ослепительно красивую, а теперь так жестоко обезображенную; она собирала больше милостыни, чем прочие члены семьи.

Поскольку никто из этих детей не подозревал, что время их рождения как-то связано с тем, какими они родились, я тоже не вдруг обнаружил связь. Сразу после падения с велосипеда (и особенно когда участники шествия языков очистили меня от любви к Эви Бернс) я довольствовался тем, что открывал один за другим секреты фантастических существ, внезапно попавших в мое мысленное поле зрения, жадно, истово коллекционируя их, так, как одни мальчишки коллекционируют насекомых, другие – игрушечные поезда; потеряв интерес к книгам с автографами и другим проявлениям инстинкта собирательства, я при малейшей возможности погружался в особую, гораздо более яркую реальность пятисот восьмидесяти одного. (Среди нас было двести шестьдесят шесть мальчиков; девочки превосходили нас числом, их было триста пятнадцать, включая Парвати. Парвати-Колдунью).

Дети полуночи!.. В Керале жил мальчик, который умел входить в зеркала и выходить через любую отражающую поверхность на земле – через озеро или (что было труднее) через сверкающий металлический корпус автомобиля… девочка из Гоа обладала даром *умножать* рыб… иные дети владели секретом превращения: волк-оборотень обитал на холмах Нилгири, а посреди великих рек и озер, омывающих горы Виндхья, рос мальчик, который мог по желанию увеличиваться или уменьшаться и даже (из шалости) посеял в округе дикую панику и слухи о том, что вернулись великаны… В Кашмире был голубоглазый ребенок, девочка или мальчик, я не мог определить, ибо, погрузившись в воду, он (или она) менял (или меняла)

224

свой пол на противоположный. Одни из нас звали этого ребенка Нарада[225], другие – Маркандея[226], в зависимости от того, какую старую сказку о перемене пола мы слышали… Близ Джалны, в сердце иссушенного Декана, я нашел водознатца, а в Бадж-Бадже возле Калькутты – девочку с острым язычком, чьи слова могли наносить настоящие раны; после того, как некоторые взрослые порезались до крови о дерзкие речи, ненароком, слетевшие с ее губ, было решено посадить ее в бамбуковую клетку и пустить по Гангу в джунгли Сундарбана (где самое место чудищам и фантазмам); но никто не осмелился подойти к ней; так она и бродила по городу, и все расступались, образуя вакуум страха; когда она просила еды, ни у кого не хватало духу отказать ей. Был мальчик, который мог есть металлы, и девочка с таким талантом к огородничеству, что она могла выращивать чудо-баклажаны в пустыне Тар; и еще, и еще, и еще… сраженный их количеством и экзотическим многообразием их дарований, в те первые дни я обращал мало внимания на их обычную человеческую природу; но наши проблемы, когда они перед нами возникали, неизбежно оказывались повседневными, такими же, как у всех, вырастающими из характера-и-среды; в наших ссорах мы проявляли себя как обычное сборище ребятни.

Один примечательный факт: чем ближе к полуночи мы родились, тем больше было у нас дарований. Дети, рожденные в последние секунды часа, оказались (если уж быть откровенным) всего лишь уродами, немногим лучше тех, которых показывают в цирке: девочки с бородами, мальчик с хорошо развитыми, вполне действующими жабрами пресноводной махсирской форели[227]; сиамские близнецы, чьи два тела росли из одной-единственной головы и шеи: голова говорила двумя голосами, мужским и женским, и на любом языке или диалекте нашего субконтинента; но, несмотря на свой необычайный, удивительный облик, то были несчастные создания, случайно оставшиеся в живых недоделки, последыши этого боговдохновенного часа. Где-то в середине часа появлялись более интересные и полезные качества – в лесу Гир жила девочка-ведунья, исцелявшая наложением рук, а в Шиллонге сын богатого чайного плантатора обладал чудесным даром (а может быть, проклятием) никогда не забывать ничего, что он видел или слышал. Но дети, рожденные в самую первую минуту – для этих детей волшебный час приберег самые высокие таланты, о каких только может мечтать человек. Если бы у тебя, Падма, случайно оказался в руках реестр рождений, в котором время отмечено с точностью до секунды, ты бы тоже узнала, что отпрыск знатного рода из Лакхнау (рожденный через двадцать одну секунду после полуночи) к десяти годам совершенно освоил забытое искусство алхимии, с помощью которого восстановил богатство своего древнего, но разоренного дома; и что дочь прачки из Мадраса (семнадцать секунд после полуночи) могла летать выше любой птицы, просто закрыв глаза; и что сыну серебряных дел мастера из Бенареса (двенадцать секунд после полуночи) достался дар путешествовать во времени и тем самым предсказывать будущее и разъяснять прошлое… в истинность его дара мы, дети, верили безоглядно, когда речь заходила о прошлых, позабытых делах, но высмеивали пророка, когда тот остерегал нас, рассказывая, как кто закончит свою жизнь… к счастью, такого реестра нет; и я, со своей стороны, никогда не открою их истинных имен; я называю имена вымышленные, а подлинные их прозвания и даже места, где они живут, останутся в тайне; ибо, хотя назвав точные данные, я бы мог с абсолютной достоверностью доказать правдивость моего рассказа, все же дети полуночи заслуживают теперь, после всего случившегося, чтобы их оставили в покое; может быть, даже забыли; впрочем, я надеюсь (почти утратив надежду) – помнить…

Парвати-Колдунья родилась в Старом Дели, в трущобе, что прилепилась к стенам Пятничной мечети[228]. Не в обычной трущобе, хотя слепленные из старых ящиков, смятых листьев жести и рваных джутовых мешков лачуги, которые ютились как попало в тени

225
226
227
228

мечети, выглядели абсолютно так же, как и любая другая трущоба… потому что это был квартал фокусников; да, именно это место некогда породило Колибри, Жужжащую Птичку – того самого, кого пронзили ножи и не смогли спасти бродячие собаки… трущобы кудесников, куда постоянно стекались самые великие факиры, фокусники и иллюзионисты страны, дабы попытать счастья в столице. А ждали их хижины из жести, полицейские облавы, крысы… Отец Парвати был когда-то величайшим кудесником в Удхе; она росла среди чревовещателей, которые заставляли камни рассказывать смешные истории; акробатов, которые могли заглотить собственные ноги; пожирателей огня, испускавших пламя из заднего прохода; трагических шутов, которые выжимали стеклянные слезы из уголков глаз; она стояла смирно посреди разинувшей рот толпы, когда отец протыкал шипами ее шею; и все это время хранила свой собственный секрет, с которым и сравнить было нельзя обычные иллюзионистские трюки; ибо Парвати-Колдунье, рожденной всего через семь секунд после полуночи 15 августа, была ниспослана сила истинно посвященной, призванной; подлинный дар волхвования и колдовства, искусство, не требующее ухищрений.

Итак, среди детей полуночи были ребята, умевшие перевоплощаться и летать; обладавшие даром пророчества и колдовства… но двое из нас родились ровно в полночь, с последним ударом часов. Салем и Шива, Шива и Салем, нос и колени, колени и нос… Шиве этот час даровал бранную силу (сила Рамы, который мог натянуть тетиву невозможно тугого лука[229], мощь Арджуны и Бхимы; древняя доблесть Кауравов и Пандавов[230]– все это, не зная удержу, соединилось в нем!).. а мне достался самый великий дар – умение читать в сердцах и в мыслях людей.

Но сейчас Калиюга; боюсь, дети часа тьмы рождены в самом сердце Века Тьмы; блистать нам было легко, но что такое добро, мы понимали смутно.

Теперь я сказал об этом. Вот кем я был – кем мы были.

Падма выглядит так, будто ее мать только что умерла – хватает ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. «О, баба?! – говорит она наконец. – О, баба?! Ты все еще болен; что такое ты тут наплел?»

Нет, это было бы слишком просто. Я отказываюсь искать прибежище в болезни. Ошибкой было бы отметать с порога все, что я раскрыл перед вами, сочтя мои слова пустым бредом или просто плодом ненормальной, чрезмерно развитой фантазии одинокого уродливого ребенка. Я уже говорил, что не собираюсь выражаться метафорически; все, что я написал (и прочел вслух остолбеневшей Падме), следует понимать буквально: это – истинная, святая правда.

Реальность может содержать в себе метафору; это не делает ее менее реальной. Тысяча и одно дитя было рождено; тысяча и одна возможность, какие раньше никогда не предоставлялись в одном и том же месте в одно и то же время; и все это закончилось тысячей и одним тупиком. Детей полуночи можно счесть чем угодно, это зависит от вашей точки зрения: в них можно усмотреть последний побег всего устаревшего, ретроградного в нашей живущей мифами стране, и тогда их разгром вполне оправдан нуждами модернизирующейся, старающейся идти в ногу с веком экономики; или же они были надеждой на подлинное освобождение, ныне навеки угасшей; но чем они не были и не будут никогда, так это причудливым порождением блуждающего, расстроенного ума. Нет: болезнь тут ни при чем.

– Ну хорошо, хорошо, баба?, – старается успокоить меня Падма. – Зачем так сердиться? Приляг, отдохни, остынь чуток, больше ничего не прошу.

Да, время, предшествовавшее моему десятому дню рождения, было полно галлюцинаций, но галлюцинации эти рождались не в моей голове. Мой отец, Ахмед Синай, под влиянием предательской гибели доктора Нарликара и под все возрастающим, мощным воздействием джинов-с-тоником, улетел в сотканный из снов, волнующе нереальный мир;

229
230

этот медленный упадок был тем более коварным, что люди долгое время принимали его за нечто совершенно противоположное… Вот мать Сонни, Нусси-Утенок, беседует с Аминой вечером в нашем саду: «Дивные времена настали для вас всех, сестричка Амина, теперь, когда твой Ахмед в расцвете сил! Такой милый человек и как заботится о благе семьи!» Она говорит это достаточно громко, чтобы Ахмед услышал, и хотя тот делает вид, будто указывает садовнику, как поступить с захиревшей бугенвиллией, хотя и напускает на себя смиренное самоуничижение, это никого не обманет, потому что его раздавшееся тело, помимо его воли, еще больше раздувается от спеси. Даже Пурушоттаму, отвергнутому садху под садовым краном, неудобно за него.

Мой выцветающий отец… почти десять лет он съедал свой завтрак в добром расположении духа и сохранял таковое до тех пор, пока не выбривал себе подбородок; но по мере того, как щетина белела вместе с теряющей краски кожей, на это ежеутреннее ощущение счастья уже нельзя было полагаться; и настал час, когда он впервые вспылил за завтраком. В тот день подняли налоги и одновременно опустили пороговый минимум. Отец в ярости швырнул на пол «Таймс оф Индиа» и налитыми кровью глазами огляделся вокруг; я знал, что такие глаза у него бывают только в минуты гнева. «Это как сходить в сортир! – взорвался он совершенно загадочной фразой; яйца-тосты-чай задрожали под порывом его бешенства. – Поднять рубашку и спустить штаны! Жена, это правительство кладет на нас!» И по темной коже моей матери разливается розовый румянец: «Пожалуйста, джанум, тут дети!» – но он убрался восвояси, а я наконец ясно понял, что люди имеют в виду, когда говорят – правительство, де, опустило всю страну.

В последующие недели небритый подбородок отца продолжал тускнеть; и было утрачено нечто большее, чем мир за столом во время завтрака: отец начал забывать, каким он был в прежние времена, до предательства Нарликара. Семейные ритуалы пришли в запустение. Отец перестал выходить к завтраку, и Амина уже не могла клянчить у него деньги; но зато, в виде возмещения, он стал небрежен с наличностью, и карманы брошенных пиджаков и брюк были полны банкнот и мелочи, так что, опустошая их, Амина могла сводить концы с концами. Но самым гнетущим признаком его отдаления от семьи было то, что теперь он редко рассказывал нам на ночь сказки, а когда и рассказывал, радости нам было мало, потому что сказки были плохо придуманы и не увлекали нас. Сюжеты были те же: принцы-гоблины-крылатые кони и приключения в волшебных странах, но в небрежном тоне отца мы слышали скрип и скрежет заржавевшего, чахнущего воображения.

Моим отцом завладели абстракции. Кажется, смерть Нарликара и крушение мечты о тетраподах убедили Ахмеда Синая в том, что на человеческие отношения полагаться нельзя, и он решил разорвать все узы. Он завел привычку вставать до зари и запираться с очередной Фернандой или Флори в своем офисе на нижнем этаже; два вечнозеленых дерева, которые он посадил перед домом в честь моего и Мартышкиного рождения, уже выросли настолько, что не пропускали туда дневной свет. Поскольку мы редко осмеливались его беспокоить, отец погрузился в полное одиночество, состояние столь необычное в нашей перенаселенной стране, что это граничило с аномалией; он стал отвергать еду с нашей кухни и питался дешевой дрянью, которую приносила ему секретарша в судках для ленча – остывшие паратхи[231], и плохо пропеченные самосы, и бутылки с шипучими напитками. Странный смрад проникал через дверь его офиса; Амина считала, что это воняет несвежая, скверная пища, но я думаю, что вернулся, еще усилившись, старый душок: запах близкого краха, который витал над ним в прежние дни.

Он распродал те квартиры и домики, которые скупил за бесценок по приезде в Бомбей и на которых зиждилось благосостояние семьи. Освободившись от всех деловых контактов с какими бы то ни было людьми – даже с безымянными жильцами в Курле и Ворли, в Матунге, Мазагуне и Махиме, – он перевел свои активы на текущий счет и вступил в разреженную, абстрактную атмосферу финансовых спекуляций. В те времена затворничества в офисе

231

единственным средством контакта с внешним миром (если не считать бедных Фернандочек) был для него телефон. Целые дни он проводил в общении с аппаратом, будто бы именно этот неодушевленный механизм вкладывал его деньги в такие-то и такие-то акции, в такие-то и такие-то фонды; будто бы телефон скупал правительственные облигации и играл на понижение, продавал или придерживал по команде Ахмеда… который неизменно оставался в выигрыше. На гребне сказочного везения, которое можно сравнить только с тем баснословным успехом, какого добилась моя мать на скачках годы тому назад, мой отец и его телефон взяли приступом биржу, и это было тем более удивительно, что Ахмед пил все больше и больше. Пропитанный джинами, он плавал, как рыба, в абстрактных волнах валютного рынка, улавливал его каверзные, непредсказуемые колебания и изменения, как влюбленный ловит малейший каприз своей дамы… он чувствовал, когда акции начнут подниматься, когда настанет пик, и всегда выходил из игры до их падения. В такие одежды рядилось абстрактное одиночество его дней в компании телефона; так успешные финансовые операции скрадывали упорный разрыв с реальностью; и под прикрытием растущего счета в банке состояние моего отца все ухудшалось.

Наконец последняя из секретарш в миткалевых юбочках уволилась: настолько разреженной и отвлеченной сделалась атмосфера вокруг Ахмеда, что и дышать в ней уже стало трудно; тогда мой отец послал за Мари Перейрой и принялся ее улещать: «Мы же с тобой друзья, Мари, разве нет?» – на что бедная женщина отвечала: «Да, сахиб, я знаю: вы позаботитесь обо мне, когда я состарюсь», – и пообещала найти замену. На другой день она привела свою сестру, Алис Перейру, которая успела поработать с самыми разными начальниками, а в том, что касалось мужчин, терпение ее было почти безграничным. Алис и Мари давно забыли ту ссору из-за Джо Д’Косты; младшая сестра частенько поднималась к нам наверх в конце дня, скрашивая своим блеском и вызывающей дерзостью несколько тоскливую атмосферу в доме. Мне она очень нравилась, и именно от нее мы узнали о самых нелепых отцовских чудачествах, жертвами которых явились некая певчая птичка и приблудная дворняжка.

К июлю Ахмед Синай был пьян уже почти постоянно; однажды, сообщила Алис, он внезапно помчался куда-то на своей машине да так, что Алис не чаяла его увидеть живым, но он каким-то чудом вернулся, держа в руках покрытую тканью птичью клетку, в которой, сказал он, находится его новое приобретение, бюль-бюль, или индийский соловей. «Бог знает, сколько времени, – делилась с нами Алис, – он толковал мне про этих птах; припомнил все сказки про их волшебное пение; и как Халифа[232]пленили их трели; и как их пение удлиняет ночи и делает их краше; чего только бедолага не наплел, вставляя словечки то по-персидски, то по-арабски, так, что мне было и концов не найти. А потом снял покрывало, а в клетке сидел всего лишь говорящий скворец; какой-то мошенник на Чор-Базаре выкрасил ему перья! А дальше-то что было – словами не передашь; бедняга так восторгался своей птичкой, уселся рядом, и все твердил: «Пой, соловушка! Пой!»… забавно, что скворец, пока не околел от краски, повторял и повторял эти слова – не хрипло, по-птичьему, а тем же человеческим голосом: «Пой! Пой, соловушка, пой!»

Но худшее было впереди. Через несколько дней, когда мы с Алис устроились на железной винтовой лестнице для слуг, та сказала: «Баба?, я просто не знаю, что за бес вселился сегодня в твоего отца. День-деньской сидел он и слал проклятия на собаку».

Приблудная дворняжка, сука, получившая кличку Шерри, в этом году забрела на двухэтажный холм и попросту приняла нас в хозяева, не зная, насколько опасно для животных жить в имении Месволда; и, хлебнув лишку, Ахмед Синай, все пытавшийся припомнить фамильное проклятие, сделал из нее подопытного кролика.

Это проклятие он выдумал сам, чтобы произвести впечатление на Уильяма Месволда, но теперь другая идея вселилась в его разжиженный мозг; джины убедили его, что проклятие – не выдумка, что он просто забыл слова; и Ахмед долгие часы проводил в своем аномально

232

одиноком офисе, пытаясь опытным путем восстановить формулу… «Какими только словами не проклинает он бедную тварь! – говорила Алис. – Удивляюсь, как псина не упадет замертво!»

Но Шерри сидела себе в уголке и глупо скалилась в ответ, не желая ни багроветь, ни покрываться болячками, и однажды вечером Ахмед выскочил из своего офиса и велел Амине отвезти нас всех на Хорнби Веллард. Шерри мы взяли с собой. Мы прогуливались с недоумевающими лицами туда и сюда по Веллард, и вдруг он сказал: «Все в машину, быстро». Только Шерри не пустил… сам сел за руль, и «ровер» умчался на полной скорости, а собака побежала за нами, а Мартышка визжала: «Папочка-папочка», а Амина умоляла: «Джанум-пожалуйста», а я сидел в безмолвном ужасе, и мы проехали многие мили, почти до аэропорта Санта-Крус, пока, наконец, не свершилась его месть над собакой, не желавшей поддаваться заклинаниям… на бегу у нее лопнула артерия, кровь пошла из пасти и из зада, и она испустила дух под пристальным взглядом голодной коровы.

Медная Мартышка (которая вовсе не любила собак) ревела целую неделю; мать даже стала опасаться обезвоживания и вливала в нее галлоны воды, орошала ее, как газон, по словам Мари; я же привязался к новому щенку, которого отец купил мне на десятый день рождения, вероятно, ощущая свою вину; собаку звали Баронесса Симки фон дер Хейден, и у нее была родословная, полная чемпионов ее породы, восточноевропейской овчарки; со временем мать обнаружила, что родословная – такая же липа, как и поддельный соловей; не меньшая выдумка, чем забытое проклятие отца и его предки-Моголы; а через полгода псина подохла от венерической болезни. Больше мы не заводили животных.

Не только отец близился к моему десятому дню рождения с головой, отуманенной одинокими грезами; вот Мари Перейра упоенно стряпает чатни, касонди и всяческие маринады, но, несмотря на присутствие веселой сестрички Алис, что-то напряженное появляется в ее лице, будто и ее преследуют призраки.

– Эй, Мари, привет! – Падма, которая, кажется, питает слабость к моей преступнице-няньке, радуется ее новому появлению на переднем плане. – Ну, так что же *ее*-то точит?

А вот что, Падма: измученная кошмарами, в которых на нее яростно нападает Жозеф Д’Коста, Мари засыпает с трудом. Зная, какие сны ей уготованы, нянька старается подольше бодрствовать; темные круги появляются у нее под глазами, а сами глаза подернуты тонкой, прозрачной, глянцевой пеленой; мало-помалу чувства ее притупляются, впечатления смешиваются, явь и сон сливаются воедино… а это опасное состояние, Падма. Не только работа страдает, но вещи и люди просачиваются из снов… Жозеф Д’Коста и в самом деле пересек утратившую четкие очертания границу и появился на вилле Букингем уже не как кошмар, а как вполне законченный, созревший призрак. Видимый (к тому времени) только одной Мари Перейре, он гонялся за ней по комнатам нашего дома, в котором, к ее ужасу и стыду, этот смутьян вел себя, как в своем собственном. Вот Мари видит, как в гостиной, среди хрустальных ваз и дрезденского фарфора, он развалился в мягком кресле, перекинув длинные, кострубатые[233] ноги через подлокотники; глаза у него белые, створоженные, а на пятках, куда укусила змея, – дыры. Однажды после полудня Мари увидела, как он нагло, невозмутимо, будто так и надо, лежит на кровати Амины-бегам, рядышком с моей спящей матерью – и тут нянька возмутилась: «Эй, ты! Убирайся отсюда! Кем ты себя вообразил – лордом каким-нибудь?» – но в результате она всего лишь разбудила мою ничего не понимающую матушку. Призрак Жозефа изводил Мари молча, без единого слова; и хуже всего, что та стала к нему привыкать; забытая нежность ожила и начала толкаться внутри; и хотя Мари твердила себе, что это – безумие, ностальгия по былой любви переполняла ее, и объектом этой странной страсти сделался дух погибшего санитара.

Но ее любовь была безответной; в белых, створоженных глазах Жозефа не появлялось

233

никакого выражения; на губах застыла язвительная, сардоническая ухмылка, ухмылка обвинителя; и наконец она поняла, что это новое явление ничем не отличается от старого Жозефа, насельника снов (хотя призрак на нее никогда не набрасывался), и если Мари хочет навсегда освободиться от Жозефа, то должна сделать немыслимую вещь: покаяться перед всеми в своем преступлении. Но она так и не призналась, возможно, из-за меня, потому что Мари любила меня как родного, как своего собственного, незачатого, непредставимого сына; ее признание сильно повредило бы мне, поэтому ради меня она терпела муки от призрака своей совести и топталась, потерянная, сама не своя, на кухне (отец выгнал повара в один пропитанный джинами вечер), стряпала нам обед, снановясь воплощением начальной строки моего латинского учебника, *Ora maritima:* «У берега моря няня готовит еду». *Ora maritima, ancilla cen am parat.* Загляните в глаза стряпающей няни, и вы увидите там больше, чем написано в учебниках.

В мой десятый день рождения многие цыплята уже были сосчитаны.

В мой десятый день рождения стало уже ясно, что скверные погодные условия – ураганы, наводнения, град с безоблачных небес – и все это последовало за невыносимой жарой 1956 года – погубили второй Пятилетний План. Правительство было вынуждено, хотя выборы были буквально на носу, объявить всему миру, что не может больше принимать займов на развитие – разве только страны, предоставляющие эти субсидии, согласятся ждать возвращения денег до бесконечности. (Но не следует впадать в преувеличение: хотя выплавка стали достигла к концу пятилетки, к 1961 году, всего 2,4 миллиона тонн и хотя за эти пять лет число безземельных и безработных масс постоянно росло и сделалось куда большим, чем когда-либо под британским управлением, – были у нас и существенные достижения. Производство железной руды выросло почти вдвое; выработка энергии тоже удвоилась; добыча угля увеличилась с тридцати восьми до пятидесяти четырех миллионов тонн. Пять биллионов ярдов хлопчатобумажной ткани было произведено в этом году. А еще немалое количество велосипедов, станков, дизельных моторов, электронасосов и вентиляторов. Но закончить все равно придется за упокой: неграмотность оставалась вопиющей, население прозябало в невежестве).

В мой десятый день рождения нас навестил мой дядя Ханиф, которого весьма невзлюбили в имении Месволда за то, что он рокотал бодро и весело: «Скоро выборы! Голосуйте за коммунистов!»

В мой десятый день рождения, когда дядя Ханиф в очередной раз ляпнул про коммунистов, мать (которая вдруг начала таинственно исчезать из дому, якобы «за покупками») безо всякой причины зарделась, как кумач.

В мой десятый день рождения мне подарили щенка восточноевропейской овчарки с фальшивой родословной; псина вскоре подохла от сифилиса.

В мой десятый день рождения обитатели имения Месволда изо всех сил старались веселиться, но под тонким слоем внешнего довольства каждого из них сверлила одна и та же мысль: «Боже мой, десять лет! Куда они ушли? И к чему мы пришли?»

В мой десятый день рождения старый Ибрахим заявил, что поддерживает Маха Гуджарат Паришад; поскольку разделение штата Бомбей уже состоялось, он отдал свой голос проигравшей стороне.

В мой десятый день рождения, сочтя подозрительным румянец моей матери, я внедрился в ее мысли, и то, что я там увидел, заставило меня установить за ней слежку, стать шпионом столь же дерзким, как легендарный бомбейский Дом Минто, и привело к важным открытиям в кафе «Пионер» и его окрестностях.

В мой десятый день рождения мои домашние, забывшие, что такое веселье, устроили вечеринку, где, кроме них самих, присутствовали мои одноклассники из Соборной школы, которых послали родители; некоторое количество слегка скучающих пловчих из бассейна Брич Кэнди, тех, что позволяли Мартышке ошиваться возле них и щупать выпирающие мускулы; из взрослых были Мари и Алис Перейра, Ибрахимы, Хоми Катрак, дядя Ханиф с

тетушкой Пией и Лила Сабармати: взгляды всех мальчиков (Хоми Катрака тоже) были крепко-накрепко прикованы к ней, отчего Пия изрядно бесилась. Но из нашей шайки с вершины холма пришел лишь преданный Сонни Ибрахим, нарушивший запрет, который наложила на этот праздник разъяренная Эви Бернс. Он явился как посланник: «Эви просила передать, что мы с тобой больше не водимся».

В мой десятый день рождения Эви, Одноглазый, Прилизанный, даже Кир Великий с ними взяли штурмом мое убежище; они заняли часовую башню и лишили меня приюта.

В мой десятый день рождения Сонни выглядел расстроенным, а Медная Мартышка, оторвавшись от своих пловчих, страшно разозлилась на Эви Бернс. «Я ей покажу, – заявила Мартышка. – Не беспокойся, братец, я покажу этой задаваке, вот увидишь».

В мой десятый день рождения я, исторгнутый из одной детской компании, узнал, что другая компания, числом пятьсот восемьдесят один человек, тоже справляет свой день рождения; так я и разгадал истинный секрет часа, в который мы все родились; и, будучи изгнан из одной шайки, я решил создать свою собственную, простирающуюся по всей стране, вдоль и поперек; а главный штаб ее находился за моей лобной костью.

И в мой десятый день рождения я придумал название нашим сборищам: Конференция Полуночных Детей, мой собственный КПД.

Так вот обстояли дела, когда мне исполнилось десять лет: вокруг меня одни неприятности, внутри – одни чудеса.

В кафе «Пионер»

Где все зелено и черно стены зелены небо черно (крыши нет) звезды зелены Вдова зелена но ее пряди черным-черны. Вдова сидит на троне на троне трон зелен подушка черна Вдова на прямой пробор причесана слева зелено справа черно. Выше неба выше ворон вознесся трон сам зелен подушка черна Вдовы рука длинна как смерть пальцы зелены ногти черны длинны остры. Дети меж стен зелены стены зелены рука Вдовы змеится вниз змея зелена дети кричат ногти черные вострит рука Вдовы за ними вниз глянь-ка дети бежать и в крик рука Вдовы их обвила зелена черна. И вот уже дети один второй везде смолкли поникли головой рука Вдовы влечет их ввысь одного второго дети зелены кровь черна ее пустили ногти-ножи на стенах (зелень) брызги черны одного второго извивы руки поднимают детей небеса высоки небеса черны ни одной звезды смех Вдовы язык ее зелен зубы черны. Руки Вдовы рвут детей пополам сминают сминают половинки детей катают шарики шарики зелены ночь черна. Шарики в ночь летят между стен дети кричат одного второго рука Вдовы. А в уголке Мартышка и я (стены зелены тени черны) скорчились съежились зелень стен вширь и ввысь выцветает в чернь крыши нет и рука Вдовы близится один второй дети кричат и далее везде и шарики у нее в руке и крик и далее везде и черные брызги черные пятна. Теперь остались она и я крики стихли рука Вдовы близится рыщет рыщет пальцы зелены ногти черны в нашем углу рыщет рыщет мы вжимаемся крепче в угол пальцы зелены черен страх и вот Рука близится близится и она сестра толкает меня из угла из угла а сама распласталась глядит на руку ногти кривые и крик и далее везде и черные брызги и выше выше неба и крыши Вдова смеется меня разрывает шарики шарики зелены в ночь летят ночь черна…

Горячка отпустила только сегодня. Двое суток (так мне сказали) Падма не отходила от меня, клала на лоб мокрую фланель, обнимала меня, когда я дрожал и видел сны о руках Вдовы; двое суток она корила себя, поминая недобрым словом зелье из неведомых трав. «Но, – пытаюсь я ее успокоить, – на этот раз трава ни при чем». Мне знакома эта горячка; она исходит из моего нутра, больше ниоткуда; словно мерзкая вонь, она просачивается сквозь мои трещины. Точно такую горячку я подцепил в мой десятый день рождения и двое суток провалялся в постели; теперь, когда воспоминания вновь сочатся из меня, прежняя горячка вернулась тоже. «Не переживай, – говорю я. – Этих микробов я нахватался почти двадцать один год назад».

Мы не одни. На консервной фабрике утро; они пришли проведать меня и привели моего сына. Некто (неважно, кто) стоит рядом с Падмой у моего изголовья и держит ребенка на руках. «Баба?, слава Богу, тебе уже лучше; тебе и невдомек, чего наговорил ты в горячке». Некто волнуется, глотает слова, пытается пробиться в мою историю прежде срока, но не выйдет… некто, основавший эту консервную фабрику, где стряпают маринады и закатывают их в банки; некто, приглядывающий теперь за моим непроницаемым сыном, точно, как прежде… но погодите! Она почти что вынудила меня сказать, но, к счастью, я в здравом уме, горячка мне не мешает! Некто должен сделать шаг назад, укрыться в безымянности, дожидаясь своей очереди; а очередь подойдет лишь в конце. Я отвожу от нее взгляд и смотрю на Падму.

И не подумай, – предостерегаю я ее, – что раз у меня была горячка, то мой рассказ не заслуживает доверия. Все было так, как я описал.

– О, мой Бог, ты с твоими историями, – кричит она, – день-деньской, ночь напролет – от этого и заболел! Сделай перерыв, а, разве это кому-нибудь повредит? – Я упрямо поджимаю губы, и тогда она внезапно меняет тему. – Ну-ка скажи мне, господин, чего бы ты хотел поесть?

– Зеленого чатни, – заказываю я. – Ярко-зеленого – зеленого, как кузнечик. – И некто неназываемый вспоминает и говорит Падме (тихо-тихо, как говорят лишь у постели больного или на похоронах): «Я знаю, что он имеет в виду».

…Почему же в этот критический момент, когда столько предметов ждут своего описания, – когда кафе «Пионер» уже так близко, как соперничество колен и носа – ввожу я в свой рассказ простую приправу? (Почему я теряю время, если уж на то пошло, на жалкие консервы, в то время как мог бы описать выборы 1957 года: ведь двадцать один год назад вся Индия ждала минуты, когда можно будет отдать свои голоса?) Потому что я принюхался и почуял за выражением заботы на лицах моих визитеров пронизывающий сквознячок опасности. Я решил защищаться и призвал себе на помощь чатни…

Я еще не показывал вам фабрику при свете дня. Вот что остается описать: мое окно из зеленого стекла выходит на узкий железный мостик, под которым – горячий цех, где клокочут и дымятся медные котлы, где женщины с могучими руками стоят на деревянных лесенках, орудуя черпаками на длинных ручках среди густых – хоть ножом режь – испарений маринада; и в то же самое время (если посмотреть через другое зеленое окошко, выходящее в большой мир) рельсы железной дороги тускло поблескивают под утренним солнцем, и через равные промежутки над ними переброшены мостики электрификационной системы. При дневном свете наша шафранно-зеленая богиня не танцует над воротами фабрики; ее выключают – берегут энергию. Но электрички расходуют энергию: желто-коричневые пригородные поезда грохочут на юг, к вокзалу Черчгейт из Дадара и Боривли, из Курли и Бассейн-роуд. Люди, как мухи, свисают с площадок густыми, обряженными в белые штаны роями; не отрицаю, что в стенах фабрики тоже водятся мухи. Но на них есть управа – ящерицы; они, не шевелясь, свисают с потолка вниз головой, похожие на полуостров Катхьявар… и звуки тоже ждут, чтобы их услышали: клокотанье котлов, громкое пение, грубая брань, соленые шуточки теток с пушком на руках; высокомерно, сквозь поджатые губы процеженные наставления надсмотрщиц; всепроникающее звяканье банок из соседнего цеха закрутки; и шум поездов, и жужжание (нечастое, но неизбежное) мух… а зеленое, как кузнечик, чатни уже извлекли из котла, вот-вот принесут на чисто вымытой тарелке с шафраново-зелеными полосками на ободке вместе с другой тарелкой, доверху полной закусок из ближайшего иранского ресторанчика; пока то-что-я-хотел-вам-сегодня-показать, работает своим чередом, а то-что-мы-можем-сейчас-услышать, наполняет воздух (не говоря уже о том, что здесь можно унюхать), я, лежа на складной кровати у себя в офисе, осознаю с внезапной тревогой, что мне предлагают прогулку.

– Когда ты окрепнешь, – говорит некто неназываемый, – проведем денек в Элефанте, почему бы и нет, покатаемся на катере, посмотрим пещеры с чудесными резными фигурами;

или на Джуху-бич, поплаваем, попьем кокосового молока, посмотрим гонки на верблюдах или даже махнем на молочную ферму Эри!.. И Падма: «Да-да, на свежем воздухе, и малышу приятно будет побыть с отцом». И некто, гладя моего сына по головке: «Конечно, мы все поедем. Устроим пикник, прекрасно проведем время. Баба?, это пойдет тебе на пользу…»

Когда чатни, присланное со слугой, прибывает ко мне в комнату, я спешу положить конец этим инсинуациям. «Нет, – отказываюсь я наотрез. – Мне нужно работать». И я вижу, как Падма и кто-то еще обмениваются взглядом; значит, мои подозрения имеют под собой почву. Однажды меня уже обманули пикником! Однажды фальшивые улыбочки да обещания поехать на молочную ферму Эри выманили меня из дому, заманили в машину, а потом… не успел я прийти в себя, как чьи-то руки схватили меня, поволокли по больничным коридорам, доктора и медсестры держали меня, и кто-то прижал к носу анестезирующую маску, и чей-то голос сказал: «Теперь считай, считай до десяти…» Знаю я, что они задумали. «Послушайте, – заявляю я, – доктора мне не нужны».

И Падма: «Доктора? Да кто ж говорит о…» Но никого она не обманет, и я отвечаю с улыбочкой: «Вот, попробуйте чатни. А я вам скажу что-то важное».

И пока чатни – то самое чатни, которое тогда, в 1957 году, так превосходно готовила моя нянька Мари Перейра, кузнечиково-зеленое чатни, навсегда сохранившее связь с теми днями, – уносит их в мир моего прошлого, пока чатни смягчает их и делает восприимчивее, я говорю с ними, мягко, убедительно, и смесь приправы с ораторским искусством уберегает меня от рук коварных зелено-халатных медиков. Я говорю: «Мой сын меня поймет. Больше, чем для других живущих, я рассказываю мою историю для него, и после, когда я проиграю битву с трещинами, он будет все знать. Мораль, способность к суждению, характер… все начинается с памяти… и я – хранитель тлеющих угольков».

Зеленое чатни на пакорах с перцем заглатывается кем-то; кузнечиково-зеленое чатни на теплых чапати исчезает во рту у Падмы. Я вижу: они начинают поддаваться, и продолжаю давить. «Я рассказал вам правду, – повторяю я. – Правду памяти, ибо память – особая вещь. Она избирает, исключает, изменяет, преувеличивает, преуменьшает, восхваляет, а также принижает; в конце концов создает свою собственную реальность, разноречивую, но обычно связную версию событий; и ни один человек в здравом уме не доверяет чужой версии больше, чем своей».

Да, я сказал «в здравом уме». Я знаю, что они подумали: «Многие детишки воображают себе несуществующих друзей – но тысяча и одного! Это уже сумасшествие!» Дети полуночи поколебали даже веру Падмы в мое повествование, но я привел ее в чувство, и больше никто не заикается о прогулках.

Как я убедил их: заговорив о сыне, которому нужно знать мою историю; пролив свет на процессы памяти; с помощью других приемов, то честных до простодушия, то по-лисьему хитрых. «Даже Мухаммад, – сказал я, – вначале считал себя одержимым, думаете, такая мысль никогда не приходила и мне в голову? Но у пророка была Хадиджа[234], был Абу Бакр, и они убедили его в истинности Призвания; никто не предавал его, не отдавал в руки психиатров». Теперь зеленое чатни внушает им мысли прежних времен; на их лицах я вижу сознание вины и стыд. «Что есть истина? – вопрошаю я риторически. – Что есть здравый рассудок? Разве Христос не восстал из гроба? Разве индуисты не считают, Падма, что мир – это некий сон, что Брахме приснилась и продолжает сниться Вселенная; и все, что ни есть вокруг – лишь неясные тени, которые мы видим сквозь паутину грез, сквозь Майю. Майю – тут я впал в высокомерный, поучающий тон, – можно определить как иллюзию, обман, подделку и трюк. Видения, фантазмы, миражи, фокусы, кажущийся облик вещей – все это части Майи. Я утверждаю, что то-то и то-то происходило на самом деле, а вы, затерянные в сновидении Брахмы, не верите мне, так кто из нас прав? Возьмите еще чатни, – добавил я вежливо, накладывая себе щедрую порцию. – Очень вкусно».

Падма расплакалась. «А я никогда и не говорила, будто не верю, – хнычет она. –

234

Конечно, каждый волен рассказывать свою историю, как хочет, но…»

– Но, – перебил я ее, чтобы покончить с этим, – ты тоже, правда ведь, хочешь узнать, что было дальше? О руках, которые двигались в ритме танца, не касаясь друг друга, и о коленках? А чуть позже – о необычайном жезле командора Сабармати и, конечно, о Вдове? И о детях – что с ними сталось?

И Падма кивает. С докторами и лечебницами покончено – мне позволяется писать. (В одиночестве, только с Падмой, сидящей у ног). Чатни и ораторское искусство, теология и любопытство – вот что спасло меня. И еще одно: назовите это образованием или социальным происхождением; Мари Перейра употребила бы слово «воспитание». Выказав эрудицию и продемонстрировав правильную, без акцента, речь, я их пристыдил они ощутили, что недостойны меня судить; не слишком-то благородное деяние, но когда «скорая помощь» ждет за углом, все допустимо. (Она там стояла, чуяло мое сердце). Все равно – я получил своевременное предупреждение.

Опасная штука – навязывать окружающим свою точку зрения.

Падма: «Если ты немного сомневаешься в моей надежности, так и быть, немного сомневаться полезно. Люди, слишком уверенные в себе, творят ужасные вещи. Женщин это касается тоже».

А пока что мне десять лет, и я думаю, как бы спрятаться в багажнике маминой машины.

В этом месяце Пурушоттам-садху (которому я никогда не рассказывал о своей внутренней жизни) вконец устал от своего недвижимого существования и заполучил убийственную икоту, она терзала его целый год, иногда приподнимая на несколько дюймов над землей, так, что оголенный водою череп угрожающе трещал, соприкасаясь с садовым краном, и наконец доконала его; однажды вечером, в час коктейля, он повалился набок, так, как сидел, в позе лотоса, не оставив моей матери никакой надежды избавиться от мозолей; в этом месяце я часто стоял вечерами в саду виллы Букингем, смотрел, как спутники пересекают небо, и чувствовал себя одновременно и великим, и оторванным от всех, как маленькая Лайка, – первая и единственная собака, заброшенная в космос[235]. (Баронесса Симки фон дер Хейден, незадолго до того как подцепить где-то сифилис, сидела рядом и следила за яркой точечкой Спутника-II своими восточноевропейскими глазами – то было время великого интереса всех псовых к космическим гонкам); в этом месяце Эви Бернс со своей шайкой захватили мою часовую башню, а бельевые корзины были под запретом и сделались мне малы: чтобы сохранить и секрет, и здравый рассудок, я был вынужден ограничить мои выходы к детям полуночи нашим собственным, безмолвным часом; я приобщался к ним каждую полночь, и только в полночь, в час, предназначенный для чудес, который каким-то образом находится вне времени; и в этом месяце – подходя ближе к делу – я решил удостовериться, увидеть собственными глазами ту ужасную вещь, которую я уловил, забравшись в мысли моей матери. С тех пор, как я, хоронясь в бельевой корзине, услышал два скандальных слога, мной овладели подозрения: у матери есть секрет; мое вторжение в ее умственный процесс эти подозрения подтвердило, и вот, с жестким блеском в глазах и железной решимостью в душе, я пошел однажды после занятий к Сонни Ибрахиму, собираясь заручиться его поддержкой.

Я обнаружил Сонни в его комнате, в окружении испанских плакатов с боями быков: он чинно играл сам с собой в настольный крикет. Увидев меня, Сонни воскликнул с тоской: «Эй, дружище, мне чертовски жаль насчет Эви, дружище, она никого не хочет слушать, дружище, что ты, черт побери, ей такого сделал?».. Но я с достоинством поднял руку, потребовав тишины и таковой добившись.

– Оставим пока это, дружище, – сказал я. – Дело в том, что мне надо знать, как открыть замок без ключа.

Пора сказать правду о Сонни Ибрахиме: несмотря на все его мечты о корриде, настоящим гением он был в области механики. Уже довольно долгое время именно он

235

приводил в порядок все велосипеды в имении Месволда, получая взамен комиксы и неограниченное количество шипучих напитков. Даже Эвелин Лилит Бернс поручила свой любимый индийский велосипед его заботам. Казалось, машины чувствовали, с каким простодушным наслаждением ласкает он их движущиеся части, и это подкупало их; не было такого хитроумного приспособления, которое не поддалось бы его манипуляциям. Можно сказать и по-другому: Сонни Ибрахим сделался (преследуя чисто исследовательские цели) экспертом по взламыванию замков.

Поняв, что ему представилась возможность доказать свою верную дружбу, Сонни просиял: «Покажи мне, где этот замок, дружище! Пойдем посмотрим!»

Убедившись, что никто нас не видит, мы пробрались на дорожку между виллой Букингем и Сонниным Сан-Суси, встали перед нашим старым семейным «ровером», и я указал на багажник.

– Вот этот, – заявил я. – Мне нужно научиться открывать его снаружи и изнутри тоже. Сонни выпучил глаза.

– Эй, что ты затеял, дружище? Собираешься потихоньку сбежать из дому, да?

Приложив палец к губам, я придал своему лицу таинственное выражение.

– Не могу рассказать тебе, Сонни, – торжественно проговорил я. – Сверхсекретная информация.

– Вау, дружище, – присвистнул Сонни и за тридцать секунд научил меня открывать багажник тонкой полоской розового пластика. – Бери, дружище, – сказал Сонни Ибрахим. – Тебе она нужнее, чем мне.

Жила-была мать, которая, чтобы стать матерью, согласилась сменить имя; мать, которая задала себе задачу влюбиться в мужа кусочек-за-кусочком, но так и не смогла полюбить одну его часть, ту часть, которая, как ни странно, и делала возможным материнство; мать, едва ковылявшая из-за мозолей; мать, чьи плечи согнулись, приняв на себя всю вину мира; а нелюбимый орган мужа так и не оправился после замораживания; мать, которая, как и ее муж, наконец пала жертвой телефонных таинств, подолгу слушая, что говорят ей люди, попавшие не туда… вскоре после моего десятого дня рождения (когда я оправился от горячки, которая вернулась ко мне так некстати почти через двадцать один год) Амина Синай завела привычку внезапно уезжать после ошибочного звонка за какими-то срочными покупками. Но сегодня, укрывшись в багажнике «ровера», с ней ехал безбилетный пассажир; он лежал под украденными подушками и сжимал в руке тонкую полоску розового пластика.

Чего только не претерпишь во имя справедливости! Теснота, толчки! Спертый, провонявший резиной воздух, который вдыхаешь сквозь стиснутые зубы! И непроходящий страх, что тебя обнаружат… «А если она и в самом деле едет за покупками? Вдруг багажник возьмет да и распахнется? И туда посыплются живые куры со связанными ногами, подрезанными крыльями, и мое укрытие наводнят пернатые, и станут трепыхаться-клеваться? Да если она меня увидит, Боже правый, мне придется молчать целую неделю!» Подтянув колени к подбородку, подложив под себя старую, выцветшую подушку, я ехал к неведомому на колеснице материнского коварства. Мать водила машину очень аккуратно, ездила медленно, поворачивала осторожно; и все же после этой поездки я был весь в синяках, – и Мари Перейра жестоко распекала меня за драку: «Арре, Господь всемогущий, что ты только творишь, как это тебя еще не разнесли на кусочки. Боже всевышний, что же из тебя вырастет, ах ты скверный забияка, ах ты хадди-пахлаван – тоже мне борец нашелся!»

Чтобы отвлечься от темноты и тряски, я со всей осторожностью вошел в тот отсек мозга моей матери, который отвечал за вождение, и тем самым получил возможность следить за дорогой. (А также смог различить в уме моей матери, обычно таком аккуратном, некий настораживающий беспорядок. Уже тогда я начал делить людей по тому, насколько прибрано у них внутри, и обнаружил, что предпочитаю более безалаберный тип, где мысли натыкаются одна на другую и образы-предвкушения еды наводят на серьезные размышления

о том, как бы заработать на жизнь, а сексуальные фантазии внедряются в раздумья о политике: такой тип мышления был мне ближе, ибо в моем мозгу смешивалось все, что попало; наскакивало друг на друга, сталкивалось, и яркий солнечный зайчик сознания метался туда-сюда, вверх-вниз, перепрыгивая с одного предмета на другой, словно голодная блоха… Амина Синай, с ее прилежанием, с ее врожденной страстью к порядку, имела ум настолько правильный, что это граничило с аномалией – а теперь странным образом вступила в ряды тех, в чьих головах царит смятение).

Мы направлялись на север, мимо больницы Брич Кэнди и храма Махалакшми, на север по Хорнби Веллард, мимо стадиона Валлабхаи Патель и гробницы Хаджи Али; на север от того, что раньше (прежде, чем мечта первого Уильяма Месволда воплотилась в реальность) было островом Бомбей. Мы направлялись к безымянным скоплениям многоквартирных домов, рыбачьих деревушек, текстильных фабрик и киностудий, в которые обращается город в этих северных предместьях (недалеко отсюда! Совсем недалеко от того места, где я сижу, провожая взглядом пригородные поезда!) …тогда эта местность была мне совершенно незнакома; вскоре я потерял направление и вынужден был признать, что совсем заблудился. Наконец в каком-то мрачном проулке, полном бездомных бродяг, мастерских по ремонту велосипедов, оборванных детей и взрослых, мы остановились. Детишки роем облепили мою мать, когда она вышла из машины; Амина, неспособная отогнать и муху, стала раздавать мелкие монетки, и толпа чудовищно разрослась. Амина все-таки продралась сквозь нее и пошла вниз по улице; следом увязался какой-то мальчишка и канючил не переставая: «Помыть машину, бегам? Классная помывка, шик-блеск, а, бегам? Приглядеть за машиной, пока вас не будет, бегам? Я здорово смотрю за машинами, хоть у кого спросите!».. В некоторой панике я ждал ответа. Как же мне вылезти из багажника на глазах у беспризорного сторожа? Вот незадача, ведь мое появление произведет фурор на этой улице… но мать сказала: «Не надо». Она скрылась в глубине улицы; несостоявшийся мойщик и сторож отстал; наступил момент, когда все взгляды обратились на следующую машину – а вдруг и она остановится и оттуда вылезет госпожа, которая разбрасывает денежки, будто орешки; и в этот самый миг (я подглядывал через несколько пар глаз, чтобы выбрать нужный момент), я щелкнул розовой полоской пластика – и вот в мгновение ока я уже стою возле машины, и багажник закрыт. Сурово сжав губы, игнорируя протянутые ладони, я пошел в том направлении, куда удалилась моя мать; доморощенный детектив с носом длинным, как у ищейки; с барабаном, громко бьющим в том месте, где должно бы находиться сердце… и через несколько минут подошел к кафе «Пионер».

Грязные стекла на окнах, грязные стаканы на столах – кафе «Пионер» ни в какое сравнение не шло с «Гэйлордами» и «Кволити» в более фешенебельных кварталах; настоящий притон с кричащими рекламами «*прекрасное Ласси» и «чудесная Фалуда» и «бхель-пури по-бомбейски»,* с музыкой из кинофильмов, орущей из дешевого радиоприемника у кассы; длинная, узкая зеленоватая комната, освещенная мигающими неоновыми лампами; страшный мир, где мужчины с выбитыми зубами и пустым взглядом швыряют засаленные карты на покрытые клеенкой столы. Но несмотря на мерзость запустения, кафе «Пионер» служило вместилищем многих мечтаний. Ранним утром туда набивались еще сохранившие приличный вид городские бездельники, хулиганы, водители такси, мелкие контрабандисты и букмекеры, которые когда-то давно приехали в Бомбей, мечтая о карьере кинозвезды, о вульгарных до гротеска домах и бешеных, шальных деньжищах; потому что по утрам, в шесть часов, все крупные студии посылали своих мелких служащих в кафе «Пионер», чтобы набрать массовку на очередной съемочный день. На полчаса каждое утро, когда «Д.В. Рама Студиос», и «Фильмистан Токис», и «Р.К. Филмс» производили отбор, кафе «Пионер» становилось центром всех городских амбиций и надежд; потом следопыты студий уходили, забрав с собой сегодняшних счастливчиков, и кафе пустело, погружаясь в обычную, залитую неоновым светом спячку. Ко времени ленча кафе заполнялось мечтаниями иного сорта – сюда, чтобы перекинуться в картишки, отведать «Прекрасного ласси» или крепких бири, сходились другие люди с другими надеждами: тогда

я этого не знал, но после полудня кафе «Пионер» превращалось в одну из основных явок коммунистической партии.

Время было послеполуденное; я увидел, как мать входит в кафе «Пионер»; не решаясь идти следом, я остался на улице, прижав нос к шершавой, оплетенной паутиной оконной раме, не обращая внимания на любопытные взгляды: мои белые шорты, пусть измятые в багажнике, были накрахмалены; волосы, хотя и встрепанные, смазаны хорошим маслом; на ногах грязные, стоптанные, но белые парусиновые туфли на резине, – признак благополучного ребенка; я смотрел, как она пробирается, нерешительно, ковыляя из-за мозолей, мимо шатких столов и мужчин со свирепыми лицами; увидел, как моя мать садится за столик в самом темном углу, в самом далеком конце узкой пещеры; а потом я увидел мужчину, который встал, чтобы поприветствовать ее.

Кожа на его лице висела складками – знак того, что когда-то он был тучным; зубы испачканы паном. На нем была чистая белая курта с лакхнаусской отделкой вокруг петель. Его длинные, как у поэта, волосы свисали гладкими прядями и закрывали уши, но на макушке сияла лысина. Запретные слоги раздались у меня в ушах: На. Дир. Надир. Я вдруг понял, что отчаянно жалею о том, что пришел сюда.

Жил-был когда-то некий подпольный муж, который бежал, оставив в виде любовного послания разводное письмо; поэт, чьи стихи даже не звучали в рифму; чью жизнь спасли бродячие псы. Пропав на десять лет, он возник бог знает откуда, с кожей, обвисшей в память о былой упитанности; и, так же как его когдатошняя жена, завел себе новое имя… Надир Хан стал теперь Касим Ханом, официальным кандидатом от официально зарегистрированной Индийской коммунистической партии. Лал Касим. Красный Касим. Все имеет свой смысл: не без причины румянец красный. Мой дядя Ханиф сказал: «Голосуйте за коммунистов!» – и щеки моей матери заалели; политика и чувства смешались в этом цвете кумача… через грязный квадратный стеклянный экран окна я заглядывал в кафе «Пионер» и видел, как Амина Синай и больше-не-Надир играют любовную сцену – топорно, непрофессионально.

На покрытом клеенкой столе – пачка сигарет «Стейт Экспресс 555». Числа тоже имеют значение: 420, означающее обман; 1001 – число ночей волшебства, альтернативных реальностей; это число любят поэты и ненавидят политики, для которых альтернативные версии мироздания представляют угрозу; и число 555, которое я долгие годы считал самым зловещим из чисел, кодом Дьявола, Великого Зверя, самого Шайтана! (Кир Великий сказал мне это, а я и помыслить не смел, чтобы он мог ошибиться. Но он ошибся: истинное демоническое число – не 555, а 666; но в моем сознании темная аура витает над тремя пятерками и по сей день). Но я отвлекся. Достаточно сказать, что Надир-Касим предпочитал этот сорт сигарет, вышеозначенный «Стейт Экспресс»; что цифра пять трижды повторялась на пачке, а фирменный знак был «У.Д. и Х.О. Уилле». Я не мог смотреть в лицо моей матери, поэтому сосредоточился на пачке сигарет, перейдя от среднего плана двух любовников к очень крупному плану никотина.

Но вот в кадр входят руки – сначала руки Надир-Касима; за эти годы их поэтическая мягкость несколько загрубела, покрылась мозолями; руки мелькают, мерцают, как пламя свечи, исподтишка продвигаются по клеенке, потом резким движением убираются; рядом женские руки, черные, как гагат, дюйм за дюймом они продвигаются, будто тонкие, изящные паучки; руки поднимаются над клеенкой, руки нависают над тремя пятерками, начинают самый странный из танцев, вздымаются, падают, кружат друг подле друга, сплетают узоры то ближе, то дальше; руки жаждут прикосновения; руки протянуты, напряжены, дрожат, требуют, чтобы – но в последний момент всегда отдергиваются, не соприкоснувшись даже кончиками пальцев, потому что на моем грязном стеклянном экране крутят индийский фильм, где телесные контакты запрещены, ибо могут развратить глядящий на это цвет индийского юношества; мы видим ноги под столом и лица над клеенкой, ноги подступают к ногам, лицо нежно склоняется к лицу, но вдруг отстраняется, повинуясь безжалостным

ножницам цензора… двое чужих – у каждого сценическое имя, не то, что было дано при рождении – разыгрывают свои роли, вполсилы, с неохотой. Я не досмотрел фильм до конца и проскользнул в багажник немытого, стоящего без присмотра «ровера», жалея, что вообще пошел в это кино, и все же зная, что не смогу устоять и приду снова и снова.

Вот что увидел я в самом конце: руки моей матери поднимают полупустой стакан «Прекрасного ласси»; губы моей матери нежно, с ностальгией касаются матового стекла; руки моей матери передают стакан Надиру-Касиму; и он прикладывает к противоположной стороне свои поэтические уста. Так жизнь подражала плохому кино, так сестра дяди Ханифа принесла эротику косвенного поцелуя в грязное, залитое зеленым неоновым светом кафе «Пионер».

Обобщим: в середине лета 1957 года, в разгар избирательной кампании, Амина Синай залилась необъяснимым румянцем при случайном упоминании Индийской коммунистической партии. Ее сын, в беспокойном уме которого оставалось еще место для очередной навязчивой идеи, – ибо мозг десятилетнего ребенка способен вместить любое количество комплексов – последовал за ней в северную часть города и подглядел мучительную сцену бессильной любви. (Теперь, когда Ахмед Синай был заморожен, даже с точки зрения секса Надир-Касим ничем не уступал ему; разрываясь между мужем, который запирался в офисе и слал проклятия на дворняг, и бывшим мужем, который когда-то любовно и нежно играл с ней в игру «плюнь-попади», Амина Синай ограничивалась поцелуями в стакан и пляской рук).

Вопросы: использовал ли я еще когда-нибудь полоску розового пластика? Возвращался ли я в кафе статистов и марксистов? Попрекнул ли я свою мать ее отвратительным проступком, ибо какая она мать, если совершила такое – неважно, что там было у них когда-то – на глазах у единственного сына: как она могла как она могла как она могла? Ответы: нет, нет и нет.

Вот мои действия: когда она уезжала «за покупками», я располагался в ее мыслях. Утратив желание видеть все собственными глазами, я ехал в северную часть города, удобно устроившись у матери в голове; соблюдая свое невероятное инкогнито, я сидел в кафе «Пионер» и слушал разговоры о шансах Красного Касима на выборах; бестелесный, но полноценно присутствующий, я таскался вместе с матерью, когда она сопровождала Касима в его обходах, вверх-вниз по лестницам многоквартирных домов района (не эти ли дома мой отец недавно продал, оставив жильцов на произвол судьбы?), когда помогала ему чинить водопроводные краны и донимала домохозяев, требуя произвести ремонт и дезинфекцию. Вместе с беднотой она выступала в поддержку коммунистической партии – этот факт, когда бы Амина о нем ни вспомнила, всегда изумлял ее. Может быть, она поступала так из-за того, что ее собственная жизнь делалась все беднее и беднее; но я, десятилетний, не был склонен к сочувствию и на свой лад начал лелеять мечты о мести.

Говорят, что легендарный халиф Гарун аль-Рашид получал удовольствие, разгуливая инкогнито среди простого народа Багдада; я, Салем Синай, тоже странствовал по закоулкам моего города, но не могу сказать, чтобы мне было особо весело.

Прозаичные, точные описания запредельного и странного и, наоборот, приподнятые, стилизованные версии повседневности – эту технику, вернее, расположение ума, я позаимствовал или, возможно, впитал от самого страшного из детей полуночи, такого же, как и я, подменыша; от того, кого считали сыном Уи Уилли Уинки: от Шивы-крепкие-коленки. Такая техника в его случае использовалась совершенно бессознательно, и в результате творилась картина мира удивительно единообразного, в котором можно было упомянуть небрежно, походя, об ужасных расправах с проститутками – рассказы об этом в те дни наводняли бульварную прессу (а трупы тем временем забивали сточные канавы), – одновременно со всей страстностью обсуждая подробности какой-нибудь запутанной карточной игры. Смерть и битая карта были для Шивы явлениями одного и того же порядка; отсюда его ужасающая, беззаботная тяга к насилию, которая в конце… но лучше

начать с начала.

Это, конечно, мое упущение, но я должен сказать, что, если вы считаете меня всего лишь радиоприемником, вам ведома только половина правды. Мысль так же часто принимает изобразительную или чисто эмблематическую форму, как и вербальную; во всяком случае, чтобы общаться с коллегами по Конференции Полуночных Детей и понимать их, мне нужно было побыстрей выйти за пределы вербальной стадии. Внедряясь в их бесконечно разнообразные умы, я должен был пробиваться сквозь лежащий на поверхности слой мыслей, звучащих на непонятных мне языках, отсюда очевидный (продемонстрированный ранее) результат: все они начинали ощущать мое присутствие. Помня, какое ошеломляющее действие оказало подобное ощущение на Эви Бернс, я взял на себя некоторый труд и постарался по возможности смягчить шок от моего вторжения. В каждом случае я передавал вначале изображение собственного лица – с улыбкой, как я полагал, ободряющей, дружелюбной, располагающей; в общем, с улыбкой лидера, и с протянутой в знак дружбы рукой. Бывали, однако, и недоразумения.

Немного времени понадобилось мне, чтобы понять: я так стеснялся своей внешности, что сильно искажал собственное изображение, и потому мой портрет с улыбкой Чеширского кота, который я посылал через мысле-волны нации, получался до крайности мерзким: поразительно длинный нос, полное отсутствие подбородка и гигантских размеров родимые пятна на висках. Неудивительно, что чужие умы часто встречали меня тревожными криками. Да и меня порой пугали составленные моими десятилетними дружками образы самих себя. Когда мы догадались, в чем дело, я предложил участникам Конференции, одному за другим, пойти и посмотреться в зеркало или в гладкую поверхность воды, и тогда нам удалось наконец определить, как же мы на самом деле выглядим. Проблемы возникли только с нашим кераланским коллегой (который, как вы помните, проходил сквозь отражающие поверхности): в конце своих странствий он случайно вылез из зеркала в ресторане, расположенном в самой фешенебельной части Нью-Дели, и вынужден был поспешно ретироваться; да еще с голубоглазым участником из Кашмира, который упал в озеро и ненароком поменял пол, погрузившись в воду девочкой, а выйдя оттуда красивым мальчиком.

Когда я впервые познакомился с Шивой, я увидел в его уме устрашающий образ низкорослого, с крысиной мордочкой пацана: у него были острые зубы и огромные, узловатые колени, каких еще не видел свет.

Когда передо мной предстал портрет столь гротескных пропорций, моя лучезарная улыбка несколько поблекла, а протянутая рука задрожала и опустилась. Шива, ощутив мое присутствие, вначале разразился неистовым гневом; огромные, кипящие волны ярости прокатывались у меня в голове, но вдруг: «Эй, глянь-ка: да я тебя знаю! Ты – богатый маменькин сынок из имения Месволда, так?» И я, столь же изумленный: «Сын Уинки – тот, кто выбил глаз Одноглазому!» Его портрет раздулся от гордости: «Да, да-а-а, я самый. Со мной никому не совладать, так-то!» Узнав старого знакомого, я перешел на банальности: «Ну! А как твой отец, кстати? Давно не заходит…» И он – с чувством, похожим на облегчение: «Кто, отец? Отец помер».

Короткая пауза, потом недоумение – уже не гнев – и Шива: «Слышь-ка, да ведь это чертовски здорово – как ты это делаешь?» Я пустился в свои обычные, стандартные объяснения, но через несколько мгновений он перебил меня: «Вот как! Слышь-ка, отец говорил мне, будто и я родился ровно в полночь – так разве непонятно тебе, что мы с тобой главари в этой твоей банде! Полночь лучше всего, согласен? Значит, те, другие ребята будут делать то, что мы им скажем!» Перед моими глазами замаячил образ второй Эвелин Лилит Бернс, только куда более сильной… отбросив эту недобрую мысль, я объяснил: «Конференция задумывалась не совсем так; имелось в виду нечто вроде, понимаешь ли, вроде… свободного союза равных, где каждый волен высказать свою точку зрения…» Что-то напоминающее громкое фырканье раздалось в моем черепе: «Да это все чушь собачья. Куда годится такая банда? У банды должны быть главари. Взгляни на меня, – тут он вновь

раздулся от гордости – уже два года, как я завел себе банду здесь у нас, в Матунге. Я в ней самый главный, с восьми лет. Меня и старшие ребята слушаются. Что скажешь, а?» И я, не имея в виду ничего плохого: «А чем она занимается, твоя банда – есть в ней какие-то правила?» Хохот Шивы у меня в ушах… «Ага, богатый сосунок, есть правило, одно-единственное. Все делают, что я им говорю, а не то я выжму из них дерьмо вот этими коленками!» Я все же не оставлял отчаянных попыток убедить Шиву, обратить его в свою веру: «Дело в том, что мы пришли в мир с какой-то *целью,* подумай, а? То есть должна же быть какая-то *причина,* согласен? Ну, я и решил, что мы должны попробовать выяснить, в чем она, а потом, понимаешь ли, как бы посвятить ей наши жизни…» «Богатый сосунок, – завопил Шива, – да ни черта ты не смыслишь! Что за *цель,* а? Что вообще в этом гребаном мире имеет *причину,* йара? По какой такой причине ты богатый, а я бедный? По какой причине люди голодают, а? Бог весть сколько миллионов проклятых дурней живет в этой стране, а ты говоришь о какой-то цели! Вот что я тебе скажу: нужно урвать кусок пожирней, попользоваться им всласть, а потом подохнуть. Вот тебе и причина, и цель, богатенький мямля. А все прочее – гребаная *брехня!»*

И я в свой полуночный час, у себя в постели, начинаю дрожать от страха… «Но история, – бормочу я, – и премьер-министр написал же ведь мне письмо… неужели ты даже не веришь в… кто знает, что бы мы могли…» И он, мой двойник, Шива, бесцеремонно вторгается в мою речь: «Послушай, сосунок, ты доверху набит этой несусветной мурой, так что, вижу, придется мне взять дело в свои руки. Так и передай всем прочим чудам-юдам!»

Нос и колени, колени и нос… соперничество, которое началось этой ночью, не кончится до тех пор, пока два лезвия не просвистят вниз-вниз-вниз… может быть, дух Миана Абдуллы, заколотого ножами многие годы тому назад, просочился в меня, пропитал меня идеей свободного федерализма и сделал уязвимым для режущей стали, – не могу сказать, но в тот момент я нашел в себе мужество и сказал Шиве: «Ты не можешь вести Конференцию; без меня тебя никто не услышит».

И он, в свою очередь, объявил войну: «Богатый сосунок, они ведь захотят узнать обо мне; только попробуй меня придержать!»

– Ага, – сказал я, – попробую.

Шива, бог-разрушитель, самый могущественный из всех; Шива, великий танцор; тот, кто едет верхом на быке; кто одолеет любую силу… мальчик Шива, как он сам рассказал, боролся за выживание с самых первых лет. И когда его отец, с год тому назад, окончательно потерял голос, Шива вынужден был защищаться от родительского рвения Уи Уилли Уинки. «Он завязал мне глаза, слышь! Повязал тряпку и поволок на крышу лачуги! А знаешь, что было у него в руке? Гребаный молоток, вот что! Молоток! Этот ублюдок хотел раздробить мне ноги – такое бывает, знаешь ли, богатый маменькин сыночек; такое делают с детьми, чтобы они могли зарабатывать на жизнь, прося милостыню: если у тебя все кости переломаны, больше подают, так-то! Значит, приволок он меня и положил на крышу, а потом…» А потом молоток устремился вниз, к большим, узловатым коленкам, каким позавидовал бы любой полицейский, попасть по ним было легко, но коленки пришли в движение, быстрее молнии коленки разомкнулись – почуяли ветер от летящего вниз молотка и разошлись широко-широко, и молоток, который держала отцовская рука, врезался в бетон; а потом коленки сомкнулись, крепкие, как кулаки. Молоток звякает о бетонную крышу, не причинив Шиве никакого вреда. Запястье Уи Уилли Уинки зажато между коленями сына, чьи глаза завязаны тряпкой. Хриплое дыхание вырывается из груди терпящего адскую боль отца. А колени сжимаются тесней-тесней-тесней, пока не слышится хруст. «Сломал ему запястье, будь оно неладно! Показал ему, на что я способен – здорово, а? Честное слово!»

Мы с Шивой родились на подъеме Козерога; меня созвездие не заметило, а Шиву одарило. Козерог, как вам скажет любой астролог, – небесное тело, влагающее силу в колени.

В день выборов 1957 года Индийский национальный конгресс испытал неприятный шок. Хотя он и победил на выборах, двенадцать миллионов голосов превратили коммунистов в единственную крупную партию оппозиции; а в Бомбее, несмотря на усилия Босса Пателя, большое количество избирателей отказывалось ставить крестики перед символом конгресса – священной-коровой-и-сосущим-теленком, предпочитая менее эмоциональные пиктограммы «Самьюкта Махараштра Самити» и «Маха Гуджарат Паришад». Когда зараза коммунизма обсуждалась на нашем холме, мать продолжала краснеть; и мы смирились с разделом штата Бомбей.

Один из участников Конференции Полуночных Детей сыграл небольшую роль в выборах. Тот, кого считали сыном Уинки, Шива, был нанят – нет, лучше я не стану называть партию; но только одна из всех партий могла тратить по-настоящему крупные суммы – и в день голосования Шива и его бандиты, называющие себя ковбоями, стояли у всех на виду возле избирательного участка в одном из северных кварталов: одни держали длинные крепкие дубинки, другие подбрасывали камни, третьи ковыряли в зубах ножиками – и все призывали избирателей отдавать голоса по зрелом размышлении, взвесив все «за» и «против»… а когда участки закрылись, были ли взломаны опечатанные урны? Были ли подброшены фальшивые бюллетени? Так или иначе, когда голоса подсчитали, оказалось, что Красный Касим чуть было не прошел в парламент; и наниматели моего соперника, оплатившие его услуги, были крайне довольны.

…Но вот Падма замечает кротко: «А в какой день это было?» И я, не подумав, отвечаю: «Где-то весной». И тут же понимаю, что совершил еще одну ошибку – что выборы 1957 года состоялись до, а не после моего десятого дня рождения, но, как ни ломаю я голову, память упрямо отказывается изменять последовательность событий. Это тревожит меня. Сам не знаю, отчего это случилось, отчего все пошло наперекосяк.

Напрасно Падма старается утешить меня: «Ну и что у тебя так вытянулось лицо? Любой может забыть какую-то мелочь, с кем не бывает!»

Но если исчезают мелочи, не последуют ли за ними и крупные предметы?

Альфа и Омега

В месяцы после выборов в Бомбее царила неразбериха; неразбериха царит и в моих мыслях, когда я вспоминаю эти дни. Ошибка выбила меня из колеи, и теперь, чтобы обрести равновесие, я должен встать обеими ногами на знакомую почву имения Месволда; отставив Конференцию Полуночных Детей в одну сторону, а страдания в кафе «Пионер» – в другую, я расскажу вам о падении Эви Бернс.

Этому эпизоду я дал несколько странное название. «Альфа» и «Омега» глядят на меня с листа, требуют, чтобы разъяснили их смысл – странным образом задают направление тому, что будет поворотным пунктом в моей истории, сводящим начала и концы, хотя вы, возможно, и ждали бы здесь середины; но я ни в чем не раскаиваюсь и не собираюсь ничего менять, хотя у меня в запасе есть и другие, альтернативные, заглавия, например: «От Мартышки к резусу», или «Усекновение Перста», или – в более эзотерическом стиле – «Великий Гусак», прямая аллюзия на мифическую птицу, хамсу или парахамсу[236], которая символизирует способность жить в двух мирах, физическом и духовном, в мире земли-и-воды, и в мире воздуха, или полета. Но глава названа «Альфа и Омега»; «Альфой и Омегой» она и останется. Ибо здесь начала сплелись со всевозможными концами; скоро вы поймете, что я имею в виду.

Падма в раздражении цокает языком: «Опять несешь незнамо что, – укоряет она. – Ты про Эви будешь рассказывать или нет?»

…После всеобщих выборов Центральное правительство продолжало колебаться относительно будущей судьбы Бомбея. Раздел штата утвердили, потом отменили; потом

236

сторонники раздела снова подняли голову. Что же до самого города – его то нарекали столицей Махараштры, то Махараштры и Гуджарата вместе; то провозглашали независимым штатом… пока правительство пыталось выработать какую-то мало-мальски связную программу действий, горожане решили его подтолкнуть, поторопить. Волнения множились (и снова можно было слышать прежний боевой клич маратхов – *Здравствуй, ты! – Очень рад! – Палкой дам тебе под зад!* – несущийся над схваткой); и, что самое худшее, ко всем этим беспорядкам прибавилась погода. Наступила жестокая засуха; дороги растрескались; крестьяне в деревнях были вынуждены забивать коров; а под Рождество (ни один мальчик, посещающий миссионерскую школу и имеющий няню-католичку, не мог не понимать значения этого праздника) прогрохотали взрывы у водохранилища Валкешвар, и главные трубы, доставлявшие в город пресную воду, стали пускать фонтаны, словно гигантские стальные киты. Газеты без конца писали о диверсантах; и всяческие предположения относительно того, кто они такие и к какой партии принадлежат, потеснили сообщения о продолжающейся волне убийств проституток. (Особенно интересным показалось мне то, что у убийцы был свой собственный «почерк». Тела «ночных бабочек» носили следы удушения; но синяки на шее были слишком велики для пальцев, зато они вполне могли оказаться отпечатками гигантских, сверхъестественно мощных коленей).

Но я отвлекаюсь. Как, вопрошает нахмуренное чело Падмы, связано все это с Эвелин Лилит Бернс? Что ж, я перехожу к сути дела, ответ у меня уже готов: после того, как городское хранилище пресной воды было разрушено, все бродячие кошки Бомбея скопились в тех кварталах, где кризис ощущался не так остро; то есть в кварталах зажиточных, где в каждом доме имелся собственный запас воды на крыше или в подвале. В итоге двухэтажный холм имения Месволда наводнила армия жаждущих кошек: кошки заполонили круглую площадку; по плетям бугенвиллии кошки залезали в дома, запрыгивали в гостиные; кошки опрокидывали цветочные горшки и пили воду из блюдец; кошки располагались лагерем в ванных комнатах и лакали из унитазов; кошки кишели в кухнях всех дворцов Уильяма Месволда. Попытки слуг имения как-то остановить великое кошачье нашествие оканчивались провалом, а домохозяйки ограничивались бессильными криками ужаса. Твердые сухие червячки кошачьего кала лежали повсюду; сады гибли, сломленные численным превосходством противника; спать по ночам стало совершенно невозможно – войско обрело голос и пело луне баллады о своей жажде. (Баронесса Симки фон дер Хейден не желала гонять котов; у псины уже появились первые признаки болезни, которая вскорости покончит с ней).

Нусси Ибрахим позвонила моей матери специально, чтобы объявить: «Сестричка Амина, настал конец света».

Она ошибалась, ибо на третий день кошачьего нашествия Эвелин Лилит Бернс обошла все дома в имении, небрежно помахивая пневматическим пистолетом «Маргаритка», и предложила за хорошую плату в два счета покончить со зловредными кисками.

Весь этот день в имении Месволда раздавались хлопки пневматического пистолета Эви и дикие вопли подстреленных котов: Эви выбивала все войско, кошку за кошкой, и набивала себе карманы. Но (как нам часто показывает история) момент величайшего триумфа чреват окончательным поражением; так оно и вышло, потому что охота на котов, предпринятая Эви, стала для Медной Мартышки последней каплей, переполнившей чашу ее терпения.

– Братец, – мрачно заявила Мартышка, – я уже говорила тебе, что когда-нибудь эту девчонку достану; теперь как раз и наступил подходящий момент.

Вопросы, на которые нет ответа: правда ли, что сестра, кроме птичьего языка, выучила и кошачий? Любовь ли к кошачьему племени, забота ли о его сохранности довела ее до этаких крайних мер?.. Ко времени великого нашествия кошек волосы Мартышки потемнели, стали каштановыми; она распрощалась с привычкой жечь обувь; и все же не без причины таилась в ней некая свирепость, каковой никто из нас никогда не обладал; и она сбежала вниз, на круглую площадку, и заорала благим матом:

– Эви! Эви Бернс! Где ты там – иди сюда сию минуту!

В окружении обращенных в бегство кошек Мартышка ждала Эвелин Бернс. Я вышел на веранду первого этажа и приготовился смотреть; Сонни, и Одноглазый, и Прилизанный, и Кирус тоже наблюдали со своих веранд.

Мы увидели, как Эви Бернс идет от кухонь виллы Версаль; пистолет дымился в ее руке, и она сдувала с дула дымок.

– Вы, индейцы, должны благодарить ваших богов за то, что я рядом, – заявила Эви, – иначе эти кошки сожрали бы вас живьем!

Мы увидели, как слова застыли у Эви на губах – она заметила нечто жесткое, напряженное в глазах Мартышки; а после размытым пятном Мартышка налетела на Эви, и завязался бой, который длился, как нам показалось, несколько часов (хотя на самом деле это могли быть минуты). Окутанные пылью круглой площадки, девчонки катались по земле, пинали друг друга, царапались, кусались; клочья волос вылетали из облака пыли, мелькали то локти, то ноги в запачканных белых носках, то коленки; а то из облака летели и обрывки платьев; сбежались взрослые; слугам никак не удавалось разнять взбесившихся девчонок, пока наконец садовник Хоми Катрака не облил их из шланга… Медная Мартышка поднялась, немного потрепанная, отряхивая испачканный в грязи подол, не обращая внимания на вопли о возмездии, слетавшие с уст Амины Синай и Мари Перейры; ибо перед ней, посреди круглой площадки, в грязной луже, налитой из шланга, лежала Эви Бернс – пластинка на зубах покорежена, волосы спутаны, заплеваны и вываляны в пыли: дух ее и ее власть над нами были сломлены раз и навсегда.

Через несколько недель отец отправил ее домой, от греха подальше, «чтобы дать дочери хорошее воспитание, избавив ее от этих дикарей», – заявил он во всеуслышание; я после этого лишь единожды узнал что-то о ней через полгода, когда как гром с ясного неба пришло письмо от Эви, адресованное мне; в письме она сообщала, что зарезала ножом старуху, которая не давала ей истреблять кошек. «Она сама просилась, – писала Эви. – Скажи своей сестрице, что ей просто повезло». Отдаю долг этой неизвестной старухе: она расплатилась по Мартышкиным счетам.

Еще интересней, чем последняя весточка от Эви, – мысль, что пришла мне в голову сейчас, когда я смотрю назад в темный туннель времени. Видя воочию, как Мартышка и Эви катаются по земле, я теперь, кажется, различаю ту скрытую силу, что подвигла их на смертный бой; причину, которая коренилась глубже, чем простое истребление котов: девчонки дрались из-за меня. Эви и моя сестра (которая во многом была на американку похожа) колотили друг друга и царапались вроде бы из-за нескольких ошалевших от жажды бродячих кошек; но, возможно, удары Эви предназначались мне; возможно, охватившая ее неистовая ярость была вызвана моим вторжением в ее мысли; а Мартышке, может быть, придавала силы сестринская преданность, и ее битва на самом деле двигалась любовью.

Итак, кровь пролилась на круглой площадке. Еще одно отвергнутое название для этих листков: «Кровь не водица». В те дни водного дефицита совсем не водица текла по лицу Эви Бернс; повинуясь голосу крови, дралась Медная Мартышка; и на улицах города участники беспорядков пускали друг другу кровь. Совершались кровавые злодеяния, и, возможно, не слишком уместно будет закончить этот кровопролитный перечень очередным упоминанием о приливах крови к щекам моей матери. Двенадцать миллионов голосов были в тот год окрашены красным, а красный цвет – цвет крови. Скоро крови прольется еще больше: группы крови, А и О, альфу и омегу, – и еще одну, третью возможность – следует будет иметь в виду. И другие показатели тоже: гаметы и Келловы антигены[237], и самый таинственный из атрибутов крови, известный как резус; а резус – один из видов мартышек.

Все имеет очертания, если хорошенько вглядеться. От формы никуда не денешься.

Но до того, как пробьет час крови, я взмахну крылом (как гусь-парахамса, способный воспарить из одной стихии в другую) и вернусь ненадолго к делам моего сокровенного мира;

237

ибо, хотя с падением Эви Бернс кончился и остракизм, которому подвергли меня ребята с нашего холма, мне было трудно их простить, и на какое-то время, держась в сторонке и наособицу, я погрузился в события, происходившие у меня в голове, – в самое начало сообщества детей полуночи.

Признаюсь начистоту: я не любил Шиву. Мне претил его грубый язык, резкость, нахрапистость в мыслях; я даже начал подозревать его в серийных убийствах – хотя и обнаружил, что невозможно найти этому ни малейшего подтверждения в его уме, ибо он, единственный из детей полуночи, мог закрывать от меня любую часть своего мозга, если хотел оставить ее только для личного пользования, и это само по себе увеличивало и мою неприязнь к мальчишке с крысиным лицом, и мои подозрения на его счет. Тем не менее, я старался избегать несправедливости, а отлучать его от общения с другими участниками Конференции было бы несправедливо.

Должен объяснить, что, постигнув до конца мои ментальные возможности, я обнаружил следующий факт: мне не только удавалось принимать передачи детей и передавать собственные сообщения; кроме этого (раз уж я, похоже, прочно завяз в этой радиометафоре) я представлял собой нечто вроде национальной сети вещания: открыв свой преобразованный ум всем детям, я превращал его в некий форум, где они могли свободно говорить друг с другом через меня. Так, в первые дни 1958 года пятьсот восемьдесят один ребенок собирался на один час, между полуночью и часом ночи, в «лок сабха»[238], или парламенте, расположенном у меня в мозгу.

Мы были разношерстной, крикливой, неуправляемой компанией – чего еще можно ожидать от десятилетних детей, собравшихся вместе в количестве пятисот восьмидесяти одного; к нашему природному буйству добавлялось радостное возбуждение от знакомства друг с другом. После часа настроенных на полный звук воплей, трескотни, споров, хиханек и хаханек я, опустошенный, проваливался в сон, слишком глубокий, чтобы видеть кошмары, и все же просыпался с головной болью; но это меня не смущало. В повседневной реальности я был вынужден терпеть многообразные страдания из-за материнского коварства и отцовского сползания в пропасть, из-за непостоянства друзей и всяческого тиранства в школе; ночью же я был в центре самого волнующего мира, какой когда-либо открывал для себя ребенок. Несмотря на Шиву, ночью было приятней.

Убеждение Шивы в том, что он или мы, или он-и-я естественным образом должны стать лидерами нашей группы по праву его (и моего) рождения ровно в полночь, имело под собой, должен признаться, одно серьезное основание. Мне казалось тогда – и кажется сейчас, – что то полуночное чудо имело строго иерархическую природу, и способности детей катастрофически мельчали по мере того, как время их рождения удалялось от полуночи; но и эта точка зрения вызвала горячие дебаты… «Что-ты-хочешь-этим-сказать-как-ты-можешь-так-говорить», – завопили они в унисон – мальчишка из лесов Гира, у которого было совершенно гладкое, без единой черты, лицо (только глаза, дырки носа, дыра рта), и он мог выбирать себе любые черты, какие ему хотелось; и Харилал, который бегал со скоростью ветра, и Бог знает сколько еще других… И – «Кто сказал, что одно лучше другого?» И – «Ты умеешь *летать? Я умею!»* И – «Эй, гляди: а ты умеешь сделать из одной рыбы пятьдесят?» И – «Сегодня я ходил в завтрашний день. Ты так можешь? Ну и –» …столкнувшись с такой волной бурных протестов, даже Шива сменил тон, но он нашел другой, новый, более опасный как для детей, так и для меня.

Ибо я обнаружил, что роль вождя до некоторой степени притягивала меня. Кто, в конце-то концов, открыл детей? Кто предоставил место для встреч? Не я ли – один из двух старших, и не вправе ли я, согласно старшинству, требовать почтения и послушания? Не полагается ли тому, кто предоставляет для клуба здание, главенствовать в этом клубе?.. Но Шива на это: «Брось трепаться, пацан. Все эти клубы-бубы только для вас, богатеньких

238

сосунков!» Но – на время – его одолели. Парвати-Колдунья, дочь фокусника из Дели, поддержала меня (через много лет она спасет мне жизнь), объявив: «Нет, вы послушайте, послушайте все: без Салема нас просто нет, мы не можем разговаривать, и все такое; он прав. Пусть будет вождем!» И я: «Нет, не надо *вождем,* просто… просто считайте меня… старшим братом хотя бы. Ну да: мы ведь в некотором роде семья. А я – старший». На что Шива отозвался с издевкой, впрочем, не решаясь спорить: «Ладно, старший брат, теперь скажи: что нам делать?»

И тут я изложил перед Конференцией мысли, которые мучили меня все это время: о цели и смысле. «Мы должны подумать, – сказал я, – зачем мы нужны».

Воспроизвожу достоверно точки зрения из представительной выборки участников Конференции (исключая цирковых уродов и тех, кто, как Сундари-нищенка с располосованным ножевыми ранами лицом, утратили свою силу; эти, как правило, во время наших дебатов сидели молча, будто бедные родственники на пиру); среди самых разных философских сентенций и определений встречались коллективизм: «А что, если нам всем собраться в одном месте и зажить там? Разве нам нужен кто-нибудь еще?» – и индивидуализм: «Заладил: мы да мы – да мы все вместе ничего не значим; главное, что у каждого из нас есть дар, и мы можем его использовать для себя», – сыновний или дочерний долг: «Раз мы способны помогать отцу-матери, это и нужно делать», – и бунт детей: «Ну, наконец-то мы покажем всем ребятам, что можно обойтись и без предков!», – капитализм: «Только подумайте, какой мы сделаем бизнес! Какими станем богатыми, о, Аллах!», – и альтруизм: «Стране нужны одаренные люди; мы должны спросить в правительстве, где могут пригодиться наши умения», – и научный интерес: «Мы должны позволить, чтобы нас исследовали», – и религия: «Давайте явимся миру, и пусть все восславят Господа», и – отвага: «Мы захватим Пакистан!», – и трусость: «О небо, лучше нам сидеть тихо-тихо, только подумайте, что они могут с нами сделать – камнями побить, как ведьм, или и того хуже!», – были заявления о правах женщин и призывы облегчить участь неприкасаемых; дети безземельных крестьян мечтали о земле, а дети горцев – о джипах; не обошлось и без претензий на безграничную власть. «Друзья, нас никто не сможет остановить! Мы умеем и колдовать, и летать, и читать мысли, и превращать всех прочих в лягушек, и делать золото и рыб, и все прочие влюбляются в нас без памяти, и мы можем исчезать в зеркалах и менять пол… как с нами совладать?»

Не скрою: я был разочарован. И напрасно, ибо в этих детях не было ничего необычного, кроме их способностей; головы их были набиты самыми обычными вещами: папа – мама – деньги – еда – земля – богатство – слава – власть – Бог. В помыслах участников Конференции не мог я найти ничего нового, под стать нам… но и я тогда стоял на неверном пути; я не был зорче других; и даже когда Сумитра, странник по времени, сказал: «Поверьте мне, все это без толку: они покончат с нами еще до того, как мы начнем!» – никто из нас не прислушался к его словам; с оптимизмом юных лет – а это более опасная форма той же самой заразы, которую когда-то подцепил мой дед Адам Азиз – мы отказывались вглядываться в темную сторону вещей, и никто из нас не мог поверить, будто целью Детей Полуночи было их истребление; что мы не обретем смысла до тех пор, пока нас не уничтожат.

Чтобы сохранить все в секрете, я отказываюсь различать голоса, отделять один голос от другого: впрочем, есть и другие причины. Во-первых, в мое повествование не вместится пятьсот восемьдесят один всесторонне описанный персонаж; во-вторых, дети, несмотря на их изумительно разрозненные и разнообразные способности, оставались для меня неким многоголовым чудищем, говорящим на мириадах языков, словно после Вавилонского столпотворения; в них заключалась самая суть множественности, и я не вижу смысла разделять их сейчас. (Были, правда, исключения. В особенности Шива, а также Парвати-Колдунья).

…Предназначение, историческая роль, дар Божий: такие куски не для десятилетних ртов. Даже, наверное, не для моего; несмотря на вездесущий, наставляющий, указующий

перст рыбака и письмо премьер-министра, от моих сопением принесенных чудес меня постоянно отвлекали мелкие события повседневной жизни: я хотел есть и спать, я мартышничал с Мартышкой, ходил в кино и смотрел «Женщину-Кобру» или «Вера Крус», со страстным нетерпением дожидался того момента, когда мне позволят надеть длинные брюки, и с томлением столь же страстным ощущал необъяснимое тепло пониже пояса, когда близился общешкольный акт, где мы, мальчики из Соборной средней школы Джона Коннона, могли танцевать бокс-степ и мексиканский танец в шляпах с девочками из дружественных женских школ – такими, как Маша Миович, чемпионка по плаванию брассом («Хи-хи», – корчит рожу Зобатый Кит Колако), и Элизабет Перкинс, и Джейни Джексон – с европейскими девчонками, Боже, в расклешенных юбках, а как эти девчонки целуются! – короче говоря, мое внимание было постоянно поглощено мучительной, отнимающей все силы пыткой взросления.

Даже мифический гусь должен иногда спускаться на землю, так что я не в состоянии (и тогда был не в состоянии) ограничивать свою историю одними только чудесами; я должен вернуться (как я возвращался тогда) в повседневность; я должен позволить крови пролиться.

Первое увечье Салема Синая, за которым мгновенно последовало второе, имело место в среду, в начале 1958 года – в ту самую среду, когда должен был состояться столь вожделенный акт при содействии Англо-Шотландского общества образования. Иными словами, это случилось в школе.

Кто напал на Салема? Человек красивый, исступленный, с косматыми усами варвара – я представляю вам, вывожу на сцену подпрыгивающую, выдирающую волосы персону господина Эмиля Загалло, который преподавал у нас географию и гимнастику и который тем утром, сам того не желая, разрушил всю мою жизнь. Загалло утверждал, будто он – перуанец, и любил называть нас индейцами из джунглей, падкими на бусы; над доской он повесил гравюру, где изображался суровый потный солдат в остроконечной жестяной шапке и железных штанах, – и в тяжелую минуту всегда тыкал в него пальцем и кричал: «Ви-идите е-ето, дикари? Е-етот человек е-есть цивилизация! Вы-ы должны е-его уважать: у него *меч!*» И трость Загалло свистела в воздухе, застывшем, непроницаемом, будто каменная стена. Мы его звали Пагал-Загал[239], сумасшедший Загалло, ибо, сколько бы ни распространялся он о ламах, конкистадорах и Тихом океане, – все мы знали из абсолютно достоверных источников, что родился он в одном из многоквартирных домов Мазагуна, а его мать, уроженку Гоа, бросил какой-то заезжий экспедитор; так что он был не только полукровка, но, скорее всего, еще и ублюдок. Будучи в курсе всего этого, мы понимали, почему Загалло форсирует свой латинский акцент, почему вечно бесится и стучит кулаками в каменные стены класса; но, зная обо всем, мы тем не менее ужасно его боялись. И этим утром, в среду, мы знали, что нас ждут неприятности, потому что факультативный собор отменили.

В среду утром у нас было два урока географии с Загалло, но только кретины и сыновья религиозных фанатиков ходили на них, потому что в это же самое время по своему свободному выбору мы могли, построившись в пары и взявшись за руки, отправиться в собор св. Фомы: длинная вереница мальчишек, принадлежащих ко всем мыслимым вероисповеданиям, прогуливала школу, припадая на грудь тактичного, факультативного Бога христиан. Загалло бесился, но ничего не мог поделать; однако сегодня мрачный пламень зажегся в его очах, ибо Квакушка (то есть директор, мистер Крузо) объявил на утренней линейке, что посещение собора отменяется. Тусклым, скрипучим голосом, что излетал из раздвинутого рта, расположенного на лице обездвиженной лягушки, он приговорил нас к двум урокам географии у Пагала-Загала, застав нас всех врасплох, ибо мы и помыслить не могли, чтобы Бог, хоть бы и факультативный, позволил бы предпочесть себе что-то еще. Мы угрюмо поплелись в логово Загала; один из бедных дурачков, которому родители не позволяли посещать собор, злорадно прошептал мне на ухо: «Вот погодите: он вам всем

239

сегодня покажет».

Да, Падма, он показал.

В классе сидят с понурым видом: Зобатый Кит Колако, Жирный Пирс Фишвала, Джимми Кападиа, стипендиат, сын водителя такси; Прилизанный Сабармати, Сонни Ибрахим, Кир Великий и я. Другие тоже, но их перечислять нет времени, потому что, щурясь от удовольствия, сумасшедший Загалло призывает нас к порядку.

– Человеческий фактор в географии, – объявляет Загалло. – Что-о е-ето *такое?* Кападиа?

– Простите-сэр, не знаю-сэр.

Руки взмывают вверх; пять принадлежат изгнанным из собора кретинам, шестая, как всегда, Киру Великому. Но Загалло сегодня жаждет крови: агнцам божиим придется претерпеть.

– Гря-язный дикарь из джонглей, – он дает затрещину Джимми Кападиа, а потом начинает небрежно вертеть его ухо. – Приходи хотя бы изредка на урок, тогда будешь знать!

– Уй-юй-юй, сэр, да, сэр, простите, сэр… – Шесть рук колышутся, но уху Джимми приходится плохо. И я решаюсь на геройский поступок… «Сэр, пожалуйста, перестаньте, сэр, у него больное сердце, сэр!» Это чистая правда, но говорить правду опасно, ибо теперь Загалло поворачивается ко мне: «Ты-ы ма-аленький защи-итник, а-а?» – И тащит меня за волосы, и ставит перед классом. Под полными облегчения взглядами соучеников – «*слава Богу, его, не меня»* – я корчусь от боли, чувствуя, что волосы мои попали в плен.

– Так, отвечай на вопрос. Ты знаешь, что-о е-есть человеческий фактор в географии?

Боль пронизывает мне голову, мешает сосредоточиться, сжульничать с помощью телепатии:

– Ай-й-сэр-нет-сэр-а-ах!

И теперь можно воочию наблюдать, как на Загалло находит стих острословия, раздвигая его лицо в некоем подобии улыбки; можно видеть, как рука учителя молниеносно устремляется вперед, большой-и-указательный пальцы разведены в стороны; можно заметить, как большой-и-указательный пальцы смыкаются на кончике моего носа и тянут вниз… куда нос, туда и голова, и, наконец, нос притянут ниже некуда, а глаза принуждены уныло разглядывать обутые в сандалии ноги Загалло с грязными ногтями, а Загалло преподносит свою остроту:

– Глядите, дети, – видите ли вы, что перед вами? Хорошенько рассмотрите ме-ерзкое лицо этого примитивного создания. Что напоминает вам оно?

Град ответов: «Сэр-черта-сэр», «Можно-я-сэр-одного моего кузена!», «Нет, сэр, какой-то овощ, сэр, я забыл, как называется!» Наконец голос Загалло перекрывает гам: «Тихо! Отродье бабуинов! Е-етот предмет, – он дергает меня за нос, – и е-есть человеческий фактор в географии!»

– Как-сэр, где-сэр, что-сэр?

Теперь Загалло хохочет: «Да разве вы не видите, – захлебывается он. – Разве вы не видите на лице е-етой безобразной гориллы всю карту Индии?»

– Да-сэр, нет-сэр, покажите-сэр!

– Глядите: вот свисает вниз полуостров Декан! – И снова хрясь вниз мой нос.

– Сэр-сэр, если это карта Индии, то что такое родимые пятна, сэр? – Это Зобатый Кит Колако набрался смелости. Одноклассники хихикают, прыскают в кулак. А Загалло – вдохновленно:

– Е-ети пятна, – возглашает он, – Пакистан! Е-ети родимые пятна на правом ухе – восточная часть, а е-ета жуткая, рябая левая щека – западная часть! Запомните, дурачье: Пакистан е-есть родимое пятно на лице Индии!

– Хо-хо, – гогочет класс. – Вот это шутка так шутка, сэр!

Но мой нос уже не выдерживает; поднимая индивидуальный, импровизированный мятеж против крепко сжатых большого-и-указательного, он извлекает из ножен свое собственное оружие… изрядный ком блестящих соплей извергается из левой ноздри и

плюхается в ладонь господина Загалло. Жирный Пирс Фишвалла вопит: «Глядите, глядите, сэр! Сопля из носа, сэр! Это, наверное, *Цейлон?»*

С ладонью, вымазанной в соплях, Загалло теряет охоту шутить. «Скотина, – рычит он. – Видишь, что натворил?» Рука Загалло отпускает мой нос, вновь поднимается к волосам. Извержения носа вытерты о мои тщательно расчесанные локоны. И теперь вторично рука вцепляется в волосы и опять тянет… но теперь вверх, и я стою на цыпочках, высоко задрав голову, а Загалло беснуется: «Ну, кто ты такой? Скажи мне, кто ты такой?»

– Сэр, скотина, сэр!

Рука тянет сильнее, выше. «Еще раз». Едва касаясь пола кончиками пальцев, я верещу: «Ай-й, сэр, скотина, скотина, пожалуйста, сэр, ай-й!»

Еще сильнее, еще выше… «Повтори». Но вдруг все кончается; ноги мои твердо стоят на полу, а в классе установилась мертвая тишина.

– Сэр, – произносит Сонни Ибрахим, – вы ему оторвали волосы, сэр.

И начинается какофония: «Гляньте, сэр, кровь». «У него кровь течет, сэр». «Пожалуйста, сэр, можно я отведу его к медсестре?»

Господин Загалло стоит как статуя, зажав в кулаке клок моих волос. А я – от потрясения не чувствуя боли – ощупываю свою макушку, где рука Загалло сотворила тонзуру; кружок, где волосы не вырастут уже никогда, и понимал, что мое проклятое рождение, накрепко связавшее меня с моей страной, проявило себя еще раз в совершенно неожиданной форме.

Через два дня Квакушка Крузо объявил, что, к сожалению, мистер Эмиль Загалло покидает школу по личным обстоятельствам; но я-то знал, что это были за обстоятельства. Мои вырванные с корнем волосы приросли к его рукам, пристали, словно пятна крови, которые невозможно отмыть, – а кому нужен учитель с волосатыми ладонями? «Сумасшедший, он и есть сумасшедший, – как сказал Зобатый Кит, – сам напросился».

Что досталось мне от Загалло: тонзура монаха и, того хуже – целая серия новых дразнилок, которыми одноклассники донимали меня, пока мы все ждали школьного автобуса, чтобы разъехаться по домам и переодеться для Акта: «Сопливый – пле-ши-вый!» и «У Сопелки морда картой!» Когда появился Кирус и уселся позади, я попытался натравить толпу на него, продекламировав нараспев: «Великий Кир, семнадцать дыр, лежит на тарелке, как резаный сыр», – но никто меня не поддержал.

* * *

Вот мы и подошли к событиям, произошедшим во время Общешкольного Акта. Когда задиры стали орудиями в руках судьбы, персты обратились в фонтаны, а Маша Миович, легендарная пловчиха брассом, упала в глубокий обморок… Я пришел на Акт с повязкой на голове. Я опоздал: нелегко было уговорить мою мать, чтобы она меня отпустила; так что к тому моменту, как я вступил в Актовый зал под вымпелы, воздушные шарики и профессионально подозрительные взгляды костлявых наставниц, все лучшие девочки уже бокс-степили и мексикански-шляпничали с партнерами, сверх меры задирающими нос. Конечно, старшие ученики успели снять все сливки; я смотрел, отчаянно завидуя, на Гуздера, и Джоши, и Стивенсона, и Рушди, и Талиярхана, и Таябали, и Джуссавалу, и Вогле, и Кинга; я попытался было втереться к ним между двумя танцами, но, увидев мою повязку, мой нос огурцом, мои родимые пятна, они расхохотались и повернулись ко мне спиной… весь кипя от ненависти, я объедался чипсами, опивался «Баббл-Ап» и «Вимто» и твердил себе: «Знали бы эти ничтожества, кто я такой, живо бы убрались с дороги!» И все же страх обнаружить мою истинную природу был во мне сильнее, чем довольно отвлеченное желание покружиться в танце с европейскими девочками.

– Эй, ты ведь Салем, да? Эй, друг, что с тобой случилось? – От моих горьких, одиноких раздумий (даже у Сонни была пара: правда, ему помогали впадинки, и он не носил уже

детских штанишек – оттого-то и привлекал сердца) меня оторвал низкий, грудной голос, полный обещания, но также и угрозы. Девичий голос. Я обернулся, подпрыгнув на месте, и узрел перед собой волшебное видение с золотыми волосами и широкой, прославленной грудью пловчихи брассом… Боже мой, ей же четырнадцать лет, с чего это она заговорила со мной? «Меня зовут Маша Миович, – проговорило видение. – Я знакома с твоей сестрой».

Ну, конечно! Мартышкины героини, пловчихи из школы Уолсингема, разумеется, знали чемпионку по плаванию брассом!.. «Я слышал… – пробормотал я, запинаясь, – слышал твое имя».

– А я – твое, – она поправила мне галстук, – так что все в порядке. – Из-за ее плеча я видел, как Зобатый Кит и Жирный Пирс подыхают от зависти. Я выпрямился и расправил плечи. Маша Миович еще раз поинтересовалась моей повязкой. «Это так, ерунда, – проговорил я, как мне хотелось думать, басом. – Ударился, когда занимался спортом». И потом, отчаянно стараясь, чтобы не дрожал голос: «Не хочешь ли… потанцевать?»

– Давай, – согласилась Маша Миович. – Только, чур, не лапать.

Салем идет танцевать с Машей Миович, клятвенно пообещав не лапать. Салем и Маша танцуют мексиканский танец в шляпах; Маша и Салем выступают в бокс-степе рядом с лучшими парами! Я позволяю себе глядеть на всех свысока: видите, не обязательно быть старшеклассником, чтобы заполучить себе девочку!.. Танец кончился, и я, все еще на гребне восторга, предлагаю: «А не прогуляться ли нам немного там, во дворе?»

Маша Миович улыбается мне и только мне. «Ну, ладно, выйдем на минутку, только рук не распускать, договорились?»

Рук не распускать, клянется Салем. Салем и Маша дышат свежим воздухом… черт, вот это здорово. Вот это жизнь. Прощай, Эви, здравствуй, пловчиха брассом… Зобатый Кит Колако и Жирный Пирс Фишвала выступают из темного угла. Они хихикают: «Хи-хи-хи». Маша Миович смотрит в недоумении, как они преграждают нам дорогу. «Хи-хи, – кривляется Жирный Пирс, – Маша, ху-ху. Ну и кавалера ты себе отхватила». И я: «Заткнись». А Зобатый Кит: «Хочешь знать, как он получил свое боевое ранение, Маша?» И Жирный Пирс: «Хи-ху-ха». Маша возмущается: «Вы *грубияны;* он ударился, когда занимался спортом!» Жирный Пирс и Зобатый Кит чуть не катаются по полу от смеха, потом Фишвала выкладывает все. «Загалло прямо в классе вырвал ему волосы!» Хи-ху. И Кит: «Сопливец – плешивец!» И оба вместе: «У Сопелки морда картой!» На лице у Маши недоумение. И что-то еще – пробуждающееся женское коварство… «Салем, они так грубы с тобой!»

– Ладно, – говорю я, – не обращай внимания. – И пытаюсь увести ее прочь. Но она не отстает: «Неужели ты это стерпишь?» На верхней губе у нее от возбуждения выступили капельки пота; язычок прижат к углу рта; глаза Маши Миович вопрошают: «Ты кто – мужчина или мышь?» И под чарами чемпионки по плаванию брассом что-то всплывает у меня в голове: образ двух неодолимых коленок, и я обрушиваюсь на Колако и Фишвалу, пока те хихикают, не ведая об опасности; мое колено направлено Зобатому в пах; он еще не успевает упасть, как я тем же самым приемом валю на землю Жирного Пирса. Я поворачиваюсь к своей даме, та тихо хлопает в ладоши: «Эй, друг, это было здорово».

Но минута славы миновала; и Жирный Пирс поднимается с земли, и Зобатый Кит приближается ко мне… перестав разыгрывать мужчину, я разворачиваюсь и даю деру. Оба задиры бегут за мной, а Маша Миович кричит вслед: «Куда же ты, маленький герой?» Но теперь мне не до нее, только бы не поймали, я ныряю в ближайший класс, пытаюсь закрыть дверь, но Жирный Пирс уже поставил ногу, и теперь они оба тоже внутри, и я бросаюсь к двери, хватаюсь за нее правой рукой, дергаю изо всех сил, *выйди, если сможешь,* они держат дверь крепко, но страх придает мне силы, я приоткрываю дверь на несколько дюймов, вцепляюсь пальцами в косяк, и вот Жирный Пирс всем своим весом наваливается на дверь, и та захлопывается слишком быстро, я не успеваю убрать руку. Глухой удар. А снаружи Маша Миович подходит к двери, и смотрит вниз, и видит верхнюю треть моего среднего пальца, которая валяется на полу, словно комок хорошо прожеванной резинки. Вот тут-то она и падает в обморок.

Боли нет. Все происходит далеко-далеко. Жирный Пирс и Зобатый Кит удирают – чтобы позвать на помощь, а может, спрятаться. Я смотрю на свою кисть из чистого любопытства. Мой палец превратился в фонтан: красная жидкость бьет ключом, повинуясь ударам сердца. Никогда не думал, чтобы в пальце было столько крови. А ничего, красиво. Вот и медсестра; не волнуйтесь, медсестра. Это только царапина. *Твоим родителям позвонили; мистер Крузо послал за ключами от машины.* Медсестра укутывает обрубок в огромный ком. Слой за слоем: будто красная сладкая вата. А вот и Крузо. Садись в машину, Салем, твоя мама приедет прямо в больницу. Да сэр. А кусок, кто-нибудь подобрал *кусок?* Да, директор, вот он. Спасибо, медсестра. Возможно, не пригодится, но кто знает. Держи это, Салем, а я поведу машину… зажав оторванный кончик пальца в неизувеченной левой руке, я еду в больницу Брич Кэнди по гулким ночным улицам.

В больнице: белые стены, носилки; все говорят в унисон. Слова журчат вокруг меня, как струи фонтана. «Боже, спаси и сохрани, месяц мой ясный, что они с тобой сделали?» И старый Крузо на это: «Кхм-кхм. Миссис Синай. Всякое бывает. Мальчишки, знаете ли». Но моя мать в ярости: «Что это за школа, мистер Карузо? Моему сыну оторвали палец, а вы говорите. Нехорошая школа. Да, сэр, плохая». И вот, пока Крузо: «На самом деле моя фамилия, как у Робинзона, знаете ли, кхм-кхм», – подходит врач, и звучит вопрос, ответ на который перевернет мир.

– Миссис Синай, будьте любезны, ваша группа крови? У мальчика сильное кровотечение. Возможно, придется переливать кровь. – И Амина: «У меня А, но у мужа О». Теперь она, не выдержав, разражается слезами, а врач продолжает: «В таком случае, знаете ли вы, какая у вашего сына…» Но она, дочь врача, вынуждена признаться, что не может ответить на этот вопрос: Альфа или Омега? «Хорошо, в таком случае срочно сделаем анализ; а какой резус?» И мать – сквозь слезы: «И у мужа, и у меня положительный». И врач: «Ну хорошо, хоть это».

Но когда я уже на операционном столе – «Присядь сюда, сынок, я тебе сделаю местную анестезию; нет, мадам, у него шок, общую анестезию применять нельзя; молодец, сынок, просто подними палец вверх и держи так, не двигайся, помогите ему, сестра, ты и оглянуться не успеешь, как все кончится» – пока хирург зашивает культю и чудом пересаживает ноготь, вдруг возникает какое-то смятение на заднем плане, за миллион миль отсюда, и: «Можно вас на секунду, миссис Синай», и мне плохо слышно… слова плывут через бесконечные дали… «Миссис Синай, вы уверены? О и А? А и О? И резус у обоих отрицательный? Гетерозигота или гомозигота? Нет, здесь какая-то ошибка, как же тогда у него… извините, это абсолютно точно… положительный… ни А, ни… простите меня, мадам, но это ваш… вы его не усыновили, не…» Больничная сестра становится между мною и происходящей за много миль беседой, но это не помогает, потому что теперь моя мать кричит: «Но, разумеется, вы должны верить мне, доктор; Боже мой, *разумеется, он наш сын!»*

Ни А, ни О. И резус: невозможно, но – отрицательный. И из зигот ничего нельзя вывести. И найдены в крови редкие антитела Келла. И моя мать плачет, плачет-плачет-плачет… «Не понимаю. Я, дочь врача, ничего не понимаю».

Значит, Альфа и Омега разоблачили меня? И резус указует перстом туда, где нет ответа? И теперь Мари Перейре придется… Я просыпаюсь в прохладной белой палате с жалюзи, и со мной индийское радио. Тони Брент поет «Красные паруса на закате».

Ахмед Синай, с лицом, опустошенным виски, а теперь чем-то еще, что куда хуже, стоит у жалюзи. Амина что-то шепчет. И снова обрывки фраз доносятся через миллионы миль. Джанум-пожалуйста. Я-тебя-умоляю. Нет, что ты такое говоришь. Конечно, он. Конечно, ты. Как ты мог подумать, будто я. Кто бы знал. О Боже, да не стой ты так, да не смотри. Клянусь. Клянусь-головою-матери. А теперь ш-ш-ш он…

Новая песня Тони Брента, чей репертуар сегодня до жути схож с концертами Уи Уилли Уинки: «Почем этот песик в окне?» наполняет комнату, вплывая на радиоволнах. Отец подходит к моей кровати, склоняется надо мной, я никогда не видел его таким. «Абба…» А

он: «Я должен был догадаться. Взгляни: что от меня в этом лице? Этот нос, давно бы мне…» Он круто поворачивается и выходит из комнаты; мать идет следом, она слишком расстроена и забывает, что надо говорить шепотом: «Нет, джанум, я не позволю тебе так обо мне думать! Я убью себя! Я…» – и дверь за ними закрывается. Снаружи раздается какой-то звук: хлоп. Или шлеп. Все, что имеет значение для твоей жизни, происходит в твое отсутствие.

Тони Брент начинает мурлыкать в мое здоровое ухо свой последний хит и уверяет меня, нежно и мелодично, что «Тучи скоро унесутся».

А теперь я, Салем Синай, собираюсь на короткое время предоставить себе-тогдашнему преимущества заднего ума; разрушая единства и условности, присущие изящной словесности, я наделяю его знанием того, что будет, просто затем, чтобы ему было дозволено помыслить следующее: «О вечное противостояние внутреннего и внешнего! Ибо человеческое существо внутри себя вовсе не является чем-то цельным, однородным; всякого рода вещи смешаны внутри него, и с каждой минутой он становится другим. А вот тело однородно, однородней некуда. Оно неделимо, оно сделано из одного куска; оно, если хотите, – священный храм. Очень важно сохранять его в целости. Но с потерей пальца (вероятно, предсказанной перстом рыбака, указующим на что-то Рэли), не говоря уже о вырванных с моей головы волосах, все это нарушилось. И возникает ситуация чуть ли не революционная; и ее влияние на исторические события неизбежно поражает умы. Откупорьте ваше тело – и Бог знает что вырвется оттуда, выпущенное вами. Вы внезапно меняетесь, раз и навсегда; в мире, окружающем вас, родители уже не родители, а любовь обращается в ненависть. И это, заметьте, пока только в личной жизни. Последствия в сфере общественной деятельности, как будет показано далее, стали – были – будут – не менее значимыми».

Наконец, отбирая у себя дар предвидения, я оставляю вам образ десятилетнего мальчика с перевязанным пальцем: он сидит на больничной кровати, размышляя о крови, и о звуках хлоп-шлеп, и о том, какое выражение было на отцовском лице; жужжит моя камера, я не спеша беру общий план, позволяя музыке заглушить мои слова, потому что Тони Брент завершает свой концерт, и последняя песня, как и у Уинки, называется «Доброй ночи, леди». Веселая мелодия звучит, и звучит, и звучит…

(Постепенно изображение тускнеет).

Мальчик Колинос

От няни до Вдовы все всегда *что-то со мною делали;* но Салем Синай, вечная жертва, настаивает-таки на роли протагониста. Несмотря на преступление Мари; отставив в сторону брюшной тиф и змеиный яд; забыв о двух приключениях в бельевой корзине и на круглой площадке (когда Сонни Ибрахим, мастер по взламыванию замков, позволил моим выморочным рожкам войти в те впадинки, что оставили у него на лбу акушерские щипцы, и с помощью такой нехитрой комбинации отпер дверь детям полуночи); отметая толчок Эви и неверность моей матери; невзирая на то, что злобная вспышка Эмиля Загалло лишила меня волос, а подстрекательство возбужденно облизывающей губки Маши Миович – пальца; отрицая все указания на противоположный ход вещей, я заявляю во всеуслышание, со всей торжественностью, со всей ответственностью ученого, что я и только я находился в центре событий.

«…Твоя жизнь, в некотором смысле, станет зеркалом нашей», – написал премьер-министр, тем самым поставив передо мной научно обоснованный вопрос: *в каком смысле?* Как, при каких условиях жизненный путь отдельного индивидуума может быть навязан судьбам целой нации? Вместо ответа придется привести пару понятий, соединенных дефисом: я был связан с историей и буквально, и метафорически, и активно, и пассивно; наши достойные восхищения ученые (на высоте самых новейших теорий) назвали бы это «способами сцепления», составленными из дуалистически сочетающихся вышеприведенных

наречий, выражающих противоречивые понятия. Вот почему необходимы дефисы: в активно-буквальном, пассивно-метафорическом, активно-метафорическом и пассивно-буквальном смысле я был неразрывно сплетен с моим миром.

Чуя замешательство чуждой науке Падмы, я перехожу на неточное обыденное словоупотребление: под комбинацией «активного» и «буквального» я подразумеваю, конечно же, те мои действия, которые непосредственно – *буквально* – затронули чреватые будущим исторические события или изменили их ход, например, тот эпизод, когда я снабдил участников *марша языков* боевым кличем. Соединение «пассивного» и «метафорического» сопровождает социально-политический ход событий, который самой логикой своего развертывания влиял на меня метафорическим образом – например, из эпизода, озаглавленного «Указующий перст рыбака», можно, читая между строк, извлечь неизбежную связь между стремлением новорожденного государства побыстрей достичь зрелости и стать вровень с другими, взрослыми, и моим первоначальным безудержным ростом… Далее, наречия «пассивно» и «буквально», через дефис, обозначают все те моменты, когда события в жизни страны оказывали непосредственное давление на мою жизнь и жизнь моей семьи – в эту рубрику можно внести замораживание активов моего отца, а также взрыв резервуара Валкешвар, приведший к великому нашествию кошек. И, наконец, есть «активно-метафорический способ», который объединяет те случаи, когда то, что делал я, или то, что делали со мной, отражалось как в зеркале в макрокосме общественных свершений, и моя частная жизнь оказывалась символическим подобием истории. Отсечение среднего перста было как раз таким случаем, ибо, когда я оказался оторван от кончика моего пальца и кровь (ни Альфа, ни Омега) забила фонтаном, нечто подобное произошло в истории, и всякого рода превратности полились на нас потоком; но поскольку движение истории по масштабам несопоставимо с каким бы то ни было индивидуумом, понадобилось гораздо больше времени, чтобы зашить культю и вымыть изгвазданный пол.

«Пассивно-метафорический», «пассивно-буквальный», «активно-метафорический»: Конференция Полуночных Детей представляла собой и тот, и другой, и третий способ; но она так и не стала тем, к чему я стремился: мы ни разу не задействовали первый, наиболее значительный из способов сцепления. «Активно-буквальный» способ прошел мимо нас.

Бесконечные превращения: девятипалого Салема выводит за двери больницы Брич Кэнди – белесая приземистая медсестра, на лице которой застыла улыбка, наводящая ужас своей неискренностью. Он, Салем, щурится от знойного блеска, разлитого во внешнем мире, старается вглядеться попристальнее, рассмотреть два плывущих в мареве силуэта, две тени, что движутся к нему в обжигающих солнечных лучах. «Видишь? – воркует медсестра. – Видишь, кто за тобой приехал?» И Салем понимает: в мире что-то ужасно, непоправимо разладилось, ибо мать и отец, которые должны были бы приехать и забрать его, по дороге превратились в няню Мари Перейру и дядю Ханифа.

Голос Ханифа Азиза, глубокий и низкий, звучал как сирены в порту, а пахло от него, как от старой табачной фабрики. Я очень любил его – за то, как он смеялся, за его небритый подбородок, за несколько разболтанный вид и полное отсутствие координации движений: каждый его жест был чреват непредвиденными последствиями. (Когда он приходил на виллу Букингем, моя мать убирала подальше хрустальные вазы). Взрослые считали, будто он не умеет прилично вести себя («Голосуйте за коммунистов!» – ревел дядя, и они краснели), и это сближало его с детьми – с чужими детьми, ибо они с Пией были бездетны. Дядя Ханиф, который однажды, не предупредив никого, пойдет прогуляться по воздуху с крыши своего дома.

…Он хлопает меня по спине, толкает вперед, в объятия Мари. «Эй, маленький борец! Отлично выглядишь!» Но Мари, торопливо: «Как ты похудел, сладчайший Иисусе! Тебя не кормили как следует? Хочешь кукурузного пудинга? Толченых бананов с молоком? Тебе давали чипсы?» А Салем пытается оглядеться в этом новом мире, где все происходит слишком быстро; голос у него наконец прорезается, но звучит на высоких, визгливых нотах,

будто пленка прокручивается чересчур быстро: «Амма-абба? – спрашивает он. – Мартышка?» А дядя Ханиф гудит: «Да, все идет отлично! Парень в прекрасной форме! Пойдем, пахлаван, прокатимся в моем „пакарде“, о'кей?» И Мари Перейра вторит ему: «Шоколадный торт, – соблазняет она, – ламу, писта-ки-лауз[240], самосы с мясом, кулфи[241]. Ты стал такой худой, баба, тебя, того и гляди, ветром унесет». «Пакард» трогается с места; едет вперед, не сворачивая на Уорден-роуд, к двухэтажному холму; и Салем: «Ханиф-маму, куда мы…» Нет времени на объяснения; Ханиф рычит: «Тетя Пия ждет! О, Боже, Боже мой, вот увидишь, как отлично мы проведем время!» Тут он заговорщицки понижает голос: «Чертовски, – гудит он мрачно, – чертовски повеселимся». И Мари: «Арре, баба, да! Такой бифштекс! И зеленое чатни!»…

– Только не темное, – говорю я, наконец-то поддавшись уговорам; облегчение проступает на лицах моих похитителей. «Нет-нет-нет, – заверяет Мари. – Светло-зеленое, баба. Такое, как ты любишь». И: «бледно-зеленое! – ревет Ханиф. – О Боже, Боже мой, зеленое, как кузнечик!»

Все происходит слишком быстро… вот мы и у Кемпова угла, откуда машины вылетают, как пули… только одно не изменилось. Со щита ухмыляется «мальчик Колинос», это вечная ухмылка эльфа под зеленой хлорофилловой шапочкой, сумасшедшая ухмылка неподвластного времени мальчика, который без конца выдавливает пасту из нескончаемого тюбика на ярко-зеленую щетку: «*Зубы белые, блестящие! Зубы Колинос настоящие!..*» И вы, наверное, уже готовы подумать, что и я, как «мальчик Колинос», невольно выдавливаю кризисы и превращения из бездонного тюбика, выжимая время на мою метафорическую зубную щетку; блестящее, белое время, прочерченное хрофиллово-зелеными полосками.

Так началось мое первое изгнание. (Будет еще и второе, и третье). Я сносил его без единой жалобы. Я, конечно же, догадывался, что есть один вопрос, который не следует задавать; что меня взяли на время, будто комикс из библиотеки подержанных книг на Скандал Пойнт; и когда мои родители захотят вернуть меня, то пошлют за мной. Может быть, даже не «когда», а «если»: в том, что меня спровадили из дома, я не в последнюю очередь винил самого себя. Разве не я заполучил еще одно уродство в добавление к ногам-колесом, носу-огурцом, рожкам-на-лбу, пятнам-на-щеках? Разве не могло так случиться, что изувеченный палец (как и мое объявление о голосах, которое чуть было не привело к точно такому же результату) стал последней каплей, переполнившей чашу терпения моих многострадальных родителей? Что они уже сбросили меня со счетов, не пожелали больше рисковать, вкладывая в меня свою любовь и заботу?.. Дядю и тетю я решил отблагодарить за их доброту – ведь взяли же они к себе такое нелепое создание – тем, что разыгрывал роль идеального племянника и ждал дальнейших событий. Иногда мне хотелось, чтобы Мартышка пришла меня проведать или хотя бы позвонила по телефону; но подобные мысли только выбивали меня из колеи, и поэтому я решил больше об этом не думать. К тому же жизнь с Ханифом и Пией Азиз вполне соответствовала обещанию дяди: было чертовски весело.

Они всячески носились со мной, чего всякий ребенок ожидает и принимает охотно от бездетных пар. Их квартира, выходящая на Марин-драйв, была небольшая, но там был балкон, откуда я мог бросать скорлупки арахиса на головы прохожим; у дяди и тети не было лишней спальни, но мне стелили на восхитительно мягком белом диване с зелеными полосками (вот вам уже доказательство моего превращения в «мальчика Колинос»); няня Мари, которая, по всей видимости, последовала за мной в изгнание, спала рядом на полу. Днем она наполняла мой желудок обещанными тортами и сладостями (за которые, как я сейчас понимаю, платила моя мать); я бы, наверное, чудовищно растолстел, если бы не начал снова безудержно расти; к концу этого года, когда и история набирала невиданную скорость (в возрасте всего лишь одиннадцати с половиной лет), я достиг своего нынешнего роста:

240

241

будто кто-то схватил меня поперек мягкого, щенячьего живота и надавил куда сильнее, чем на тюбик зубной пасты, и дюймы так и поперли из меня. Избавленный от тучности эффектом «Колинос», я грелся в лучах удовольствия, которое испытывали дядя и тетя оттого, что у них в доме появился ребенок. Если я проливал на ковер «Севен-Ап» или чихал в тарелку, дядя в худшем случае гудел, как сирена: «Хей-хо! Негодник!» – но широченная улыбка сводила на нет смысл его слов. А тетя Пия стала следующей в длинном ряду женщин, которые околдовывали меня, а затем доводили до полного краха.

(Я должен упомянуть, что за время пребывания в квартире на Марин-драйв мои яички, оставив прикрытие тазовой кости, решили преждевременно и без всякого предупреждения выскочить в свои маленькие мешочки. Это тоже сыграло свою роль в последующих событиях).

Моя мумани, моя тетя, божественная Пия Азиз – жить рядом с ней значило находиться в самой сердцевине, горячей и липкой, – бомбейского кино. В те дни карьера моего дяди с головокружительной скоростью катилась под уклон, и, поскольку так уж устроен наш мир, звезда Пии померкла тоже. Однако в ее присутствии сама мысль о падении казалась невозможной. Перестав сниматься, Пия превратила всю свою жизнь в полнометражный фильм, и для меня находились в нем все новые и новые эпизодические роли. Я был преданным пажом. Пия в неглиже, пышные бедра крутятся перед моим взглядом, хотя я из последних сил пытаюсь его отвести; она хихикает, а ее глаза, накрашенные, с поволокой, повелительно сверкают: «Подойди же, подойди, чего ты стесняешься, придержи эти складки на сари, пока я завернусь». А еще я был поверенным сердца. Пока дядя сидел на диване в хлорофиллово-зеленую полоску и трудился в поте лица над сценариями, по которым никто никогда не снимет фильмов, я выслушивал ностальгические монологи тети, стараясь не смотреть на две потрясающие сферы, правильные, как половинки дыни, золотые, как манго; я имею в виду, как вы уже догадались, великолепные груди Пии мумани. А она, сидя на своей постели и прикрыв полной рукою чело, декламирует: «Знаешь ли ты, что я – великая актриса; сколько раз я играла главные роли! А теперь взгляни, как повернулась судьба! Когда-то народ валом валил в эту квартиру; любой был готов на всяческие унижения, только бы проникнуть сюда; когда-то репортеры из «Филмфэар» и «Скрин Годдес» давали взятки, чтобы войти ко мне! А танцы: меня все знали в ресторане «Венеция» – все великие джазмены были у моих ног, да-да, даже сам Браз. Кто был самой яркой звездой после «Кашмирских любовников»? Не Поппи, не Ванджаянтимала; никто – я, и только я!» И я выразительно киваю: нет-разумеется-никто – а ее изумительные, обернутые кожей дыни вздымаются и… драматически всхлипнув, Пия продолжает: «Но даже тогда, в дни нашей всемирной славы, когда каждый наш фильм попадал в золотую десятку, твой дядя предпочитал жить в двухкомнатной квартире, как какой-нибудь клерк! Ну, а я молчала, я – не то, что эти продажные актриски; я привыкла жить просто, мне не нужно «кадиллаков», кондиционеров, кроватей «Данлопилло» прямо из Англии; бассейнов в форме бикини, как у Рокси Вишванатхам! Я осталась женой простого человека; а теперь я гнию здесь заживо! Да, гнию, другого слова не подберешь. Но я-то знаю, все это говорят: мое лицо стоит целого состояния, и разве нужны мне какие-то еще богатства?» И я взволнованно поддакиваю: «Да, мумани, да; нет, не нужны». Она испускает неистовый вопль, который проникает даже в мое оглохшее от затрещины ухо: «О да, конечно, ты тоже хочешь видеть меня нищей! Все-все хотят видеть Пию в лохмотьях! И он тоже, твой дядя, который сидит и пишет свои тягомотные-скучные сценарии! О Боже, Боже, говоришь ему-говоришь: вставь танцы или экзотику! Пусть злодеи будут черней черного, почему нет, пусть герои будут настоящими мужчинами! А он заладил: мол, это все хлам, теперь-де ему это ясно, а ведь раньше не был таким гордым! Теперь ему приспичило писать о простых людях, поднимать социальные проблемы! А я говорю ему: да, Ханиф, пожалуйста, хорошо; но вставь хоть чуть-чуть смешного, хоть немножко танцев для твоей Пии; добавь трагедии, да и драмы тоже; этого-то ведь и хочет публика! – Глаза ее наполняются слезами. – А знаешь ли ты, о чем он пишет сейчас? О жизни… – У Пии такое выражение лица, будто сердце ее вот-вот разорвется, –

простого народа на консервной фабрике!»

– Тсс, мумани, тсс, – молю я, – Ханиф-маму услышит!

– Пусть слышит! – бушует она, плача уже навзрыд. – Пусть и мамаша его слышит в своей Агре; из-за них я умру со стыда!

Достопочтенная Матушка никогда не любила свою невестку-актерку. Однажды я случайно услышал, как она говорила моей матери: «Женившись на актерке, как-его, мой сын воздвиг себе ложе в сточной канаве, и скоро, как-его, она заставит Ханифа пить спиртное да есть свиней». И все же ей пришлось смириться скрепя сердце с этим неизбежным союзом; зато она принялась строчить Пии наставительные послания. «Послушай, дочка, – писала она, – хватит актерствовать. И к чему такое бесстыдство? Хочешь работать – работай, у вас, молодых, свои идеи на этот счет, но зачем же скакать голой по экрану! Ведь за совсем небольшую сумму ты можешь купить концессию на прекрасную бензоколонку! В две минуты я выложу тебе эти деньги из собственного кармана. Сиди себе в офисе, нанимай механиков – вот где приличная работа». Никто не знает, как родилась у Достопочтенной Матушки эта мечта о бензоколонке, которая к старости обратилась в навязчивую идею; но она не уставала осыпать Пию письмами, к вящему раздражению актрисы.

– Почему эта женщина не требует, чтобы я стала машинисткой-стенографисткой? – стенала Пия за завтраком, обращаясь к Ханифу, Мари и ко мне. – Почему не водителем такси или ткачихой? Говорю вам: этот бензин-керосин сведет меня с ума!

Мой дядя (в первый и последний раз в жизни) чуть было не поддался гневу: «При ребенке, – буркнул он, – и о моей матери, будь добра выказывать ей уважение».

– Уважение – всегда пожалуйста, – бросила Пия из спальни, – но ей-то ведь подавай *бензин.*

…И самая драгоценная из моих эпизодических ролей разыгрывалась, когда Пия и Ханиф с друзьями усаживались за карты, а я повышался в звании и занимал священное место сына, которого у них никогда не было. (Дитя тайного союза, я имел больше матерей, чем иные матери имеют детей; одной из самых необычайных моих способностей было множить родителей – некая обратная форма плодовитости, перед которой бессилен контроль за рождаемостью, противозачаточные средства, да и сама Вдова). При гостях Пия восклицала: «Глядите, друзья, вот он, мой наследный принц! Бриллиант в моей короне! Жемчужина в моем ожерелье!» И она обнимала меня, прижимала к себе так, что мой нос утыкался ей в грудь, великолепно помещаясь в ложбинке между мягкими подушками ее неописуемых… не умея совладать с таким наслаждением, я вырывался, как мог. Но я был ее рабом; и теперь я знаю, почему она позволяла себе со мной подобные вольности. С вышедшими прежде времени яичками, растущий как на дрожжах, я все еще носил (по недосмотру) отличительный знак сексуальной невинности: Салем Синай во время своего пребывания в дядином доме ходил в коротких штанишках. Голые коленки делали меня ребенком в глазах Пии; обманутая носочками-по-щиколотку, она прижимала меня к своей груди, и голос ее, сладкий, как ситар, напевал мне в здоровое ухо: «Дитя, дитя, не бойся, дитя, тучи скоро унесутся».

Перед дядей так же, как и перед лицедействующей тетей, я разыгрывал (с растущим мастерством) роль почтительного сына. Целыми днями Ханиф Азиз сидел на полосатом диване с карандашом и тетрадкой и усердно творил свой эпос о маринадах. Дома он носил простой кусок ткани, свободно обернутый вокруг бедер и скрепленный огромной английской булавкой; из складок этой набедренной повязки торчали волосатые ноги. Ногти у него на руках были все в пятнах от табака; ногти на ногах тоже казались какими-то тусклыми. Я представил себе, как он курит, зажав сигарету между пальцами ног. Под впечатлением этой дивной картины я спросил, может ли он и в самом деле изобразить такое. Ни слова не говоря, Ханиф вставил сигарету «Голд Флейк» между пальцами ноги и весь скрутился в невероятных извивах. Я неистово хлопал в ладоши, но он, похоже, весь день не мог как следует разогнуться.

Я оказывал ему услуги, как добрый сын: выносил пепельницы, затачивал карандаши,

наливал воду в стакан; а дядя, который после своего баснословного дебюта, должно быть, вспомнил, кто его отец, и посвятил себя борьбе со всем, что хоть как-то расходилось с реальностью, строчил свои злополучные сценарии.

– Сынок мой ненаглядный, – заявил он мне как-то раз. – Эта страна спала и видела сны пять тысяч лет. Пора ее пробудить. – Ханиф то и дело обрушивался на принцев и демонов, богов и героев, одним словом, на всю иконографию бомбейского кино; в этом храме иллюзий он стал первосвященником реальности; а я, полностью сознавая свою чудесную природу, которая безоговорочно вовлекала меня в столь презираемую Ханифом мифическую жизнь Индии, кусал губы и не знал, куда девать глаза.

Ханиф Азиз, единственный писатель-реалист в бомбейской киноиндустрии, описывал историю консервной фабрики, которую создали, которой руководили и на которой работали одни только женщины. Там были длинные сцены, посвященные образованию профсоюза; там были детальные описания процесса консервирования. Он выспрашивал у Мари Перейры рецепты, они часами обсуждали наилучшие кондиции лимонов и тарам масалы[242]. Ирония заключается в том, что этот отъявленный последователь натурализма умудрился (хоть и невольно) напророчить судьбы членов своей собственной семьи; в косвенных поцелуях «Кашмирских любовников» он предсказал встречи моей матери с Надиром-Касимом в кафе «Пионер», да и в неснятом сценарии о чатни тоже таилось неумолимо точное пророчество.

Он забрасывал Хоми Катрака сценариями. Катрак ни один из них не принял; сценарии копились в маленькой квартирке на Марин-драйв, покрывая все свободное пространство, их приходилось даже снимать с крышки унитаза прежде, чем поднять ее; и все же Катрак (из милосердия или по другой, пока-еще-не-ясной причине?) платил моему дяде студийную зарплату. На это они и жили, Ханиф и Пия, благодаря щедротам человека, который со временем станет второй жертвой Салема, растущего как на дрожжах.

Хоми Катрак умолял: «Может, хоть одну любовную сцену?» И Пия: «Ты думаешь, деревенская публика отдаст свои рупии, чтобы увидеть, как женщины маринуют манго альфонсо?» Но Ханиф упрямо гнул свое: «Это фильм о труде, не о лобзаньях. И никто не маринует альфонсо. Нужны сорта манго, у которых косточки крупнее».

Призрак Джо Д’Косты, насколько мне известно, не последовал за Мари Перейрой в изгнание, но от этого тревога няни лишь возрастала. В те дни на Марин-драйв она начала бояться, что Джо станет видимым не только для нее, но и для других, и откроет во время ее отсутствия ужасную тайну о том, что произошло в родильном доме доктора Нарликара в ночь объявления Независимости. Каждое утро она уходила из квартиры, вся трясясь от страха, и являлась на виллу Букингем в полуобморочном состоянии; только убедившись, что Джо остается невидимым и безмолвным, она переводила дух. Но едва она возвращалась на Марин-драйв, нагруженная самосами, тортами и чатни, тревога вновь одолевала ее… но поскольку я решил (имея вдоволь собственных неприятностей) не вторгаться в голову ни к кому, за исключением детей полуночи, то никак не мог понять, что с ней такое творится.

Паника тянется к панике; во время своих разъездов в битком набитых автобусах (трамвайные маршруты как раз тогда сократили) Мари наслушалась всякого рода сплетен и болтовни и делилась всем этим со мной как непреложной истиной. Мари утверждала, будто всю страну заполонили некие сверхъестественные силы. «Да, баба: говорят, будто в Курукшетре какая-то сикхская старуха проснулась в своей хижине и увидела древнюю битву Кауравов и Пандавов прямо у себя за дверями! Об этом писали в газетах; старуха показала место, где она видела колесницы Арджуны и Карны; и в самом деле, в грязи отпечатались следы колес![243]Бап-ре-бап, вот напасти так напасти; в Гвалиоре видели призрак Рани Джханси; видели ракшасов[244], многоголовых, как Равана: они творили бесчинства с

242
243
244

женщинами и валили деревья одним пальцем. Я – добрая христианка, баба?; и мне страшно слышать, будто бы в Кашмире нашли гробницу Господа нашего Иисуса. На могильной плите выбиты пронзенные ноги, и местные рыбачки клянутся, будто видели, как они истекают кровью – настоящей кровью, спаси нас Господь! – на Страстную Пятницу[245]… что же такое творится, баба, почему эти древние вещи не могут лежать спокойно и не трогать честных людей?» И я слушал, широко раскрыв глаза; и хотя мой дядя Ханиф раскатисто хохотал, я и теперь почти убежден, что в те времена бурных событий и больного времени прошлое Индии восстало из гроба, чтобы сбить с толку настоящее; новорожденное светское государство получило ужасное напоминание о сказочной древности, для которой не имели значения ни демократия, ни избирательные права для женщин… народом завладели атавистические желания; забыв новый миф о свободе, народ вернулся к старым порядкам, местническим пристрастиям и предрассудкам, и политическое единство страны стало давать трещины. Что я вам говорил: оторвите всего лишь кончик пальца, и Бог весть какие фонтаны смуты вырвутся на волю.

– И коровы, баба?, пропадают без следа; раз – и нету! – а крестьяне в деревнях голодают.

Тем временем в меня тоже вселился ужасный демон; но, чтобы вы как следует поняли, что я хочу сказать, я должен начать свое повествование с одного вполне благопристойного вечера, когда у Ханифа и Пии Азизов собрались друзья, чтобы сыграть в карты.

Моя тетушка была склонна к преувеличениям, ибо, хотя репортеры из «Филмфэар» и «Скрин Годдесс» отсутствовали, дядин дом был довольно посещаемым местом. В вечера, отведенные для карточной игры, он буквально трещал по швам – столько туда набивалось джазменов, которые перемывали друг другу кости и обсуждали статьи в американских журналах; певцов, которые носили в сумочках спрей для горла; танцовщиков из труппы Удай Шанкара[246], которые пытались создать новый стиль, сочетая западный балет с бхаратанатьям[247]; являлись музыканты, которые, подписав контракт с «Индийским радио», готовились проводить фестиваль Сангит-Саммелан[248]; приходили художники, которые ожесточенно спорили между собой. Было не продохнуть от политической и прочей болтовни. «По правде говоря, я – единственный в Индии художник, который понимает, что такое политическая ангажированность!» – «О, с Ферди все скверно, ему теперь не дадут собрать оркестр». – «Менон? Нет, о Кришне мне не говорите. Я был с ним знаком, когда он еще не отступился от своих принципов. Я-то никогда не предам…» – «Эй, Ханиф, я-яр, что-то давно Лал Касим к тебе не заходит?» И мой дядя, с опаской поглядывая на меня: «Тсс… Какой такой Касим? Не знаю, о ком ты».

…И с гулом голосов в квартире смешивались вечерние цвета и звуки Марин-драйв: собачники выходили на прогулку, покупали у разносчиков чамбели и чанну; кричали нищие попрошайки и продавцы бхел-пури; большим, выгнутым дугою, искрящимся ожерельем зажигались огни на Малабарском холме… Я стоял на балконе с Мари Перейрой, обратив свое тугое ухо к ее шепотом передаваемым сплетням; за моей спиной простирался город, а перед глазами проходила сопровождаемая болтовней игра. И однажды я узнал среди игроков аскетичного, с ввалившимися глазами Хоми Катрака. И тот поприветствовал меня с нарочитой сердечностью: «Привет, юноша! Как дела? Отлично, отлично – что уж там говорить!»

Мой дядя Ханиф играл в «рамми»[249]усердно и с любовью, но им владела любопытная навязчивая идея, а именно: он никогда не делал хода, пока у него не собирался полный комплект червей, тринадцать карт. Только черви, все черви; ничего, кроме червей, не

245
246
247
248
249

подходило ему. В поисках этого недостижимого совершенства мой дядя, под бурное ликование собравшихся, отвергал отлично подобранные три-одной-масти и даже полные комплекты пик-треф-буби. Я слышал, как знаменитый виртуоз, играющий на шехнаи[250], устад[251]Чингиз Хан (он красил волосы, и в жаркие вечера краска затекала в уши) сказал дяде: «Да ладно тебе, умник, оставь ты эти черви, играй, как все добрые люди». Мой дядя с честью выдержал искушение; помолчал немного, потом загрохотал, перекрывая гам: «Нет уж, иди ты к черту, буду играть, как хочу!» Он вечно проигрывал, но я, никогда не встречавший подобной целеустремленности, готов был захлопать в ладоши.

Одним из завсегдатаев на легендарных карточных вечерах у Ханифа Азиза был фотограф из «Таймс оф Индиа», набитый под завязку скабрезными байками и двусмысленными историями. Дядя представил его мне: «Вот, Салем, тот парень, который поместил тебя на первую страницу. Вот Калидас Гупта. Жутко пронырливый репортер, настоящий бадмаш[252]. Не говори с ним слишком долго, иначе он забьет тебе голову всеми городскими скандалами!» У Калидаса были серебряные седины и орлиный нос. Мне он показался просто великолепным. «Вы правда в курсе всех скандалов?» – спросил я, но он ответил лишь: «Сынок, если бы я с тобой хоть одним поделился, у тебя запылали бы уши!» Но он так и не пронюхал, что злой гений, e'minence grise[253], короче, тот, кто стоял за величайшим скандалом в истории города, был не кто иной, как Салем Сопливец… Впрочем, не будем забегать вперед. История страшного жезла командора Сабармати будет рассказана в соответствующем месте. Следствия не должны (несмотря на коварные свойства времени в 1958 году) предшествовать причинам.

Я стоял один на балконе. Мари Перейра ушла на кухню помогать Пие готовить сандвичи и пакоры[254]с сыром; Ханиф Азиз был поглощен погоней за тринадцатью червями, и вот господин Хоми Катрак вышел и встал рядом со мной. «Дышим свежим воздухом», – сказал он. «Да, сэр», – отозвался я. – «Так, – произнес он на глубоком выдохе. – Так, так. Жизнь идет хорошо? Ты отличный парень. Дай я пожму тебе руку». Мою десятилетнюю лапку поглотил кулак магната киноиндустрии (я дал ему левую; правая, изувеченная, невинно болталась у бедра)… И вдруг – шок. Левая ладонь ощущает, как в нее просовывается бумага – зловещая бумага, скользнувшая из увертливого кулака! Пожатие Катрака крепнет; он понижает голос, он шипит, как кобра; неслышные в комнате с диваном в зеленую полоску слова его проникают в мое единственное здоровое ухо: «Передай это твоей тете. Но чтоб никто не видел. Сможешь? И смотри, рот на замке, иначе я пришлю полицейских, и они отрежут тебе язык». А потом, громко и весело: «Чудесно! Рад видеть тебя в хорошем настроении!» Хоми Катрак ерошит мне волосы и возвращается к игре.

Боясь полицейских, я молчал два десятка лет. Теперь все тайное станет явным.

Игра кончилась рано: «Ребенку пора спать, – шепнула Пия. – Завтра ему опять в школу». Мне не представилось случая остаться наедине с тетей; меня уложили на диван, а записка так и осталась зажатой в моем левом кулаке. Мари спала на полу… я решил притвориться, будто увидел дурной сон. (Хитрость не была чужда моей природе). Но, к несчастью, я очень устал и сразу уснул, и случилось так, что отпала нужда что-либо разыгрывать, ибо я увидел во сне убийство моего одноклассника Джимми Кападии.

…Мы играли в футбол в школе, у главной лестницы, на красных плитках, спотыкаясь и скользя. На кроваво-красных плитках – черный крест. Мистер Крузо с верхней площадки: «Не катайтесь на перилах, ребята: на том месте, где этот крест, один мальчик разбился насмерть». «Этот крест – сплошное вранье, – говорит Джимми. – Они всю дорогу врут,

250
251
252
253
254

чтобы портить нам жизнь». Его мать звонит по телефону: «Джимми, не играй, у тебя больное сердце». Звонок. Телефонную трубку кладут на место, и теперь – школьный звонок… В классе темно от шариков из жеваной, пропитанной чернилами промокашки. Жирный Пирс и Зобатый Кит забавляются вовсю. Джимми нужен карандаш, он тычет меня под ребра. «Эй, дружище, у тебя есть карандаш, дай мне. На две секунды, приятель». Я даю карандаш. Входит Загалло. Загалло поднимает руку, требует тишины: глядите, глядите, мои волосы растут у него на ладони! Загалло в остроконечной жестяной шапке солдата… мне нужно получить обратно мой карандаш. Я вытягиваю палец и стреляю в Джимми. «Сэр, посмотрите, пожалуйста, сэр, Джимми упал!» – «Сэр, я видел, сэр, Сопливец выстрелил!» – «Сопливец застрелил Кападию, сэр!» – «Не играй, Джимми, у тебя больное сердце!» – «Тихо, вы, – вопит Загалло. – Гря-язные дикари, заткнитесь».

Джимми узлом тряпья лежит на полу. «Сэр, сэр, пожалуйста, сэр, ему поставят крест?» Он взял у меня карандаш, я выстрелил, он упал. Его отец – водитель такси. Теперь такси въезжает в класс; узел грязного тряпья кладут на заднее сиденье; Джимми уезжает. Динь-динь: звонок. Отец Джимми снимает флажок со своего такси. Отец Джимми глядит на меня: «Сопливец, ты должен заплатить за проезд». «Пожалуйста, сэр, у меня нет денег, сэр». И Загалло: «Мы выпишем тебе счет». Глядите, глядите: мои волосы на ладони Загалло. Взоры Загалло мечут пламя. «Для пятисот миллионов – что значит одна смерть?» Джимми умер; пятьсот миллионов еще живут. Я начинаю считать: один, два, три. Цифры проходят строем над могилой Джимми. Один миллион, два миллиона, три миллиона, четыре. Не все ли равно, если кто-то, если кто-то умрет. Сто миллионов и раз-два-три. Цифры теперь строем, проходят по классу. Давящей тяжелой поступью двести миллионов триста четыреста пять. Пятьсот миллионов еще живут. И только одного я…

…В ночной темноте я проснулся, увидев во сне смерть Джимми Кападии, увидев сон о том, как человека-уничтожают-цифры; проснулся, завывая-вопя-визжа, но все так же сжимая бумажку в кулаке; дверь распахнулась, и появились дядя Ханиф и тетя Пия. Мари Перейра пыталась успокоить меня, но Пия была непреклонна: божественный смерч, состоящий из сорочки и дупатты, она обнимала меня, прижимала к себе: «Все прошло! Золотой мой, бриллиантовый, все уже прошло!» И дядя Ханиф, спросонья: «Эй, пахлаван! Теперь все в порядке; ну пойдем, пойдем с нами; забери ребенка, Пия!» И вот меня нежат объятия Пии: «Сегодня, жемчужный мой, переночуешь с нами!» – и я примостился между тетей и дядей, уткнувшись носом в надушенные выпуклости моей мумани.

Вообразите, если можете, вдруг охватившую меня радость; вообразите, как быстро забыл я свой кошмар, стоило мне прибиться к ночной рубашке моей сногсшибательной тети! Как она повернулась, чтобы устроиться поудобнее, и одна из золотых дынь погладила меня по щеке! Как рука Пии нашла мою руку и крепко вцепилась в нее… и тут я исполнил поручение. Когда рука тети сплелась с моей, бумага перешла из ладони в ладонь. Я почувствовал, как тетя застыла, не произнося ни звука; и потом, хоть я и прижимался тесней-тесней-тесней, она была для меня потеряна; она пыталась прочесть записку в темноте, холодея все больше и больше; и тут я вдруг понял, что меня обманули, что Катрак был мне врагом; и только страх перед полицейскими помешал мне тотчас же рассказать все дяде.

(В школе, на следующий день, я узнал о трагической смерти Джимми Кападии: он умер внезапно, дома, от сердечного приступа. Можно ли убить человека, увидев во сне его смерть? Моя мать всегда утверждала, что можно, и, значит, Джимми Кападия явился моей первой жертвой. Хоми Катрак будет следующей).

Когда после своего первого школьного дня я вернулся домой, насладившись необычайной кротостью Жирного Пирса и Зобатого Кита («Слышь, я-яр, мы же не видели, что твой палец был в… эй, дружище, у нас на завтра лишний билет в кино, пойдешь?») и моей столь же неожиданной популярностью («Загалло больше нет! Круто, приятель! Ты не зря лишился волос!»), тетя Пия куда-то ушла. Я тихо сидел с дядей Ханифом, пока Мари Перейра на кухне готовила обед. Мирная, покойная семейная сцена – но мир и покой в единый миг разлетелись на куски, когда с силой хлопнула входная дверь. Ханиф выронил

свой карандаш, когда Пия, захлопнув дверь в прихожей, с такой же силой рванула дверь в гостиную. Он загудел весело: «Ну, жена, что за драма?».. Но Пию было не сбить с роли. «Кропаешь, – сказала она, взмахнув рукой. – О, Аллах, не прерывайся ради меня! Такая уйма таланта; на горшок не сходить без твоих нетленных творений! Счастлив ли ты, муженек? Много у нас денег? Всевышний благоволит к тебе?» Но Ханиф не терял присутствия духа: «Уймись, Пия, наш маленький гость слышит. Садись, попей чаю…» Актриса Пия застыла, не веря своим ушам: «О, Боже! В какую семью я попала! Моя жизнь лежит в руинах, ты же предлагаешь мне чаю, а твоя мать – бензин! Какое безумие…» И дядя Ханиф, уже нахмурившись: «Пия, ребенок…» Вопль. «Ах-а-а-а! Ребенок – но этот ребенок страдал; он и сейчас страдает; он знает, что такое быть брошенным, одиноким! Меня тоже все покинули; я, великая актриса, сижу сложа руки в окружении историй о почтальонах с велосипедами и погонщиках ослов! Что знаешь ты о горе женщины? Сиди-сиди, пусть толстый богатый парс-кинопродюсер подает тебе милостыню; пусть твоя жена носит пластмассовые украшения и по два года не вылезает из одного и того же сари; у женщины широкая спина, она сдюжит; но, возлюбленный супруг, ты превратил мои дни в пустыню! Не подходи ко мне, не трогай меня, дай мне спокойно выпрыгнуть из окошка! Я сейчас пойду в спальню, – заключила она, – и если ты больше обо мне не услышишь, это значит, что сердце мое разорвалось и я умерла». Снова хлопнула дверь; выход был потрясающий.

Дядя Ханиф в задумчивости сломал карандаш на две половинки. Потом в изумлении тряхнул головой: «Что это на нее накатило?» Но я-то знал. Я, хранитель тайны, запуганный полицейскими, знал и кусал себе губы. Ибо, запутавшись в сложных отношениях дяди и тети, я нарушил недавно установленное правило и забрался в мысли Пии; я увидел воочию ее визит к Хоми Катраку и узнал, что долгие годы она была любовницей продюсера; услышал, как он говорит, что Пия ему надоела, что теперь у него есть другая; и я, уже ненавидя Катрака за то, что тот соблазнил мою любимую тетю, возненавидел его с удвоенной силой, когда он отверг ее и унизил.

– Пойди к ней, – говорит дядя. – Может быть, ты ее немного развеселишь.

Мальчик Салем идет через двери, те самые, что недавно с таким шумом захлопнулись, к святилищу своей трагической тетки; и входит, и видит прекраснейшее тело, раскинувшееся в изумительном самозабвении поперек супружеской постели – где всего лишь этой ночью тела прижимались к телам – где записка перешла из руки в руку… теперь рука прижата к сердцу, грудь бурно вздымается, и мальчик Салем бормочет, запинаясь: «Тетя, о тетя, мне очень жаль».

Вопль бэнши[255]доносится с кровати. Жестом трагедийной актрисы руки разлетаются в стороны – тянутся ко мне. «Хай! Хай, хай! Ай-хай-хай!» Не дожидаясь иного приглашения, я бросаюсь в раскрытые объятья, руки сжимают меня, и я опрокидываюсь прямо на мою страдающую тетю. Объятья смыкаются, крепче-крепче-крепче, ногти царапают мою спину через белую школьную рубашку, но мне все равно! – Ибо что-то начинает шевелиться под моим ремнем с пряжкой в форме буквы S. Тетя Пия мечется подо мной в отчаянье, и я двигаюсь вместе с ней, стараясь держать правую руку на отлете. Рука напряжена, рука парит над схваткой. Другой рукой я ласкаю тетю, сам не зная, что делаю (мне всего десять лет), я еще хожу в коротких штанишках, но я плачу потому, что плачет она, и комната звенит от рыданий – а на постели мечутся два тела, два тела движутся в некоем ритме, неназываемом, немыслимом, бедра поднимаются мне навстречу, и она вопит: «О! О, Боже, о, Боже! О!» Может быть, я тоже кричу, не знаю; что-то рождается из этого горя, пока мой дядя ломает карандаши на полосатом диване; что-то набирает силу, пока Пия извивается и корчится подо мной, и вот, не имея силы совладать с этой силой, я опускаю правую руку, забыв о пальце, и палец прижимается к ее груди, и культя касается кожи…

– Йа-а-а-о-у-у-у-у! – ору я от боли, и моя тетя, стряхнув с себя дикое наваждение этих нескольких мгновений, сбрасывает меня и отвешивает мне звонкую затрещину. К счастью,

255

она пришлась по левой щеке, не повредив здорового уха. «Бадмаш! – визжит тетя. – Вся семейка – маньяки, извращенцы, о горе мне, за что я так страдаю?»

В дверях кто-то покашливает. Я встаю, весь дрожа от боли. Пия тоже стоит, и волосы струятся по ее плечам, будто слезы. В дверях – Мари Перейра, она покашливает, краснеет от смущения, и в руках у нее коричневый бумажный пакет.

– Вот, баба?, я совсем забыла, – наконец бормочет она. – Ты теперь совсем большой, твоя мама прислала тебе две пары красивых белых длинных брюк.

После моей попытки развеселить тетю, закончившейся столь неприличным эксцессом, мне было неудобно оставаться в квартире на Марин-драйв. Несколько последующих дней длились нескончаемые телефонные переговоры; Ханиф убеждал кого-то, а Пия бурно жестикулировала: может, теперь, ведь прошло уже пять недель… и однажды вечером, когда я вернулся из школы, мать забрала меня на нашем стареньком «ровере», и мое первое изгнание подошло к концу.

Ни по дороге домой, ни когда-либо после мне не объяснили причин моего изгнания. А я решил, что спрашивать не стоит. Я теперь носил длинные брюки, я был мужчиной, а значит, мог держать свои беды при себе. Я сказал матери: «С пальцем все не так плохо. Ханиф-маму научил меня по-другому держать ручку, так что я могу писать». Мать не отводила глаз от дороги. «Я чудесно провел время, – добавил я вежливо. – Спасибо, что послала меня туда».

– О мальчик мой, – не выдержала она, – когда лицо твое сияет, как солнышко на рассвете, что могу я сказать тебе? Будь добрее к отцу, он так несчастлив в последнее время. – Я пообещал, что постараюсь быть добрее; она выпустила руль из рук, и мы чуть не врезались в автобус. «Что за мир, – сказала она, помолчав. – Ужасные вещи случаются в нем, и ты даже не знаешь как».

– Знаю, – кивнул я. – Няня мне рассказывала. – Мать взглянула на меня с ужасом, затем обратила сверкающий взор на Мари, что сидела сзади. «Негодная женщина, – вскричала она, – что ты ему наговорила?» Я объяснил, что Мари пересказывала мне истории о чудесных происшествиях, и эти темные слухи, казалось, успокоили мою мать. «Что ты можешь знать, – вздохнула она. – Ты еще совсем ребенок».

Что могу я знать, амма? Я знаю о кафе «Пионер»! Внезапно, по дороге домой, меня вновь переполнила жажда мести: я должен был расквитаться с коварной матерью; жажда эта, несколько поутихшая за время моего блистательного изгнания, вернулась, соединившись с недавно возникшей ненавистью к Хоми Катраку. Эта двухголовая месть была демоном, вселившимся в меня и толкнувшим на самый мой скверный поступок… «Все будет хорошо, – твердила мать, – вот увидишь».

– Да, мама.

Мне вдруг пришло на ум, что я за всю главу ни слова не сказал о Конференции Полуночных Детей; но, по правде говоря, в те дни я потерял их из виду. Голова у меня была занята другим.

Жезл командора Сабармати

Через несколько месяцев, когда Мари Перейра, наконец, призналась в своем преступлении и открыла нам всем, что вот уже одиннадцать лет ее преследует призрак Жозефа Д’Косты, мы узнали, что, вернувшись из изгнания, она была неприятно поражена состоянием, до которого дошло привидение в ее отсутствие. Призрак начал распадаться, некоторых кусков не хватало: уха, пальцев на ногах, большинства зубов; и в животе зияла дыра величиной с яйцо. Огорчившись при виде этого осыпающегося привидения, Мари спросила (удостоверившись, что никто не может услышать): «О, Боже мой, Джо, что ты с собою сделал?» А он ответил, что должен-де нести на своих плечах всю тяжесть ею содеянного до тех пор, пока она не признается; оттого-то, мол, рушится и весь его организм.

С этой минуты уже и следовало ожидать неизбежного признания; но всякий раз, глядя на меня, Мари колебалась и медлила. И все же это был вопрос времени.

А пока, не подозревая о том, что меня вот-вот выведут на чистую воду как узурпатора, я пытался вновь привыкнуть к имению Месволда, где тоже произошли многочисленные перемены. Во-первых, отец, казалось, совершенно отрекся от меня; я находил это обидным, но (учитывая мое новое увечье) вполне понятным. Во-вторых, значительно изменилось положение Медной Мартышки. «Мое место в этом доме, – должен был я признаться самому себе, – оказалось занятым». Потому что теперь не меня, а Мартышку отец допускал в абстрактное святилище своего офиса; Мартышку, а не меня прижимал к выпирающему животу; ей, а не мне, приходилось нести бремя его мечтаний о будущем. Я далее слышал, как Мари Перейра пела Мартышке песенку, сопровождавшую меня все эти годы: «Кем ты захочешь, – напевала Мари, – тем ты и станешь; станешь ты всем, чем захочешь!» И матери передалось это общее умонастроение; теперь сестре за обедом накладывали больше всех жареной картошки, давали лишнюю наргизи-кофта[256], выбирали для нее самую лучшую пасанду[257]. А я – если кто-нибудь в доме случайно бросал на меня взгляд – замечал, как углубляется складка между бровей, как растет и ширится смятение и подозрительность. Но пристало ли мне жаловаться? Мартышка годами терпела мое особое положение. За одним исключением, когда она столкнула меня с дерева в нашем саду (да и то, наверное, по чистой случайности), сестра принимала мое превосходство с большим тактом и даже была мне предана. Теперь настала моя очередь; надев длинные брюки, я должен был относиться к своему падению как взрослый. «Расти, – говорил я себе, – гораздо труднее, чем можно было предположить».

Мартышка, надо сказать, была удивлена не меньше моего своим возведением в ранг любимой дочери. Что только она ни делала, чтобы лишиться всеобщего расположения – все напрасно: что бы она ни творила, все ей сходило с рук. В те дни она заигрывала с христианством, отчасти под влиянием европейских девочек, своих школьных подруг, отчасти беря пример с Мари Перейры, без конца перебирающей четки (нянька не ходила в церковь из страха перед исповедальней, зато пичкала нас историями из Библии); но я все же думаю, что таким образом Мартышка пыталась вернуться в ту, образно говоря, собачью конуру, откуда ее извлекли (уж если речь зашла о собаках, то Баронессу Симки усыпили за время моего отсутствия; ее сгубили неразборчивые связи).

Сестра прославляла благостного Иисуса, доброго и кроткого, а мать лишь улыбалась и гладила ее по голове. Она бродила по дому, распевая псалмы, – мать переняла мотивы и стала ей вторить. Она попросила наряд монахини, забросив свою любимую униформу медсестры; просьбу удовлетворили. Она нанизала на бечевку бобы и перебирала их, как четки, бормоча: «Богородице, Дево», и родители похвалили ее за искусную работу. Страдая оттого, что ей никак не удается заслужить наказание, Мартышка дошла до предела в своем религиозном рвении: утром и вечером читала «Отче наш», соблюдала Великий пост вместо Рамазана, обнаружив неожиданную склонность к фанатизму, который впоследствии завладеет всем ее существом, – и родители это терпели. Наконец она поделилась своими соображениями со мной: «Похоже, братец, – сказала она, – теперь я буду пай-девочкой, а ты можешь радоваться жизни».

Возможно, она была права: то, что мои родители, по всей видимости, потеряли ко мне интерес, могло бы предоставить мне больше свободы; но я, завороженный превращениями, которые касались всех сторон моей жизни, вряд ли был способен особо этой жизни радоваться. Я менялся физически: первый, слишком ранний, мягкий пушок появился у меня на подбородке, а голос, помимо моей воли, становился то визгливым, то басовитым. Я остро ощущал свою нескладность: не знал, куда девать неожиданно ставшие длинными руки и ноги, и так быстро вырастал из рубашек и брюк, что был вечно похож на клоуна: запястья и

256
257

щиколотки нелепо торчали из рукавов и штанин. Казалось, даже одежда пыталась мне напакостить, смешно болтаясь вокруг несоразмерных членов; и даже когда я обращался внутрь себя, к моим полуночным детям, то находил там перемены, которые мне не нравились.

Постепенный распад Конференции Полуночных Детей, которая развалилась окончательно в тот день, когда китайская армия перевалила через Гималаи[258] и втоптала в грязь индийских воинов, уже шел полным ходом. Когда исчезает прелесть новизны, за ней неизбежно следует скука, а потом разлад. Или (скажем это иными словами), когда палец оторван и кровь бьет фонтаном, любая подлость становится возможной… были ли трещины в Конференции (активно-метафорически) результатом того, что я лишился пальца, или же нет, но они, несомненно, ширились. В Кашмире Нарада-Маркандея впал в настоящий соллипсизм, в мечтания и грезы нарциссистского толка, интересуясь лишь эротическими усладами, вытекающими из постоянных сексуальных превращений; Сумитра, странник во времени, задетый за живое тем, что мы не хотели слушать о будущем, в котором (по его словам) страной станет править пьющий мочу старый дурень[259], не желающий помирать, и люди забудут все, чему когда-либо научились, и Пакистан разделится, как амеба, и премьер-министров в каждой половинке убьют их преемники, оба – он клялся, но мы никак не хотели верить – носящие одно и то же имя…[260] оскорбленный Сумитра начал регулярно отсутствовать на наших ночных встречах, надолго исчезая в запутанных, паутинных лабиринтах Времени. А сестрички из Бауда были довольны своей способностью пленять молодых и старых дурней. «На что нам нужна эта Конференция? – спрашивали они. – У нас и так отбоя нет от возлюбленных». А наш алхимик без конца возился в лаборатории, которую построил ему отец (узнавший от сына все его секреты); занятый философским камнем, он весьма редко посещал нас. Его поглотила жажда золота.

Действовали и другие факторы. Дети, хотя и наделенные магическими дарованиями, не могут отрешиться от своих родителей; и вот предрассудки взрослых и их представления о мире начали покорять их умы; я обнаружил, что дети из Махараштры ругают гуджарати, а белокожие северяне поносят «черножопых» дравидов; разгорелись религиозные распри; деление на классы тоже вторглось в наши совещания. Богатые дети воротили носы, не желая находиться в такой неподходящей компании; брахманы стали чувствовать себя неловко, позволяя хотя бы своим мыслям коснуться мыслей неприкасаемых; а среди низкорожденных все более замечалось давление бедности и влияние коммунизма… в довершение всего происходили личные столкновения: сотни шумных, крикливых свар, неизбежных в парламенте, полностью состоящем из подростков.

Таким образом, Конференция Полуночных Детей исполнила пророчество премьер-министра и сделалась поистине зеркалом страны; пассивно-буквальный способ сцепления пришел в действие, хоть я и метал громы и молнии, сначала с возрастающим отчаянием, потом со все большей отрешенностью. «…Братья, сестры! – вещал я мысленным голосом, таким же ломким, как и его физическое воплощение. – Не допустите этого! Не позволяйте бесконечному противоборству масс-и-классов, капитала-и-труда, их-и-нас вклиниться в наше единство! Мы, – восклицал я страстно, – должны стать третьим принципом, той силой, что держит дилемму за рога; только будучи другими, будучи новыми, мы сможем выполнить то, что предначертано нам при рождении!» У меня были сторонники, в особенности Парвати-Колдунья; но я чувствовал, как дети ускользают от меня один за другим, как их затягивает собственная жизнь… ведь, по правде говоря, она и меня затягивала. Получалось так, будто наш славный Конгресс – не более чем детская игра, и, надев длинные брюки, мы забыли, что рождены в полночь… «Мы должны выработать программу, – настаивал я, – наш собственный пятилетний план, почему бы и нет?» Но эти страстные речи

258
259
260

звучали на фоне язвительных смешков моего главного соперника; и в головах у всех раздавался презрительный голос Шивы: «Нет, богатенький пай-мальчик; никакого третьего принципа не бывает; есть только деньги-и-нищета, иметь-и-не-иметь; правое-и-левое; есть только я-против-всего-мира! Мир – это не идеи, богатенький мальчик; мир – не место для мечтателей и их мечтаний; мир, маленький Сопливец, это – вещи. Вещи и те, кто их делает, управляют миром; погляди на Бирлу, на Тату[261], на всех, кто имеет власть, – они делают вещи. Страной управляют ради вещей, не ради людей. Ради вещей Америка и Россия посылают помощь; а пятьсот миллионов человек голодают. Когда у тебя есть вещи, ты можешь мечтать; когда у тебя их нет, ты должен бороться». Дети как завороженные следили за нашими стычками… а может, и нет, может, даже наш диалог не вызывал у них интереса. И я отвечал: «Но люди – не вещи; если мы будем вместе, если мы будем любить друг друга, если мы покажем, что это, именно это, – люди-все-вместе, эта Конференция, дети-верные-друг-другу-в-богатстве-и-нужде – что это и может быть третьим путем…» Но Шива фыркает: «Богатенький пацаненок, все это чепуха. Вся эта ценность-личности. Вся эта возможность-человечности. Сегодня люди – тоже вещи, только другого толка». И я, Салем, начинаю поддаваться: «Но… свобода воли… надежда… великая душа, или *махатма,* человечества… а поэзия, а искусство, а…» И Шива празднует победу: «Вот видишь? Я знал, что ты этим кончишь. Ты рыхлый, как переваренный рис. Сентиментальный, как старая бабка. Уходи: кому нужен твой хлам? Нам всем надо прожить наши жизни. Черт побери, нос-огурцом, я сыт по горло твоей Конференцией. Она не поможет достать ни единой вещи».

Вы спросите: и это – десятилетние? Я отвечу: да, но. Вы скажете: могут ли десятилетние, даже пускай почти одиннадцатилетние дети обсуждать роль личности в обществе? Борьбу капитала и труда? Уяснили ли мы себе внутреннюю напряженность в аграрной и индустриальной зонах? А конфликтность социо-культурного наследия? Могут ли дети, которым меньше четырех тысяч дней, постигнуть сущность и неотъемлемые противоречия капитализма? Прожив меньше ста тысяч часов, могут ли они сопоставлять Ганди и Маркса-Ленина, силу и бессилие? Был ли коллективизм навязан личностному началу? Был ли Бог убит детьми? Даже если мы признаем, что эти ребятишки творили чудеса, сможем ли мы поверить, чтобы малолетние сорванцы рассуждали, как седобородые старцы?

Я утверждаю: возможно, не этими словами; выраженные, возможно, не словами вообще, а более чистым языком мысли; но, конечно же, все эти идеи лежали в основе наших дискуссий; ведь дети – сосуды, куда взрослые льют свой яд, и это яд взрослых бродил тогда в нас. Яд, а потом, через многолетнее зияние – Вдова с ножом.

Короче говоря, после моего возвращения на виллу Букингем сама соль детей полуночи потеряла силу; бывали ночи, когда я даже не трудился настраивать свое национальное радиовещание; и демон, таящийся во мне (двухголовый демон), мог сколько угодно смущать меня. (Я так никогда и не узнал, был ли Шива виновен в убийствах шлюх, но таково уж влияние Калиюги, что я, пай-мальчик и прирожденная жертва, имею на совести две смерти. Первым, кого я убил, был Джимми Кападия, а вторым – Хоми Катрак).

Если и есть третий принцип, он называется детством. Но детство гибнет; вернее, его убивают.

У всех у нас в те дни были свои неприятности. У Хоми Катрака – идиотка Токси, а у Ибрахимов – собственные заботы: отец Сонни, Измаил, годами дававший взятки судьям и присяжным, теперь нарвался на расследование коллегии адвокатов; а дядя Сонни, Исхак, державший второразрядный отель «Эмбасси» у фонтана Флоры, по слухам, сильно задолжал местным гангстерам и теперь боялся, что его «замочат» (в те дни убийства становились столь же обыденными, как и жара)… поэтому, наверное, нет ничего удивительного в том, что все мы забыли о существовании профессора Шапстекера. (Индийцы с возрастом полнеют и

261

входят в силу; но Шапстекер был европейцем, а люди его расы с годами тускнеют, а зачастую пропадают совсем).

Но теперь, не иначе как направляемые демонами, ноги сами понесли меня наверх, на последний этаж виллы Букингем, где я обнаружил сумасшедшего старика, невероятно высохшего и сморщенного; тонкий его язык постоянно то высовывался наружу, то скрывался – скользя, слюня, облизываясь; бывшему искателю противоядий, истребителю лошадей, Цап-стекер сахибу, теперь было девяносто два года, и он не заведовал больше институтом своего имени, а жил уединенно в темной квартире на верхнем этаже, полной тропических растений и заспиртованных змей. Старость не сумела вырвать у него зубы и мешочки с ядом; наоборот, превратила его в само воплощение змеиного начала; как и другим европейцам, слишком долго прожившим у нас, древние безумные мифы Индии проспиртовали ему голову, и профессор сам стал верить в россказни институтских ординаторов, будто он – последний из рода, начало которому положил союз короля-кобры с женщиной, родившей человеческое (но также и змеиное) дитя… кажется, всю мою жизнь новый, невероятный, причудливо искаженный мир дожидался меня буквально за углом. Заберись по лесенке (пусть она даже с перилами и площадкой) – и увидишь змейку.

Шторы там были всегда задернуты; в комнатах Шапстекера солнце не вставало и не садилось, не тикали часы. Демон ли свел нас вместе, или чувство одиночества, владевшее тем и другим?.. Так или иначе, в дни возвышения Мартышки и заката Конференции я стал при первой возможности подниматься по лестнице и без конца слушал несвязные речи сумасшедшего, шепелявого старика.

Когда я вошел в его незапертую берлогу, первым его приветствием было: «Итак, малыш, – ты не умер от брюшного тифа». Сентенция эта растянула время, покрыла его ленивым облаком пыли и вернула меня к возрасту одного года; я вспомнил историю, как Шапстекер спас мне жизнь с помощью змеиного яда. А потом несколько недель я сидел у его ног, и он мне показывал кобру, что лежала, свернувшись, во мне самом.

Кто перечислил, радея о моем благе, тайные силы змей? (Их тень убивает коров; если они входят в сны мужчины, его жена беременеет; если кто-то убьет змею, в его роду не будет мужского потомства в течение двадцати поколений). И кто описал мне – опираясь на книги и чучела – извечных врагов кобры? «Изучай своих врагов, малыш, – шипел старик, – иначе они непременно тебя уничтожат…» Сидя у ног Шапстекера, я изучил мангуста и бобра; зобатого аиста с клювом, как кинжал, и оленя-барасинха, который может размозжить голову змеи копытом; египетского ихневмона, ибиса, и птицу-секретаря ростом в четыре фута, бесстрашную, с изогнутым клювом: ее облик и название внушили мне некоторые подозрения насчет отцовской Алис Перейры; и подлого канюка, и скунса, и медоеда, живущего на холмах; и пекари – юркую дикую свинью; и страшную птицу кангамба. Шапстекер, глубокий старец, учил меня жизни. «Будь мудр, малыш. Во всем подражай змеям. Действуй тайно; нападай из-за куста».

Однажды он сказал: «Ты должен видеть во мне второго отца. Разве не я дал тебе жизнь, когда ты был при смерти?» Этим утверждением он показал, что тоже подпал под власть моих чар, заняв место в бесконечном ряду родителей, которых один только я умел себе создавать. И хотя через какое-то время я нашел, что воздух в его квартире слишком спертый, и снова оставил его в одиночестве, больше никогда никем не нарушаемом, старый змеевод научил меня, как надо действовать. Снедаемый двухголовым демоном мести, я (впервые) использовал телепатию как оружие и выяснил во всех подробностях характер отношений между Хоми Катраком и Лилой Сабармати. Лила и Пия не уступали друг другу красотой, и теперь жена будущего адмирала стала новой любовницей магната киноиндустрии. Когда командор Сабармати уходил в море на маневры, Лила и Хоми тоже маневрировали напропалую; пока морской волк дожидался смерти нынешнего адмирала, Хоми и Лилу тоже ждало свидание с Безглазой. (Не без моего участия).

«Таись», – говорил Цап-стекер сахиб; и я, таясь, выслеживал своего врага Хоми и беспутную мать Одноглазого и Прилизанного (которые сильно задавались в последнее время,

ибо в газетах и в самом деле писали, что новое назначение командора Сабармати уже решено. *Это всего лишь вопрос времени…)* «Распутница, – нашептывал мне мой демон. – Плохая жена и коварная мать! Твой пример послужит острасткой всем прочим; на твоем примере мы покажем, какая судьба ожидает предавшихся похоти. О, беспечная прелюбодейка! Разве ты не видела, к чему привела сиятельную баронессу Симки фон дер Хейден неразборчивость в связях? А ведь она – назовем вещи своими именами – была просто сукой, точно такой же, как ты».

Мое отношение к Лиле Сабармати смягчилось с годами; в конце концов, у нас с ней было нечто общее: ее нос, как и мой, обладал сокрушительной силой. Ее магия, однако, была вполне земной: стоило Лиле слегка наморщить кожицу на своем органе дыхания, как самый суровый из адмиралов мгновенно подпадал под ее чары; стоило чуть-чуть затрепетать ноздрям, и в сердце магната киноиндустрии начинало полыхать неугасимое пламя. Я даже немного жалею, что предал этот носик; будто бы всадил нож в спину двоюродному брату.

Вот что я обнаружил: каждое воскресенье в десять часов утра Лила Сабармати отвозила Одноглазого и Прилизанного в кинотеатр «Метро» на еженедельный праздник клуба «Метро Каб». (Она прихватывала с собой и всех остальных; Сонни и Кирус, Мартышка и я теснились в ее индийском автомобиле «хиндустан»). И пока мы ехали к Лане Тернер, или Роберту Тейлору, или Сандре Ди, мистер Хоми Катрак тоже готовился к еженедельному свиданию. Пока «хиндустан» Лилы трясся вдоль трамвайных путей, Хоми повязывал горло кремовым шелковым шарфом; пока она останавливалась на красный свет, он натягивал куртку-сафари, разноцветную, как Техниколор; пока она заталкивала нас в темный зрительный зал, он надевал темные очки в золотой оправе; и когда она оставляла нас в кино, он тоже бросал своего ребенка. На его уходы Токси Катрак всегда реагировала одинаково: выла-билась-сучила ногами; она знала, к чему все идет, и даже Би-аппа не в силах была сдержать ее.

Жили-были когда-то Радха и Кришна, Рама и Сита, Лейла и Меджнун; а также (поскольку и Запад нам не чужд) Ромео и Джульетта, Спенсер Трейси и Кэтрин Хепберн[262]. Мир полон историй любви, и все любовники в каком-то смысле – аватары своих предшественников. Когда Лила ехала на своем «хиндустане» к определенному дому на набережной Колаба, она была Джульеттой на балконе; когда Хоми в кремовом шарфе и золотисто-темных очках спешил на встречу с ней (в том же «студебеккере», в котором моя мать когда-то мчалась к родильному дому доктора Нарликара), он был Леандром и переплывал Геллеспонт, не сводя глаз со свечи, которую зажгла Геро. Что же до роли, которую я сыграл в этом деле, – ей аналога мне не подобрать.

Должен признаться: поступок мой нельзя назвать героическим. Я не выехал на битву с Хоми верхом на коне, с пылающим взором и сверкающим мечом; вместо этого, подражая змее, я стал вырезать слова из газеты. Из заголовка КОМИТЕТ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ГОА НАЧИНАЕТ КАМПАНИЮ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ я вырезал три буквы: «КОМ»; слова СПИКЕР АССАМБЛЕИ ВОСТ-ПАК ОБЪЯВЛЕН МАНЬЯКОМ дали мне второй слог – «АН». «ДОР» я нашел в НЕРУ ДОРАБАТЫВАЕТ ПРОЕКТ СВОЕЙ ОТСТАВКИ; для второго слова я извлек «САБ» из МЯТЕЖИ, МАССОВЫЕ АРЕСТЫ В КРАСНОЙ КЕРАЛЕ: САБОТАЖНИКИ ПОДНЯЛИ ГОЛОВЫ – ГХОШ[263]ОБВИНЯЕТ ХУЛИГАНОВ В КОНГРЕССЕ; и нашел «АРМ» в ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОЙ АРМИИ НА ГРАНИЦЕ НАРУШАЮТ БАНДУНГСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ. Чтобы довершить имя, я вырезал «АТИ» из МЫ ДОЛГО ТЕРПИМ НЕКОМПЕТЕНТНУЮ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА – С КАКОЙ СТАТИ? Чтобы изложить историю, подходящую к моим зловещим замыслам, я нашел ЗАЧЕМ ИНДИРА ГАНДИ СТАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРТИИ КОНГРЕССА? и вырезал «ЗАЧЕМ»; потом я решил, что ни к чему связывать себя исключительно политикой и перешел к рекламе, где мне встретилось: СПЕРМИНТ – ВАША

262
263

РЕЗИНКА, и я вырезал «ВАША». В спортивной светской хронике У МОХАНА БАГАНА, ЦЕНТРАЛЬНОГО НАПАДАЮЩЕГО, НОВАЯ ЖЕНА я нашел следующее слово; а глагол отыскал в трагическом сообщении ОГРОМНАЯ ТОЛПА ИДЕТ ЗА ГРОБОМ АБУЛ КАЛАМА АЗАДА. Затем снова пришлось искать слова по частям: в те дни шейх Абдулла, Кашмирский Лев[264], начал в своем штате кампанию за референдум, который определил бы его будущее; мужество этого деятеля дало мне слог «НА»: НАСТОЙЧИВОСТЬ АБДУЛЛЫ – ПРИЧИНА ЕГО ПОВТОРНОГО АРЕСТА. А еще Ачарья Виноба Бхаве[265], который десять лет проводил кампанию «бхудан», убеждая землевладельцев раздавать беднякам участки земли, объявил, что уже роздано более миллиона акров, и начал две новые кампании, требуя отдать в собственность крестьянам целые деревни («грамдан») и индивидуальные наделы («джи-вандан»). Когда Дж.П. Нараян[266]заявил, что посвятит всю свою жизнь делу Бхаве, заголовок НАРАЯН ГОВОРИТ: «Я БЕРЕЖНО СЛЕДУЮ ЗАВЕТАМ БХАВЕ» дал мне столь необходимую «БЕРЕЖН» – «УЮ». СМЕРТЬ В ЮЖНОМ КОЛЕ: ШЕРПА ПОГРУЖАЕТСЯ предоставил мне вожделенный «КОЛ»; «АБА» оказалось нелегко найти, пришлось добраться до анонсов кино: АЛИ-БАБА, СЕМНАДЦАТАЯ НЕДЕЛЯ ПОЛНЫХ СБОРОВ. Теперь уже был близок конец; предлог «В» я вырезал из ПАКИСТАН НА ПУТИ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ХАОСУ: БОРЬБА ФРАКЦИЙ ВЕДЕТ В ПРОПАСТЬ; «ВОСКРЕСЕНЬЕ» сложил из рубрики «*Воскресное обозрение»;* осталось всего одно слово. Этот финал предоставили мне события в Восточном Пакистане: БРОШЕННЫМ СТУЛОМ УБИТ ДЕПУТАТ ВОСТ-ПАК: УТРОМ ОБЪЯВЛЕН ТРАУР; ловко, почти не глядя, я вырезал слово «УТРОМ» из этого траурного заголовка. Мне нужен был завершающий знак вопроса, и я нашел его в конце неизменного вопрошания тех странных дней: ПОСЛЕ НЕРУ – КТО?

Тайком, в ванной комнате, я наклеил всю свою записку – она явилась моей первой попыткой преобразовать историю – на лист бумаги; подражая змее, я вложил сей документ в свой карман, словно яд в мешочек. Исподтишка я устроил так, чтобы Одноглазый и Прилизанный пригласили меня вечером к себе домой. Мы придумали игру «Убийство во мраке»… Во время этой убийственной игры я проскользнул в шкаф командора Сабармати и вложил смертоносное послание во внутренний карман его запасного мундира. В эту минуту (что уж скрывать) я почувствовал то же, что чувствует змея, поразившая цель, вонзившая зубы в пяту своей жертвы…

КОМАНДОР САБАРМАТИ (гласила моя записка).

ЗАЧЕМ ВАША ЖЕНА ИДЕТ НА НАБЕРЕЖНУЮ КОЛАБА В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ?

Нет, я уже не горжусь тем, что совершил; но вспомните, что мой демон мести был двухголовым. Раскрыв перед всеми коварство Лилы Сабармати, я надеялся преподать хороший урок своей матери – поразить двух птичек одним камнем, наказать двух женщин, ужалить каждую одним из концов своего раздвоенного змеиного языка. По правде говоря, всем известное дело Сабармати имело свое подлинное начало в грязном кафе на северных окраинах города, когда некий тайком приехавший пассажир наблюдал танец кружащих рук.

Я действовал тайно; я напал из-за куста. Что двигало мною? Руки в кафе «Пионер»; звонки по телефону – вы-ошиблись-номером; записка, всунутая в ладонь на балконе и переданная под прикрытием простыни; лицемерие матери и безутешная скорбь Пии: «Хай! Ай-хай! Ай-хай-хай!».. Яд мой не сразу поразил жертву, но через три недели результат был налицо.

Впоследствии выяснилось, что, получив мое анонимное послание, командор Сабармати нанял знаменитого Дома Минто, лучшего в Бомбее частного сыщика. (Минто к тому времени постарел, ходил с трудом и поэтому снизил расценки.) Командор Сабармати ждал,

---

264

265

266

пока Минто представит рапорт. А потом…

В это воскресное утро шестеро детишек сидели рядком в клубе «Метро Каб» и смотрели фильм под названием «Фрэнсис, Говорящий Мул, и Дом с Привидениями». Сами видите: у меня было алиби, я и близко не подходил к месту преступления. Подобно Сину, растущему полумесяцу, я издалека влиял на приливы и отливы мира… пока мул говорил с экрана, командор Сабармати посетил флотский арсенал. Он выписал себе хороший длинноствольный револьвер и патроны к нему. В левой руке он держал листок бумаги, на котором аккуратным почерком частного детектива был записан адрес, а правая сжимала револьвер без кобуры. Взяв такси, командор прибыл на набережную Колаба. Расплатился, с револьвером в руке прошел по узкому переулку мимо лотков с рубашками и игрушечных магазинов и стал подниматься по лестнице многоквартирного дома, что стоял в глубине бетонного двора, поодаль от переулка. Позвонил в квартиру 18-с; звонок был услышан в квартире 18-в англо-индийцем, учителем, дававшим частные уроки латинского языка. Когда Лила, жена командора Сабармати, открыла дверь, он дважды, в упор, выстрелил ей в живот. Она упала навзничь; командор переступил через нее и обнаружил господина Хоми Катрака в туалете: тот вставал с горшка, не успев подтереть зад и отчаянно пытаясь натянуть штаны. Командор Вину Сабармати выстрелил ему в гениталии, потом в сердце, а потом в правый глаз. Револьвер трещал не переставая, но когда он кончил говорить, в квартире наступила поразительная тишина. Подстреленный господин Катрак сидел на стульчаке и вроде как улыбался.

Командор Сабармати вышел из многоквартирного дома с дымящимся пистолетом в руке (его видел через щелочку в двери перепуганный учитель латыни); он шагал по набережной Колаба, пока не увидел полицейского-регулировщика на невысоком подиуме. Командор Сабармати заявил полицейскому: «Я только что убил мою жену и ее любовника из этого револьвера; вручаю себя в ваши…» Но он размахивал револьвером перед носом регулировщика; тот так перепугался, что бросил свой жезл и удрал. Командор Сабармати остался один на полицейском пьедестале среди скопившихся машин; и он принялся регулировать движение, размахивая револьвером, как жезлом. Там его и застал наряд из двенадцати полицейских, который прибыл десять минут спустя; там на него отважно накинулись всей гурьбой, связали по рукам и ногам и отобрали необычайный жезл, с помощью которого Сабармати целых десять минут весьма умело управлял уличным движением.

В газетах писали о деле Сабармати: «Имея перед глазами такое зрелище, Индия вспоминает, чем она была, и открывает, что она есть и чем может стать»… Но командор Сабармати был всего лишь марионеткой; я дергал за ниточки, и вся страна разыгрывала задуманный мною спектакль – но только я этого не хотел! Я не думал, что он… Я замышлял всего лишь… скандал, да, острастку, урок неверным женам и матерям, но только не это, нет, никогда.

Устрашившись дела рук своих, я торопливо разослал по всему городу мысленные волны… в объединенной больнице Парси доктор сказал: «Бегам Сабармати выживет, но все, что съест, будет видеть у себя в животе»… А Хоми Катрак умер… И кого же наняли адвокатом? Кто сказал: «Я буду защищать его даром, бесплатно и без всякого вознаграждения?» Кто, однажды выиграв дело о замораживании, стал теперь защитником Сабармати? Сонни Ибрахим заявил: «Если кто-то и сможет вытащить его, так это мой отец».

Командор Сабармати стал самым популярным убийцей в истории индийской юриспруденции. Мужья превозносили моряка за то, что он покарал гулящую жену; женщины, преданные своим мужьям, почувствовали, чего эта верность стоит. Даже в головах сыновей Лилы я нашел следующие мысли: «Мы ведь знали, какая она. И знали, что офицер флота не станет этого терпеть». Обозреватель «Иллюстрейтед Уикли оф Индиа» в рубрике «Человек недели» дал красочное, чуть карикатурное описание командора и сказал, в частности: «В деле Сабармати благородные чувства „Рамаяны“ сплелись с дешевой

мелодрамой бомбейского кино; что же до главного действующего лица, то все как один считают, что это – человек честный и прямой; да и вообще, по правде говоря, он симпатичный парень».

Моя месть матери и Хоми Катраку вызвала национальный кризис… В Уставе флота значилось, что если человек побывал в гражданской тюрьме, он уже не может претендовать на звание адмирала. И вот флотское начальство, и городские политики, и, конечно же, Измаил Ибрахим потребовали: «Командор Сабармати должен находиться на военно-морской гауптвахте. Он невиновен, пока не доказано обратное. Его карьера по возможности не должна пострадать». И власти сказали: «Да». И командор Сабармати, благополучно запертый в военную тюрьму, обнаружил, сколь тяжко бремя славы – по самую макушку засыпанный телеграммами поддержки, он ждал суда; его камера была уставлена цветами, и, хотя командор просил держать его на рисе и воде, самом аскетическом рационе, доброхоты слали и слали судки, доверху наполненные бириани, писта-ки-лауз и другой роскошной едой. И, дабы не затягивать ожидания, процесс начался вне очереди… Обвинение гласило: «Убийство первой степени».

Стиснув зубы, глядя прямо перед собой, командор Сабармати заявил: «Невиновен».

Моя мать сказала: «Ах, Боже мой, бедняга, как это грустно, правда?»

Я сказал: «Но неверная жена – это ведь ужасно, амма…» – и она отвернулась.

Обвинение высказалось: «Дело яснее некуда. Перед нами мотив, возможность, признание, состав преступления и преднамеренность: револьвер выписан, дети отправлены в кино, в руке – рапорт частного сыщика. Что тут еще скажешь? Формулировка не изменяется».

И общественное мнение: «О Аллах, такой прекрасный человек!»

Измаил Ибрахим заявил: «Это – попытка самоубийства».

На что общественное мнение: «?????????»

Измаил Ибрахим заливался соловьем: «Когда командор получил рапорт Дома Минто, он решил убедиться, правда ли это, и если правда, то убить себя. Он выписал револьвер для себя самого. И отправился на Колабу по названному адресу, влекомый отчаянием; не убийца, мертвец! Но там, увидев там свою жену, уважаемые присяжные!.. – увидев ее полуодетой с ее бесстыдным любовником, уважаемые присяжные, этот добрый человек, этот великий человек утратил власть над собой. Утратил, совершенно утратил – и в состоянии бешенства сотворил то, что сотворил. Таким образом, не было умысла, и это – не убийство первой степени. Да, он убил, но не хладнокровно. Уважаемые присяжные, раз обвинение сформулировано таким образом, вы должны признать подсудимого невиновным».

Весь город загудел: «Нет, это уже слишком… на сей раз Измаил Ибрахим перегнул палку… и все же, все же… он подобрал присяжных в основном из женщин… и небогатых… вдвойне падких и на обаяние командора, и на толстый кошель адвоката… кто знает? Кто может заранее сказать?»

Присяжные вынесли вердикт: «Невиновен».

Моя мать воскликнула: «О, прекрасно!.. Однако же, однако: где *справедливость?»* И судья, словно бы в ответ: «Данной мне властью я отменяю этот абсурдный вердикт. Виновен по всем пунктам».

О, какая поднялась свистопляска! Командование флота, и религиозные деятели, и политики требовали: «Сабармати должен оставаться на гауптвахте, ожидая решения суда высшей инстанции. Узколобые воззрения одного судьи не должны погубить карьеру великого человека!» Полицейские власти капитулировали: «Согласны». Дело Сабармати набирало обороты, с беспрецедентной скоростью двигалось к рассмотрению в суде высшей инстанции… и командор сказал своему адвокату: «Я чувствую, что судьба моя больше не в моей власти; будто что-то меня одолело… назовем это Роком».

А я говорю: «Назовите это Салемом, Сопливцем, Сопелкой, Рябым; назовите это Месяцем-Ясным».

Вердикт суда высшей инстанции: «Виновен по всем пунктам». Заголовки в прессе:

САБАРМАТИ ОТПРАВИТСЯ НАКОНЕЦ В ОБЫЧНУЮ ТЮРЬМУ? Измаил Ибрахим заявляет: «Мы должны пройти весь путь! В Верховный суд!» И вот разорвалась бомба. Сам государственный секретарь провозгласил: «Нелегко действовать в обход закона; однако, приняв во внимание заслуги командора Сабармати перед родиной, я разрешаю ему оставаться в распоряжении военно-морских сил вплоть до решения Верховного суда».

И снова заголовки, назойливые, словно комары: ГОСУДАРСТВО ПОПИРАЕТ ЗАКОН! СКАНДАЛ САБАРМАТИ – ПОЗОР ВСЕЙ НАЦИИ!.. Когда я увидел, что пресса повернулась против командора, то понял, что ему пришел конец.

Вердикт Верховного суда: «Виновен».

Измаил Ибрахим не сдался: «Пардон! Мы будем просить помилования у Президента Индии!»

Многое нужно было взвесить в Раштрапати Бхаван[267]: за воротами президентского дворца один человек должен был решить, может ли другой человек быть поставлен над законом; допустимо ли пренебречь убийством любовника жены ради военно-морской карьеры; решались и более важные проблемы – станет ли Индия подчиняться законам или так и будет повиноваться древнему принципу превосходства непревзойденных героев? Если бы сам Рама воскрес, отправили бы его в тюрьму за убийство похитителя Ситы? Решались великие вопросы; мое вторжение в историю моего времени вышло далеко за рамки обыденности.

Президент Индии заявил: «Я не помилую этого человека».

Нусси Ибрахим (чей муж проиграл свой самый большой процесс) голосила: «Хай! Ай-хай!» И повторила то, что уже сказала когда-то: «Сестричка Амина, такого хорошего человека посадили в тюрьму. Говорю тебе, настал конец света!»

Признание буквально трепетало на моих губах: «Это я во всем виноват, амма; я хотел тебе преподать урок. Не встречайся, амма, с чужими мужчинами в вышитых рубашках; хватит, мамочка, целовать чайные чашки! Я теперь ношу длинные брюки и могу сказать тебе все, как мужчина». Но я так и не проговорился; в том не было нужды, ибо я подслушал, как моя мать отвечает на тот самый, не-туда-попавший телефонный звонок – странным, каким-то сдавленным голосом говорит в трубку: «Нет, здесь такие не живут; пожалуйста, поверьте мне и больше сюда не звоните».

Да, я преподал урок своей матери, и после истории с Сабармати она никогда больше не видела своего Надира-Касима во плоти, никогда больше, всю свою жизнь; но, стоило ей отказаться от этих встреч, как ее постигла общая участь всех женщин из нашей семьи, а именно, проклятие преждевременной старости: она начала усыхать, хромота стала более заметной, и глаза опустели, словно от прожитых лет.

Месть моя повлекла за собой целый ряд непредвиденных событий; может быть, самым драматическим из них было появление в садах имения необычайных цветов, сделанных из дерева и жести, расписанных вручную ярко-красными буквами… роковые объявления были воздвигнуты во всех садах, кроме нашего; и это доказывало, что я сам до конца не понимал своей силы: будучи однажды изгнан с двухэтажного холма, я теперь умудрился изгнать оттуда всех остальных.

Объявления в садах виллы Версаль, виллы Эскориал и Сан Суси кивают друг другу в час коктейля, колеблемые морским бризом. На каждом можно различить одни и те же девять букв, ярко-красных, двенадцати дюймов в высоту: ПРОДАЕТСЯ. Вот о чем гласят объявления.

ПРОДАЕТСЯ: вилла Версаль, чей владелец убит на стульчаке; продажу осуществляла свирепая нянька Би-аппа в интересах бедной идиотки Токси; когда дом был продан, нянька и подопечная пропали навсегда, и при отъезде Би-аппа держала на коленях пухлый портфель, доверху набитый банкнотами… не знаю, что сталось с Токси, однако, памятуя о жадности

267

няни, полагаю, что ничего хорошего… ПРОДАЕТСЯ квартира Сабармати на вилле Эскориал; Лила Сабармати была лишена материнских прав и исчезла из наших жизней, а Одноглазый и Прилизанный собрали свои вещички и отправились под опеку индийского военно-морского флота, который должен был заменить им родителей, быть, как говорится, in loco parentis[268], пока их отец отбывал свои тридцать лет за решеткой… ПРОДАЕТСЯ Сан Суси Ибрахимов, потому что гангстеры спалили принадлежавший Исхаку Ибрахиму отель «Эмбасси» в тот самый день, когда командор Сабармати потерпел окончательное поражение, словно бы преступный мир города наказал семью адвоката за этот провал; чуть позже Измаил Ибрахим был отстранен от практики *ввиду вполне доказанных нарушений профессиональной этики* (так значилось в рапорте следственной комиссии коллегии адвокатов Бомбея); испытывая «финансовые затруднения», Ибрахимы тоже ушли из наших жизней; и, наконец, ПРОДАЕТСЯ квартира Кируса Дюбаша и его матери, ибо во время шумихи, поднятой вокруг дела Сабармати, почти никто не заметил смерти ядерщика, который подавился апельсиновыми косточками, а на Кируса излился поток материнского фанатизма, приведший в движение механизм множества откровений, о чем пойдет речь в моем следующем небольшом отрывке.

Объявления кивали друг другу в садах, которые потихоньку забывали о золотых рыбках, часе коктейлей и вторжении кошек; но кто купил эти дома? Кто стал наследником наследников имения Месволда?.. Они налетели стаей из бывшей резиденции доктора Нарликара: толстопузые ушлые тетки, еще более раздобревшие и набравшиеся ума-разума, нажившись на тетраподах (в те годы отвоевание земли у моря шло полным ходом). Женщины Нарликара купили у военно-морского флота квартиру командора Сабармати; у отбывающей госпожи Дюбаш – дом ее сына Кируса; они заплатили Би-Аппе бывшими в употреблении банкнотами; и кредиторов Ибрахима тоже ублаготворили наличные деньги Нарликара.

Мой отец единственный отказался продать свой дом; тетки предлагали ему изрядные суммы, но он лишь качал головой. Они поделились с отцом своей мечтой – снести все виллы и возвести на двухэтажном холме здание, которое вонзится в небеса всеми своими тридцатью этажами; розовый обелиск победы, гарантирующий им безоблачное будущее; Ахмед Синай, погруженный в абстракции, слышать ни о чем не хотел. Тетки сказали ему: «Когда вы останетесь один на мусорной куче, продадите за спасибо»; но он (памятуя их тетраподальное коварство) был несгибаем.

Нусси-Утенок сказала, уезжая: «Говорила я тебе, сестричка Амина: настал конец! Конец света!» На этот раз она оказалась и права, и не права – после августа 1958 года земля продолжала вращаться, но миру моего детства и в самом деле пришел конец.

Падма, был ли у тебя, когда ты была маленькой, твой собственный мир? Жестяной шар, на котором начертаны континенты, и океаны, и полярные льды? Два дешевых металлических полушария на пластмассовой подставке? Нет, конечно же, не было; а у меня был. То был мир, пестреющий ярлыками: *Атлантический океан,* и *Амазонка,* и *Тропик Козерога.* А по Северному полюсу шла надпись: ЗДЕЛАНО У АНГЛИИ. В августе кивающих объявлений и алчных женщин Нарликара этот жестяной мир рассыпался, потерял свою подставку; я взял изоленту и склеил две половинки Земли по экватору, а потом, когда желание поиграть пересилило пиетет, использовал мир как футбольный мяч. И когда бурлило дело Сабармати, когда в воздухе носилось раскаяние моей матери и разнообразные личные трагедии наследников Месволда, я громыхал своей жестяной сферой по всему имению, твердо зная, что мир един (хоть и держится на липкой ленте) и к тому же лежит у меня под ногами… пока, в день последнего эсхатологического стенания Нусси-Утенка – в тот день, когда Сонни Ибрахим перестал быть Сонни-что-живет-рядом, моя сестра Медная Мартышка не набросилась на меня с необъяснимой яростью, неистово вопя: «О, Боже мой, да перестанешь ты пинать этот шар, братец; разве тебе не *грустно* сегодня, ну хоть немножечко?» И,

268

подпрыгнув высоко-высоко, она обеими ногами приземлилась на Северный полюс – мир был смят в лепешку, втоптан в пыль нашей подъездной дороги, сплющен под ее бешеными пятами.

Кажется, отъезд Сонни Ибрахима, несносного обожателя, которого она раздела догола посреди улицы, затронул-таки Медную Мартышку несмотря на то, что она всю свою жизнь отрицала самую возможность любви.

Откровения

Ом Харе Хусро Харе Хусрованд Ом[269]

Знайте, О неверующие, что в полуночной темноте ВОЗДУШНЫХ ПРОСТРАНСТВ с незапамятных времен лежит ссрера Благословенного ХУСРОВАНДА! Даже СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНЫЕ утверждают, что ЛГАЛИ *целым поколениям,* дабы сокрыть от народа, чье *право – знать,* несомненное и ИСТИННОЕ существование СВЯЩЕННОГО ДОМА ПРАВДЫ!!! Ведущие Интеллектуалы Всего Мира, включая Америку, говорят об АНТИРЕЛИГИОЗНОМ ЗАГОВОРЕ красных, ЕВРЕЕВ и т.д. с целью скрыть эти ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ! Ныне Занавес поднимается. Благословенный ГОСПОДЬ ХУСРО грядет, и Правда его Неопровержима. Прочтите и уверуйте!

Знайте, что в ИСТИННО СУЩЕСТВУЮЩЕМ ХУСРОВАНДЕ жили Святые, и идя Путем Духовного Очищения, МЕДИТАЦИИ и т.д., достигли они во имя ВСЕОБЩЕГО БЛАГА неизмеримой силы, силы, Превосходящей Воображение! Они ВИДЕЛИ СКВОЗЬ сталь и могли ГНУТЬ ЗУБАМИ ЖЕЛЕЗНЫЕ БАЛКИ!!!

* * * СЕЙЧАС! * * *

В 1-й раз такие силы могут быть применены Вам на Пользу! ГОСПОДЬ ХУСРО

* * * ЗДЕСЬ * * *

Услышьте о Падении Хусрованда: как КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ *Бхимутха*[270] (ЧЕРНЫМ да будет его имя) устроил страшное Падение Метеоритов, (научно зафиксированное ВСЕМИ ОБСЕРВАТОРИЯМИ МИРА, но не объясненное)… столь ужасный КАМЕННЫЙ ДОЖДЬ, что Прекрасный Хусроанд был РАЗРУШЕН и его святые ПОГУБЛЕНЫ.

Но благородный *Джураэйл* и блаженная *Халила* обладали мудростью. ПРИНЕСЯ В ЖЕРТВУ САМИХ СЕБЯ, растворившись в экстазе Кундалини[271], они спасли ДУШУ их нерожденного сына ГОСПОДА ХУСРО. Слившись с Истинной Сущностью в Высшем Йогическом Трансе (чья сила ныне ПРИЗНАНА В ЦЕЛОМ МИРЕ!), они претворили свои Благородные Души в Сверкающий *Луч* КУНДАЛИНИ ЖИЗНИ СИЛЫ ЭНЕРГИИ СВЕТА, рукотворной имитацией и *Копией* которого является всем известный ЛАЗЕР. ПО ЛУЧУ Душа нерожденного Хусро летела, пронзая БЕЗДОННЫЕ ГЛУБИНЫ Небесного Пространства-Вечности, и наконец, к НАШЕМУ СЧАСТЬЮ! – явилась к нам в Дунью (Мир) и была вложена в Лоно скромной Парсийской женщины из Хорошей Семьи.

И Дитя родилось и обладало истинной Добротой и Несравненным УМОМ (ОПРОВЕРГАЯ ту ЛОЖЬ, что все мы рождаемся равными! Разве Негодяй равен Святому? КОНЕЧНО, НЕТ!!) Но какое-то Время истинная природа его была Сокрыта, пока, подражая Святой Душе с Земли в ДРАМАТИЧЕСКОМ спектакле (о котором ВЕДУЩИЕ КРИТИКИ говорили, что Чистота Исполнения Роли Превозмогла Сценический Блеф), он

269
270
271

ПРОБУДИЛСЯ и узнал, КТО ОН ТАКОВ. Ныне он взял свое Истинное Имя.

ГОСПОДЬ
ХУСРО
ХУСРОВАНИ
* БХАГВАН *

и Шествует смиренно с Пеплом на Челе Аскета, дабы исцелять Болезни и Прекращать Засуху и БОРОТЬСЯ с Легионами *Бхимутхи,* где бы они ни Явились. ИБО СТРАШИТЕСЬ! КАМЕННЫЙ ДОЖДЬ *Бхимутхи* падет и на НАС! Не слушайте ЛЖИВЫХ политиков поэтов Красных и так далее. ДОВЕРЬТЕСЬ Единственно Истинному Господу

ХУСРО ХУСРО ХУСРО
ХУСРО ХУСРО ХУСРО

и перечисляйте Средства в П/Я 555, Главный почтамт, Бомбей-1

БЛАГОСЛОВЕНИЕ!КРАСОТА!! ПРАВДА!!!

Ом Харе Хусро Харе Хусрованд Ом
–

Отец Кира Великого был ядерным физиком, а мать – религиозной фанатичкой, и вера ее, запечатанная внутри, перебродила за долгие годы подчинения господствовавшему в семье рационализму Дюбаша; и когда отец Кируса подавился апельсином, из которого его мать забыла выковырять косточки, госпожа Дюбаш приложила все силы, чтобы стереть малейший след влияния покойного мужа из личности сына и переделать Кируса по своему собственному образу и подобию; *Великий Кир, Семнадцать дыр, Лежит в тарелке, Как резаный сыр* – Кирус, гордость школы, Кирус, Жанна д'Арк в пьесе Шоу, – все эти ипостаси Кируса, к которым мы привыкли, с которыми рядом росли, ныне исчезли, и на их месте возник непомерно раздутый, чуть ли не по-коровьи безмятежный облик Господа Хусро Хусрованда. В десять лет Кирус исчез из Соборной школы, и начался блистательный путь самого богатого гуру Индии к вершине. (Существует много вариантов Индии и индийцев, и рядом с вариантом Кируса мой собственный кажется обычным, почти что светским).

Почему он пошел на такое дело? Почему афиши облепили город, рекламные объявления заполонили газеты, а незаурядный ум этого мальчика так и не дал о себе знать?.. Потому что Кирус (хотя он и просвещал нас, небескорыстно, относительно Частей Женского Тела) был послушнейшим из сыновей, и ему бы и в голову не пришло перечить матери. Ради матери он надевал нечто вроде кружевной юбочки и напяливал тюрбан; исполняя сыновний долг, позволял миллионам почитателей целовать свой мизинец. Из любви к матери он воистину стал Господом Хусро, самым знаменитым божественным ребенком в истории; прошло совсем немного времени – и его уже приветствовали стотысячные толпы, он уже совершал чудеса; американские гитаристы сидели у его ног, и все-все, кто ни являлся к нему, приносили с собой чековые книжки. Господь Хусрованд завел бухгалтерию, и счета в банке, куда капали пожертвования, не облагаемые налогом, и роскошный лайнер под названием «Звездный Корабль Хусрованда», и самолет – «Астральный полет Господа Хусро». И где-то в глубине этого божественного отрока, одаряющего толпы легкой полуулыбкой и благословением… там, куда никогда не проникала ужасающе цепкая материнская тень (ведь госпожа Дюбаш, ко всему прочему, жила в том же доме, что и женщины Нарликара – хорошо ли они были знакомы? Какая толика их внушающей трепет расторопности просочилась в нее?), таился призрак мальчика, который был моим другом.

– Тот самый Господь Хусро? – спрашивает потрясенная Падма. – Ты имеешь в виду

того самого махагуру[272], который год назад утонул в море? – Да, Падма; он не умел ходить по воде; и те немногие свидетели, с которыми я общался, клялись, что смерть его была совершенно естественной… должен признаться, что меня немного задевал за живое апофеоз Кируса. «На его месте должен быть я, – даже такие мысли приходили мне в голову: ведь это я – дитя волшебного часа; а теперь не только мое первенство в доме, но и моя истинная внутренняя природа узурпированы».

Падма, я так и не стал махагуру; миллионы приверженцев никогда не сидели у моих ног; но в появлении Господа Хусро я был сам виноват, ибо в один прекрасный день, много лет назад, я отправился послушать лекцию Кируса о Частях Тела Женщины.

– Что? – Падма в изумлении трясет головой. – Это еще что такое?

У ядерного физика Дюбаша имелась красивая мраморная статуэтка – обнаженная женщина, и с помощью этой фигурки его сын обстоятельно и со знанием дела объяснял женскую анатомию хихикающим мальчишкам. Не задаром: Кир Великий назначал плату. В обмен за урок анатомии он требовал комиксы – и я, ни о чем не подозревая, отдал ему драгоценного «Супермена», самый первый выпуск, где содержалась базовая история о том, как взорвалась планета Криптон, и отец Супермена, Джор-Эл, отправил его на космическом корабле через просторы Вселенной, и корабль достиг Земли, и ребенок был воспитан добрыми, кроткими Кентами… кто-нибудь еще читал этот комикс? Неужели за все эти годы никто так и не понял, что госпожа Дюбаш всего лишь переработала и переосмыслила самый мощный из всех современных мифов – легенду о пришествии супермена? Я смотрел на афиши, возглашавшие о пришествии Господа Хусро Хусрована Бхагвана, и вынужден был в очередной раз взять на себя ответственность за события, вершащиеся в моем бурном, баснословном мире.

Как восхищают меня мускулы ног моей внимательной Падмы! Вот она сидит на корточках в нескольких футах от моего стола, подоткнув сари на манер рыбачек Колабы. Мускулы на лодыжках ничуть не напряжены; мускулы на ляжках, выпирающих из складок сари, обнаруживают завидную выносливость. Ей хватит силы сидеть так целую вечность, опровергая законы тяготения, не боясь судорог; так она и сидит, моя Падма, и, никуда не спеша, слушает мой неторопливый рассказ; о могучая вершительница маринадов! Какая утверждающая крепость, сколь утешительный вид незыблемости в ее бицепсах и трицепсах… ибо восхищение мое простирается также и на ее руки, которыми она может завязать меня в узел, и от которых по ночам, когда она заключает меня в бесполезные объятия, нет спасения. Кризис в наших отношениях миновал, мы сосуществуем в совершенной гармонии: я рассказываю, она внимает; она мне служит, а я благосклонно принимаю ее служение. Я и в самом деле доволен неутомимой мускульной силой Падмы Мангроли – а она, вне всякого сомнения, более заинтересована во мне, нежели в моих рассказах.

Почему мне вдруг вздумалось распространяться о мускулатуре Падмы? Последние дни именно этим мускулам, а не чему-то еще – или кому-то еще (например, моему сыну, который пока не умеет читать) рассказываю я свою историю. Ибо я стремлюсь вперед с головокружительной скоростью; возможны ошибки, преувеличения, вопиющие диссонансы; я бегу наперегонки со своими трещинами, но все же осознаю, что ошибки уже сделаны и что, поскольку состояние мое ухудшается (мне уже трудно писать с прежней скоростью), опасность неправдоподобия возрастает… в такой ситуации лучше ориентироваться на мускулы Падмы. Когда ей скучно, я замечаю, как ее мышцы расслабляются, теряя интерес; когда она чему-то не вполне верит, у нее дергается щека. Танец ее мышц позволяет мне следовать намеченным путем, ибо в автобиографии, как и во всяком другом литературном жанре, важно не столько то, что случилось на самом деле, сколько то, в чем автор сумел убедить свою публику… Падма, приняв историю Кира Великого, придает мне смелости,

272

позволяет на полной скорости перейти к худшему времени моей уже одиннадцатилетней жизни (то есть, на самом деле, худшее время еще придет), а именно – к августу-и-сентябрю, когда откровения забили фонтаном не хуже крови.

Едва лишь были сняты кивающие друг другу объявления, как на холм взобрались бригады подрывников, нанятые женщинами Нарликара; виллу Букингем окутали клубы пыли от умирающих дворцов Уильяма Месволда. Скрытые завесой пыли от Уорден-роуд, лежащей внизу, мы все же были беззащитны перед телефонами, и по телефону дрожащий голос тети Пии сообщил нам о самоубийстве моего любимого дяди Ханифа. Лишившись жалованья, которое платил ему Хоми Катрак, мой дядя захватил с собой свой рокочущий голос, а также свое пристрастие к червовой масти и реальности без прикрас на крышу многоквартирного дома на Марин-драйв, где он жил, и шагнул прямо в вечерний бриз, так напугав нищих своим падением, что те перестали притворяться слепыми и с воплями разбежались… В смерти, как и в жизни, Ханиф ратовал за нелицеприятную правду и обращал в бегство иллюзию. Ему еще не исполнилось тридцати четырех лет. Насилие чревато смертью; убив Хоми Катрака, я убил и моего дядю тоже. То была моя вина; и смерти на этом не прекратились.

Вся семья собралась на вилле Букингем: из Агры приехали Адам Азиз с Достопочтенной Матушкой; из Дели явились дядя Мустафа, государственный служащий, который так отшлифовал искусство во всем соглашаться с начальниками, что те вообще перестали его слушать, почему он больше и не получал повышения; и его жена Соня, наполовину иранка, и их дети, настолько забитые и обезличенные, что я даже не помню, сколько их было; а из Пакистана прибыли полная горечи Алия и даже генерал Зульфикар с моей тетей Эмералд: последние привезли с собой двадцать семь мест багажа и двух слуг, и то и дело взглядывали на часы и спрашивали, какое сегодня число. Приехал и их сын Зафар. И, для полного счета, мать пригласила Пию пожить у нас в доме, «хотя бы на сорок дней траура, сестрица».

Все сорок дней нас донимала пыль; пыль пробивалась под мокрые полотенца, которыми мы закладывали окна; пыль исподтишка змеилась за каждым, кто приходил попрощаться с покойником; пыль просачивалась сквозь стены и парила в воздухе, словно бесформенное привидение; пыль приглушала положенные причитания, выбивала из строя горюющих родственников; остатки имения Месволда осаждались на мою бабку и доводили ее до бешенства; раздражали вздернутые ноздри генерала Зульфикара с лицом Пульчинелло[273] и заставляли его чихать прямо на свой подбородок. В призрачной дымке пыли мы, казалось, различали иногда зримые формы прошлого, мираж пущенной по ветру пианолы Лилы Сабармати или решеток с окна чердачной комнаты Токси Катрак; нагая статуэтка Дюбаша плясала, растворившись в пылинках, по нашим комнатам, а афиши боя быков, собранные Сонни Ибрахимом, влетали маленькими облачками. Женщины Нарликара выехали, уступив место бульдозерам; мы остались одни посреди пылевой бури, от которой все вокруг выглядели, как запущенная мебель, стулья и столы, на десятилетия оставленные без чехлов и скатертей; мы казались призраками самих себя. Мы были династией, рожденной из носа; из чудовища, изогнутого, как орлиный клюв, что торчало на лице Адама Азиза, и пыль, забивая нам ноздри в минуту скорби, лишала нас самообладания, разъедала те границы, которые нельзя переступать, если хочешь, чтобы твоя семья сохранилась; в вихре пыли от умирающих дворцов были сказаны такие слова, сделаны такие вещи, от которых никто из нас никогда не смог оправиться.

Началось все с Достопочтенной Матушки; ее так раздуло от прожитых лет, что она стала похожа на гору Шанкарачарьи в своем родном Шринагаре, а значит, пыли было где разгуляться. Из этого гороподобного тела исходило беспрерывное ворчание, которое нарастало лавиной; лавина же, обратившись в слова, покатилась на тетю Пию, безутешную вдову. Мы все заметили, что моя мумани ведет себя необычно. Все, не сговариваясь, решили,

273

что актриса ее класса должна была бы отлично, по первому разряду справиться с ролью вдовы; в том себе не признаваясь, ждали, что она будет горевать, как истая трагическая героиня, искусно оркеструя свои страдания, растягивая их на все сорок дней траура, во время которого бравурные и нежные ноты, вопли боли и тихое отчаяние будут сочетаться в пропорциях, заданных правилами сценического искусства, но Пия сидела неподвижно, с сухими глазами, не разыгрывая никаких драм. Амина Синай и Эмералд Зульфикар плакали и рвали на себе волосы, стараясь пробудить к жизни сценический талант Пии, и когда, наконец стало ясно, что все попытки растрогать сердце вдовы ни к чему не ведут, Достопочтенная Матушка потеряла терпение. Ее бешенство, ее горькое разочарование еще усилились от въевшейся пыли. «Эта женщина, как-его, – пророкотала Достопочтенная Матушка, – разве не предупреждала я вас насчет нее? О, Аллах, мой сын мог стать кем угодно, так нет же, как-его, она разбила ему жизнь; он спрыгнул с крыши, как-его, только чтобы от нее отделаться».

Слова были сказаны, их уже нельзя было взять назад. Пия застыла, будто каменная, а у меня все нутро затряслось, словно кукурузный пудинг. А Достопочтенная Матушка продолжала с мрачным, решительным видом; она дала обет, поклявшись волосами с головы своего погибшего сына. «Пока эта женщина не почтит, как-его, должным образом память моего сына, пока она не выдавит из себя слез, приличествующих вдове, уста мои не отведают пищи. Это стыд и срам, как-его, когда она сидит с сурьмою на глазах вместо потоков слез!» По всему дому отдались эти отголоски ее старинных войн с Адамом Азизом. И до двадцатого дня мы боялись, что бабка умрет от голода, и сорокадневный траур начнется снова. Она лежала у себя на постели, припорошенная пылью; мы ждали, трепеща от страха.

Из тупика, в который угодили мои бабка и тетя, помог выйти я, и могу законно претендовать на то, что спас хотя бы одну жизнь. На двадцатый день я зашел к Пие Азиз, которая сидела у себя в комнате на первом этаже, уставившись в стену невидящим взглядом; чтобы как-то оправдать свой приход, я начал неуклюже извиняться за свое непристойное поведение в квартире на Марин-драйв. Пия заговорила после долгого молчания, словно возвращаясь откуда-то издалека: «Вечная мелодрама, – сказала она ровным голосом. – В семье, в кино. Он умер оттого, что ненавидел мелодраму. Поэтому я и не плачу». Тогда я ничего не понял, а сегодня уверен, что Пия Азиз была совершенно права. Отвергнув дешевые трюки бомбейского кино и тем самым лишившись средств к существованию, мой дядя перешагнул через край крыши; мелодрама вдохновила (а может, и запятнала) его последний прыжок к земле. Пия отказывалась плакать, отдавая дань его памяти… но признаться в этом стоило ей усилия, которое и разрушило стены самообладания. Пия чихнула от пыли, от чиха появились слезы на глазах, и теперь текли без остановки, и мы могли лицезреть долгожданное представление, ибо, начав литься, они, эти слезы, струились, как фонтан Флоры, и Пия не могла уже противиться своему призванию: она, артистка, придала потоку нужную форму, ввела основные темы и дополнительные мотивы, била себя в грудь, сама себе не веря, но так, что и вправду больно было смотреть, то сдавливая свои перси, то колотя кулаками… рвала на себе одежду и волосы. То была буря, ливень слез, и Достопочтенная Матушка согласилась поесть. Дал[274]и фисташки ввергались в бабкину утробу, а соленая водица извергалась из теткиных глаз. Теперь и Назим Азиз снизошла до Пии, обняла ее, обратила соло в дуэт, добавила мелодию примирения к невыносимо прекрасной музыке скорби. Ладони наши так и чесались, хотя аплодисменты были бы явно не к месту. Но лучшее было впереди, потому что Пия, великая артистка, вела свое действо к кульминации. Положив голову на колени свекрови, она рекла покорно и кротко: «Мама, позвольте недостойной дочери наконец-то выслушать вас; скажите, что мне делать, и я все исполню». И Достопочтенная Матушка, со слезами: «Дочка, мы с твоим отцом Азизом вскоре отправимся в Равалпинди; на старости лет мы хотели бы жить рядом с младшей, с Эмералд. Поезжай с нами, и мы купим тебе бензоколонку». Так мечта Достопочтенной Матушки начала воплощаться в реальность, а Пия Азиз согласилась покинуть кино ради

274

бензина и масел. Думаю, дядя Ханиф одобрил бы это.

Пыль досаждала нам всем в эти сорок дней; Ахмед Синай стал грубым и сварливым; он избегал общества родичей жены и передавал скорбящему семейству послания через Алис Перейру, а иногда и вопил во всю глотку из своего офиса: «Да прекратите вы этот гвалт! Я ведь еще и работаю посреди вашей свистопляски!» Потому-то генерал Зульфикар и Эмералд постоянно изучали то календарь, то расписание авиалиний, а их сын Зафар хвалился перед Медной Мартышкой, что почти уже выпросил у отца разрешение жениться на ней. «Считай, что тебе повезло, – говорил этот наглый кузен моей сестрице. – Мой отец в Пакистане большой человек». Но хотя Зафар и унаследовал внешность своего отца, пыль, наверное, притушила Мартышкин пламенный дух, и драться она не стала. Между тем тетушка Алия водрузила в нашем плотном воздухе свое и без того насквозь пропыленное разочарование, а самые нелепые из моих родственников, дядя Мустафа с семьею, сидели и дулись по углам, и о них, как всегда, все забывали; усы Мустафы Азиза, по приезде как следует нафабренные и загнутые вверх, уже давно обвисли, пропитанные пылью.

И тогда, на двадцать второй день траура, мой дед Адам Азиз увидел Бога.

В том году ему исполнилось шестьдесят восемь – он был всего на десять лет старше века. Но шестнадцать лет, прожитых без оптимизма, легли на него тяжелым грузом: глаза еще были голубыми, но спина согнулась. Шаркая по вилле Букингем в вышитой скуфейке и длинном, до пят, кафтане, покрытом тонкою пленкою пыли, он рассеянно жевал сырую морковь и пускал тонкие струйки слюны на заросший седой щетиной подбородок. Он дряхлел, а Достопочтенная Матушка становилась все шире и крепче; когда-то она жалостно причитала при виде меркурий-хрома, а теперь, казалось, взрастала, как на дрожжах, на его слабости, будто бы брак их был одним из тех мифических союзов, когда суккубы[275] являются мужчинам в облике невинных дев, а потом, заманив их в супружескую постель, обретают свой подлинный ужасный вид и начинают пожирать их души… у моей бабки в те дни выросли усы, почти такие же пышные, как и пропитанные пылью, обвисшие кисти над верхней губой ее единственного оставшегося в живых сына. Она сидела, скрестив ноги, у себя на кровати, мазала губу какой-то таинственной жидкостью, которая накрепко склеивала волоски, а затем отдирала их резким движением сильных пальцев; но от этого средства усы вырастали еще гуще.

«Он и так уже стал ровно дитя малое, – толковала Достопочтенная Матушка детям моего деда, – а Ханиф его совсем доконал. – Она всех нас предупредила, что деду стали являться видения. – Он говорит с людьми, которых нет, – делилась она с нами громким шепотом, пока дед шаркал через комнату, цыркая зубами. – Зовет их, как-его! Среди ночи! – Передразнивала: – Эй, Таи? Это ты? – Бабка и рассказала нам, детям, о лодочнике, о Жужжащей Птичке и о рани Куч Нахин: – Бедняга зажился, как-его, на этом свете; негоже отцу видеть смерть сына…» И Амина слушала и сочувственно кивала, не зная, что Адам Азиз оставит ей это наследство – и она тоже в свои последние дни вновь увидит вещи, которым ни к чему было возвращаться.

Из-за пыли мы не включали вентиляторы; пот струился по лицу моего полоумного деда и оставлял полоски грязи на его щеках. Иногда дед хватал за грудки любого, кто попадался под руку, и заговаривал вроде бы вполне здраво: «Эти Неру не успокоятся, пока не станут династией!» Или, брызгая слюной в лицо пятящегося генерала Зульфикара: «О несчастный Пакистан! До чего довели эту страну ее лидеры!» Но иногда он будто бы переносился в ювелирную лавку и бормотал: «Да, там где-то были изумруды и рубины…» Мартышка однажды шепнула мне: «Дед скоро помрет, да?»

Что просочилось в меня от Адама Азиза: беззащитность перед женщинами, но также и ее причина, дыра в самой середке, произошедшая оттого, что он (как и я) не мог ни верить в Бога, ни отрицать Его. И что-то еще – я, в свои одиннадцать лет, заметил это раньше других.

275

Дед начал трескаться.

– С головы? – спрашивает Падма. – Ты имеешь в виду, у него треснула черепушка?

Лодочник Таи сказал: «Лед, Адам-баба, всегда дожидается под самой кожицей воды». Я увидел трещины в его глазах – тонкий рисунок из бесцветных линий по голубому фону; я увидел, как сеть расщелин расходится под его ссохшейся кожей; и я ответил на вопрос Мартышки: «Да, думаю, помрет». Перед самым концом сорокадневного траура кожа у деда стала трескаться, шелушиться и облезать; за едой он едва мог открыть рот, так посеклись губы; а зубы падали, как осенние мухи. Но смерть от трещин может быть медленной, и прошло немало времени, прежде чем мы узнали о других расселинах, о болезни, которая вгрызалась деду в кости, так что в конце концов скелет его обратился в пыль внутри поношенного, видавшего виды мешка из кожи.

Падма вдруг впадает в панику. «Что ты такое говоришь? Ты, господин, хочешь сказать, что и у тебя… да что же это такое, без имени-прозвания, может глодать человеку *кости?* Это…»

Теперь не время останавливаться, не время для сочувствия или паники, я и так уже зашел дальше, чем хотел. Вернувшись немного назад во времени, я должен упомянуть, что и в Адама Азиза просочилось нечто от меня; ибо на тридцать третий день траура он попросил всю семью собраться в той же самой комнате с хрустальными вазами (их больше не надо было прятать от дяди), подушками и выключенным вентилятором; в той же комнате, где я объявил о моих голосах… ведь сказала же Достопочтенная Матушка: «Он стал ровно дитя малое». Как дитя (как я), дед объявил, что через три недели после того, как он услышал о смерти сына, которого считал живым и здоровым, он собственными глазами увидел Бога, в чье небытие старался всю жизнь уверовать. И, как и мне (ребенку), ему никто не поверил. Кроме одного человека… «Да послушайте же, – говорил дед, и голос его звучал жалким подобием прежнего, громового. – Да, рани? Вы здесь? И Абдулла? Входи, садись, Надир, у меня новости… а где же Ахмед? Алия так соскучилась… Бог, дети мои, Бог, с которым я боролся всю мою жизнь… Оскар? Ильзе? – Нет, конечно же, нет. Я знаю, что они умерли. Вы полагаете, я стар и, может быть, выжил из ума; но я видел Бога». И вся история медленно, бессвязно и с отступлениями, слово за слово, вышла наружу: в полночь мой дед проснулся в своей темной комнате. Кто-то еще был рядом – кто-то, кроме жены. Достопочтенная Матушка храпела в своей постели. Но кто-то был; кто-то, покрытый сверкающей пылью, освещенный заходящей луной. И Адам Азиз: «Эй, Таи? Это ты?» И Достопочтенная Матушка бормочет сквозь сон: «Да спи уже, муженек, забудь о нем…» Но кто-то что-то вскрикивает громким, изумительно громким (и изумленным?) голосом: «Иисус Христос Всемогущий!» – и мой дед смотрит и видит: да, на руках дыры, и ноги пробуравлены, как когда-то на… Но он протирает глаза, трясет головой, переспрашивает: «Что ты сказал? Кого ты назвал? Кто это?» И видение, изумительно-изумленное: «Бог! Бог!» И, помолчав немного: «Я не думал, что ты сможешь меня увидеть».

– Но я его видел, – говорит мой дед, сидя под неподвижным вентилятором. – Да, я не могу этого отрицать, я в самом деле видел его… – И видение сказало: «Ты – тот самый человек, у которого умер сын» – и мой дед с болью в груди: «Почему? Почему это случилось?» И создание, видимое лишь потому, что на него осела пыль, изрекло: «Бог знает, что делает, старик; такова воля Его, не так ли?»

Достопочтенная Матушка отправила нас всех прочь. «Старик сам не знает, что мелет, как-его. Дожить до таких седин и начать богохульствовать!» Но Мари Перейра покинула комнату с лицом белым, как простыня; Мари знала, кого увидел Адам Азиз – кто, неся бремя ее преступления, начал осыпаться; у кого появились дыры на руках и ногах; чьи пяты насквозь прокусила змея; кто умер в соседней часовой башне и кого приняли за Бога.

Лучше мне закончить историю моего деда здесь и сейчас; я зашел слишком далеко, а позже такой возможности, того гляди, не представится… где-то в глубинах дедова стариковского слабоумия, которое неизбежно напоминает мне помешательство профессора Шапстекера с верхнего этажа, укоренилась полная горечи идея: якобы Бог, столь

бесцеремонно отозвавшись о самоубийстве Ханифа, дал понять, что сам и виноват в случившемся; Адам хватал генерала Зульфикара за лацканы мундира и шептал ему: «Я никогда не верил в Него, и Он украл у меня сына!» И Зульфикар: «Нет, нет, доктор-сахиб, не надо так волноваться…» Но Адам Азиз не забыл своего видения; конкретный облик божества, явившегося ему, стерся из памяти, однако осталась страстная, старчески многоречивая и слюнявая жажда мести (и этот порок тоже присущ нам обоим)… когда закончился сорокадневный траур, он отказался ехать в Пакистан, ибо эту страну создали специально для Бога; и все оставшиеся годы своей жизни он то и дело бесчестил себя, ковыляя со своим старческим посохом по мечетям и храмам, выкрикивая проклятия и колотя всех прихожан и служителей, какие только попадались под руку. В Агре его терпели, памятуя, каким он был когда-то; старики на Корнуолис-роуд подле лавки, где торгуют паном, играли в «плюнь-попади» и сочувственно вспоминали былого доктора-сахиба. Достопочтенная Матушка вынуждена была уступить хотя бы потому, что богоборческое слабоумие Адама вызвало бы скандал в любом другом месте, где его не знали.

Под покровом безрассудства и ярости трещины продолжали расти; болезнь упорно вгрызалась в кости, а ненависть снедала все остальное. Но умер он только в 1964 году. Случилось это так: в среду, 25 декабря 1963 года – в Рождество! – Достопочтенная Матушка проснулась и обнаружила, что мужа нет. Она вышла во двор своего дома, полный шипящих гусей и блеклых теней рассвета, и позвала служанку; тут она и услыхала, что доктор-сахиб взял рикшу и отправился на вокзал. Когда она сама туда явилась, поезд уже ушел; так мой дед, следуя какому-то неведомому импульсу, начал свое последнее странствие, чтобы закончить свою историю там, где она, эта история (и моя тоже) началась, – в городе, окруженном горами и стоящем на озере.

Долина лежала, скрытая под яичной скорлупою льда; годы сомкнулись, *как голодные челюсти, вокруг приозерного городка…* зима в Сринагаре, зима в Кашмире. В пятницу 27 декабря человека, по описанию похожего на деда, в длинном кафтане, бормочущего, видели неподалеку от мечети Хазрат-Бал[276]. В субботу, в четыре сорок пять утра, Хаджи Мухаммад Халил Гханаи обнаружил, что из внутреннего святилища мечети пропала реликвия, самая драгоценная в долине: священный волос Пророка Мухаммада.

Он это сделал? Или не он? Если он, то почему не вошел в мечеть с посохом в руке и не начал по своему обыкновению гвоздить правоверных? А если не он, то кто и зачем? Поползли слухи о заговоре Центрального правительства с целью «деморализовать кашмирских мусульман», выкрав этот их священный волосок; им противоречили другие: реликвию-де стянули пакистанские провокаторы, чтобы посеять волнения… так ли это было?

Или нет? Имел ли этот странный инцидент чисто политическую природу или то была предпоследняя попытка отца, потерявшего сына, отомстить Богу? Целых десять дней в мусульманских домах не варили пищу; отмечались мятежи и поджоги машин; но мой дед уже был вне любой политики, и непохоже, чтобы он участвовал в какой-либо процессии. Ему оставалась в жизни одна цель; известно, что 1 января 1964 года (в среду, ровно через неделю после отъезда из Агры) он встал лицом к горе, которую мусульмане ошибочно называют Тахт-э-Сулейман – Престол Соломона; на вершине ее виднелась радиовышка, но кроме нее – еще и черный волдырь храма Шанкарачарьи. Не зная ничего об отчаянии, охватившем город, дед начал подниматься; а трещины внутри него прилежно вгрызались в кости. Его никто не узнал.

Доктор Адам Азиз *(вернувшийся из Гейдельберга)* умер за пять дней до того, как правительство объявило, что усиленные поиски волоска с головы Пророка увенчались успехом. Когда люди самой святой жизни, какие только нашлись в государстве, собрались, чтобы засвидетельствовать подлинность волоска, мой дед уже не мог сказать им правду. (А если они ошибались… но я не в силах ответить на вопросы, которые сам поставил). За это

276

преступление был арестован – и позже отпущен по состоянию здоровья – некий Абдул Рахим Банде; но, будь жив мой дед, он, возможно, пролил бы другой, более причудливый свет на это дело… В полдень первого января Адам Азиз добрался до храма Шанкарачарьи. Видели, как он поднял свой посох; женщины, совершавшие обряд «пуджа» у лингама Шивы, отпрянули в страхе – так же отпрянули другие женщины, убоявшись гнева другого, помешанного на тетраподах, доктора; и тут трещины воззвали к нему; ноги его подкосились, кости рассыпались; а когда он упал, то и весь скелет непоправимо разбился на мелкие части. Его опознали по бумагам, которые нашлись в кармане длинного, до пят, кафтана: фотография сына и неоконченное (но, к счастью, правильно адресованное) письмо жене. Тело доктора, слишком хрупкое, чтобы его перевозить, было погребено в той долине, где он родился.

Я смотрю на Падму; ее мускулы начинают подергиваться, приходят в смятение. «Ну подумай хорошенько, – говорю я. – Разве то, что случилось с моим дедом, так уж необычно? Взять хотя бы священный переполох вокруг покражи волоска; уж тут ничего ни прибавить ни убавить, а по сравнению с такой историей смерть старика – абсолютно нормальное явление». Падма успокаивается; ее мускулы позволяют мне двинуться дальше. Ибо я слишком много времени потратил на Адама Азиза; возможно, я боюсь того, что последует; но откровение пропустить нельзя.

Еще один, последний факт: после смерти моего деда премьер-министр Джавахарлал Неру заболел и слег, чтобы больше не вставать. Роковой недуг покончил с ним 27 мая 1964 года.

Если бы я не строил из себя героя, мистер Загалло не вырвал бы мне волосы. Если бы волосы мои остались на месте, Зобатый Кит и Жирный Пирс не принялись бы меня дразнить; Маша Миович не стала бы подначивать меня, и я не потерял бы палец. Из пальца хлынула кровь, ни-Альфа-ни-Омега, и отправила меня в изгнание; в изгнании меня обуяла жажда мести, которая привела к убийству Хоми Катрака; если бы Хоми не погиб, мой дядя, может быть, не шагнул бы с крыши навстречу морскому бризу; тогда мой дед не поехал бы в Кашмир, и кости его не сломались бы, не выдержав подъема на гору Шанкарачарьи. Мой дед был родоначальником семьи, моя судьба самим днем моего рождения была связана с судьбою нации; а отцом нации являлся Неру. Могу ли я избежать вывода, что и в смерти Неру виноват я?

Но теперь мы вернемся обратно в 1958 год, потому что на тридцать седьмой день траура та истина, которая незаметно подкрадывалась к Мари Перейре – а значит, и ко мне целых одиннадцать лет, – вышла наконец наружу; истина в облике дряхлого старика, чей адский смрад достиг даже моего вечно заложенного носа; без пальцев на руках и ногах, весь покрытый волдырями и язвами, он поднялся на наш двухэтажный холм и явился в облаке пыли перед Мари Перейрой, которая чистила жалюзи на веранде.

Вот он, вот кошмар Мари, воплотившийся в явь; вот видимый сквозь завесу пыли призрак Джо Д’Косты шествует к офису Ахмеда Синая на первом этаже! Мало было того, что он показался Адаму Азизу… «Арре, Жозеф, – вскричала Мари, выронив тряпку, – уходи сейчас же! Не броди здесь! Не беспокой сахибов своими глупостями! О, Боже мой, Жозеф, уходи, уходи же, ты меня сегодня совсем доконаешь!» Но призрак продолжал шествовать по дорожке.

Мари Перейра, бросив жалюзи, которые повисли сикось-накось, стремглав летит в дом, бросается к ногам моей матери – маленькие пухлые ручки умоляюще сложены: «Бегам-сахиба! Бегам-сахиба, простите меня!» И моя мать, ошеломленная: «Что такое, Мари? Что с тобой стряслось?» Но Мари ничего не слышит, слезы льются ручьем, и сквозь рыданья: «О Боже, пробил мой час, дорогая госпожа; только отпустите меня с миром, не отправляйте в тюрьму, в хана!» И далее: «Одиннадцать лет, моя госпожа, разве я не любила вас всех, о моя госпожа, и этот ребеночек, месяц мой ясный; но теперь я совсем убита, я скверная женщина,

я буду гореть в аду! *Фантуш!* – рыдает Мари, снова и снова: – Я конченая женщина, *фантуш!»*

Я все еще не понимал, что происходит, даже когда Мари кинулась ко мне (я уже ее перерос; ее слезы текли по моей шее): «О, баба?, баба?, сегодня ты узнаешь, что я наделала; иди же ко мне, – и маленькая женщина выпрямилась с удивительным достоинством. – Я расскажу вам сама, прежде чем это сделает Жозеф. Бегам, дети, и вы, большие господа и дамы, пойдемте сейчас к сахибу в офис, и я все расскажу».

Публичные оглашения красной нитью прошли через всю мою жизнь; Амина в делийском переулке и Мари в полутемном офисе… вся семья, охваченная изумлением, сбившись в стадо, двигалась за нами, а Мари вела меня вниз по лестнице, не выпуская моей руки.

Что это там, в комнате, вместе с Ахмедом Синаем? Что прогнало и джиннов, и жажду наживы с отцовского лица; отчего появилось на нем выражение безысходного отчаяния? Что это распласталось в углу неопрятной кучей, наполняя воздух сернистой вонью? Что это за подобие человека, без пальцев на руках и ногах; чье лицо, словно бурлит и вскипает, как горячие источники Новой Зеландии (их я видел в «*Чудесной книге чудес»)?..* Некогда объяснять, потому что Мари Перейра уже заговорила, выбалтывая тайну, которая хранилась одиннадцать лет с лишком, извлекая всех нас из мира иллюзии, который сама же и создала в тот миг, когда поменяла ярлычки с именами, силой ввергая нас в царство ужасной истины. И все это время она не отпускала меня; как мать, охраняющая свое дитя, она защищала меня от моей семьи (которая узнавала… что я… что они не…)

…Дело было сразу после полуночи, на улицах фейерверки и толпы, рев многоголового чудища, я это сделала ради моего Жозефа, сахиб, только, пожалуйста, не отправляйте меня в тюрьму, посмотрите на мальчика, он хороший мальчик, сахиб, я бедная женщина, сахиб, один раз я ошиблась, на одну минуточку за столько-столько лет, только не в тюрьму, не в хана, сахиб, я уйду, одиннадцать лет я отдала, но теперь уйду, сахиб, только он хороший мальчик, сахиб, не отсылайте его, сахиб, после одиннадцати лет он уже ваш сын… О, мальчик мой, солнышко мое, о, Салем, месяц мой ясный, ты должен знать, что отцом твоим был Уинки, а мать твоя умерла…

Мари Перейра выбежала из комнаты.

Ахмед Синай сказал далеким, каким-то птичьим голосом: «Там, в углу, мой старый слуга Муса, который когда-то пытался меня обокрасть».

(Может ли какое-либо повествование выдержать столько чудес за такое короткое время? Я бросаю взгляд на Падму; та разинула рот, будто рыба на песке).

Жил да был когда-то слуга, обокравший своего господина, и поклялся он, что неповинен в краже, и сказал: «Да поразит меня проказа, если я лгу». И выяснилось, что он лгал. И был он с позором выгнан, но я говорил вам, что Муса – это бомба с часовым механизмом, и вот он вернулся, и раздался взрыв. Муса и в самом деле заразился проказой и вернулся из молчания всех этих лет, дабы умолять моего отца о прощении, дабы снять с себя свое собственное, им самим накликанное проклятие.

…Кого-то назвали Богом, хотя он вовсе Богом и не был; кого-то еще приняли за призрака, а он не был призраком; а кто-то третий обнаружил, что, хотя его и зовут Салем Синай, он вовсе не сын своих родителей…

– Я тебя прощаю, – сказал Ахмед Синай прокаженному. После этого дня Ахмед излечился от одного из своих наваждений; он больше никогда не пытался припомнить собственное (и совершенно вымышленное) фамильное проклятие.

– Я не мог рассказать об этом по-другому, – говорю я Падме. – Слишком мучительно; я должен был выпалить все единым духом, все эти безумные речи так, как есть.

– О, господин, – ревет Падма, не находя слов. – О, господин, господин.

– Да ладно тебе, – говорю я. – Это старая история.

Но слезы Падмы не обо мне; на время она забыла о

том-что-вгрызается-в-кости-под-кожей; Падма плачет о Мари Перейре, к которой, как я уже говорил, она питает особую слабость.

– И что же случилось с ней? – спрашивает Падма с красными глазами. – С этой Мари?

Меня охватывает неизъяснимый гнев. Я ору: «Сама у нее спроси!»

Спроси у нее, как отправилась она домой, в город Панджим в Гоа, как рассказала престарелой матери о своем позоре! Спроси, как мать ее обезумела от стыда (что было вполне уместно, ибо в то время все старики посходили с ума!) Спроси, кинулись ли дочь и старая мать бродить по улицам в поисках прощения? И не случилось ли это как раз в тот день, который бывает раз в десять лет, когда мощи святого Франциска Ксаверия[277](столь же священная реликвия, как и волос Пророка) вынимают из раки в соборе Бом Жезу и проносят по городу? И не оказались ли Мари и старая, потерявшая разум миссис Перейра прижаты к катафалку; не была ли старая леди вне себя от горя из-за дочкиного преступления? И не подобралась ли старая миссис Перейра, вопя: «Хай! Ай-хай! Ай-хай-хай!» – к самому гробу, чтобы поцеловать ногу Святых Мощей? И не объяло ли ее среди неисчислимых толп священное неистовство? Спроси! Было ли так, что, повинуясь дикому своему порыву, она обхватила губами большой палец на левой ноге святого Франциска? Сама спроси: верно ли, что матушка Мари Перейры *откусила святому большой палец?*

– Как это? – воет Падма, убоявшись моего гнева. – Как это – *сама спроси?*

…И это тоже правда: разве газетчики все выдумали, когда сообщили о том, как на старую леди обрушилась Божья кара; когда приводили церковные источники и свидетельства очевидцев, в которых описывалось, как старуха превратилась в твердый камень? Не веришь? Сама спроси у нее, правда ли, что святые отцы возили каменную фигуру старухи по городам и весям Гоа, дабы показать, какое наказание ожидает тех, кто непочтителен к святым? Спроси: не видали ли эту фигуру одновременно в нескольких деревнях, и что это было – доказательство обмана или очередное чудо?

– Ведь знаешь, что спросить не у кого, – завывает Падма… – но я, чувствуя, что ярость моя утихает, не хочу больше никаких откровений: для одной ночи хватит.

Итак, если без прикрас: Мари Перейра нас покинула и уехала к матери в Гоа. Но Алис Перейра осталась; Алис сидела с Ахмедом Синаем в офисе, и печатала на машинке, и приносила закуски и шипучие напитки.

Передвижения перечниц

Я был вынужден прийти к выводу, что Шива, мой соперник, мой брат-подменыш, не должен больше допускаться на форум, происходящий в моем уме; по причинам, должен признаться, низменного порядка. Он, я боялся, обнаружит то, что мне определенно не удастся от него скрыть – тайну нашего рождения. Шива, для которого мир заключался в вещах, для которого история объяснялась лишь беспрестанной борьбой одного-против-всех, стал бы, несомненно, отстаивать право своего рождения; ужасаясь одной мысли о том, что мой антагонист с узловатыми коленками заменит меня в голубой спаленке моего детства, а я волей-неволей угрюмо сойду с двухэтажного холма и побреду в северные трущобы; отказываясь признать, что пророчество Рамрама Сетха предназначалось сыну Уинки; что это Шиве, а не мне писал премьер-министр; Шиве рыбак указывал на далекое море… короче, придавая больше значения моему одиннадцатилетнему сыновнему стажу, чем кровному родству, я решил, что мой склонный к разрушению и насилию двойник никогда больше не станет участвовать во все более беспокойных и бурных заседаниях Конференции Полуночных Детей; что я буду хранить свой секрет – бывший секрет Мари – пуще жизни.

В тот период бывали ночи, когда я вообще не собирал конференцию – и не из-за того малоудовлетворительного оборота, который она приняла, а просто потому, что знал: нужно, чтобы прошло время и остыла кровь, и тогда я смогу заключить свое новое знание в пределы,

277

недосягаемые для детей; я даже был уверен, что у меня это получится… но Шивы я боялся. Самый яростный и могучий из детей, он мог проникнуть туда, куда другим не было ходу… Так или иначе, я начал избегать своих собратьев-детей, а потом вдруг стало уже слишком поздно, потому что, изгнав Шиву, я сам неожиданно и стремительно был отправлен в изгнание, откуда не мог больше поддерживать связь с пятью с лишком сотнями коллег: меня через воздвигнутую Разделом границу забросили в Пакистан.

К концу сентября 1958 года траур по моему дяде Ханифу Азизу завершился; и, словно по волшебству, пыльное облако, окутавшее нас, прибил к земле благословенный ливень. Вымывшись, надев свежевыстиранные вещи, включив вентиляторы, мы вышли из ванных комнат преисполненные, пусть на короткое время, иллюзорного оптимизма чистых, пахнущих мылом людей; и обнаружили пыльного, немытого Ахмеда Синая: с бутылкой виски в руке, с глазами, налитыми кровью, он поднимался, покачиваясь, из своего офиса, влекомый безумными джиннами. Он сражался, в своем отвлеченном мире, с немыслимой правдой, которую обрушили на него откровения Мари; и, воспринимая все через искажающую призму алкоголя, поддался неописуемому гневу, который был направлен не в удаляющуюся спину Мари, не на подменыша, затесавшегося в семью, а на мою мать – то есть, я должен был бы сказать, на Амину Синай. Возможно, зная, что следует попросить у нее прощения, но не желая этого делать, Ахмед поносил жену час за часом в присутствии ее остолбеневшей родни; я не стану повторять, как он ее называл и чем именно предлагал теперь заняться. Но в конце концов вмешалась Достопочтенная Матушка.

– Однажды, дочь моя, – изрекла она, не обращая внимания на непрекращающуюся ругань Ахмеда, – мы с твоим отцом, как-его, сказали тебе, что нет стыда в том, чтобы оставить недостойного мужа. И теперь я повторю: ты живешь, как-его, с человеком несказанной низости. Уходи от него; уходи прямо сейчас и забирай детей, как-его, чтобы они не слышали брани, которую он изрыгает из своих уст, словно грязная тварь из, как-его, сточной канавы. Забирай, говорю, детей, как-его – *обоих* твоих детей, – заключила она, прижимая меня к груди. Раз Достопочтенная Матушка меня узаконила, никто не осмелился перечить ей; теперь, когда прошло уже столько лет, мне кажется, что даже моего проклинающего всех и вся отца впечатлило то, как она заступилась за одиннадцатилетнего сопливого мальчишку.

Достопочтенная Матушка устроила все; моя мать была как воск – как глина горшечника! – в ее могучих руках. В то время моя бабка (я все же буду называть ее так) еще думала, что они с Адамом Азизом вот-вот эмигрируют в Пакистан; и она велела тетке Эмералд забрать всех нас – Амину, Мартышку, меня, даже тетю Пию – и ждать ее приезда. «Сестры должны помогать друг другу, как-его, – заявила Достопочтенная Матушка, – в тяжелую минуту». Моя тетка Эмералд была до крайности недовольна, однако и она, и генерал Зульфикар подчинились. И поскольку мой отец так обезумел, что мы стали бояться за свою безопасность, а Зульфикары уже заказали билеты на пароход, отплывавший тем же вечером, я сей же час, без промедления, покинул дом, в котором провел всю свою жизнь, а Ахмед Синай остался один-одинешенек с Алис Перейрой, ибо, когда моя мать покинула своего второго мужа, все прочие слуги тоже ушли.

В Пакистане закончился второй период моего бурного роста. И в Пакистане я обнаружил, что само наличие границы как-то «глушит» мои мысленные передачи пяти-с-лишним-сотням; так что, вторично потеряв дом, я потерял и дар, принадлежавший мне по праву рождения: дар полуночных детей.

Мы стояли на якоре подле княжества Кач удушающе жарким днем. От жары звенело в моем глухом левом ухе, но я все же оставался на палубе, глядя, как маленькие, отчего-то зловещие лодочки и рыбацкие дау снуют между нашим пароходом и берегом, перевозя нечто, скрытое под брезентом, туда и обратно, туда и обратно. Под палубами, внизу, взрослые играли в карты; где была Мартышка, я понятия не имел. Я впервые плыл на настоящем корабле (экскурсии на американские военные суда, стоявшие в Бомбейском порту, не в счет,

ибо то был чистый туризм; да еще смущало общество десятками сбегавшихся туда женщин на сносях, которые участвовали во всех подобных экскурсиях, надеясь, что роды начнутся прямо на корабле, ибо дети, появившиеся на свет в нейтральных водах, получают право на американское гражданство). Я вглядывался в берег сквозь марево зноя. Княжество Кач… Название это таило для меня какое-то волшебство, я и боялся, и жаждал посетить это место, этот берег-хамелеон, который полгода – суша, а полгода – море; на котором, по слухам, отступающий океан оставляет совершенно баснословные вещи, например, сундуки с сокровищами, белых, призрачных медуз и даже иногда разевающую рот русалку из причудливой сказочки. Глядя впервые на эти земноводные просторы, на эту трясину кошмаров, я должен был бы испытывать волнение; но жара и недавние события тяготили меня; из носу у меня, как у малого ребенка, все еще текли сопли, но грудь мою сжимала тоска: я чувствовал, что перехожу из затянувшегося, слюнявого детства сразу же к преждевременной (и тоже чреватой истечениями) старости. Голос мой огрубел; мне пришлось уже начать бриться, и лицо мое было заляпано кровью там, где лезвие срезало головки прыщей… Корабельный интендант, проходя мимо, сказал мне: «Шел бы ты лучше вниз, сынок. Сейчас самое пекло». Я спросил, что это за лодчонки снуют туда-сюда. «Припасы подвозят», – ответил он и отошел, оставив меня наедине с моим будущим, а в нем особо не на что было рассчитывать, кроме скрепя сердце предоставленного гостеприимства генерала Зульфикара, самодовольного кривлянья тетки Эмералд, которая, несомненно, станет кичиться своими светскими успехами и своим положением перед невезучей сестрой и овдовевшей золовкой; да еще тупого нахальства их сынка Зафара… «Пакистан, – произнес я вслух. – Чертова дыра!» А ведь мы еще даже не приехали… Я глядел на лодки; их, казалось, заволокло колеблющееся марево. Да и палуба вдруг начала бешено раскачиваться, хотя ветра практически не было; я попытался уцепиться за поручень, но доски поднимались слишком быстро: они встали дыбом и стукнули меня по носу.

Так я и приехал в Пакистан – перенеся легкий солнечный удар, с пустыми руками и знанием всех обстоятельств своего рождения; а как, по-вашему, назывался корабль? Какие два парохода-близнеца курсировали между Бомбеем и Карачи, пока политики не положили конец их рейсам? Один назывался «*Сабармати»;* другой, попавшийся нам навстречу как раз перед заходом в порт Карачи, – «*Сарасвати».* Мы плыли в изгнание на пароходе-тезке командора, и это еще раз доказывало, что от совпадений никуда не деться.

В Равалпинди мы прибыли на душном, пропыленном поезде. (Генерал и Эмералд ехали в вагоне с кондиционером, а всем остальным купили обычные билеты первого класса). Но в Пинди было уже холодно; я впервые вступил в северный город… Помню, он лежал в низине, казался каким-то безликим: казармы, фруктовые лавки, фабрика спортивного инвентаря; на улицах – мужчины с военной выправкой, джипы; мастерские краснодеревщиков; площадки для поло. В этом городе можно очень, очень сильно замерзнуть. А в новом дорогом жилом квартале – просторный дом, окруженный высокой стеной с колючей проволокой наверху и охраняемый часовыми, дом генерала Зульфикара. Ванна находилась рядом с супружеской постелью, в которой спал генерал; в семье все делалось под девизом: «Надо быть собранным!»; прислуга носила зеленую военную форму и береты; по вечерам запахи гашиша и анаши доносились из казарм. Мебель в доме была дорогая и к тому же красивая; Эмералд никто бы не упрекнул в отсутствии вкуса. Но дом был тусклым, безжизненным несмотря на воинственную ауру; даже золотые рыбки в огромном аквариуме, вставленном в стену столовой, вяло пускали пузыри; пожалуй, самый интересный обитатель этого дома принадлежал к миру животных. Если позволите, я опишу вам генеральскую собаку Бонзо. Прошу прощения: старую колченогую гончую суку генерала.

Эта ссохшаяся от старости, страдающая зобом тварь всю жизнь провела в праздности, не принося никакой пользы; но как раз когда я оправлялся от солнечного удара, она произвела в доме фурор, который в какой-то степени повлек за собой «революцию перечниц». Однажды генерал Зульфикар взял собаку с собой на полигон, где бригада саперов

должна была разминировать специально приготовленное минное поле. (Генерал настаивал на том, чтобы заминировать всю индо-пакистанскую границу. «Надо быть собранным! – восклицал он. – Пускай-ка эти индусы повертятся! Сунутся, так их разорвет на столько кусков, что нечему будет реинкарнировать». Границы Восточного Пакистана его, однако, не так волновали: он считал, что «эти проклятые черномазые пусть сами о себе позаботятся»). И вот Бонзо выскользнула из ошейника, не далась в цепкие, суетливо расставленные руки молодых джаванов[278] и потрусила на минное поле.

Неудержимая паника. Саперы, сжавшись от страха, пробираются по опасной зоне. Генерал Зульфикар и другие армейские тузы ныряют за трибуну, выстроенную специально для них, с минуты на минуту ожидая взрыва… Но взрыва нет; и когда цвет пакистанской армии осторожно выглядывает из-за мусорных баков или из-под скамеек, то видит, как Бонзо не без изящества скачет по полю, засеянному смертью, опустив нос к земле; Бонзо – беззаботная, Бонзо – непринужденная, Бонзо-которой-все-нипочем. Генерал Зульфикар высоко подкинул свою фуражку. «Вот это чудо так чудо, черт побери! – воскликнул он своим тонким голоском, который, казалось, с трудом пробивал себе путь между носом и подбородком. – У старой леди чутье на мины!» И Бонзо была зачислена в саперные войска в почетном звании старшего сержанта.

Я упомянул о подвиге Бонзо потому, что он дал генералу повод постоянно попрекать нас. Мы – Синаи – и Пия Азиз – были среди домочадцев Зульфикара самыми бесполезными, не отрабатывали свой стол и кров, и генерал не хотел, чтобы мы об этом забывали: «Даже столетняя гончая сука с кривыми лапами не зря ест свой хлеб, – бормотал он, – но мой дом полон людей, неспособных стать собранными, ни на что не годных». Но еще до конца октября он вполне примирился (по крайней мере) с моим присутствием… да и преображение Мартышки было уже не за горами.

В школу мы пошли вместе с кузеном Зафаром, который теперь, когда мы стали детьми из разоренного дома, уже не так рвался жениться на моей сестре; но самое худшее приключилось, когда нас отвезли в горный коттедж генерала в Натхия Гали, за Мурри. Я пребывал в состоянии крайнего возбуждения (как раз объявили, что я уже совсем выздоровел): горы! Возможно, барсы! Холодный ветер в лицо! – так что я ничего не подумал дурного, когда генерал спросил, не переночую ли я в одной постели с Зафаром; не догадался ни о чем, даже когда увидел, как матрас застилают прорезиненной простыней… я проснулся под утро в широкой, смрадной луже тепловатой жидкости и заорал благим матом. Генерал прибежал к нам и принялся выколачивать душу из своего сынка. «Ты уже большой, ты – мужчина, черт тебя побери! А ты все еще, все еще делаешь это! Будь же собранным! Ничтожество, бестолочь! Кто так ведет себя, черт возьми? Трусы, вот кто! Будь я проклят, если мой сын – трус…» Но недержание кузена Зафара не проходило, оставаясь позором семьи; несмотря на взбучки, по ночам моча стекала вниз по ноге, а однажды это случилось и среди бела дня. Но это произошло перед тем, как, не без моей помощи, были произведены некие передвижения перечниц – явное доказательство того, что, хотя телепатические волны в этой стране глушились, способы сцепления продолжали действовать: активно-буквально, а также и метафорически, я помог изменить судьбу Страны Чистых[279].

В те дни мы с Медной Мартышкой, не зная, чем помочь, смотрели, как наша мать увядает. Она, такая прилежная на жаре, стала чахнуть в северных холодах. Лишившись двух мужей, она лишилась (в собственных глазах) всякого значения; а еще ей нужно было заново выстраивать отношения между матерью и сыном. Однажды вечером она крепко обняла меня и сказала: «Мальчик мой, всякая мать учится любви; любовь не рождается вместе с младенцем, а создается, и за одиннадцать лет я научилась любить тебя как сына». Но некая сдержанность ощущалась за ее лаской, словно она старалась убедить саму себя…

278
279

сдержанный холодок слышался и в полуночном шепотке Мартышки: «Эй, братец, пойдем-ка польем Зафара водичкой – все равно подумают, что он намочил в постель», и это чувство дистанции, зияния, подсказывало мне: хотя мать и сестра называли меня *сыном* и *братом,* их воображение неустанно трудилось, дабы усвоить признание Мари; не ведая тогда, что им ни за что не вообразить себе другого *брата* и *сына,* я все еще страшился Шивы, и, соответственно, все глубже погружался в самую сердцевину призрачного желания сделаться достойным их родства и доказать это. Несмотря на то, что Достопочтенная Матушка признала меня, я не чувствовал себя в своей тарелке до тех пор, пока однажды на веранде, больше-чем-три-года-спустя мой отец не сказал мне: «Иди, сынок; иди сюда и позволь мне тебя любить». Может быть, поэтому я и повел себя так ночью 7 октября 1958 года.

…Одиннадцатилетний мальчик, Падма, мало знал о внутренних делах Пакистана; но и он видел, что в этот октябрьский день намечается экстраординарный званый обед. Одиннадцатилетний Салем ничего не знал о Конституции 1956 года и ее постепенном размывании[280], но глаза его были достаточно зоркими, чтобы обнаружить, что офицеры армейской разведки и военной полиции в тот день прибывали толпами и таились за каждым кустом в саду. Борьба фракций и глобальная некомпетентность г-на Гуляма Мухаммада[281]оставались для него тайной за семью печатями, зато было очевидно, что тетя Эмералд надела свои лучшие украшения. Чехарда четырех-премьер-министров-за-два-года не заставляла его хихикать[282], но он ощущал, что в доме генерала подходит к кульминации какая-то драма и вот-вот опустится занавес. Не подозревая о создании Республиканской партии[283], он все же пытался из чистого любопытства выяснить список гостей Зульфикара; и хотя в этой стране имена для него ничего не значили – кто такой Чодхури Мухаммад Али? Или Сухраварди? Или Чандригари, или Нун? – но инкогнито участников званого обеда, тщательно соблюдаемое дядей и тетей, заставляло поломать голову. Хотя он и вырезал когда-то из газет заголовки о Пакистане – БРОШЕННЫМ СТУЛОМ УБИТ ДЕПУТАТ ВОСТ-ПАК – он понятия не имел, почему в шесть часов пополудни длинный ряд черных лимузинов проезжает в охраняемые часовыми ворота цитадели Зульфикара; почему флажки развеваются на капотах; почему сидящие в машинах люди воздерживаются от улыбок; или почему Эмералд, и Пия, и моя мать стоят позади генерала Зульфикара с лицами, более подходящими для похорон, чем для званого обеда. Кто скончался – или что кончилось? Кто – зачем – приехал в лимузинах? Я понятия не имел; но вставал на цыпочки за материнской спиной, вглядываясь в тонированные стекла загадочных автомобилей.

Передние дверцы отворились; шоферы, адъютанты повыскакивали из машин и открыли задние дверцы, напряженно отдавая честь; у моей тетки Эмералд задергалась щека. И потом – кто вышел из лимузинов, украшенных флажками? Как поименовать удивительное собрание усов, щегольских стеков, пронзительных, сверлящих глаз, медалей и погон, которое явилось на свет божий? Салем не знал ни имен, ни номеров машин, однако воинские звания различать умел. Колодки и погоны на гордо выпяченной груди и развернутых плечах возвещали о прибытии самой верхушки. А из последнего автомобиля вылез высокий мужчина с удивительно круглой головой; круглой, как жестяной глобус, хотя и не размеченный линиями долготы и широты; планетоголовый, он не имел на затылке надписи, как тот земной шар, который когда-то растоптала Мартышка; не ЗДЕЛАННЫЙ У АНГЛИИ (хотя, несомненно, прошедший подготовку в Сэндхерсте), он шествовал между отдающими честь колодками-и-погонами; подойдя к моей тетке Эмералд, он отдал честь ей.

– Господин Главнокомандующий, – отчеканила тетка, – добро пожаловать в наш дом.

– Эмералд, Эмералд, – излетело изо рта, помещенного в глобусоподобной голове, – изо рта, расположенного непосредственно под аккуратно подстриженными усами. – К чему

280
281
282
283

такие церемонии, такой такаллуф?[284]

Тогда тетка поцеловала его в щеку:

– Ну хорошо, Аюб, ты прекрасно выглядишь.

Он тогда был генералом, хотя ему уже светило звание фельдмаршала… мы все последовали за ним в дом, смотрели, как он пьет (воду), смеется (громко); за обедом снова смотрели на него и видели, как он ест, по-крестьянски пачкая усы жиром…

– Слушай, Эм, – сказал он. – Ты всегда устраиваешь настоящий пир, когда я прихожу! А ведь я – простой солдат; дал и рис из твоей кухни были бы праздником для меня.

– Солдат – допустим, – ответила тетя, – но простой – нет! Никогда!

Длинные брюки позволили мне сидеть за столом со взрослыми, рядом с кузеном Зафаром, в окружении колодок-и-погон; нежный возраст, тем не менее, наложил печать на наши уста. (Генерал Зульфикар скомандовал мне свистящим армейским шепотом: «Только пикни, – отправишься на гауптвахту. Хочешь сидеть здесь, держи рот на замке. Понял?» Держа рот на замке, мы с Зафаром могли сколько угодно смотреть и слушать. Но Зафар – не то, что я, он не пытался стать достойным своего имени…)[285]

Что слышат за столом одиннадцатилетние мальчишки? Что они понимают из бодрых армейских разговорчиков (об «этом Сухраварди, который никогда не понимал Пакистанской Идеи?» – или о Нуне: «он не Нун, а Канун – Канун Мрака, правда?») И среди дискуссий о подтасовке выборов и взятках – какое опасное подводное течение коснулось их кожи, отчего встал дыбом нежный пушок на руках? А когда Главнокомандующий обратился к Корану, проник ли весь смысл цитаты в их одиннадцатилетние уши?

– Записано в Книге, – изрек круглоголовый, и колодки-с-погонами умолкли. – И Аад и Тамуд расточили мы также. Внушил им Сатана, что их нечестивые дела – благие суть, а были они зрячими[286].

Это прозвучало как сигнал; тетка взмахом руки отослала прислугу. Затем встала и вышла сама; моя мать и Пия последовали за ней. Мы с Зафаром тоже поднялись с места; но *он,* он сам, обратился к нам через весь длинный, уставленный роскошными яствами стол: «Маленькие мужчины пусть остаются. Ведь это – их будущее, в конце концов». Маленькие мужчины, напуганные, но исполненные гордости, сели, держа рот на замке, как им было приказано.

Одни мужчины. Перемены в лице круглоголового: оно потемнело, пошло какими-то пятнами, и в нем поселилось отчаяние… «Двенадцать месяцев назад, – изрек он, – я говорил с вами со всеми. Дадим политикам год – разве не так я сказал? – Кивки, согласный шепот. – Господа, мы дали им год; положение становится нестерпимым, и я не намерен больше его терпеть! – Люди в колодках-и-погонах делают суровые, отрешенные, государственные лица. Челюсти крепко сжаты, глаза зорко вглядываются в будущее. – Итак, сегодня (да! Я там был! В нескольких ярдах от него! Генерал Аюб и я; я и старина Аюб Хан!) я беру в свои руки высшую власть в государстве».

Как реагируют одиннадцатилетние на объявление военного переворота? При словах: «…финансы страны в ужасающем беспорядке… коррупция и нечистоплотность царят повсюду…» – напрягаются ли и их челюсти? Вперяется ли взор в светлое завтра? Одиннадцатилетние слышат крики генерала: «Действие Конституции приостанавливается! Центральное и провинциальные законодательные собрания распускаются! Политические партии вне закона!» – как вы думаете, что они чувствуют при этом?

Когда генерал Аюб Хан сказал: «Вводится военное положение», – мы с кузеном Зафаром поняли, что этот голос – голос, полный силы и решимости, подпитанный самыми изысканными блюдами с кухни моей тетки, – говорит о вещах, для которых мы с ним знаем одно только слово: измена. Должен с гордостью объявить, что я не потерял головы; но Зафар

284

285

286

утратил контроль над более каверзной частью тела. Влажное пятно появилось у него на ширинке; желтая влага страха заструилась вниз по ноге и осквернила персидские ковры; колодки-и-погоны унюхали что-то и обратили на него взоры, полные бесконечного омерзения; а потом (что еще хуже) раздался хохот.

Генерал Зульфикар только успел сказать: «Если позволите, сэр, я изложу вам план сегодяшних операций», – как его сын намочил в штаны. В холодной ярости мой дядя вышвырнул отпрыска из комнаты. «Шпион! Баба! – звучал вслед Зафару из обеденной залы тонкий, визгливый голос его отца. – Трус! Педераст! Индус!» – слова срывались с губ Пульчинелло, догоняя сына, уже бегущего по лестнице… тут глаза Зульфикара остановились на мне. В них читалась мольба. *Спаси честь семьи. Избавь меня от позора, заставь всех забыть о недержании моего сына.* «Ты, мальчик! – позвал меня дядя. – Не поможешь ли мне?»

Разумеется, я кивнул. Доказывая, что я – мужчина, и вполне подхожу для сыновней роли, я помогал дяде делать революцию. Поступив так, заслужив его признательность, усмирив смешки собравшихся колодок-и-погон, я сотворил себе нового отца. Генерал Зульфикар стал последним в ряду мужчин, которые охотно называли меня «сыночек», или «сынок ненаглядный», или попросту «сынок».

Вот как мы делали революцию: генерал Зульфикар описывал передвижения войск, а я, по мере того, как он говорил, символически передвигал перечницы. Зажатый в тиски активно-метафорического способа сцепления, я перемещал солонки и миски с чатни: эта банка горчицы – Подразделение А – занимает Главный почтамт; эти две перечницы окружают поварешку, то есть Подразделение Б захватывает аэропорт. Держа судьбы страны в своих руках, я двигал приправами и приборами, оккупируя пустые блюда из-под бириани стаканами для воды, выставляя вокруг кувшинов караул из солонок. И когда генерал Зульфикар завершил свою речь, марш столовых приборов тоже подошел к концу. Аюб Хан откинулся на стуле; подмигнул он мне или это была игра воображения? – во всяком случае, Главнокомандующий сказал: «Очень хорошо, Зульфикар; наглядный показ».

Во время передвижений перечниц и всего остального только один предмет на столе остался незахваченным: кувшин для сливок из чистого серебра, который в нашем посудном перевороте представлял собой главу государства, Президента Искандера Мирзу; еще три недели Мирза оставался Президентом[287].

Одиннадцатилетний мальчик не может судить, правда ли Президент продажен, пусть колодки-и-погоны и утверждают, что это так; не одиннадцатилетнего ума дело решать, может ли связь Мирзы со слабой Республиканской партией препятствовать выполнению им своих обязанностей при новом режиме. Салем Синай не делал политических выводов, но когда, конечно же, в полночь, первого ноября, дядя разбудил меня и прошептал: «Пойдем, сынок, пора тебе попробовать настоящего дела!» – я бодро соскочил с постели, оделся и вышел в ночь, с гордостью сознавая, что дядя предпочел взять с собой меня, а не собственного сына.

Полночь. Равалпинди летит мимо нас со скоростью семьдесят миль в час. Мотоциклы впереди нас – по сторонам – позади. «Куда мы едем, Зульфи – дядя?» *Погоди, увидишь.* Черный лимузин с тонированными стеклами остановился у неосвещенного дома. Часовые стоят у двери, скрестив ружья; стволы расходятся, пропуская нас. Я иду рядом с дядей, чеканя шаг, по тускло освещенным коридорам; наконец мы врываемся в темную комнату, где лунный луч скользит по широкой, на четырех столбиках, кровати. Москитная сетка окутывает кровать, как саван.

Человек просыпается в изумлении, *что за чертовщина здесь…* Но у генерала Зульфикара длинноствольный револьвер; дуло револьвера просунуто в разинутый рот. «Заткнись, – говорит мой дядя, что совершенно излишне. – Иди с нами». Голый жирный человек, шатаясь, слезает со своей кровати. Его глаза спрашивают: «*Вы собираетесь меня*

287

пристрелить?» Пот стекает по широкому брюху, ловит лунный свет, дрожит на пипиське; но стоит пронзительный холод, человек потеет не от жары. Он похож на белого Смеющегося Будду[288]; только он не смеется. Он дрожит. Пистолет моего дяди извлечен изо рта. «Поворачивайся. Быстро, шагом марш!» И ствол револьвера протиснут между раскормленных ягодиц. Человек кричит: «Ради Бога, осторожнее: эта штука снята с предохранителя!» Джаваны хихикают, видя, как нагая плоть извлекается под лунный свет, заталкивается в черный лимузин… В ту ночь я сидел рядом с голым человеком, когда дядя вез его на военный аэродром; я стоял и смотрел, как ждущий наготове самолет вырулил на полосу, набрал скорость, взлетел. То, что началось активно-метафорически с перечниц, кончилось здесь; я не только сверг правительство – я еще отправил президента в изгнание.

У полуночи много детей; не все порождения Независимости имеют человеческий облик. Насилие, коррупция, нищета, генералы, хаос, алчность и перечницы… я должен был отправиться в изгнание, чтобы узнать: дети полуночи более разнообразны, чем я – даже я – мог вообразить себе.

– Правда, честное слово? – спрашивает Падма. – Ты правда там был? – Правда, честное слово. – «Говорят, Аюб сначала был хорошим, до того, как стать плохим», – высказывает Падма скорее вопрос, чем утверждение. Но Салем в одиннадцать лет до таких суждений еще не дорос. Передвижение перечниц не требовало морального выбора. Вот что заботило Салема: не переворот в государстве, а личная реабилитация. Видишь, какой парадокс – мое самое судьбоносное до сего момента вторжение в историю было вызвано самой что ни на есть эгоистической причиной. К тому же эта страна не была «моей», во всяком случае, тогда. Эта страна не была моей, хотя я в ней и жил как беженец, не как гражданин; въехав туда по индийскому паспорту моей матери, я мог бы подпасть под подозрение; меня могли бы депортировать или арестовать как шпиона, если бы не мои юные годы и не влияние моего дяди с лицом Пульчинелло, – и длилось это четыре нескончаемых года.

Четыре года пустоты.

Разве что я стал подростком. Разве что видел, как моя мать рассыпается на части. Разве что наблюдал, как Мартышка, на один решающий год моложе меня, подпадает под коварные чары этой движимой Богом страны; как Мартышка, некогда такая буйная и непокорная, придает своему лицу выражение скромности и смирения, которое вначале даже ей самой казалось фальшивым; как Мартышка учится готовить, вести хозяйство и покупать на рынке специи; как, окончательно порвав с наследием своего деда, Мартышка читает молитвы по-арабски в предписанные часы; как проявляется в ней жилка пуританского фанатизма, намек на которую мелькнул уже тогда, когда она попросила для себя монашеское облачение; Мартышка, отвергавшая любые проявления мирской любви, пленилась любовью того Бога, который был назван именем резного идола, что стоял в языческом святилище, построенном вокруг гигантского метеорита: Ал-Лах, в Каабе, храме великого Черного Камня.

А больше ничего.

Четыре года вдали от детей полуночи; четыре года без Уорден-роуд и Брич Кэнди, и Скандал Пойнт, и соблазна шоколадки-длиной-в-ярд; вдали от соборной школы, и конной статуи Шиваджи, и торговцев дынями у Врат Индии[289]; вдали от Дивали и Чатуртхи; праздника Ганеши и дня кокоса; четыре года разлуки с отцом, который сидит один в доме, не желая его продавать; один, если не считать профессора Шапстекера, затворившегося в своей квартире и не желавшего видеть людей.

Неужели так ничего и не случилось за четыре года? Само собой, это не совсем так. Моему кузену Зафару, которому отец так и не простил того, что он намочил в штаны перед лицом Истории, дали понять, что он пойдет служить в армию, как только вступит в надлежащий возраст. «Я хочу видеть, как ты докажешь, что ты – не баба», – заявил ему отец.

288

289

А еще подохла Бонзо; генерал Зульфикар пролил скупую мужскую слезу.

А еще признание Мари стерлось до того, что, поскольку никто о нем не говорил, стало казаться дурным сном – всем, кроме меня. А еще (без какого бы то ни было вмешательства с моей стороны) отношения между Индией и Пакистаном ухудшились; совершенно без моей помощи Индия захватила Гоа – «португальский прыщ на лице Матери Индии»[290]; я стоял в стороне и не принимал участия в крупномасштабной помощи США Пакистану; не следует меня винить и в китайско-индийских стычках в регионе Аксай Чин в Ладакхе[291]; в Индии перепись населения 1961 года выявила 23,7 процента грамотных; но я и переписи избежал. Проблема неприкасаемых оставалась насущной; я ничего не сделал, чтобы разрешить ее; а на выборах 1962 года Индийский конгресс получил 361 из 494 мест в Лок Сабха и более 61 процента мест в Совете Штатов[292]. И к этому тоже я не приложил своей невидимой руки, разве, может быть, метафорически: статус-кво сохранялся в Индии, как и в моей жизни; и там, и там ничего не менялось.

Потом первого сентября 1962 года мы праздновали Мартышкин четырнадцатый день рождения. К тому времени (и несмотря на то, что мой дядя продолжал испытывать ко мне нежные чувства) мы окончательно утвердились в положении социально неполноценных, несчастных бедных родственников великого Зульфикара; так что праздник устроили довольно скромный. Но Мартышка всячески старалась казаться веселой. «Это мой долг, братец», – призналась она. Я не верил своим ушам… но, возможно, сестра уже предчувствовала свою судьбу; возможно, знала, какие преображения уготованы ей; почему я должен считать, будто я один обладаю даром тайного знания?

И может быть, она догадалась, что, когда наемные музыканты начнут играть (были в их ансамбле шехнай и вина; саранги и сарод вели свои партии; табла и ситар[293]о чем-то виртуозно вопрошали друг друга), Эмералд Зульфикар накинется на нее с непринужденной светской бесцеремонностью: «Ну же, Джамиля, не торчи здесь, как дыня на бахче; выйди и спой нам песню, будь славной девочкой!»

Этой своей фразой моя изумрудно-ледяная тетя, сама того не предполагая, дала толчок преображению моей сестры из Мартышки в Певунью; ибо, хотя сестра и отнекивалась с угрюмым и застенчивым видом, как делала бы любая четырнадцатилетняя девчонка на ее месте, моя собранная тетка все же выпихнула ее на помост, к музыкантам, и хотя выглядела Мартышка так, будто хотела провалиться сквозь землю, она все же крепко сцепила пальцы и, поняв, что избавления ждать неоткуда, запела.

Думаю, я не слишком напираю на описания чувств потому, что верю: моя публика способна *присоединиться,* вообразить то, что не удается воспроизвести; так, чтобы моя история стала и вашей тоже… но когда сестра запела, меня охватило чувство настолько сильное, что я никак не мог понять его до тех пор, пока мне его не растолковала самая старая в мире шлюха. Ибо, взяв первую ноту, Медная Мартышка сбросила свое прозвище, как змея – кожу; когда-то она говорила с птицами (так же, как и ее прадед, давным-давно в одной горной долине) и, наверное, научилась у певчих птах искусству пения. Одним здоровым ухом и одним глухим я слышал безупречный голос, который в четырнадцать лет был уже голосом взрослой женщины; и был он полон чистотой крыльев, и болью изгнания, и полетом орла, и прелестью жизни, и нежностью соловьев, и вездесущим бытием Бога во всей славе Его; голос этот впоследствии сравнивали с кличем Мухаммадова муэдзина Билала, – но исходил он из уст худенькой девочки.

То, чего я тогда не понял, подождет; здесь я замечу только, что сестра заслужила себе другое имя на своем четырнадцатом дне рождения и после него стала известна всем как Джамиля-Певунья; и я, слушая, как она поет «Мою Красную Муслиновую Дупатту» и

290
291
292
293

«Шахбаз Каландар», понимал, что процесс, начавшийся во время моего первого изгнания, вот-вот завершится во втором; что с этих самых пор Джамиля станет дочерью, которая что-то значит, мне суждено навсегда стушеваться перед ее талантом.

Джамиля запела – и я смиренно склонил голову. Но перед тем, как она вступила в свое царство, должно было случиться кое-что еще: нужно было, чтобы со мной покончили полностью, раз и навсегда.

Дренаж и пустыня

То-что-точит-кости не желает останавливаться… это только вопрос времени. И вот почему я не ухожу: я держусь за Падму. Падма многое значит для меня – Падма и ее мышцы, Падма и волоски на ее руках, Падма, мой чистый лотос… она же, смутившись, командует: «Ну, хватит. Начинай. Начинай уже».

Да, начать нужно с телеграммы. Телепатия удалила меня от мира, телекоммуникации утащили вниз с высоты…

Амина Синай срезала мозоли с ног, когда пришла телеграмма… в один прекрасный день. Нет, так не получится, нельзя без числа: моя мать, положив правую щиколотку на левое колено, отдирала ороговевшую ткань с подошвы острой пилочкой для ногтей 9 сентября 1962 года. А в котором часу? Час тоже имеет значение. Ну, хорошо: после полудня. Нет, важно быть более… Как раз пробило три часа – даже на севере это самое жаркое время дня – когда слуга принес ей конверт на серебряном подносе. Через несколько секунд далеко отсюда, в Нью-Дели, министр обороны Кришна Менон (действуя по собственной инициативе, ибо Неру тогда находился на конференции премьер-министров Британского содружества) принял судьбоносное решение применить, при необходимости, силу против китайской армии на гималайской границе. «Китайцы должны быть выбиты с хребта Тхаг Ла, – заявил господин Менон в ту минуту, когда моя мать распечатала телеграмму. – Мы не пойдем ни на какие уступки». Но это решение было детской игрою по сравнению с тем, к чему привела телеграмма, полученная матерью; ибо если операция по выбиванию китайцев под кодовым названием ЛЕГГОРН была обречена на неудачу, а впоследствии превратила Индию в самый зловещий из театров, – в Театр Военных Действий, то телеграмма повлекла меня тайными, но верными путями к тому кризису, в результате которого я буду окончательно выбит из мира, что сложился у меня внутри. Пока Двадцать Третий Корпус Индийской Армии действовал согласно инструкциям, полученным от Менона генералом Тхапаром, я тоже подвергался великой опасности; будто некие незримые силы решили, что и я своими действиями, знанием, бытием преступил какие-то границы; будто бы история решила раз и навсегда поставить меня на место. В этом деле я был лишен права голоса; мать прочитала телеграмму, разразилась слезами и объявила: «Дети, мы едем домой!» …а все остальное, как я уже говорил по иному поводу, было лишь вопросом времени.

Вот что значилось в телеграмме: ПОЖАЛУЙСТА ПРИЕЗЖАЙТЕ БЫСТРЕЙ СИНАЙ САХИБА СЕРДЕЧНЫЙ САПОГ ТЯЖЕЛО БОЛЕН САЛЯМ АЛИС ПЕРЕЙРА.

– Конечно, сейчас же поезжай, дорогая, – сказала тетка Эмералд своей сестре. – Но что это, ради всего святого, за *сердечный сапог?*

Возможно, даже вероятно, что я – всего лишь первый из историков, которые возьмутся описывать наши бесспорно исключительные времена и мою не менее исключительную жизнь. Те, кто пойдут по моим стопам, неизменно обратятся к этому труду, этому источнику, этому хадису[294], или пуране[295], или этим Grundrisse[296], руководствуясь ими и вдохновляясь. И я говорю грядущим толкователям: когда вы станете изучать события, последовавшие за телеграммой о «сердечном сапоге», помните, что за оком урагана, который

294
295
296

обрушили на меня, – за мечом, если употребить другую метафору, которым был нанесен последний, милосердный, удар – таилась одна-единственная объединяющая сила. Я имею в виду телекоммуникации.

Телеграммы, а после телеграмм – телефонные звонки покончили со мной; но я великодушен и никого не обвиняю в заговоре, хотя было бы легко поверить, что люди, контролирующие эти средства связи, решили установить монополию на эфир страны …но я должен вернуться (Падма хмурится) к тривиальной цепи причин и следствий: мы прибыли в аэропорт «Санта Крус» на «Дакоте» шестнадцатого сентября; но чтобы объяснить саму телеграмму, я должен вернуться в прошлое.

Если Алис Перейра и согрешила однажды, уведя Жозефа Д'Косту у своей сестрицы Мари, то в последнее время она проделала немалый путь к искуплению: все четыре года она была единственным человеческим существом, которое находилось рядом с Ахмедом Синаем. Заточенная на пыльном холме, где некогда располагалось имение Месволда, она подвергала огромному испытанию свой уживчивый и добрый нрав. Алис приходилось сидеть с Ахмедом до полуночи, пока он упивался джиннами и распространялся о том, как несправедлива к нему жизнь; после многих лет забвения он вспомнил давнюю мечту перевести и перекомпоновать Коран и всячески поносил свою семью – она-де лишила его сил и мужества, и теперь у него не хватит энергии взяться за подобный труд; вдобавок, поскольку Алис всегда была под рукой, гнев его частенько обрушивался на нее, выражаясь в длинных тирадах, полных подзаборной брани и бессильных проклятий, сочиненных им когда-то в дни глубочайшего погружения в абстракцию. Алис старалась относиться к нему с пониманием: Ахмед был одинок, его некогда непогрешимые взаимоотношения с телефоном были нарушены причудами тогдашней экономики; его чутье финансиста начало изменять ему… а еще его стали терзать необъяснимые страхи. Когда в Аксай Чин была обнаружена построенная китайцами дорога, он возымел неколебимую уверенность в том, что желтые орды не сегодня-завтра ворвутся в имение Месволда; Алис успокаивала его, подавала ледяную кока-колу: «Ни к чему так волноваться. Эти китаезы – недомерки, им не побить наших джаванов. Попейте лучше колы; ничего не случится, вот увидите».

В конце концов он так измотал Алис нервы, что та оставалась лишь ради денег: она без конца просила – и получала – большие прибавки к жалованью, посылая таким образом крупные суммы своей сестре Мари; но первого сентября и она польстилась на уговоры телефона.

В те дни она проводила у аппарата столько же времени, сколько и ее работодатель, особенно когда приходилось разговаривать с женщинами Нарликара. Страшные нарликарихи в тот период осаждали моего отца, звонили ему дважды в день, всячески уламывали и уговаривали продать дом, напоминая, что положение у него безвыходное, кружились над его головой, как стервятники над пылающим складом… первого сентября, как тот давешний стервятник, они повергли его чужой рукою, нанесшей удар по щеке, ибо тетки подкупили Алис Перейру и сманили ее. Не имея сил больше терпеть Ахмеда, Алис закричала: «Сами отвечайте на ваши звонки! Я ухожу».

В эту ночь сердце Ахмеда Синая стало расширяться. Наполнившись до краев ненавистью, обидой, жалостью к себе, скорбью, оно стало раздуваться, словно шар; оно заколотилось слишком сильно, сбиваясь с ритма, и наконец Ахмед рухнул как подкошенный; в больнице Брич Кэнди врачи обнаружили, что сердце моего отца и в самом деле изменило форму – будто появился некий нарост, внизу левого желудочка. Оно, это сердце, и в самом деле, как сказала Алис, стало похоже на сапог.

Алис обнаружила Ахмеда Синая на следующий день, когда случайно вернулась в контору забрать забытый зонтик; умелая секретарша, она обратилась к помощи телекоммуникаций; позвонила в скорую помощь и телеграфировала нам. Из-за того, что все почтовые отправления между Индией и Пакистаном подвергались перлюстрации, телеграмма о «сердце-сапоге» шла к Амине Синай целую неделю.

* * *

«Домой-в-Бом! – орал я, вне себя от счастья, пугая носильщиков в аэропорту. – Домой-в-Бом!» – радовался я, несмотря ни на что, пока по-новому серьезная Джамиля не сказала: «Ох, Салем, *честное слово, помолчи!»* Алис Перейра встретила нас в аэропорту (ее предупредили телеграммой); и вот мы сели в настоящее бомбейское такси, черное с желтым, и меня захлестнули крики торговцев «горячая-чанна-горячая», скопление верблюдов, велосипедов и людей, людей, людей; я подумал, что по сравнению с городом Мумбадеви Равалпинди – деревня деревней, и стал заново открывать цвета: забытую яркость гулмохра[297]и бугенвиллейи, темную зелень вод в пруду у храма Махалакшми, резкий контраст черного и белого на зонтиках полицейских-регулировщиков и их голубые с желтым мундиры; но самое главное – синеву, синеву моря… и только серое, осунувшееся, исхудавшее лицо моего отца отвлекло меня от радужной сумятицы города и заставило трезво взглянуть на вещи.

Алис Перейра высадила нас у больницы и поехала на работу к женщинам Нарликара; и тут случилось нечто замечательное. Моя мать Амина Синай, которую вид моего отца пробудил от летаргии, вытащил из депрессии, извлек из облака вины и заставил забыть о мозолях, волшебным образом помолодела; прежний дар прилежания вернулся к ней, и она употребила, всю свою несгибаемую волю на выздоровление Ахмеда. Она забрала мужа домой, в ту самую спальню на втором этаже, где выхаживала его во время замораживания; она сидела с ним дни и ночи, вливая свою силу в его плоть. И любовь ее не осталась без воздаяния, ибо Ахмед не только совершенно выздоровел, чем поразил европейских врачей из больницы Брич Кэнди, но произошло и другое, не менее волшебное превращение, а именно: когда Ахмед пришел в себя благодаря заботам Амины, он был уже не тем человеком, который изрыгал проклятия и боролся с джиннами – он вернулся к своей истинной природе и стал таким, каким мог быть всегда: полным раскаяния, все простившим, радостным и великодушным; а самым великим чудом из чудес стала любовь. Ахмед Синай наконец-то, после стольких лет, влюбился в свою жену.

А я был тем агнцем, которого принесли в жертву, дабы скрепить это чувство.

Они даже стали опять спать вместе; и хотя моя сестра, в которой на миг проснулась прежняя Мартышкина природа, говорила: «В одной кровати, о, Аллах, тьфу-тьфу, какая мерзость!», – я был рад за них, и даже на короткое время за самого себя, ибо я вернулся в страну, где можно было вновь устраивать Конференцию Полуночных Детей. Пока газетные заголовки вели нас к войне, я возобновил встречи с моими чудесно одаренными собратьями, не догадываясь, какие безвыходные тупики уготовила мне судьба.

Девятого октября – ИНДИЙСКАЯ АРМИЯ ГОТОВА К РЕШАЮЩЕМУ БРОСКУ – я почувствовал, что готов созвать конференцию (и время, и мои собственные усилия воздвигли необходимый барьер вокруг тайны, которую разгласила Мари). И они вновь пришли ко мне, в мою голову; то была счастливая ночь, когда забылись старые разногласия и мы все решили добиваться единства. Снова и снова радовались мы тому, что наконец собрались вместе, не ведая истины более глубокой: мы такая же семья, как и все другие семьи; а семейные встречи хороши более в предвкушении, чем на самом деле, и время приходит, когда любая семья распадается, и все ее члены идут своей дорогой. Пятнадцатого октября – НЕСПРОВОЦИРОВАННОЕ НАПАДЕНИЕ НА ИНДИЮ – вопросы, которых я боялся и старался избегать, наконец всплыли: «*Почему Шивы нет с нами? «* И: «*Почему ты закрыл от нас часть своего сознания?»*

Двадцатого октября индийские вооруженные силы были разбиты наголову китайской армией на хребте Тханг Ла. Официальное сообщение Пекина гласило: «*В целях самообороны китайские пограничные войска были вынуждены нанести ответный удар».* Но когда той же

297

самой ночью дети полуночи все вместе накинулись на меня, мне нечем было обороняться. Они атаковали по всему фронту, с левого и правого флангов, обвиняя меня в скрытности, увиливании от прямого ответа, высокомерии, эгоизме; мой мозг был уже не зданием парламента, а полем битвы, на котором меня гвоздили почем зря. Какой уж там «большой брат Салем»; я слушал, как они рвут меня на части, и не знал, что предпринять, ибо, несмотря на весь этот шум-и-ярость, я не мог разблокировать то, что хранил под семью печатями; никак не мог решиться на то, чтобы выдать им тайну Мари. Даже у Парвати-Колдуньи, до сих пор самой преданной моей сторонницы, наконец лопнуло терпение: «О, Салем, – сказала она. – Бог знает, что сделал с тобой Пакистан, но ты ужасно изменился».

Однажды, давным-давно, смерть Миана Абдуллы уничтожила другое собрание, державшееся лишь на его энтузиазме; теперь, когда дети полуночи перестали доверять мне, они потеряли веру и в то, что я создал для них. Между двадцатым октября и двадцатым ноября я продолжал созывать – пытался, по крайней мере, – наши еженощные сессии; но ребята убегали от меня не по одному, а десятками; каждую ночь все меньшее их число настраивалось на мою волну; каждую неделю сотни из них уходили в частную жизнь. На гималайских вершинах гуркхи[298] и раджпуты бежали от китайских войск; а на скрытых от всех высотах моего сознания другая армия была разбита столь мелочными явлениями, как пререкания, предрассудки, скука, самолюбие; я всегда смотрел на все это свысока и не обращал на подобные вещи должного внимания.

(Но оптимизм, как и всякая зараза, не отпускает так легко; я продолжал верить – и сейчас продолжаю, – что общее-в-нас в конце концов перевесит поводы для разногласий. Нет, я не беру на себя ответственность за окончательное прекращение Конференции Детей, ибо всякую возможность возобновления ее уничтожила любовь Ахмеда и Амины Синай).

…А Шива? Шива, которому я хладнокровно отказал в том, что ему причиталось по праву рождения? Ни разу за этот последний месяц не посылал я свои мысли на поиск его; но его существование где-то в мире отдавалось зловещим гулом в уголках моего сознания. Шива-разрушитель, Шива-узловатые коленки… сначала он был для меня постоянной, болезненной мукой совести, чувством вины; потом наваждением; и наконец, когда память о нем почти стерлась, он сделался неким принципом; он стал воплощать в моем сознании всю предрасположенность к мести, и насилию, и одновременной любви-и-ненависти к вещам этого мира; так что даже сейчас, когда я слышу об утопленниках, об их вздувшихся телах, которые плывут по Хугли и лопаются, натыкаясь на встречные суда; или о подожженных поездах, или об убитых политиках, или о мятежах в Ориссе или в Пенджабе, мне кажется, будто Шива приложил ко всему этому свою тяжелую руку, принуждая нас бесконечно барахтаться посреди убийств, насилия, алчности, войн, – этот Шива, одним словом, сделал нас такими, какие мы есть. (Он ведь тоже был рожден в полночь, с последним ударом часов; он, как и я, был привязан к истории. Способы сцепления – если я по праву относил их к себе самому, – помогали и Шиве влиять на течение дней).

Я говорю о Шиве так, будто никогда больше его не видел, а это неправда. Но это, как и все прочее, останется напоследок; сейчас мне не хватит сил рассказать эту повесть.

Зараза оптимизма в те дни вновь достигла масштабов эпидемии, меня же тем временем мучило воспаление носовых пазух. Странным образом подогретый поражением на хребте Тханг-Ла оптимизм общества в том, что касалось войны, стал таким же плотным (и таким же опасным), как чрезмерно надутый шар, а мои многострадальные носовые каналы, вечно перегруженные, перестали, наконец, бороться с затором. Пока парламентарии исторгали из себя речи о «китайской агрессии» и «пролитой крови джаванов», из глаз моих струились слезы; пока вся нация пыжилась, убеждая себя в том, что желтые недомерки вот-вот будут уничтожены, мои носовые пазухи тоже раздувались, перекашивая лицо, которое и без того

298

настолько поражало с первого взгляда, что даже Аюб Хан глядел на него разинув рот. Охваченные лихорадкой оптимизма, студенты сжигали изображения Мао Цзэдуна и Чжоу Энь-лая[299]; со стигматами оптимизма на челе толпы громили китайских башмачников, антикваров и поваров. Горя оптимизмом, индийское правительство даже интернировало индийских граждан китайского происхождения – отныне «пособников врага» – в лагеря Раджастана. Заводы Бирла стали выпускать оружие малого калибра, и школьницы смогли участвовать в военных парадах. Но я, Салем Синай, умирал от удушья. Воздух, напоенный оптимизмом, отказывался проникать ко мне в легкие.

Ахмед и Амина Синай тоже подхватили новоявленную заразу оптимизма, причем в тяжелой форме; вирус уже проник в них через их дважды рожденную любовь, и теперь они охотно следовали за энтузиазмом толпы. Когда Морарджи Десаи, пьющий мочу министр финансов, бросил свой клич «Украшения – на вооружение», моя мать отдала золотые браслеты и изумрудные серьги; когда Морарджи выпустил облигации оборонного займа, Ахмед Синай покупал их мешками. Война, казалось, стала для Индии новой зарей: в «Таймс оф Индиа» появилась карикатура под названием «Война с Китаем» – Неру глядит на графики, обозначенные как «Единство стремлений», «Индустриальное согласие» и «Доверие правительству», и восклицает: «Никогда еще показатели не были столь высокими!» По этим морям оптимизма все мы – нация, мои родители, я – плыли вслепую, прямо на подводные скалы.

Мы как народ помешаны на соответствиях. Сходство между тем и этим, между, на первый взгляд, не связанными вещами заставляет нас бить в ладоши от радости, когда мы его обнаруживаем. В этом проявляется национальное стремление к форме – или же попросту так выражается наша глубокая вера в то, что формы сокрыты в глубинах реальности; что смысл приоткрывается нам лишь в отблесках и отражениях. Отсюда наша склонность к предзнаменованиям… когда, например, был впервые поднят индийский флаг, над той самой площадью в Дели появилась радуга, шафраново-зеленая радуга, и мы ощутили благословение свыше. Я родился среди соответствий, и они преследовали меня… и пока индийцы слепо двигались к военному разгрому, я тоже приближался (абсолютно о том не ведая) к своей собственной катастрофе.

Карикатура в «Таймс оф Индиа» говорила о «Единстве стремлений»; на вилле Букингем, последнем осколке имения Месволда, стремления никогда не бывали столь едиными. Ахмед и Амина целыми днями ворковали, как два голубка; ухаживали друг за другом, будто влюбленные подростки; и в то время, как пекинская «Пиплз Дейли» сетовала: «Правительство Неру сбросило наконец маску невмешательства», мы с сестрой не сетовали ни на что, ибо впервые за долгие годы нам не приходилось делать вид, будто мы проводим политику невмешательства по отношению к военным действиям между матерью и отцом; то, что война сделала для Индии, на нашем двухэтажном холме свершилось благодаря окончанию вражды. Ахмед Синай даже прекратил свои еженощные борения с джиннами.

К первому ноября – ИНДИЙСКИЕ ВОЙСКА АТАКУЮТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ АРТИЛЛЕРИИ – мои носовые каналы были в остром кризисном состоянии. Хотя мать и подвергала меня ежедневным пыткам, впрыскивая мне капли Вика и заставляя дышать над кипятком, где была растворена Викова мазь, что я и пытался проделывать, покрыв голову простыней, мои носовые пазухи никак не поддавались лечению. В тот же день мой отец протянул ко мне руки и сказал: «Иди, сынок; иди сюда и позволь мне тебя любить». Потеряв голову от счастья (возможно, зараза оптимизма проникла и в меня тоже), я позволил, чтобы меня притиснули к круглому, как тыква, животику; но, когда отец отпустил меня, оказалось, что грудь его рубашки-сафари вымазана в соплях. Думаю, это и повлекло за собой окончательный приговор, ибо в тот же день моя мать перешла к военным действиям. Заявив, будто ей нужно переговорить с подругой, она позвонила кое-куда. Пока индийцы атаковали под прикрытием артиллерии, Амина Синай задумала повергнуть меня в прах, прикрываясь

299

ложью.

Перед тем, как войти в пустыню последующих лет, я все же должен признать, что я, возможно, ужасно несправедлив к своим родителям. Ни разу, насколько мне известно, – ни разу со дня откровений Мари Перейры не предпринимали они попытки найти своего истинного, родного сына; в нескольких местах моего повествования я приписал это отсутствию воображения, сказав примерно следующее: я оставался их сыном потому, что они не могли представить себе меня вне этой роли. Возможны и худшие интерпретации – например, нежелание принять в семью уличного мальчишку, проведшего одиннадцать лет под забором; но я хотел бы предположить более благородный мотив: может быть, несмотря ни на что, несмотря на нос-огурцом, рябое лицо, отсутствие подбородка, выпирающие надбровные дуги, кривые ноги, оторванный палец, тонзуру монаха и (об этом они, я полагаю, не знали) глухое левое ухо, несмотря даже на полуночную подмену детей, осуществленную Мари Перейрой… может быть, повторяю, несмотря на все эти раздражающие факторы, мои родители любили меня. Я уходил от них в мой тайный мир; страшась их ненависти, не хотел признать, что любовь может быть сильнее некрасивой внешности, сильнее даже голоса крови. И очень вероятно, что дело, оговоренное по телефону, осуществившееся наконец 21 ноября 1962 года, было задумано по высочайшей из причин: мои родители погубили меня из любви.

День двадцатого ноября был ужасен; ночь тоже… шесть дней тому назад, на семьдесят третий день рождения Неру, началось крупное столкновение с китайскими войсками; индийская армия – ДЖАВАНЫ РВУТСЯ В БОЙ! – атаковала китайцев в Валонге. Новости о поражении в Валонге и о беспорядочном бегстве четырех батальонов генерала Каула достигла Неру в субботу восемнадцатого числа; в понедельник двадцатого она просочилась на радио и в прессу и дошла до имения Месволда. В НЬЮ-ДЕЛИ ЦАРИТ ПАНИКА! ИНДИЙСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РАЗГРОМЛЕНЫ! В тот день – в последний день моей прежней жизни – мы с сестрой и родителями сгрудились вокруг нашего приемника «Телефункен», а телекоммуникации вселяли страх Божий перед китайцами в наши сердца. И тут мой отец произнес роковые слова: «Жена, – проговорил он мрачно, пока мы с Джамилей тряслись от страха. – Бегам-сахиба, с этой страной все кончено. Она – банкрот, фантуш». Вечерние газеты провозгласили конец заразы оптимизма: ДУХ ОБЩЕСТВА УПАЛ ДО НУЛЯ. За этим концом последовали другие; что-то еще упало до нуля, было высосано, выпито, осушено, дренировано.

Я отправился в постель с головой, полной китайских лиц, ружей, танков… но в полночь голова моя была пуста и безбурна, потому что накал Конференции тоже упал до нуля; из всех волшебных детей одна только Парвати-Колдунья пожелала говорить со мной, и мы, донельзя удрученные тем, что Нусси-Утенок назвала бы «концом света», могли только лишь общаться друг с другом в полном молчании.

Другие, более «приземленные» виды осушения: трещина появилась на мощной плотине гидроэлектростанции Бхакра Нангал[300], и обширное водохранилище за нею вытекло через расщелину… и консорциум, принадлежащий женщинам Нарликара, не подвластным ни оптимизму, ни пораженчеству, ни чему-то еще, кроме жажды наживы, продолжал извлекать землю из морских глубин… но финальное опорожнение, дренаж, тот самый, что дал название эпизоду, случился на следующее утро, как раз когда я, расслабившись, подумал, что все, может быть, еще и обернется к лучшему… ибо утром мы услышали до невероятия радостные новости: китайцы внезапно, безо всякой причины прекратили наступление; захватив вершины Гималаев, они вроде бы удовлетворились этим; ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ! – вопили газетные заголовки, и моя мать от облегчения едва не лишилась чувств. (Пронесся слух, будто генерал Каул попал в плен. Президент Индии доктор Радхакришхан[301]прокомментировал: «К сожалению, это сообщение абсолютно не соответствует истине»).

300

301

Несмотря на слезящиеся глаза и вздутые носовые пазухи, я был счастлив; несмотря даже на конец Конференции Детей, я грелся в лучах того нового счастья, каким преисполнилась вилла Букингем; поэтому, когда мать предложила «Поедем отметим это! Хотите, дети, на пикник?» – я, разумеется, с готовностью согласился. Было утро 21 ноября; мы помогли приготовить бутерброды и паратхи; мы остановились у магазина напитков и загрузили лед в жестяном контейнере и ящик кока-колы в багажник нашего «ровера»; родители спереди, дети – на задних сиденьях, мы наконец отправились в путь. Джамиля-Певунья всю дорогу пела для нас.

Сквозь воспаленные носовые пазухи я прогнусавил: «Куда мы едем? В Джуху? В Элефанту? В Марве? Куда?» И мать, с напряженной улыбкой: «Это сюрприз; погоди, сам увидишь». И мы ехали и ехали по улицам, полным расслабившихся, веселящихся людей… «Мы не туда свернули, – воскликнул я. – Разве это – дорога на пляж?» Родители заговорили в унисон, ласково, бодро: «Заскочим в одно местечко, а потом – на пляж, обязательно».

Телеграммы ко мне воззвали, приемники напугали; но именно по телефону были назначены дата, время и место моего уничтожения… и мои родители обманули меня.

…Мы остановились перед незнакомым зданием на Карнак-роуд. Внешний вид: обшарпанный. Окна: закрыты наглухо. «Сходишь со мной, сынок?» Ахмед Синай вылезает из машины; я, счастливый тем, что сопровождаю отца по делу, беспечно шагаю рядом. Медная табличка на двери: *Клиника Ухо-Горло-Нос.* И я, внезапно встревоженный: «Что это, а?бба? Зачем мы приехали…» И рука отца крепче сжимает мое плечо – и человек в белом халате, и медсестры – и «Ах, да, господин Синай, а это, значит, юный Салем – как раз вовремя – отлично, отлично», а я: «Абба, нет, а как же пикник?» – но врачи уже тащат меня по коридору, отец отстает, человек в халате окликает его: «Это продлится недолго – хорошие новости о войне, а?» И медсестра: «Пожалуйста, пройди со мной – подготовка к операции, анестезия».

Надули! Надули, Падма! Я тебе уже как-то рассказывал: поманили пикником, а завезли в больницу, в палату с яркими подвесными лампами; и я кричу: «Нет, нет, нет», а медсестра: «Не дури, ты уже почти взрослый, ложись», но я, вспомнив, как из-за носовых проходов началось все у меня в голове; как носовая жидкость поднималась выше-выше-выше, туда-куда-соплям-обычно-ходу-нету; как возникла связь, освободившая голоса во мне, – я дрыгаю ногами и ору так, что им приходится силой меня укладывать. «Честное слово, – говорит медсестра, – такого ребенка я в жизни не видела».

И вот то, что началось в бельевой корзине, закончилось на операционном столе, потому что меня все-таки уложили, держа за руки за ноги, и тот человек в халате сказал: «Ты ничего не почувствуешь, это легче, чем вырезать гланды, мы быстренько прочистим тебе носовые пазухи, раз и навсегда», а я: «Нет, пожалуйста, не надо», но голос не умолкает: «Накладываю маску, считай до десяти».

Считаю. Числа проходят строем: раз-два-три.

Шипит выпущенный на волю газ. Числа сминают меня: четыре-пять-шесть.

Лица расплываются в тумане. А числа толпятся, я, кажется, плачу, числа падают на меня, словно бомбы: семь-восемь-девять.

Десять.

– Боже правый, мальчик до сих пор в сознании. Невероятно. Попробуем еще раз. Ты слышишь меня? Салем, так, кажется? Что ж, дружок, выдай еще десятку! – На числах меня не подловишь. Огромные толпы собирались у меня в голове. Я – властелин чисел. Вот они снова идут: ’диннадцать, двенадцать.

Но они не позволят мне встать, пока… тринадцать-четырнадцать-пятнадцать, о, Боже, Боже, туман клубится, летит назад-назад-назад, шестнадцать, за войну, за перечницы, назад-назад, семнадцать-восемнадцать-девятнадцать.

Двад…

Была когда-то бельевая корзина, и мальчик, который засопел слишком громко. Мать

его разделась, и перед его глазами возникло черное Манго, и пришли голоса, которые не были голосами архангелов. Рука обрушилась на левое ухо, и оно оглохло. А на жаре распустились пышным цветом: фантазия, бегство от реальности, сладострастие. Была и башня с часами и жульничество в классе. А любовь в Бомбее вызвала падение с велосипеда, рожки на лбу вошли во впадинки, оставленные щипцами, и пятьсот восемьдесят один ребенок стал посещать мою голову. Дети полуночи: они могли бы быть воплощением нашей надежды на свободу, а могли бы быть уродами-с-которыми-нужно-покончить. Парвати-Колдунья, самая преданная из всех, и Шива, определивший основы нашей жизни. Появился вопрос о цели, пошли дебаты об идеях и вещах. И были колени и нос, нос и колени.

Начались ссоры, и взрослый мир стал просачиваться в мир детей; возникли эгоизм, чванство и ненависть. И невозможность третьего принципа, и страх-стать-ничем-после-всего зародился и начал шириться. И то, о чем все молчали: что цель пятисот восьмидесяти одного содержалась в их уничтожении; что они явились лишь ради того, чтобы стать ничем. Пророчеств, предвещавших такой исход, никто не слушал.

И откровения, и запертый мозг; и изгнание, и возвращение через четыре года; растут подозрения, ширятся раздоры, дети уходят десятками, сотнями. И в конце остается всего один голос; но оптимизм не исчезает – то-что-есть-в-нас-общего может еще побороть то-что-нас-разъединяет.

До того, как…

Тишина вокруг. Темная комната (жалюзи спущены). Мне ничего не видно (нечего видеть).

Тишина внутри. Связь оборвана (навсегда). Мне ничего не слышно (нечего слышать).

Тишина как пустыня. И чистый, незаложенный нос (носовые проходы, полные воздуха). Воздух, вандал, берет штурмом мои потайные места.

Осушен. Меня осушили, подвергли дренажу. Парахамсу лишили полета.

(Навсегда).

О, поймите же, поймите, я объясняю по складам: операция, очевидной целью которой являлся дренаж моих воспаленных носовых пазух и очистка раз-и-навсегда моих носовых проходов, привела к тому, что оборвались все типы связи, полученные в бельевой корзине; меня лишили моей носоданной телепатии, изгнали из возможного сообщества детей полуночи.

В наших именах заключаются наши судьбы; живя в стране, где имена, в отличие от Запада, еще не утратили смысл и представляют собой нечто большее, чем простой набор звуков, мы – жертвы собственных титлов. В имени «*Синай»* содержится Ибн Сина[302], великий маг, последователь суфиев[303]; а еще Син, месяц, древний бог Хадрамаута, имевший собственный способ сцепления, собственные силы воздействия-на-расстоянии, собственную власть над приливами и отливами мира. Но Син – это и буква S со змеиным извивом; змеи лежат, свернувшись, в моем имени. А еще возникает случайная транслитерация – Синай латинским письмом, не насталиком, – это гора откровения[304], сними-обувь-свою, заповедей и золотого тельца; но когда все сказано и звук слов затихает; когда Ибн Сина забыт, а месяц уходит за горизонт; когда змеи прячутся и откровения завершаются, это имя становится именем пустыни – скудости, бесплодия, праха; именем конца.

В Аравии – *Аравии Пустынной* – во времена пророка Мухаммада проповедовали и другие пророки: Маслама из племени Бану Ханифа в Ямане, самом сердце Аравии; и Ханзила ибн Сафван, и Халид ибн Синан. Бог Масламы звался ар-Рахман, «Милосердный»; сегодня мусульмане молятся Аллаху, ар-Рахману. Халид ибн Синан был послан племени Абс;

302
303
304

какое-то время за ним шли, а потом следы его затерялись. Пророков нельзя считать ложными только потому, что их застигла врасплох и поглотила история. Люди, полные достоинств, от века вопияли в пустыне.

– Жена, – сказал Ахмед Синай, – с этой страной все кончено. – После прекращения огня и дренирования эта фраза не выходила у него из головы, и Амина принялась уговаривать мужа эмигрировать в Пакистан, где уже обосновались ее сестры и куда после смерти отца собиралась уехать и мать. «Начнем все сначала, – предложила она. – Джанум, это будет чудесно. Что нам делать на этом Богом забытом холме?»

И вот в конце концов, после всего, что было, вилла Букингем попала все же в лапы женщин Нарликара; и, опоздав почти на пятнадцать лет, моя семья отправилась в Пакистан, Землю Чистых. Ахмед Синай не оставил позади себя практически ничего; есть способы перевести деньги с помощью транснациональных компаний, и мой отец эти способы знал. А мне хоть и грустно было покидать место своего рождения, но я был отчасти и доволен, что уезжаю из города, где Шива прячется где-то, словно тщательно закопанная мина.

Мы окончательно покинули Бомбей в феврале 1963 года, и в день нашего отъезда я снес старый жестяной глобус в сад и зарыл его среди кактусов. Внутри глобуса – письмо премьер-министра и широкоформатный, с первой страницы, детский снимок; под снимком подпись: «Дитя Полуночи»… Вряд ли это такие уж священные реликвии – я не смею сравнивать банальные памятки моей жизни с волоском Пророка из Хазратбала или мощами святого Франциска Ксаверия из собора Бом Жезу, – но это все, что осталось от моего прошлого: сплющенный жестяной глобус, траченное плесенью письмо, фотография. И ничего больше, даже серебряной плевательницы. Только планета, потоптанная Мартышкой; прочие записи сделаны в запечатанных книгах небес, Сиджин и Иллиюн, Книгах Зла и Добра; во всяком случае, история такова.

…Уже на борту «Сабармати», когда мы встали на якорь у княжества Кач, я вспомнил о старике Шапстекере и подумал вдруг, а сказал ли ему кто-нибудь, что мы уезжаем. Я не осмелился спросить, боялся, что мне ответят «нет»; и вот, когда я представлял себе, как сносят дом, и рисовал в своем воображении тяжелые машины, пробивающие стены в офисе моего отца и в моей голубой спаленке, опрокидывающие железную винтовую лестницу для слуг и кухню, где Мари Перейра закатывала свои страхи в банки вместе с чатни и маринадами; громящие веранду, где сидела моя мать с ребенком в животе, тяжелым, будто камень, являлся мне также и образ огромного, вертящегося шара, который вторгается во владения «Цапстекер-сахиба», а затем и сам сумасшедший старик, бледный-исхудавший-беспрерывно облизывающий губы, показывается на самом верху рассыпающегося дома, среди рушащихся башен и красных черепиц провалившейся крыши; старик Шапстекер съеживается-дряхлеет-умирает на солнце, которого не видел много лет. Но, возможно, я драматизирую события; наверное, я позаимствовал все это из старого фильма под названием «Потерянный горизонт»; там красивые женщины покрывались морщинами, старели и умирали, когда все они покинули Шангри-Ла[305].

Для каждой змейки есть лесенка; для каждой лесенки – змейка. Мы прибыли в Карачи девятого февраля – а через несколько месяцев моя сестра вступила на путь, доставивший ей прозвания «Ангел Пакистана» и «Соловей Правоверных»; мы покинули Бомбей, но приобрели славу, отраженными лучами светившую и на нас. И еще одно: хотя я и подвергся дренажу, хотя голоса больше не говорили в моей голове, умолкнув навсегда, – я получил возмещение, а именно, впервые за всю мою жизнь открыл удивительные услады, таящиеся в чувстве обоняния.

Джамиля-певунья

305

И таким острым оказалось это чувство, что я смог различить липкую вонь лицемерия за гостеприимной улыбкой, которой встретила нас моя незамужняя тетка Алия в порту Карачи. Непоправимо пропитанная горечью оттого, что много лет тому назад мой отец оставил ее ради ее же сестры, моя тетка-директриса приобрела полноту и тяжелую поступь ничем не замутненной ревности; черные волоски незабытой обиды лезли почти из всех ее пор. Возможно, она смогла обмануть моих родителей и Джамилю, когда раскинула руки, когда побежала, переваливаясь, нам навстречу, когда закричала: «Ахмед-бхай, наконец-то! Лучше поздно, чем никогда!»; когда окутала нас, словно паук – паутиной, своим – поневоле принятым – гостеприимством; но я, большую часть моего детства носивший пропитанные горечью перчатки и шапочки с помпончиками, кислые от зависти; я, прекрасно знающий, что значит сладострастие мести, я, Салем-осушенный, чуял запахи мщения, истекавшие из ее желез. Но что я мог возразить: самум ее мести подхватил нас и понес вниз по Бандер-роуд к ее дому на Гуру Мандир – мы влипли, как мухи в паутину, только были еще глупее, потому что радовались нашему плену.

…Но какое у меня сделалось обоняние! Большинство из нас с колыбели привыкает распознавать весьма узкий спектр запахов; а я, поскольку всю свою жизнь был неспособен нюхать, абсолютно ничего не знал об обонятельных табу. В результате я даже и не пытался делать вид, будто ничего не чую, если кто-нибудь пускал ветры, что ставило в неловкое положение моих родителей; но гораздо важнее было то, что мой наконец-то свободный нос различал не только запахи, имеющие чисто физическую природу, каковыми привыкли довольствоваться остальные представители человеческого рода. И с самых первых дней моего пакистанского отрочества я начал изучать тайные запахи этого мира; пьянящий, но быстро пропадающий аромат новой любви и более глубокий и стойкий, едкий дух ненависти. (Вскоре после моего приезда на Землю Чистых я обнаружил в себе до крайности нечистую любовь к сестре; а запах непрогорающих костров моей тетки наполнял мне ноздри с самого начала). Нос оповещает, но не дает власти над событиями; при моем вторжении в Пакистан я был вооружен (если так можно выразиться) лишь новым проявлением моего носовитого наследства, и оно позволяло мне разнюхивать, где правда, где ложь; чуять, что-носится-в-воздухе, идти по следу; но не давало того, что, собственно, и нужно завоевателю – силы покорить врагов.

Не стану отрицать: я так и не простил Карачи за то, что это – не Бомбей. Расположенный между пустыней и унылыми солеными бухтами, берега которых поросли чахлыми мангровыми деревьями, мой новый город отличался уродством, затмевавшим даже мое; выросший слишком быстро – с 1947 года его население увеличилось вчетверо – он стал бесформенным и неуклюжим, словно разбухший до гигантских размеров карлик. На мой шестнадцатый день рождения мне подарили мотороллер «Ламбретта»; гоняя по улицам на моей открытой всем ветрам машине, я вдыхал безнадежный фатализм обитателей трущоб и чопорную настороженность богачей; я приникал к следам узурпации и фанатизма; меня манил длинный, проходящий под всей вселенной коридор, в конце которого отворялась дверь к Таи Биби, самой старой в мире шлюхе… но я тороплю события. В сердце моего Карачи, на Клейтон-роуд стоял большой старый дом Алии Азиз (там она, наверное, бродила годами, будто призрак, которому некого пугать); стены его покрывала мгла и пожелтевшая краска, и каждый вечер по дому протягивалась длинная обвиняющая тень минарета местной мечети. И даже годы спустя, когда в квартале фокусников мне доведется жить под сенью другой мечети, под сенью, во всяком случае, в те времена хранительной, не таящей угрозы, мне так и не удастся избавиться от возникшего в Карачи отношения к теням мечетей, в которых, как мне казалось, можно было учуять теснящий, спирающий горло, обвиняющий запах моей тетки. Она выжидала; но месть ее, когда настал момент, оказалась сокрушительной.

Карачи был тогда городом миражей; возросший из пустыни, он не смог до конца побороть ее силы. Оазисы блистали среди бетона на Эльфинстон-стрит; тающие в мареве караван-сараи можно было разглядеть среди хибарок, что сгрудились вокруг Черного моста,

Кала Пул. В городе, где не выпадали дожди (Карачи тоже возник как рыбацкая деревушка, и это единственное, что было общим у него с городом моего рождения), скрытая под асфальтом пустыня сохраняла свою древнюю способность порождать видения, и в итоге реальность ускользала от жителей Карачи, и они охотно, с радостью просили своих вождей разъяснить им – правда ли то, что они видят, или мираж. Осажденные со всех сторон иллюзорными песчаными дюнами и призраками древних царей, да еще сознанием того, что имя веры, на которой стоит их город, означает «покорность»[306], мои новые сограждане испускали пресный, выхолощенный запашок молчаливого согласия, и он, этот запах, угнетал мой нос, который вдыхал – совсем недавно, хоть и короткое время – пряный, богатый специями бомбейский нонконформизм.

Вскоре по приезде – возможно, затененная мечетью атмосфера в доме на Клейтон-роуд угнетала и его – мой отец решил построить нам новый дом. Он купил участок в одном из самых фешенебельных районов новой застройки; и на свой шестнадцатый день рождения Салем не только приобрел «Ламбретту», но и познал также тайные силы пуповины.

Что хранилось в соляном растворе, стояло шестнадцать лет в шкафу моего отца, дожидаясь подобного дня? Что, колыхаясь, словно водяная змея, плыло с нами по морю и наконец было зарыто в твердую, бесплодную землю Карачи? Что питало некогда новую жизнь в лоне – что ныне пропитало почву чудесной жизненной силой, – породив разноуровневое, современное бунгало в американском стиле?.. Оставив в стороне эти загадочные вопросы, объясняю, что в мой шестнадцатый день рождения вся моя семья (включая тетю Алию) собралась на нашем земельном участке на Коранджи-роуд; под взглядами бригады строителей и в присутствии бородатого муллы Ахмед вручил Салему кирку; я символически воткнул ее в землю. «Новое начало, – проговорила Амина. – Иншалла[307], мы все теперь должны жить по-новому». Подвигнутые ее благородным и несбыточным желанием, рабочие быстро расширили выкопанную мною яму; и вот явилась на свет банка из-под маринада. Соляной раствор был вылит на ссохшуюся почву, а то-что-осталось, благословил мулла. После чего пуповину – была она моей? Или Шивы? – вкопали в землю, и дом тотчас же стал расти. Появились сладости и шипучие напитки; мулла выказал замечательный аппетит и поглотил тридцать девять ладду; но Ахмед Синай ни разу не пожаловался на расходы. Дух погребенной пуповины вдохновил рабочих; но, хотя котлован под фундамент и рыли глубоко, дом все же рухнул еще до того, как мы поселились в нем.

Вот какой вывод сделал я по поводу пуповин: хотя все они своей силой повелевают расти домам, одни срабатывают гораздо лучше, чем другие. Город Карачи служит тому доказательством; наверняка построенный поверх совершенно негодных пуповин, он был полон домов-уродцев, чахлых, горбатых детей с короткой линией жизни; домов, пораженных таинственным недугом слепоты, без выходящих наружу окон; домов, похожих на радиоприемники, или коробки кондиционеров, или тюремные камеры; супертяжелых зданий сумасшедшей высоты; словно пьяные, они валились с наводящей скуку частотой; в диком изобилии водились там помешанные дома, чью неприспособленность для жизни могло превзойти только их безобразие. Город дал пустыне тень, но вырос бесформенным и гротескным – то ли из-за пуповин, то ли потому, что рос на бесплодной почве.

Способный с закрытыми глазами почуять печаль и радость, унюхать и ум, и тупость, я добрался до Карачи и до своего отрочества – надо учесть, конечно, что новые нации субконтинента вместе со мной оставили детство позади; что муки взросления и нелепый, сиплый, ломающийся голос были присущи и мне, и им. Дренирование подвергло цензуре мою внутреннюю жизнь; мое чувство нерасторжимой связи осталось неосушенным.

Салем вторгся в Пакистан, вооруженный всего лишь сверхчувствительным носом; но,

306
307

что хуже всего, он *вторгся не с той стороны!* Все успешные завоевания этой части света начинались с севера; все завоеватели приходили по суше. Поставив по незнанию паруса против ветра истории, я прибыл в Карачи с юго-востока, да еще и по морю. То, что за этим последовало, не должно было бы, я полагаю, меня удивить.

По зрелом размышлении, преимущества набега с севера самоочевидны. С севера приходили военачальники Омейядов[308], Хаджадж бин Юсуф и Мухаммад бин Касим[309]; а также исмаилиты[310]. (Гостиница для молодоженов, где, как говорили, останавливались Али Хан с Ритой Хейворт, выходила прямо на наш участок сдобренной пуповиной земли; по слухам, кинозвезда вызвала большой ажиотаж, прогуливаясь по окрестностям в неких сказочных, полупрозрачных голливудских неглиже). О неодолимое превосходство северных направлений! Откуда Махмуд Газнави[311]обрушился на индийские долины, принеся с собой язык, который может похвастаться по меньшей мере тремя формами буквы С[312]? Неизбежный ответ: се, син и сад – пришельцы с севера. А Мухаммад бен Сам Гури[313], одолевший Газневидов и основавший Делийский Халифат? Путь сына Сам Гури тоже лежал на юг.

И Туглаки[314], и императоры-Моголы… но я уже доказал свою мысль. Остается только добавить, что идеи, как и армии, движутся на юг-на юг-на юг с северных высот: легенда о Сикандаре Бут-Шикане[315], иконоборце из Кашмира, который в конце четырнадцатого века разрушил все индуистские храмы в Долине (создав прецедент для моего деда), сошла с гор на приречные низменности; и через пять сотен лет движение моджахедов Сайда Ахмада Барилви следовало по наезженной колее. Идеи Барилви: самоотверженность, ненависть к индусам, священная война… философии, как и цари (пора уже закругляться) являлись не с той стороны, что я, а с прямо противоположной.

Родители Салема заявили: «Мы должны жить по-новому»; на Земле Чистых чистота стала нашим идеалом. Но Салем так и остался навсегда запятнан Бомбеем; голова его, кроме веры в Аллаха, была забита самыми разными религиями (как первые индийские мусульмане, купцы-мопла[316]из Малабара, я жил в стране, где численность богов соперничает с народонаселением; так что, невольно восставая против вызывающей клаустрофобию сутолоки богов, моя семья приняла этику бизнеса, а не веры); и плоть его вскоре выкажет явное предпочтение нечистоте. Как и моплы, я был обречен на неудачу, но в конце концов чистота отыскала меня, и даже мои, Салема, грехи были омыты. После моего шестнадцатого дня рождения я стал изучать историю в колледже тети Алии; но и знания не могли заставить меня почувствовать свою причастность к этой стране, лишенной детей полуночи; стране, где мои товарищи-студенты выходили на демонстрации, требуя более жесткого исламского строя – доказывая тем самым, что они каким-то образом умудрились сделаться антитезой всех студентов на земле, ибо требовали больше-правил-а-не-меньше. И все же мои родители решили обосноваться здесь; хотя Аюб Хан и Бхутто[317]ковали союз с Китаем (который так недавно был нашим врагом), Ахмед и Амина слышать не хотели никакой критики в адрес их новой родины; и мой отец купил фабрику полотенец.

В те дни на моих родителей снизошло некое невиданное сияние; туман вины, витавший над Аминой, рассеялся, и мозоли, казалось, больше ее не мучили; Ахмед, хоть и белый как

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

лунь, чувствовал, как его замороженные чресла оттаивают от жара вновь разгоревшейся любви к жене. Иногда по утрам на шее у Амины можно было увидеть следы зубов; порой она заливалась неудержимым смехом, как девчонка, как школьница: «Ну я не знаю, – ворчала ее сестра Алия. – Вы двое – как новобрачные, честное слово». Но я-то чуял, что именно недоговаривает Алия, что остается внутри, когда наружу выходят слова, полные дружеского участия… Ахмед Синай назвал свои полотенца именем жены: «Амина-Брэнд».

– Ну, и кто они такие, эти ваши мультимиллионеры? Эти Давуды, Сейголы, Гаруны? – задорно восклицал он, отметая в сторону богатейшие семьи страны. – Кто они такие, Валика или Зульфикары? Я их всех переплюну. Вот погодите! – грозился он. – Через два года весь мир будет утираться полотенцами «Амина-Брэнд». Лучшая махровая ткань! Самое современное оборудование! Мы весь мир умоем и оботрем; Давуды и Зульфикары приползут на коленях, станут умолять – раскрой, мол, свой секрет; а я скажу: да, полотенца высокого качества, но секрет не в мануфактуре; это любовь покорила мир. (Я различаю в речи отца остаточный эффект лихорадки оптимизма).

Покорила ли «Амина-Брэнд» весь мир во имя умытых лиц (что приближается к…)? Явились ли Валика и Сейголы спросить у Ахмеда Синая: «Боже мой, мы совсем сбиты с толку, яяр, как это у тебя получается?» Утерли ли полотенца высшего качества, с узорами, придуманными самим Ахмедом, – немного кричащими, но это ничего, ведь они рождены любовью – утерли ли они влагу с лиц пакистанцев и нос конкурентам на экспортных рынках? Стали ли русские-англичане-американцы заворачивать свои телеса в достигшее бессмертия имя моей матери? История «Амины-Брэнд» подождет, потому что вот-вот начнется карьера Джамили-Певуньи; затененный мечетью дом на Клейтон-роуд посетил Дядюшка Фуф.

На самом деле он был майором (в отставке) по имени Аладдин Латиф; о голосе моей сестры он услышал от «чертовски хорошего друга, генерала Зульфикара; мы вместе служили на границе в сорок седьмом». Он объявился в доме Алии Азиз вскоре после пятнадцатого дня рождения Джамили, сияющий и подпрыгивающий, с полным ртом золотых зубов. «Я – человек простой, – заявил он, – так же, как и наш славный президент. Свои сбережения я храню в самом надежном месте». Как и у нашего славного президента, у майора была сферическая голова; но, в отличие от Аюб Хана, Латиф покинул армию и занялся шоу-бизнесом. «Я – лучший импресарио в Пакистане, старина, – говорил он моему отцу. – Главное – собранность, старая армейская привычка, чертовски прилипчивая». Латиф пришел не просто так: он хотел услышать пение Джамили. «И если она хоть на два процента так хороша, как мне говорили, дорогой мой господин, я ее сделаю знаменитой! О да, завтра же, наутро: гарантирую! Связи, вот что нужно – связи и собранность; а у вашего покорного слуги отставного майора Латифа того и другого хоть отбавляй. *Аладдин* Латиф, – подчеркнул он, блеснув золотом на Ахмеда Синая, – знаете ту историю? Стоит мне потереть мою чудесную старую лампу – и оттуда выскочит джинн, и принесет славу и деньги. Ваша дочь попадет в чертовски хорошие руки. *Чертовски* хорошие».

К счастью для легиона поклонников Джамили-Певуньи, Ахмед Синай был влюблен в свою жену; размякший от неги, он не вышвырнул майора Латифа вон после первых же слов. Сейчас мне кажется, будто мои родители тогда уже пришли к выводу: дочь их обладает столь выдающимся даром, что грех держать его под спудом; высокое волшебство ее ангельского голоса внушило им, что талант неизбежно требует особого к себе отношения. Ахмеда и Амину заботило лишь одно: «Наша дочь, – изрек Ахмед (в глубине души он всегда был более старомодным из них двоих), – девушка из порядочной семьи, а вы хотите вывести ее на сцену, поставить перед Бог знает сколькими чужими мужчинами?» Майор даже оскорбился: «Господин мой, – сказал он, выпрямившись, – думаете, я ничего не понимаю? У меня тоже есть дочери, старина. Семь, благодарение Богу. Я создал для них маленькую туристическую фирму – но все сделки совершаются по телефону, так-то. У меня и в мыслях не было посадить их в офисе у окошка. По правде говоря, это – самое крупное в городе туристическое агентство с записью по телефону. Мы отправляем экскурсии поездом в

Англию; есть и автобусные туры. И я желаю, – добавил он торопливо, – чтобы вашей дочери оказывали столько же уважения, сколько моим. Да что там: больше, гораздо больше – она ведь будет звездой!»

Дочерей майора Латифа – Сафию, Рафию и пятерых других-афий моя сестра (в которой пробудился еще раз последний проблеск Мартышки) стала называть Фуфиями; их отца мы вначале прозвали Папаша Фуфий, а затем Дядюшка, в виде почетного звания – Фуф. Он сдержал свое слово: через полгода Джамиля-Певунья выпустила пластинку хитов, заимела уйму поклонников и прочее; и все это, как я сейчас объясню, не открывая лица.

Дядюшка Фуф сделался у нас завсегдатаем; он приходил на Клейтон-роуд каждый вечер, в то время, которое я по старой привычке называл часом коктейля; тянул гранатовый сок и просил Джамилю что-нибудь спеть. А она, став на удивление покладистой, всегда соглашалась… после Дядюшка Фуф прочищал горло, будто туда что-то попало, и добродушно шутил по поводу моей будущей женитьбы. Ослепляя меня ухмылкой в двадцать четыре карата, он говорил: «Пора тебе взять жену, молодой человек. Послушайся моего совета: выбери девушку с хорошими мозгами и скверными зубами; будет тебе два в одном – и подруга, и надежный сейф!» Дочери Дядюшки Фуфа, если верить ему, все соответствовали вышеозначенным параметрам… я ж, смущаясь и чуя, что за шуткой скрываются серьезные намерения, восклицал только: «О, Дядюшка Фуф!» Майору Латифу было известно это прозвище; оно, кажется, даже ему нравилось. Он кричал, хлопал меня по колену: «Трудно найти такую, а? Чертовски верно. Ладно, мальчик мой, выбери одну из моих дочерей, и я тебе обещаю, что ей вырвут все зубы; когда надумаешь жениться, она принесет тебе в приданое улыбку в миллион баксов!» Моя мать всячески старалась перевести разговор на другую тему; идея Дядюшки Фуфа ей совсем не нравилась, несмотря на драгоценные зубы… в тот первый вечер – и очень часто впоследствии – Джамиля пела майору Аладдину Латифу. Голос ее уносился в окно и заглушал уличное движение; птички переставали чирикать, а в закусочной через дорогу, где продавали гамбургеры, выключали радио; на тротуарах собирались люди, и голос сестры катился над ними, как волны… когда она закончила, мы увидели, что Дядюшка Фуф плачет.

– Бриллиант, – изрек он, хрюкнув в носовой платок. – Господин и госпожа, ваша дочь – настоящий бриллиант. Я благоговею, совершенно благоговею. Благоговею чертовски. Она мне доказала, что золотой голос куда лучше золотых зубов.

И когда слава Джамили-Певуньи достигла такого предела, что уже нельзя было откладывать публичный концерт, именно Дядюшка Фуф распустил слухи, будто она попала в тяжелую, страшно изуродовавшую ее автомобильную катастрофу; именно отставной майор Латиф придумал для нее знаменитую, все скрывающую чадру из белого шелка, занавес или покрывало, густо расшитое золотыми узорами и изречениями из Корана; за этим полотнищем скромно сидела моя сестра, когда ей приходилось выступать на публике. Чадру Джамили-Певуньи держали две неутомимые мускулистые фигуры, тоже закутанные с головы до пят, но в более простые ткани; официально считалось, что это ее помощницы, однако пол их под длинными одеяниями было невозможно определить; а в самом центре полотнища майор прорезал дыру. Диаметр – три дюйма. Края обшиты тончайшими золотыми нитями. Так история моей семьи вновь переплелась с судьбой целого народа, ибо, когда Джамиля запела, прижав губы к расшитому по краям отверстию, весь Пакистан влюбился в пятнадцатилетнюю девчонку, очертания которой лишь угадывались сквозь бело-золотую продырявленную простыню.

Слухи об аварии придали завершающий блеск ее популярности; во время ее концертов театр «Бамбино» в Карачи буквально ломился от поклонников, и «Шалимар-багх» в Лахоре был забит до отказа; ее пластинки неизменно возглавляли список хитов. И, став общественным достоянием, «Ангелом Пакистана», «Голосом нации», «Бюльбюль-э-Дин», или «Соловьем правоверных», получая в неделю тысячу и одно нешуточное предложение вступить в брак; сделавшись любимой дочерью целого народа и выйдя тем самым за пределы семейного очага, она оказалась поражена двумя вирусами, микробами-близнецами,

которых порождает слава: первый превратил ее в жертву ее собственного публичного имиджа, ибо слухи об аварии принуждали ее носить бело-золотую чадру всегда, даже в школе тетушки Алии, куда Джамиля продолжала ходить; второй же тип вируса заставлял сестру подчеркивать определенные стороны своей натуры, одновременно упрощая их, что неизбежно происходит с каждой звездой; это, так сказать, побочный эффект славы; так что слепое и ослепляющее благочестие, а также неколебимый, в-победах-и-поражениях, национализм, которые и раньше уже начинали проявляться в ней, теперь стали главенствовать в ее личности, исключив почти все остальное. Популярность заточила ее в золоченый шатер; и характер этой новой дочери нации стал гораздо более тесно связан с самыми резкими чертами национального менталитета, нежели с миром детства, с теми годами, когда она была Мартышкой.

Голос Джамили-Певуньи непрестанно звучал по «Голосу Пакистана», и деревенским жителям Западной и Восточной частей она уже казалась неким сверхъестественным существом, неподвластным усталости; ангелом, поющим для своего народа день и ночь напролет; Ахмед Синай, последние колебания которого по поводу карьеры, избранной дочерью, исчезли без следа при виде ее колоссальных доходов (уроженец Дели, он стал истинным бомбейским мусульманином в сердце своем и ценил денежные дела превыше всего остального), без конца твердил Джамиле: «Видишь, дочка: чувство приличия, чистота, искусство и хорошая деловая хватка могут идти рука об руку; твой старый отец не зря учил этому тебя». Джамиля соглашалась с ласковой улыбкой… худенькая, с повадками мальчишки, девочка-подросток превратилась в стройную, с чуть раскосыми глазами, смугло-золотую красавицу; даже нос ее выглядел прелестно. «Моя дочь, – гордо заявил Ахмед Синай Дядюшке Фуфу, – пошла в меня: все благородные черты моего рода проявились в ней». Дядюшка Фуф бросил на меня испытующий, смущенный взгляд и прочистил горло: «Чертовски прелестная девушка, господин, – сказал он моему отцу. – Первый класс, без обмана».

Слух моей сестры привык к грому аплодисментов; во время ее первого, уже легендарного выступления в «Бамбино» (нам принес билеты Дядюшка Фуф – «чертовски хорошие места, лучшие во всем театре!» – и мы сидели рядом с семью Фуфиями, все семь – под чадрами… Дядюшка Фуф ткнул меня под ребра: «Эй, парень, выбирай! Не ошибешься! Вспомни о приданом!» – я покраснел до ушей и уставился на сцену), – крики «Вах! Вах!» порой заглушали голос Джамили; а после представления мы нашли Джамилю за кулисами утопающей в море цветов и должны были прокладывать себе путь среди благоуханных садов народной любви; моя сестра едва не лишилась чувств не от усталости, а от приторного, всепроникающего аромата обожания, которым букеты пропитали комнату. У меня тоже закружилась голова, а Дядюшка Фуф принялся выбрасывать цветы в окошко целыми охапками – их подбирала толпа поклонников – крича: «Цветы красивые, чертовски красивые, но и национальной героине нужен воздух, чтобы дышать!»

Аплодисменты звучали и в тот вечер, когда Джамилю-Певунью (вместе с семьей) пригласили в Президентский дворец спеть для главнокомандующего перечницами. Игнорируя появившиеся в заграничных журналах сведения о растратах и счетах в швейцарском банке, мы отмылись и оттерлись до блеска; семья, выпускающая полотенца, должна быть безупречно чистой. Дядюшка Фуф с особенным тщанием начистил свои золотые зубы. В просторном холле, где висели украшенные гирляндами портреты Мухаммада Али Джинны, основателя Пакистана, Кайд-э-Азама[318], и его убитого друга и последователя Лиаката Али[319], была натянута простыня с прорезью, и моя сестра пела. Голос Джамили наконец отзвучал; голос золотых галунов сменил ее окруженную золотым шитьем песню. «Джамиля, дочка, – услышали мы, – твой голос – меч очищающий; мы вооружимся им, дабы избавить от скверны людские души». Президент Аюб был, по

318
319

собственному его признанию, простым солдатом; он внушил моей сестре простые солдатские добродетели – верить-в-вождя и уповать-на-Бога; и она сказала: «Воля президента – голос моего сердца». Через дыру в простыне Джамиля-Певунья поклялась быть доброй патриоткой, и диван-э-хас, холл этой частной резиденции, зазвенел от аплодисментов, правда, вежливых, не похожих на дикий, неистовый «вах-вах» толпы, запрудившей театр «Бамбино»; то было санкционированное свыше одобрение галунов-медалей-и-погон и восторженные хлопки пустившей слезу родни. «Говорил же я вам, – шепнул Дядюшка Фуф. – Чертовски здорово, а?»

То, что я мог учуять, Джамиля могла спеть. Истина-красота-счастье-горе: у всего этого был свой особый аромат, различаемый моим носом; и все это, в исполнении Джамили, находило свой идеальный голос. Мой нос и ее голос: эти два дара дополняли друг друга, но расходились в разные направления. Пока Джамиля пела патриотические песни, мой нос предпочитал упиваться самыми скверными запахами, которые так и вторгались в него: горечью тети Алии, тяжелой застарелой вонью, исходившей от ограниченных умов моих товарищей-студентов; так что пока Джамиля поднималась к облакам, я падал в сточную яму.

Тем не менее, оглядываясь назад, я думаю, что влюбился в нее сразу, еще до того, как мне сказали… есть ли доказательство невыразимой, немыслимой любви Салема к сестре? Да, есть. Джамиля-Певунья унаследовала одну страсть от исчезнувшей Медной Мартышки: она любила хлеб. Чапати, паратхи, испеченные на тандуре наны[320]? Да, но. Так что же: предпочтение отдавалось дрожжевому тесту? Именно так; моя сестра – несмотря на патриотизм – вечно тосковала по дрожжевому хлебу. И где же, во всем Карачи, можно было достать настоящие, высокого качества, хорошо поднявшиеся, пышные буханки? Конечно, не в булочной; лучший в городе хлеб продавали через окошечко в глухой стене каждый четверг, по утрам, сестры-монахини скрытого от глаз профанов ордена святой Игнасии. Каждую неделю я садился на мотороллер «Ламбретта» и привозил сестре теплый, свежий монастырский хлеб. Невзирая на длинную, извивающуюся змеей очередь; презрев пряные, жаркие, пропитанные навозом запахи узких улочек вокруг монастыря; забывая обо всех прочих делах, я ездил за хлебом. В сердце моем не было ни капли осуждения; ни разу не спросил я сестру, как сочетаются между собой эта последняя память о ее прежних заигрываниях с христианством и ее новая роль Соловья Правоверных…

Возможно ли проследить, как зародилась эта противоестественная любовь? Может быть, Салему, всегда мечтавшему занять место в центре истории, вскружило голову то, что его собственные надежды сбылись у его сестры? Может быть, со-всех-сторон-изувеченный уже-не-Сопливец, отсеченный от Конференции Полуночных Детей так же, как и изрезанная ножом маленькая нищенка Сундари, он влюбился в новоявленную цельность, которой достигла Джамиля? Бывший когда-то Мубараком, Благословенным, обожал ли я в своей сестре исполнение моих самых сокровенных желаний?.. Скажу одно: я и сам не знал, что творилось во мне, пока, стиснув мотороллер своими шестнадцатилетними ляжками, я не начал гоняться за шлюхами.

Пока Алия медленно тлела; в первые дни полотенец «Амина-Брэнд»; среди апофеоза Джамили-Певуньи; когда разноуровневый дом, вырастающий из пуповины, был еще далек от завершения; во время поздно расцветшей любви моих родителей; в окружении довольно бесплодных истин Земли Чистых, Салем Синай примирился с самим собой. Не скажу, чтобы он не грустил; не желая подвергать цензуре мое прошлое, я должен признаться, что он так же дулся, забивался в свой угол, несомненно, так же страдал от прыщей, как и большинство мальчиков его возраста. Его сны, из которых ушли дети полуночи, переполнялись ностальгией, доходившей до тошноты; часто он просыпался от спазмов в горле, когда тяжелый, мускусный дух сожалений пропитывал его чувства; в кошмарах ему являлись марширующие числа – раз, два, три, и пара сжимающих, давящих, цепких коленей… но зато у него появился новый дар, да к тому *же* мотороллер «Ламбретта» и (еще не осознанная)

320

смиренная, покорная любовь к сестре… Отвращая свой взор повествователя от уже описанного прошлого, я настаиваю на том, что Салему, тогда-как-и-сейчас, удалось направить свое внимание к еще-не-описанному будущему. Убегая при первой возможности из дома, где едкие испарения теткиной зависти делали жизнь невыносимой, выходя из колледжа, наполненного другими, но столь же неприятными запахами, я вскакивал на моего двухколесного коня и разъезжал по улицам города, жадно впитывая незнакомые ароматы. А после того, как мы услышали о смерти деда в Кашмире, я преисполнился еще большей решимости утопить прошлое в густом, кипящем, пахучем вареве настоящего… О первые, головокружительные дни, еще до того, как все будет разнесено по рубрикам! Безвидные, ибо я пока не соотнес их с какой-то формой, запахи вливались в меня: тоскующие, разлагающиеся испарения звериных фекалий в садах музея на Фрер-роуд, запах испещренной гнойниками плоти молодых людей в широких штанах, образующие живую цепь в вечера Садара; острый, как нож, дух бетелевых плевков и горько-приторное сочетание бетеля и опиума: «ядерным паном» насквозь пропахли аллеи между Эльфинстон-стрит и Виктория-роуд, где кишели торговцы вразнос. Запахи верблюдов, запахи машин; раздражающий, словно мошкара, душок велорикш; аромат контрабандных сигарет и черного рынка; перебивающие друг друга миазмы водителей городских автобусов и немудрящий пот пассажиров, набившихся в салон как сельди в бочку. (Один водитель в те дни настолько взбесился оттого, что его перегнал соперник, работавший на другую компанию – тошнотворный смрад поражения так и сочился из его желез, – что ночью подъехал на своем автобусе прямо к дому врага, вопил и улюлюкал, пока тот не показался, и затем раздавил его в лепешку – весь, как моя тетка, провоняв местью). Из мечетей сочился на меня ладан благочестия; из армейских автомобилей с развевающимися флажками долетали напыщенные испарения власти; даже с афиш кинотеатров шибал мне в нос дешевый дух штампованных заграничных вестернов и самых яростных военных фильмов, какие только производились в мире. В то время я был словно одурманен; голова у меня кружилась от сложных запахов; но потом искони присущее мне стремление все раскладывать по полочкам возобладало, и я пришел в норму.

Индо-пакистанские отношения испортились; границы были закрыты, так что мы не смогли выехать в Агру на траур по моему деду; эмиграция Достопочтенной Матушки в Пакистан тоже несколько отсрочилась. Между тем Салем разрабатывал общую теорию обоняния, приступив к процедурам классификации. Подобным научным подходом я решил почтить память покойного деда. Начал я с того, что усовершенствовал свое умение распознавать запахи до такой степени, что мог различать бесконечные разновидности бетеля и (с закрытыми глазами) все двенадцать доступных нам сортов шипучих напитков. (Задолго до того, как американский радиокомментатор Херберт Фелдмен, явившийся в Карачи, сетовал, что в городе существует двенадцать сортов газированных вод и только три фирмы, поставляющие молоко в бутылках, я, завязав глаза, мог сказать, где пакола, а где хоффманс-мишен, где цитра-кола, а где фанта. Фелдмен увидел в этих напитках проявление империализма и капитализма; мне, который нюхом чуял, где канада-драй, а где севен-ап, безошибочно отличая пепси от колы, было интереснее подвергнуть их всестороннему испытанию на запах. Дабл-кола и кола-кола, перри-кола и баббл-ап тоже были определены вслепую и обозначены). Только когда я убедился, что освоил все запахи материального мира, я перешел к ароматам, доступным только моему обонянию; я стал различать, как пахнут чувства; тысяча и один порыв, те самые, что и делают нас людьми: любовь и смерть, алчность и смирение, иметь и не-иметь были снабжены ярлычками и заняли свое место в аккуратных, чисто прибранных отсеках моего ума.

Ранние подходы к упорядочению: я пытался классифицировать запахи по цветовому спектру – кипятящееся белье и типографская краска «Дейли Джанг» были одинаково синими, а старое тиковое дерево и свежие пуки – темно-коричневыми. Автомобили и кладбища были мною отнесены к серому… имелись у меня и весовые категории: запахи веса пера (бумага), запахи легчайшего веса (мыло и вымытые тела; трава); второго полусреднего веса (пот,

королева ночи); шахи-корма и велосипедная смазка находились в среднетяжелом весе, а гнев, пачули, предательство и навоз представляли собой тяжеловесов земного зловония. Была у меня и геометрическая система: круглые очертания радости и угловатые – честолюбия; имелись эллиптичные запахи, а также овальные и квадратные… лексикограф носа, я ездил по Бандер-роуд и Пакистанской кольцевой магистрали; энтомолог, уловлял запашки, будто бабочек, в сетку моих носовых волосков. О, удивительные странствия, предшествовавшие рождению философии!.. Ибо вскоре я понял: если я хочу, чтобы мой труд имел какую-то ценность, следует включить в него моральное измерение; единственно значимое деление – бесконечно тонкие градации добрых запахов и злой вони. Осознав, что в основе всего лежит мораль, вынюхав, что запахи могут быть святыми и нечестивыми, я во время одиноких катаний на мотороллере разработал новую науку – носовую этику.

Святые запахи: покрывала парда, мясо халал[321], минареты, молитвенные коврики; нечестивые: записи западной музыки, свинина, спиртное. Теперь я понял, почему муллы (святое) отказываются входить в самолеты (нечестивое) в ночь перед Ид-аль-Фитр; скрытый запах механизмов противоположен благочестию, а правоверные ничем не хотят рисковать прежде, чем увидят новорожденный месяц. Я постиг обонятельную несовместимость ислама и социализма и неустранимое противоречие между одеколоном после бритья, которым пропахли члены «Синд-клуба», и вонью бедности, каковая въелась в кожу бродяг, спящих на улице у ворот того же самого клуба… но все более и более проникала в меня ужасная правда – а именно, святое, или доброе, мало интересовало меня, даже если подобные ароматы окружали мою сестру, когда она пела; зато тяжелый смрад сточных канав обладал для меня роковой, неодолимой притягательностью. К тому же мне было шестнадцать лет; кое-что колыхалось у меня ниже пояса, упрятанное в белые полотняные штаны; а в любом городе, где женщин держат взаперти, нет недостатка в шлюхах. Пока Джамиля воспевала святость и любовь к родному краю, я познал нечестие и разврат. (Денег было хоть завались; отец, полюбив меня, стал щедрым).

У вечно строящегося Мавзолея Джинны я подклеивал шлюх. Другие парни соблазняли там американок и вели их в номера гостиниц или в бассейн; я же предпочитал сохранять независимость и платить. И однажды я вынюхал шлюху из шлюх, чей дар был зеркальным отражением моего. Звали ее Таи-биби, и она утверждала, будто ей пятьсот двенадцать лет.

Но ее запах! Такой резко пахнущей дичи Салем никогда не выслеживал; что-то околдовало его в аромате ее следов, некое величие древности… и он сказал старой, беззубой твари: «Мне все равно, сколько тебе лет, главное – как ты пахнешь».

(«Боже ж ты мой, – прерывает меня Падма. – Такая гадость – как ты только мог?»)

Хотя она ни словом не обмолвилась о каком-либо родстве с кашмирским лодочником, ее имя тоже привораживало, и очень сильно; хотя она скорее всего подтрунивала над Салемом, когда говорила: «Мальчик, мне пятьсот двенадцать лет», его чувство истории тем не менее пробудилось. Думайте обо мне что хотите, но однажды я провел несколько жарких и влажных послеполуденных часов в убогой комнатенке многоквартирного дома с кишащим блохами матрасом, голой лампочкой под потолком и старейшей в мире шлюхой.

Так что же в конце концов делало Таи-биби неотразимой? Каким ниспосланным свыше умением обладала она, посрамляя всех прочих шлюх? Отчего пришли в неистовство недавно обретшие чувствительность ноздри нашего Салема? Так вот, Падма: эта древняя проститутка обладала столь полной властью над своими железами, что могла изменить запах своего тела и уподобить его любому запаху на земле. Экрины и апокрины подчинялись малейшему усилию ее воли, закаленной веками; и хотя она сказала: «Не вздумай делать это стоя, тебе никогда не расплатиться», ее дара воспроизводить ароматы Салем выдержать не смог.

(…«Тьфу-у-у, – Падма затыкает уши. – Боже ж ты мой, что за грязный-противный мужик, а я-то и знать не знала!»)

И вот он в жалкой комнатушке, этот отвратительно уродливый парень, со старой

321

блядью, которая ему говорит: «Стоя не буду: мозоли»; и вдруг замечает, что упоминание о мозолях возбудило клиента; шепотом выдает ему тайну своих экринно-апокринных дарований и спрашивает, не хочет ли он, чтобы она пахла, как кто-то еще, пусть он опишет, а она попробует; методом проб-и-ошибок они бы могли… вначале ему противно, нет-нет-нет, но она уговаривает голосом, шуршащим, как пергамент, и наконец, раз уж он тут совсем один, вдали от мира и времени, один с этой невероятной, явившейся из мифов старой потаскухой, он начинает описывать запахи во всех подробностях, какие способен уловить его удивительный нос, а Таи-биби следует описаниям, и он потрясен, ошарашен, когда методом проб-и-ошибок она верно воспроизводит запах тела его матери, его теток; ого, тебе это нравится, маленький сахибзада[322], нюхай же, суй свой нос куда хочешь, странный ты парнишка, что есть, то есть… и вдруг случайно, да, клянусь, я не просил ее, вдруг во время проб-и-ошибок невыразимым, единственным на земле ароматом повеяло от растрескавшегося, сморщенного, жесткого, как пергамент, древнего тела, и теперь ему не спрятать то, что она видит, ого, маленький сахибзада, кажется, я попала в точку, можешь не говорить, кто она такая, но она – та самая.

И Салем: «Заткни пасть, заткни пасть…» Но Таи-биби, древняя, безжалостная, хихикая, теребит его: «Ого, конечно, да, это – твоя возлюбленная госпожа, маленький сахибзада – кто она? Твоя кузина, а? Сестра…» Рука Салема сжимается в кулак; правая рука, несмотря на изувеченный палец, готовится ударить… а Таи-биби опять: «О, Боже, да! Твоя сестра! Ну, давай бей, все равно не скроешь того, что написано у тебя на лбу!..» И Салем собирает свою одежду, второпях натягивает штаны: «Заткни пасть, старая сука», – а она: «Давай-давай уматывай, но если не заплатишь мне, я, я, вот увидишь, что я с тобой сделаю», и рупии летят через всю комнату, кружатся, порхают вокруг куртизанки, прожившей на свете пятьсот двенадцать лет. «Бери, бери, только заткни свою гнусную пасть», – а она: «Потише, мой царевич, ведь и ты не слишком-то пригож»; вот он оделся и выскочил вон из дома; мотороллер «Ламбретта» ждет его, но уличные мальчишки обоссали сиденье, он давит на газ, мчится на полной скорости, но истина догоняет его, а Таи-биби высовывается из окна, кричит: «Эй, бхэн-чод![323]Эй, малыш, переспавший с сестрой, куда же ты, куда? Что правда, то правда, то правда!..»

У вас возникает закономерный вопрос: так ли это случилось, как… И уж наверное ей не пятьсот… но я клянусь, что выложил все как на духу, и настаиваю на том, что узнал невыразимую, немыслимую тайну моей любви к Джамиле-Певунье из уст и желез внутренней секреции этой самой необычайной из шлюх.

– Как права наша госпожа Браганца, – бранит меня Падма. – Она всегда говорит, что в головах у мужчин одни только мерзости. – Я не обращаю внимания; с госпожой Браганца и с ее сестрой госпожой Фернандес я разберусь в должное время; нынче же последняя пускай разбирает фабричные счета, а первая нянчит моего сына. А я тем временем, чтобы вновь завладеть вниманием моей возмущенной Падмы-биби, расскажу-ка ей сказку.

Жил-был во время оно в далеком северном царстве Киф один царь, и были у него две дочери-красавицы, и сын, столь же пригожий, и новехонький «роллс-ройс», и отличные политические связи. Этот царь, или наваб, безоглядно верил в прогресс и поэтому просватал свою старшую дочь за сына благоденствующего и всем известного генерала Зульфикара; что же до младшей дочери, то он весьма рассчитывал выдать ее за сына самого президента. Свой автомобиль, первый, какой только видели в этой горной долине, он любил почти так же, как и своих детей, и его печалило, что подданные, привыкшие использовать дороги Кифа для общения, ссор и игры в «плюнь-попади», не давали ему проехать. Наваб напечатал объявление, в котором разъяснялось, что автомобиль представляет собою будущее и его следует пропускать; народ не обратил на листки никакого внимания, хотя их и расклеили на

322
323

всех витринах и стенах и даже, говорят, на коровьих боках. Второй листок был более категоричным: он приказывал гражданам уходить прочь с дороги при первом звуке автомобильного гудка; однако жители Кифа продолжали курить, плеваться и спорить посреди улицы. В третьем листке, снабженном кроваво-красным рисунком, говорилось, что автомобиль задавит любого, кто не посторонится, заслышав гудок. Жители Кифа добавили новые, совершенно скандальные картинки к той, что красовалась на объявлении, и тогда наваб, человек добрый, но не обладавший бесконечным терпением, поступил так, как грозился. Когда знаменитая Певунья Джамиля с семьей и импресарио приехала, чтобы спеть во время сговора своего кузена, автомобиль безо всяких хлопот довез ее от границы до дворца; при этом наваб заявил гордо: «Проблем нет, машину теперь уважают. Прогресс победил».

Сын наваба Мутасим, побывавший за границей и сделавший со своими волосами нечто под названием «битловская стрижка», доставлял отцу немало беспокойства, ибо, хотя и был этот сын настолько пригожим, что, когда он разъезжал по Кифу, девушки с серебряными кольцами в носу падали в обморок, плавились от жара его несказанной красы, принца такие вещи, казалось, вовсе не интересовали; он довольствовался лошадками для поло и гитарой, на которой наигрывал небывалые западные песни. Носил он спортивные рубашки, на них ноты и чужеземные уличные знаки теснились рядом с полуприкрытыми телами розовокожих девушек. Но когда Джамиля-Певунья, скрытая под расшитым золотом покрывалом, прибыла во дворец, Мутасим Прекрасный – который, благодаря своим странствиям, ничего не слыхал об изуродовавшей девушку аварии – решил во что бы то ни стало увидеть ее лицо; он без памяти влюбился в ее скромный, серьезный взор, каковой углядел сквозь прорезь в простыне.

В тот год президент Пакистана назначил выборы; они должны были состояться через день после церемонии сговора и проходить по правилам, названным «Базовой демократией». Сто миллионов населения Пакистана были поделены на сто двадцать тысяч приблизительно равных частей, и каждую часть представлял один «Базовый демократ»[324]. Выборщики в количестве ста двадцати тысяч «бэ-дэ» должны были избрать президента. В Кифе в число четырехсот двадцати базовых демократов входили муллы, метельщики улиц, личный шофер наваба, сборщики гашиша с плантации, принадлежавшей навабу, и прочие законопослушные граждане; всех их наваб пригласил на сговор своей дочери, на церемонию мехнди – наложения хны[325]. Однако же ему пришлось пригласить и двух настоящих смутьянов – приехавших издалека заправил Объединенной партии оппозиции[326]. Эти два смутьяна без конца ссорились между собой, но наваб был сама учтивость и гостеприимство. «Сегодня вы – мои почетные гости, – заявил он, – а завтра будет новый день». Смутьяны ели и пили так, будто никогда до сих пор не видели пищи, но всем – даже Мутасиму Прекрасному, не столь терпеливому, как его отец, – было велено хорошо с ними обращаться.

Объединенная партия оппозиции – вряд ли вы удивитесь, услышав это, – представляла собой сборище негодяев и мерзавцев чистой воды, которых объединяла лишь решимость свергнуть президента и вернуться к прежним скверным порядкам, когда штатские, а не солдаты набивали себе карманы из государственной казны; однако же по какой-то непонятной причине у них появился грозный лидер. То была госпожа Фатима Джинна, сестра основателя государства, старушка столь дряхлая и ссохшаяся, что наваб подозревал, будто она давно уже умерла, а теперь некий мастер таксидермист изготовил из нее чучело – тут его поддерживал сын, который видел фильм под названием «Сид»[327], где мертвец вел войско в сражение… но дама эта тем не менее существовала, и ее вовлекли в избирательную кампанию, указав, что президент так и не достроил до сих пор мраморный мавзолей ее брату,

---

324
325
326
327

и была она опасным противником, неподвластным клевете, недосягаемым для подозрений. Говорили даже, будто ее оппозиция президенту поколебала веру народа в последнего – а разве он не воплотил в себе великих исламских героев прошлого? Мухаммада бин Сам Гури, Ильтутмыша[328], Моголов? Даже в Кифе наваб замечал листовки ОПО в разных неподобающих местах; какой-то наглец приклеил одну, ни много ни мало, как к багажнику «роллс-ройса». «Скверные времена», – пожаловался наваб своему сыну. Мутасим сказал в ответ: «Так вот чего вы добивались вашей демократией – чистильщики нужников и дешевые портняжки будут вам выбирать президента?»

Но сегодня счастливый день; в комнатах женской половины служанки и родственницы наносят хной тонкие узоры на руки и ноги дочери наваба; вот-вот прибудут генерал Зульфикар и сын его Зафар. Правители Кифа решили не думать о выборах, выбросить из головы дряхлую Фатиму Джиннах, Мадер-э-Миллат, или Мать народа[329], которая безо всякой жалости решила смутить души своих детей.

В покоях, отведенных Джамиле-Певунье, тоже царило счастье. Ее отец, владелец фабрики полотенец, который никак не мог расстаться с мягкой рукой своей супруги, восклицал: «Ну что, видали? Чья дочка выступает здесь? Может, девчонка Гаруна? Или жена Валики? Или какая-нибудь ведьма из семейки Давуда или Сайгола? Черта с два» …Но сына его Салема, несчастного юношу, чье лицо словно сошло с карикатуры, казалось, точит какой-то тяжкий недуг; возможно, так повлияло на него то, что ему довелось присутствовать на сцене великих исторических событий; он глядел на свою одаренную сестру, и в глазах его таилось нечто, похожее на стыд.

В тот день Мутасим Прекрасный отвел в сторонку Салема, брата Джамили, и постарался подружиться с ним; показал павлинов, вывезенных из Раджастана еще до раздела, и принадлежащее навабу бесценное собрание колдовских книг, откуда тот извлекал талисманы и заклинания, помогавшие править мудро; и вот Мутасим (юноша, не отличавшийся особым умом и осмотрительностью), водя Салема по площадке для поло, признался ему, что переписал приворотный заговор на лист пергамента в надежде прижать его к руке знаменитой Джамили-Певуньи и заставить девушку влюбиться в себя. Тут Салем оскалился, будто злобный пес, и хотел было уйти, но Мутасим принялся умолять его, желая во что бы то ни стало узнать, как в действительности выглядит Джамиля-Певунья. Но Салем хранил молчание, пока Мутасим, охваченный страстью, не попросил подвести его к Джамиле близко-близко, чтобы он мог прижать приворотный заговор к ее руке. И тогда Салем, чьего коварства не распознал пораженный любовью Мутасим, сказал: «Давай сюда пергамент», – и Мутасим, который, хорошо зная географию европейских городов, ничего не смыслил в магии, уступил Салему свой приворотный заговор, ибо думал, что колдовство будет действовать в его пользу, даже если применит его кто-то другой.

К дворцу приближался вечер; вереница автомашин, везущих генерала и бегам Зульфикаров, их сына Зафара и друзей, приближалась тоже. Но тут ветер сменил направление и задул с севера: прохладный и к тому же дурманящий ветерок, ибо на севере Кифа находятся лучшие в стране поля гашиша, а в это время года женские растения созревают и бывают в самом соку. Воздух полнился ароматом пьянящей похоти цветов, и все, кто вдыхал его, теряли голову. Бездумное блаженство растений передалось шоферам, которые лишь по счастливой случайности доехали до дворца, перевернув по дороге несколько уличных цирюлен, расположенных на тротуаре, и врезавшись по меньшей мере в одну чайную; жители Кифа даже стали задаваться вопросом: не собираются ли эти повозки без лошадей, уже укравшие у них улицы, захватить также и дома?

Северный ветер проник в чудовищный и на редкость чувствительный нос Салема, брата Джамили, и навеял такую дремоту, что юноша заснул в своей комнате и проспал весь вечер, во время которого, как ему потом говорили, гашишный ветер вскружил головы гостям,

328
329

и те вели себя неподобающе на церемонии сговора: неудержимо хихикали, бросали друг на дружку призывные взгляды из-под набрякших век; обшитые галунами генералы развалились, раскорячив ноги, в золоченых креслах, и видели во сне Рай. Церемония мехнди прошла среди столь глубокого сонного удовлетворения, что никто и не заметил, как жених расслабился и намочил в штаны; даже вечно ссорящиеся смутьяны из ОПО взялись за руки и спели народную песню. И когда Мутасим Прекрасный, пропитавшись похотью цветков гашиша, попытался нырнуть за огромное, расшитое золотом шелковое полотнище с одной-единственной прорезью, майор Аладдин Латиф остановил его вполне добродушно, даже с блаженной миной: он, конечно, не позволил влюбленному юнцу взглянуть на лицо Джамили-Певуньи, но и не расквасил ему нос. К концу вечера гости заснули за столом; но Джамилю-Певунью проводил в ее покои сияющий, сонный Латиф.

В полночь Салем проснулся и обнаружил, что все еще сжимает в правой руке колдовской пергамент Мутасима Прекрасного; и поскольку северный ветер продолжал легонько задувать в комнату, Салем решил пробраться в шлепанцах и халате по темным коридорам прекрасного дворца, мимо собранных здесь обломков умирающего мира, ржавых доспехов и старинных ковров, веками доставлявших пропитание биллиону бабочек дворцовой моли; мимо гигантской форели-барбуса, что резвилась в стеклянном море, и выставленных в изобилии охотничьих трофеев, включая потускневшую золотую куропатку на тиковой подставке, память о той охоте, когда прежний наваб в обществе лорда Керзона[330] и прочих гостей подстрелили за один день 111 111 этих птиц; мимо чучел убитой дичи прокрался Салем на женскую половину, где спали дамы и служанки, потом, принюхавшись, выбрал нужную дверь, повернул ручку и вошел.

Там стояла огромная кровать, и над ней, в бледном свете доводящей до безумия полуночной луны, колыхалась москитная сетка; Салем двинулся туда, но остановился, ибо увидел в окне мужчину, который пытался забраться в спальню Джамили. Мутасим Прекрасный, потеряв всякий стыд от охватившей его страсти и гашишного ветра, решил, что увидит лицо Джамили, чего бы это ему ни стоило… И Салем, невидимый в полутемной комнате, закричал: «Руки вверх! Стреляю!» Салем просто пугал, у него не было оружия, но Мутасим, повисший на подоконнике, вцепившись в него обеими руками, этого не знал, и оказался перед нелегким выбором: продолжать держаться за окно и быть подстреленным или разжать пальцы и упасть? Он даже попытался поспорить. «Тебе самому здесь не место, – заявил он. – Я скажу Амине бегам». Голос своего притеснителя он узнал; но Салем указал ему на безнадежность его положения; Мугасим взмолился: «Ладно, ладно, только не стреляй», и ему позволено было уйти тем же путем, каким он явился. После той ночи Мутасим уломал отца по всем правилам попросить руки Джамили у ее родителей; но она, рожденная и выросшая без любви, по-прежнему ненавидела всякого, кто клялся, будто ее любит, и отказала юноше наотрез. Он оставил Киф и приехал в Карачи, но Джамиля не желала слушать его докучные предложения; впоследствии он поступил в армию и погиб смертью мученика в войне 1965 года.

И все же печальная повесть о Мутасиме Прекрасном играет всего лишь второстепенную роль в нашей истории, ибо теперь Салем и его сестра остались наедине, и девушка, которую разбудил разговор молодых людей, спросила: «Салем? Что случилось?»

Салем подошел к сестриной постели; рука его отыскала ее руку, и пергамент был прижат к коже. После этого Салем, чей язык развязала луна и пропитанный похотью ветер, отринул все понятия о чистоте и признался в любви сестре, которая слушала с открытым ртом.

Воцарилось молчание, потом она вскрикнула: «Ах, нет, да как ты мог…» – но магия пергамента боролась с ее упорной ненавистью к любви; и вот, хотя все тело ее напряглось, стало увертливым, как у борца, она выслушала его разглагольствования о том, что здесь нет греха, что он все хорошо продумал, и в конце концов, они ведь не родные брат и сестра; в его

330

жилах течет другая кровь; понуждаемый ветерком этой безумной ночи, он пытался развязать узелки, которые даже признание Мари Перейры оставило в целости; но, говоря это, он ощущал пустоту своих слов и понимал, что, хотя все сказанное им – святая и истинная правда, есть и другая правда, более важная, поскольку она освящена временем; и, хотя не к месту здесь были стыд или ужас, он увидел оба чувства на ее челе, уловил их запах на ее коже, и, что хуже всего, ощутил сердцем и почуял носом то и другое в себе самом. Итак, даже колдовской пергамент Мутасима Прекрасного не смог соединить Салема Синая и Джамилю-Певунью; Салем вышел из спальни, понурив голову, преследуемый взглядом Джамили, тревожным, как у вспугнутой лани; со временем чары рассеялись, и девушка жестоко отомстила ему. Стоило Салему выйти из спальни, как коридоры дворца вдруг огласились криком сговоренной принцессы, которая пробудилась оттого, что увидела во сне свою первую брачную ночь – и супружескую постель, внезапно, непостижимо залитую вонючей желтой водицей; затем она навела справки, и когда узнала, что сон может обернуться явью, решила, что, пока Зафар жив, никогда не достигнет зрелости, так и останется в своей дворцовой спаленке, дабы не ощутить ужасающего смрада его постыдной слабости.

На следующее утро двое смутьянов из Объединенной партии оппозиции проснулись в своих постелях; но когда, одевшись, они открыли дверь комнаты, то обнаружили, что два самых здоровенных в Пакистане солдата стоят в проеме со скрещенными ружьями и не выпускают их. Смутьяны то срывались на крик, то действовали уговорами, но солдаты невозмутимо стояли на своем посту, пока не закрылись избирательные участки, а затем тихо испарились. Смутьяны пустились на поиски наваба и нашли его в знаменитом, единственном в мире питомнике роз; они размахивали руками и кричали; упомянуты были насмешка-над-избирательным-правом и сфабрикованные-результаты-голосования, а еще пустая-софистика. Но наваб показал им тринадцать новых сортов кифских роз, выведенных им самим. Они продолжали голосить – смерть демократии, деспотизм-тирания, – пока наконец наваб не сказал им с нежнейшей улыбкой: «Друзья мои, вчера моя дочь была просватана за Зафара Зульфикара; вскоре, я надеюсь, моя другая девочка выйдет замуж за любимого сына нашего президента. Вот и подумайте – какое бесчестье, какой позор пал бы на мое имя, если бы хоть один голос в Кифе был бы подан против моего будущего свата! Друзья мои, честь для меня не пустое слово, так что оставайтесь в моем доме, ешьте, пейте; только не просите у меня того, что я не могу вам дать».

И все мы жили долго и счастливо… так или иначе, даже без традиционной сказочной концовки моя история завершается чистой фантастикой, ибо когда «базовые демократы» исполнили свой долг; газеты «Джанг», «Даун», «Пакистан Таймс» объявили о внушительной победе президентской Мусульманской Лиги над Объединенной партией оппозиции Мадер-э-Миллат; это мне доказало, что до подобного мастерства в подтасовке фактов мне еще расти и расти, и что в стране, где истина спускается сверху, реальность в самом прямом смысле перестает существовать, а значит, возможно все, как раз кроме того, что нам вдалбливают в головы; может быть, в этом и заключалась разница между моим индийским детством и пакистанским отрочеством, – там меня осаждало бесконечное множество альтернативных реальностей, а здесь я плавал без руля и ветрил среди столь же бесконечного количества искажений, подделок под действительность и вранья.

Маленькая птичка чирикает мне в ухо: «Будь честен! Ни один человек, ни одна страна не имеют монополии на обман». Я соглашаюсь с критикой – знаю сам, знаю сам. И через многие годы об этом узнала Вдова. А Джамиля: для нее то-что-было-всегда-святой-и-непреложной-правдой (освященной Временем, привычкой, бабкиным приговором, отсутствием воображения, молчаливым согласием отца), стало более достойным веры, нежели та правда, о которой было доподлинно известно.

Как Салем достиг чистоты

Вот что осталось рассказать: возвращение «тик-така». Но теперь обратный отсчет времени стремится к концу, не к рождению; а еще нужно упомянуть изнеможение, всеобщую усталость, такую глубокую, что конец представляется единственным решением, ибо живые человеческие существа, как и народы, как и литературные герои, могут попросту выдыхаться, и тогда не остается ничего другого, как только покончить с ними.

Как месяц ясный раскололся на куски, и Салем достиг чистоты… часы уже тикают, и поскольку любой обратный счет движется к нулю, скажу, пожалуй, что конец наступил 22 сентября 1965 года, и что время-ноль неизбежно совпало с полуночью, с последним ударом часов. Хотя старым дедовским часам в доме тетушки Алии, которые точно показывали время, но начинали дребезжать на две минуты позже, так и не представилось возможности пробить полночь.

Моя бабушка Назим Азиз приехала в Пакистан в середине 1964 года, оставив позади Индию, в которой смерть Неру[331]развязала ожесточенную борьбу за власть. Морарджи Десаи, министр финансов, и Джагдживан Рам[332], самый могущественный из неприкасаемых, объединились, полные решимости предотвратить установление династии Неру; так что Индире Ганди[333]не удалось занять руководящий пост. Новым премьер-министром стал Лал Бахадур Шастри, тоже принадлежавший к поколению политиков, которых, казалось, заспиртовали в бессмертии; правда, в случае Шастри то была лишь майя, иллюзия[334]. Неру и Шастри вполне доказали, что они смертны, но оставалась уйма других мумий, которые сжимали Время в иссохших пальцах и не давали ему двигаться… зато в Пакистане часы тикали: тик-так, тик-так.

Достопочтенная Матушка на словах не одобряла карьеру сестры; слишком уж она, эта карьера, отдавала киношной. «За моей семьей, как-его, – вздыхала она перед Пией мумани, – так же невозможно уследить, как за ценами на бензин». Но втайне она была потрясена, ибо уважала власть и влияние, а Джамиля вызывала всеобщий восторг и была желанной гостьей в лучших домах страны… Бабка обосновалась в Равалпинди, однако, не желая поступаться своей независимостью, не стала жить в доме генерала Зульфикара. Они с тетей Пией поселились в скромном бунгало в старой части города и, сложив свои сбережения, приобрели заветную концессию на бензоколонку.

Назим никогда не упоминала Адама Азиза и не оплакивала его; казалось, она едва ли не испытывает облегчение оттого, что мой сварливый дед, в молодости презиравший борьбу за создание Пакистана и, наверное, винивший Мусульманскую Лигу в гибели своего друга Миана Абдуллы, своей смертью освободил ее, позволил одной уехать в Землю Чистых. Отринув прошлое, Достопочтенная Матушка сосредоточилась на бензине и маслах. Бензоколонка была расположена превосходно, возле шоссе Равалпинди – Лахор, по которому курсировали большие грузовики; дела пошли лучше некуда. Пия и Назим по очереди сидели в стеклянной будке распорядителя, пока механики заливали горючее в баки легковых машин и армейских грузовиков. Сочетание оказалось просто волшебным. Пия привлекала клиентов блеском красоты, которая все никак не тускнела, а Достопочтенная Матушка, которая после постигшей ее утраты стала больше интересоваться чужими жизнями, чем своей собственной, завела обыкновение приглашать водителей в стеклянную будку на чашечку розового кашмирского чая; они принимали приглашение с некоторым трепетом, но, убедившись, что старая дама не собирается утомлять их бесконечными воспоминаниями, расслаблялись, развязывали галстуки и языки, и Достопочтенная Матушка могла купаться в благословенных волнах забвения, наслаждаясь рассказами о том, как живут другие люди. Бензоколонка быстро стала знаменитой в тех краях, водители даже делали крюк, чтобы там заправиться – часто два дня подряд, ради того, чтобы усладить взоры красотой моей

331
332
333
334

божественной тети и поделиться горестями с моей бесконечно терпеливой бабкой, которая впитывала чужие речи, будто губка, всегда дожидалась, пока собеседник выскажется до конца, и только потом слетал с ее уст краткий, простой и здравый совет – пока рабочие бензоколонки наполняли машины бензином и мыли их, моя бабка вычищала жизни шоферов и наполняла их новым смыслом. Она сидела в своей стеклянной исповедальне и решала проблемы целого мира; а собственная семья, казалось, утратила для нее всякое значение.

Усатая, властная, гордая, Назим Азиз нашла способ ужиться с трагедией; но, обретя выход, она стала первой жертвой того духа распада и усталости, из-за которого конец и сделался единственно возможным решением. (Тик-так…) И все же, несмотря ни на что, она, по всей видимости, не имела ни малейшего намерения последовать за супругом в благоуханные сады, предназначенные для праведных; у нее, казалось, было больше общего с лидерами-мафусаилами покинутой Индии. Она все полнела и полнела с устрашающей быстротой; пришлось даже вызвать строителей и расширить застекленную будку. «Стройте с запасом, с запасом, – командовала она с редким у нее проблеском юмора. – Может, я буду сидеть тут через сто лет, и один Аллах знает, какая я тогда стану толстая; не тревожить же мне добрых людей еще пяток-десяток раз!»

А Пию Азиз не вполне удовлетворял «бензин-керосин». Она пустилась крутить романы с полковниками, игроками в крикет и поло, дипломатами; это было легко скрыть от Достопочтенной Матушки, которая потеряла интерес к чему бы то ни было, кроме чужих жизненных драм; но Равалпинди – город маленький, и вскоре поползли сплетни. Тетка Эмералд пыталась призвать Пию к порядку; та ответила: «Ты хочешь, чтобы я вечно выла и рвала на себе волосы? Я еще молодая, а молодым не грех и погулять». Эмералд, поджав губы: «Но имей же к себе хоть немного уважения… семейная честь…» На что Пия, вскинув голову: «Вот ты и имей к себе уважение, сестрица. А я буду жить».

Но мне кажется, что в подобном самоутверждении Пии зияла некая пустота; что и она тоже ощущала, как мелеет с годами ее жизненная сила; может быть, эти бурные романы были последней отчаянной попыткой «остаться в образе» – таком, какого и ждали от нее окружающие. Ее сердце в этом не участвовало; по-настоящему, в глубине души, она тоже ждала конца… Все в нашей семье всегда были беззащитны перед тем, что падает с неба, с тех самых пор, как Ахмеда Синая огрела рука, оброненная стервятником; а гром с ясного неба грянет всего лишь через год.

После известия о смерти деда и приезда в Пакистан Достопочтенной Матушки мне стал все чаще и чаще сниться Кашмир; я никогда не бродил по садам Шалимара-багх, но он являлся ко мне по ночам; я плавал в шикарах и, как дед, восходил на гору Шанкарачарьи; я видел корни лотоса и горы, похожие на голодные челюсти. И в этом тоже можно усмотреть один из симптомов распада, затронувшего всех нас (кроме Джамили, у которой были Бог и страна, чтобы продолжать идти вперед) – напоминание о том, что моя семья оторвалась от Индии и не обрела единства с Пакистаном. В Равалпинди моя бабка пила розовый кашмирский чай; в Карачи ее внука омывали воды озера, которого он никогда не видел. Пройдет немного времени – и мечта о Кашмире захлестнет умы всех остальных пакистанцев; сцепление-с-историей так и оставалось в силе, и в 1965 году мои сны стал видеть целый народ, они-то и обусловили приближающийся конец, и когда самые разные вещи обрушились с неба, я наконец-то очистился.

Салем не мог пасть ниже: я чуял, как от меня исходит удушающий смрад моего беззакония. Явившись в Страну Чистых, я стал искать общества шлюх – там, где я мог бы начать новую, праведную жизнь, я вместо того взрастил в себе невыразимую, немыслимую (и неразделенную) любовь. Зараженный начатками того великого фатализма, который в конце концов захлестнет меня, я разъезжал по улицам города на моей «Ламбретте»; мы с Джамилей, как могли, избегали друг друга, впервые в жизни не зная, что друг другу сказать.

Чистота – высокий идеал! – ангельская добродетель, давшая имя Пакистану, сочащаяся из каждой ноты песен, какие пела моя сестра! – была так от меня далека; мог ли я знать, что

история, своей властью прощающая грешников, уже вела обратный счет времени к той минуте, когда один-единственный удар очистит меня с головы до пят?

А тем временем разгулялись иные силы: Алия Азиз начала наконец осуществлять ужасную месть старой девы.

Дни на Гуру Мандир: запахи бетеля, запахи кухни, томный аромат тени минарета, длинного указующего перста, каковой вытянула мечеть; ненависть тетки Алии к мужчине, который бросил ее, и к сестре, вышедшей за него замуж, выросла, стала ощутимой и зримой; она сидела на коврике в гостиной, как большой геккон[335], и воняла блевотиной; но, казалось, только мне в ноздри шибал этот запах, ибо Алия училась притворяться так же быстро, как росли волоски у нее на подбородке, а вместе с тем и сноровка, с какой она налепляла пластырь, каждый вечер налепляя его и вырывая бороду с корнем.

Вкладом моей тетки Алии в судьбы нации – через школу и колледж – никак нельзя пренебречь. Позволив бедам и обидам старой девы просочиться в учебные планы, классные комнаты, а также и в умы школьников и студентов, она взрастила целое племя детей и юношества, одержимое древней жаждой мести, мести без причины и цели. О вездесущее бесплодие девственных теток! От него шла пятнами штукатурка на стенах; мебель, до отказа набитая горечью, вздувалась желваками; подавленные импульсы старой девы глядели из-под каждого стежка на портьерах. Как раньше из детских вещичек. Горечь, сочащаяся из расщелины в земной коре.

В чем находила усладу тетка Алия? В стряпне, что довела она за годы одинокого помешательства до уровня высокого искусства: умении пропитывать пищу эмоциями. Кому она уступала на этом поприще? Только моей прежней няньке Мари Перейре. Кто ныне превзошел обеих старых стряпух? Салем Синай, главный специалист по маринадам на консервной фабрике Браганца… И все же, пока мы жили в доме на Гуру Мандир, тетка кормила нас бириани, полными разногласий, и наргизи-кофта, пропитанными раздором; и мало-помалу гармония запоздалой, осенней любви матери и отца расстроилась.

И все же нужно сказать о моей тетке что-то хорошее. В политике она яростно выступала против военного режима; если бы не зять-генерал, у нее отобрали бы и школу, и колледж. Я бы не хотел ее чернить, показывать вам ее только сквозь призму своих личных горестей: она ездила с лекциями по Советскому Союзу и по Америке. Да и готовила очень вкусно. (Несмотря на скрытые приправы).

Но атмосфера этого дома, затененного мечетью, и пища, которая готовилась в нем, начали оказывать влияние… Салем, под двойным, сбивающим с толку воздействием своей ужасающей любви и блюд тетки Алии, стал заливаться свекольным румянцем, стоило сестре появиться перед его мысленным взором; а Джамиля, бессознательно стремясь к свежему воздуху и пище, не приправленной темными чувствами, проводила дома все меньше и меньше времени: она разъезжала по всей стране (кроме Восточной части) и давала концерты. В тех все более и более редких случаях, когда брат с сестрой оказывались в одной комнате, они оба, изумленные, подскакивали на полдюйма, а потом, приземлившись, яростно взирали на то место, с которого соскочили, словно оно вдруг раскалилось, как печь, где выпекают хлеб. Да и вообще они вели себя так, что любому стало бы ясно, в чем тут дело, если бы мысли прочих обитателей дома не были заняты другим: скажем, Джамиля и в комнатах не снимала своего бело-золотого покрывала до тех пор, пока не была уверена, что брат ушел, хотя голова у нее раскалывалась от жары; а Салем – который продолжал, как покорный раб, привозить дрожжевой хлеб из монастыря святой Игнасии – старался не передавать ей буханку из рук в руки; иногда просил выступить посредницей свою ядовитую тетю. Алия окидывала его лукавым взором и спрашивала: «Что с тобой, мальчик, уж не заразился ли ты какой-нибудь болезнью?» Салем весь вспыхивал, боясь, что тетка догадалась о его связях с продажными женщинами; может, так оно и было, да только Алия охотилась за более

335

крупной дичью.

…Еще у него появилась привычка впадать в долгое мрачное молчание, которое прерывалось внезапно каким-нибудь ничего не значащим восклицанием типа: «Нет!» или «Однако!», или же междометиями, еще более таинственными, например: «Бац!» или «Бу-ум!» Лишенные смысла слова посреди грозного молчания: будто Салем ведет с самим собой столь напряженный диалог, что фрагменты его, полные боли, невольно время от времени поднимаются к губам, словно кипящая лава. Этот внутренний разлад, несомненно, усугубляли карри, сдобренные смутой, какие он вынужден был есть; и в конце концов, когда Амина уже начала говорить с невидимыми бельевыми корзинами, и Ахмед, раздавленный ударом, лишь срыгивал да заливался смехом, а я молча дулся в своем углу, тетка могла быть довольна тем, как удалось ей отомстить клану Синаев; но и ее опустошило, выпило до дна исполнение столь долго лелеемого плана; шаги ее звучали гулко, отдавали пустотой, когда, облепив подбородок пластырем, она скиталась по скорбному дому, в какой превратилось ее жилище, а ее племянница подпрыгивала, словно пол горел у нее под ногами; а племянник вопил: «И-я-я-я!», словно бы ниоткуда; а давний ухажер пускал слюни изо рта, а сестра Амина здоровалась с воскресающими призраками прошлого: «Значит, это ты опять. Ну, а почему бы и нет? Ничего нельзя выбросить раз и навсегда».

Тик-так… В январе 1965 года моя мать Амина Синай обнаружила, что опять беременна, после перерыва в семнадцать лет. Убедившись наверняка, она сообщила хорошую новость старшей сестре Алии и тем самым предоставила моей тетке возможность довести месть до совершенства. Что Алия сказала моей матери, никому не известно; чего подмешала она в свою стряпню, можно только догадываться; но Амину то и другое совсем доконало. Ее стали мучить кошмары, в которых являлся ребенок-урод с цветной капустой вместо мозга; ее преследовал призрак Рамрама Сетха, и старое пророчество о двухголовом младенце вновь доводило ее до безумия. Моей матери исполнилось сорок два года; от страха перед родами в таком возрасте (и вполне естественного, и внушенного Алией) померк тот блистающий ореол, который окружал ее с тех самых пор, как она, выхаживая своего мужа, сумела внушить ему позднюю, осеннюю любовь; под влиянием кормы, замешанной на теткиной мести – посыпанной дурными предзнаменованиями наряду с кардамоном – моя мать стала бояться своего ребенка. С каждым месяцем ее сорок два года сказывались все ужаснее, вес четырех десятилетий возрастал с каждым днем, обрушивался на нее всей тяжестью, пригибал к земле. На втором месяце она совсем поседела. На третьем лицо ее сморщилось, как сгнившее манго. На четвертом месяце она превратилась в старуху, толстую, рыхлую; ее вновь одолели мозоли, и, конечно же, волосы стали расти по всему лицу; ее вновь окутал, словно саван, туман стыда, будто ребенок – позор для женщины столь очевидно преклонных лет. И по мере того, как дитя этих смутных дней росло в ее лоне, контраст между его юностью и ее дряхлостью делался все ярче; тут-то она и опустилась в старое плетеное кресло, где ее стали посещать призраки прошлых лет. Распад моей матери устрашал своей скоротечностью; Ахмед Синай, беспомощно за ним наблюдая, сам внезапно лишился мужества, ориентира, цели.

Даже сейчас мне трудно писать о тех днях, когда закрылась некая возможность, когда фабрика полотенец стала крошиться, будто черствая корка, в руках моего отца. Ведьмина стряпня Алии (действовавшая через желудок во время еды и через зрение, когда Ахмед смотрел на свою жену) слишком явно сказалась в нем: он стал дурно управлять фабрикой и ссориться с рабочими.

Если вкратце, то вот причины краха «полотенец „Амина-Брэнд“»: Ахмед Синай начал обращаться с рабочими столь же высокомерно, как некогда в Бомбее со слугами, пытаясь внушить в равной мере мастерам-ткачам и упаковщикам вечные истины отношений между хозяином и работником. В результате рабочие уходили от него косяками, давая, например, следующие объяснения: «Я не нанимался к вам чистить отхожее место, сахиб; я – квалифицированный ткач первой категории», и, как правило, не выказывая особой благодарности за то, что он вообще предоставил им работу. Охваченный пьянящим гневом,

каким были пропитаны завернутые теткой завтраки, он разогнал их всех и нанял каких-то халтурщиков, которые воровали катушки с хлопковой пряжей и детали станков, зато готовы были сколько угодно кланяться и пресмыкаться; процент бракованных полотенец угрожающе рос, контракты не выполнялись, количество повторных заказов настораживающе сокращалось. Ахмед Синай стал приносить домой горы – Гималаи! – отвергнутых полотенец, ибо фабричный склад был уже переполнен не соответствующей стандартам продукцией – плодами неумелого управления; он снова начал пить, и к лету этого года дом на Гуру Мандир наполнился непристойной бранью, каковой, как и прежде, сопровождались его борения с джиннами, и мы должны были боком протискиваться мимо Эверестов и Нанга-Парбатов[336]бракованной махровой ткани, которая забивала коридоры и холл.

Мы сами отдали себя во власть кипящего на медленном огне гнева моей толстой тетки; за исключением Джамили, которую это затрагивало гораздо меньше благодаря ее частым отлучкам из дому, все мы попались и были съедены. То было мучительное, сбивающее с толку время, когда любовь моих родителей рассыпалась в прах, не выдержав двойного веса вновь зачатого ребенка и стародавних теткиных обид; мало-помалу смятение и ощущение краха просочились сквозь окна этого дома и заполонили сердца и умы целой нации, так что война, когда она началась, была окутана тем же маревом дурмана, той же дымкой нереальности, в какой все мы приспособились жить.

Отец стремительно двигался к удару; но до того, как бомба взорвалась у него в голове, была отлита другая пуля: в апреле 1965 года все мы услышали о странных инцидентах в княжестве Кач.

Пока мы бились как мухи в паутине теткиной мести, мельница истории продолжала молоть. Репутация Президента Аюба пошатнулась: слухи о мошенничестве на выборах 1964 года просочились, и скандал никак не удавалось замять. Прославился и президентский сынок, Гаухар Аюб, владелец загадочного предприятия «Гандхара Индустриз», которое в одночасье сделало его мультимиллионером. О бесконечная последовательность недостойных сыновей великих мира сего! Гаухар, задира и краснобай, а позднее, в Индии, Санджай Ганди с его «Автомобильной компанией Марути» и с Конгрессом молодежи; и совсем недавно – Канти Лал Десаи… сыновья великих людей уничтожают сделанное отцами[337]. Но у меня ведь тоже есть сын; Адам Синай, вопреки прецедентам, нарушит это правило. Сыновья могут быть и лучше отцов, и хуже… однако в апреле 1965 года все только и говорили, что о бесчинствах сыновей. Чей сын перелез через стену президентского дворца первого апреля – какой-такой отец зачал вонючего урода, который набросился на Президента и выстрелил ему в живот?[338]О некоторых отцах история милосердно умалчивает; да ведь и убийце-то не повезло: пистолет чудесным образом дал осечку. Чьего-то сына уволокли полицейские, чтобы вырвать ему зубы один за другим, сжечь ногти до мяса и, безусловно, приложить горящие сигареты к кончику пениса; нет, наверное, этого безымянного, неудавшегося убийцу не слишком-то утешило бы, даже если бы он и знал, что его просто-напросто понесло потоком истории; что именно в этот период сыновья (как больших, так и малых людей) вели себя до крайности скверно. (Нет, не думайте: я себя не исключаю.)

Разрыв между прессой и реальностью: газеты цитировали зарубежных экономистов – ПАКИСТАН – МОДЕЛЬ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН, – а крестьяне (чьи слова не приводились) проклинали так называемую «зеленую революцию»[339], утверждая, будто большинство вновь пробуренных колодцев нельзя использовать: вода в них гнилая, да и расположены они не там, где надо; пока в печати прославлялась неподкупность руководителей страны, сплетни о счетах в швейцарских банках и о новых американских

336
337
338
339

машинах президентского сынка роились, словно мухи. Выходящая в Карачи газета «Даун» (Заря), заговорила о совершенно определенной заре – ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ – ЗА СЛЕДУЮЩИМ ПОВОРОТОМ? – но в княжестве Кач другой, не оправдавший надежд, сын обнаружил нечто совершенно иное.

В городах – миражи и ложь; на севере, на горных высотах, китайцы строят дороги[340] и собираются проводить ядерные испытания; но пора перейти от общего к частному, а именно – к генеральскому сыну, моему кузену, страдающему недержанием Зафару Зульфикару. Он, после апреля и июля, сделался архетипом всего великого множества не сумевших исполнить свой долг сыновей страны; история на его примере указала своим перстом на Гохара, будущего Санджая и грядущего Канти Лала, и, конечно же, на меня.

Итак, кузен Зафар. У нас с ним в те времена было много общего… мое сердце переполняла запретная любовь, а его штаны, невзирая на все предпринимаемые усилия, без конца наполнялись чем-то более ощутимым, но не менее запретным. Я грезил о легендарных влюбленных, чья любовь родилась под несчастливой звездой: Шах Джахан и Мумтаз Махал, Монтекки и Капулетти; он же мечтал о своей невесте из Кифа, которая даже после шестнадцатого дня рождения никак не достигала зрелости – в его мыслях она представала неким фантастическим воплощением недостижимого будущего… В апреле 1965 года Зафара послали на маневры в контролируемую Пакистаном зону княжества Кач.

В армии не знают жалости к тем, у кого слабый мочевой пузырь; Зафар, хоть и лейтенант, был посмешищем для всей военной базы в Абботтабаде. Рассказывали, будто ему предписали носить надувные резиновые трусы, дабы не осквернить ненароком славный мундир пакистанской армии; простые джаваны, когда он проходил мимо, раздували щеки, будто резиновый шар. (Все это выяснилось впоследствии, когда он, арестованный за убийство, заливаясь слезами, давал показания). Возможно, о назначении Зафара в Кач подумал какой-нибудь сердобольный командир, который всего лишь стремился убрать его с линии огня абботтабадских остряков… Недержание обрекло Зафара Зульфикара на преступление, столь же отвратительное, как и мое. Я влюбился в сестру, а он… но лучше рассказывать все по порядку.

С самого Раздела Кач всегда был «спорной территорией», хотя на практике ни та, ни другая сторона не оспаривала ее слишком усердно. На холмах вдоль двадцать третьей параллели, где проходила неофициальная граница, Пакистан воздвиг ряд пограничных постов, и на каждом имелся в наличии отрезанный от мира гарнизон из шести человек и световой маяк. Некоторые посты 9 апреля 1965 года были захвачены частями индийской армии; пакистанские вооруженные силы, включая моего кузена Зафара, который оказался там в связи с маневрами, вступили в восьмидесятидвухдневный бой за нерушимость границ. Война в Каче длилась до первого июля. Таковы факты; но нечто иное скрывается за двойным маревом нереальности и чистой выдумки, каким окутаны были все тогдашние перипетии, а особенно события, произошедшие в фантасмагорическом Каче… так что история, которую я вам сейчас расскажу, повторяя в общих чертах то, что поведал кузен Зафар, может быть столь же истинной, как и любая другая; то есть, кроме тех, какие нам преподносятся официально.

…Когда молодые пакистанские солдаты вступили на топкую почву Кача, холодный, липкий пот оросил их чело, а зеленоватый, словно на дне морском, свет лишил мужества; вспомнились истории, нагнавшие еще больше страху; легенды об ужасах, какие издавна творились в этой земноводной зоне, о демонических морских чудищах с пылающими глазами, о женщинах-рыбах, которые дышат под водой, опустив туда свои рыбьи головы, а человеческие части ниже пояса, прекрасно оформленные, обнаженные, держат на берегу, соблазняя неосторожных и подвигая их на роковые сексуальные действия, ибо хорошо известно, что никому не дано, полюбив женщину-рыбу, остаться в живых… так что к тому времени, как они достигли пограничных постов и вступили в бой, то была нестройная толпа

340

насмерть перепуганных семнадцатилетних мальчишек – их бы, конечно, разбили наголову, если бы противник не пробыл в зеленой атмосфере Кача еще дольше; безумная война разворачивалась в колдовском мире, и каждой стороне казалось, будто призраки нечистой силы бьются бок о бок с противником; в итоге индийские войска отступили; многие солдаты, рухнув на землю в изнеможении, проливали потоки слез, стенали: «Слава Богу, конец», – рассказывали о больших склизких пузырях, что катались вокруг пограничных постов по ночам, и о плывущих по воздуху призраках утопленников в венках из водорослей и с морскими раковинами на пупках.

Мой кузен слышал, как сдавшиеся в плен индийские солдаты твердили в один голос: «Что вы хотите, на этих постах не было ни души; мы увидели, что там пусто, вот и заняли их».

Тайна покинутых пограничных постов с самого начала не показалась столь уж загадочной молодым пакистанским солдатам, которым было приказано занять эти позиции и оставаться там, пока не прибудут новые пограничные отряды; мочевой пузырь и кишечник моего кузена лейтенанта Зафара опустошались с истерической частотой все семь ночей, какие провел он на одном таком посту в компании всего лишь пяти джаванов. За эти ночи, полные воплей ведьм и безымянного склизкого шарканья в темноте, шестеро юнцов дошли до такого жалкого состояния, что никто уже не смеялся над моим кузеном, ибо и все остальные дружно испражнялись в штаны. В предпоследнюю ночь, пропитанную призрачным злом, один из джаванов в страхе прошептал: «Послушайте, ребята, если бы мне предстояло сидеть здесь всю жизнь, я бы, черт возьми, тоже сбежал!»

Совершенно раскиснув и утратив остатки мужества, солдаты в Каче обливались потом; а в последнюю ночь сбылись все худшие страхи: юнцы увидели, как армия призраков движется на них из темноты; их пост был ближайшим к побережью – в зеленоватом лунном свете колыхались паруса призрачных кораблей, дау-фантомов; призрачная армия неумолимо близилась, не обращая внимания на визг, который подняли солдаты; призраки несли замшелые сундуки и жуткие, покрытые саваном носилки, на которых громоздились непостижимые уму вещи; и когда призрачные воины вошли в дверь, мой кузен Зафар пал к их ногам и стал нести какую-то околесицу.

У первого призрака, вошедшего в здание поста, не хватало нескольких зубов, а за поясом торчал кривой нож; увидев солдат в хибарке, он яростно засверкал глазами. «Боже милосердный! – проговорил глава призраков. – Что вы, сосунки, здесь делаете? Разве вам не заплатили, как полагается?»

Не призраки то были, а контрабандисты. А пятеро молодых солдат в страхе пресмыкались перед ними, и хотя они потом и пытались спасти свое лицо, позор был полным, всепоглощающим. Ну а теперь мы приближаемся к сути дела. От чьего имени орудовали контрабандисты? Чье имя слетело с уст главаря; что заставило моего кузена в страхе выпучить глаза? Чье богатство, основу которого заложили бедствия индусских семей, бежавших в 1947 году, ныне пополнялось за счет весенне-летних контрабандных рейдов через неохраняемый Кач в города Пакистана? Какой такой генерал с лицом Пульчинелло и голосом тонким, как лезвие бритвы, командовал призрачными войсками?.. Но лучше обратиться к фактам. В июле 1965 года мой кузен Зафар приехал на побывку в отцовский дом в Равалпинди; и однажды утром не спеша направился к спальне отца, неся на своих плечах не только бремя памяти о пережитых в детстве унижениях и побоях; не только позор недержания, мучившего его всю жизнь; нет, он еще знал, что его родной отец повинен в том-что-случилось-в-Каче, когда Зафар Зульфикар нес околесицу, пресмыкаясь на полу. Мой кузен обнаружил отца в ванне, что располагалась подле кровати, и перерезал ему горло длинным, изогнутым ножом контрабандиста.

Скрытая за газетными сообщениями – ПОДЛЫЕ ИНДИЙСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ ИЗГНАНЫ НАШИМИ ОТВАЖНЫМИ РЕБЯТАМИ – правда о генерале Зульфикаре стала призрачной, невесомой; подкуп пограничников нашел в газетах такое отражение: НАШИ СОЛДАТЫ ПАЛИ НЕВИННЫМИ ЖЕРТВАМИ ИНДИЙСКИХ НЕЛЮДЕЙ; да и кто стал

бы распускать слухи о том, что мой дядя занимается контрабандой? У какого генерала, у какого политика не было в доме транзисторного приемника, нелегально ввезенного дядей, кондиционеров или импортных часов, запятнанных его грехами? Генерал Зульфикар умер; кузен Зафар угодил в тюрьму и избежал брака с принцессой из Кифа, которая упорно отказывалась менструировать именно потому, что хотела избежать брака с ним; а инциденты в княжестве Кач стали, так сказать, хворостом для большого костра, заполыхавшего в августе, костра всесжигающего, в котором Салем наконец-то, сам того не желая, обрел свою вечно ускользающую чистоту.

Что же до моей тетки Эмералд, то ей было позволено эмигрировать, и она стала готовиться к отъезду, предполагая отбыть в Англию, в Саффолк, к прежнему командиру мужа, бригадиру Додсону: тот, впав в детство, проводил все свое время в обществе таких же дряхлых, как он сам, индийских слуг и без конца смотрел фильмы о «Делийском дарбаре» и о прибытии Георга V к Вратам Индии[341]… ее ждала пустота забвения, ностальгия и английская зима, но началась война и разрешила все проблемы[342].

В первый день «коварного мира», длившегося немногим больше месяца, Ахмеда Синая разбил удар. У него отнялась вся левая сторона, он как дитя малое пускал слюни и хихикал, а еще бессмысленно бормотал, особенно предпочитая скверные детские словечки, касающиеся испражнений. Хихикая и выкрикивая: «Кака!» и «Пися!», мой отец заканчивал свою полную превратностей жизнь, в очередной, и в последний, раз заблудившись, а также окончательно проиграв битву с джиннами. Он сидел, тряся головой и кудахтая, среди бракованных полотенец, в которых подытожилась вся его жизнь; среди бракованных полотенец моя мать, сокрушенная своей чудовищной беременностью, приветствовала наклоном головы пианолу Лилы Сабармати, забредшую к ней с визитом; или призрак брата Ханифа, или руки, порхающие, как бабочки вокруг свечи, вокруг-и-вокруг ее собственных… командор Сабармати навещал ее, прихватив свой чудовищный жезл, и Нусси-Утенок шептала: «Это конец, сестричка Амина! Конец света!» в сморщенное ухо моей матери… и теперь, пробившись сквозь недужную реальность моих пакистанских лет, стараясь отыскать хоть какой-то смысл в том, что казалось (сквозь марево мести моей тетки Алии) целым рядом ужасных, скрытых репрессий, которые были направлены на истребление наших бомбейских корней, я дошел до того места, когда приходится говорить о концах.

Должен сказать со всей определенностью: я глубоко убежден, что тайная цель индо-пакистанской войны 1965 года заключалась, ни много ни мало, как в том, чтобы стереть с лица земли мое злополучное семейство. Чтобы понять нашу недавнюю историю, нужно всего лишь тщательно, непредубежденно проанализировать, куда падали бомбы в этой войне.

Даже концы имеют начала; всякий рассказ требует последовательности. (К тому же и Падма подавляет все мои попытки поставить телегу впереди лошади). К 8 августа 1965 года история моей семьи достигла того предела, когда конец – заданный-падением-бомб – лишь милосердно принес долгожданное облегчение. Нет, не так, нужно употребить ключевое слово: если нам суждено было очиститься, только событие такого масштаба могло нам в этом помочь.

Алия Азиз, упившаяся своей ужасной местью; тетя Эмерадд, овдовевшая, ожидающая изгнания; пустота, таящаяся в самой середке сладострастия тети Пии; бабка Назим Азиз, удалившаяся от всех нас в застекленную будку; кузен Зафар с его вечно незрелой принцессой и перспективой до скончания века прудить в тюремные матрасы; отец, впавший в детство, и в одночасье нагрянувшая, смущаемая призраками старость Амины Синай… все эти ужасные недуги будут излечены в результате того, что правительство присвоило себе мою мечту о Кашмире. Между тем упорное, твердое как кремень нежелание сестры

341
342

поощрить мою любовь погрузило мой ум в глубины фатализма; уже нимало не заботясь о своем будущем, я сказал Дядюшке Фуфу, что готов жениться на любой Фуфии, какую он для меня выберет. (Тем самым я вынес им всем приговор; любой, кто пытается завязать какие-то отношения с нашей семьей, в конце концов разделит ее судьбу).

Пожалуй, хватит мистификаций. Лучше сосредоточиться на достоверных, непреложных фактах. На каких конкретно? За неделю до моего восемнадцатого дня рождения, восьмого августа, не перешли ли пакистанские войска, переодетые в гражданскую одежду, линию прекращения огня в Кашмире; не просочились ли они в индийский сектор? В Дели премьер-министр Шастри объявил о «массовом проникновении… с целью подрыва целостности государства», но вот вам Зульфикар Али Бхутто, министр иностранных дел Пакистана, с его ответом: «Мы категорически отрицаем любую нашу связь с восстанием коренного населения Кашмира против тирании».

Если так было, то по какой причине? И снова возникает масса возможных объяснений: была ли тому виной неутихшая ярость, вызванная стычкой в княжестве Кач; или стремление решить раз и навсегда старую распрю о том, кому-владеть-Совершенной-Долиной?.. Или то, что не попало в газеты: давление неурядиц во внутренней политике Пакистана – правительство Аюба шаталось, а война в такое время творит чудеса. Та ли была причина, или эта, или другая? Чтобы упростить дело, предложу вам еще две, измысленные лично мной: война началась потому, что мои сны о Кашмире затронули воображение наших руководителей; кроме того, я оставался нечистым, и война была затеяна, чтобы оторвать меня от моих грехов.

Джихад, Падма! Священная война!

Но кто нападал? Кто защищался? В мой восемнадцатый день рождения реальность получила очередную взбучку. Со стен Красного форта в Дели премьер-министр Индии (не тот, который когда-то в давние времена написал пресловутое письмо) послал мне такое поздравление: «Мы ручаемся, что сила встретится с силой, и агрессия захлебнется!» А на Гуру Мандир меня приветствовали, ободряя, громкоговорители, установленные на армейских джипах: «Индийские агрессоры будут повергнуты в прах! Мы – раса воителей! Один патан, один пенджабский мусульманин стоит десяти бабу, вооруженных с ног до головы!»

Джамилю-Певунью призвали на север петь серенады нашим джаванам, каждый из которых стоит десятерых. Установили светомаскировку; по ночам мой отец, глупый как несмышленый младенец, впавший во второе детство, распахивает окна и включает свет. В окна летят кирпичи и камни – подарки ко дню рождения. А ход событий все более и более скрыт в тумане: тридцатого августа нарушили ли индийские войска линию прекращения огня близ Ури для того, чтобы «изгнать пакистанских бандитов» – или чтобы начать наступление? Когда первого сентября наши стоящие десятерых солдаты перешли границу у Чхамба, было ли это агрессией или нет?

Кое-что можно сказать определенно: голос Джамили-Певуньи провожал пакистанские войска на смерть, а муэдзины со своих минаретов – да, и на Клейтон-роуд тоже – обещали, что всякий, кто погибнет в бою, отправится прямиком в благоуханные сады. Моджахедская философия Ахмада Барилви присутствовала всюду; нас призывали к «новым, неслыханным жертвам».

А по радио – какой разнос, какие потери! За первые пять дней войны «Голос Пакистана» подбил столько самолетов, сколько у Индии никогда и не бывало; за восемь дней «Индийское радио» истребило всю пакистанскую армию до последнего человека, даже существенно завысило ее численность. Я был совершенно сбит с толку безумием войны и моей личной жизни, и в голову ко мне закрались мысли, порожденные отчаянием.

Великие жертвы: например, в битве при Лахоре[343]? Шестого сентября индийские войска перешли границу у Вагаха, тем самым колоссально расширив театр военных действий,

343

выведя его за пределы Кашмира, – и что, имели там место великие жертвы, или нет? Правда ли, что город оставался практически беззащитным, ибо пакистанская армия и военно-воздушные силы были целиком сосредоточены в секторе Кашмира? «Голос Пакистана» вещал: «О достопамятный день! О пример, бесспорно доказывающий, сколь роковым может оказаться промедление! Индийцы, уверенные в том, что вот-вот захватят город, *остановились позавтракать».* «Индийское радио» сообщило о падении Лахора; тем временем частный самолет засек агрессоров, завтракающих на траве. Пока «Би-Би-Си» подхватила версию «ИР», в Лахоре было мгновенно собрано ополчение. Послушайте только «Голос Пакистана» – старики, юнцы, разъяренные бабули сражались с регулярной индийской армией; они защищали каждый мост, дрались всем, что попадалось под руку! Калеки на костылях набивали карманы гранатами, вырывали чеки, бросались под индийские танки; беззубые старухи вилами выпускали кишки индийским бабу! Они погибли все, от мала до велика, но спасли город, удерживая индийские части до тех пор, пока не подоспела поддержка с воздуха! Мученики, Падма! Герои, чье место – в благоуханных садах! Где мужчинам будет дано по четыре прекрасных гурии, к коим не прикасался ни человек, ни джинн; а женщинам – по четыре столь же красивых и мужественных самца! *Какой из даров Господа нашего ты отвергнешь?* Что за чудесная штука – священная война, в которой человек, принеся высшую жертву, может очиститься от всего сотворенного им зла! Не удивительно, что Лахор выстоял – на что, собственно, могли надеяться индийцы? Только на реинкарнацию – в облике тараканов, быть может, или скорпионов, или знахарей-травников – какое тут может быть сравнение?

Но так это было или не так? Так ли все случилось на самом деле? Или это «Индийское радио» – *крупное танковое сражение, гигантские потери пакистанцев, подбито 450 танков* – говорило правду?

Реальность распадалась на глазах, не за что было ухватиться. Дядюшка Фуф явился с визитом в дом на Клейтон-роуд, и во рту у него не было ни одного зуба. (Во время индийско-китайской войны, когда мы были преданы другой стороне, моя мать отдала золотые браслеты и серьги с драгоценными камнями в фонд «Украшения на вооружение»; но разве это то же самое, что пожертвовать полный рот золота?) «Нация, – прошамкал он еле внятно своим беззубым ртом, – не должна оставаться без средств из-за чьего-то тщеславия!» – Но так он поступил или нет? Были ли зубы в самом деле пожертвованы на священную войну или спокойненько лежали в комоде? «Боюсь, – прошепелявил Дядюшка Фуф, – что тебе придется подождать того особого приданого, какое я обещал». – Что это было: патриотизм или скупость? Стали ли голые десны высшим доказательством любви к отчизне или же гнусной уловкой, задуманной ради того, чтобы не наполнять золотом рот какой-нибудь из Фуфий?

А были ли парашютисты или не было их? «…заброшены во все крупные города, – объявлял „Голос Пакистана“. – Все годные к военной службе должны получить оружие; стрелять без предупреждения после комендантского часа». А в Индии: «Несмотря на провокационные воздушные рейды пакистанцев, – объявляли по радио, – мы не ответим тем же!» Кому верить? В самом ли деле совершили пакистанские истребители тот «отважный рейд», в результате которого треть индийских военно-воздушных сил была разгромлена прямо на аэродроме? Сделали они это или нет? А ночные танцы в небесах, пакистанские «Миражи» и «Мистерии» против не столь романтично названных «МиГов»: дали ли исламские мистерии и миражи бой индийским захватчикам, или все это обернулось некоей сногсшибательной иллюзией? Падали ли бомбы? В самом ли деле они взрывались? Была ли сама смерть настоящей? А Салем? Что делал он на этой войне? Вот что: в ожидании призыва я рыскал в поисках лучшей подруги – стирающей память, дарующей сон, уводящей в Рай бомбы.

Страшный фатализм, овладевший мною в последнее время, принял форму еще более страшную; я присутствовал при распаде семьи и обеих стран, к которым принадлежал, и не мог найти точки опоры, и все, что в здравом уме можно назвать реальностью, погружалось в

небытие, и я пропадал, снедаемый тоскою моей грязной неразделенной любви, и поэтому искал забвения в – но, кажется, я пытаюсь облагородить происходящее; нет, высокопарные фразы ни к чему. Так вот, скажу без прикрас: я разъезжал ночью по улицам города в поисках смерти.

Кто же погиб в этой священной войне? Кто, когда я в ослепительно-белой курте и шароварах носился на «Ламбретте» по улицам после комендантского часа, нашел то, чего домогался я? Кто, мученик войны, отправился прямиком в благоуханный сад? Исследуйте рисунок падения бомб, постигните секреты ружейных пуль.

Ночью двадцать второго сентября все города Пакистана подверглись воздушным налетам. (Хотя «Индийское радио»…) Бомбардировщики, реальные или воображаемые, сбросили настоящие или мифические бомбы. Значит, либо действительным фактом, либо плодом расстроенного воображения является то, что из трех бомб, которые достигли Равалпинди и взорвались, первая попала в бунгало, где моя бабка Назим Азиз и тетя Пия прятались под столом; вторая разрушила один из корпусов городской тюрьмы и избавила моего кузена Зафара от пожизненного заключения; третья сровняла с землей большой затемненный дом, окруженный стеной и охраняемый часовыми; часовые находились на своих постах, но это не помешало Эмералд Зульфикар отбыть в место более отдаленное, нежели Саффолк. В эту самую ночь ее навестили наваб из Кифа и его упрямо не желающая созревать дочка; ей уже никогда не придется стать взрослой женщиной. Для Карачи тоже хватило трех бомб. Индийские самолеты, опасаясь снижаться, бомбили с большой высоты; абсолютное большинство снарядов упало в море, не причинив никому никакого вреда. И все же одна бомба истребила майора (в отставке) Аладдина Латифа и всех семерых Фуфий, тем самым навсегда освободив меня от данного обещания; оставалось еще две бомбы. Тем временем на фронте Мутасим Прекрасный выбрался из своей палатки и отправился по нужде; что-то, жужжа как комар (а может, и не жужжа), подлетело к нему, и он умер с полным мочевым пузырем, подстреленный снайпером.

И теперь я должен рассказать вам о двух последних бомбах.

Кто остался в живых? Джамиля-Певунья, которую бомбам было трудно поймать; в Индии – семья моего дяди Мустафы, на которого бомбу было жалко тратить; но давно забытая дальняя родственница отца, Зохра, вместе с мужем перебралась в Амритсар, и шальная бомба настигла их.

А теперь рассказ пойдет еще о двух бомбах.

…Я, ничего не ведая о своей тесной связи с войной, ездил как дурак, подставляясь под бомбы; раскатывал после комендантского часа, но пули бдительных стражей не достигали цели… огненные полотнища взвились зато над неким бунгало в Равалпинди, затрепетали простыни с прорезью, и в самом их центре появилась таинственная черная дыра, из которой вырос мало-помалу дымный призрак толстой старухи с бородавками на щеках… одного за другим война стирала с лица земли моих осушенных, выпитых до капли и бесполезных родственников.

Но теперь обратный счет времени подходит к концу.

И я напоследок развернул мою «Ламбретту» к дому, так что был вблизи от Гуру Мандир, когда самолеты взревели над головой, миражи и мистерии, а мой отец тем временем, впав в идиотизм от удара, включал всюду свет и распахивал окна одно за другим, хотя офицер гражданской обороны заходил в тот день, дабы удостовериться, что затемнение в порядке; и когда Амина Синай говорила призраку старой белой бельевой корзины: «А теперь уходи, я уже на тебя насмотрелась», я мчался на мотороллере мимо джипов гражданской обороны, откуда мне грозили кулаками; и прежде, чем кирпичи и камни потушили свет в доме тети Алии, раздался вой, и знать бы мне, что не нужно в других местах искать смерти, но я был еще на улице, в полуночной тени мечети, когда смерть снизошла, всей тяжестью метя в освещенные окна отцовского скудоумия; смерть, воющая, как бродячие псы, принимающая облик падающих кирпичей, и полотнищ пламени, и взрывной волны, которая смела меня прочь с «Ламбретты»; а тем временем в доме, пропитанном неиссякаемой,

великой горечью моей тетки, мои отец и мать, и тетка, и нерожденный братик или сестричка, дитя, которому оставалась неделя до появления на свет – все они, все они, все были сплющены, словно блины из рисовой муки; дом рухнул им на головы, придавил их, будто вафельница, а на Кораджи-роуд последняя бомба, которую сбрасывали на нефтеперерабатывающий завод, попала по ошибке в разноуровневый, в американском стиле, особняк, который так и не успела взрастить пуповина; но на Гуру Мандир многие истории подошли к концу, история Амины и ее давнего подпольного супруга, ее прилежания, и публичного уведомления, и сына-который-не-был-ее-сыном, и везения на скачках, и мозолей, и тоскующих рук в кафе «Пионер», и последнего поражения, какое нанесла ей сестра; и история Ахмеда, который вечно сбивался с пути, чья нижняя губа оттопыривалась, а живот был круглый, как тыква; Ахмеда, который весь побелел от замораживания, и впал в отвлеченность, и заставлял собак издыхать на улицах от разрыва артерий, и влюбился слишком поздно, и умер потому, что был беззащитен перед тем-что-падает-с-неба; все они теперь стали плоскими, как блины, и дом вокруг них взорвался – рухнул, и таким неистовым был этот миг разрушения, что вещи, глубоко погребенные в забытых жестяных сундуках, взлетели в воздух, в то время как другие вещи, люди, воспоминания были погребены под обломками без надежды на спасение; взрыв протянул свои персты вниз-вниз, на самое дно шкафа, и открыл зеленый жестяной сундук; взрыв цепкой рукою схватил, что там было, и подбросил в воздух, и вот то, что лежало скрытым-невидимым долгие годы, кружится в ночи, словно месяц ясный, сошедший с небес; нечто, поймавшее месяца отблеск, падает, падает, когда я, шатаясь, встаю на ноги после удара; нечто летит, крутясь, и вертясь, и ныряя; нечто серебряное, как лунный свет, искусной работы серебряная плевательница, украшенная лазуритом; прошлое всей своей тяжестью обрушивается на меня, словно рука, оброненная стервятником; оно-то меня очищает-освобождает, ибо, когда я поднял глаза, что-то коснулось затылка, а потом – крохотный, но бесконечный момент предельной ясности, когда я простираюсь ниц перед родительским погребальным костром; крошечный, но нескончаемый миг познания до того, как с меня сдерут прошлое, настоящее, память, и время, и стыд, и любовь; мимолетный, но безвременный взрыв, перед которым я склоняю голову: да, я согласен, да, этот удар был неизбежен, а после я стал пуст и свободен, и все Салемы извергаются теперь из меня, от младенца на крупноформатном фото первой полосы до восемнадцатилетнего парня с его грязной-противной любовью; извергаются и уходят стыд, и вина, и желание-нравиться, и потребность-быть-любимым, и решимость-сыграть-свою-роль-в-истории, и слишком-быстрый-рост; я свободен от Сопливца, и Рябого, и Плешивого, и Сопелки, и Морды-картой, и от бельевых корзин, и от Эви Бернс, и от маршей языков; избавлен от «мальчика Колинос» и от грудей Пии мумани; от Альфы-и-Омеги; мне прощаются многочисленные убийства – Хоми Катрака, и Ханифа, и Адама Азиза, и премьер-министра Джавахарлала Неру; я стряхнул с себя пятисотлетних шлюх, и признания в любви темными ночами; свободен и без забот, прижатый к асфальту, возвращенный к невинности и чистоте месяцем ясным, упавшим с небес, начисто вымытый, выскобленный, как деревянный ящик для письменных принадлежностей; череп мне пробила (как и было предсказано) серебряная плевательница моей матери.

Утром двадцать третьего сентября ООН объявила о прекращении военных действий между Индией и Пакистаном. Индия захватила чуть менее 500 квадратных миль пакистанской земли, а Пакистан завоевал ровно 340 квадратных миль своей мечты о Кашмире. Говорили, будто огонь был прекращен потому, что у обеих сторон кончились боеприпасы более или менее одновременно; таким образом, усилия международной дипломатии и политически мотивированные манипуляции поставщиков оружия предотвратили полное уничтожение моей семьи. Некоторые из нас остались в живых потому, что никто не продал нашим возможным убийцам бомб-пуль-бомбардировщиков, потребных для нашего окончательного истребления.

Но через шесть лет разразилась другая война.

Книга третья

Будда

Довольно-таки очевидно (иначе мне пришлось бы пуститься в некие фантастические объяснения моего продолжающегося присутствия в «земной юдоли»), что вы можете числить меня среди тех, кого войне 1965 года не удалось стереть с лица земли. Пришибленный плевательницей, Салем подвергся лишь частичной зачистке; его всего только выскоблили, в то время как других, менее везучих, соскоблили; я лежал, лишившись чувств, в полуночной тени мечети, и спасло меня то, что у обеих сторон кончились боеприпасы.

Слезы – которые, за недостатком кашмирского морозца, не имеют ни единого шанса затвердеть в бриллианты, – скользят по круглым, словно сиськи, щекам Падмы. «О, господин, эта война тамаша[344], лучших убивает, прочих жить оставляет!» Будто бы полчища змей только что выползли из ее покрасневших глаз и заскользили вниз, оставляя на коже липкие, блестящие следы: Падма оплакивает мой расплющенный бомбой клан. А у меня глаза, как всегда, сухи, и я милостиво не замечаю невольного оскорбления, заключенного в слезливом восклицании Падмы.

– Оплакивай живых, – мягко укоряю я. – У мертвых есть благоуханные сады. – Горюй по Салему! Ему преградило путь на небесные луга продолжающееся биение сердца, и он очнулся среди липучих металлических запахов больничной палаты; и не было гурий, до которых не коснулся ни человек, ни джинн, гурий, обещающих вечное блаженство – хорошо еще, что обо мне позаботился ворчливый, гремящий грелками дюжий санитар, который, перевязывая мне голову, пробубнил кисло, что война там или не война, а доктора-сахибы по воскресеньям бесперемонно едут в свои пляжные домики. «Повалялся бы уж без памяти еще денек», – изрек он и пошел дальше, подбадривать остальных.

Горюй по Салему: он, осиротевший, очищенный, лишенный тысячи ежедневных булавочных уколов семейной жизни, – а ведь только они и могут проткнуть непомерно раздутый воздушный шар фантазий об истории, свести существование к более приемлемому человеческому масштабу, – был вырван с корнем, бесцеремонно запущен в полет сквозь годы и обречен приземлиться беспамятным посреди взрослого мира, с каждым днем все более гротескного.

Свежие следы змей на щеках Падмы. Принужденный к робким увещеваниям типа: «Ну ладно, ладно», – я заимствую свои приемы у передвижных кинореклам. (Как я любил афиши в старом клубе «Метро Каб»! Как чмокали губы при виде слов НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, прилепленных к складкам синего бархата! Как текли слюнки перед надписью на экране, трубившей: ВЫ УВИДИТЕ СКОРО-СКОРО! Поскольку обещание яркого, экзотического будущего всегда казалось мне безотказным противоядием к настоящему, которое чревато одними только разочарованиями). «Хватит, хватит, – уговариваю я свою рыдающую, притулившуюся на корточках публику, – я ведь еще не закончил! Будет еще казнь на электрическом стульчаке и тропические джунгли; пирамида из голов и поле, пропитанное жидкостью, сочащейся из костей; грядут чудесные избавления и кричащий минарет! Падма, осталось еще столько достойного внимания: мои дальнейшие злоключения в корзинке-невидимке и под сенью другой мечети; дождись хотя бы предостережений Решам-биби и надутых губок Парвати-Колдуньи! Отцовства, а вместе с ним – измены, и, конечно же, неодолимой Вдовы, которая к истории верхнего дренажа добавила окончательное бесчестие нижнего опустошения… короче, нас ждут в изобилии новые приключения и скоро-на-экране; глава заканчивается смертью родных, но дает начало

344

совсем новой главе».

Немного утешенная обещанием нового, новых событий, Падма сопит носом, вытирает липкие следы, осушает слезы; делает глубокий вдох… и для ушибленного плевательницей парня, которого мы видели в последний раз на больничной койке, успевает пройти около пяти лет до того момента, как мой навозный лотос делает выдох.

(Пока Падма, чтобы успокоиться, задерживает дыхание, я позволю себе включить сюда излюбленный прием бомбейского кино – календарь, страницы которого быстро-быстро переворачивает ветер, что означает: проходят годы; на мелькающие листки я накладываю бурные общие планы уличных беспорядков, средние планы горящих автобусов и пылающих англоязычных библиотек Британского совета и Службы информации Соединенных Штатов Америки; сквозь даты, все с большей скоростью сменяющие одна другую, мы видим падение Аюб Хана, наблюдаем, как генерал Яхья занимает пост президента и обещает выборы[345]… но губы Падмы раскрываются, и уже нет времени останавливаться на яростном противоборстве г-на З.А. Бхутто и шейха Муджиб-ур-Рахмана[346]; воздух невидимой струйкой исходит из ее рта, и призрачные лица лидеров Пакистанской народной партии и Лиги Авами расплываются и пропадают; легкие Падмы опустошаются, и этим порывом, как ни странно, усмиряется ветерок, что переворачивал листочки моего календаря, и тот застывает в самом конце 1970 года, перед выборами, расколовшими страну, перед войной Западной части против Восточной, ПНП против Лиги Авами, Бхутто против Муджиба… незадолго до выборов 1970 года, вдали от переднего плана сцены истории, три молодых солдата приходят в секретный военный лагерь в горах Марри).

Падма вновь овладела собой.

– Ладно, ладно, – уговаривает она меня и машет рукой в знак того, что больше не будет плакать. – Чего ты ждешь? Начинай, – надменно наставляет меня мой лотос. – Начинай сначала.

Этого горного лагеря нет ни на одной карте; он расположен так далеко от Маррийской дороги, что даже водители с самым острым слухом не в силах расслышать лай собак. Колючая проволока, проведенная по его периметру, тщательно замаскирована; на воротах – ни знака, ни названия. Но он существует, вернее, существовал; хотя существование его с горячностью отрицалось – после падения Дакки, к примеру, когда побежденного Тигра Ниязи[347]допросил по этому поводу его старый приятель, победоносный индийский генерал Сэм Менекшау[348], Тигр презрительно усмехнулся: «Собаководческое управление кадров атаки? Никогда о таком не слышал; тебя ввели в заблуждение, старина. Это просто смешно, если хочешь знать мое мнение». Но несмотря на то, что Тигр сказал Сэму, лагерь там точно был…

– Подтянись! – кричит бригадир Искандар новым рекрутам – Аюбе Балочу, Фаруку Рашиду и Шахиду Дару. – Вы теперь члены подразделения СУКА![349]Похлопывая себя стеком по бедру, он разворачивается кругом, а они стоят на плацу, поджариваясь на горном солнышке и в то же время промерзая под горным ветром. Выпятив грудь, расправив плечи, напряженно застывшие по стойке «смирно», трое юношей слышат, как хихикает ординарец бригадира Лала Моин: «Так это вам, сосункам несчастным, достанется человек-собака!»

Они переговариваются, лежа вечером на своих койках: «Кадры атаки! – гордо шепчет Аюба Балоч. – Разведчики, парень! Войска особого назначения ста семнадцати типов! Пусть только выпустят нас на индусов – то-то будет потеха! И-раз! И-два! Что за слабаки, йара, эти индусы! Едят одни овощи! А овощи, – заключает Аюба свистящим шепотом, – совсем не то,

345
346
347
348
349

что мясо». – Он здоровенный, как танк. Волосы у него растут прямо от бровей.

И Фарук: «Думаешь, будет война?» Аюба фыркает: «Еще бы! Как же не быть войне? Разве Бхутто-сахиб не пообещал каждому крестьянину по акру земли? Откуда ж она возьмется? Чтобы набрать столько полей, мы должны захватить Пенджаб и Бенгалию! Вот погоди: как только Народная партия победит на выборах, так и начнется: и-раз! И-три!»

Фаруку не по себе: «У индийцев есть сикхские войска, парень. У сикхов во-от такие длинные бороды и волосы по плечам, на жаре все это ужасно чешется, сикхи сатанеют и дерутся как проклятые!..»

Аюба гогочет; ему смешно. «Вегетарианцы, яяр… разве им одолеть таких бычков, как мы с тобой?» Впрочем, Фарук, высокий и жилистый.

Шахид Дар шепчет: «А что это он такое говорил: человек-собака?»

…Утро. В хижине с классной доскою бригадир Искандар водит костяшками пальцев по лацканам, а старший сержант Наджмуддин тем временем инструктирует новобранцев. Система вопросов-и-ответов: Наджмуддин спрашивает и сам отвечает. Никто не смеет прерывать его. А над классной доскою, в кольце гирлянд, висят портреты президента Яхьи и Мутасима-Мученика; их лики строго взирают на всех. А сквозь окна (закрытые) доносится назойливый собачий лай… Лает и Наджмуддин, вопрошая и давая ответы. Зачем вы здесь? – Тренироваться. В чем? – В преследовании-и-захвате. В каком составе будете работать? – В звеньях из трех человек и собаки. В чем выражается исключительность условий? – В отсутствии старшего офицера, в необходимости принимать самостоятельные решения, чему непременно должно сопутствовать высокое исламское чувство дисциплины и ответственности. Цель подразделения? – Искоренять нежелательные элементы. Природа оных элементов? – Они подобны змеям, хорошо маскируются, могут-быть-кем-угодно. Их намерения, известные нам? – Достойны ненависти: разрушение семьи, истребление Бога, экспроприация землевладельцев, отмена цензуры в кино. Их цели? – Уничтожение государства, анархия, иностранное господство. Обстоятельства, вызывающие особую тревогу? – Приближающиеся выборы и, следовательно, гражданское правление. (Политические заключенные были-будут-уже освобождены. Злоумышленники всех сортов рассеяны повсюду). Конкретные задачи подразделений? – Подчиняться беспрекословно; искать с неослабным рвением; задерживать без всякой жалости. Способ действия? – Тайный; эффективный; быстрый. Законное обоснование подобных задержаний? – Защита устоев Пакистана, пункт, позволяющий хватать нежелательные элементы и помещать их под арест без права переписки на срок до шести месяцев. Примечание: этот срок может быть продлен еще на шесть месяцев. Есть вопросы? – Нет. Теперь вы – СУКА, звено 22. Нашейте на лацканы знак собаки женского пола. Что, собственно, и обозначает это сокращение.

А что же человек-собака?

Скрестив ноги, уставив в пространство голубые глаза, он сидит под деревом. Дерево бодхи не растет на такой высоте; довольно с него и чинары. Его нос: луковицей, огурцом; кончик синий от холода. А на голове у него – тонзура монаха, там, где однажды рука Загалло… Изувеченный палец, недостающая часть которого упала к ногам Маши Миович, когда Зобатый Кит захлопнул… И родимые пятна на морде-картой… «Х-х-ха-а-ар-тьфу!» (Он плюет).

Зубы у него тоже в пятнах; десны красные от сока бетеля. Красная струя пана вылетает из его губ и попадает, с достойной похвалы точностью, в красивой чеканки плевательницу, которая стоит перед ним на земле. Аюба-Шахид-Фарук глядят в изумлении. «Не вздумайте отобрать это у него, – показывает на плевательницу старший сержант Наджмуддин. – Он взбесится не на шутку». Аюба пытается вставить слово: «Сэр, сэр, я так понял, вы говорили – три человека и…», но Наджмуддин лает: «Разговорчики! Слушать мою команду! Это – ваш следопыт, вот и все. Вольно».

К тому времени Аюбе и Фаруку стукнуло по шестнадцати с половиной лет. Шахид (который соврал насчет своего возраста) был, наверное, на год моложе. Эти юнцы еще не успели заиметь воспоминаний, которые позволяют человеку твердо стоять ногами на

реальной почве, например, воспоминаний о любви или голоде, и мальчишки-солдаты оказались крайне подвержены влиянию легенд и сплетен. В течение последующих суток, за разговорами в столовой с другими звеньями подразделения СУКА, человек-собака превратился в мифический персонаж… «Он из очень хорошей семьи, парень!» – «Идиот от рождения; его отдали в армию, чтобы сделать из него человека!» – «Был ранен на войне шестьдесят пятого – и с тех пор ничегошеньки не помнит!» – «Послушай, а мне говорили, будто он брат…» – «Нет, парень, это все чушь, она – добрая, сам знаешь; скромная, святая девушка – разве могла она оставить брата?» – «Все равно он об этом отказывается говорить». – «А я слышал ужасную вещь: она его ненавидела, потому-то и…» – «У него нет памяти, люди его не интересуют, он живет как собака!» – «Но следопыт-то из него что надо! Видел, какой у него нос?» – «Да, парень, он может взять любой след, какой ни есть на земле!» – «Даже на воде чует, баба?, на скалах! Такого следопыта никто не видывал!» – «А сам-то ничего не чувствует! Правда-правда! Оцепенелый весь, клянусь тебе: с головы до ног! Можешь потрогать его, а он и не заметит – только по запаху определит, что ты тут!» – «Это, должно быть, ранение!» – «А плевательница, парень, к чему она? Таскает ее за собой повсюду, будто знак любви!» – «Честное слово, ребята, я рад, что он достался вам троим, я как посмотрю на него, так мурашки по телу бегают, йаяр; а еще глаза эти голубые» – «Знаешь, как обнаружили, что у него такой нюх? Он бродил себе по минному полю, парень, клянусь тебе: прокладывал путь среди чертовых мин, как будто носом их чуял!» – «Да нет, парень, что ты такое плетешь, это же старая история о первой собаке из подразделения СУКА, о той самой Бонзо; ты, парень, нам голову не морочь!» – «А ты, Аюба, поосторожнее с ним; говорят, к нему проявляют интерес важные люди!» – «Говорю же тебе, Джамиля-Певунья…» – «Да заткнись ты, хватит этих сказок!»

Как только Аюба, Фарук и Шахид примирились со своим странным, бесстрастным следопытом (а случилось это после происшествия в отхожем месте), ребята дали ему прозвище «будда», старик; не потому, что он был на семь лет старше и участвовал в войне шестьдесят пятого года, когда трое мальчишек-солдат еще бегали в коротких штанишках, а потому, что от него веяло величавой древностью. Будда был стар не по годам.

О благословенная двусмысленность транслитерации! Слово «будда» на языке урду, означающее «старик», произносится с твердыми «церебральным» «д». Но есть еще Буддха, с мягкими, придыхательными «д», тот-кто-достиг-просветления-под-деревом-бодхи…[350][351]Жил-был когда-то принц, и не мог он вынести страданий мира, и постиг он науку не-жить-в-мире и одновременно жить в нем; он был, и его не было; тело его находилось в одном месте, а дух – в другом. В древней Индии Буддха Гаутама сидел, просветленный, под деревом подле Гайиа; в Оленьем парке в Сарнатхе учил других отвлекаться от скорбей этого мира и достигать внутреннего покоя[352]; много веков спустя будда Салем сидел под совсем другим деревом, не помня о своем горе, оцепенелый, словно глыба льда, вытертый начисто, как грифельная доска… С некоторым смущением я вынужден признать, что амнезия – расхожий трюк в наших жутковатых, трагических фильмах. Склоняя голову, соглашаюсь: да, моя жизнь опять обрела очертания бомбейского кино; но в конце-то концов, если оставить в стороне набившую оскомину реинкарнацию, остается не так уж и много способов родиться заново. Итак, прошу простить мне эту мелодраму, но я продолжаю настырно утверждать, будто я (он) начал все с нуля; после долгих лет честолюбивых стремлений он (или я) был выскоблен добела; после того, как мстительная Джамиля-Певунья оставила меня, запихала в армию, чтобы убрать с глаз долой, я (или он) безропотно принял свою судьбу, воздаяние за любовь, и сидел, ни на что не жалуясь, под чинарой; опустошенный, лишенный истории, будда постиг искусство подчинения и делал то, что от него требовалось. Короче говоря, я стал гражданином

350
351
352

Пакистана.

За месяцы тренировок будда должен был с математической неизбежностью довести Аюбу Балоча до белого каления. Возможно, потому, что он предпочитал жить отдельно от солдат, в устланном соломой аскетическом закутке в дальнем углу псарни; а может, потому, что так часто сидел, скрестив ноги, под своим деревом, цеплялся за свою плевательницу, вперял в пространство бессмысленный взор да улыбался дурацкой улыбочкой – будто и в самом деле радовался, что ему вышибло мозги! Мало того, Аюба, апостол мясной пищи, находил следопыта недостаточно мужественным. «Как баклажан какой-нибудь, – сетует Аюба с моего позволения, – ей-Богу, да он – овощ, ни дать ни взять!»

(Мы бы могли также, взяв более широкий обзор, заявить, что раздражение носилось в воздухе под конец этого года. Разве генерал Яхья и г-н Бхутто не бесились, не досадовали на то, что вздорный упрямец шейх Муджиб все-таки настаивает на своем праве сформировать новое правительство? Злокозненная бенгальская Лига Авами получила сто шестьдесят мест в парламенте Восточной части из ста шестидесяти двух возможных, а ПНП г-на Бхутто победила всего лишь в восьмидесяти одном из западных избирательных округов. Да, такие выборы раздражали. Можно себе представить, как негодовали Яхья и Бхутто, оба из Западной части! А когда даже сильные мира сего гневаются и затевают свары, чего же требовать с маленького человека? Раздражение Аюбы Балоча – позвольте подытожить сказанное – поместило его в превосходную, чтоб не сказать высокопоставленную, компанию).

На учениях, когда Аюба-Шахид-Фарук с трудом поспевали за буддой, который брал самый слабый след среди кустов-на скалах-в стремнинах, трое мальчишек-вынуждены были признать его мастерство, и все же Аюба, упрямый, как танк, не уставал допытываться: «Ты что, правда ничего не помнишь? Ничегошеньки? О, Аллах, и тебе не тошно от этого? Может, где-то есть у тебя мать-отец-сестра?», но будда мягко его останавливал: «Не пытайся набить мне голову этими историями; я – это я, вот и все». Его речь была такой чистой. «Настоящий классический урду, как в Лакхнау, вах-вах!», – заметил Фарук с восхищением, и Аюба Балоч, который говорил грубо, как дикарь, умолк; а трое мальчишек с еще большим пылом стали верить в истинность слухов. Они невольно подпали под обаяние этого человека, у которого был нос огурцом, а голова отвергала воспоминания-семью-историю и не удерживала абсолютно ничего, кроме запахов… «будто тухлое яйцо, которое кто-то расколупал, – пробормотал Аюба товарищам, и потом, вернувшись к своей излюбленной теме, добавил: – О, Аллах, у него даже нос похож на какой-то овощ».

Им все еще было как-то тревожно. Может, они усматривали в пустотелом оцепенении будды что-то от «нежелательного элемента»? Не был ли его отказ от прошлого-и-семьи той самой подрывной деятельностью, которую они призваны были «искоренять»? Но офицеры лагеря были глухи к просьбам Аюбы: «Сэр, сэр, нельзя ли нам получить настоящую собаку, сэр?» И вот Фарук, рожденный, чтобы следовать за кем-то и уже признавший Аюбу своим вождем и героем, вскричал: «Что тут поделаешь? У этого парня, видать, такие связи, что высшие чины велели бригадиру его терпеть, только и всего».

А еще (хотя никто из троицы не смог бы выразить эту мысль словами) я предполагаю, что среди самых глубинных оснований их тревоги была боязнь шизофрении, расщепления, захороненная, как та пуповина, в любом пакистанском сердце. Тогда Восточную и Западную части страны разделяло неизмеримое пространство индийской земли, через которое не перекинешь мост, да и между прошлым и настоящим тоже зияла непроходимая пропасть. Религия скрепляла Пакистан, склеивала друг с другом обе половинки; точно так же сознание, осмысление себя однородным целым, живущим во времени, объединяющим в себе прошлое и настоящее, скрепляет личность, склеивает вместе наше «тогда» и наше «теперь». Впрочем, довольно философии: я хочу сказать, что, отказавшись от сознания, оторвавшись от истории, будда подал худший из примеров – и примеру тому последовал, ни много ни мало, как сам шейх Муджиб, когда он повел Восточную часть к расколу и провозгласил независимый

Бангладеш[353]! Да, Аюба-Шахид-Фарук были правы, испытывая тревогу, – ибо, даже плавая в глубинах бессознательного, устранившись от всякой ответственности, я, через метафорический способ сцепления, все же вызвал чреватые войною события 1971 года.

Но пора вернуться к моим новым товарищам и рассказать о происшествии в отхожем месте: был там подобный танку Аюба, предводитель звена, и Фарук, что повсюду следовал за ним. А третий парнишка, более мрачный, был себе на уме, и тем самым мил моему сердцу. В свой пятнадцатый день рождения Шахид Дар наврал насчет своего возраста и завербовался. В тот день его отец, пенджабский издольщик, повел Шахида в поле и оросил слезами его новехонький мундир. Старый Дар растолковал сыну смысл его имени, которое означало «мученик», и выразил надежду, что мальчик будет его достоин и, возможно, первым из всей семьи войдет в благоуханный сад, оставив позади этот жалкий мир, где отец вряд ли когда-нибудь сможет расплатиться с долгами да еще прокормить девятнадцать детей. Неодолимая сила имени, влекущая к мученичеству, тяжко довлела уму Шахида; в снах ему стала являться его смерть, принявшая облик яркого граната; она плыла в воздухе позади него, повсюду следовала за ним, дожидаясь своего часа. Смущающее, какое-то негероическое видение смерти-граната заставило Шахида замкнуться в себе, отучило улыбаться.

Ушедший в себя, не улыбающийся, Шахид наблюдал, как многие звенья подразделения СУКА покидают лагерь, уходят на дело, и убеждался, что его час и час граната пробьет очень скоро. Видя, как часто звенья из трех-человек-и-собаки отбывают прочь на замаскированных джипах, он сделал вывод о растущем политическом кризисе. Наступил февраль, и раздражение великих мира сего становилось с каждым днем все более заметным. Но танк-Аюба на такие высоты не забирался. Раздражение его тоже росло, однако объектом его был будда.

Аюба влюбился в единственную женщину в лагере, костлявую уборщицу туалетов, которой вряд ли было больше четырнадцати, ее соски только-только начинали просматриваться под рваной рубашкой: дрянная, конечно, девчонка, но других тут не водилось, и для уборщицы туалетов у нее были весьма красивые зубы и приятная, кокетливая манера бросать игривые взгляды через плечо… Аюба стал таскаться за ней по пятам и углядел, наконец, как она направилась в устланный соломой закуток будды; тогда он прислонил к стене псарни велосипед, встал на сиденье… и свалился, ибо парню не понравилось то, что он увидел. После он заговорил с туалетной девчонкой, грубо схватив ее за руку: «Зачем делать это с психом, когда я, Аюба, могу, мог бы?..» – а она отвечала, что ей нравится человек-собака, он забавный, говорит, будто ничего не чувствует; трется-трется во мне своим шлангом, а сам и не чувствует ничего; но это очень приятно, а еще он толкует, будто любит мой запах. Откровенность нищей девчонки, честность уборщицы туалетов вызвала у Аюбы тошноту; он заявил, что душа у нее из свинячьего дерьма, да и язык обложен калом; в припадке ревности он и придумал проделку с проводами, хохму с электрическим урыльником. Его влекло само место: была в этом некая высокая, поэтическая идея правосудия.

– Не чувствует ничего, а? – изголялся Аюба перед Фаруком и Шахидом. – Вот погодите-ка: он у меня поскачет.

10 февраля (в день, когда Яхья, Бхутто и Муджиб отказались вести переговоры на высшем уровне) будда ощутил зов природы. Несколько смущенный Шахид и сияющий Фарук болтались возле уборной; тем временем Аюба, протянувший провода от металлических стоп в клозете к аккумулятору джипа, прятался позади отхожего места, рядом с джипом, мотор которого был включен. Вот показался будда с глазами, вытаращенными, как у жующего чарас[354], с поступью такой, будто он витает в облаках; и как только он вплыл в уборную, Фарук закричал: «Эй! Аюба, йара!» – и принялся хихикать. Юнцы-солдаты ждали вопля унижения и боли, знака, что их пустоголовый следопыт начал

353
354

мочиться, тем самым позволив электрическому току подняться по золотой струе и ужалить его в онемелый, трущий-трущий девчонку шланг.

Но крика все не было; Фарук, не зная, что и подумать, чувствуя, что его провели, начал хмуриться; время шло, и Шахид стал нервничать, и заорал Аюбе Балочу; «Эй, Аюба! Ты что там, заснул?» На что танк-Аюба: «Да ты что, йар, я включил его на полную катушку пять минут назад!» И вот Шахид бежит – ВО ВЕСЬ ОПОР! – к уборной и видит, как будда мочится, и на лице его написано некое смутное наслаждение; мочевой пузырь опорожняется с таким напором, будто наполнялся он по меньшей мере недели две; ток проникает в будду через нижний огурчик; а будда, кажется, вовсе этого не замечает и заряжается электричеством: голубые искры уже сверкают у кончика раблезианского носа; и Шахид, не смея коснуться невероятного существа, способного поглощать электричество через собственный шланг, вопит: «Отключай, парень, иначе он тут поджарится, как луковка!» Будда вышел из уборной безмятежный, застегиваясь правой рукой, а в левой держа серебряную плевательницу; и трое мальчишек-солдат тогда поняли, что это – чистая правда, Аллах: он весь задубелый, как глыба льда, не чувствует боли ни кожей, ни памятью… Целую неделю после этого случая к будде нельзя было прикоснуться: от него било током, и даже туалетная девчонка не приходила к нему в его закуток.

Любопытно, что после истории с проводами Аюба Балоч прекратил сердиться на будду и даже стал относиться к нему с уважением; этот причудливый эпизод сплотил собаководческое звено в настоящую команду, готовую выступить в поход против всех злодеев земли.

Танку-Аюбе не удалось досадить будде; но там, где маленький человек терпит поражение, великие мира сего торжествуют. (Когда Яхья и Бхутто решили, что шейх Муджиб у них попрыгает, все прошло как по маслу.)

15 марта 1971 года двадцать звеньев подразделения СУКА собрались в хижине с черной классной доской. Окруженный гирляндой лик президента взирал сверху вниз на шестьдесят одного человека и девятнадцать псов; Яхья Хан только что протянул Муджибу оливковую ветвь в виде незамедлительных переговоров с ним самим и Бхутто, на которых решились бы все раздражающие разногласия; но лик на портрете оставался безупречно каменным, никак не обнаруживая истинных, зловещих намерений высокой персоны… пока бригадир Искандар тер костяшки пальцев о лацканы, старший сержант Наджмуддин отдавал приказы: шестьдесят один человек и девятнадцать собак должны были сбросить свою амуницию. Громкий шорох прошел по хижине: девятнадцать солдат, повинуясь беспрекословно, снимают с собачьих шей ошейники с опознавательными знаками. Собаки, великолепно выдрессированные, вскидывают брови, но голоса не подают; а будда, подчиняясь приказу, начинает раздеваться. Пять дюжин собратьев-людей следуют его примеру; пять дюжин разбились на тройки, ожидая дальнейших приказов, и стоят, дрожа от холода, рядом с аккуратными стопками военных беретов, штанов, ботинок, рубашек и зеленых пуловеров с кожаными заплатками на локтях. Шестьдесят один человек, все голые, если не считать плохонького бельишка, получают (от Лалы Моина, ординарца) одобренное армией гражданское платье. Наджмуддин пролаял команду – и вот все они перед вами, кто в набедренной повязке и курте, кто в патанском тюрбане. Кому достались дешевые синтетические штаны, кому – полосатые рубашки, в каких ходят клерки. Будду обрядили в дхоти и камиз[355]; ему все впору, а другие солдаты ежатся в плохо пригнанной штатской одежде. Но это – военная операция; ни от людей, ни от собак не слышно ни единой жалобы.

15 марта, выполнив портновские предписания, двадцать звеньев подразделения СУКА вылетели в Дакку через Цейлон; в их числе были Шахид Дар, Фарук Рашид, Аюба Балоч и их будда. К Восточной части этим же кружным путем подлетали также шестьдесят тысяч отборных войск Западной части: все шестьдесят тысяч, как шестьдесят один человек, носили

355

гражданскую одежду. Командующим операцией (в опрятном синем двубортном костюме) был Тикка Хан; офицер, отвечающий за Дакку, за ее покорение и окончательную капитуляцию, прозывался Тигром Ниязи. Он щеголял в рубашке сафари, слаксах и стильной фетровой шляпе.

Через Цейлон летели мы, шестьдесят тысяч и шестьдесят один невинный авиапассажир; над Индией не пролегал наш путь, и мы упустили свой шанс полюбоваться с высоты в двадцать тысяч футов, как новая Партия конгресса Индиры Ганди празднует внушительную победу – 350 мест в Лок-Сабха из 515 возможных – на очередных выборах. Не ведая об Индире, не имея возможности созерцать ее боевой лозунг – ГАРИБИ ХАТАО – «Избавимся от бедности», украшавший стены и стяги по всему огромному алмазу Индии, мы приземлились в Дакке ранней весной, и на специально реквизированных гражданских автобусах нас отвезли на военную базу. И все же на последнем этапе нашего пути мы не могли не услышать обрывок песенки, доносившейся какого-то невидимого патефона. Песенка называлась «Амар Шонар Бангла» («Наша золотая Бенгалия»; автор: Р. Тагор), и там, в частности, были такие слова: «По весне аромат твоих манговых рощ наполняет сердце безумной усладой». Никто из нас, однако, не понимал по-бенгальски, так что мы были надежно защищены от коварного, подрывного воздействия поэзии, хотя ноги наши (следует в этом признаться) непроизвольно выстукивали ритм.

Вначале Аюбе-Шахиду-Фаруку и будде не сказали, в какой город они прибыли. Аюба, предвкушая истребление вегетарианцев, прошептал: «Говорил я тебе, а? Вот теперь мы им покажем! Разведчики, парень! Гражданская одежда и все такое! Вперед, рази, звено 22! И-раз! И-два! И-три!»

Но мы прилетели не в Индию, и не вегетарианцы были нашей мишенью; несколько дней мы без толку топтались на месте, а потом снова получили наши мундиры. Это второе преображение произошло 25 марта.

25 марта Яхья и Бхутто внезапно прервали переговоры с Муджибом и вернулись в Западную часть. Опустилась ночь; бригадир Искандар, а следом за ним – Наджмуддин и Лала Моин, шатающийся под грузом шестидесяти одного мундира и девятнадцати собачьих ошейников, ворвались в казармы подразделения СУКА. И вот Наджмуддин: «Го-отовсь! Идем в дело, оставить разговоры! Раз-два, живо, одеться по тревоге!» Пассажиры аэрофлота натянули мундиры и разобрали оружие, и тогда бригадир Искандар наконец изложил нам цель нашего путешествия. «Этот Муджиб, – раскрыл он карты. – Мы хорошенько проучим его. Он у нас попрыгает!»

(Именно 25 марта, после прекращения переговоров с Бхутто и Яхьей, шейх Муджиб ур-Рахман провозгласил создание государства Бангладеш.)

Звенья подразделения СУКА выскочили из казарм, забились в стоящие наготове джипы, а из громкоговорителей военной базы звучала запись: голос Джамили-Певуньи, громкий и чистый, пел патриотические гимны. (Аюба толкает будду: «Послушай-ка, эй, неужели не узнаешь – подумай, парень, ведь это твоя родная любимая – о, Аллах, да этот тип только и может что чихать!»)

В полночь – разве могло это случиться в какое-то другое время? – шестьдесят тысяч отборных войск тоже покинули казармы; пассажиры-летевшие-в-штатском теперь нажимали на стартеры танков. А вот Аюба-Шахид-Фарук и будда были избраны бригадиром Искандаром для самого важного дела той ночи и отправились вместе с ним. Да, Падма: когда арестовывали Муджиба, это я взял след. (Меня снабдили его старой рубашкой; остальное легко, если имеешь нюх).

* * *

Падма чуть ли не вне себя от горя. «Но, господин, ты не делал этого, этого не могло быть, как ты мог сотворить такое…?» Нет, Падма, я сотворил. Я ведь поклялся, что буду

рассказывать все, не утаивая ни крупицы правды. (Но опять на лице ее следы змей, и придется ей все объяснить).

Стало быть – хочешь верь хочешь не верь – но все было так, как я сказал! Повторяю: все кончилось, и все началось сызнова, когда плевательница стукнула меня по затылку. Салем с его отчаянной жаждой смысла, достойной цели, гения-ниспадающего-как-покрывало, ушел… и не вернется, пока змея из джунглей… так или иначе, в данный момент перед нами один лишь будда, не признающий голос певицы родным, не помнящий ни отцов, ни матерей; не придающий значения полуночному часу; тот, кто после происшествия, очистившего его, очнулся на койке в военном госпитале и принял армию как свою судьбу; тот, кто подчинился жизненному распорядку, обрел в нем себя и исполняет свой долг; тот, кто следует приказам; кто одновременно не-живет-в-мире и живет-в-нем; кто склоняет голову; кто может выследить человека ли, зверя на улицах или реках; кто не знает и не хочет знать, как, ради кого, при чьем содействии, по чьему мстительному наущению он был облачен в мундир, – тот, кто, одним словом, всего лишь прославленный следопыт двадцать второго звена подразделения СУКА.

Но до чего же кстати пришлась эта амнезия, сколь многое можно списать на нее! Так позвольте же предаться самокритике: философия всеприятия, которую исповедовал будда, привела к последствиям, не более и не менее тяжелым, чем его прежняя страсть-везде-и-всюду-находиться-в-центре; и здесь, в Дакке, эти последствия обнаружились в полной мере.

– Нет, неправда, – стенает моя Падма, и продолжает стенать по поводу почти всего, что приключилось той ночью.

Полночь, 25 марта 1971 года: мимо университета, который уже очищен, будда ведет войска к логову шейха Муджиба. Студенты и профессора выбегают из общежитии; их встречают пули, и лужайки окрашиваются меркурий-хромом. Но шейха Муджиба не пристрелили; в наручниках, избитого, Аюба Балоч ведет его к стоящему неподалеку фургону. (Как когда-то, после революции перечниц… но Муджиб не совсем голый, на нем пижама в зеленую и желтую полоску). И пока мы ехали по улицам города, Шахид выглянул в окошко и увидел то-чего-не-могло-быть: солдаты без стука входили в женские общежития; в женщин, которых выволакивали на улицы, тоже входили, и опять же никому не приходило в голову постучать. Горят редакции газет, над ними поднимается грязный желто-черный дым, какой испускает дешевая подзаборная пресса; офисы профсоюзов разрушены до основания, а придорожные канавы заполнены до отказа людьми, которые вовсе не спят – видны обнаженные груди и полые язвочки пулевых отверстий. Аюба-Шахид-Фарух молча смотрят в окошко движущегося фургона на то, как наши мальчики, наши солдаты-Аллаха, наши стоящие-десятерых-бабу? джаваны защищают единство Пакистана, истребляя городские трущобы огнеметами-автоматами-ручными гранатами. Когда мы привезли шейха Муджиба в аэропорт, где Аюба сунул пистолет ему в задницу и втолкнул в самолет, который взвился в воздух, увозя мятежника в плен, в Западную часть, будда закрыл глаза. («Не пытайся набить мне голову этими историями, – сказал он когда-то танку-Аюбе, – я – это я, вот и все»).

А бригадир Искандар собирает свои войска: «Здесь еще остались подрывные элементы, которые следует искоренить».

Когда мысли причиняют боль, действие – лучшее средство… псы-солдаты рвутся с поводка и, когда щелкает карабин, радостно бросаются в дело. О эта охота с волкодавами на нежелательные элементы! О в изобилии доставшаяся добыча в лице профессоров и поэтов! О злополучные активисты Лиги Авами и популярные корреспонденты, к несчастью, убитые при попытке оказать сопротивление! Псы войны дотла разоряют город; но, хотя следопыты-собаки неутомимы, солдаты-люди слабее: Фарук-Шахид-Аюба по очереди блюют, когда им в ноздри шибает смрадом горящих трущоб. Лишь будда, в носу у которого вонь порождает яркие, многоцветные образы, продолжает делать свое дело. Выследить их, унюхать, остальное – работа мальчишек-солдат. Подразделение СУКА прочесывает дымящиеся руины, все, что осталось от города. Никому из нежелательных элементов не

удалось спастись этой ночью; не помогли никакие укрытия. Ищейки идут по следу спасающихся бегством врагов национального единства; волкодавы, дабы внести свою лепту, яростно вонзают зубы в добычу.

Сколько арестов – десять, четыреста двадцать, тысяча один – произвело наше двадцать второе звено этой ночью? Сколько интеллигентов, трусливых дакканцев, прятались за женскими сари; скольких пришлось выводить на чистую воду? Сколько раз бригадир Искандар – «Нюхай! Подрывной запашок!» – спускал с поводка обученных войне псов подразделения? Многое из того, что произошло ночью 25 марта, навеки останется непроясненным.

Бесполезность статистики: в течение 1971 года десять миллионов беженцев пересекли границу Восточного Пакистана-Бангладеш и нашли убежище в Индии, но эти десять миллионов (как и любое число, большее, чем тысяча-и-один) остались непонятыми. Сравнения не помогают: «самая крупная миграция в истории человечества», – фраза, лишенная смысла. Больше библейского Исхода, превосходящее числом толпы, снятые с места Разделом, многоголовое чудище устремилось в Индию. На границе индийские солдаты готовили партизан, известных как Мукти Бахини[356]; в Дакке парадом командовал Тигр Ниязи.

А что же Аюба-Шахид-Фарук? Наши мальчики в зеленых мундирах? Не возмутились ли они, не подняли ли мятеж? Не прошили ли облеванными пулями офицеров – Искандара, Наджмуддина, даже Лалу Моина? Вовсе нет. Невинность была потеряна; но, несмотря на по-новому суровый взгляд, несмотря на бесповоротную утрату ориентиров, несмотря на размывание моральных устоев, звено продолжало действовать. Не один только будда делал то, что ему говорили… а где-то высоко, над схваткой, голос Джамили-Певуньи сражался с безымянными голосами, поющими песню на стихи Р. Тагора: «Жизнь моя течет в тенистых весях, ломится амбар от урожая – сердце полнится безумною усладой».

С сердцами, переполненными безумием, не усладой, Аюба с товарищами выполняли приказ, а будда брал след. В самом сердце города, исполненного насилием, обезумевшего, пропитанного кровью, ибо солдаты Западной части не щадят злоумышленников, движется звено номер двадцать два; на почерневших улицах будда пригибается к земле, вынюхивает след, не обращая внимания на сигаретные пачки, лепешки навоза, упавшие велосипеды, оброненные туфли; потом – другие задания: за городом, где целые деревни, давшие приют Мукти Бахини, за эту коллективную вину выжигались дотла; здесь будда и трое мальчишек выслеживают мелких функционеров Лиги Авами и всем известных, заядлых коммунистов. Мимо убегающих крестьян с узлами на головах; мимо вывороченных рельсов и сожженных деревьев; и все время, будто некая невидимая сила направляет их шаги, влечет их в самое сердце, темное сердце безумия, задания эти продвигают их к югу-к югу-к югу, все ближе к морю, к устью Ганга и к морю.

И наконец – за кем же они тогда гнались? Да разве имена еще имеют какое-то значение? Должно быть, встретилась им добыча, настолько же ловко умевшая заметать следы, насколько будда был ловок в преследовании – иначе почему погоня оказалась столь долгой? Наконец – не в силах забыть вбитое намертво во время тренировок «искать с неослабным рвением-задерживать без всякой жалости» – получили они задание, не имеющее конца; они преследуют противника, которого поймать нельзя, но и вернуться на базу с пустыми руками нельзя тоже; и они бегут все дальше и дальше, на юг-на юг-на юг, влекомые вечно удаляющимся следом, а может быть, чем-то еще: не было случая, чтобы судьба отказывалась вмешаться в течение моей жизни.

Они реквизировали лодку, поскольку будда сказал, что след идет вниз по реке; голодные-невыспавшиеся-выбившиеся из сил в этой вселенной покинутых рисовых полей,

356

они гребли и гребли в погоне за невидимой добычей; вниз по великой бурой реке плыли они и плыли, до тех пор, пока война не осталась так далеко, что уже и не помнилась; но запах по-прежнему вел их вперед. Та река носила родное мне имя: Падма[357]. Но местное имя только вводит в заблуждение; по-настоящему то была Она, мать-вода, богиня Ганга, стекающая на землю по волосам Шивы. День за днем будда молчит, лишь показывает пальцем – туда, в ту сторону, и они плывут на юг-на юг-на юг, к морю.

Утро безымянное, не имеющее числа Аюба-Шахид-Фарук просыпаются в лодке, готовой к абсурдной охоте, пришвартованной у отлогого берега Падмы-Ганги, и видят, что будда исчез. «Аллах-Аллах, – причитает Фарук, коснись своих ушей и молись о спасении; он завел нас в эти топи и удрал; это ты виноват, Аюба, все твоя хохма с проводами – вот как он отомстил!»… Солнце взбирается на горизонт. Чужие, странные птицы в небе. Голод и страх скребутся в утробе, как мыши: а что-если, что-если Мукти Бахини… голоса взывают к далеким родньм. Шахиду во сне приснился гранат. Отчаяние плещет в борта ладьи. А вдали, у самого горизонта – невозможная, бесконечная, огромная зеленая стена, она простирается вправо и влево до самых концов земли! Невыразимый страх: как это может быть, разве то, что мы видим, – правда; кто это строит стены поперек всего мира?.. И вдруг Аюба: «О, Аллах, глядите-глядите!» Ибо перед ними, прямо по рисовому полю, словно в замедленной съемке, причудливой чередою бегут друг за другом люди: первый – будда, нос огурцом, его за милю видать; а за ним, расплескивая воду, размахивая руками, крестьянин с косой, разгневанный Отец-Время; а по плотине бежит женщина; сари скреплено между ног, волосы распущены; она кричит и умоляет, но мститель с косой шлепает по затопленным посевам, мокрый с головы до ног и облепленный грязью. Аюба орет с близким к истерике облегчением: «Ах, старый козел! Не может держаться подальше от местных женщин! Ну давай, будда, жми: если он тебя поймает, то отрежет оба твои огурца!» И Фарук: «А потом что? Вот порежет он будду на кусочки, и что потом?» И танк-Аюба вынимает из кобуры пистолет. Аюба целится, унимая дрожь в вытянутых руках; Аюба прищуривает глаза: коса описывает в воздухе дугу. И медленно-медленно руки крестьянина поднимаются, будто в молитве; он преклоняет колени прямо в воде, заливающей поле; лицо погружается ниже, глубже, чтобы лоб коснулся земли. Женщина на плотине принимается выть. И Аюба говорит будде: «В другой раз застрелю тебя». Танк-Аюба дрожит, словно лист. А Время, убитое, лежит на рисовом поле.

Но остается бессмысленная погоня и невидимый враг, и будда: «Сюда, в эту сторону», и все четверо гребут и гребут на юг-на юг-на юг; они убили часы и забыли о днях и числах; они уже сами не знают, убегают ли, гонятся ли; но что бы ни влекло их вперед, оно их толкает все ближе и ближе к невозможной зеленой стене. «Сюда, в эту сторону», – упорно твердит будда, и вот они уже внутри, в джунглях таких густых, что история вряд ли могла проложить себе там путь. Джунгли Сундарбана поглотили их.

В джунглях Сундарбана

Признаюсь откровенно: не было никакой последней, заметающей следы добычи, влекущей нас к югу-к югу-к югу. Перед всеми моими читателями должен я раскрыть душу – когда Аюба-Шахид-Фарук не могли уже понять, гонятся они или убегают, будда знал, что делал. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что предоставляю будущим комментаторам или критикам, обмакивающим перья в яд (последних предупреждаю: уже дважды я подвергался воздействию змей и в обоих случаях оказывался сильней отравы), лишний повод для нападок: сам, дескать, сознался-в-своей-вине, обнажил всю низость-своей-натуры, объявил-себя-подлым-трусом; я все же принужден сказать, что он, будда, больше не способный покорно исполнять свой долг, взял руки в ноги и пустился наутек. Душу его заразили, вгрызаясь в нее, прожорливые личинки пессимизма-бесцельности-срама, и он

357

дезертировал, он сбежал в лишенный истории, безымянный тропический лес, и потащил за собою троих мальчишек. Что, кроме слов, надеюсь я навеки сохранить в своем маринаде: то состояние духа, при котором уже нельзя отворачиваться от последствий того, что ты принял как данность; когда передозировка реальности порождает полное миазмов стремление к безопасности сновидений… Но джунгли, как и всякое укрытие, были совершенно другими – они дали будде и меньше, и больше, чем он ожидал.

– Я рада, – говорит моя Падма. – Я счастлива, что ты сбежал. – Настаиваю, однако: не я. Он. Он, будда. Тот, который до встречи со змеей остается не-Салемом; тот, кто, несмотря на бегство, все еще разлучен со своим прошлым, хотя и сжимает в жадной горсти некую серебряную плевательницу.

Джунгли сомкнулись над ними, как могила; и, долгие часы гребя в изнеможении – и все же неистово – по непостижимым, запутанным, соленым протокам, над которыми нависали образующие купола монументальные деревья, Аюба-Шахид-Фарук безнадежно заблудились; то и дело они оборачивались к будде, а тот указывал: «Сюда», а потом: «В эту сторону»; но, хотя они и гребли, не щадя себя, не думая об усталости, возможность преодолеть это место лишь слабо маячила впереди, словно призрачный огонек; и наконец они окружили своего до сих пор безупречного следопыта, и, наверное, увидели проблеск стыда или облегчения в его глазах, обычно мутновато-голубых; и вот Фарук шепчет под могильной зеленью леса: «Ты сам не знаешь. Ты говоришь что попало». Будда промолчал, но в этом молчании они прочли свою судьбу; и теперь, уверившись в том, что джунгли проглотили их, будто жаба – мошку; теперь, окончательно поняв, что они уже никогда не увидят солнца, Аюба Балоч, сам Танк-Аюба сломался и разревелся в три ручья. Нелепое зрелище – здоровенный, подстриженный ежиком парень ревет, словно дитя малое, – вывело Фарука и Шахида из себя; Фарук чуть не опрокинул лодку, накинувшись на будду; тот кротко сносил удары, что сыпались на его грудь-плечи-руки, пока Шахид не оттащил Фарука от греха подальше. Аюба Балоч рыдал без остановки целых три часа, или дня, или недели, пока не пошел дождь и не сделал бесполезными его слезы; и тут Шахид Дар произнес, сам удивляясь своим словам: «Погляди-ка, что ты натворил, парень, своими слезами», тем самым доказывая, что они уже начали поддаваться логике джунглей, и это было только начало, ибо стоило небывалому вечеру соединиться с невероятием деревьев, как Сундарбан начал расти под дождем.

Вначале они были так заняты, вычерпывая воду из лодки, что не замечали ничего; к тому же и река поднималась, обманывая взгляд; но на закате не оставалось сомнений: джунгли набирали высоту, и силу, и злость; гигантские, словно вставшие на ходули корни вековых мангровых деревьев, змеились во мгле, простирая щупальца, изнывая от жажды; пропитываясь дождем, они становились толще, чем слоновий хобот, а сами деревья вырастали на такую высоту, что Шахид говорил потом, будто птицы на их вершинах пели свои песни прямо в ухо Богу. Верхние листья огромных пальм стали раскрываться, словно чудовищные, сжатые в кулак зеленые ладони; они разворачивались и разворачивались под ночным ливнем, пока не покрыли собой весь лес; и тут стали падать плоды; они были больше, чем самые крупные в мире кокосы, и, зловеще набирая скорость, летели с головокружительной высоты и раскалывались, разрывались в воде, словно бомбы. Дождевая вода заливала лодку; чтобы вычерпывать воду, у них были только мягкие зеленые кепи да старая жестянка из-под масла; ночь опускалась, плоды, как бомбы, падали с высоты, и Шахид Дар, наконец, сказал: «Ничего не поделаешь – придется прибиться к берегу», хотя мысли его были полны виденным во сне гранатом, и он на миг уверился даже, что здесь его сон сбудется, пусть даже плоды и другие.

Пока Аюба с красными от слез глазами предавался панике, а Фарук совсем пал духом, видя, как раскис его герой; пока будда сидел молча, понурив голову, один Шахид, казалось, мог еще о чем-то думать: вдрызг промокший, смертельно усталый, чувствуя, как ночные джунгли смыкаются над ним, он сохранял ясную голову, ибо постоянно помнил о смертельном гранате; так что Шахид и приказал нам, им, причалить нашу, их, вдоволь зачерпнувшую воды лодку к берегу.

Плод гигантской пальмы упал в полутора дюймах от лодки; река забурлила так, что лодка перевернулась, и они стали пробиваться к берегу в темноте, держа ружья-плащи-жестянку-из-под-масла над головами, толкая лодку перед собой; наконец, забыв о падающих с неба плодах и змеящихся корнях мангровых деревьев, они рухнули на дно своего пропитанного водой суденышка и заснули.

Когда они пробудились, мокрые насквозь, дрожащие несмотря на жару, дождь перешел в крупную, тяжелую изморось. Кожа их была покрыта пиявками длиною в три дюйма; обычно почти бесцветные из-за отсутствия солнца, теперь они стали ярко-красными, ибо насосались крови, и одна за другой взрывались на телах четырех человек, слишком жадные, чтобы вовремя остановиться. Кровь струилась по ногам, капала на землю; джунгли впитывали ее и узнавали все о пришельцах.

Когда плоды пальм разбивались о землю, из них тоже истекала кровавая жижа, красное молочко, в единый миг покрывавшееся миллионами насекомых, в том числе гигантскими мухами, прозрачными, как и пиявки. Мухи тоже краснели, напитываясь пальмовым молочком… джунгли Сундарбана, казалось, росли всю ночь, час за часом. Выше всех вздымались деревья сундри[358], давшие имя этому лесу; они были такими высокими, что не допускали ни малейшей, даже самой слабой надежды на солнечный луч. Мы, они, все четверо, вылезли из лодки; и только ступив на жесткую, бесплодную почву, кишащую бледно-розовыми скорпионами; покрытую, будто ковром, шевелящейся массой серовато-коричневых земляных червей, все они вспомнили, что хотят есть и пить. Дождевая вода стекала с листвы; они подняли головы к крыше необъятного леса и напились; но, может быть, потому, что влага достигла их уст по листьям сундри, мангровым ветвям и кронам высоких пальм, она впитала в себя по дороге что-то от безумия джунглей, и с каждым глотком все сильней и сильней порабощал их мертвенный зеленый мир, в котором птицы скрипели, словно сухостой на ветру, а все змеи были слепые. Одурманенные, сбитые с толку, пропитанные миазмами джунглей, они приготовили себе первую за много дней еду из красной мякоти пальмовых плодов и давленых червей, отчего получили такой жестокий понос, что каждый раз заставляли себя рассматривать экскременты, поскольку боялись, что кишки выпадут вместе с их содержимым.

Фарук сказал: «Мы все здесь помрем». Но Шахида обуяла могучая жажда жизни; стряхнув с себя ночные страхи, он уверился, что его смертный час еще не настал.

Видя, что они затеряны в тропическом лесу; понимая, что муссон дает им лишь временную передышку, Шахид решил, что вряд ли им удастся выбраться по реке, ибо набиравший силу дождь сможет в любой момент затопить их утлое суденышко; под его руководством был построен шалаш из плащей и пальмовых листьев, и Шахид изрек: «Пока у нас есть плоды, мы проживем». Все они уже давно забыли, зачем пустились в путь; погоня, начавшаяся вдали отсюда, в реальном мире, здесь, в искаженном свете джунглей Сундарбана, обернулась нелепой фантазией, которую все четверо отринули раз и навсегда.

Так Аюба-Шахид-Фарук, а с ними и будда, покорились ужасным призракам грезящего леса. День за днем проходили, растворяясь один в другом, растекаясь однородной массой под напором вернувшегося дождя; и несмотря на озноб-лихорадку-понос, они все еще были живы, укрепляли шалаш, срывая нижние ветви сундри и мангровых деревьев; пили красное молочко пальмовых плодов, с растущей сноровкой душили змей и бросали заостренные дротики так метко, что пронзали насквозь разноцветных птиц. Но однажды ночью Аюба проснулся в темноте и увидел полупрозрачную фигуру крестьянина с дыркой от пули в сердце и косою в руке; призрак скорбно глядел на него, а когда парень в страхе стал карабкаться прочь из лодки (которую они затащили в шалаш, под примитивную кровлю), из дырки в сердце мужика брызнула бесцветная жидкость и залила правую руку Аюбы. Наутро рука перестала двигаться; она висела как плеть, жесткая, словно залитая гипсом. Фарук Рашид переживал за друга и пытался помочь, но проку было мало – руку сковала невидимая

358

сукровица призрака.

После этого первого видения они тронулись умом и стали считать лес способным на все; каждую ночь он насылал на них все новые и новые кары: жены тех мужчин, которых они выследили и схватили, вперяли в них взоры, полные укоризны; ребятишки, которые из-за их работы остались сиротами, плакали и лепетали, будто обезьянки… в это первое время, время кары, даже невозмутимый будда с его городскою речью был вынужден признать, что и он стал часто просыпаться по ночам, ощущая, как лес сжимает его, будто в тисках, и невозможно дышать.

Покарав их достаточно – превратив их всех в дрожащие тени тех сильных парней, какими они были совсем недавно, – джунгли позволили им предаться обоюдоострой усладе – тоске по родной земле. Однажды ночью Аюба, который быстрее всех возвращался в детство и уже начал сосать большой палец на единственной здоровой руке, увидел свою мать: она смотрела на него сверху, протягивая лакомства из риса, приготовленные с любовью; но стоило ему потянуться за ладду, как она скользнула прочь, и вот уж он видит, как мать взбирается на гигантское дерево сундри, свисает с высокой ветки, раскачиваясь на хвосте; белая обезьяна-призрак с лицом его матери навещала Аюбу ночь за ночью, так что в конце концов он стал чаще вспоминать о ней, чем о домашних лакомствах: например, как она любила сидеть среди коробок с приданым, будто и сама была вещью, попросту одним из подарков, которые ее отец прислал ее мужу; в сердце Сундарбана Аюба Балоч впервые понял свою мать и перестал сосать большой палец. Фарук Рашид тоже имел видение. Однажды в сумерках ему показалось, будто его брат бежит стремглав через лес, и он вдруг уверился, окончательно и бесповоротно, что отец его умер. Фарук вспомнил тот давно забытый день, когда их отец, крестьянин, рассказал ему и его легконогому брату, что местный помещик, ссужающий деньги под триста процентов, согласился принять душу должника в счет очередного взноса. «Когда я умру, – поведал старый Рашид брату Фарука, – открой рот пошире, и мой дух войдет в тебя; а потом беги-беги-беги, ибо заминдар[359]погонится за тобою!» Фаруку, который тоже начал было пугающе деградировать, эта весть о смерти отца и бегстве брата придала новые силы: он оставил детские привычки, к каким джунгли успели вернуть его, перестал плакать навзрыд от голода и спрашивать: «За что?» И Шахид Дар увидел обезьяну со знакомым лицом; но его всего лишь навестил отец, навестил и напомнил, что он, Шахид, должен стать достойным своего имени. Это и ему помогло вновь обрести чувство ответственности, ослабленное войной, где требуется лишь слепо выполнять приказы; казалось, что колдовские джунгли, истерзав ребятам души их собственными злыми делами, теперь вели их за руку к новой зрелости. И порхали с ветки на ветку в ночном лесу призраки их надежд, но эти тени невозможно было разглядеть отчетливо, тем более – поймать.

Будде вначале не была дарована эта тоска. Он стал сиживать, скрестив ноги, под деревом сундри; глаза его и ум казались пустыми, и он больше не просыпался по ночам. Но в конце концов лес добрался и до него; однажды, когда ливень стучал по листьям и обдавал всех четверых горячим паром, Аюба-Шахид-Фарук увидели, как слепая, полупрозрачная змея кусает будду, сидящего под деревом, и изливает яд в прокушенную пятку. Шахид Дар палкой размозжил змее голову; будда, оцепенелый от макушки до пят, казалось, ничего не заметил. Глаза его были закрыты. Потом мальчишки-солдаты сидели и ждали, когда человек-собака умрет; но я оказался сильнее змеиного яда. На целых два дня будда сделался жестким, как доска, и глаза его перекосились, так что весь мир я видел как в зеркале, наблюдая с левой стороны то, что на самом деле находилось справа; в конце концов он расслабился, и молочная, тусклая пелена безразличия больше не застила его взор. Змеиный яд встряхнул меня, я обрел единство, я воссоединился с прошлым, и оно начало изливаться наружу через уста будды. Глаза его вернулись в нормальное положение, и слова потекли

359

свободно, словно струи дождя. Мальчишки-солдаты слушали как зачарованные истории, истекавшие из его уст, начиная с полуночного рождения и далее без остановки, ибо ему необходимо было востребовать все, до последнего забытого факта, мириады сложных процессов, из которых состоит человек. Разинув рты, прикованные к месту, мальчишки-солдаты глотали его жизнь, будто скопившуюся в листьях нечистую воду, а он рассказывал о двоюродном брате, который мочился в постель, о революционных перечницах, о чистом и совершенном голосе сестры… Аюба-Шахид-Фарук (когда-то во время оно) отдали бы все на свете, лишь бы убедиться, что слухи верны, но здесь, в Сундарбане, они не сказали ни слова.

И – дальше, скорей вперед: к поздно расцветшей любви, к Джамиле в ее спальне в луче лунного света. Теперь Шахид все-таки шепчет: «Так вот почему… он ей признался, и она уже не могла быть с ним рядом, ей было противно…» Но будда продолжает, и всем становится ясно, что он тщится припомнить нечто особенное, нечто, не желающее возвращаться, упрямо ускользающее от него, так что, дойдя до конца, он не может закончить и сидит хмурый и недовольный, хотя уже поведал и о священной войне, и о том, что упало с неба.

Настала тишина, а потом Фарук Рашид сказал: «Столько всего, йаяр, в одном этом типе; столько всякой дряни – что ж удивляться, если он держал рот на замке!»

Видишь, Падма, я уже рассказывал эту историю. Но что все-таки не желало возвращаться? Что, несмотря на раскрепощающий яд бесцветной змеи, так и не слетело с моих уст? Падма, будда забыл свое имя. (Если быть точным – имя, данное при рождении).

А дождь все лил. Вода поднималась с каждым днем, и наконец стало ясно, что придется уйти глубже в лес в поисках более высокого места. Ливень был слишком сильным, чтобы плыть на лодке, и, следуя указаниям того же Шахида, Аюба-Фарук и будда оттащили ее от полузатопленной отмели, привязали канатом к стволу сундри и забросали листьями; после чего, поскольку иного выбора не оставалось, они стали продвигаться дальше, в коварную чащу джунглей.

И теперь джунгли Сундарбана вновь изменили свою природу; и снова уши Аюбы-Шахида-Фарука наполнились жалобами несчастных семей, из лона которых они исторгли тех, кого когда-то, в незапамятные времена, определяли как «нежелательные элементы»; ребята бросались в самую чащу, бежали во весь опор, пытаясь скрыться от обвиняющих, полных муки голосов своих жертв; а по ночам обезьяны-призраки висели на ветвях и распевали куплеты из «Нашей золотой Бенгалии»: «О, Родина-Мать, я беден, но то, что имею, ту малость, к твоим ногам я кладу. И полнится сердце безумной усладой». И нельзя было убежать от невыносимой пытки несмолкающих голосов, а выдержать хоть еще один миг бремя стыда, ставшее гораздо более тяжким оттого, что джунгли пробудили в них чувство ответственности, ребята не могли тоже, и отчаяние, наконец, подвигло троих мальчишек-солдат на крайние меры. Шахид Дар нагнулся и зачерпнул две полные горсти пропитанной тропическим дождем грязи; пребывая во власти своей страшной галлюцинации, он заткнул себе уши коварной землею джунглей. Глядя на него, Аюба Балоч и Фарук Рашид тоже законопатили уши грязью. Только будда оставил свои уши (одно здоровое, другое и без того глухое) свободными; казалось, он один хотел испытать на себе возмездие джунглей; он один склонял голову перед неизбежностью воздаяния за вину… Грязь грезящего леса, в которой, несомненно, таились полупрозрачные тела тропических насекомых и сатанинское коварство ярко-оранжевого птичьего помета, внесла заразу в уши троих мальчишек-солдат, и они стали глухими, как бревна; и хотя теперь ребята были избавлены от монотонных обвинений, какими джунгли баюкали их, бедолагам пришлось впредь объясняться простейшими знаками. И все же казалось, что они предпочитают болезнь, глухоту тем тошнотворным секретам, которые нашептывали им прямо в уши листья деревьев сундри.

Наконец голоса смолкли, хотя теперь только будда (единственным здоровым ухом) мог бы слышать их; наконец, когда четверо путников были уже близки к панике, джунгли

провели их сквозь завесу лиан и воздушных корней и открыли им такой прелестный вид, что у странников сперло дыхание. Даже будда еще крепче сжал в руке свою плевательницу. Имея одно здоровое ухо на четверых, они вышли на звенящую нежными птичьими трелями поляну, в центре которой высился монументальный индуистский храм, высеченный в незапамятные века из цельной скалы; по стенам тянулись, двигались, танцевали фризы, на которых мужчины и женщины совокуплялись в позах, полных непревзойденного атлетизма, а иногда и до смешного нелепых. Четверка двинулась к этому чуду робкими шагами, до конца не веря собственным глазам. Под крышей храма они наконец-то получили передышку от нескончаемого дождя, а еще их встретила там огромная статуя черной танцующей богини, имени которой мальчишки-солдаты из Пакистана назвать не могли; но будда знал, что это – Кали, плодовитая и устрашающая, с остатками позолоты на зубах[360]. Четверо путников улеглись у ее ног и погрузились в ненарушаемый ливнем сон, и длился этот сон до часа, который мог бы быть полуночным, а в этот час все как один пробудились и увидали, что им улыбаются четыре девушки несказанной красы. Шахид, вспомнив о четырех гуриях, ждущих его в благоуханном саду, подумал вначале, что умер ночью, но гурии казались вполне настоящими, а их сари, под которыми не виднелось никакого белья, были порваны и испачканы в джунглях. Встретились восемь и восемь глаз; сари были развязаны, аккуратно свернуты и сложены на полу; после чего нагие и неотличимые дочери леса подошли к ним; сомкнулись восемь и восемь рук; восемь и восемь ног сплелись попарно; под статуей многорукой и многоногой Кали путники отдались ласкам, настоящим, всамделишним; поцелуям взасос, сладким и мучительным; объятиям и прикосновениям ногтей, которые оставляли следы, и тут-то они поняли, что именно этого-этого-этого им и не хватало, что об этом-то они и тосковали, сами не зная того, что, вернувшись в детство и пройдя через детские горести своих ранних дней в лесу, пережив натиск памяти и рождение ответственности, а затем худшую муку усугубленной вины, они навсегда оставили позади младенческий возраст; и вот, позабыв о причинах терзаний, о своем соучастии, о глухоте, позабыв обо всем, они отдались четырем неотличимым красавицам вполне бездумно, без единой мысли в голове.

После той ночи они уже не могли оторваться от храма, разве что отлучались на поиски еды, и каждую ночь нежные женщины с мягкой плотью – совершеннейшее воплощение их грез – возвращались молча, никогда не произнося ни единого слова, всегда чистенькие, в аккуратных сари, и неизменно возносили затерянную в лесных дебрях четверку к невероятной, одновременно достигаемой вершине наслаждения. Никто из них не знал, как долго это продолжалось, ибо в Сундарбане время текло по неведомым законам, но пришел, наконец, день, когда они взглянули друг на друга и обнаружили, что становятся прозрачными, что сквозь их тела можно видеть, пока еще нечетко, смутно, как сквозь стакан с манговым соком. Встревожившись не на шутку, они поняли, что это была последняя, самая скверная уловка джунглей; что, исполняя желание, таившееся в самой глубине сердец, лес дурачил их, использовал их грезы, и по мере того, как жизнь мечты исторгалась из них, они становились полыми и прозрачными, будто стекло. Будда убедился теперь, что «отсутствие цвета у насекомых, пиявок и змей в большей степени связано с опустошением насекомой, пиявистой, змеиной фантазии, нежели с нехваткой солнечного света… Заметив свою полупрозрачность, они будто бы впервые пробудились от сна, взглянули на храм другими глазами и увидели широкие зияющие трещины в цельной скале: изрядные глыбы камня могли вывалиться и рухнуть на них в любой момент; а затем, в темном углу заброшенной гробницы, они разглядели четыре небольших кострища: старый пепел, копоть на камне – может, то были остатки погребальных костров; в самом центре каждого из четырех пепелищ лежало по маленькой, почерневшей, изглоданной огнем кучке уцелевших костей.

Как будда покинул джунгли Сундарбана? Грезящий лес обрушил на них, когда они побежали из храма к лодке, свою последнюю и самую страшную кару; беглецы почти уже

360

достигли берега, когда она пришла; сначала – далекий гул, затем – рев, проникающий даже в оглохшие, залепленные грязью уши; трое солдат и будда отвязали лодку, запрыгнули туда очертя голову как раз в тот миг, когда явилась волна, и они отдали себя на милость стихии, которая безо всякого усилия могла бы расплющить и лодку, и людей о ствол сундри, или мангрового дерева, или пальмы, – но вместо того прилив сносил их вниз по бурлящим коричневым протокам, а лес, измотавший им душу, расплывался в тумане, вставал позади великой зеленой стеной. Казалось, будто джунгли, позабавившись вдоволь с очередными игрушками, бесцеремонно вышвырнули их прочь из своих пределов; их влекла река, толкала вперед и вперед невообразимая сила прилива; жалкое суденышко вертелось в водоворотах среди упавших веток и сброшенной кожи водяных змей, пока наконец их не выкинуло из лодки, которую гигантская волна прилива разбила о какой-то пень; когда река отступила, все четверо обнаружили себя на затопленном рисовом поле, они торчали по пояс в воде, но были живы; их вынесло из самого сердца грезящих джунглей, куда я бежал, ища мира, и где нашел нечто меньшее, чем мир, и нечто большее; вынесло снова туда, где воюют армии и назначаются даты.

Когда они вышли из джунглей, был октябрь 1971 года. И я должен признать (но, как мне кажется, этот факт лишь подтверждает поразительную, колдовскую способность джунглей смещать временную ось), что в октябре там не наблюдалось сильной приливной волны, хотя около года назад наводнения и в самом деле опустошили этот край.

После Сундарбана моя прежняя жизнь снова затребовала меня. Можно было догадаться заранее – былые знакомства неистребимы. Кем ты был, тем навек и останешься.

На семь месяцев 1971 года трое солдат и их следопыт исчезли с лица войны. Но в октябре, когда дожди кончились, а партизанские отряды Мукти Бахини начали нагонять страху на пакистанские аванпосты; когда снайперы Мукти Бахини стали выбивать по одному солдат и младших офицеров, наша четверка явилась на свет божий и, поскольку выбирать было особо не из чего, попыталась нагнать главный корпус оккупационной армии Западной части. Позднее, когда его расспрашивали, будда, объясняя свое исчезновение, рассказывал совершенно фантастическую историю о том, как он заблудился в джунглях среди деревьев, воздушные корни которых цеплялись за одежду, обвивали тело, будто змеи. Будде, наверное, повезло, ибо его так ни разу и не допросили офицеры той армии, к которой он принадлежал. Аюба Балоч, Фарук Рашид и Шахид Дар тоже не подверглись допросу, но лишь потому, что им не удалось прожить достаточно долго для того, чтобы кто-то стал интересоваться их отсутствием.

…В покинутой всеми деревне, где хижины были крыты соломой, а трещины в стенах замазаны навозом, – в разоренной общине, из которой разбежались даже куры – Аюба-Шахид-Фарук оплакивали свою судьбу. Оглохшие от ядовитой грязи тропического леса, теперь, когда язвительные голоса джунглей уже не звенели в воздухе, парни сильно по этому поводу переживали, сетовали на разные голоса, выли и стенали все вместе, не слыша друг друга; будда, однако, был вынужден внимать им всем: Аюбе, который стоял, уткнувшись лицом в угол пустой комнаты, с волосами, спутанными, точно паутина, и плакал навзрыд: «О мои уши, уши: в них ровно пчелы жужжат»; Фаруку, который в раздражении орал: «А кто, в конце-то концов, во всем этом виноват? Чей носяра мог взять любой проклятущий след? Кто твердил: сюда, да сюда, да в эту сторону? И кто, кто теперь нам поверит? Про джунгли, храмы и прозрачных змей? Влипли мы в историю, о, Аллах; а тебя, будда, надо бы пристрелить прямо сейчас, на этом месте!» А Шахид заметил тихо: «Я есть хочу». Вновь очутившись в реальном мире, они забыли уроки джунглей, и Аюба стенал: «Моя рука! О, Аллах, ребята, у меня отсохла рука! Тот призрак и его зеленая жижа!..» И Шахид сокрушался: «Дезертиры, скажут про нас, – с пустыми руками, без пленника, после стольких-стольких месяцев! О, Аллах, да нас под трибунал отдадут – а ты что думаешь, будда?» И Фарук негодовал: «Ты, ублюдок, гляди, во что мы превратились! О Боже, наши мундиры – тошно смотреть! Глянь-ка, будда, на наши мундиры – клочки, лохмотья, нищенское рубище! Только подумай, что скажет бригадир или тот же Наджмуддин –

головою матери клянусь, что я не делал этого… я не трус! Нет!» Шахид убивает муравьев и слизывает их с ладони: «Да как же мы догоним своих? Кто знает, где они сейчас? Да разве мы сами не видели и не слышали от людей, как Мукти Бахини – *пиф-паф!* – стреляют из засады; оглянуться не успеешь – и ты уже труп! Мертвый, ровно вот этот муравей!» Но и Фарук не умолкал: «И не только мундиры, ребята: а волосы? Разве это – армейская стрижка? Эти длинные патлы, лезущие в уши, будто черви? Эти женские локоны? О, Аллах, да нас тут же пристрелят, поставят к стенке: *пиф-паф!* – и все дела!» Но вот Танк-Аюба немного успокаивается; Аюба закрывает рукою лицо; Аюба тихо говорит сам себе: «О ребята, ребята. Я шел на войну, ребята, чтобы бить проклятых индусов, жрущих овощи. А все, ребята, вышло совсем по-другому. Плохо все вышло, куда как плохо».

Дело было где-то в ноябре; они пробирались медленно, к северу-к северу-к северу, попирая ногами разбросанные газеты, набранные причудливым, состоящим из завитков шрифтом; шлепая по пустым полям и покинутым поселениям, встречая время от времени какую-нибудь старую каргу с узелком на палочке через плечо или стайку восьмилетних детишек с застарелым голодом в бегающих глазах и грозными ножами в карманах; слыша отовсюду, как Мукти Бахини снуют, невидимые, по дымящейся земле, как пули вылетают, жужжа, словно пчелы, неизвестно откуда… и вот они уже дошли до последней черты, и Фарук вопит: «Все из-за тебя, будда – Аллах милосердный, ты, урод, и глаза у тебя голубые, не как у людей; ах ты Боже ж мой, Боже, йа-яр, как же от тебя *воняет!»*

Воняло от нас от всех: от Шахида, который давил (пяткой, облаченной в драный ботинок) скорпиона на грязном полу покинутой хижины; от Фарука, который нелепейшим образом обшаривал карманы в поисках ножа, чтобы обрезать волосы; от Аюбы, который уткнулся лбом в оплетенный паутиной угол, и паук спокойно гулял по его макушке; и от будды тоже: будда вонял до небес, сжимая в правой руке потускневшую серебряную плевательницу и пытаясь припомнить собственное имя. А на ум приходили только прозвища: Сопелка, Рябой, Плешивый, Чихун, Месяц Ясный.

…Он сидел, скрестив ноги, вокруг раздавались вопли и стоны товарищей, бушевал шторм их страха; а он, будда, напрягал свою память – но нет, все тщетно, имя не шло. И наконец, грохнув плевательницу о глинобитный пол, будда возопил перед ними, глухими, как пни: «Это не – это НЕ – ЧЕСТНО!»

Среди камней, разбросанных войною, я обнаружил, что честно, а что нечестно. То, что нечестно, воняло луком; от этого резкого запаха слезились глаза. Почуяв горький аромат несправедливости, я вспомнил, как Джамиля-Певунья склонялась над больничной койкой – над чьей же? *Как его звали?* – как толпились в палате ордена-и-погоны – как моя сестра – нет, она не сестра мне! – как *она* – как она сказала: «Брат, мне нужно уехать, я должна петь во благо моей страны; теперь армия позаботится о тебе – ради меня они станут заботиться о тебе очень, очень хорошо». На ней было покрывало; под бело-золотой парчой я учуял коварную улыбку предательницы; сквозь мягкую ткань она запечатлела на моем лбу поцелуй мести; и затем Джамиля, всегда приберегавшая самые страшные кары для тех, кто больше всего любил ее, оставила меня на милость, на попечение орденов-и-погон… после предательства Джамили вспомнил я и давний остракизм, какому подвергла меня Эви Бернс; вспомнил изгнания и обманные пикники; высоченная гора ничем не оправданных случайностей, омрачивших мою жизнь, вдруг обрушилась на меня; и теперь я горько жаловался на нос-огурцом, рябое-лицо, ноги-колесом, рожки-на-лбу, тонзуру монаха, оторванный палец, глухое ухо и на оглушающую, лишающую чувств, вышибающую мозги плевательницу; я разрыдался, слезы обильно текли, но все же имя ускользало, и я твердил: «Нечестно; *нечестно;* НЕЧЕСТНО!» И, что удивительно, Танк-Аюба двинулся ко мне из своего угла; Аюба, наверное, вспомнив, как сам сломался в джунглях Сундарбана, присел на корточки передо мной и обнял меня за шею здоровой рукой. Я принял его утешения; я плакал, уткнувшись ему в рубашку; но вот прожужжала пчелка, подлетая к нам; пока он приседал на корточки, спиной к зияющему, без стекол, окну хижины, что-то, тихо

поскуливая, пронеслось по спертому, жаркому воздуху; пока он говорил: «Эй, будда, да ладно тебе, будда – эй, эй!», и пока другие пчелы жужжали в его оглохших ушах, та самая, единственная, ужалила его в затылок. В горле у Аюбы заклокотало, и он рухнул на меня. Пуля снайпера, убившая Аюбу Балоча, разнесла бы мне голову, если бы парень не подошел ко мне. Он принял смерть за меня, он спас мне жизнь.

Забыв о прошлых унижениях, перестав думать, что честно-что нечестно, и что-нельзя-вылечить-нужно-перетерпеть, я выполз из-под тела Танка-Аюбы, и Фарук вопил: «О, Боже, о, Боже, о!», и Шахид бормотал: «О, Аллах, я даже не знаю, стреляет ли мой…» И Фарук – за свое: «О, Боже, О! О, Боже, кто знает, где прячется этот ублюдок…!» Но Шахид, как солдаты в кино, уже распластался по стене рядом с окном. В следующих позах: я на полу, Фарук, скорчившись в уголке, Шахид прижавшись к обмазанной навозом стене, – мы ждали, совершенно беспомощные, как будут развиваться события.

Второго выстрела не последовало; возможно, снайпер, не зная, сколько солдат скрывается в глинобитной хижине, попросту выпалил наугад и удрал. Мы трое оставались в хижине всю ночь и весь следующий день, пока тело Аюбы Балоча не стало требовать к себе внимания. Перед тем, как уходить, мы нашли кирки и похоронили его… И потом, когда явилась Индийская армия, Аюба Балоч уже не встретил ее своими теориями о превосходстве мяса над овощами; Аюба уже не вступил в бой, неистово вопя: «И-раз! И-два! И-три!»

Может, оно и к лучшему.

…Где-то в декабре мы трое на краденых велосипедах выехали на поле, откуда на горизонте можно было уже различить город Дакку; такой причудливый урожай принесло это поле, такой тошнотворный исходил от него запах, что мы не смогли усидеть в седлах. Сойдя на землю, чтобы не упасть, мы вступили на страшное поле.

Какой-то крестьянин ходил там из стороны в сторону, насвистывая, закинув за спину громадный джутовый мешок. Побелевшие костяшки пальцев, сжимающих мешок, обнаруживали несокрушимость духа и непреклонную решимость; свист, пронзительный, но мелодичный, показывал, что «уборщик» пытается приободриться. Свист разносился по полю, эхом отскакивая от укатившихся касок, полыми отголосками возникая из залепленных грязью ружейных дул, без следа пропадая в ботинках, упавших с этих странных, странных колосьев, которые пахли так же, как пахнет то-что-нечестно, и от этого запаха слезы выступили на глазах будды. Колосья погибли, скошенные неведомой напастью… и большинство из них, но не все, носили мундир армии Западного Пакистана. Кроме свиста, было лишь слышно, как в широкий мешок крестьянина падают разные предметы: кожаные ремни, часы, золотые коронки, оправы от очков, судки для завтрака, фляги, ботинки. Крестьянин увидел их и понесся навстречу, обворожительно улыбаясь, что-то тараторя вкрадчивым голосом, который один лишь будда принужден был слышать. Фарук и Шахид вперили в поле остекленевшие взгляды, а крестьянин пустился в объяснения.

– Много стрелять! *Пифф-пафф! Пиф-паааф!* – правой рукой он изобразил пистолет. Он говорил на скверном, ломаном хинди. – Хой, господа! Индия пришла, господа мои! Хой да! *Хой* да! – И по всему полю из этих дивных колосьев сочилась, впитываясь в почву, приносящая плодородие костная влага. А он: – Нет стрелять я, мои господа. Нет, нет. У меня новости – хой, какие новости! Индия пришла! Джессор конец[361], мои господа, один-четыре дня, и Дакка тоже, да-нет? – Будда слушал, но глаза будды, минуя крестьянина, вглядывались в поле. – Вот дела, мой господин! Индия! У них есть один могучий солдат, он убивать по шесть человек разом, ломать шеи – *ккрак-ккрак!* – между коленок, так, мой господин? Коленки – правильно это слово? – Он постучал по своей ноге. – Я видеть, мои господа. Своими глазами, хой да! Он драться – нет пистолет, нет сабля. Коленки только, и шесть шей *ккрак-ккрак. Хой* Боже. – Шахида рвало прямо на поле. Фарук Рашид отошел к дальнему краю и уставился на манговую рощу. – Один-два неделя – и войне конец, мои

361

господа! Все домой придут. Сейчас все ушли, но я нет, мои господа. Солдаты пришли искать Бахини, убили много-много, моего сына тоже. Хой да, господа мои, хой да, правда. – Глаза будды заволокла мутная пелена. Он различал вдалеке грохот орудий. Столбы дыма поднимались в блеклое декабрьское небо. Странные колосья лежали смирно, и ветер не трепал их. – Я здесь остаться, мои господа. Здесь я знать имена птиц и растений. Хой да. Я имя Дешмукх; продавать везде разные хитрые вещи. Много торговать хорошие вещи. Хочешь ты? Лекарство от запора, хорошее очень, хой да. Есть у меня. Часы хочешь ты, в темноте светиться? Тоже есть. И книга, хой да, и карты-фокусы, правда-правда. Я раньше в Дакке знаменитый. Хой да, правда-правда. Нет стрелять.

Продавец хитрых вещей все болтал и болтал, предлагая предмет за предметом, например, волшебный пояс, надев который, сразу заговоришь на хинди: «На мне пояс сейчас, мой господин, я говорить хорошо-хорошо, да-нет? Много Индия солдаты купить, они говорить столько много языков, пояс такой – Божий дар от Бога!» – и тут он заметил то, что будда держал в руке. – «Хой, господин! Просто прекрасная вещь! Серебро это? Драгоценный камень это? Ты дать, я дать радио, аппарат фото, почти работает, мой господин! Хорошая-хорошая сделка, друг. За одна плевательница очень прекрасно. Хой да. Хой да, мой господин, жизнь идет, торговля идет, мой господин, правда это?»

– Расскажи, – попросил будда, – расскажи еще о том солдате с коленками.

Но вот опять прожужжала пчелка; на большом расстоянии, в дальнем конце поля кто-то падает на колени; чей-то лоб касается земли, словно в молитве; и один из колосков на поле, оживший специально, чтобы выстрелить, тоже больше не двигается. Шахид Дар кричит, зовет:

– Фарук! Фарук, дружище!

Но Фарук не спешит откликаться.

Потом, когда будда делился воспоминаниями о войне со своим дядюшкой Мустафой, он рассказывал, как ковылял по полю, пропитанному костной влагой, к своему упавшему товарищу; и как, еще не добредя до Фарука, застывшего в позе молитвы, наткнулся на самый главный сюрприз, какой приберегло для него поле.

Посередине поля стояла невысокая пирамида. Муравьи сновали по ней, но то был не муравейник. Пирамида имела шесть ног и три головы, а между ними сплошное месиво из частей торсов, обрывков форменной одежды, мотков кишок, торчащих кое-где раздробленных костей. Пирамида еще жила. У одной из трех голов был выбит левый глаз – последствие детской ссоры. У второй волосы были густо намазаны помадой, прилизаны. Третья была самая странная: на лбу виднелись глубокие впадины, вероятно, оставленные при рождении щипцами гинеколога, потянувшего слишком сильно… эта третья голова заговорила с буддой:

– Привет, дружище, – сказала она. – Какого черта ты тут делаешь?

Шахид Дар увидел, как пирамида из вражеских солдат вроде бы беседует с буддой; Шахид, охваченный неистовым, безумным порывом, набросился на меня, повалил на землю. «Кто ты такой? Шпион? Предатель? Кто? Почему они знают, кто ты?» А Дешмукх, продавец хитрых вещей, суетился вокруг нас, жалостно вскрикивал: «Хой, господа! Драться много уже и так. Будьте нормальные люди, господа мои! Прошу-умоляю. Хой Боже».

Даже если бы Шахид мог меня услышать, я не поведал бы ему тогда о том, что позже счел чистой правдой: целью всей этой войны было воссоединить меня с моей прежней жизнью, вновь свести со старыми друзьями. Сэм Манекшау шел на Дакку, чтобы встретиться со своим старым приятелем Тигром; мои способы сцепления оставались неизменными, ибо на поле, пропитанном костной влагой, я услышал о подвигах мощных коленок, и меня одарила приветом пирамида из умирающих голов; а в Дакке я встретил Парвати-Колдунью.

Когда Шахид успокоился и отпустил меня, пирамида уже навеки умолкла. В тот же день, чуть позже, мы продолжили путь к столице. Дешмукх, продавец хитрых вещей, радостно кричал нам вслед: «Хой, господа! Хой, мои бедные господа! Кто знать, когда умереть человеку? Кто, мои господа, знать почему?»

Сэм и Тигр

Иногда скорее горы встретятся, чем старые друзья. 15 декабря 1971 года в столице только что освобожденного государства Бангладеш Тигр Ниязи сдался своему старому корешу Сэму Манекшау; а я в свою очередь сдался объятиям и поцелуям девушки с глазами, как блюдца; с конским хвостиком, похожим на длинный, черный, блестящий канат, и губками, которые в то время еще не выпячивались, не дулись капризно. Эти встречи дались нелегко; принося дань уважения тем, кто сделал их возможными, я приостановлю ненадолго течение моего рассказа, чтобы окончательно снять все вопросы, все «почему» и «зачем».

Итак, позвольте разложить все по полочкам: если бы Яхья Хан и З. А. Бхутто не сговорились тайно о том, чтобы нанести удар 25 марта, я не вылетел бы в Дакку в гражданской одежде; да и Тигр Ниязи, по всей вероятности, не оказался бы в городе к декабрю. Продолжим: вмешательство Индии в спор о Бангладеш тоже явилось результатом совместного действия великих сил. Может быть, если бы десять миллионов человек не перешли индийскую границу, вынудив тем самым правительство Дели потратить 200 000 000 долларов на лагеря для беженцев – война 1965 года, тайной целью которой было уничтожение моей семьи, обошлась им, индийцам, всего лишь в 70 000 000 долларов! – индийские солдаты под предводительством генерала Сэма никогда не пересекли бы границу в обратном направлении. Но Индия пришла и по другим причинам тоже: фокусники-коммунисты, которые жили в тени делийской Пятничной мечети, позже рассказали мне, что делийский саркар[362]был сильно обеспокоен падением влияния муджибовой Лиги Авами и растущей популярностью революционеров из Мукти Бахини; Сэм и Тигр встретились в Дакке, чтобы помешать Бахини захватить власть. Так что, если бы не Мукти Бахини, Парвати-Колдунья не стала бы сопровождать индийские войска в их «освободительном» походе… Но и это не исчерпывающее объяснение. Третьей причиной индийского вторжения послужила боязнь того, что беспорядки в Бангладеш, если их скоренько не пресечь, распространятся и за границу, в Западную Бенгалию; так что Сэм и Тигр, а также мы с Парвати обязаны нашей встрече наиболее беспокойным из западно-бенгальских политиков; поражение Тигра было лишь началом кампании против левых в Калькутте и ее окрестностях.

Так или иначе, Индия пришла; и за быстроту ее прихода – в какие-нибудь три недели Пакистан потерял половину флота, четвертую часть военно-воздушных сил и, наконец, после капитуляции Тигра более половины населения – благодарить нужно было тех же Мукти Бахини, ибо, в своей наивности не понимая, что индийское наступление – тактический маневр, направленный в такой же степени против них, как и против оккупационных войск Западной части, Бахини оповещали генерала Манекшау о передвижениях пакистанских войск, сообщали о сильных и слабых сторонах армии Тигра; к победе индийцев приложил руку и г-н Чжоу Эньлай, который отказался (несмотря на горячие просьбы Бхутто) предоставить Пакистану какую бы то ни было военную помощь. Оставшись без китайского оружия, Пакистан воевал американскими ружьями, американскими танками и самолетами; президент Соединенных Штатов единственный в мире со всей решимостью «склонялся» к Пакистану. Пока Генри А. Киссинджер[363]приводил доводы в защиту Яхьи Хана, тот же самый Яхья втайне готовил знаменитый визит на высшем уровне в Китай… так что великие силы выступали против того, чтобы я встретился с Парвати, а Сэм – с Тигром; но несмотря на поддержку президента, все было кончено за какие-нибудь три недели.

Ночью 14 декабря Шахид Дар и будда проникли в предместья осажденного города Дакки; однако же нос будды (вы, наверное, не забыли) чуял больше, гораздо больше, чем носы большинства людей. Следуя за его носом, который распознавал, где можно пройти, а

362
363

где нельзя, они проложили себе путь сквозь индийские цепи и вступили в город под покровом ночной темноты. Пока они крадучись пробирались по улицам, где изредка попадались одни лишь голодные нищие, Тигр клялся сражаться до последнего человека; вместо того на следующий день он капитулировал. И мы не знаем, был ли пресловутый последний человек благодарен ему за то, что его пощадили, или, напротив, негодовал, что его лишили шанса войти в благоуханный сад.

И вот я вернулся в город, где, в последние часы перед тем, как состояться встречам, мы с Шахидом видели много всякого такого, что не было правдой, что было просто невозможно, ведь наши мальчики никак не могли вести себя столь скверно; мы видели, как в переулках расстреливали высоколобых, яйцеголовых мужчин в очках; видели, как сотнями истреблялась городская интеллигенция; но ведь это нам всего лишь показалось, это не могло быть правдой; все знают, что Тигр – приличный, вполне достойный человек, и наши джаваны стоят десятерых бабу?; мы пролагали себе путь среди невозможных ночных галлюцинаций, прячась в дверных проемах, когда огни расцветали, будто сказочные цветы; это напомнило мне, как Медная Мартышка поджигала туфли, чтобы привлечь к себе хоть капельку внимания; людей с перерезанным горлом хоронили в братских могилах – и Шахид начал свои причитания: «Нет, будда – что творится, Аллах, просто глазам своим не веришь – нет, это неправда, этого не может быть – будда, скажи, что это застит мне глаза?» И будда наконец заговорил, зная, что Шахид не сможет его услышать: «О Шахида, – изрек он со всей присущей ему утонченностью, – иногда человек должен выбрать, что ему нужно видеть, а что – нет; отвернись немедленно, отвернись и не смотри». Но Шахид все не мог отвести взгляда от площади, где женщин-врачей протыкали штыками, а потом насиловали; насиловали, а потом приканчивали пулей. А позади них прохладный белый минарет мечети склонялся над этой сценой, таращил слепые глаза.

Будда заметил, словно бы говоря сам с собой: «Пора подумать о том, как бы спасти наши шкуры; Бог знает, зачем мы вообще вернулись». Будда зашел в парадную пустого дома, разбитую, осыпающуюся оболочку здания, где когда-то находилась чайная, мастерская по ремонту велосипедов, бордель и крошечная площадка, на которой, видимо, помещался нотариус, ибо там стоял низенький столик, а на нем – забытые очки в золотой оправе, и рядом – брошенные печати и марки; они говорили о том, что нотариус – не абы какой ничтожный старикашка: печати и марки позволяли ему судить, свидетельствовать, удостоверять, что истинно, а что ложно. Нотариуса не было на месте, и я не мог попросить, чтобы он скрепил своей печатью то, что происходило вокруг, не мог я и сделать заявления под присягой; но на циновке за столиком лежала широкая, свободная одежда типа джеллабы[364], и, не медля более ни минуты, я снял мундир вместе со значком СУКИ и превратился в безымянного дезертира, затерянного в городе, языка которого не понимал.

А Шахид Дар остался на улице; в первом свете раннего утра он наблюдал, как солдаты спешили убраться прочь от того-чего-они-не-совершали; и тут показалась граната. Я, будда, все еще был в пустом доме, но Шахида не защищали стены.

Можно ли сказать, зачем, откуда и кто – но гранату, несомненно, бросили. В этот последний миг своей неразрезанной надвое жизни Шахид вдруг ощутил непреодолимое желание взглянуть наверх… позже, на насесте муэдзина, он поведал будде: «Это так странно, о Аллах – тот самый плод граната – вспыхнул в моей голове, как всегда во сне, только больше, ярче – понимаешь, будда, как электрическая лампочка – о Аллах, что же мне еще оставалось делать, я обернулся и посмотрел!» И правда: он был тут, он висел над его головой, этот плод граната из снов – да, висел над самой головой, а потом стал падать-падать и взорвался на уровне пояса, так, что ноги Шахида отнесло куда-то далеко, на другой конец города.

Когда я подбежал к нему, Шахид был в сознании, несмотря на то, что его разрезало надвое, и показывал рукою вверх: «Отнеси меня наверх, будда, я так хочу-так хочу», – и я

364

потащил то, что стало половинкою парня (и было поэтому достаточно легким) по узким ступенькам винтовой лестницы на самый верх прохладного белого минарета, где Шахид бормотал что-то об электрических лампочках, а красные муравьи и черные муравьи сражались за дохлого таракана, суетясь в оставленных мастерком бороздах на грубо сработанном бетонном полу. Далеко внизу, среди обугленных домов, осколков стекла и пелены дыма, люди, словно муравьи, выползали из развалин, готовясь принять мир; настоящие муравьи, тем не менее, невзирая на себе подобных, продолжали биться. А что же будда: он стоял смирно, бросая отуманенный взор вокруг себя и вниз, расположившись между верхней половиной Шахида и единственным в этом орлином гнезде предметом мебели, низким столиком, на котором находился граммофон, подключенный к громкоговорителю. Будда, оберегая своего располовиненного боевого друга от обескураживающего зрелища – механического муэдзина, чей призыв к молитве процарапан и заедает всегда в одних и тех же местах, достал из складок бесформенного одеяния некий сверкающий предмет, и направил подернутый пеленою взгляд на серебряную плевательницу. Погруженный в созерцание, он вздрогнул от неожиданности, когда раздались крики, и, подняв глаза, увидел оставленного таракана. (Кровь стекала по бороздкам в бетонном полу; муравьи, взяв темный, липкий след, добрались до истоков, и Шахид, ставший жертвой и той, и другой войны, воплями выражал свою ярость).

Бросаясь на помощь, топча муравьев, будда задел локтем выключатель; громкоговоритель ожил, и люди, слышавшие это, так и не смогли забыть, как мечеть кричала, и как выражалась в этих ужасных воплях агония войны.

Через несколько мгновений наступила тишина. Голова Шахида упала на грудь. А будда, боясь, как бы его не обнаружили, спрятал плевательницу и спустился в город, куда уже входила Индийская армия; оставив Шахида, который уже не возражал, на банкете, устроенном муравьями в честь заключения мира, я вышел на улицы, озаренные светом раннего утра, встречать генерала Сэма.

Там, на минарете, я не сводил с плевательницы отуманенных глаз; но в голове у будды не было пусто. В ней заключались два слова, те самые, какие твердила верхняя половина Шахида вплоть до прихода муравьев: те самые два слова, воняющие луком, которые заставили меня рыдать на плече Аюбы Балоча – покуда пчелка, прожужжав… «Это нечестно, – думал будда упорно опять и опять, как дитя малое. – Это нечестно», – снова, и снова, и снова.

Шахид, исполнив заветное желание отца, стал наконец достойным своего имени; а вот будда до сих пор не мог вспомнить, как его зовут.

Как будда вновь обрел свое имя? Когда-то, давным-давно, в другой день независимости, весь мир был шафрановым и зеленым. Но этим утром преобладали иные цвета: зеленый, красный и золотой. В городах крики: «Джай Бангла!»[365]И женские голоса поют «Нашу золотую Бенгалию», и сердца их полнятся безумною усладой… в центре города, на подмостках своего поражения, генерал Тигр Ниязи ждет генерала Манекшау (одна биографическая подробность: Сэм был парсом. Он родился в Бомбее. Уроженцам Бомбея в тот день везло). И среди зеленых, и красных, и золотых пятен будду в его безымянном, бесформенном одеянии несла вперед, толкала толпа; а потом пришла Индия. Индия с Сэмом во главе.

Что замышлял генерал Сэм? Или, может, сама Индира? Оставив эти бесплодные вопрошания, замечу только, что вступление индийцев в Дакку ознаменовалось чем-то гораздо бо?льшим, чем просто военный парад; как и полагается всякому триумфальному шествию, оно сопровождалось зрелищами. Специальный десантно-транспортный самолет индийских военно-воздушных сил доставил в Дакку сто и одного лучших артистов и фокусников, какие только нашлись в Индии. Из знаменитого квартала чародеев в Дели

365

явились они, многие – обряженные в намозолившие глаза мундиры индийских солдат, так что жители Дакки решили, будто победа индийцев была предрешена с самого начала, коль скоро даже простые, рядовые джаваны были магами наивысшего разряда. Фокусники и прочие артисты шли рядом с войсками и развлекали собравшуюся толпу: на движущихся помостах, которые влекли вперед белые буйволы, акробаты выстраивали живые пирамиды; удивительно гибкие женщины-змеи заглатывали свои ноги до самых колен; жонглеры, над которыми невластны были законы земного притяжения, подкидывали в воздух одновременно по четыреста двадцать игрушечных гранат, и толпа разражалась восторженными охами и ахами; карточные трюкачи вытаскивали у женщин из ушей даму чирия (королеву птиц, трефовую императрицу)[366]; великая танцовщица Анаркали, чье имя значило «цветок граната», прыгала-вилась-порхала на тележке, запряженной осликом, и огромное серебряное кольцо звенело в ее правой ноздре. Мастер Викрам, чей ситар вторил малейшим движениям сердец и даже во много раз усиливал их – однажды (как говорят) он играл перед весьма раздраженной, свирепой публикой и настолько усугубил общее скверное расположение духа, что если бы его партнер, играющий на табле, не заставил прервать ра?гу на середине, слушатели перерезали бы друг другу глотки и разнесли в мелкие щепы концертный зал – нынче своей музыкой довел ликованье народа до высшей, горячечной точки; она, его музыка, не побоимся сказать, полнила сердца безумною усладой.

Шествовал среди прочих и сам Картинка-Сингх, гигант семифутового роста; он весил двести сорок фунтов, и его называли Самым Прельстительным В Мире, за непревзойденное умение прельщать, заклинать змей. Даже легендарный Тубривалла из Бенгалии не мог тягаться с ним; он двигался среди радостно вопящей толпы увитый с ног до головы смертоносными кобрами, мамбами[367]и крайтами – ни у единой змеи не были вырваны мешочки с ядом… Картинка-Сингх, последний из длинной череды мужчин, пожелавших стать мне отцом… а следом за ним шла Парвати-Колдунья.

Парвати-Колдунья развлекала толпу с помощью большой плетеной корзины с крышкой; полные ликования добровольцы залезали в корзину и затем, по мановению Парвати, исчезали без следа и не возвращались, пока она не давала на то своего соизволения; Парвати, которой полночь преподнесла подлинный дар колдовства, разменивала его на жалкие фокусы; то и дело в толпе раздавалось: «Да куда же ты их деваешь?» и «Ну-ка, ну-ка, милашка, скажи нам, в чем тут дело, не чинись». – Парвати, улыбаясь-сияя-вертя в руках волшебную корзину, шла мне навстречу вместе с армией-освободительницей.

Индийская армия вошла в город, герои – следом за факирами; среди героев, как я потом узнал, был и колосс войны, майор с крысиным лицом и смертоносными коленками. Но фокусы множились, ибо местные маги и чародеи, пережившие войну, повылезали из укрытий и вступили в удивительнейшее состязание, стараясь превзойти все-все, до единого номера, что только могли предложить заезжие артисты; великая, неудержимо рвущаяся на волю сила волшебства омыла раны города, заговорила боль. Потом Парвати-Колдунья увидела меня и вернула мне мое имя.

– Салем! О Боже мой, Салем; ты ведь Салем Синай; это ты, Салем?

Будда дергается, словно кукла-марионетка на ниточках. Толпа пялит на них глаза. Парвати пробирается к нему. «Послушай, это точно ты!» Она хватает будду за локоть. Глаза, огромные, как блюдца, вглядываются в голубые, подернутые пеленой. «Боже мой, этот нос, я не хочу быть грубой, но ведь это правда! Взгляни, это я, Парвати! О Салем, да не стой ты, как дурак, скажи-скажи-скажи что-нибудь!..»

– Так и есть, – произносит будда. – Салем: так и есть.

– О Боже, то-то радость! – кричит она. – Арре бап, Салем, ты помнишь – Дети, яяр, о, как это здорово! Да что же ты стоишь как истукан – я-то готова затискать тебя до смерти! Столько лет я видела тебя тут, – она стучит пальцем по лбу, – и вот ты взаправду передо

366
367

мной, да только снулый, как рыба. Эй, Салем! Ну же, ну, хоть поздоровайся по крайней мере.

15 декабря 1971 года Тигр Ниязи сдался Сэму Манекшау; Тигр и девяносто три тысячи солдат и офицеров пакистанского войска стали военнопленными. А я тем временем стал добровольным пленником индийских магов, ибо Парвати вовлекла меня в процессию со словами: «Теперь, когда я нашла тебя, я тебя не отпущу».

Этим вечером Сэм и Тигр пили джин с содовой и вспоминали былые времена, когда оба служили в Британской армии. «Говорю тебе, Тигр, – толковал Сэм Манекшау, – сдавшись, ты поступил вполне порядочно». И Тигр: «Сэм, ты сражался, как сто чертей». Легкое облачко пробегает по лицу генерала Сэма: «Послушай, дружище, тут отовсюду только и слышишь всякое вранье. Резня, старина, братские могилы, специальное подразделение под названием СУКА или что-то в этом роде, созданное для того, чтобы искоренять оппозицию… в этом нет ни слова правды, я полагаю?» И Тигр: «Собаководческое Управление Кадров Атаки? Никогда о таком не слышал. Тебя ввели в заблуждение, старина. Какие-нибудь горе-разведчики, твои и наши. Нет, это смешно, просто смешно, если хочешь знать мое мнение». «Так я и думал, – кивнул генерал Сэм. – Ужасно рад видеть тебя, Тигр, старый ты черт!» И Тигр: «Сколько лет, сколько зим, а, Сэм? Давненько не видались».

…Пока приятели распевали «Доброе старое время» в офицерской столовой, я совершил побег из Бангладеш, из моих пакистанских лет. «Я тебя вытащу отсюда, – сказала Парвати, когда я все объяснил. – Ты хочешь, чтобы никто-никто не знал?»

Я кивнул: «Никто-никто».

По всему городу девяносто три тысячи солдат готовились к отправке в лагеря для военнопленных, а меня Парвати-Колдунья посадила в плетеную корзинку с плотно прилегающей крышкой. Сэм Манекшау был вынужден взять своего старого друга Тигра под стражу, вернее, под покровительство; но Парвати-Колдунья заверила: «Так тебя никто не поймает».

Позади казарм, где маги ждали транспортного самолета, чтобы лететь обратно в Дели, Картинка-Сингх, Самый Прельстительный В Мире, стоял тем вечером на стреме, пока я залезал в корзинку-невидимку. Сперва мы слонялись взад и вперед, курили бири[368], дожидаясь, когда солдаты скроются из виду, а тем временем Картинка-Сингх мне рассказывал, откуда у него такое имя. Двадцать лет назад какой-то фотограф из восточного филиала фирмы «Кодак» сделал его портрет – цветущий улыбкой, увитый змеями, плакат появлялся потом в доброй половине реклам «Кодака» и в витринах открытых в Индии магазинов фирмы; после этого заклинатель змей и получил такое прозвание. «А ты как думаешь, капитан? – ревел он, полный дружеских чувств. – Ничего себе имечко, да? Что ж поделаешь, капитан, если я уже и не помню мое прежнее имя, то, которое дали мне отец с матерью! По-дурацки все вышло, да, капитан?» Но Картинка-Сингх дураком вовсе не был, и умел он не только заклинать да прельщать. Небрежное, сонное добродушие внезапно исчезло из его голоса, когда он шепнул: «Давай! Давай, капитан, эк дам[369], живее, живее!» Парвати сдернула крышку с плетеной корзины, и я нырнул вниз головой в таинственные недра. Крышка вернулась на место и закрыла для меня последний дневной свет.

Картинка-Сингх прошептал: «Хорошо, капитан – лихо, одно слово!» И Парвати склонилась ко мне, должно быть, прижав губы к самой корзине. Вот что шепнула Парвати-Колдунья сквозь просветы в прутьях:

– Эй, Салем, это же надо! Ты да я, господин мой – дети полуночи, йаяр! Это чего-то да стоит, правда?

Чего-то да стоит… Салем, погребенный во мгле, в полумраке плетеной корзины, вспомнил полуночные часы прежних лет; детские стычки, яростные споры о причинах и

368

369

целях; охваченный тоской по прошлому, я не понимал, чего же все-таки это стоило. Тогда Парвати произнесла шепотом другие слова, и я, Салем Синай, вместе с моим просторным, скрывающим все одеянием, сидящий внутри корзинки-невидимки, внезапно рассеялся, растворился, исчез.

* * *

– Исчез? Как это исчез, кто это исчез? – Падма вскидывает голову, в изумлении таращит на меня глаза. Я пожимаю плечами и просто повторяю то, что сказал: да, исчез. Растворился. Рассеялся. Как джинн: фу – и нету.

– Значит, – наседает на меня Падма, – она правда-правда была колдуньей?

Правда-правда. Я сидел в корзине, но меня там не было; Картинка-Сингх поднял плетенку одной рукой и забросил в кузов армейского грузовика, одного из тех, на которых его, и Парвати, и еще девяносто девять человек должны были доставить к самолету, ждущему на военном аэродроме; меня и кинули вместе с корзиной, и не кинули. После Картинка-Сингх говорил: «Нет, капитан, твоего веса я не чувствовал»; да ничего и не-грохнуло-не-стукнуло-не-шмякнулось. Сто и один артист прибыли на транспортном самолете индийских вооруженных сил из индийской столицы; сто два человека вернулись, хотя один из них и был там, и не был. Да, заклинания порой могут подействовать. А могут и не иметь власти: проклятия отца моего, Ахмеда Синая, никак не действовали на Шерри, приблудную дворняжку.

Без паспорта, без разрешения я вернулся невидимым в страну моего рождения; хотите верьте, хотите – нет, но даже самый заядлый скептик должен же как-то объяснить тот факт, что я пробрался сюда. Разве халиф Гарун аль-Рашид (в древнем собрании волшебных сказок) не бродил, незамечаемый-невидимый-безымянный, по улицам Багдада под покровом плаща? Что получилось на улицах Багдада у Гаруна, то Парвати-Колдунья проделала со мной, пока мы летели над субконтинентом по проложенным воздушным трассам. У нее все вышло; я был невидим; *Бас![370] Точка. Довольно.*

Память о том, как я был невидимым: в той корзине я понял, как это было, как будет в смерти. Я приобрел все качества призрака! Я присутствовал, но не состоял из материи; я существовал фактически, но не имел субстанции и веса… в той корзине я открыл для себя мир таким, каким его видят призраки. Смутный-туманный-неразличимый, он окружал меня, но и только; меня заключала в себе сфера отсутствия, по краям которой бледными отражениями виднелись призраки переплетенных прутьев. Мертвые умирают и постепенно тонут в забвении; время лечит раны, и покойники выцветают – но в корзинке Парвати я постиг, что верно и обратное; что призраки тоже начинают забывать; что живые покидают память мертвецов, и те, уходя все дальше и дальше от жизни, блекнут – короче, что умирание продолжается еще долгое время после смерти. Парвати потом сказала: «Я не хотела тебе говорить – нельзя оставлять человека невидимым на такой долгий срок – мы рисковали, но разве у нас был выход?»

Подпав под власть колдовства Парвати, я почувствовал, что мир ускользает из моих рук – и как легко, как покойно было бы никогда не возвращаться! – я парю в каких-то облаках без места и времени, лечу все дальше-дальше-дальше, будто семя или спора, влекомые ветерком: короче, мне угрожала смертельная опасность.

За что цеплялся я в этом призрачном времени-и-пространстве: за серебряную плевательницу. Она, преобразованная, как и я, словами, что прошептала Парвати, все же служила напоминанием о внешнем мире… вцепившись в серебряную вещицу изящной чеканки, которая сверкала даже в этой безымянной темноте, я выжил. Оцепенев с головы до пят, я так или иначе спасся – может быть, меня хранили блики моего драгоценного сувенира.

370

Нет – дело не только в плевательнице, все гораздо сложнее: мы ведь все уже знаем, как влияет на нашего героя замкнутое пространство. В тесноте, в темноте его ждут превращения. Будучи простым эмбрионом, скрытым в тайных глубинах лона (не материнского), разве не вырос он в воплощение нового мифа, мифа 15 августа, в дитя «тик-така» – разве не возник он на свет Божий, как Мубарак, Благословенный? Разве не в крохотной, тесной комнатке, где обмывают младенцев, поменяли ярлычки с именами? Закрытый в бельевой корзине, с тесемкой, попавшей в ноздрю, разве не узрел он Черное Манго, разве не засопел слишком сильно, превратив всего себя и свой верхний огурчик в некое неуклюже сработанное, необычайное радио? Окаймленный кольцом врачей и медсестер, стиснутый обезболивающей маской, разве не поддался он числам; разве, подвергнутый верхнему дренажу, не перешел во вторую фазу, не стал носовитым философом и (позже) непревзойденным следопытом? В убогой заброшенной хижине, сплющенный телом Аюбы Балоча, разве не постиг он, что значит честно-и-нечестно? Ну так вот: попав в ловушку, подвергнувшись скрытой опасности корзинки-невидимки, я был спасен не только благодаря бликам плевательницы, но и очередной трансформацией; в тисках того страшного бесплотного одиночества, чей запах был запахом кладбищ, я открыл, что такое гнев.

Что-то меркло в Салеме, а что-то рождалось на свет. Меркли: прежняя гордость при виде детского снимка и письма Неру, вставленного в рамочку; прежняя решимость охотно и радостно принять на себя предсказанную, предвещанную историческую роль; а еще всегдашняя готовность принять во внимание, сделать скидку, оправдать; допустить, скажем, что и родители, и чужие могут самым законным образом презирать его и гнать с глаз долой из-за его уродства; оторванный палец и тонзура монаха теперь уже не казались достаточно основательными причинами такого с ним, со мной обращения. Ярость моя, в самом деле, обрушилась на все то, что я до сих пор слепо принимал как должное: на желание родителей, чтобы я расплатился по счетам, оправдал вложенные в меня средства, став великим; на гений-ниспадающий-как-покрывало; даже пресловутые способы сцепления вызывали во мне бешеный, безрассудный гнев. Почему я? Почему, по какому такому праву рождения, пророчества и т.д. и т.п. должен я нести ответственность за мятежи языков и после-Неру-кто; за революции перечниц и бомбы, уничтожившие мою семью? Почему я, Салем-Сопелка, Чихун, Морда-картой, Месяц Ясный, должен быть виноват в том, чего-не-делали пакистанские войска в Дакке?.. *Почему я, один из почти пятисот миллионов, должен нести на себе бремя истории?*

Начал я с открытия нечестного (провонявшего луком), а кончил невидимым гневом. Ярость помогла мне преодолеть голоса пустоты, певшие нежно, будто сирены; после того, как меня извлекли из небытия и выпустили в тень Пятничной мечети, гнев укрепил мой дух, и я решил с этой самой минуты всегда и всюду выбирать свой собственный путь, не предписанный судьбой. Там, в тишине заточения, провонявшего кладбищами, я услышал давно отзвучавший голос девственной Мари Перейры, который пел:

Всем, чем захочешь, ты станешь,
Станешь ты всем, чем захочешь.

Сегодня ночью, припоминая мою тогдашнюю ярость, я остаюсь совершенно спокойным: Вдова выкачала из меня гнев вместе со всем прочим. Воскрешая в памяти мой навеянный корзинкой мятеж против неизбежности, я даже позволяю себе кривую, умудренную опытом усмешку. «Мальчишки, – бормочу я снисходительно, обращаясь через все эти годы к Салему-двадцатичетырехлетнему, – и есть мальчишки». В Приюте Вдовы мне преподали жестоко, раз-и-навсегда, урок Невозможности Бегства; теперь, склонившись над листом бумаги в озерце углового света, я хочу быть только самим собой, и никем больше. Но кто я – что я? Ответ: я – сумма, итог всего того, что прошло передо мной; всего, чем я был, что я видел и делал; всего, что делали со мной. Я – любой человек, любая вещь, чье присутствие в мире как-то затронуто моим существованием; чье бытие затрагивало меня. Я –

все то, что произойдет, когда меня не будет, и что не произошло бы, если бы меня не было вообще. И я в этом смысле не представляю собой какой-то особый феномен: любое «я», любой из нас – уже более-шестисот-миллионов – заключает в себе подобное множество. Последний раз повторяю: чтобы понять меня, вы должны поглотить весь мир.

Хотя ныне, по мере того, как излияние наружу всего, что копилось внутри, близится к концу; по мере того, как ширятся трещины – я слышу, я чувствую, как хрустит на веках созревшая слеза – плоть моя начинает таять, она уже почти прозрачная; от меня уже мало что осталось, а скоро не будет ничего. Шестьсот миллионов частичек праха – и все прозрачные, проницаемые, как стекло…

Но тогда меня обуял гнев. Железы активно работали в сплетенной из прутьев амфоре: экрины и апокрины выделяли пот и вонь, будто бы я пытался выгнать свою судьбу через поры; и, отдавая должное этой моей ярости, следует сказать, что ей я обязан мгновенным преображением: когда я кувырнулся из корзинки-невидимки прямо в тень мечети, мой мятеж избавил меня от отвлеченности оцепенения; когда я выпрыгнул прямо в грязь квартала фокусников, сжимая в руке серебряную плевательницу, я вдруг понял, что тело мое вновь обрело чувствительность.

По крайней мере, существуют недуги, которые можно одолеть.

В тени мечети

Ни тени сомнения не остается: процесс набирает скорость. Ткани рвутся-хрустят-трескаются – как поверхности дорог рассыпаются на этой ужасной жаре, так и я со всей возможной скоростью стремлюсь к распаду. То-что-вгрызается-в-кости (и, как мне приходится регулярно объяснять слишком многим женщинам, толпящимся вокруг меня, никак не может быть даже обнаружено медиками, тем более вылечено) скоро заявит о себе, а рассказ еще далеко не закончен, осталось столь многое… Дядюшка Мустафа подрастает во мне, и капризная гримаска Парвати-Колдуньи; некая прядка волос героя таится за кулисами; а еще роды, длившиеся тринадцать дней, плюс история, взявшая себе за образец прическу премьер-министра; зайдет речь и о предательстве, и о бесплатном проезде, и о запахе (который приносит с собою ветер, насквозь пропитанный причитаниями вдов) чего-то, что жарится на чугунной сковородке… так что мне приходится торопить события, делать последний рывок; прежде, чем память растрескается, распадется на кусочки без надежды на новое единение, я должен достигнуть финиша. (Хотя и сейчас уже многое тускнеет, даже пропадает; в иных случаях приходится импровизировать).

Двадцать шесть банок с солениями торжественно выстроились на полке; двадцать шесть особых сортов, помеченных собственным ярлычком, куда четким почерком вписаны знакомые заглавия: «Передвижения перечниц», например, или «Альфа и Омега», или «Жезл командора Сабармати». Двадцать шесть банок красноречиво позвякивают, когда мимо проносятся желтовато-коричневатые электрички; а на моем столе настойчиво дребезжат пять пустых банок, напоминая о том, что работа не окончена. Но вглядываться в пустые банки из-под солений некогда, ночь предназначена для слов, а зеленое чатни пусть подождет своей очереди.

…Падма мечтает: «О господин, как, должно быть, хорош Кашмир в августе, когда здесь у нас жара, как в преисподней!» Я вынужден призвать к порядку мою полненькую-но-мускулистую подружку и попутно заметить, что наша Падма-биби, все-сносящая, терпеливая, дарующая утешение, начинает вести себя точь-в-точь как истинная индийская жена. (А я, при всей моей отстраненности и самокопании, – как муж?) В последнее время, несмотря на стоический фатализм, с каким отношусь я к все ширящимся трещинам, мне удается уловить в дыхании Падмы мечту об альтернативном (невозможном) будущем; ничего не зная о безжалостной категоричности внутренних трещин, она вдруг стала испускать горьковато-сладкий аромат надежды на замужество. Мой лотос навозный, столь долго не замечавший презрительных гримас и подколок нашей рабочей силы, – теток с

пушком на руках; ставивший свое со мною сожительство вне и превыше всякого кодекса общественной нравственности, похоже, поддался желанию узаконить отношения… короче, хотя Падма ни слова не сказала мне по этому поводу, она явно ждет, чтобы я сделал из нее честную женщину. Душком этой печальной надежды пропитаны все самые невинные ее замечания, самые трогательные заботы – вот, например, как сейчас: «Эй, господин, а если б, скажем, вы закончили ваши писания и решили чуток отдохнуть; поехали бы в Кашмир, пожили бы там спокойно, может, и вашу Падму с собой прихватили, чтобы было кому за вами смотреть…?» Под этой расцветающей мечтой об отдыхе в Кашмире (мечта эта некогда принадлежала Джихангиру, Моголам, бедной забытой Ильзе Любин и, не исключено, самому Христу) чует мой нос некое другое чаяние; но ни то, ни другое не сбудется, не может сбыться. Ибо ныне трещины, трещины и еще раз трещины сдавливают мое будущее, сжимают его до одной-единственной неизбежной точки; и даже Падма отходит на задний план, коль скоро я должен закончить мои истории.

Сегодня в газетах опять говорится о возможном политическом возрождении Индиры Ганди; а когда я вернулся в Индию, спрятанный в плетеной корзине, слава нашей мадам была в зените. Теперь, возможно, мы начинаем забывать, по собственной воле вступаем в коварные облака амнезии; но я-то помню, я вам изложу, как я, как она… как случилось, что – нет, никак не выговаривается, нужно все рассказывать по порядку, пока не останется иного выхода, как только раскрыть… 16 декабря 1971 года я кувырнулся из корзинки в Индию, где новая Партия конгресса госпожи Ганди имела более двух третей голосов в Национальном собрании[371].

В корзинке-невидимке ощущение того-что-нечестно обернулось гневом и чем-то еще – преображенного яростью, меня переполняло мучительное чувство сопричастности стране, с которой мы не только родились в один день и час, словно близнецы, но и росли и мужали вместе, так что все, что случалось с каждым из нас, случалось с обоими вместе. Если я, сопливец, рябой и так далее, терпел невзгоды, то же было и с моей сестрицей-двойняшкой, занимающей целый субконтинент; и теперь, признав за собой право выбрать лучшее будущее, я решил, что и нация должна этим правом воспользоваться. Думаю, кувырнувшись из корзины в пыль, в тень и в приветственные крики, я уже решил спасти свою страну.

(Но и тут возникают трещины и зияния… видел ли я уже тогда, что моя любовь к Джамиле-Певунье была в некотором смысле ошибкой? Понял ли я уже в то время, что перенес на нее, возложил на ее плечи то обожание, которое ныне осознал как безудержную, всепоглощающую любовь к родной стране? Когда до меня дошло, что по-настоящему кровосмесительные чувства я испытывал к моей истинной, родной сестре, самой Индии, а не к паршивой певичке, бессердечно избавившейся от меня, как змея – от старой кожи, и выкинувшей меня, если говорить метафорически, в мусорную корзину армейской жизни? Когда же это случилось, когда-когда-когда?.. Признавая свое поражение, вынужден записать, что не могу припомнить наверняка).

…Салем, моргая, сидит на пыльной земле в тени мечети. Гигант с широченной ухмылкой склонился над ним, спрашивает: «Ну что, капитан, как доехал?» И Парвати с огромными, полными тревоги глазами подносит круглый сосуд с водой к его растрескавшимся, пропитанным солью губам… Ощущения! Ледяная вода из глиняного кувшина прикасается к саднящим, пересохшим губам, кулак сжимает серебро-с-лазуритом… «Я могу ощущать!» – кричит Салем добродушно гудящей толпе.

Было время дня, называемое «чхая»[372], когда тень высокой, выстроенной из красного кирпича и мрамора Пятничной мечети падала на беспорядочное скопление лачуг, прилепившихся к ее подножию; крыши из старой, продавленной жести настолько прогревались солнцем, что в этих хлипких трущобах можно было находиться только когда

371
372

наступала чхая, или же ночью… но нынче фокусники, и люди-змеи, и жонглеры, и факиры собрались перед одинокой водопроводной трубой поприветствовать новоприбывшего. «Я могу ощущать!» – воскликнул я, а Картинка-Сингх: «Ну что ж, капитан, расскажи нам, что ты ощущаешь, как оно – родиться заново, выпасть из корзины Парвати, словно из материнской утробы?» Я чуял замешательство в словах Картинки-Сингха; трюк Парвати явно поразил его, но он, как подлинный профессионал, даже и думать не смел, чтобы спросить, как это у нее получилось. Так Парвати-Колдунья, употребившая свою безграничную силу, чтобы вызволить меня, избежала разоблачения; кроме того, как я обнаружил позже, проживавшие в квартале чародеев профессиональные иллюзионисты были абсолютно, непоколебимо убеждены в совершенной невозможности колдовства. И Картинка-Сингх все твердил мне, изумленный и растерянный: «Клянусь тебе, капитан, ты весил не больше младенца, когда сидел там!» – Но ему и в голову не приходило, что моя невесомость могла быть чем-то большим, чем искусный трюк.

«Послушай-ка, малыш сахиб, – орал Картинка-Сингх. – Что скажешь, малыш капитан? Может, взять тебя на ручки, покачать, чтобы ты срыгнул?» – И Парвати, миролюбиво: «Этот тип, баба?, вечно со своими шутками-прибаутками». Всех, кто собрался здесь, одаривала она своей сияющей улыбкой… но за этим последовал некий зловещий эпизод. Позади кучки чародеев послышался женский голос, стенавший на одной ноте: «Ай-о-ай-о! Ай-о-о-!» Толпа, захваченная врасплох, расступилась, и какая-то старуха ринулась вперед и пробилась к Салему; мне пришлось уклоняться от ударов, пока Картинка-Сингх, боясь за меня, не схватил ее за руку, потрясавшую сковородкой, и не заревел: «Эй, капитанка, чего шумишь?» Но упрямая старуха все выла: «Ай-о-ай-о!»

– Решам-биби, – рассердилась Парвати, – у тебя что, муравьи завелись в голове? – И Картинка-Сингх: «У нас гость, капитанка, зачем ему слушать твои вопли? Арре, уймись, Решам, этот капитан – знакомый нашей Парвати! И нечего на него орать!»

– Ай-о-ай-о! Лихая судьба пришла! Болтаетесь по чужим краям и привозите с собой горе-злосчастье! Ай-оооо!

Обеспокоенные лица чародеев поворачивались от Решам-биби ко мне – хотя обитатели квартала и отрицали сверхестественное, они были артистами, и как таковые свято верили в судьбу, везение, невезение, дурной глаз и добрый глаз… «Сами говорите, – вопила Решам-биби, – что этот человек рожден дважды, и не женщиной! Вот и грядут напасти, чумное поветрие, погибель! Я долго жила, я знаю. Арре баба?, – заговорила она умоляюще, повернувшись ко мне, – пожалей нас, уходи сию минуту, уходи быстрее, уходи-уходи!» Раздался ропот: «Это правда, Решам-биби знает, что бывало в старину» – но Картинка-Сингх разгневался не на шутку: «Капитан – мой дорогой гость, – заявил он. – И будет жить в моей хижине столько, сколько захочет, долго ли, недолго. Что за разговоры такие? Не место здесь рассказывать сказки».

Первое пребывание Салема Синая в квартале фокусников продлилось всего лишь несколько дней, но и за это короткое время случилось много всего такого, что развеяло страхи, поднятые «ай-о-ай-о». Чистая правда, истина без прикрас заключалась в том, что за этот срок фокусники и другие артисты квартала достигли в своем искусстве новых высот: жонглеры удерживали в воздухе тысячу и один шар, а ученица факира, еще неопытная, забрела в горячие угли и ходила по ним как ни в чем не бывало, будто бы дар наставника попросту перетек в нее; говорили мне, что и канатоходцы добились большого успеха. К тому же и полиция пропустила ежемесячную облаву, чего еще не случалось на памяти жителей квартала; в лагерь вереницей тянулись посетители: то были слуги богачей, приглашавшие то одного, то другого артиста, а то и нескольких сразу, выступить на праздничном вечере… казалось, что Решам-биби попросту все перепутала, и вскоре я сделался очень популярным в квартале. Меня прозвали Салем Кисмети, Везунчик-Салем; все восхваляли Парвати за то, что она привела меня в трущобы. И в конце концов Картинка-Сингх заставил Решам-биби извиниться.

– Свините, – прошамкала Решам беззубым ртом и быстренько убежала;

Картинка-Сингх добавил: «Нелегко приходится старикам: мозги у них размягчаются, и все-то им помнится наоборот. Тут, капитан, все говорят, что ты принес нам удачу; но ты ведь скоро покинешь нас?» – И Парвати молча устремила на меня свои глаза, огромные, как блюдца, и молила взглядом: нет-нет-нет; но я вынужден был ответить утвердительно.

Сегодня Салем уверен, что он ответил: «Да»; что в то же самое утро, все в том же бесформенном одеянии, по-прежнему неразлучный с серебряной плевательницей, он отправился прочь, даже не оглянувшись на девушку, которая провожала его взглядом, влажным от невысказанных упреков; торопливо шагая мимо набирающих сноровку жонглеров и лотков со сладостями, от которых веяло щекочущим ноздри, искушающим запахом расгуллы; мимо цирюльников, которые предлагали побрить за десять пайс; мимо шамканья стариков и визгливых, с американским акцентом, воплей мальчишек-чистильщиков обуви, не дающих прохода японским туристам, которые выгружаются из автобусов, все в одинаковых синих костюмах и нелепых тюрбанах шафранового цвета – это гиды, почтительно-лукавые, намотали их бедолагам на головы; мимо высокой, монументальной лестницы, что ведет к Пятничной мечети; мимо торгующих всякой всячиной, «хитрыми вещами», и благовониями, и копиями Кутб Минара, минарета Кутб из папье-маше, и расписными игрушечными лошадками, и живыми курами, что бьются и хлопают крыльями; мимо зазывал, приглашающих на петушиные бои, и игроков в карты с пустыми, напряженными взглядами, проследовал он, выбираясь из квартала фокусников, и очутился на Фаиз Базаре, перед бесконечно простирающимися стенами Красного форта, с которых премьер-министр когда-то объявил независимость, в тени которых одна женщина как-то раз встретилась с парнем, катающим кинетоскоп и кричащим «Дилли-декхо», и парень завел ее в закоулки, все более и более узкие, и там этой женщине предсказали будущее ее сына, среди мангуст, и стервятников, и битых-перебитых людей с листьями, привязанными к рукам; короче говоря, он затем повернул направо и зашагал прочь из Старого города, к розоватым дворцам, давным-давно построенным розовокожими завоевателями – оставив моих спасителей, я пешком отправился в Новый Дели. Почему? Почему я, неблагодарный, отверг тоску по прошлому, которой полна была Парвати-Колдунья, почему отвернулся от старого и направил стопы свои к новому? Почему, хотя столько лет она была моей неизменной соратницей во время еженощных конференций у меня в мозгу, я так легко и бездумно оставил ее тем утром? Борясь с пронизанными трещинами белыми пятнами в памяти, я припоминаю две причины, но не в состоянии сказать, какая была основной, а может, третья… так или иначе, но первое, что я сделал по прибытии, – это подвел итоги. Анализируя свои виды на будущее, Салем вынужден был признать, что ничего хорошего ему не светит. Паспорта у меня не было; по закону я считался нелегальным иммигрантом (когда-то эмигрировавшим вполне легально); лагеря для военнопленных ждали меня за каждым углом. И даже если забыть о моем статусе дезертира-побежденной-армии, список того, чего мне не хватало, оставался устрашающим: у меня не было ни средств к существованию, ни даже смены одежды; я не владел никакой профессией – не закончил образования, да и в тех курсах, которые успел прослушать, ничем не блистал; как же мог я осуществить честолюбивые планы спасения нации без крыши над головой, без семьи, которая защитит-поддержит-поможет… и тут меня осенило: ведь я неправ, ведь здесь, в этом городе, у меня есть родня – и не просто родня, а родня влиятельная! Мой дядя Мустафа Азиз, государственный чиновник высокого ранга – в последний раз, когда я слышал о дяде, он был номером вторым у себя в департаменте; кто, как не он, сможет поддержать мои мессианские устремления? Под его кровом я смогу приобрести не только новую одежду, но и знакомства; при его содействии я займу какой-нибудь административный пост и стану продвигаться по службе; и, поскольку я уже изучил науку управления, то, несомненно, отыщу ключи к спасению нации; ко мне станут прислушиваться министры, я, быть может, близко познакомлюсь с великими мира сего!.. Захваченный фантастическим видением грядущего великолепия, я и сказал тогда Парвати: «Мне нужно идти; меня ждут великие дела!» И, заметив, как вдруг вспыхнули от обиды ее щеки, добавил

в утешение: «Я буду часто тебя навещать. Часто-часто». Но она не утешилась… высокомерие, следовательно, было одной из причин, заставивших меня бросить людей, которые мне помогли; но не была ли вторая причина более низменной и презренной, более личной? Была. Однажды Парвати тайком завела меня за лачугу из жести-и-ящиков; там, где кишели тараканы, где плодились и размножались крысы, где мухи благоденствовали на собачьем дерьме, она схватила меня за руку; глаза ее засверкали и голос зазвенел; укрывшись в зловонном лоне квартала, она призналась: я не был первым из детей полуночи, кто встретился ей на пути! И вот он, рассказ о параде в Дакке: чародеи маршируют рядом с героями; вот Парвати глядит на танк, и взгляд Парвати упирается в пару гигантских, цепких колен… колени гордо выпирают из-под выстиранного-выглаженного мундира; вот Парвати кричит: «О, это ты… ты!» …и следует неназываемое имя, имя моей вины, имя того, кто мог бы жить моей жизнью, если бы не преступление в родильном доме; Парвати и Шива, Шива и Парвати, которым сулило встречу божественное предначертание их имен, соединились в миг победы. «Он герой, знаешь! – гордо шептала она позади лачуги. – Ему дадут большой чин и все такое!» А потом – что извлекла она из своих лохмотьев? Что когда-то украшало гордую голову героя, а теперь покоится на груди чародейки? «Я попросила, и он мне дал», – призналась Парвати-Колдунья и показала мне локон его волос.

Бежал ли я от этого рокового локона? Может быть, Салем, убоявшись встречи со своим двойником, которого он давно-давно-давно изгнал с ночных конференций, ринулся обратно в лоно семьи, той самой семьи, чьих преимуществ лишен был герой войны? Коренилась ли причина в высокомерии или в чувстве вины? Я уже не могу сказать; я излагаю только то, что способен припомнить, а именно, как Парвати-Колдунья прошептала: «Может, он заглянет сюда, если выкроит минутку, и тогда нас станет трое!» И снова та, уже звучавшая фраза: «Дети полуночи, йар… это что-то да значит, правда?» Парвати-Колдунья напомнила мне о вещах, которые я старался выбросить из головы, и я ушел от нее в дом Мустафы Азиза.

От моего последнего жалкого приобщения к скотским интимностям семейной жизни остались одни лишь фрагменты; но раз уж все должно быть как следует обработано и затем положено в маринад, я постараюсь связать их воедино. Начнем с того, что дядя Мустафа жил в подобающе неприметном, безымянном бунгало, принадлежавшем Госдепартаменту; располагалось оно в ухоженном, опять-таки принадлежавшем государству садике, чуть поодаль от Радж Патх[373], в самом что ни на есть центре города; я шел по улице, которая некогда называлась Кингзуэй, и вдыхал бесчисленные запахи, исходившие от Рынка народных промыслов и выхлопных труб авторикш; дух баньяна и гималайского кедра смешивался не только с призрачными ароматами давно ушедших вице-королей и мем-сахиб, дам, облаченных в перчатки, но и с более резким телесным смрадом аляповато одетых богатых жен и куртизанок. Там же высился гигантский щит, на котором отмечались результаты выборов; вокруг него (во время первой битвы за власть между Индирой и Морарджи Десаи) люди собирались толпами, ждали результатов, с нетерпением спрашивали друг друга: «Мальчик или девочка?»… между старым и новым веком, между Индийскими воротами[374]и зданиями Секретариата мысли мои переполнялись исчезнувшими (Моголов, Британской) империями, а также и моей собственной историей – ибо передо мной лежал город публичного оглашения, многоголового чудища и руки, падающей с небес, – и я решительно шагал вперед, и вонял, как и все остальное вокруг меня, до самых небес. И наконец, свернув налево с Дюплеи-роуд, я подошел к безымянному садику, скрытому за низкой стеною и живой изгородью; в углу я заметил табличку, колеблемую ветерком, – точно такие расцвели когда-то в садах имения Месволда; но эхо прошлого, попавшееся мне, вещало совсем о другом. Не ПРОДАЕТСЯ, четыре зловещие гласные и пять согласных, сулящих беду, – дощатый цветок в саду моего дяди нес на себе другое, странное

373
374

уведомление: *Г-н Мустафа Азиз и Фля.*

Не зная, что последним словом дядя сокращенно обозначал старинное, уютное, вызывающее слезы на глаза слово «фамилия», я в некотором замешательстве разглядывал кивающую дощечку; пожив в этом доме весьма короткое время, я понял, что непонятное словечко подходило как нельзя лучше: семья Мустафы Азиза в самом деле была патриархальной фамилией, к тому же смятой, усеченной, ничего не значащей, как это самое мифическое Фля.

Какими словами встретили меня, когда я, немного волнуясь, позвонил у двери, полный надежд на новое начало удачной карьеры? Чье лицо, искаженное злобным оскалом, показалось за проволочной сеткой внутренней двери? Ах, Падма, меня встретила жена дядюшки Мустафы, моя сумасшедшая тетка Соня, и первым ее приветствием было: «*Фуй!* Аллах! Как же разит от этого парня!»

И хотя я произнес подобострастно: «Здравствуй, дорогая тетушка Соня» и заискивающе улыбнулся затененному проволочной сеткой лику увядающей иранской красавицы, она продолжала: «Салем, так, кажется? Да, я помню тебя. Всегда был противным мальчишкой. Только и думал, будто вырастет из тебя Бог или что-то такое. И почему бы это? Всего лишь потому, что пятнадцатый ассистент младшего секретаря премьер-министра прислал тебе какое-то дурацкое письмо». С этой первой встречи я должен был уже предвидеть крушение всех моих планов; должен был учуять исходящий от моей сумасшедшей тетки безжалостный запашок чиновничьей зависти, которая в корне пресечет все мои попытки занять достойное место в мире. Мне прислали письмо, а ей – нет; следовательно, мы – враги не на жизнь, а на смерть. Но дверь передо мной открылась, запахло чистой одеждой, душем и ванной, и я, благодарный за эти маленькие дары, не стал особо принюхиваться к смертоносным запахам тетки.

Моего дядю Мустафу Азиза, чьи некогда горделивые, нафабренные усы так и не оправились после парализующей пыльной бури, которой сопровождался снос имения Месволда, обошли по службе, не назначив главой департамента, по меньшей мере сорок семь раз, и он, уязвленный, ущемленный в своих правах, утешился наконец тем, что ежедневно лупцевал своих детей, каждый вечер витийствовал, провозглашая, что он – явная жертва антимусульманских предрассудков; парадоксальным образом хранил абсолютную верность очередному правительству и со всей одержимостью составлял родословные – это было его единственным хобби, увлечением куда более страстным и всеобъемлющем, чем давнее желание моего отца Ахмеда Синая доказать, что он происходит от императоров из династии Моголов. В первом из этих утешений ему охотно споспешествовала жена, наполовину иранка, неудавшаяся великосветская дама, Соня (урожденная Хосровани), которую в самом прямом, медицинском смысле свела с ума эта жизнь, где от нее требовалось изображать «чамчу» (дословно – ложку; в переносном значении – пресмыкаться, гнуть шею) перед сорока семью отдельно взятыми, следующими одна за другой женами номеров-первых, теми самыми, кого она старательно, с видом колоссального превосходства, ставила на место, когда эти несчастные были женами номеров-третьих; забитые совместными усилиями дяди и тети, мои кузены превратились в такое зыбкое месиво, что я не в состоянии припомнить, сколько их было, какого пола и как они выглядели; личности их, конечно, уже давно перестали существовать. В доме дяди Мустафы я молча сидел среди моих стертых в порошок кузенов и слушал его ежевечерние монологи, полные неизбывных противоречий, на бешеной скорости лавирующие между затаенной обидой по поводу застопорившейся карьеры и слепой, собачьей преданностью премьер-министру и каждому из его актов. Если бы Индира Ганди велела ему совершить самоубийство, Мустафа Азиз приписал бы это антимусульманским происках, но стал бы яростно защищать государственную мудрость подобного вердикта, и уж конечно исполнил бы требуемое, не смея (а может, и не желая) ничего возразить.

Теперь генеалогия: все свое свободное время дядя Мустафа проводил, заполняя гигантские амбарные книги вязью родословных деревьев, вечно выискивая и увековечивая

причудливые последовательности браков и рождений, случавшихся в знатнейших семействах страны; но однажды, во время моего пребывания в их доме, тетя Соня услышала о каком-то риши[375] из Хардвара, которому, как утверждали, было триста девяносто пять лет, и он помнил наизусть родословную каждого клана брахманов. «Даже в этом, – хрипло прокаркала она моему дяде, – ты всего лишь номер второй!» Существование риши из Хардвара довершило ее нисхождение в душевную болезнь; она с такой яростью стала преследовать собственных детей, что все мы день за днем жили в ожидании смертоубийства, и в конце концов дядя Мустафа был вынужден заточить жену, ибо ее безумные выходки мешали ему работать.

Вот какова была «фамилия», в которую я вошел. Со временем мне стало казаться, будто их пребывание в Дели оскверняет мое прошлое; в городе, навеки приютившем тени молодых Ахмеда и Амины, эта ужасная Фля ползала по священной земле.

Одно, тем не менее, никак невозможно с точностью доказать, а именно, то, что в последующие годы дядино увлечение генеалогией будет поставлено на службу правительству, которое, все более и более поддаваясь стремлению к неограниченной власти, постепенно оказывалось под все возрастающим влиянием астрологии; и то, что случилось в приюте Вдовы, никогда не могло бы случиться без его подмоги… но нет, я ведь тоже предавал, не мне судить и выносить приговор; я всего лишь хочу сказать, что увидел однажды среди родословных амбарных книг черную кожаную папку с ярлычком СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО и заглавием ПРОЕКТ К.П.Д.

Конец близок, его не избежать; но пока Индира-саркар[376], подражая министрам отца, ежедневно советуется с хранителями оккультного знания; пока бенаресские провидцы помогают ковать историю Индии, я вынужден отклониться в сторону, предаться мучительным, чисто личным воспоминаниям; ведь именно в доме дяди Мустафы я с полной определенностью узнал о гибели всей моей семьи в войне шестьдесят пятого года, а еще о том, что незадолго до моего прибытия в Дели бесследно исчезла знаменитая пакистанская певица Джамиля-Певунья.

…Когда сумасшедшая тетка Соня услышала, что я воевал на стороне врага, она отказалась кормить меня (мы как раз сидели за обедом) и заорала хрипло: «О Господи, ну ты и наглец – ты хоть сам-то соображаешь? Или тебе все мозги напрочь отшибло? Беглый военный преступник – и явился в дом государственного служащего, чиновника высшего ранга, Аллах милосердный! Ты хочешь, чтобы твой дядя потерял работу? Хочешь, чтобы всех нас вышвырнули на улицу? Стыдись, мальчишка, щенок! Уходи немедленно, убирайся, или нет: мы сами позовем полицию и выдадим тебя прямо сейчас! Пусть забирают в лагерь для военнопленных, нам-то какое дело, ты ведь даже не родной сын нашей покойной сестры…»

Удары, один за другим, прямо как гром с ясного неба: Салем страшится за свою безопасность и одновременно со всей неотвратимостью узнает правду о смерти матери; к тому же и положение его более шатко, чем казалось на первый взгляд, ибо эта ветвь семьи его не принимает; Соня, слышавшая признание Мари Перейры, способна на все!.. И я – слабым голосом: «Моя мать? Покойная?» И вот дядя Мустафа, возможно, чувствуя, что супруга зашла слишком далеко, произносит через силу: «Не волнуйся, Салем, конечно, ты останешься – так надо, жена, что тут поделаешь? – бедняга еще даже не знает, что…»

И тут они мне все рассказали.

В лоне этой сумасшедшей Фли мне пришло в голову, что я обязан почтить мертвых периодами траура; узнав о кончине матери, и отца, и теток Алии, Пии, Эмералд; и кузена Зафара с его кифской принцессой, и Достопочтенной Матушки, и дальней родственницы Зохры с мужем, я решил следующие четыреста дней скорбеть по ним, как это подобало: десять периодов траура, по сорок дней каждый. А еще, еще мучила меня история

375
376

Джамили-Певуньи…

О том, что я пропал, она услышала в самый разгар войны в Бангладеш, когда всюду царило смятение; ее, всегда выказывавшую свою любовь тогда, когда уже становилось слишком поздно, эта новость, вероятно, выбила из колеи, довела до некоторого умопомрачения. Джамиля, голос Пакистана, Соловей Правоверных, выступила против новых лидеров изувеченного, траченного молью, разделенного войной Пакистана; в то время, как г-н Бхутто утверждал на Совете Безопасности ООН: «Мы построим новый Пакистан! Лучший Пакистан! Страна внемлет моим словам!» – моя сестра публично клеймила его позором; она, чистейшая из чистых, патриотка из патриоток, услышав о моей гибели, подняла мятеж. (Так, по крайней мере, я это вижу; от дяди я услышал только голые факты, а он узнал обо всем по дипломатическим каналам, где нет места психологии). Через два дня после ее страстного выступления против разжигателей войны моя сестра исчезла. Дядя Мустафа старался осторожно подготовить меня: «Там творятся скверные вещи, Салем; люди пропадают то и дело; приходится бояться худшего».

Нет! Нет-нет-нет! Падма, он ошибался! Джамиля не попала в лапы государства, не растворилась в его застенках, ибо той же ночью мне приснилось, будто она, во мраке ночи, под простым покрывалом – не всеми узнаваемым парчовым шатром дядюшки Фуфа, а обычной черной фатой – вылетела самолетом из столицы; и вот она уже в Карачи, избавленная от допросов-ареста-тюрьмы; она садится в такси, едет в самое сердце города, в самые его глубины; вот перед ней высокая стена, и ворота на запоре, и окошко, через которое (как это было давно) я получал хлеб, дрожжевую выпечку – слабость моей сестры; она просит разрешения войти; монахини отпирают ворота, услышав, что ей нужно убежище; да, она проникла туда, она – внутри, в безопасности, и ворота закрылись за ней; она была и осталась невидимой, стала второй Достопочтенной Матушкой; Джамиля-Певунья, которая когда-то, будучи Медной Мартышкой, заигрывала с христианством, ныне обрела покой-приют-мир в лоне скрытого от глаз людских ордена Святой Игнасии… да, она там, живая и здоровая, она не исчезла, она – не в лапах полиции, где пинают-бьют-морят голодом; она нашла отдохновение, но не в безымянной могиле рядом с индусами, но при жизни, выпекая хлеб, распевая сладчайшие гимны монахиням, ушедшим от мирской суеты; я это знаю, знаю, знаю. Откуда знаю? Брат чувствует, вот и все.

Но снова на меня навалилась ответственность, и никуда не денешься от нее – в падении Джамили, как и во всем прочем, был виноват я.

В доме господина Мустафы Азиза я прожил четыреста двадцать дней… Салем хранил запоздалый траур по своим мертвецам; но только не подумайте ни на единый миг, будто слух мой был замкнут! Не сочтите, будто я не слышал, что говорилось вокруг меня; как беспрерывно ссорились дядя и тетя (скандалы эти и привели дядю к решению отправить ее в сумасшедший дом); как Соня Азиз визжала: «Этот бханги[377]– этот мерзкий-паскудный тип, даже не твой кровный племянник; ума не приложу, что это нашло на тебя; давно бы следовало взять его за шкирку да выкинуть на улицу!» А Мустафа отвечал спокойно: «Бедный мальчик сражен горем, как же можно так, ты хоть сама посмотри-убедись, у него же с головой не в порядке, слишком много несчастий обрушилось на него». Не в порядке с головой! Чудовищно было услышать это от них – от этой семьи, рядом с которой племя косноязычных каннибалов показалось бы мирным и цивилизованным! Почему я все это терпел? Потому что меня одушевляла мечта. Но за все четыреста двадцать дней мечта моя так и не сбылась.

С обвисшими усами, высокий, но сутулый, вечно-второй, мой дядя Мустафа ничуть не походил на дядю Ханифа. Теперь он стал главою семьи; он единственный из своего поколения пережил бойню 1965 года; но он ни в чем мне не помог… одним злополучным вечером я подловил его в кабинете, полном генеалогий, и изложил – с подобающей

377

торжественностью, с жестами, скромными, но полными решимости, – свою историческую миссию по спасению нации от ее судьбы; но он лишь сказал с глубоким вздохом: «Послушай, Салем, чего еще ты от меня хочешь? Ты живешь в моем доме, ешь мой хлеб и ничего не делаешь, но это в порядке вещей, ты из дома моей покойной сестры, и я обязан о тебе позаботиться, так что оставайся, отдыхай, приходи в себя, а там поглядим. Тебе подошла бы какая-нибудь секретарская должность; может быть, я мог бы это устроить; только брось ты эти мечты Бог-знает-о-чем. Наша страна в надежных руках. Индира-джи уже начала радикальные преобразования – земельная реформа, налогообложение, образование, контроль за рождаемостью – можешь в этом положиться на нее и на ее саркар». Он покровительствовал мне, Падма! Будто я был глупым несмышленышем! Какой стыд, какой унизительный стыд, когда болван снисходит к тебе!

На каждом шагу мне препятствуют, преграждают путь; я – пророк, вопиющий в пустыне, как Маслама, как Ибн Синан! Как бы я ни старался, пустыня – мой удел. О дядюшки-лизоблюды и их подлое нежелание помочь! О честолюбие, спутанное пресмыкающимися, вечно-вторыми родичами! То, что дядюшка отклонил мою просьбу, отказался способствовать моей карьере, имело одно серьезное последствие: чем больше расхваливал он свою Индиру, тем сильней я ненавидел ее. На самом деле он готовил меня к возвращению в квартал чародеев, и к другому тоже… к *ней*… к Вдове.

Зависть: вот в чем было дело. Огромная зависть сумасшедшей тетки Сони, сочившаяся, будто яд, капля за каплей в дядюшкины уши, не позволила ему и пальцем пошевелить ради избранной мною карьеры. Великие личности вечно зависят от милостей ничтожных людишек. Точнее: ничтожных сумасшедших баб.

На четыреста восемнадцатый день моего пребывания у дядюшки в атмосфере этого дурдома произошла перемена. Некто явился к обеду: некто с пухлым животиком, длинной и узкой головой, увенчанной прилизанными кудрями, и ртом мясистым, как женские половые губы. Мне показалось, будто я узнал его по фотографиям в газетах. Повернувшись к кому-то из моих бесполых-безвозрастных-безликих кузенов, я осведомился с живым интересом: «Не знаешь, это случайно не Санджай Ганди?» Но стертое в порошок, обращенное в ничто создание, не в состоянии было ответить… он или не он? Я тогда не знал того, что мне известно сейчас: что некоторые важные фигуры в том необычайном правительстве (и некоторые никем не избранные сыновья премьер-министров) научились множить свои лики… через несколько лет по Индии бродили толпы Санджаев Ганди! Неудивительно, что эта немыслимая династия хотела установить контроль за рождаемостью для нас, прочих… так что, может, то был он, а может, и нет; но некто скрылся в кабинете вместе с Мустафой Азизом; и в этот вечер – я подглядел в щелочку – на столе лежала наглухо закрытая черная кожаная папка с надписями СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО и ПРОЕКТ К.П.Д.; на следующее утро дядя смотрел на меня по-другому, почти со страхом, вернее, тем полным отвращения взглядом, какой государственные чиновники приберегают для тех, кто впал в немилость у властей предержащих. Я должен был догадаться, что меня ожидает; но всяк задним умом крепок. Сейчас понимание пришло ко мне, но слишком поздно, меня уже окончательно отодвинули на задворки истории, и сцепление моей жизни с жизнью нации порвалось раз и навсегда… убегая от необъяснимого дядиного взгляда, я удалился в сад и увидел Парвати-Колдунью.

Она присела на корточки прямо на земле, поставив рядом корзинку-невидимку; девушка увидала меня, и в глазах у нее блеснул упрек. «Ты сказал, что придешь, но ни разу, и вот я…» – запиналась Парвати. Я склонил голову. «У меня траур», – объяснил я неуклюже, а она: «И все же ты бы мог – Боже мой, Салем, только представь себе: я никому в нашей колонии не могу рассказывать о моем настоящем волшебстве, никогда никому, даже Картинке-Сингху, который мне как отец; я все коплю и коплю в себе, потому что они в такие вещи не верят, и я подумала – вот пришел Салем, теперь у меня есть друг, мы можем поговорить, побыть вместе, мы ведь хорошо знакомы, давно знаем друг друга, и – арре, как тебе это сказать, Салем: тебе дела нет, ты получил, что хотел, и убрался подобру-поздорову,

ты совсем не думаешь обо мне, я знаю…»

В ту ночь моя сумасшедшая тетка Соня – ее саму лишь несколько дней отделяли от смирительной рубашки (этот факт попал в газеты, в маленькую заметку на последней странице; в департаменте на дядю наверняка посмотрели косо) – имела одно из тех яростных озарений, какие нередко посещают людей, глубоко погрязших в безумии. Соня ворвалась в спальню на первом этаже, куда полчаса назад некая особа с-глазами-как-блюдца пробралась через окно; тетка застигла меня в постели с Парвати-Колдуньей, после чего дядя Мустафа уже не настаивал на том, чтобы я оставался в его доме, и сказал следующее: «Ты был рожден от бханги и всю жизнь будешь валяться в грязи»; через четыреста двадцать дней после моего прихода я оставил дядин дом, утратив последние семейные связи, возвратившись наконец к моему подлинному достоянию – бедности и лишениям, от которых меня так надолго уберегло преступление Мари Перейры. Парвати-Колдунья ждала меня на тротуаре; я не признался ей, что отчасти был рад вторжению, ибо когда я поцеловал ее в темноте этой беззаконной полуночи, то увидел, как меняется ее лицо, становясь лицом запретной любви; призрачные черты Джамили-Певуньи заслонили черты девчонки-чародейки; Джамиля, которая (я это знаю!) благополучно укрылась за стенами монастыря в Карачи, внезапно явилась передо мной, претерпев зловещее превращение. Она начала гнить и разлагаться, ужасные гнойники и язвы запретной любви высыпали на ее лице; как когда-то давно скрытая с глаз людских проказа вины разъедала призрак Джо Д'Косты, так и теперь потусторонние черты моей сестры расцвели горькими, сочащимися гнилью цветами кровосмешения, и я не мог ничего поделать, не мог поцеловать, прикоснуться; не мог взглянуть в это невыносимо жуткое, призрачное лицо; еще немного – и я отпрянул бы с криком отчаянной тоски и стыда, но тут Соня Азиз ворвалась в спальню с электрическим фонариком и истошными воплями.

А Мустафа… что ж, мое нескромное свидание с Парвати было, наверное, в его глазах не более чем удачным предлогом избавиться от меня; но это пока оставалось под сомнением, ведь черная папка была наглухо закрыта, – я мог основываться только на странном выражении глаз, на запахе страха, на трех заглавных буквах, украшавших папку, – а потом, когда все было кончено, низвергнутая госпожа и ее клитерогубый сынок провели двое суток за закрытыми дверями, сжигая папки с делами; откуда мы знаем, не значилось ли на одной из них «К.П.Д.»?

В любом случае я не хотел оставаться. Семья, фамилия: идею эту явно переоценили. Не думайте, будто мне было грустно! Ни на секунду не воображайте себе, будто бы к горлу моему подступил ком, когда меня изгоняли из последнего открытого для меня благодатного приюта! Говорю вам – я ушел в прекрасном расположении духа… может, во мне есть что-то противоестественное, некая врожденная эмоциональная непрошибаемость; но мысли мои всегда устремлялись к новым высотам. Отсюда моя упругость. Ударьте меня: я отскочу как мяч. (Но никакая упругость не убережет от трещин).

Итак, оставив ранние, наивные надежды сделать карьеру на государственной службе, я вернулся в трущобу фокусников, к чхайе в тени Пятничной мечети. Как Гаутама, первый и истинный Будда, я оставил прежнюю жизнь и все ее блага и вступил в мир нищим странником. Случилось это 23 февраля 1973 года; угольные шахты и хлебный рынок были национализированы; цены на нефть стали взвинчиваться – вверх-вверх-вверх, и за год выросли в четыре раза; и в Коммунистической партии Индии раскол между промосковской фракцией Данге и КПИ (М) Намбудирипада сделался непреодолимым[378]; и мне, Салему Синаю, как Индии, исполнилось двадцать пять лет шесть месяцев и восемь дней.

Все фокусники были коммунистами, чуть ли не до единого. Истинно так: красные! Бунтари, угроза обществу, отребье земли – община безбожников, святотатственно угнездившаяся в тени Божьего дома! Бесстыжие, одним словом; безыскусно алые, рожденные с кровавой отметиной на проклятых душах! И позвольте мне выложить все сразу:

378

стоило мне обнаружить это, как я, воспитанный в другой истинно индийской вере, которую можно определить как Делопоклонство; я, оставивший-ее-приверженцев-и-оставленный-ими, сразу же почувствовал себя среди магов легко и привольно, как дома. Ренегат-делопоклонник, я с истовым рвением все краснел и краснел, так же необратимо и целиком, как отец мой белел когда-то, и теперь моя миссия по спасению страны виделась в новом свете; более революционные методы приходили на ум. Долой правление не желающих сотрудничать дядюшек-бюрократов и их возлюбленных вождей! Полный мыслей о непосредственном-контакте-с-массами, я поселился в колонии магов и зарабатывал себе на жизнь тем, что развлекал иностранных и наших туристов волшебной проницательностью моего носа, с помощью которого вынюхивал их нехитрые туристские секреты. Картинка-Сингх пригласил меня жить в свою лачугу. Я спал на рваной мешковине, среди корзин, где шипели змеи; но мне было все равно, я приучился переносить голод-жажду-москитов и (в самом начале) резкий холод делийской зимы. Картинка-Сингх, Самый Прельстительный В Мире, был всеми признанным вождем квартала; свары и конфликты решались под сенью неизменного огромного черного зонта; и я, умевший читать и писать, а не только вынюхивать, скоро стал кем-то вроде адъютанта этого колосса, неизменно добавлявшего к змеиным представлениям лекцию о социализме; известного и в центре, и на окраинах не только своим искусством заклинателя. Могу сказать с полной определенностью, что Картинка-Сингх был самым великим человеком из всех, кого я встречал.

Однажды после полудня, во время чхаи, в квартал заявился очередной двойник того пиздогубого юнца, которого я видел в доме дяди Мустафы. Стоя на ступенях мечети, он развернул стяг, который тотчас же подхватили два ассистента. На нем красовалась надпись: УНИЧТОЖИМ БЕДНОСТЬ, и изображение коровы-с-сосущим-теленком – символ Конгресса Индиры. Лицо оратора весьма напоминало морду упитанного тельца; тайфун зловония вырывался у него изо рта во время речи. «Братья-О! Сестры-О! Что говорит вам конгресс? А вот что: все люди созданы равными!» Дальше он не пошел; толпа отпрянула от его дыхания, смердящего навозом, отступила под палящее солнце, и Картинка-Сингх загоготал: «О, ха-ха, капитан, чудесно-расчудесно, сэр!» И пиздогубый, попавшись как дурак: «Ладно, брат, скажи, что тебя рассмешило?» Картинка-Сингх тряс головой, хохотал, схватившись за бока: «Да твоя речь, капитан! Изрядная, прекрасная речь!» Смех сыпался, выкатывался из-под зонта, заражал толпу, и вот мы все катаемся по земле, хохочем, давим муравьев, валяемся в пыли, а голос глупого телка, засланного конгрессом, панически повышается: «В чем дело? Этот парень не верит, что все мы равны? Сколь жалкое мнение он должен иметь…» – но тут Картинка-Сингх, зонт-над-головой, помчался прочь к своей хижине. Пиздогубый, вздохнув с облегчением, продолжил свою речь… но говорил он недолго, ибо Картинка вернулся, неся под левой мышкой маленькую круглую закрытую корзину, а под правой – деревянную флейту. Он поставил корзину на ступеньки у ног посланца конгресса; снял крышку; поднес флейту к губам. Под вновь разразившийся хохот молодой политик подпрыгнул вверх на девятнадцать дюймов, когда сонная королевская кобра показалась из своего дома… Пиздогубый кричит: «Что ты делаешь? Хочешь запугать меня до смерти?» А Картинка-Сингх не обращает на него внимания – зонт свернут, заклинатель играет все яростней и яростней, и змея разворачивается; быстрей-быстрей играет Картинка-Сингх, пока мелодия флейты не заползает во все щели окрестных трущоб, угрожая перехлестнуть и через стены мечети; и наконец огромная змея, зависнув в воздухе, поддерживаемая лишь волшебством напева, вытянулась из корзины на девять футов и танцует на хвосте… Картинка-Сингх делает передышку. Нагарадж, Царь Змей, сворачивается в кольца. Самый Прельстительный В Мире протягивает флейту юнцу из конгресса: «Что ж, капитан, – любезно предлагает Картинка-Сингх, – давай попробуй ты». Но пиздогубый: «Послушай, ты же знаешь, что я так не могу!» Тогда Картинка-Сингх хватает кобру у самой головы, открывает свой рот широко-широко-широко, показывая славные боевые шрамы на деснах и обломки зубов; подмигнув левым глазом юнцу из

конгресса, он засовывает голову змеи с мелькающим языком в эту отвратительно распяленную дыру! Целая минута проходит прежде, чем Картинка-Сингх кладет кобру обратно в корзину. И говорит молодому человеку самым любезным тоном: «Видишь ли, капитан, в чем дело: одни люди лучше, другие хуже. Но тебе-то удобней считать наоборот».

Глядя на эту сцену, Салем усвоил, что Картинка-Сингх и другие маги были людьми, которые абсолютно владели реальностью; они так крепко держали ее в руках, что могли сгибать как угодно, подчиняя задачам своего искусства, но никогда не забывали, какова она на самом деле.

Проблемы квартала фокусников были проблемами коммунистического движения в Индии; в пределах колонии повторялись в миниатюре все виды расколов и разногласий, которые раздирали партию во всей стране. Картинка-Сингх, спешу добавить, был выше этого; патриарх квартала обладал зонтом, чья тень восстанавливала гармонию между ссорящимися фракциями; но диспуты, проходившие под покровом зонта, принадлежавшего заклинателю змей, становились все более ожесточенными, поскольку фокусники, извлекавшие кроликов из шляп, сомкнутым строем вливались в ряды официальной, опирающейся на Москву КПИ г-на Данге, которая поддерживала г-жу Ганди, объявившую чрезвычайное положение; а вот люди-змеи все больше и больше склонялись к левому, склонному к интригам, ориентированному на Китай крылу. Пожиратели огня и глотатели шпаг восхищались партизанской тактикой движения наксалитов[379], а иллюзионисты и факиры-ходящие-по-горячим-углям присоединялись к манифесту Намбудирипада (ни московскому, ни пекинскому) и осуждали насилие, проявленное наксалитами. Троцкистские тенденции наблюдались среди шулеров; даже движение легального коммунизма-через-избирательные-урны нашло приверженцев среди умеренных членов фракции чревовещателей. В той среде, куда я вошел, религиозное и регионалистское ханжество отсутствовало целиком и полностью, но зато наш национальный дар бесконечного размножения обрел новые формы. Картинка-Сингх с грустью поведал мне, как во время всеобщих выборов 1971 года причудливым смертоубийством закончилась свара между пожирателем огня, наксалитом, и опирающимся на Москву фокусником; тот, разъяренный высказываниями оппонента, попытался выудить пистолет из своей волшебной шляпы; но едва лишь оружие явилось на свет божий, как последователь Хо Ши Мина заживо сжег своего противника, выплюнув столп ужасного пламени.

Картинка-Сингх под своим зонтом говорил о социализме, ничего общего не имеющем с заграничными веяниями. «Послушайте, капитаны, – урезонивал он чревовещателей и кукольников, – неужто вы станете ходить по деревням и толковать о Сталине да Мао? Какое дело бихарским и тамильским крестьянам до убийства Троцкого?» Чхайя волшебного зонта охлаждала головы даже самых невоздержанных магов, а я под ее влиянием убеждался, что в один прекрасный день, очень скоро, заклинатель змей Картинка-Сингх пойдет по стопам Миана Абдуллы, погибшего много лет назад; что он, как и легендарный Колибри, Жужжащая Птичка, покинет трущобы, чтобы изменять будущее силой своей воли; и что, в отличие от героя, которым восхищался мой дед, его не остановит никто, пока дело его не победит, но… Вечно это «но». Что случилось, то случилось. Мы все это знаем.

Перед тем, как вернуться к истории моей частной жизни, я хотел бы объявить следующее: именно Картинка-Сингх открыл мне, что коррумпированная, «черная» экономика страны достигла уровня официальной, «белой»; он показал мне фотографию госпожи Ганди, напечатанную в газете. Ее волосы, расчесанные на прямой пробор, были белыми как снег с одной стороны, и черными, будто ночь, – с другой; и если смотреть на ее профиль то слева, то справа, она походила то на летнего горностая, то на зимнего. Снова роль прямого пробора в истории, а еще – экономика как аналог прически премьер-министра… этими важными соображениями я обязан Самому Прельстительному В

379

Мире. Картинка-Сингх рассказал мне также, что Мишра[380], министр железнодорожного транспорта, был заодно и официально назначенным министром взяток; через него отмывались крупные суммы денег, поступавшие из «черного» сектора экономики; он устраивал подкупы нужных министров и чиновников; если бы не Картинка-Сингх, я так и не узнал бы о подтасовке результатов на государственных выборах в Кашмире. Он не слишком жаловал демократию: «Черт бы побрал эти выборы, капитан, – сказал он мне как-то раз. – Где бы их ни затеяли, не оберешься беды; и наши с тобой соотечественники кривляются, будто клоуны в цирке». Я, хоть и охваченный революционной лихорадкой, спорить со своим ментором не стал.

Были, разумеется, и некоторые малочисленные исключения из правил квартала: один фокусник, или двое, хранили свою индуистскую веру и в политике поддерживали сектантскую индуистскую партию «Джан Сангх» или отъявленных экстремистов из «Ананда Марга»[381]; иные из жонглеров даже голосовали за «Сватантру»[382]. А если отвлечься от политики, то старая дама Решам-биби вместе с немногими членами общины оставалась неисправимой фантазеркой; она верила, например, в примету, которая запрещала женщинам залезать на манговые деревья: выдержав единожды вес женского тела, дерево впредь будет приносить лишь кислые плоды… был еще чудак-факир по имени Чишти Хан с такой гладкой, блестящей кожей, что никто не знал, девяносто ему лет или девятнадцать: он окружил свою лачугу сказочным сооружением из бамбуковых палок и обрывков яркой цветной бумаги, так что дом его напоминал миниатюрную разноцветную реплику расположенного рядом Красного форта. Только войдя в зубчатые ворота, вы понимали, что за тщательно выстроенным, преувеличенно красочным фасадом бамбуково-бумажных бойниц и равелинов прячется такая же, как и все, лачуга из жести и картона. Чишти Хан впал в окончательный соллипсизм, позволив иллюзионистским трюкам вторгнуться в реальную жизнь; его не любили в квартале. Маги держались от него подальше, чтобы не заразиться его грезами.

Теперь вы понимаете, почему Парвати-Колдунья, обладающая поистине чудесными способностями, всю свою жизнь держала их в секрете; тайну этих врученных полуночью даров вряд ли простила бы ей община, неизменно отрицающая саму возможность чудес.

Под глухой стеною Пятничной мечети, откуда не видно магов и единственная опасность исходит от старьевщиков, собирающих тряпье, негодные корзины и смятые листы жести… именно там Парвати-Колдунья охотно, с великим пылом показывала мне все, на что способна. Облаченная в нищенские шальвары и камиз, составленные из доброй дюжины обносков, полуночная волшебница с детской живостью и энтузиазмом давала мне представления. Глаза как блюдца, конский хвост толщиной с канат, прелестные, полные, алые губы… я бы не смог устоять перед ней, не боролся бы с собой так долго, если бы не лицо, не разлагающиеся, больные глаза, нос, губы той, другой… Вначале казалось, будто нет пределов возможностям Парвати. (Но они были). Ну так что же: призывались ли демоны, являлись ли джинны, предлагая богатства и путешествия через моря на коврах-самолетах? Обращались ли лягушки в принцев, а булыжники – в самоцветы? Шел ли торг душами, оживали ли мертвецы? Ничего подобного: магия, которую Парвати-Колдунья показывала мне, – единственная, какую она практиковала, – относилась к так называемой «белой» магии. Словно «Атхарваведа», «Тайная книга» брахманов, подарила ей все свои секреты; девушка могла лечить болезни и изгонять яды (чтобы доказать это, она позволяла змеям кусать себя, а потом истребляла в себе яд, исполняя странный ритуал: молилась змеиному богу Такшаке, выпивала воду, настоянную на доброй коре дерева кримука и силе ношеных, прокипяченных одежд, и читала заклинание: *Гарудаманд, орел, выпил яду, но тот не имел силы; откло нила*

380
381
382

я силу его, как стрела отклонилась от цели) [383], умела исцелять ушибы и заговаривать талисманы, знала заклятье шрактья[384] и обряд дерева[385]. И все это в целой серии изумительных ночных представлений Парвати раскрыла передо мной под стенами мечети – и все же она не была счастлива.

Как всегда, я должен принять ответственность на себя; аромат печали, витавший над Парвати-Колдуньей, вызвал к жизни именно я. Ибо было ей двадцать пять лет от роду, и ей не хватало того, что я всего лишь жадно следил за ее представлениями. Бог знает почему, но она хотела, чтобы я лег с ней в постель – или, если быть точным, растянулся рядом с ней на мешковине, что служила ей постелью, в хижине, которую она делила с сестрами-тройняшками, акробатками из Кералы, такими же сиротами, как она сама, – как и я.

Вот что она для меня сделала: силой своих чар заставила расти волосы там, где светился голый череп с тех самых пор, как мистер Загалло дернул слишком сильно; под влиянием ее колдовства родимые пятна у меня на лице поблекли и вовсе пропали после припарок из целебных трав; казалось, что даже мои кривые ноги распрямляются ее стараниями. (Она, правда, ничего не смогла сделать с моим тугим ухом; нет на земле магии, достаточно сильной, чтобы уничтожить завещанное родителями). Но несмотря на все, что она для меня сделала, я неспособен был сделать то, чего она желала больше всего; хотя мы и ложились рядом под глухими стенами мечети, ее полуночное лицо под лунным светом обращалось, неизменно обращалось в маску моей далекой, пропавшей сестры… нет, не моей сестры… в прогнившую, бесстыдно искаженную личину Джамили-Певуньи. Парвати натирала свое тело волшебными мазями и маслами, вызывающими желание; она тысячу раз проводила по волосам расческой, сделанной из костей оленя, дарующих мужскую силу; и (я в этом не сомневаюсь) в мое отсутствие перепробовала все заговоры и приворотные зелья; но более давнее колдовство владело мною, и, похоже, от тех чар не было избавления; я осуждён был видеть, как лица женщин, любящих меня, обращаются в черты… но вы уже знаете, чьи осыпающиеся черты возникали передо мною, наполняя мне ноздри безбожным смрадом.

– Бедная девочка, – вздыхает Падма, и я соглашаюсь; но до той самой минуты, пока Вдова не выкачала из меня прошлое-настоящее-будущее, чары Мартышки были неодолимы.

Когда Парвати-Колдунья признала наконец свое поражение, на лице ее в одночасье появилась странная, всеми замеченная гримаска. Накануне она легла спать в хижине сироток-акробаток, а поутру ее полные губы выпятились чувственно, с невыразимой обидой. Сиротки-тройняшки, обеспокоенно хихикая, сообщили ей, что случилось с ее лицом; Парвати деловито принялась приводить черты в порядок; но не помогали ни мускульные усилия, ни колдовство – ей так и не удалось вернуться к прежнему обличью; в конце концов, смирившись с напастью, Парвати отступилась, и Решам-биби толковала всякому, кто готов был слушать: «Бедная девочка, видно, бог подул ей в лицо, когда она красилась».

(В тот год, так уж сошлось, все шикарные городские дамы носили на лицах то же самое выражение: нарочито-эротичное; надменные манекенщицы во время показа мод «Элеганца-73» все как одна выпячивали губы, расхаживая по подиуму. Среди ужасающей нищеты, царившей в трущобах фокусников, Парвати-Колдунья со своей гримаской следовала самой высокой моде).

Маги не жалели сил, чтобы заставить Парвати снова улыбнуться. Отрывая время от работы, а также от более низменных повседневных дел, например, починки лачуг из жести и картона, которые повалил ураган, или травли крыс, они показывали самые сложные свои трюки ради ее удовольствия; но гримаска по-прежнему оставалась на лице. Решам-биби приготовила зеленый чай, пахнущий камфарой, и силой заставила Парвати проглотить его. От чая приключился такой запор, что целых девять недель никто не видел, как Парвати ходит по большой нужде, приседая позади своей хижины. Два молодых жонглера решили,

383
384
385

что она вновь загрустила по умершему отцу, и взялись нарисовать его портрет на обрывке старого брезента, а затем повесили свою работу над ее ложем из мешковины. Тройняшки беспрерывно шутили, а Картинка-Сингх, глубоко удрученный, заставлял кобр завязываться узлами; но ничего не помогало, ибо, если даже сама Парвати была бессильна исцелить безнадежную любовь, на что могли надеяться все остальные? Неистребимая гримаска Парвати вызвала в квартале некую смутную тревогу, которая, невзирая на то, что маги яростно отрицали существование неведомых сил, никак не желала рассеиваться.

И тут Решам-биби осенило. «Какие же мы дурни, – сказала она Картинке-Сингху, – просто не видим ничего у себя под носом. Бедной девочке уже двадцать пять, баба? – она ведь почти старуха! Ей до смерти нужен муж!» Картинка-Сингх был потрясен. «Решам-биби, – проговорил он с одобрением, – ты еще не совсем выжила из ума».

После чего Картинка-Сингх прилежно принялся отыскивать для Парвати подходящую пару; ко многим из молодых обитателей квартала подбирался он, улещая, задирая, грозя. Претендентов нашлось немало, но Парвати отвергла всех. В тот вечер, когда она сказала Бисмилле Хану, самому талантливому в колонии пожирателю огня, чтобы он шел куда подальше со своей огнедышащей пастью, даже Картинка-Сингх впал в отчаянье. Той ночью он обратился ко мне: «Капитан, эта девчонка – горе мое, сущее наказание; она с тобой дружит; тебе ничего не приходит в голову?» И тут кое-что пришло в голову ему самому; мысль, которую могло внушить только отчаянье, ибо даже Картинка-Сингх не был свободен от классовых предрассудков, заранее сочтя, что я «слишком хорош» для Парвати, ибо якобы происхожу из «более высокого» рода, стареющий коммунист до сих пор как-то не думал обо мне, как о возможном… «Скажи-ка мне одну вещь, капитан, – робко осведомился Картинка-Сингх, – не подумываешь ли ты часом о женитьбе?»

Салем Синай почувствовал, как его охватывает панический страх.

– Эй, послушай, капитан, тебе ведь нравится девушка, да? – И я, не в силах этого отрицать: «Конечно». И Картинка-Сингх, расплывшись в широченной, до ушей, улыбке, изрек под шипение змей в корзинах: «Очень нравится, капитан? Очень-очень?» Но я вспомнил о лике Джамили в ночной темноте и принял отчаянное решение: «Картинка-джи, я не могу жениться на ней». И он, нахмурившись: «Может, ты уже женат, капитан? Может, тебя где-то дожидаются супруга и детки?» Отступать уже некуда, и я произношу спокойно, стыдливо потупившись: «Я не могу ни на ком жениться, Картинка-джи. У меня не может быть детей».

Тишина, наступившая в хижине, прерывается только шипением змей да полуночным лаем бродячих псов.

– Ты правду говоришь, капитан? Тебя смотрели врачи?

– Да.

– Потому что лгать о таких вещах нельзя, капитан. Лгать о своей мужской силе – скверная, очень скверная примета. Что угодно может стрястись, капитан.

И я, призывая на свою голову проклятие Надир Хана, которое было также проклятием моего дяди Ханифа Азиза и моего отца Ахмеда Синая в период замораживания и долгое время после него, вынужден солгать с еще более злобным пылом: «Говорю тебе, – кричит Салем, – это правда, и отстань от меня!»

– Тогда, капитан, – говорит Картинка-джи трагическим тоном и бьет себя кулаком в лоб, – один Бог знает, что нам делать с этой бедной девушкой.

Свадьба

Я женился на Парвати-Колдунье 23 февраля 1975 года, во вторую годовщину того дня, как я, отверженный изгнанник, вернулся в квартал чародеев.

Страдания Падмы: натянутая, как бельевая веревка, она, мой лотос навозный, переспрашивает: «Женился? Но прошлой ночью ты сам сказал, что не можешь – и почему ты молчал все эти дни, недели, месяцы…?» Я грустно взглянул на нее и напомнил, что речь уже

заходила о смерти моей бедной Парвати и о том, что смерть эта не была естественной… Падма мало-помалу расслабляется, и я продолжаю: «Женщины творили меня, женщины меня и губили. От Достопочтенной Матушки до Вдовы и даже после я всегда был во власти пола, поименованного (ошибочно, на мой взгляд!) слабым. Тут, по-моему, дело в сцеплении, в связи: разве Мать-Индия, Бхарат-Мата, не представляется нам всем женщиной? А от нее, как ты знаешь, спасения нет».

Было в этой истории тридцать два года, во время которых я еще не был рожден; скоро *я* завершу тридцать первый год моей жизни. Целых шестьдесят три года, до и после полуночи, женщины старались как могли, и в хорошем смысле, и, вынужден признаться, в плохом тоже.

В доме слепого помещика на берегу одного кашмирского озера Назим Азиз обрекла меня неизбежности продырявленных простыней; с водами того же самого озера в мою историю просочилась Ильзе Любин, и я не забыл ее стремления к смерти.

Еще до того, как Надир Хан скрылся в подземном мире, моя бабка, став Достопочтенной Матушкой, повела за собой целую вереницу женщин, меняющих имена; вереницу, не прервавшуюся и сейчас – эта способность просочилась даже в Надира, который стал Казимом и сидел в кафе «Пионер», когда его руки танцевали запретный танец; а после бегства Надира моя мать Мумтаз Азиз стала Аминой Синай.

И Алия, с ее извечной горечью, которая обряжала меня в детские вещички, пропитанные яростью старой девы; и Эмералд, накрывавшая на стол, по которому маршировали перечницы.

Жила-была когда-то и Рани Куч Нахин; снабдив деньгами жужжащего человека, она породила недуг оптимизма, который временами возвращается, даже до сих пор; а в мусульманском квартале Старого Дели объявилась дальняя родственница по имени Зохра, чьи заигрывания породили в моем отце слабость к Фернандам и Флори, проявившуюся через годы.

Перейдем к Бомбею. Там жена Уинки Ванита не смогла устоять перед прямым пробором Уильяма Месволда, и Нусси-Утенок проиграла родовые гонки; а Мари Перейра, во имя любви, поменяла на младенцах ярлычки, прикрепленные историей, и стала для меня второй матерью…

Женщины, женщины, женщины: Токси Катрак, приоткрывшая дверь, которая позже приведет к детям полуночи; ее ужасная нянька Би-Аппа; соперничество в любви между Аминой и Мари, и то, что моя мать раскрыла передо мною, когда я лежал в глубине бельевой корзины: да, Черное Манго, которое заставило меня засопеть и выпустило на волю голоса-не-принадлежавшие архангелам!.. И Эвелин Лилит Бернс – причина падения с велосипеда, девочка, толкнувшая меня вниз с двухэтажного холма в самую гущу истории.

И Мартышка. Нельзя забывать о Мартышке.

Но еще, еще – была Маша Миович, поспособствовавшая потере моего пальца, и тетя Пия, наполнившая мне сердце сладострастной жаждой возмездия, и Лила Сабармати, чье распутство вызвало к жизни мою ужасную, сотворенную чужими руками, вырезанную из газетных листов месть.

И миссис Дубаш, которая нашла мое приношение, – комикс о супермене, и выстроила на его основе, с помощью своего сына, легенду о Господе Хусро Хусроване.

И Мари, которой являлся призрак.

В Пакистане, стране покорности, жилище чистоты, я следил за превращением Мартышки-в-Певунью, и ездил за хлебом, и влюбился; женщина, Таи-биби, поведала мне правду о себе самом. И, погрузившись во тьму своей души, я обратился к Фуфиям и едва избежал грозящей мне участи – невесты с золотыми зубами.

Начав все сначала, в облике будды, я возлег с туалетной девчонкой и в результате был подвергнут электрошоку в сортире; на Востоке меня соблазнила крестьянская женка, вследствие чего был убит Старик-Время; встретились нам и гурии в храме, и мы спаслись в последний момент.

Под сенью мечети Решам-биби предостерегла собравшихся.

И я женился на Парвати-Колдунье.

– Уф, господин, – восклицает Падма, – что-то слишком много женщин!

Я не возражаю; я даже пока не включил в этот перечень ее саму, а ведь ее мечта о замужестве и Кашмире не могла не просочиться в меня; я и сам желаю того, если-только, если-только, и вот, в какой-то момент смирившись с трещинами, я нахожусь теперь во власти мучительного недовольства, гнева, страха и сожалений.

Но самое главное – Вдова.

– Ей-Богу! – Падма хлопает себя по коленке. – Слишком их много, господин, слишком много.

Как же осмыслить моих слишком-многих женщин? Как разнообразные лики Бхарат-Маты[386]? Или, того больше… как динамический аспект иллюзии-майи, космическую энергию, которую представляют в виде женского органа?

Майя в своем динамическом аспекте именуется Шакти; наверное, не случайно в индуистской религии активная сила божества содержится в его супруге, в царице! Майя-Шакти порождает, но она также «опутывает сознание паутиной снов». Слишком-многие-женщины: уж не являются ли все они ипостасями Деви, богини – той, которая есть Шакти, которая убила демона-быка, которая победила великана Махишу[387], имя которой Кали, Дурга, Чанди, Чамунда, Ума, Сати и Парвати… и которая, приступая к действию, становится красной?

– Ничего этого я не знаю, – низводит меня Падма с небес на землю. – Они просто женщины, вот и все.

Спустившись с высот фантазии, я вспоминаю, как важно торопиться; все во мне рвется-хрустит-трескается, и я оставляю праздные размышления; пора начинать.

Вот как все получилось: Парвати сама завладела своей судьбой; ложь, излетевшая из моих уст, довела ее до отчаяния, и однажды ночью она извлекла из своих поношенных одежд локон героя и принялась произносить звонкие слова.

Отвергнутая Салемом, Парвати вспомнила, кто был когда-то его коварным врагом; и, взяв в руку бамбуковую палку из семи колен с прилаженным на конце металлическим крюком, она присела на корточки в своей хижине и приступила к заклинаниям; с Крюком Индры[388]в правой руке и локоном в левой, она звала его к себе. Парвати призывала Шиву; хотите верьте, хотите – нет, но Шива пришел.

С самого начала были колени и нос, нос и колени; но на протяжении всей моей повести я заталкивал того, другого, на задний план (так же, как однажды изгнал его со встреч детей). Но больше нельзя замалчивать его присутствие, ибо однажды утром, в мае 1974 года – трещины ли в памяти тому виной, или это и вправду случилось восемнадцатого – может быть, в тот же самый миг, когда пустыни Раджастана потряс первый ядерный взрыв, произведенный Индией? Произошло ли взрывное вторжение Шивы в мою жизнь одновременно с внезапным, без какого-либо предупреждения, вступлением Индии в атомный век? Так или иначе, но он явился в трущобы чародеев. Облаченный в мундир, украшенный орденами и погонами, произведенный уже в чин майора, Шива сошел с армейского мотоцикла; и даже сквозь неприглядную ткань цвета хаки, из которой шили армейские штаны, легко было различить две феноменальные выпуклости его смертоносных коленок… нынче вся Индия чествовала его, но когда-то он был главарем банды на задворках Бомбея; когда-то, до того, как он открыл для себя войну с ее узаконенным насилием, в сточных канавах находили задушенных проституток (знаю, знаю: доказательств нет); теперь он был майором Шивой, но также и сынком Уи Уилли Уинки, помнившим слова давно

386

387

388

отзвучавших песен: напев «Доброй ночи, леди» до сих пор звучал у него в ушах.

Есть здесь ирония, которую необходимо отметить: разве не поднялся Шива как раз тогда, когда опустился Салем? Кто теперь прозябал в трущобах, а кто взирал на соперника с необозримых высот? Только война способна так пересочинить человеческие жизни… Так или иначе, в день, который вполне мог быть восемнадцатым мая, майор Шива появился в квартале фокусников и проехал по ранящим взоры улицам трущоб со странным выражением на лице: бесконечное презрение к бедности, свойственное недавним выскочкам, смешивалось в нем с чем-то более таинственным: возможно, майор Шива, привлеченный в сии смиренные пределы заклинаниями Парвати-Колдуньи, и ведать не ведал, какая сила велела ему явиться сюда.

Засим следует воссоздание головокружительной карьеры майора Шивы; эту картину я написал, опираясь на то, что поведала мне Парвати после нашей свадьбы. Похоже, мой коварный соперник любил хвастаться перед ней своими подвигами, и вы могли бы сделать скидку на то, что человек, так часто бьющий себя кулаком в грудь, невольно грешит против истины; и все же нет оснований предполагать, будто то, что он рассказал Парвати, а она повторила мне, намного отстоит от подлинного положения дел.

В конце войны на Востоке легенды об устрашающих подвигах Шивы гремели по улицам городов, попадали в газеты и журналы и таким образом просачивались в салоны людей зажиточных; облаками, плотными, как мушиные рои, забивались в ушные раковины хозяек – так что Шива оказался повышен и в социальном статусе, а не только в армейском звании, и его стали приглашать на тысячу и одно собрание: на банкеты, музыкальные вечера, партии в бридж, дипломатические приемы, партийные конференции, большие сборища и менее значительные местные праздники, вроде спортивных состязаний в школах и фешенебельных балов – и везде ему рукоплескали и завладевали им самые благородные и прекрасные женщины страны, к которым сказания о его подвигах липли словно мухи; застили им глаза так, что они видели этого парня сквозь туман легенды; покрывали кончики пальцев так, что при прикосновении ощущалась лишь волшебная пленка мифа; прилипали к их языкам, и они уже не могли говорить о нем, как об обычном, земном человеке. Индийская армия, в то время вступившая в политическую борьбу против намечающегося сокращения расходов на вооружения, поняла всю ценность посланника, обладающего такой харизмой, и позволяла герою вращаться среди его влиятельных поклонников; Шива охотно, по доброй воле, вступил в новую жизнь.

Он отрастил роскошные усы, и его денщик ежедневно умащал их льняным маслом с добавками кориандра; непринужденно вращаясь в гостиных сильных мира сего, он участвовал в легком политическом трепе и всегда заявлял себя горячим, убежденным сторонником госпожи Ганди, более всего из-за ненависти к ее оппоненту Морарджи Десаи, который был непозволительно стар, пил собственную мочу; чья кожа шуршала, словно рисовая бумага; к тому же, будучи главой администрации Бомбея, он когда-то запретил алкоголь и взялся за молодых гунда, то есть хулиганов или апашей, иными словами, за самого мальчишку Шиву… но эта праздная болтовня занимала лишь часть его мыслей, в основном поглощенных дамами. Шиву тоже осаждало слишком-много-женщин, и в те бурные дни после победы он создал себе тайную репутацию, которая (хвастался он перед Парвати) вскоре встала вровень с официальной, явной – «черная» легенда рядом с «белой». Чем делились леди в салонах или во время игры в канасту? Что прорывалось свистящим шепотом сквозь смешки всюду, где собирались вместе две или три блестящие дамы? А вот что: майор Шива становился известным соблазнителем; дамским угодником, наставляющим рога богачам; одним словом – племенным жеребцом.

Женщины, рассказывал он Парвати, были всюду, куда он ни являлся: их нежные, гибкие, по-птичьи хрупкие тела, клонящиеся под тяжестью украшений и похоти; их глаза, которые затуманивала легенда о герое – трудно было бы противиться им, даже если бы и возникло такое желание. Но майор Шива и не собирался противиться. Он сочувственно преклонял свой слух перед рассказами об их маленьких драмах: мужья-импотенты, побои,

недостаток-внимания; охотно выслушивал любые оправдания, какие только приходили в голову этим пленительным феям. Как моя бабка на своей бензоколонке (но с более пагубной целью), он внимал их бедам; потягивая виски в сверкающих, озаренных свечами бальных залах, он наблюдал, как трепетали ресницы, как посреди жалоб красноречиво учащалось дыхание; и в конце концов им всегда удавалось уронить сумочку, или пролить коктейль, или выбить у него из руки трость так, что ему приходилось нагибаться и доставать то-что-упало, и тут он видел записки, воткнутые в сандалии, торчащие лакомыми кусочками из-под пальцев с накрашенными ногтями. В те дни (если верить майору) прелестные, забывшие стыд индийские бегам стали ужасно неуклюжи, и их туфли говорили о полуночных свиданиях, о бугенвиллии, чьи плети достигают окон спальни, о мужьях, столь кстати уехавших спускать на воду корабли, сопровождать партии экспортного чая, закупать шарикоподшипники в Швеции. Пока эти несчастные отсутствовали, майор Шива посещал их дома и крал то, что было им дороже всего: жены их падали в его объятия. Вполне возможно (я разделил пополам цифры, приведенные майором), что в разгар его волокитства в него были влюблены не менее десяти тысяч женщин.

И, конечно, рождались дети. Отпрыски беззаконных полуночных часов. Красивые, резвые младенцы, не ведающие горя в своих богатых колыбельках. Покрывая ублюдками всю карту Индии, герой войны шел своей дорогой, но (и об этом он тоже поведал Парвати) майор имел один странный недостаток – он терял интерес к любой женщине, стоило той забеременеть; какими бы красивыми, чувственными, любящими ни были дамы, он за версту обходил их спальни, как только они объявляли, что носят его ребенка; и прелестным леди с красными от слез глазами приходилось убеждать своих рогатых мужей, что – да, конечно, это твой малыш, дорогой, жизнью клянусь, разве он не похож на тебя, нет, я не грущу, с чего мне грустить, я плачу от радости.

В числе таких брошенных матерей оказалась Рошанара, юная жена магната сталелитейной промышленности С.П. Шетти; и на ипподроме Махалакшми в Бомбее она проткнула непомерно раздувшееся самомнение Шивы, словно воздушный шар. Он прогуливался среди паддоков, наклоняясь через каждые несколько ярдов, чтобы подобрать женские шали и зонтики, которые, казалось, обретали собственную жизнь и вырывались из рук своих владелиц, когда майор проходил мимо; Рошанара Шетти вышла ему навстречу, решительно встала на пути и не двигалась с места; глаза этой семнадцатилетней девчонки переполняла неистовая детская обида. Он холодно поздоровался с ней, едва прикоснувшись к фуражке, и попытался пройти, но юная леди впилась ему в руку ноготками, острыми, как иголки; улыбнулась ледяной, предвещающей недоброе, улыбкой, и пошла рядом. Пока они шли, Рошанара влила ему в уши отраву своего полудетского гнева; ненависть и обида на бывшего возлюбленного придали убедительности ее речам, заставили его поверить. Юная особа нашептывала безжалостно – как это забавно, Боже мой, вот он хорохорится в высшем свете, будто петух в курятнике, а тем временем дамы смеются у него за спиной – о да, майор сахиб, не надо себя обманывать, знатным женщинам всегда нравилось спать со скотами-деревенщиной-грубиянами, но по-настоящему вот что мы о вас думаем: Боже мой, смотреть противно, как вы едите и жир течет по подбородку; думаете, мы не замечаем, что вы никогда не держите чашку за ручку, когда пьете чай; воображаете, будто мы не слышим, как вы рыгаете и пускаете ветры; для нас вы как ручная обезьяна, майор сахиб, от вас, конечно, есть польза, но вы попросту скоморох.

После удара, нанесенного Рошанарой Шетти, молодой герой войны стал по-другому смотреть на окружающий мир. Теперь ему казалось, будто женщины при виде его хихикают, закрываясь веерами; он замечал странные, насмешливые, искоса бросаемые взгляды, каких никогда не замечал прежде; и хотя он старался улучшить свои манеры, все было напрасно: чем сильнее он бился над собой, тем более неуклюжим становился – целые потоки низвергались с его тарелок на бесценные ковры из Келима, и отрыжка излетала из его глотки с грохотом поезда, выходящего из туннеля, и ветры вырывались с неистовством тайфуна. Его новая блестящая жизнь сделалась для него всечасным унижением; теперь он по-другому

трактовал авансы знатных красавиц – засовывая любовные записки в туфли, они вынуждали его, забывая о достоинстве, склоняться к их ногам… узнав, что даже если ты – настоящий мужчина и обладаешь всеми мужскими достоинствами, тебя все же могут презирать за то, что ты не умеешь правильно держать ложку. Шива почувствовал, как былая тяга к насилию вновь пробуждается в нем, как оживает ненависть к высшим классам и их власти; вот почему я уверен – вот почему я *знаю,* – что, когда чрезвычайное положение предоставило Шиве-крепкие-коленки шанс присвоить себе немножечко власти, его не нужно было просить дважды.

15 мая 1974 года майор Шива вернулся в свой полк, расквартированный в Дели; он утверждал, что через три дня его охватило желание еще раз увидеть красавицу с глазами, словно блюдца, которую он впервые встретил давным-давно на Конференции Полуночных Детей; искусительницу с прической «конский хвост», которая попросила у него в Дакке локон его волос. Майор Шива заявил Парвати, будто явился в квартал чародеев потому, что желает развязаться с богатыми суками из индийского высшего света; потому что надутые губки девушки пленили его с первого взгляда; именно по этим причинам он и просит Парвати уехать с ним. Но я уже и так был неимоверно щедр к майору Шиве – предоставил его рассказам слишком много места в той версии случившегося, которая принадлежит мне, и только мне; итак, я настаиваю – чего бы там ни вообразил себе узловато-коленчатый майор, в квартал его привела просто-напросто магия Парвати-Колдуньи.

Салема не было в квартале, когда майор Шива приехал на мотоцикле; когда ядерные взрывы, сотрясавшие бесплодные равнины Раджастана, проходили вдали от глаз людских, под поверхностью этой пустыни, взрыв, изменивший всю мою жизнь, тоже произошел вдали от моих глаз. Когда Шива схватил Парвати за руку, я вместе с Картинкой-Сингхом присутствовал на внеочередном собрании многочисленных красных ячеек города, посвященном проблемам общенациональной забастовки на железных дорогах; когда Парвати, не чинясь, уселась на заднее сиденье «Хонды», на которой приехал герой, я деловито клеймил позором правительство, предпринявшее аресты профсоюзных лидеров. Короче говоря, пока я был озабочен политикой и претворением в жизнь моей мечты о спасении нации, Парвати силой колдовства привела в движение план, в результате которого явились в свой срок покрытые хною ладони, и песни, и подписи под брачным контрактом.

…Здесь я вынужден волей-неволей прибегнуть к чужим рассказам; только Шива может поведать, что случилось с ним; отъезд Парвати описала мне Решам-биби примерно в таких словах: «Бедная девочка, уехала и пусть себе, она так долго грустила, можно ли ее винить?»; и только Парвати могла поделиться со мною тем, что пережила она.

Благодаря своей всенародной славе героя войны, майор пользовался некоторыми поблажками, ему было позволено больше, чем другим военным; так, никто не призвал его к ответу за то, что он привез женщину в казарму, которая, если уж говорить начистоту, не предназначалась для женатых офицеров; и он, не ведая, что послужило причиной столь замечательной перемены в его жизни, уселся, как его просили, в плетеное кресло, а Парвати сняла с него сапоги, растерла ноги, принесла воды со свежевыдавленными лаймами, отправила денщика восвояси, умастила майору усы, помассировала колени, а затем приготовила на обед такое вкусное бириани, что Шива перестал спрашивать, что такое с ним происходит, а начал просто этому радоваться. Парвати-Колдунья превратила немудрящую армейскую казарму во дворец, в Кайласу, достойную Шивы-бога; и майор Шива, затерявшись в бездонных озерах ее глаз, нестерпимо возбужденный чувственно выпяченными губками, дарил ее одну своим вниманием целых четыре месяца, или, если быть точным, сто семнадцать ночей. Двенадцатого сентября, однако, все изменилось: Парвати, припав к его ногам, прекрасно зная его взгляды на сей предмет, сообщила Шиве, что носит его ребенка.

Отныне связь Шивы и Парвати приобрела бурный характер, стала сопровождаться затрещинами и битьем тарелок: земной отголосок вечной супружеской битвы-богов, которую их тезки, по слухам, ведут на вершине горы Кайласа в великих Гималаях… В то

время майор Шива пристрастился к выпивке, а также к шлюхам. То, как герой войны гонялся по индийской столице за гулящими бабами, весьма напоминало разъезды Салема Синая на «Ламбретте» по самым темным закоулкам Карачи; майор Шива, скованный в обществе богачей откровениями Рошанары Шетти, решил теперь платить за удовольствие. И такова была его феноменальная плодовитость (заверял он Парвати, попутно колотя ее), что он испортил карьеру многим беспутным женщинам, подарив им детей, которых те станут любить слишком сильно, чтобы сбыть с рук; он рассеял по столице целое войско уличных сорванцов, и в этом войске отражалась как в зеркале та рать бастардов, которую он зачал в салонах, освещенных свечами.

Черные тучи собирались и на политическом небосклоне: в Бихаре, где коррупция-инфляция-голод-неграмотность-безземельность правили бал, Джай Пракаш Нараян создал коалицию студентов и рабочих, выступавших против конгресса Индиры; в Гуджарате вспыхивали мятежи, сжигались поезда на железных дорогах, и Морарджи Десаи объявил бессрочную голодовку с целью низложить продажное правительство конгресса (коим руководил Чиманбхай Патель) в этом пораженном засухой штате[389]… излишне говорить, что он преуспел в своем деле и не умер с голоду; короче, пока дух Шивы закипал гневом, страна волновалась тоже; и что явилось на свет, пока нечто росло в животе у Парвати? Ответ вы знаете: в конце 1974 года Дж.П. Нараян и Морарджи Десаи образовали партию оппозиции, известную под именем «Джаната Морча» – народный фронт. Пока майор Шива шатался по шлюхам, конгресс Индиры пошатнулся тоже.

И Парвати наконец освободила его от заклятья. (Никакое другое объяснение не подходит: если он не был околдован, то почему не выгнал ее в тот самый миг, когда услышал о беременности? И если бы чары не были сняты, как он вообще мог расстаться с ней?) Майор Шива будто бы пробудился от сна и увидел рядом с собой девчонку из трущоб с раздутым животом; теперь ему казалось, будто она воплощает в себе все его страхи – она сделалась олицетворением трущоб его детства, из которых он выбрался и которые теперь, приняв образ этой девки и ее проклятого ребенка, опять тянули его вниз-вниз-вниз… Схватив Парвати за волосы, Шива швырнул ее на заднее сиденье мотоцикла, и очень скоро она уже стояла, покинутая, на краю квартала чародеев; ее вернули туда, откуда она явилась, и с собою она принесла лишь одну вещь, которой у нее не было, когда она уезжала: вещь эта была спрятана в ней, как невидимый человек в плетеной корзине, и росла-росла-росла, точно так, как Парвати с самого начала и задумывала.

Почему я так говорю? – Потому что это наверняка правда; потому что случилось то, чему суждено было случиться; потому что я верю: Парвати-Колдунья забеременела, чтобы свести на нет единственный довод, какой я мог привести против своей женитьбы на ней. Но мое дело – описать все, как было, и пусть разбирается потомство.

В холодный январский день, когда крики муэдзина с самого высокого минарета Пятничной мечети замерзали, покидая его уста, и опускались на город священным снегом, вернулась Парвати. Она ждала до тех пор, пока не осталось уже никаких сомнений в том, что ей предстоит; корзинка, сплетенная в ее лоне, выпирала сквозь чистые, новые одежды, поднесенные влюбленным Шивой, чья страсть ныне умерла. Губы ее, уверенные в предстоящем торжестве, больше не складывались в модную гримаску; и пока она стояла на ступенях Пятничной мечети, стояла долго-долго, чтобы как можно больше людей увидели, как она переменилась: в глазах, огромных, как блюдца, таился серебристый блеск удовлетворенного желания. Такой я и увидел ее, вернувшись под сень мечети с Картинкой-Сингхом. Грусть моя была безутешна, и вид Парвати-Колдуньи на ступенях, с руками, спокойно сложенными на выпирающем животе, с длинным конским хвостом, развевающимся в прозрачном, словно хрусталь, воздухе, ничуть не прибавил мне бодрости и веселья.

Мы с Картинкой-джи ходили по улицам позади Главного почтамта, длинным и узким,

389

застроенным многоквартирными домами; воспоминания о предсказателях-парнях-с-кинетоскопом-целителях все еще витали здесь; и здесь Картинка-Сингх устраивал представление, с каждым днем приобретавшее все более явный политический смысл. Его легендарное мастерство собирало огромные толпы; люди сбивались в кучу, радостно, добродушно гудели; а он заставлял змей под тягучие звуки флейты разыгрывать настоящий спектакль. Я, в роли помощника, читал заранее заготовленную речь, а змеи исполняли свой танец. Я вещал о великой несправедливости в распределении богатств, и две кобры изображали немую пантомиму: богач отказывается дать нищему грошик. Полицейские преследования, голод-болезни-неграмотность – обо всем упоминал я, и все это показывали в своем танце змеи; а потом Картинка-Сингх, завершая свое действо, заговорил о природе красной революции, и обещания поплыли по воздуху, так что еще до того, как из задних дверей почтамта появилась полиция и принялась дубинками и слезоточивым газом разгонять митинг, иные уличные ротозеи начали задавать Самому Прельстительному В Мире разные каверзные вопросы. Не убежденный, наверное, двусмысленной пантомимой змей, чей драматический смысл вышел по необходимости несколько темным, какой-то парень крикнул: «Эй, Картинка-джи, тебя бы в правительство – даже Индирамата не дает нам таких расчудесных обещаний!»

Потом пустили слезоточивый газ, и мы все, кашляя, отплевываясь, ослепнув, побежали, словно преступники, от полиции, усмиряющей беспорядки; мы бежали и плакали на бегу лживыми слезами. (Как когда-то в Джаллиан-валабагхе, но здесь – в этот раз по крайней мере – не жужжали пули). И хотя слезы на глаза вызвал всего лишь газ, каверзное замечание неизвестного парня вогнало Картинку-Сингха в ужасающую тоску, ибо поставило под сомнение то, чем он так гордился – связь с реальностью, твердую почву под ногами; после газа и дубинок я тоже впал в уныние, ощутив у себя внутри знакомый трепет крылышек: мотылек беспокойства зашевелился в животе, и я понял: что-то во мне восстает против тех портретов неисправимо подлых богачей, какие рисует Картинка танцем змей; мне вдруг пришли на ум совсем другие мысли: «Всюду есть люди хорошие и плохие – они вырастили меня, они обо мне заботились, Картинка-джи!» После этого я убедился, что преступление Мари Перейры вырвало меня из двух миров, а не из одного; что я, изгнанный из дядиного дома, никогда не смогу до конца войти в мир-каким-видит-его-Картинка-Сингх; что на самом деле моя мечта о спасении отечества была игрою зеркал и дыма, пустым бормотанием дурня.

И потом – Парвати, с ее исказившимся силуэтом, в жестком, ясном свете зимнего дня.

То был – или я ошибаюсь? Надо спешить, спешить: вещи ускользают от меня час от часу все быстрее – то был воистину день ужасов. Как раз в тот день – а может быть, и в другой – мы обнаружили, что старая Решам-биби насмерть замерзла в своей лачуге, которую сама когда-то воздвигла из ящиков фирмы «Далда Ванапасти». Она стала светло-синей, почти голубой, как Кришна, как Иисус, как небо Кашмира, которое иногда просачивается в чьи-то глаза; мы сожгли ее тело на берегу Джамны, среди засохшей грязи и лежащих буйволов, и в итоге она не попала на мою свадьбу, что было печально, ибо Решам-биби, как все старухи, любила свадьбы, и в прошлые годы всегда энергично и весело включалась в предварительную церемонию нанесения хны; она вела и ритуальный запев, в котором друзья невесты поносят жениха и его родню. Однажды хула, которую она пропела, оказалась такой блестящей и тонко рассчитанной, что жених оскорбился и расторг помолвку; но Решам-биби это не устрашило: не ее вина, сказала старуха, что в нынешние времена молодые люди малодушны и непостоянны, как неоперившиеся петушки.

Когда Парвати уехала, меня не было рядом; отсутствовал я и в момент ее возвращения; имел место и еще один любопытный факт… разве что я забыл, и это случилось в какой-то другой день… но во всяком случае, мне кажется, что именно в день возвращения Парвати один из индийских министров находился в своем личном вагоне в Самастипуре, когда раздался взрыв, забросивший его на страницы истории; Парвати, уезжавшая под взрывы атомных бомб, вернулась к нам, когда господин Л.Н. Мишра, министр железных дорог и

подкупа, счастливо покинул этот мир. Предвещания, еще предвещания… возможно, в Бомбее дохлые тунцы плавали брюшками кверху и указывали на берег.

26 января, День Республики, – благодатное время для иллюзионистов. Когда огромные толпы скапливаются поглазеть на слонов и фейерверки, городские скоморохи выходят на улицы, чтобы заработать на жизнь. А для меня этот праздник имеет особое значение: именно в День Республики свершилось мое бракосочетание.

В первые дни после возвращения Парвати старухи квартала заимели обыкновение при виде ее закрывать себе со стыда уши; она же, нося ребенка, зачатого вне брака, не знала за собой никакого греха и с невинной улыбкой проходила мимо. Но, проснувшись поутру в День Республики, она обнаружила над своей дверью веревку, на которой были подвешены стоптанные башмаки, и расплакалась безутешно, под гнетом величайшего из оскорблений потеряв контроль над собой. Мы с Картинкой-Сингхом, оставив свою хижину, полную корзин со змеями, пошли утешать ее в этом (рассчитанном? непритворном?) горе, и Картинка-Сингх стиснул зубы с выражением мрачной решимости. «Идем-ка домой, капитан, – велел мне Самый Прельстительный В Мире. – Нам нужно поговорить».

А в хижине он начал: «Извини меня, капитан, но я должен тебе сказать. Я все думаю, как это ужасно для мужчины – пройти по жизни бездетным. Не иметь сына, а, капитан: разве это не горе?» И я, единожды солгавший о своем мужском бессилии и загнанный в угол собственной ложью, молча слушал Картинку-джи, а тот предлагал мне жениться: это восстановит честь Парвати и решит проблему с моим бесплодием, в котором я сам сознался; и, несмотря на страх перед ликом Джамили-Певуньи, который, накладываясь на черты Парвати, имел надо мною ужасную власть, доводил меня до исступления, я так и не нашел, что возразить на это.

Парвати – а в том, я уверен, и состоял ее замысел, – тотчас же ответила согласием, сказала «да» так же легко, как в прошлом без конца твердила «нет»; после чего торжества, ознаменовавшие собою День Республики, приобрели особенный смысл: их, казалось, затеяли специально ради нас; но у меня никак не шло из головы – вот снова судьба, рок, неизбежность, все то, что составляет антитезу свободному выбору, завладело моей жизнью; вот опять явится на свет младенец, который не будет сыном своего отца, но будет, по ужасной иронии обстоятельств, кровным внуком отцовских родителей; запутавшись в паутине хитросплетенных генеалогий, я даже готов был спросить себя, что началось, а что кончается, и не тикают ли исподтишка часы, ведя обратный счет времени, и что вообще родится на свет вместе с моим ребенком.

Решам-биби, конечно, недоставало, но свадьба получилась неплохая. Парвати была надлежащим образом обращена в ислам (Картинку-Сингха это взбесило, но я настаивал, и в этом почувствовав зов прежней жизни) рыжебородым хаджи, которому было явно не по себе среди толпы отпускающих шуточки, зубоскалящих безбожников; под бегающим взглядом этого типа, похожего на вытянутую, бородатую луковицу, моя невеста нараспев произнесла, что верит: нет Бога, кроме Бога, и Мухаммад пророк его; она приняла имя, которое я выбрал для нее из вместилища моих грез, и стала Лайлой, что значит «ночь»; ее тоже затянуло в повторяющиеся, порождающие эхо циклы моей истории, где столько людей были вынуждены поменять имена… как и моя мать Амина Синай, Парвати-Колдунья стала другой женщиной для того, чтобы иметь ребенка.

На церемонии наложения хны половина чародеев усыновила меня, исполнив роль моей «семьи»; вторая половина встала на сторону Парвати, и приносящая счастье хула пелась до поздней ночи, пока замысловатые узоры хны подсыхали на ладонях невесты и подошвах ее ног; и хотя без Решам-биби некому было придать поношениям характер по-настоящему язвительный, мы не слишком об этом сожалели. Когда праздновали никах[390], т.е.

390

собственно свадьбу, счастливая чета восседала на помосте, который наскоро соорудили из ящиков «Далда», порушив лачугу Решам, и чародеи проходили мимо нас торжественной процессией, бросая нам на колени мелкие монеты; и когда новоявленная Лайла Синай лишилась чувств, все лица озарила довольная улыбка, ибо каждая уважающая себя невеста должна падать в обморок на своей свадьбе, и никто даже не намекнул на такую смущающую подробность, что к потере сознания могла привести дурнота или толчки ребенка, спрятанного внутри, в невидимой корзинке. В тот вечер маги устроили такой великолепный спектакль, что слухи о нем распространились по всему Старому городу, собрав целые толпы зрителей: мусульман-бизнесменов из близлежащего мусульманского квартала, где прозвучало некогда публичное уведомление; серебряных дел мастеров и продавцов молочных коктейлей с Чандни Чоук; прохожих, вышедших прогуляться вечерком, и японских туристов, которые все как один (ради такого случая) из вежливости надели марлевые повязки, чтобы не заразить нас микробами при дыхании; были там и розовые европейцы, обсуждавшие с японцами достоинства линз у разных фотоаппаратов; щелкали затворы объективов и сверкали вспышки, и один из туристов поведал мне, что Индия поистине удивительная страна с замечательными традициями, и все было бы просто чудесно и великолепно, если бы тебя не заставляли все время есть индийскую пищу. А во время валимы[391], церемонии свершения брака (во время которой на этот раз не вывесили запятнанной кровью простыни, ни продырявленной, ни целой, потому что я провел брачную ночь, крепко зажмурив глаза и отвернувшись от молодой жены, дабы невыносимые черты Джамили-Певуньи не преследовали меня в неразберихе кромешной тьмы), чародеи превзошли самих себя, приложив еще больше усилий, чем в вечер свадьбы.

Но когда возбуждение улеглось, я услышал (и здоровым, и тугим ухом) звук, с которым исподтишка обрушивалось на нас неумолимое будущее: тик-так, все громче и громче, пока рождение Салема Синая – и, следовательно, отца ребенка тоже – не отразилось как в зеркале в том, что произошло ночью двадцать пятого июня.

Пока таинственные убийцы расправлялись с правительственными чиновниками и даже едва не отправили на тот свет избранного лично госпожой Ганди верховного судью, А.Н. Рая[392], весь квартал фокусников сосредоточился на другой тайне: тугой, словно шар, корзине, которая сплеталась в животе Парвати-Колдуньи.

Пока «Джаната Морча» расширялась в самых разных причудливых направлениях и наконец слилась с коммунистами маоистского толка (такими, как наши люди-змеи, включая гибких, словно резиновых, тройняшек, с которыми Парвати жила до брака – после свадьбы мы поселились в собственной лачуге; жители квартала выстроили ее для нас в качестве свадебного подарка на месте, где стояла хижина Решам) и с крайне правым крылом «Ананда Марг»; пока левые социалисты и члены консервативной «Сванатры» пачками вступали в ряды Народного фронта… пока этот самый фронт прирастал гротескнейшим образом, – я, Салем, без конца размышлял над тем, что же такое зреет в прирастающем лоне моей жены.

Пока недовольство общества конгрессом Индиры грозило прихлопнуть правительство, словно муху, новоявленная Лайла Синай, глаза у которой сделались еще больше, чем прежде, сидела сиднем, неподвижная, будто камень, а ребенок все тяжелел и, казалось, вот-вот раздробит ей кости в пыль; и Картинка-Сингх, в неведении вторя давным-давно высказанному замечанию, сказал: «Эй, капитан! Здоровенький будет ребенок, мальчишка первый сорт, настоящий богатырь!»

И вот настало двенадцатое июня.

Исторические исследования, газеты, радиозаписи рассказывают нам, что в два часа пополудни двенадцатого июня суд высшей инстанции города Аллахабада в лице судьи по имени Джаг Мохан Лал Синх признал премьер-министра Индиру Ганди виновной в

391
392

злоупотреблениях во время избирательной кампании 1971 года[393]; но до сих пор оставался скрытым во мраке неизвестности тот факт, что именно в два часа пополудни Парвати-Колдунья (ныне Лайла Синай) окончательно убедилась, что пришел срок родить.

Роды Парвати-Лайлы длились тринадцать дней. В первый день, когда премьер-министр Индира отказалась уйти в отставку, хотя по приговору суда она на шесть лет отстранялась от всех общественных постов, матка Парвати-Колдуньи, хотя и сокращалась так болезненно, будто мул бил туда копытом, никак не желала раскрываться; Салем Синай и Картинка-Сингх, изгнанные из хижины, где она мучилась, тройняшками-акробатками, взявшими на себя обязанность повитух, вынуждены были вслушиваться в ее бесплодные крики – а пожиратели огня, шулера, факиры, ступающие по горячим угольям, подходили один за другим нескончаемой чередой, хлопали по плечу, отпускали грязные шуточки; и только в моих ушах звучало тиканье часов… обратный отсчет времени Бог знает к какому событию, и меня охватил страх, и я сказал Картинке-Сингху: «Не знаю уж, что выйдет из нее на свет Божий, но наверняка ничего хорошего…» И Картинка-джи меня утешал: «Не волнуйся, капитан! Все обойдется! Парень будет первый сорт, клянусь тебе!» А Парвати все кричала-кричала, и ночь поблекла, и настал день, и то был день второй, когда на выборах в Гуджарате «Джаната Морча» разбила наголову кандидатов госпожи Ганди, а моя Парвати от невыносимой боли вся застыла, будто брусок стали; она отказывалась есть, пока не родится ребенок или случится то, чему суждено случиться; а я сидел, скрестив ноги, у лачуги, где она терзалась, и весь дрожал от ужаса на самом припеке, и молился – только бы она не умерла, только бы не умерла, хотя я так ни разу и не занялся с ней любовью во все месяцы нашего брака; хоть я и боялся призрака Джамили-Певуньи, я все же молился и постился, несмотря на уговоры Картинки-Сингха – «Ради всего святого, капитан» – я отказывался от еды, и на девятый день на квартал спустилось ужасное молчание, тишина такая полная, что даже призывы муэдзина с мечети не могли нарушить ее; безмолвие столь сокрушительной силы, что оно заглушало рев демонстраций «Джанаты Морчи» у Раштрапати Бхаван, президентского дворца; немота пораженных ужасом, обладавшая той же страшной, всепоглощающей, магической властью, что и великое молчание, повисшее некогда над домом моих деда и бабки в Агре, так что в этот девятый день мы не услышали, как Морарджи Десаи призывал президента Ахмада отправить в отставку запятнавшего себя премьер-министра – единственными звуками в целом свете оставались прерывающиеся стоны Парвати-Лайлы. Схватки обрушивались на нее, будто горы, скала за скалою, и она словно звала нас из длинного, гулкого туннеля своих мук, и я сидел, скрестив ноги, разрываемый на части ее страданием, и беззвучное «тик-так» звучало в моем мозгу, а в хижине тройняшки поливали водой тело Парвати, чтобы оно не иссохло, ибо воды отходили потоками; разжимали ей зубы и вставляли палочку, чтобы несчастная не откусила себе язык; надавливали на веки, стараясь опустить их, потому что страшно было смотреть, как глаза Парвати вылезают из орбит – девушки боялись, что глазные яблоки выкатятся на пол и выпачкаются в грязи; и настал двенадцатый день, и я уже был ни жив ни мертв от голода, а где-то в городе, в другом месте, верховный суд уведомил госпожу Ганди, что она может не подавать в отставку, пока не будет рассмотрена ее апелляция, но при этом не должна голосовать в Лок Сабха и получать жалованье, и когда премьер-министр Индира, воодушевившись этой частичной победой, принялась честить своих противников в выражениях, каким позавидовали бы и рыбачки коли, роды моей Парвати достигли такой точки, когда, несмотря на крайнее изнеможение, она нашла в себе силы извергнуть из обескровленных уст целую литанию грязных, воняющих клоакой ругательств; смрад непристойной брани шибанул нам в ноздри, вывернул нас наизнанку; три акробатки стремглав вылетели из хижины, крича, что Парвати так высохла, так побледнела: еще немножко, и станет совсем прозрачная; и что она всенепременно умрет, если ребенок не выйдет тотчас же, прямо сейчас; а в ушах у меня звучало «тик-так», громко звучало «тик-так», и я наконец убедился – да, скоро, скоро-скоро-скоро, и когда тройняшки

393

вернулись к ее постели вечером тринадцатого дня, они завопили – да, да, она стала тужиться; ну давай, Парвати, тужься-тужься-тужься, и пока Парвати тужилась в своей лачуге, Дж.П. Нараян и Морарджи Десаи тоже подстрекали Индиру Ганди; пока тройняшки визжали – тужься-тужься-тужься – лидеры «Джанаты Морчи» призывали полицию и армию не подчиняться приказам ограниченного в правах премьер-министра и в каком-то смысле заставляли госпожу Ганди тужиться тоже, и когда тьма сгустилась к полуночному часу, ибо разве может что-то случиться в какой-то другой час, тройняшки заверещали – он идет-идет-идет – а где-то там, далеко, премьер-министр Индира рожала свое дитя… в трущобах, в хижине, подле которой я сидел, полуживой от голода, мой сын шел-шел-шел – вот уже показалась головка – заверещали тройняшки, а в это время отряды особой резервной полиции арестовывали лидеров «Джанаты Морчи», включая таких невозможно древних, почти мифологических персонажей, как Морарджи Десаи и Дж.П. Нараян; тужься-тужься-тужься – и в самом сердце этой ужасной полуночи, когда «тик-так» гремело у меня в ушах, родился ребенок, в самом деле первый сорт, настоящий богатырь, выскочил в конце концов так легко, что невозможно было понять, из-за чего разгорелся весь сыр-бор. Парвати в последний раз жалобно всхлипнула, и он выскочил, а в это время по всей Индии полицейские производили аресты лидеров оппозиции, кроме коммунистов промосковской ориентации; хватали учителей-юристов-поэтов-журналистов-профсоюзных активистов; в общем, всех, кто когда-либо имел неосторожность чихнуть во время речи мадам, и когда три акробатки обмыли младенца, и завернули его в ветхое сари, и вынесли показать отцу – тогда же, в тот же самый момент, впервые прозвучали слова «чрезвычайное положение», и ограничение-гражданских-прав, и цензура-печати, и вооруженные-силы-в-состоянии-боевой-готовности, и арест-подрывных-элементов; что-то подходило к концу, а что-то начиналось[394], и в самый миг рождения новой Индии, в начале полуночи, длившейся два долгих года, мой сын, дитя нового «тик-така», появился на свет.

И было кое-что еще: представьте себе, когда в туманной полумгле этой бесконечно длящейся полуночи Салем впервые увидел своего сына, он неудержимо расхохотался; да, несчастный отец слегка тронулся умом с голодухи, но к тому же отчетливо сознавал, что неутомимая судьба снова подстроила ему нелепую, мелкую каверзу, и хотя Картинка-Сингх, возмущенный моим смехом – а я был так слаб, что скорей хихикал, прыскал в кулак, будто школьница, – то и дело кричал на меня: «Да уймись же ты, капитан! Не дури! Ведь сын, капитан, радуйся!» – Салем Синай признал новорожденного, истерически смеясь над роком, ибо мальчик, младенчик, сынок мой Адам, Адам Синай, был великолепно сложен; в нем все было соразмерно, кроме – и в этом все дело – ушей. По обеим сторонам его головы хлопали, как паруса, два слуховых органа, пара ушей столь колоссально огромных, что тройняшки признавались потом: когда показалась голова младенца, они подумали в один какой-то нехороший миг, что это – голова слоненка.

– Капитан, Салем-капитан, – молил Картинка-Сингх, – приди же в себя! Стоит ли из-за ушей так убиваться!

Он родился в Старом Дели… во время оно. Нет, так не годится, даты не избежать: Адам Синай появился на свет в окутанных тьмой трущобах 25 июня 1975 года. А в какой час? Это тоже важно. Я уже сказал: ночью. Нет, нужно еще кое-что добавить… Если начистоту, то в самую полночь, с последним ударом часов. Стрелки сошлись, словно ладони, почтительно приветствуя меня. Ах, пора, наконец, сказать прямо: именно в тот момент, когда Индия подошла к чрезвычайному положению, он пришел в этот мир, торопясь чрезвычайно. Все затаили дыхание; везде, по всей стране, – безмолвие и страх. Скрытая тирания этого зловещего часа тайно приковала Адама Синая наручниками к истории, и его судьба неразрывно сплелась с судьбою его страны. Он явился без всяких пророчеств, без торжеств и помпы; премьер-министры не писали ему писем; но все равно: мое сцепление,

394

мое единение с историей подошло к концу, а его – началось. Ему, конечно же, не дали сказать ни слова; в конце-то концов, он тогда еще не мог сам подтереть себе нос.

Он стал сыном отца, который не был ему отцом; но так же и сыном времени, которое так покорежило реальность, что с тех пор никто не может выпрямить ее.

Он был родным внуком своего деда, но слоновая болезнь поразила его уши, а не нос, потому что он был к тому же родным сыном Шивы-и-Парвати – слоноголовым Ганешей.

Он родился с ушами такими длинными и такого размаха, что они, должно быть, слышали стрельбу в Бихаре и крики избиваемых дубинками докеров Бомбея… этот ребенок слышал слишком многое и поэтому не говорил, онемев от избытка звуков, и в промежутке между тогда-и-теперь, между трущобами и консервной фабрикой, я не слыхал, чтобы он произнес хотя бы одно слово.

Он обладал пупком, который выпирал наружу, а не был вдавлен внутрь, так что даже Картинка-Сингх вскричал в изумлении: «Его бимби, капитан! Взгляни-ка на его бим-би!» – и с самых первых дней малыш стал внушать нам благоговейный трепет.

Он был таким спокойным и благодушным младенцем, что никогда не ревел и не хныкал, и это сразу же покорило сердце его приемного отца, который прекратил смеяться над нелепыми ушами, взял ребенка на руки и стал осторожно баюкать.

И младенец на руках у отца услышал песенку, какую давным-давно певала впавшая в немилость няня: «Кем ты захочешь, тем ты и станешь; станешь ты всем, чем захочешь».

Но теперь, когда я породил своего лопоухого, безмолвного сына, остались вопросы по поводу другого, синхронного, рождения, и их следует прояснить. Мерзкие, каверзные вопросы: а не просочилась ли мечта Салема о спасении нации, не проникла ли сквозь пораженные осмосом ткани истории в мысли самой Индиры, премьер-министра? Не преобразилась ли пронесенная мной через всю жизнь вера в некое уравнение, сопрягающее меня с государством, не обернулась ли в уме «мадам» знаменитой-в-те-дни пресловутой фразой: *Индия – это Индира, а Индира – это Индия?* Оспаривали ли мы друг у друга центральное положение, алкала ли она смысла столь же страстно, столь же глубоко, как и я, – и может быть, может быть, поэтому?..

Влияние причесок на ход истории: еще одна щекотливая проблема. Если бы Уильям Месволд не был причесан на прямой пробор, я, возможно, не сидел бы сегодня здесь; и если бы прическа Матери народа была окрашена единообразно, чрезвычайное положение, которым она разродилась, запросто могло бы и не иметь темной стороны. Но волосы ее были белоснежными с одной стороны пробора и черными – с другой; так и чрезвычайное положение имело белую сторону – публичную, явную, задокументированную, изученную историками, – и сторону черную, которая, будучи скрытой-кошмарной-нерассказанной, станет нашим предметом.

Госпожа Индира Ганди родилась в ноябре 1917 года у Камалы и Джавахарлала Неру. При рождении ей дали имя Приадаршини. Она не была в родстве с «Махатмой» М.К. Ганди; фамилия досталась ей от мужа, Фероза Ганди, с которым она сочеталась браком в 1952 году и который стал известен как «зять народа». У них родилось два сына, Раджив и Санджай, но в 1959 году Индира вновь поселилась у отца и стала «общепризнанной хозяйкой дома». Фероз попытался было тоже водвориться там, но безуспешно. Он стал яростным хулителем правительства Неру, раздул скандальное дело Мундхры и ускорил отставку тогдашнего министра финансов Т.Т. Кришнамачари – самого «Т.Т.К.»[395]. Господин Фероз Ганди скончался от сердечного приступа в 1960 году, в возрасте сорока семи лет. Санджай Ганди и его жена, бывшая манекенщица Менака, выдвинулись во время чрезвычайного положения. Молодежное движение Санджая особенно активно участвовало в кампании по стерилизации населения.

Я привел эти довольно элементарные сведения на тот случай, если вы не осознали до сих пор, что в 1975 году премьер-министр Индии уже пятнадцать лет была вдовой. Или (тут

395

уместна заглавная буква): Вдовой.

Да, Падма, зуб на меня имела действительно Индира-Мать.

Полночь

Нет! – Но я должен.

Я не хочу об этом рассказывать! – Но я поклялся рассказать обо всем. – Нет, я отступаюсь, только не это; правда же, есть вещи, которые лучше оставить?.. – Это пятно не смоется; что нельзя вылечить, то нужно перетерпеть! – Но только не шепчущие стены, не измену, не «чик-чик», не женщин с грудями, избитыми до синяков? – Именно об этом ты и расскажешь. – Но как я могу, взгляни на меня, я распадаюсь на части, не согласуюсь сам с собой, болтаю-и-спорю, как бешеный, растрескиваясь, теряя память; да, память валится в бездну и поглощается тьмою, остаются одни обрывки, ни один из них теперь не имеет смысла! – Но мне не дано судить, я просто должен продолжать (раз уж я начал), пока не дойду до конца; я уже не могу (а может, и никогда не мог) отличить смысл от бессмыслицы. – Но весь этот ужас, я не могу, не хочу, не должен, не буду, не могу, нет! – Прекрати стенания и начинай. – Нет! – Да.

Тогда, значит, о сне? Может быть, получится рассказать это как сон. Да, как кошмар – зелены-черны пряди Вдовы, и рука сжимается, и дети, далее везде, и мякиши-шарики, один за другим, оторваны-вырваны; мякиши-шарики летят-летят, зеленые, черные; рука зелена, ногти черным-черны. – Никаких снов. Не время для снов, да и не место. Только факты, так, как припомнятся. Все старания приложив. Так как же все было? Начинай. – Нельзя иначе? – Нет; и когда было можно? Есть повелительные наклонения, и логические заключения, и неизбежности, и совпадения; что-то совершалось случайно, и била меня судьба – и разве могло быть иначе? Был ли какой-нибудь выбор? Была ли свобода решения – быть мне тем ли, другим ли, третьим? Нет, иначе нельзя, начинай. – Да.

Слушайте:

Бесконечная ночь, дни-недели-месяцы без солнца, или, скорее (ибо важно быть точным) под солнцем, холодным, как тарелка, выполосканная в горном потоке; солнцем, которое омывало нас холодным полуночным светом: я говорю о зиме 1975–76 года. Этой зимой: темнота, и также туберкулез.

Когда-то в голубой спаленке, глядящей на море, под указующим перстом рыбака, я боролся с сыпным тифом, и змеиный яд спас меня; теперь, запутавшись в паутине династических совпадений, которая сплелась вокруг него потому, что я признал его сыном, нашему Адаму Синаю в первые месяцы жизни пришлось одолевать невидимых змей болезни. Змеи туберкулеза обвились вокруг его шеи, не давая вздохнуть… но этот младенец был весь слух и молчание, он и кашлял бесшумно, и когда тяжело, натужно дышал, из горла его не вырывались хрипы. Короче, мой сын заболел, и хотя его мать, Парвати, или Лайла, отправлялась на поиски одной ей известных трав – хотя травы эти, сваренные в крутом кипятке, постоянно давались ребенку, призрачные черви туберкулеза не спешили выползать наружу. С самого начала я подозревал в недуге Адама что-то темное, метафорическое – я верил, что в те полуночные месяцы, когда мои способы сцепления с историей начали перекрываться теми, которые принадлежали этому младенцу, чрезвычайное положение в нашей частной, семейной жизни не могло не иметь связи всего огромного макрокосма с болезнью, под влиянием которой само солнце делалось таким же бледненьким и больным, как наш сынок. Парвати-в-то-время (как и Падма-теперь) не желала слушать эти абстрактные разглагольствования; она сердилась, она считала чистым безумием растущую во мне навязчивую идею света; во власти этого наваждения я зажигал крохотные пальчиковые лампочки в лачуге, где лежал больной мой сын, и в полуденный час наполнял нашу хижину огоньками свечей… но я настаиваю на том, что мой диагноз был правильным: «Говорю тебе, – твердил я без устали, – пока длится чрезвычайное положение, он не поправится!»

Доведенная до умоисступления тем, что ей никак не удавалось вылечить этого

невозмутимого, никогда не плачущего младенца, Парвати-Лайла отказывалась разделять мои полные пессимизма теории, зато на лету ловила всякие завиральные советы. Когда одна из самых древних старух в колонии магов наплела ей – как Решам-биби могла бы это сделать, – что болезнь не выйдет прочь, пока ребенок остается немым, Парвати вроде бы согласилась. «Болезнь – это кручина тела, – наставляла она меня. – Ее следует вытрясти вон слезами и стонами». Той ночью она вернулась в лачугу, сжимая в руках небольшой газетный сверток с зеленым порошком, перевязанный светло-розовой ленточкой, и сообщила, что это средство обладает такой силой, что даже камень от него закричит. Когда она дала лекарство ребенку, щечки его раздулись так, будто рот был полон пищи; обычные младенческие звуки, столь долго подавляемые, поднимались к губам, и он яростно сжимал челюсти. Стало ясно, что младенец вот-вот задохнется, с такой силой пытался он одолеть, затолкать обратно неудержимо рвущуюся лавину погруженных на дно звуков, которые вызвал на поверхность зеленый порошок; и тут мы поняли, что перед нами – самая непреклонная воля, какую только порождала земля. За час мой сын сделался шафрановым, потом шафраново-зеленым, и наконец зеленым, как трава; я больше не мог это выносить и заорал что есть мочи: «Женщина, если парнишка так хочет оставаться спокойным, мы не должны его за это убивать!» Я взял Адама на руки, стал баюкать и почувствовал, как твердеет крошечное тельце, как колени-локти-шея заполняются сумятицей не нашедших выражения звуков, и в конце концов Парвати сжалилась и приготовила противоядие, истолкла аррорут[396] и ромашку в алюминиевой миске, при этом бормоча вполголоса какие-то странные заклинания. После этого никто уже не пытался заставить Адама Синая сделать что-то, чего он не хотел; мы смотрели, как он борется с туберкулезом, и утешались мыслью, что такая стальная воля уж конечно не допустит, чтобы победила болезнь.

В те последние дни мою жену Парвати, или Лайлу, тоже глодали изнутри прожорливые мошки отчаяния, ибо когда, в уединении нашего ложа, она приходила ко мне, чтобы получить хоть капельку утешения и тепла, я все еще видел, как на ее черты накладывается ужасное, осыпающееся, разваливающееся на части лицо Джамили-Певуньи; и хотя я раскрыл перед Парвати тайну призрака и постарался ее успокоить (судя по тому, в какой упадок пришла ныне страшная маска, она, по-видимому, рассыплется очень скоро), жена моя поведала мне с горечью, что плевательница и война повредили мой рассудок, и что, сдается ей, этому злополучному браку так и не дано осуществиться; мало-помалу, мало-помалу на ее губах стала появляться предвещающая недоброе гримаска печали… но что я мог поделать? Чем я мог облегчить ей жизнь – я, Салем-Сопливец, впавший в нищету, утративший покровительство семьи, избравший (если речь могла идти о каком-то выборе) заработок, предоставляемый обонянием, несколько пайс в день, которые получал, вынюхивая, кто чем пообедал накануне и кто в кого влюблен; чем я мог утешить ее, когда и меня уже сжала холодная рука непомерно растянувшейся полуночи, когда и я уже учуял носившийся в воздухе запах конца?

Нос Салема (вряд ли вы это забыли) мог обонять вещи более неизъяснимые, нежели конский навоз. Ароматы чувств и мыслей, запахи вещей-каковы-они-есть – все это я вынюхивал без труда. Когда подправили Конституцию, дабы предоставить премьер-министру чуть-ли-не-абсолютную-власть, я чуял, как парят в небесах призраки древних империй… в этом городе, где и без того тесно от фантомов Невольничьих Царей[397] и Моголов, не ведавшего жалости Аурангзеба и последних розовокожих завоевателей, ноздри мне снова защекотал резкий запашок деспотизма. Так воняют старые, промасленные тряпки, когда их жгут на костре.

Но даже человек, напрочь лишенный нюха, мог бы определить, что зимой 1975–1976 года в столице припахивало гнильцой; меня же насторожил странный, особенный душок: повanивало лично мне грозящей опасностью, в которой я мог различить пару предательских,

396
397

мстящих коленок… первый намек на то, что старая драма, которая началась, когда обезумевшая от любви девственница поменяла ярлычки с именами, скоро подойдет к концу, увенчавшись неистовством измены и щелканьем ножниц.

Может быть, раз уж столько предупреждений толкалось в мои ноздри, мне следовало бежать – прислушавшись к совету носа, я должен был бы взять руки в ноги. Но мешали соображения практического характера: куда бы я направился? И, обремененный женой и сыном, как далеко успел бы уйти? Не забывайте также, что однажды я уже пускался наутек, и взгляните, где очутился: в Сундарбане, в джунглях, полных мстительных призраков, откуда я чудом выбрался, едва не оставив там свою шкуру!.. Так или иначе, я никуда не убежал.

Возможно, это и не играло никакой роли; Шива – мой безжалостный, коварный враг от самого рождения – все равно в конце концов нашел бы меня. Ибо, если нет ничего лучше носа, чтобы разнюхать-все-до-мельчайшей-детали, то когда доходит до дела, нельзя отрицать преимущества пары цепких, сокрушительных коленок.

Позволю себе последнее, парадоксальное замечание в этой связи: если, как я полагаю, именно в доме вопящих женщин я узнал ответ на вопрос о цели, мучивший меня всю жизнь, то, избежав каким-то образом этого дворца уничтожения, я лишил бы себя столь ценного открытия. Отнесемся философски к произошедшему: нет худа без добра.

Салем-и-Шива, нос-и-колени… три вещи разделили мы с ним: сам (чреватый последствиями) момент нашего рождения, груз предательства и нашего сына Адама (в котором мы совпали, как в высшем синтезе): младенца неулыбчивого, серьезного, со всеслышащими ушами. Адам Синай был во многих смыслах прямой противоположностью Салема. Я поначалу рос с головокружительной быстротой; Адам, борясь со змеями недуга, едва ли рос вообще. С первых дней Салем расплывался в обворожительной улыбке; Адам обладал большим достоинством и улыбки свои держал при себе. Салем подчинил свою волю двойной тирании семьи и судьбы, Адам же яростно боролся, не сдаваясь даже перед неодолимым давлением зеленого порошка. И если Салем, собираясь поглотить целую Вселенную, какое-то время даже не умел моргать, то Адам предпочитал держать глаза накрепко закрытыми… хотя все же время от времени делал одолжение и открывал их, и я успел заметить их цвет: голубой. Голубизна льда, голубизна, повторившаяся через поколение, судьбоносная голубизна кашмирских небес… но нет надобности продолжать этот ряд.

Мы, дети Независимости, безоглядно, слишком торопливо устремились в будущее; он, порожденный чрезвычайным положением, будет – уже стал – более осторожным; он дожидается своего часа, но, когда начнет действовать, никто и ничто не устоит перед ним. Он и сейчас уже сильнее, жестче, решительнее меня: когда он спит, глазные яблоки не двигаются под веками. Адам Синай, дитя колен-и-носа, неспособен (насколько я могу судить) поддаваться власти снов.

Сколько всего понаслушались эти хлопающие уши, которые временами горят от скрытой теплоты своего знания? Если бы он мог говорить, предупредил бы он меня об измене и о бульдозерах? В стране, где царствуют сонмы звуков и запахов, мы с ним составили бы замечательную пару; но мой маленький сын отринул от себя речь, а я не послушался велений своего носа.

– Арре бап, – кричит Падма. – Лучше бы ты, господин, рассказал без затей, что там случилось. Чему так изумляться, если дитя не ведет умных бесед?

В апреле 1976 года я все еще жил в колонии, или квартале, фокусников; моего сына Адама все еще снедал вялотекущий туберкулез, не поддающийся никакому лечению. Я был полон дурных предчувствий (и мыслей о бегстве); но если кто и послужил причиной моего продолжающегося пребывания в квартале, то это был Картинка-Сингх.

Падма, Салем связал свою судьбу с делийскими чародеями отчасти из чувства уместности – я любил заниматься самобичеванием, я верил в оправданность моего падения в нищету (из дядиного дома я захватил всего лишь две рубашки, белых, две пары брюк, тоже

белых, одну футболку с розовыми гитарами и одну пару башмаков, черных); а отчасти я пришел сюда из преданности, связанный узами благодарности с моей спасительницей, Парвати-Колдуньей; но я оставался там – хотя, будучи грамотным, мог бы работать клерком в банке или учителем в вечерней школе чтения и письма – именно потому, что всю мою жизнь, сознательно ли, бессознательно, я искал себе все новых отцов. Ахмед Синай, Ханиф Азиз, Шапстекер-сахиб, генерал Зульфикар исполняли эту роль за отсутствием Уильяма Месволда; Картинка-Сингх был последним из этой благородной когорты. И возможно, охваченный двойным стремлением найти себе отца и спасти страну, я идеализировал Картинку-Сингха; существует ужасная вероятность, что я искажал его облик (и вновь искажаю на этих страницах), превращая этого человека в порождение мечты, в создание моего собственного воображения… так или иначе, неоспоримой правдой является то, что всякий раз, стоило мне спросить: «Когда же ты поведешь нас, Картинка-джи; когда настанет этот великий день?» – он, в смущении переминаясь с ноги на ногу, отвечал: «Выкинь это из головы, капитан; я – простой бедняк из Раджастана, а кроме того, Самый Прельстительный В Мире; не надо делать из меня что-то еще». Но я продолжал его теребить: «Уже ведь был такой случай – был Миан Абдулла, Колибри…» – на что Картинка-Сингх отвечал: «Ты, капитан, завираешься».

В первые месяцы чрезвычайного положения Картинка-Сингх погрузился в мрачное молчание, напоминавшее (в который раз!) великое безмолвие Достопочтенной Матушки (оно просочилось и в моего сына…), и прекратил наставлять публику на улицах и в переулках Старого и Нового города, хотя раньше никогда этим не пренебрегал, считая своим долгом; но хотя он и твердил: «В такие времена лучше вести себя потише, капитан» – я пребывал в убеждении, что однажды на заре, через тысячу лет, когда наступит конец полуночи, во главе великих джулу или колонны неимущих, может быть, пойдет Картинка-Сингх, играющий на флейте, весь увитый змеями, и поведет нас к свету… но он, наверное, всегда был лишь заклинателем змей, то есть и такой возможности исключать нельзя. Могу сказать одно: мне мой последний отец, высоченный, худой, бородатый, с пышными волосами, завязанными в хвост на затылке, казался истинной аватарой Миана Абдуллы; но, пожалуй, то была иллюзия, порожденная попыткой насильно вплести его в ткань моего повествования. Жизнь моя полна иллюзий; не думайте, будто я не замечаю этого. Ну, а теперь мы подходим к тому моменту, когда все иллюзии исчезают; выбора у меня нет: я должен наконец изложить, не скупясь на черное и белое, ту кульминацию, тот поворотный пункт, которого избегал весь вечер.

Обрывки воспоминаний: не так бы нужно описывать кульминацию. Она, эта кульминация, должна бы выситься в истории, как какой-нибудь пик в Гималаях; но мне остались одни лохмотья, и я влачусь к поворотному пункту моей жизни, дергаясь, как марионетка, чьи веревочки перетерлись. Не так я это задумывал, но, наверное, история, которую заканчиваешь, совсем непохожа на ту, какую начинаешь. (Когда-то в голубой спаленке Ахмед Синай по-своему завершал сказки, давным-давно забыв, чем там все кончалось на самом деле; мы с Медной Мартышкой год за годом слушали все новые и новые версии плавания Синдбада и приключений Хатима Таи… если бы я начал заново, не закончил бы и я свою историю в каком-нибудь ином месте?) Ладно: придется довольствоваться обрывками и лоскутками – так я писал столетия тому назад, весь фокус в том, чтобы заполнить зияние, руководствуясь теми немногими догадками, на какие мы способны. Все важное в наших жизнях происходит без нас; меня поведет воспоминание о папке с многозначительными инициалами, которая как-то раз попалась мне на глаза; а еще осколки, черепки прошлого, которые валяются в разграбленной сокровищнице моей памяти, будто битые бутылки на пляже… Словно обрывки памяти, газетные листы катились по колонии магов, влекомые бесшумным полуночным ветерком.

Принесенные ветерком газеты влетели в мою хижину и сообщили, что дядя Мустафа пал жертвой неизвестных убийц; я пренебрег узами родства и не пролил ни единой слезы. Попадались и другие сообщения; из них я и стану выстраивать реальность.

В одном из газетных листов (пропахшем репой) я прочел, что премьер-министр Индии

шагу не могла ступить без личного астролога. Из этой газеты я вынюхал больше, нежели запашок репы; неким таинственным образом мой нос опять распознал резкий дух лично мне грозящей опасности. Вот что должен был я вывести из этого предостерегающего аромата: колдуны меня предрекали, так не могли ли колдуны и погубить меня в конце концов? Могла ли Вдова, помешанная на звездах, узнать от астрологов о тайной силе детей, рожденных в тот далекий полуночный час? Может, поэтому государственного служащего, специалиста по генеалогиям, обязали воспроизвести… может, поэтому он так странно смотрел на меня тем утром? Вот видите: из обрывков складывается картина! Падма, разве теперь не ясно? *Индира – это Индия, а Индия – это Индира…* но вдруг она прочла письмо собственного отца одному из детей полуночи, письмо, оспаривающее ее утвержденное лозунгами центральное положение; письмо, в котором роль зеркала нации была возложена на меня? Ты видишь? *Видите?* Более того: есть и другое неопровержимое доказательство – вот еще один обрывок «Таймс оф Индия», в котором информационное агентство «Самачар», принадлежащее лично Вдове, цитирует ее слова о «решимости бороться с широко распространившимся, пустившим глубокие корни заговором, который растет с каждым днем». Говорю вам: не «Джанату Морчу» она имела в виду! Нет, чрезвычайное положение имело черную и белую сторону, и имелась тайна, надолго скрытая под маской тех придушенных дней: истинной, глубочайшей причиной чрезвычайного положения было желание раздавить, стереть в порошок, без следа, без возврата рассеять детей полуночи. (Конференция, конечно, была распущена многие годы тому назад, но самой возможности нашего нового объединения было достаточно, чтобы зажегся красный сигнал тревоги).

Астрологи, несомненно, забили во все колокола; в черной папке с ярлычком К.П.Д. были собраны имена из сохранившихся записей о рождении, но этого было мало. Не обошлось без предательств и признаний, и были колени и нос – нос и также колени.

Обрывки, лоскутки, фрагменты: кажется, перед тем, как я проснулся с запахом опасности, застрявшим в ноздрях, мне снилось, будто я сплю. Я сперва проснулся в этом самом изматывающем из снов и обнаружил незнакомца в моей лачуге: этот тип выглядел, как поэт: с прямыми, обвисшими волосами, заползающими на уши (макушка, однако, почти совсем облысела). Да, когда я спал в последний раз перед тем-что-должно-быть-описано, меня посетила тень Надир Хана, который недоуменно воззрился на серебряную плевательницу, инкрустированную лазуритом, и задал нелепый вопрос: «Ты украл это? А если нет, то – возможно ли? – ты – малыш моей Мумтаз?» И когда я подтвердил: «Да, кто же еще, конечно, я» – призрак Надира-Касима, явившийся мне во сне, изрек предостерегающе: «Прячься. Времени мало. Прячься, пока не поздно».

Надир, который скрывался под ковром у моего деда, пришел предупредить, чтобы и я поступил так же; но слишком поздно, слишком поздно, ибо вот я окончательно проснулся, и нос мой различил запах опасности, резкий и гулкий, будто трубный глас… испуганный сам не знаю чем, я вскочил; помстилось ли мне или в самом деле Адам Синай открыл свои голубые глаза и наши взгляды встретились? Были ли глаза моего сына тоже полны тревоги? Услышали ли болтающиеся уши то же самое, что унюхал нос? Приобщились ли друг к другу отец и сын в этот миг перед тем, как все началось? Эти знаки вопроса так и повиснут, так и останутся без ответа; но вот что было на самом деле – Парвати, моя Лайла Синай, тоже проснулась и спросила: «Что стряслось, господин мой? Что это взбрело тебе в голову?» – и я, еще до конца не зная почему, сказал ей: «Спрячься; сиди здесь и не выходи».

А сам выбрался наружу.

Наверное, было утро, хотя мрак бесконечной полуночи висел над кварталом, словно густой туман… в сумеречном, зловещем, чрезвычайном свете я увидел, как детишки играют в стуколку, и Картинка-Сингх, зажав сложенный зонт под левой мышкой, мочится на стену Пятничной мечети; крохотный лысый иллюзионист, репетируя, протыкает ножами шею своей десятилетней ассистентки; а фокусник уже собрал публику и вытаскивает большущие клубки шерсти из-под мышек у посторонних людей; в другом конце квартала Чанд-сахиб,

музыкант, играет, приставив побитый мундштук пошарпанного горна прямо к шее и извлекая звуки простым напряжением мускулов… а вон идут тройняшки-акробатки, неся на головах глиняные кувшины с водой: возвращаются к себе в хижину от единственной в квартале водопроводной колонки… короче говоря, вроде бы все в порядке. Я уже готов посмеяться над своими снами, над тревогой, почуянной носом; но тут оно начинается.

Первыми, грохоча по шоссе, появились грузовики и бульдозеры и остановились напротив квартала фокусников. Задребезжал громкоговоритель: «Программа благоустройства города… санкционированная операция, утвержденная Центральным комитетом Молодежного конгресса Санджая… всем срочно приготовиться к переезду на новое место жительства… эти трущобы оскорбляют общественный вкус, их нельзя более терпеть… все должны беспрекословно подчиниться приказу». И пока громкоговоритель гудел, люди выскакивали из грузовиков: мгновенно воздвигли яркую палатку, притащили походные койки и хирургическое оборудование… и вот из тех же грузовиков потянулась вереница изящно одетых молодых дамочек из самых лучших семей, с заграничным образованием, а затем хлынул второй поток – столь же прилично выглядящих молодых людей: добровольцы, это добровольцы из «Молодежи Санджая», вносящие свою лепту в общее дело… но тут я понял – нет, не добровольцы, потому что у всех молодых людей были курчавые волосы и губы-как-женская-промежность, и изящные дамочки тоже были все одинаковые, их черты в точности повторяли черты жены Санджая Менаки[398], которая в обрывках газет описывалась как «длинноногая красотка»; некогда она позировала в ночной рубашке для рекламы компании по производству матрасов… Стоя посреди хаоса, санкционированного программой по расчистке трущоб, я убедился лишний раз, что правящая династия Индии научилась воспроизводить себя в бесчисленном множестве копий – но тогда не было времени думать: пиздогубые юнцы и длинноногие красотки хватали магов и старых нищих, людей затаскивали в грузовики, и вот по колонии чародеев пополз слух: «Они делают насбанди[399]– проводят стерилизацию!» А вслед за этим крик: «Спасайте жен и детей!» И поднимается мятеж: детишки, которые только что играли в стуколку, бросают камни в элегантных захватчиков, и Картинка-Сингх собирает магов вокруг себя, яростно потрясая зонтом, который когда-то восстанавливал гармонию, а теперь обратился в оружие, в хлопающее на ветру копье Дон Кихота, и вот чародеи уже создали армию, чтобы защитить себя; словно по волшебству появились, полетели бутылки с коктейлем Молотова; фокусники достают кирпичи из своих чудодейных сумок, воздух полнится криками и метательными снарядами; пиздогубые молодчики и длинноногие красотки отступают перед яростной атакой иллюзионистов; Картинка-Сингх ведет людей прямо на палатку для вазэктомии…[400]Парвати, или Лайла, нарушив приказ, стоит рядом со мной, произносит: «Боже мой, что же это они…» – и тут трущобы подвергаются новому, более страшному вторжению: против магов, против женщин и детей посланы войска.

Когда-то фокусники, карточные трюкачи, кукольники и вызыватели духов шли парадным строем рядом с армией-победительницей; но теперь все забыто, и русские ружья нацелены на обитателей квартала. Могут ли чародеи-коммунисты выстоять против винтовок из страны социализма? Они, мы, бежим, спасаемся, кидаемся врассыпную, нас с Парвати разлучает толпа, когда раздается первый залп, я теряю из виду Картинку-Сингха, приклады поднимаются-опускаются, бьют с размаха, я вижу, как падает под яростным ударом одна из тройняшек-акробаток; людей за волосы волокут в стоящие наготове, разинувшие пасти грузовики; я тоже бросаюсь бежать, но слишком поздно; оборачиваюсь через плечо, спотыкаюсь о жестянки «Дама», пустые ящики и брошенные как попало мешки перепуганных иллюзионистов, и, повернув голову, в мрачной, зловещей, чрезвычайной ночи вижу, что все вокруг – лишь дымовая завеса, побочный эффект, ибо, прокладывая себе путь

398
399
400

сквозь сумятицу мятежа, грядет герой из мифа, воплощение рока, разрушительных сил: майор Шива вступает в битву, он ищет меня, одного меня. Я бегу, а позади вздымаются в могучих прыжках вынесшие мне приговор колени…

Перед моим внутренним взором встает наша хижина: мой сын! И не только сын: серебряная плевательница, инкрустированная лазуритом! Где-то в этой сутолоке брошен, оставлен ребенок… где-то забыт талисман, так долго хранимый. Бесстрастно взирает на меня Пятничная мечеть, а я уворачиваюсь, пригибаюсь, бегу между содрогающихся лачуг, ноги несут меня к сыну и к чашке для слюн… но разве уйти мне от этих коленей? Колени героя войны все ближе, ближе; я удираю, а суставы врага сгибаются-разгибаются вослед мне, и он прыгает, и ноги героя войны поднимаются в воздух, смыкаются, словно челюсти, вокруг моей шеи; колени сжимают мне горло, не дают дышать; я падаю, извиваюсь, но колени держат крепко, и вот звучит голос – голос коварства-предательства-ненависти! – и колени ложатся на грудь, и пригвождают меня к покрытой густым слоем пыли земле трущоб: «Ну что ж, богатенький соплячок, вот мы и встретились снова, Салям». Я поперхнулся, а на лице Шивы появилась улыбка.

О сверкающие пуговицы на мундире предателя! Мигают-переливаются-серебрятся… зачем он это сделал? Зачем он, бывший коновод не признающих закона апашей в трущобах Бомбея, стал поборником тирании? Почему сын полуночи предал полуночных детей и повлек меня к моей судьбе? Из страсти к насилию, любуясь уставным блеском пуговиц на мундире? Вспомнив нашу старинную вражду? Или – и это вероятнее всего – за избавление от кары, назначенной всем нам, остальным… да, это наверное так; о продавший право первородства герой войны! О подкупленный чечевичной похлебкой соперник… Но нет, пора это прекратить, историю следует рассказывать по возможности просто: пока солдаты гнали-хватали-тащили магов из их квартала, майор Шива сосредоточил свое внимание на мне. И меня тоже грубо поволокли к грузовику; пока бульдозеры двигались по трущобе, захлопнулась дверь… и я закричал в темноте: «А мой сын! – А Парвати, где она, моя Лайла? – Картинка-Сингх! Спаси меня, Картинка-лжи!» – Но рычали бульдозеры, и никто не слышал моих воплей.

Парвати-Колдунья, выйдя за меня замуж, пала жертвой проклятья насильственной смерти, тяготеющего над всей моей родней… не знаю, отправился ли Шива, заперев меня в темном, без окон, грузовике, на поиски Парвати, или оставил ее на растерзание бульдозерам… эти несущие разрушение машины действуют теперь в своей стихии, и жалкие лачуги бидонвиля оползают-корежатся-шатаются, точно пьяные, под неудержимым напором стальных чудовищ; хижины трещат, будто сухие прутья; бумажные декорации кукольников и волшебные корзины иллюзионистов перемолоты в фарш; город благоустраивается, и если кто-то погиб, если девчонка с глазами, как блюдца, и печально надутыми губками пала под гусеницами колесниц джаггернаутов[401], что ж такого: трущобы оскорбляли общественный вкус, и вот исчезли с лица древней столицы… и носились слухи, будто во время последних предсмертных содроганий квартала фокусников бородатый гигант, увитый змеями (хотя, возможно, слухи и преувеличены), бежал – ВО ВЕСЬ ОПОР! – среди руин, бежал, как безумный, перед наступающими бульдозерами, сжимая рукоятку изодранного в клочья зонта, и все искал-искал кого-то, будто жизнь его зависела от этих поисков.

К концу этого дня трущобы, приютившиеся в тени Пятничной мечети, были стерты с лица земли, но не всех магов переловили; не всех увезли за колючую проволоку лагеря под названием Хичрипур («сборная-солянка»), расположенного на дальнем берегу Ямуны; Картинку-Сингха так и не поймали, и, говорят, будто на следующий день после того, как квартал фокусников был разрушен бульдозерами, новые трущобы обнаружились в самом центре города, у железнодорожного вокзала Новый Дели. Бульдозеры устремились туда, где, по слухам, появились лачуги; но ничего такого найдено не было. Потом о существовании блуждающих трущоб иллюзионистов стало известно всем обитателям города, однако

401

разрушители так их и не отыскали. Донесли как-то, что они появились в Мехроли, но когда вазэктомисты с войсками ринулись туда, то увидели лишь Кутб Минар, сияющий, не запятнанный жилищами нищеты. Информаторы сообщили, будто она появилась в садах Джантар Мантар, в построенной Джай Сингхом обсерватории Моголов[402]; но машины для слома, примчавшись туда, обнаружили только попугаев да солнечные часы. Лишь с концом чрезвычайного положения блуждающие трущобы обосновались на постоянном месте; но об этом позже, ибо пришло время поговорить подробно, однако не теряя чувства меры, о том, как я, плененный, пребывал в приюте вдов в Бенаресе.

Когда-то Решам-биби завывала: «Ай-о-ай-о!» – и была права: я принес разрушение в квартал моих спасителей; майор Шива, следовавший, несомненно, совершенно определенным указаниям Вдовы, явился в колонию, чтобы схватить меня, пока сын Вдовы со своим городским благоустройством и программой вазэктомии проводил отвлекающий маневр. Да, разумеется, все было задумано именно так и (да позволено мне будет это сказать) сработало на славу. Что было достигнуто во время мятежа чародеев: ни много ни мало, как никем не замеченный захват единственного на земле человека, владевшего сведениями о том, где находится каждый из детей полуночи – не я ли ночь за ночью настраивался на волну всякого из них, от первого до последнего человека? Не хранил ли я в уме все это время их имена-адреса-лица? Отвечу: да, знал и хранил. И меня схватили.

Конечно же, именно так все и было задумано. Парвати-Колдунья рассказывала мне о моем сопернике; можно ли предположить, чтобы она ни разу не обмолвилась ему обо мне? Отвечу и на этот вопрос: с трудом верится. Так что наш герой войны знал, где именно в столице скрывается человек, более всех нужный его хозяевам (даже мой дядя Мустафа не знал, куда я направился, оставив его, а Шива знал!) – и когда он предал всех нас, подкупленный, несомненно, разными посулами, от стремительной карьеры до личной безопасности, ему нетрудно было доставить меня туда, куда велела его госпожа, мадам, Вдова, с ее двухцветными волосами.

Шива и Салем, победа и беда; проникните в суть нашего соперничества, и вы научитесь понимать время, в котором живете. (Обратное утверждение тоже верно).

Я потерял в тот день кое-что еще, кроме свободы: ковши бульдозеров поглотили серебряную плевательницу. Лишившись последнего предмета, который связывал меня с моим осязаемым, исторически доказуемым прошлым, я был доставлен в Бенарес, где столкнулся лицом к лицу с последствиями моей внутренней, дарованной полуночью, жизни.

Да, там все и случилось, во дворце вдов на берегу Ганга, в самом старом из живых городов мира, в городе, который был уже старым, когда Будда был молодым, в Каси Бенарес Варанаси, в Городе Божественного Света, обиталище Книги Пророчеств, гороскопа гороскопов, где каждая жизнь – прошлое-настоящее-будущее – уже записана и сочтена. Богиня Ганга струилась на землю сквозь волосы Шивы…[403]В Бенарес, обитель Шивы-бога, привез меня Шива-герой, поставив лицом к лицу с судьбою. Во вместилище гороскопов я достиг момента, который предрек когда-то на крыше Рамрам Сетх: «солдаты его испытают… тираны огнем пытают!» – произносил нараспев прорицатель; ну что ж, казни как таковой не было – коленки Шивы стиснули мою шею, только и всего, – но однажды зимним днем я учуял запах: что-то жарилось, скворчало на железной сковороде…

Пройдите вниз по реке, мимо Шиндиа-гхат, где молодые гимнасты в белых трико отжимаются на одной руке; мимо Маникарнака-гхат – места погребальных костров, где можно купить священный огонь у хранителей пламени; мимо плывущих по течению дохлых собак и коров – для этих несчастных огня не купил никто; мимо брахманов, что стоят у Дасашвамедх-гхат под соломенными зонтами и одетые в шафрановые одежды, и раздают благословения… Теперь он слышен, этот странный звук, похожий на далекий лай гончих

402
403

псов… идите следом-следом-следом за звуком, и он обретет форму, и вы обнаружите, что это – истошные, непрекращающиеся вопли, исходящие из наглухо закрытых ставнями окон стоящего на самом берегу дворца: то приют вдов! Когда-то он служил резиденцией махарадже; но Индия сегодня – современная страна, и все подобные здания экспроприированы государством. Нынче дворец стал приютом для обездоленных женщин; те, веря, что жизнь их окончилась со смертью супругов, и не имея возможности найти исход в сати[404], которое запрещено, приходят в священный город, чтобы провести остаток дней в надрывающих душу стенаниях. В приюте вдов живет племя женщин, которые так часто и с такой силой бьют себя в грудь, что их груди превратились в один сплошной синяк; чьи волосы вырваны с корнем, чьи голоса дребезжат от постоянных, пронзительных, горестных криков. В огромном здании – лабиринт из крошечных каморок на верхних этажах и большие залы для жалобных воплей – внизу; да-да, здесь-то все и случилось, Вдова засосала меня в самую тайную сердцевину своей ужасной империи, меня заперли в крохотной каморке на верхнем этаже, и обездоленные женщины приносили мне тюремную пищу. Но случались и другие посетители: герой войны привел с собою двух своих коллег, дабы оживить беседу. Иными словами, меня подталкивали к разговору. Именно эта скверно подобранная пара – один толстый, другой тонкий; я называл их Эббот-и-Костелло[405]именно потому, что им так ни разу и не удалось меня рассмешить.

Здесь я отмечаю у себя в памяти милосердный провал. Ничто не может заставить меня вспомнить способы, какими неулыбчивая, затянутая в мундиры пара вела беседу; никакому чатни или маринаду не отомкнуть двери, за которыми я запер те дни! Нет-нет, я все забыл, я не могу – не хочу рассказывать, как меня заставили выложить всю подноготную, но никуда не уйти от постыдной сути дела, а именно: несмотря на отсутствие юмора и весьма нелюбезные манеры моего двухголового инквизитора, я все же заговорил. И не просто заговорил: под их неназываемым – забытым – давлением я стал словоохотлив до чрезвычайности. Что изливалось из моих уст торопливым, бурным потоком (вот бы теперь так): имена-адреса-описания внешности. Да, я выложил им все, я назвал имена всех пятисот семидесяти восьми (потому что Парвати, как меня любезно уведомили, умерла, а Шива перешел на сторону врага, а пятьсот восемьдесят первый кололся, говорил…) – подвигнутый на предательство изменой другого, я выдал всех детей полуночи. Я, основатель Конференции, руководил и ее концом, а Эббот-и-Костелло, всегда суровые, вставляли время от времени: «Ага! Очень хорошо! О ней мы ничего не знали!», или: «Ты сегодня сотрудничал на славу, этот парень был нам неизвестен!»

Всякое бывает. Статистика расставит все по своим местам, позволит рассмотреть мой арест в широком контексте; хотя существует значительное расхождение в цифрах «политических» заключенных, попавших в тюрьмы во время чрезвычайного положения, от тридцати тысяч до четверти миллиона человек определенно лишились свободы. Вдова заявила: «Это ничтожно малый процент от населения Индии». Чего только не случается во время чрезвычайного положения: поезда ходят по расписанию, спекулянты, короли черного рынка со страху начинают платить налоги; даже погода усмиряется и созревают рекордные урожаи; повторяю, во всем, наряду с темной, есть светлая сторона. Но на темной стороне сидел я, закованный в кандалы и колодки, в крохотной каморке с зарешеченным окном, на соломенной подстилке, кроме которой в помещении не было ничего, и делил ежедневную миску риса с тараканами и муравьями. Что же до детей полуночи – этого ужасного заговора, который следовало искоренить во что бы то ни стало; этой шайки отчаянных головорезов, перед которой премьер-министр Индира, окруженная астрологами, дрожала от страха; этих гротескных, паранормальных монстров независимости, с которыми некогда возиться, которых не жаль современному государству – они, все уже двадцатидевятилетние, были, кто раньше, кто позже, свезены в приют вдов; началось это в апреле, а к декабрю все собрались,

404
405

и шепот пополз по стенам. Стены моей камеры (с облупившейся штукатуркой, голые, тонкие, как бумага) стали нашептывать мне в тугое и здоровое ухо о последствиях моих постыдных признаний. узник, нос-огурцом, увешанный кандалами, которые мешали отправлению многих естественных функций тела – например, не давали ходить, использовать по назначению железный ночной горшок, садиться на корточки, спать – лежал, уткнувшись лицом в облупившуюся штукатурку, и шептал в стену.

То был конец, и Салем дал волю своей тоске. Всю мою жизнь, и в этих воспоминаниях тоже, я старался держать свои горести под замком, чтобы не запятнать фраз солеными каплями сантиментов – но больше не могу. Никто (пока рука Вдовы…) не объяснил мне причин моего заточения – но кому из тридцати тысяч или четверти миллиона докладывали, почему и зачем? Да и кому было нужно это знать? Я слышал сквозь стены приглушенные голоса детей полуночи, других разъяснений мне не требовалось, и я ревел белугой, уткнувшись в облупившуюся штукатурку.

Вот что Салем шептал в стену между апрелем и декабрем 1976 года:

…Дорогие дети. Какое право я имею говорить с вами? Что вообще тут можно сказать? Моя вина – мой позор. Хотя и меня можно оправдать: напрасно вы нападали на меня из-за Шивы. И еще: столько самого разного народа сидит по тюрьмам, так почему бы не посадить и нас? К тому же вина – материя сложная: разве все мы, каждый из нас не несет на себе какую-то меру ответственности – разве не получаем мы тех вождей, которых заслужили? Но оправданиям здесь не место. Я это сделал, я. Дорогие дети, моя Парвати умерла. И моя Джамиля исчезла. И все остальные. Кажется, исчезновения – еще одна черта, которая без конца повторяется в моей истории: Надир Хан исчез из нижнего мира, оставив записку; Адам Азиз тоже исчез до того, как моя бабка встала накормить гусей; а куда подевалась Мари Перейра? Я исчез, опустившись в корзину; но Лайла, или Парвати, пропала, фу – и нету, безо всякого колдовства. А теперь вот и мы исчезнем-с-лица-земли. Проклятие исчезновений, дорогие дети, несомненно, просочилось в вас. Нет, что до моей вины, то я наотрез отказываюсь взглянуть на вещи шире; мы находимся слишком близко к тому-что-происходит, нету обзора, перспективы; позже, может быть, аналитики расскажут, зачем и как; приведут сопутствующие экономические параметры и политическую подоплеку, но теперь мы сидим слишком близко к экрану, изображение покрывается зернью, и возможны только субъективные суждения. Так вот: я, лично я, сгораю со стыда, стою, понурив голову. Дорогие дети, простите. Нет, я не ожидаю, чтобы вы простили меня.

Политика, дети, даже в лучшие времена – грязная штука. Нам бы избегать ее, мне бы и не заикаться никогда о цели; я прихожу к выводу, что уединенная, мелкая, частная жизнь предпочтительней непомерно раздутой, макрокосмической деятельности. Слишком поздно. Горю уже не поможешь. Что нельзя вылечить, то нужно перетерпеть.

Хороший вопрос, дети: что именно предстоит нам претерпевать? Зачем нас сбили здесь в кучу, свезли сюда одного за другим, почему колодки и цепи стягивают наши выи? А то и вовсе причудливые приспособления (если верить шепчущим стенам): тот-кто-может-парить-над-землей, прикован за щиколотки к кольцам, вделанным в пол; оборотню надели намордник; тому-кто-может-уйти-в-зеркала, дают напиться через дыру в консервной банке, чтобы не удрал сквозь отражающую поверхность питья; той-чья-красота-смертоносна, натянули на голову мешок, и у неотразимых красоток из Бода лица тоже закрыты пластиковыми пакетами. Один из нас может грызть металл, поэтому его голова зажата в тиски, которые размыкают лишь на время кормления… что же уготовано нам? Что-то скверное, дети. Я пока не знаю что, но оно приближается. Дети, мы тоже должны подготовиться.

Слушайте и передавайте дальше: некоторые из нас скрылись. Я чую сквозь стены, кого с нами нет. Хорошая новость, дети! Они не сумели захватить всех нас. Нет здесь, например, Сумитры, странника во времени. О глупость юных лет! Какие мы были дураки, что не поверили ему тогда! Он блуждает, наверное, по более счастливым дням своей жизни, он

навсегда разминулся с поисковым отрядом. Нет, не завидуйте ему; правда, и мне иногда так хочется удрать в прошлое, в те дни, когда я, всеобщий любимец, зеница ока, младенцем совершал триумфальное шествие по дворцам Уильяма Месволда. О коварная, всех нас подстерегающая тоска по временам больших возможностей, временам доисторическим, похожим на улицу за Главным почтамтом в Дели, широкую в начале, а затем сужающуюся до тупика! – но мы с вами здесь, а от взгляда в прошлое скудеет дух, так что давайте просто порадуемся, что некоторые из нас на свободе!

А некоторые мертвы. Мне рассказали о Парвати, на чьи черты до самого конца накладывалось крошащееся, призрачное лицо Джамили. Нет, нас больше не пятьсот восемьдесят один человек. Дрожа на декабрьском морозе, сколько нас сидит в этих стенах и ждет? Я вопрошаю свой нос, и он отвечает: четыреста двадцать, число мошенничества и обмана. Четыреста двадцать в тюрьме у вдов; и еще один, обутый в тяжелые ботинки, ходит чеканя шаг, вокруг приюта – я чую, как близится-удаляется его вонь, смрадный след предательства! – майор Шива, герой войны, Шива-крепкие-коленки, сторожит нас. Довольно ли им будет четырехсот двадцати? Дети, я не знаю, долго ли они будут ждать.

…Нет, вы смеетесь надо мной, хватит, не надо так шутить. Как, каким чудом сохранилось, откуда взялось это добродушие, эта благожелательность в ваших речах, передаваемых от стенки к стенке? Нет-нет, вы должны меня осудить, немедленно и без права апелляции – так не мучьте же меня бодрыми, радостными приветствиями, которые я слышу от вас от всех, заключенных в одиночных камерах; время ли сейчас, место ли здесь для «салям», «намаскар»[406], «как жизнь?» Дети, до вас еще не дошло: они могут сделать с нами все что угодно, все – нет, что вы такое говорите, как это понимать: что-они-могут-нам-сделать? Хотите, я расскажу вам, друзья мои: стальные прутья очень больно бьют по щиколоткам; ружейные приклады оставляют синяки на лбу. Что они могут сделать? Сунуть электрический провод вам в задницу, дети; и это не единственный вариант; можно еще подвесить за ноги или применить свечу – о мягкий, золотистый, романтический отблеск свечей! – не так уж она уютна, свеча, когда ее, зажженную, подносят к коже! Так прекратите же, какая уж тут дружба, разве вам не страшно? Разве вам не хочется пинать, давить, топтать меня, пока не останутся одни ошметки? Зачем без конца шепотом вспоминать прошлое, тосковать по былым спорам, по столкновениям идей и вещей, зачем вы дразните меня вашим спокойствием, вашими нормальными реакциями, вашей способностью подняться-над-обстоятельствами? Откровенно говоря, я озадачен, дети: как вы, двадцатидевятилетние, можете радоваться друг другу, кокетничать, перешептываться? Это ведь не одно из наших собраний, черт побери!

Дети, дети, простите меня. Признаюсь вам: в последнее время я сам не свой. Я был буддой, и призраком в корзинке, и грядущим-спасителем-нации. Салем очертя голову кидался в тупики, натыкался на стены, у него были серьезные проблемы с реальностью с тех самых пор, как плевательница упала с неба, как месяц-яс… пожалейте меня, я даже ее, эту плевательницу, потерял. Но я опять заврался, я вовсе не хотел бить на жалость, я хотел сказать – я, кажется, теперь понял: это я, а не вы, не могу вникнуть в происходящее. Невероятно, дети, мы когда-то и пяти минут не могли проговорить без разногласий; детьми мы спорили-боролись-разделялись-выражали недоверие – порывали друг с другом, а теперь мы опять вместе, мы едины, мы все как один! Что за дивная ирония: Вдова засадила нас сюда, чтобы сломить, а на самом деле свела всех вместе! О самодовлеющая паранойя тиранов… и правда, что они могут с нами сделать, теперь, когда мы все на одной стороне, нас не разделяет ни соперничество языков, ни религиозные предрассудки: в конце концов, нам уже двадцать девять, я мог бы уже и не называть вас детьми!.. Да, вот он, оптимизм, вот она, эта зараза: настанет день, и Вдове придется выпустить нас, и тогда, тогда, вот увидите, мы образуем – ну, не знаю, – новую политическую партию, да, Партию Полуночи, и какие политики одолеют тех, кто множит рыб и превращает простые металлы в золото? Дети,

406

что-то рождается здесь, в мрачную годину нашего плена; пусть Вдовы беснуются сколько угодно; в единстве – залог победы! *Дети, мы победим!*

Слишком мучительно. Оптимизм расцвел, будто роза на куче дерьма: мне больно вспоминать об этом. Вот и довольно, остальное я позабыл. Нет! Нет так нет, ладно, вспомню… Что хуже стальных прутьев-кандалов-колодок-свечей, поднесенных-к-коже? Что тяжелей вырывания ногтей и голода? Раскрою самую тонкую, самую изощренную уловку Вдовы: вместо того, чтобы мучить нас, она дала нам надежду. А это значит: оставалась какая-то вещь – нет, не «какая-то», а самая прекрасная в мире! – которую она могла у нас отобрать. И теперь очень скоро мне придется описывать, как нас отрезали от надежды.

Эктомия (полагаю, с греческого) – отрезание. К этому слову медицинская наука прибавляет самые разные префиксы: аппендэктомия, тонзиллэктомия, мастэктомия, тубэктомия, вазэктомия, тестэктомия, гистерэктомия. Салем хотел бы прибавить совершенно бесплатно, задаром, просто так еще один пункт к данному каталогу иссечений; этот последний термин, однако, принадлежит скорее истории, хотя медицинская наука имеет и имела к нему отношение:

Сперэктомия – выкачивание надежды.

В Новый год у меня побывала посетительница. Скрипнула дверь, зашуршал дорогой шелк. Узор на платье: зеленый и черный. Очки зелены, туфли черным-черны… В газетах об этой особе говорили: «великолепная девушка с пышными, раскачивающимися бедрами… она управляла ювелирным магазином до того, как заняться общественной работой… во время чрезвычайного положения ей полуофициально была поручена программа по стерилизации». Но я зову ее по-своему: для меня она – Рука Вдовы[407]. Которая одного за другим, и дети, и далее везде, и рвутся-рвутся шарики-мякиши… зелена-черна, она вплыла ко мне в камеру. Дети, начинается. Готовьтесь, дети. Будем едины. Пусть Рука Вдовы сделает за Вдову ее работу – но потом, потом… думайте о будущем. О настоящем думать невыносимо… и она, мягко, вкрадчиво: «По сути дела, видишь ли, вопрос упирается в Бога».

(Вы слышите, дети? Передайте дальше.)

– Индийский народ, – поясняет Рука Вдовы, – поклоняется госпоже, как божеству. А индийцы способны поклоняться только одному Богу.

Но я ведь вырос в Бомбее, где Шива – Вишну – Ганеша – Ахурамазда[408]– Аллах и несметное количество прочих имели свою паству… «А что вы скажете, – возражаю я, – о пантеоне из трехсот тридцати миллионов богов – и это только в индуизме?[409]А ислам, а бодхисаттвы?..»[410]И слышу ответ: «Ну, конечно! Боже милостивый, *миллионы* богов, ты прав! Но все они – проявления того же самого ОМ. Ты мусульманин: ты знаешь, что такое ОМ? Так вот: для масс наша госпожа – воплощение ОМ».

Нас четыреста двадцать; каких-нибудь 0,00007 процента от шестисотмиллионного населения Индии. Для статистики мы ничего не значим; даже если сосчитать, сколько процентов мы составляем от подвергнутых аресту тридцати (или двухсот пятидесяти) тысяч, получится всего-навсего 1,4 (или 0,168) процента! Но Рука Вдовы поведала мне, что тот, кто претендует на роль высшего существа, более всего боится других потенциальных божеств, поэтому, поэтому и только поэтому нас, волшебных детей полуночи, ненавидела, боялась, погубила Вдова, которая не довольствовалась ролью премьер-министра Индии, которая стремилась также стать Деви, Богиней-Матерью в самом грозном ее обличье, обладательницей божественной шакти, многоруким, многоногим божеством, причесанным на прямой пробор, с шизофренически окрашенными волосами… Так я узнал наконец смысл всего происходящего в этом рассыпающемся приюте вдов, чьи груди избиты до синяков.

407

408

409

410

Кто я? Кем мы были? Мы были – есть – пребудем богами, которых у вас еще не бывало. Но и чем-то еще; чтобы объясниться, я должен наконец приступить к самому страшному.

А теперь как можно скорее – иначе это так никогда и не разъяснится – расскажу, что в первый день нового 1977 года великолепная девушка с раскачивающимися бедрами сообщила мне, что – да, им вполне довольно четырехсот двадцати, они убедились, что сто тридцать девять человек умерли, лишь какая-то горстка успела скрыться, так что пора начинать «чик-чик», будет анестезия, и счет до десяти, числа на марше, один-два-три, и я шепчу в стену – пусть их, пусть их, пока мы живы и мы вместе, кто устоит против нас? … И кто повел нас, одного за другим, в подвальную комнату, где – ведь мы не звери, сэр – установлены кондиционеры, и стол, и лампа над столом, и снуют доктора-медсестры, зеленые и черные, халаты зелены, глаза черны… кто, с узловатыми, неодолимыми коленками, провел меня к месту моей погибели? Но вы уже знаете, можете догадаться, в этой истории только один герой войны; я не могу спорить с его коленками, брызжущими ядом, и иду туда, куда он велит… и вот я пришел, и великолепная девушка с пышными, раскачивающимися бедрами говорит: «В конце концов, тебе ли жаловаться, не станешь же ты отрицать, что однажды вообразил себя Пророком?» – потому что им было известно все, Падма, все-все; меня положили на стол, и маска опустилась на лицо, и счет-до-десяти, и цифры чеканят шаг: семь-восемь-девять…

Десять.

И: «Боже милостивый, он все еще в сознании; будь паинькой, считай до двадцати…»

…Восемнадцать девятнадцать двад…

Нами занялись хорошие врачи: они ничего не оставили на волю случая. Не для нас простая ваз– или тубэктомия, которой подвергали кишащие толпы; ибо сохранялся шанс, один маленький шанс, что операция окажется обратимой… Нам произвели необратимые иссечения: яички были вынуты из сумок, и матки извлечены раз и навсегда.

Тест– и гистерэктомированные, дети полуночи лишились возможности воспроизвести себя… но то был только побочный эффект, ибо нами занялись в самом деле замечательные доктора, и они вынули из нас не только это: надежду тоже отняли, и я сам не знаю, как это случилось, потому что цифры прошли по мне строевым шагом, я отключился, я не мог больше считать, могу вам рассказать только, что по истечении восемнадцати дней, во время которых осуществлялись операции по отуплению, в среднем по 23,33 ежедневно, мы потеряли не только наши шарики и коробочки, но и другие вещи тоже: в этом смысле мне больше повезло, ибо верхний дренаж уже отнял у меня дарованную полуночью телепатию, мне было больше нечего терять, а чувствительность носа никак невозможно выкачать… что же до остальных, тех, кто явился в приют во всеоружии своих магических даров, то их после анестезии ждало жестокое пробуждение, и шепот, проницавший стены, передавал весть об их погибели, слышался жалостный плач детей, потерявших волшебную силу: она отняла эту силу у нас, великолепная, с пышными, раскачивающимися бедрами. Она затеяла операцию по полному уничтожению; теперь мы стали ничем, какие-то жалкие 0,00007 процента, теперь рыбы не множились, и простые металлы не преображались; канули в небытие возможности полета, и ликантропии[411] и тысяча-и-одно чудесное обетование судьбоносной полуночи.

Нижний дренаж: необратимая операция.

Кем мы были? Нарушенными обетованиями, данными лишь для того, чтобы их нарушить.

А теперь я должен рассказать вам о запахе.

* * *

411

Да, вы должны услышать все: пусть это будет чересчур, пусть мелодраматично, как в бомбейском кино, вы должны в это погрузиться, вы должны *увидеть!* Вот что почуял Салем 18 января 1977 года: что-то жарилось на железной сковороде, что-то мягкое, неназываемое, приправленное куркумой-кориандром-тмином-и-шамбалой[412]… едкие, всепроникающие испарения того-что-было-иссечено, что готовилось на слабом, медленном огне.

Когда все мы, четыреста двадцать, претерпели эктомию, мстительная Богиня повелела, чтобы иссеченные части были приготовлены с луком и острым зеленым перцем и скормлены бродячим псам Бенареса. (На самом деле произвели четыреста двадцать одну эктомию, потому что один из нас, тот, кого мы называли Нарада, или Маркандайя, обладал способностью изменять пол; его, или ее, пришлось прооперировать дважды).

Нет, доказать я ничего не могу. Улики развеялись дымом: что-то скормили бродячим псам, а позже, 20 марта, мать с двухцветными волосами и ее любимый сынок сожгли папки со списками.

Но Падма знает, что у меня больше не получается; Падма, которая однажды вскричала во гневе: «Боже ж ты мой, да какой от *тебя* толк как от *любовника?»* По крайней мере, хоть это можно подтвердить: в лачуге Картинки-Сингха я накликал беду, соврав насчет своей импотенции; и предупредить-то меня предупредили, ибо он сказал: «Что угодно может стрястись, капитан». Оно и стряслось.

Иногда мне кажется, будто я живу уже тысячу лет, или (поскольку даже сейчас не дает мне покоя забота о форме) – тысячу и один год.

Рука Вдовы при ходьбе раскачивала бедрами и была когда-то владелицей ювелирной лавки. Я начинал свой рассказ с драгоценностей: в 1915 году в Кашмире сверкали рубины и алмазы. Мои прадед и прабабка вели торговлю самоцветами. Снова форма; да, опять совпадения очертаний, и никуда от них не деться.

Из стены в стену – унылый, безнадежный шепот потрясенных, ошеломленных четырехсот девятнадцати; а в это время четыреста двадцатый не может удержаться – всего единожды, на один короткий миг простительно произвести сотрясение воздуха словесами – от вопроса… во всю силу своего голоса я ору: «А он? Майор Шива, предатель? О нем вы не забыли?» И ответ великолепной-с-пышными-раскачивающимися-бедрами: «Майор добровольно подвергся вазэктомии».

И вот в своей камере, во тьме кромешной, Салем начинает хохотать, неудержимо, от всего сердца: то не был злобный смех над коварным соперником, да и слово «добровольно» не хотелось бы опошлять цинизмом; нет, я вспомнил истории, которые рассказывала мне Парвати, или Лайла: легенды о распутстве героя войны, о легионах бастардов, растущих в неиссеченных лонах знатных дам и уличных женщин; я хохотал потому, что Шива, повергший в прах полуночных детей, сыграл и другую роль, для которой был предназначен самим своим именем: взял на себя функцию Шивы-лингама, Шивы-производителя, так что в этот самый момент в будуарах и лачугах произрастает новое племя, зачатое тем из детей полуночи, кто более всех был исполнен тьмы – и за этим племенем будущее. Всякой Вдове случается забыть о чем-нибудь важном.

В конце марта 1977 года меня неожиданно выпустили из приюта воющих вдов, и я стоял моргая, как филин, от солнечного света, не зная, что происходит вокруг. Потом, когда я вспомнил, как следует задавать вопросы, я обнаружил, что 18 января (в день окончания «чик-чик», когда что-то мягкое жарилось на железной сковороде: какое еще вам нужно доказательство того, что именно нас, четырехсот двадцати, Вдова боялась более всего?) премьер-министр Индира, ко всеобщему изумлению, провела всеобщие выборы. (Но теперь, когда вы все узнали о нас, вам легче догадаться, отчего она проявила такую

412

самонадеянность). Однако в тот день я и понятия не имел ни о ее сокрушительном поражении, ни о сгоревших папках; только позже я узнал, что поруганные надежды нации были возложены на старого дурня, который питался фисташками и арахисом и ежедневно выпивал по стакану «собственных вод». Пьющие мочу пришли к власти. Партия «Джаната», один из лидеров которой лежал прикованный к искусственной почке[413], вовсе не показалась мне (когда я услышал о ее победе) зарею нового дня; но, может быть, я попросту избавился наконец-то от вируса оптимизма, а многие другие, с болезнью в крови, чувствовали по-иному. Так или иначе, в тот мартовский день мне обрыдла, более чем обрыдла, политика.

Четыреста двадцать стояли, моргая на солнечный свет и скопление оврагов Бенареса; четыреста двадцать взглянули друг на друга и увидели в глазах друг у друга память о холощении; и, не вынеся этого зрелища, пробормотали слова прощания и разошлись в последний раз, растворились в целительной безымянности толп.

А что же Шива? Майор Шива при новом правительстве был посажен на гауптвахту, но оставался там недолго, потому что к нему пустили одного посетителя: Рошанару Шетти – подкупом, женскими чарами, хитростью проложила дорогу в его камеру та самая Рошанара, что на бегах в Махалакшми излила ему в уши яд, а теперь была доведена до умоисступления сыном-бастардом, который не желал говорить и не делал ничего против своей воли. Жена магната сталелитейной промышленности вынула из сумочки громадный револьвер, принадлежащий мужу, и выстрелила герою войны в сердце. Смерть, говорят, наступила мгновенно.

Майор умер, так и не узнав, что когда-то, в шафраново-зеленом родильном доме, среди мифологического хаоса незабываемой полуночи, миниатюрная, обезумевшая от любви женщина поменяла ярлычки на младенцах и отняла у него то, что ему причиталось по праву рождения, а именно мир на вершине холма, теплый кокон из денег, накрахмаленных белых одежд и вещей, вещей, вещей – мир, которым ему так хотелось владеть.

А Салем? Потерявший сцепление с историей, осушенный сверху-и-снизу, я направился обратно в столицу, понимая, что век, который начался той далекой полуночью, каким-то образом подошел к концу. Как я ехал? Сперва ждал на платформе вокзала в Бенаресе, или Варанаси, купив всего лишь перронный билет, а после, когда поезд тронулся, устремившись на запад, вскочил на ступеньки купе первого класса. И наконец-то понял, что это значит – цепляться за поручни, борясь за жизнь, и чувствовать, как горят глаза от сажи-пыли-золы, и в панике барабанить в дверь, и вопить: «Эй, махарадж! Открой! Пусти меня, великий господин, махарадж!» А там, внутри, чей-то голос произносит знакомые слова: «Ни в коем случае не открывайте. Это – зайцы, безбилетники, только и всего».

В Дели Салем задает вопросы. Вы не видали, где? Не знаете ли вы, удалось ли магам? Знаком вам Картинка-Сингх? Почтальон, в глазах которого меркнет воспоминание о заклинателях змей, указывает на север. Позже некий жеватель бетеля с почерневшим языком посылает меня обратно – туда, откуда я пришел. Потом след уже не петляет; люди улицы выводят меня на правильный путь. Парень «Диллидекхо» с кинетоскопом, дрессировщик мангуст-и-кобр в бумажной шапке, похожей на детский кораблик, девушка в кассе кинотеатра, втайне тоскующая по временам, когда она в детстве помогала фокуснику… словно тот рыбак, все они указуют перстами. На запад, и запад, и запад, пока наконец Салем не приходит в автобусный парк Шадипур, на самую западную окраину города. Голодный-жаждущий-слабый-больной, едва уворачиваясь от автобусов, с ревом выезжающих и въезжающих в ворота парка – ярко, весело раскрашенных автобусов, с надписями на капотах типа «*На все Божья воля!*» и такими девизами, как «*Слава Богу!*» на задней части. Он подходит к кучке драных палаток, притулившихся под бетонным железнодорожным мостом, и видит, как в тени бетонных пролетов великан-заклинатель змей

413

расплывается в широкой улыбке, показывая все свои гнилые зубы, а на руках у него – одетый в футболку с розовыми гитарами мальчонка неполных двух лет, двадцати одного месяца, у которого уши, как у слона, глаза огромные, будто блюдца, а лицо серьезное и строгое, словно могильная плита.

Абракадабра

По правде говоря, я соврал насчет смерти Шивы. Моя первая отъявленная ложь, хотя и мое описание чрезвычайного положения как полуночи, длившейся шестьсот тридцать пять дней, тоже, наверное, можно счесть чересчур романтическим и с легкостью опровергнуть всеми доступными данными метеорологических служб. Как бы то ни было, что бы вы об этом ни думали, ложь нелегко дается Салему, и я, делая такое признание, сгораю от стыда… Так зачем же нужна эта единственная бесстыдная ложь? (Потому что на самом деле я понятия не имею, куда направился мой соперник-подменыш из приюта вдов; он может быть в преисподней или в придорожном борделе – для меня разницы никакой). Падма, постарайся понять: я все еще боюсь его. Тяжба наша еще не кончилась, и каждый божий день я трепещу при мысли, что герой войны возьмет да и раскроет как-нибудь тайну своего рождения – разве не показали ему папку с тремя роковыми буквами? – и тогда, доведенный до неистовства невозвратимой потерей своего прошлого, он станет гоняться за мной, чтобы придушить, отомстить… может быть, так все и кончится, и жизнь мою сомнет, раздавит пара сверхъестественных, безжалостных коленок?

Вот поэтому-то я и соврал; впервые поддался искушению, которому подвергается любой, кто пишет автобиографию, иллюзии того, что раз уж прошлое существует только в воспоминаниях да в словах, которые напрасно тщатся замкнуть его в себе, то можно воссоздать события, просто сказав, будто таковые произошли. Мой нынешний страх вложил револьвер в руку Рошанары Шетти; при том, что призрак командора Сабармати заглядывал через мое плечо, я заставил ее подкупом – женскими чарами – хитростью проложить путь в камеру… короче, воспоминание об одном из самых ранних моих преступлений создало (вымышленные) обстоятельства для последнего.

Довольно признаний: теперь я нахожусь в опасной близости к концу моих записок. Ночь; Падма приняла привычную позу; на стене, прямо над моей головой, ящерка заглотила муху; мучительная августовская жара, от которой мозги расплавляются, превращаются в маринад – он вскипает, весело пузырится между ухом и ухом; пять минут назад последняя электричка пронеслась, желтея-коричневея, на юг, к станции Черчгейт, так что я не расслышал слов Падмы, под покровом робости прячущих решимость, столь же цепкую и неодолимую, как масляная пленка. Я вынужден попросить, чтобы она повторила, и мускулы недоверия на ее ляжках начинают вибрировать. Я должен сразу огласить, что наш навозный лотос предлагает мне брак – «и тогда я смогу присматривать за тобой, не сгорая со стыда перед добрыми людьми».

Этого-то я и боялся! Но слова прозвучали, и Падма (могу поручиться) не станет слушать никаких возражений. Я защищаюсь, словно девственница, вогнанная в краску: «Так неожиданно! А как насчет эктомии, насчет того, что скормили бродячим псам? Тебе это все равно? Ох, Падма, Падма, есть еще то-что-гложет-кости, ты и оглянуться не успеешь, как останешься вдовой! А еще подумай о проклятии насильственной смерти, подумай о Парвати – ты уверена, ты уверена, уверена?..» Но Падма, стиснув зубы, закоснев в единожды принятом, неколебимом, величественном решении, отвечает: «Ты меня послушай, господин, ты мне голову не морочь! Брось эти выдумки, эти глупые речи. Нужно подумать о будущем». Медовый месяц намечается в Кашмире.

В палящем зное решимости Падмы меня посещает безумная мысль – а вдруг это все-таки возможно, вдруг окажется, что она способна феноменальной силой своей воли изменить конец моей истории, и трещины – сама смерть – сдадутся под напором ее неутомимой заботы… «Нужно подумать о будущем», – вещает она, и может быть (в первый

раз с тех пор, как я начал это повествование, я позволяю себе думать так), может быть, оно существует, это будущее! Бесконечное множество новых концов роится у меня в голове, жужжит, словно мошки, порожденные жарой… «Давай поженимся, господин», – предложила она, и радостное волнение, словно стая мотыльков, трепещет внутри, будто бы она произнесла некое кабалистическое заклинание, некую наводящую ужас абракадабру и сняла с меня чары судьбы – но реальность теребит меня снова. Любовь вовсе не побеждает все на свете, разве только в бомбейских фильмах; «крик-крэк-крак» не одолеешь какой-то церемонией, а оптимизм – просто болезнь.

– Может, в твой день рождения, а? – предлагает она. – Тридцать один год – возраст мужчины, а мужчине полагается иметь жену.

Как ей об этом сказать? Как поведать, что у меня другие планы на этот день; я был, есмь и пребуду во власти помешавшейся на форме судьбы, которая обрушивает на меня удары по знаменательным дням… иными словами, как я скажу ей о смерти? Не могу; вместо этого я очень мягко, всячески выражая свою благодарность, принимаю ее предложение. И в этот вечер я снова становлюсь женихом; не судите меня строго, даже если я и позволил себе – и моему просватанному лотосу – это последнее, напрасное, ни к чему не обязывающее удовольствие.

Падма, предложив пожениться, выказала готовность отмахнуться от всего, что я ей рассказал о своем прошлом, как от «выдумок», «глупых речей»; и когда я вернулся в Лели и обнаружил Картинку-Сингха, сияющего, улыбающегося во весь рот под сенью железнодорожного моста, мне скоро стало ясно, что и чародеи понемногу теряют память. Переходя с места на место со своими блуждающими трущобами, они порастеряли где-то способность удерживать прошлое, и теперь сила суждения покинула их – не с чем стало сравнивать то, что происходит, ибо они все забыли. Даже чрезвычайное положение кануло в прошлое, в Лету, и чародеи замкнулись в настоящем, словно улитки в своих домиках. Они и не заметили, как изменились; они забыли себя прежних; коммунизм, как испарина, просочился сквозь кожу, и его поглотила высохшая, кишащая ящерицами земля; они начали забывать свое искусство под напором голода, болезней, жажды и полицейских преследований, из которых (как всегда) и слагалось настоящее. Мне же подобная перемена в старых товарищах казалась почти непристойной. Салем прошел через амнезию и уяснил себе всю меру ее безнравственности; в его уме прошлое с каждым днем становилось все ярче, в то время как настоящее (связь с которым навсегда пресекли ножи) виделось тусклым, сумбурным, ни к чему не ведущим; я, помнивший каждый волосок на головах тюремщиков и хирургов, был глубоко возмущен нежеланием чародеев оглянуться назад. «Люди будто кошки, – сказал я своему сыну, – их ничему не научишь». Он выслушал меня с подобающей серьезностью, но ничего не изрек в ответ.

К тому времени, как я обнаружил призрачную колонию иллюзионистов, от туберкулеза, который мучил моего сына Адама Синая в прежние дни, не осталось и следа. Я, конечно же, был уверен, что болезнь исчезла с падением Вдовы; но Картинка-Сингх сказал мне, что благодарить за выздоровление Адама следует некую прачку по имени Дурга, которая кормила его грудью во время болезни: каждый день благотворная сила изливалась в мальчика из ее колоссальных сосков. «Уж эта Дурга, капитан, – воскликнул старый заклинатель змей, и голос его звучал так, что становилось ясно: на старости лет Картинка пал жертвой змеиных приворотов прачки. – Что за женщина!»

У этой женщины были мощные бицепсы; ее сверхъестественной величины груди извергали потоки молока, способные прокормить целые полки; и у нее, ходили темные слухи (хотя я подозреваю, что эти слухи она сама и распустила) было две матки. Сплетни и тары-бары переполняли ее, изливались наружу так же, как и молоко: каждый божий день добрая дюжина историй слетала с ее уст. Энергия ее, как и у всех ее товарок по ремеслу, была неисчерпаемой; выколачивая на камне душу из рубашек и сари, она словно бы делалась еще дородней, будто всасывала силу из одежды – а та становилась плоской, теряла пуговицы, гибла под градом ударов. Эта чудовищная баба забывала каждый прожитый день, едва он

кончался. С великой неохотой я согласился свести с ней знакомство; с великой неохотой пускаю я ее на эти страницы. Ее имя даже до того, как я встретился с ней, пахло новыми, свежими вещами; она представляла собой новизну, начало, наступление новых историй-событий-сложностей, а меня больше не интересовала новизна. Но поскольку Картинка-джи заявил мне, что собирается на ней жениться, другого выхода у меня нет; я разделаюсь с ней так быстро, как только позволит мне точность изложения.

Итак, вкратце: прачка Дурга была суккубом! Ящерицей-кровососом в человеческом обличье! С Картинкой-Сингхом она сделала то же, что и с рубашками, которые клала на камень: одним словом, она выбила из него душу, он у нее стал плоским, как блин. Увидев ее, я понял, почему Картинка-Сингх так постарел и опустился; лишенный зонта гармонии, в тень которого мужчины и женщины приходили за советом, он, казалось, усыхал с каждым днем; надежда на то, что когда-нибудь он станет вторым Колибри, таяла у меня на глазах. А Дурга, напротив, расцветала; сплетни ее становились все более непристойными, голос – громким и резким, и в конце концов она стала напоминать мне Достопочтенную Матушку в ее последние годы, когда та раздавалась вширь, а дед съеживался. Эта полная ностальгии реминисценция, эта память о деде и бабке было единственным, что интересовало меня в громогласной, крикливой прачке.

Но нельзя отрицать щедрости ее молочных желез: Адам в двадцать один месяц все еще кормился из ее грудей и был вполне доволен. Сперва я подумывал, не отлучить ли его, но потом вспомнил, что мой сын делал только то и в точности то, чего он хотел, и решил не настаивать. (И, как выяснилось, был прав). Что же до двойной матки, у меня не было желания узнать, правда это или нет, и я не стал допытываться.

Прачку Дургу я упоминаю более всего потому, что именно она как-то вечером, во время ужина, когда на каждого пришлось по тридцать семь зернышек риса, первой предсказала мне мою смерть. Я, выведенный из терпения бесконечным потоком новостей и сплетен, вскричал: «Дурга-биби, кому интересны ваши россказни!» А она ответила невозмутимо: «Салем-баба?, я к вам по-хорошему, потому что Картинка-джи говорит, будто вы в тюрьме всякого натерпелись; но, по правде говоря, сейчас-то вы просто бездельничаете, лодыря гоняете. Сами должны понять: когда человеку неинтересно слушать, что вокруг происходит нового, он открывает дверь Черному Ангелу».

И хотя Картинка-Сингх произнес примиряюще: «Ладно тебе, капитанка, не сердись на парня», – стрела, выпущенная прачкой Дургой, попала в цель.

Исчерпавший силы, осушенный, я чувствовал по возвращении, как пустота дней обволакивает меня плотной и вязкой пеленой; и хотя наутро Дурга, возможно, искренне раскаиваясь в своих жестоких словах, предложила мне, дабы восстановить силы, пососать ее левую грудь, пока мой сын приник к правой – «может, это прогонит дурные мысли прочь» – знаки бренности и упадка заполонили мой ум; а потом я обнаружил зерцало смирения в автобусном парке Шадипура и окончательно убедился, что кончина моя близка.

То было кривое зеркало, установленное над въездом в ангар; когда я бесцельно шатался по автопарку, внимание мое привлекли мигающие блики, солнечные зайчики. Я вдруг осознал, что много месяцев, может быть, лет не смотрелся в зеркало, пересек площадку и остановился у двери ангара, прямо под ним. Поглядев наверх, в это зеркало, я увидел себя преображенным в большеголового, с тяжелым торсом карлика; униженное, укороченное отражение показало мне, что волосы у меня седые, словно дождевые облака; карлик в зеркале, с лицом, изборожденным морщинами, и усталым взглядом, живо напомнил мне моего деда Адама Азиза в тот день, когда он объявил всем нам, что видел Бога. В то время все напасти, изведенные под корень Парвати-Колдуньей, снова (вследствие дренажа) воротились, чтобы досаждать мне; девятипалый, с рожками на лбу, с тонзурой монаха, с родимыми пятнами на лице, кривоногий, нос-огурцом, оскопленный, а теперь еще и преждевременно постаревший, я узрел в зерцале смирения человека, которому история уже ничего не может сделать – гротескное существо, которое рок, давно исчисленный, исколотил до потери чувств да и выпустил на волю; здоровым и тугим ухом услышал я, как шествует ко

мне тихими стопами Черный Ангел смерти.

На молодом-старом лице карлика в зеркале появилось выражение глубокого облегчения.

Что-то я становлюсь слишком мрачен; пора сменить тему… Ровно за двадцать четыре часа до того, как насмешка парня, продающего пан, подвигла Картинку-Сингха на поездку в Бомбей, мой сын Адам Синай принял решение, позволившее нам сопровождать заклинателя змей в этом путешествии: в одночасье, без предупреждения, к вящей досаде кормилицы-прачки, которая вынуждена была сцеживать оставшееся молоко в пятилитровые цилиндрические контейнеры, лопоухий Адам сам отлучил себя от груди, безмолвно отказываясь сосать и требуя (тоже без слов) твердой пищи: рисовой каши-разваренной лапши-печенья. Он словно бы решил позволить мне подойти к моей собственной, теперь уже очень близкой, финишной прямой.

Немая автократия почти-двухлетнего ребенка: Адам не говорил нам, когда он голоден, или хочет спать, или желает отправить свои естественные надобности. Он ждал, пока мы догадаемся сами. Постоянное внимание, которого он требовал, было, наверное, одной из причин того, что я, несмотря на все признаки упадка и гибели, оставался жив… неспособный после моего освобождения ни на что другое, я только и делал, что наблюдал за своим сыном. «Говорю тебе, капитан: хорошо, что ты вернулся, – шутил Картинка-Сингх, – иначе этот мальчонка всех нас превратил бы в нянек». Я лишний раз убедился, что Адам принадлежит к следующему поколению волшебных детей, которое будет гораздо крепче первого – не искать свою судьбу в звездах и пророчествах станут они, а ковать ее на безжалостном огне непреклонной воли. Вглядываясь в глаза этого ребенка, который одновременно не-был-мне-сыном и был моим наследником в большей мере, чем могло бы быть любое дитя, рожденное от моей плоти, я находил в его пустых, чистых зеницах второе зерцало смирения, и оно показывало мне, что с этих самых пор роль моя становится второстепенной, как и у всякого никому не нужного, велеречивого старца: традиционная роль хранителя воспоминаний о прошлых днях, рассказчика-истории… интересно, подумал я, тиранят ли так же беззащитных взрослых другие бастарды Шивы, рассеянные по всей стране, и вторично предстало перед моим внутренним взором племя устрашающе могучих детишек: они растут, ждут, прислушиваются, предвкушая то время, когда весь мир станет для них игрушкой. (Как можно будет впоследствии распознать этих детей: их пупки, их бимби, выпирают наружу, а не вдавлены внутрь).

Но пора торопить события: насмешка, последний поезд, спешащий по рельсам на юг-на юг-на юг, финальное сражение… в тот день, который последовал за отлучением Адама от груди, Салем пошел с Картинкой-Сингхом на Коннот-плейс[414]ассистировать в заклинании змей. Прачка Дурга согласилась взять моего сына с собой на реку: Адам провел тот день, наблюдая, как женщина-суккуб выбивает силу из одежды богачей и всасывает ее в себя. В тот судьбоносный день, когда тепло возвратилось в город, словно пчелиный рой, меня снедала тоска по раздавленной бульдозерами серебряной плевательнице. Картинка-Сингх принес мне взамен некое жалкое ее подобие – пустую жестянку фирмы «Далда Ванаспати», и я развлекал своего сына, демонстрируя сноровку в тонком искусстве «плюнь-попади», пронзая длинными струями бетелевого сока насыщенный сажей воздух колонии фокусников, но утешиться все же не мог. Вопрос: отчего такая скорбь по простому вместилищу слюней? Отвечаю: не следует недооценивать плевательниц. В гостиной рани Куч Нахин она, изящная, позволяла интеллектуалам приобщиться к искусству масс; сверкая в подполье, она превращала нижний мир Надир Хана во второй Тадж-Махал; собирая пыль в старом жестяном сундуке, она все же присутствовала во всей моей истории, тайно впитывала в себя происшествия в бельевых корзинах, явления призраков, замораживание-размораживание, дренаж, изгнания; упав с небес, как месяц ясный, она совершила мое преображение. О

414

плевательница-талисман! О благословенное, утраченное вместилище памяти, не только слюны! И какой человек, наделенный чувствительным сердцем, не проникнется моим горем, моей смертельной тоской от ее утраты?

Рядом со мной на заднем сиденье битком набитого автобуса сидел Картинка-Сингх, как ни в чем не бывало поставив себе на колени корзинки со змеями. Пока мы тряслись в дребезжащем автобусе по городу, который тоже был переполнен воскресшими призраками древних, мифических Дели, Самый Прельстительный В Мире выглядел мрачным и подавленным, будто бы сражение в далекой темной комнате осталось уже позади… до моего возвращения никто не видел истинных, невысказанных страхов Картинки-джи – а он боялся, что стареет, что искусство его теряет блеск, что вскоре он, беспомощный, забывший свое ремесло, окажется без руля и ветрил в мире, которого не понимает: подобно мне, Картинка-Сингх держался за малыша Адама так, будто тот был факелом в длинном темном туннеле. «Чудный мальчишка, капитан, – сказал он мне однажды, – а какое достоинство: его ушей попросту не замечаешь».

Но в тот день моего сына не было с нами.

Запахи Нового Дели завладели мною на Коннот-плейс – аромат печенья с рекламы Дж.Б. Мангхарама, мрачный меловой дух осыпающейся штукатурки, а еще след трагедии, оставленный водителями такси, которые голодали, покорно следя за тем, как вздуваются цены на бензин; и запах зеленой травки из круглого сквера, расположенного посреди круговорота машин, смешанный с парфюмерной отдушкой жуликов, которые уговаривали иностранцев менять валюту в темных подворотнях, по курсу черного рынка… Индийский кофейный дом, из-под шатров которого доносилось беспрестанное лопотание, бесконечные сплетни и толки, испускал не столь уж приятную ауру новых, только что начавшихся историй: интриги-свадьбы-скандалы, чей душок плыл по воздуху вместе с запахом чая и пакора с острым перцем. Что еще почуял я на Коннот-плейс: где-то очень близко, рядом, стоявшую и просившую милостыню девушку с лицом, покрытым шрамами, ту, что некогда прозывалась Сундари-слишком-красивая; а еще потерю-памяти, и мысли-обращенные-в-будущее, и отсутствие-истинных-перемен… прекратив эти обонятельные изыскания, я сосредоточился на всепроникающих, простейших запахах мочи (человеческой) и самых разных сортов навоза.

Под колоннадой шикарного многоквартирного дома на Коннот-плейс, рядом с примостившимся на тротуаре букинистом, крохотную нишу занимал продавец пана. Он сидел, скрестив ноги, за прилавком из зеленого стекла, будто некое малое божество этой площади; я допускаю его на эти последние страницы потому, что он, хотя и испускал запах бедности, был на самом деле человеком состоятельным, ему принадлежал автомобиль «Линкольн Континенталь», припаркованный подальше от людских глаз, на Коннот-серкус; за машину он заплатил шальными деньгами, которые зарабатывал, торгуя контрабандными импортными сигаретами и радиоприемниками; каждый год он по две недели отдыхал в тюрьме, а остальное время выплачивал нескольким полицейским весьма приличное содержание. В тюрьме его принимали по-царски, но за своим зеленым прилавком он выглядел вполне безобидным, обычным, и было бы не так-то просто (если бы не преимущество чувствительного носа Салема) догадаться, что этот человек знает все обо всем, что бесконечная сеть контактов дает ему доступ к секретным сведениям… Я ощутил дополнительный, не лишенный приятности отголосок – подобного человека я знавал в Карачи, познакомился с ним во время моих прогулок на «Ламбретте»; я столь старательно вдыхал знакомые, вызывающие ностальгию запахи, что, когда этот тип заговорил, слова его застали меня врасплох.

Мы затеяли представление рядом с его нишей; пока Картинка-джи протирал свои флейты и напяливал на голову громадный шафрановый тюрбан, я исполнял роль зазывалы. «Все сюда, все сюда – единственный в жизни шанс – леди, люди, идите смотреть, идите смотреть! Кто перед вами? Не какой-нибудь бханги, не проходимец, ночующий в сточной канаве; это, граждане, леди и джентльмены, – Самый Прельстительный В Мире! Да, идите

смотреть, идите смотреть: его снимала компания «Истмен-Кодак Лимитед»! Ближе подходите, глядите веселей – КАРТИНКА-СИНГХ заклинает змей!»… Так я распинался и трепал языком, но тут заговорил продавец пана:

– Мне известно кое-что получше. Этот тип – не первый номер, о, нет, далеко не так. В Бомбее сыщется парень посильнее.

Вот как Картинка-Сингх узнал о существовании соперника; вот почему, не дав представления, направился он к вежливо улыбающемуся продавцу пана, извлек из глубин своего существа прежний повелительный тон и сказал: «Ты выложишь мне всю правду о том факире, капитан, или твои зубы провалятся через глотку и станут кусаться в животе». И продавец пана, ничуть не напуганный, зная, что трое полицейских притаились где-то поблизости, готовые броситься на защиту своих заработков, если возникнет таковая потребность, поведал нам шепотом тайны своего всеведения, рассказал, кто-когда-где, и наконец Картинка-Сингх произнес твердым голосом, за которым скрывался страх: «Я поеду в Бомбей и покажу этому типу, кто из нас лучший. В одном мире, капитаны, нет места двоим Самым Прельстительным».

Продавец бетелевых деликатесов деликатно пожал плечами и пустил струю слюны нам под ноги.

Словно волшебное заклинание, насмешки продавца пана отворили дверь, через которую Салем вернулся в город, где он впервые увидел свет, где обитала самая глубокая его ностальгия. Да, то был сезам-откройся, и когда мы вернулись к драным палаткам, что приютились под железнодорожным мостом, Картинка-Сингх покопался в земле и вырыл завязанный узелком носовой платок, припрятанный на черный день – выцветшую, испачканную тряпку, в которую он складывал гроши, чтобы обеспечить себе старость; и когда прачка Дурга отказалась ехать с ним, говоря: «Что ты себе вообразил, Картинка-джи, – я тебе богачка какая-нибудь, чтобы бездельничать да разъезжать туда-сюда?» – он повернулся ко мне, и в глазах его появилось что-то очень похожее на мольбу, и он позвал меня с собой, чтобы не пришлось ему вступить в самую тяжелую битву – в соревнование со старостью, не имея рядом друга… да, и Адам тоже слышал все это, своими болтающимися ушами он уловил ритм волшебства, я увидел, как загорелись его глаза, когда я согласился, а потом мы сели в вагон третьего класса и направились на юг-на юг-на юг, и в пятисложном, монотонном ямбе колес я уловил скрытое слово: «абракадабра, абракадабра, абракадабра», – пели колеса, везя нас домой-в-Бом.

Да, я навсегда оставил позади колонию фокусников, я держал путь – абракадабра, абракадабра – к самому сердцу ностальгии; мой город позволит мне прожить достаточно, чтобы написать эти страницы (и изготовить соответствующее число банок с маринадом); Адам, и Салем, и Картинка-джи втиснулись в вагон третьего класса, мы захватили с собой несколько корзин, перевязанных бечевой, и корзины эти своим беспрестанным шипением пугали набившуюся в вагон толпу, и в конце концов народ подался назад-назад-назад, подальше от грозных гадов, и мы расположились вольготно, с достаточными удобствами, а колеса выстукивали абракадабру для болтающихся ушей Адама.

Мы ехали в Бомбей, а пессимизм Картинки-Сингха все рос и ширился, пока не обрел телесное воплощение, которое лишь отдаленно напоминало старого заклинателя змей. В Матхуре какой-то американский юнец с прыщавым подбородком и выбритой наголо, голой, как яйцо, головой сел в наш вагон под нестройные вопли лоточников, продающих глиняных зверюшек и чалу-чай; он обмахивался веером из павлиньих перьев, и эта дурная примета вселила в Картинку-Сингха несказанное уныние. Пока бесконечная плоскость Индо-Гангской равнины разворачивалась за окном, бритоголовый американец толковал пассажирам о премудростях индуизма и начал даже учить их мантрам, протягивая вырезанную из ореха чашку для подаяний; Картинка-Сингх был слеп к столь примечательному зрелищу и глух к абракадабре колес. «Плохо дело, капитан, – делился он со мной своим унынием. – Этот парень из Бомбея, верно, молод и силен, и быть мне отныне

вторым Прельстительным В Мире». К тому времени, как мы доехали до станции Кота, запах беды, исходивший от веера из павлиньих перьев, настолько пропитал Картинку-Сингха, так страшно изглодал его изнутри, что, когда все вышли из вагона и направились в дальний конец платформы, чтобы помочиться, он не выказал ни малейшего желания последовать за остальными, словно бы и не испытывал такой потребности. У Ратламского Узла, пока мое радостное возбуждение все нарастало, он впал в некий транс – не сон, а прогрессирующий паралич пессимизма. «В таком состоянии, – подумал я, – он даже не сможет вызвать соперника на поединок». Проехали Бароду: без изменений. В Сурате, где были склады старой «Джон Компани», я понял: нужно поскорее что-нибудь предпринять, ибо абракадабра несла нас к Центральному вокзалу Бомбея, мы там окажемся с минуты на минуту, и тут я взял старую деревянную флейту Картинки-Сингха и заиграл на ней так жутко, так неумело, что змеи вились, трепетали в смертной муке, а юнец из Америки окаменел, прервав свои излияния; я произвел такой адский шум, что никто не заметил, как мы проехали Бассейн-роуд, Курлу, Махим; зато я одолел тлетворный дух павлиньих перьев; в конце концов Картинка-Сингх стряхнул с себя уныние и сказал с легкой усмешкой: «Лучше прекрати, капитан, дай-ка я поиграю, иначе кое-кто у нас помрет с тоски».

Змеи затихли в корзинах, а потом и колеса перестали петь; мы приехали:

Бомбей! Я стал на радостях тормошить Адама, я не смог удержаться от возгласа былых времен: «Домой-в-Бом!» – завопил я к изумлению американского юнца, который еще не слыхал такой мантры, – и снова, и снова, и снова: «Домой! Домой-в-Бом!»

На автобус – и вниз по Беллазис-роуд, к кольцевой дороге Тардео; мы ехали мимо парсов с ввалившимися глазами, мимо мастерских по ремонту велосипедов и иранских кафе; и вот справа возник Хорнби Веллард – где некогда прохожие видели, как у Шерри, приблудной суки, оставленной хозяевами, вывалились кишки! Где сделанные из фанеры силуэты борцов еще высились у входа на стадион Валлабхаи Патель! Мы тряслись на дребезжащем автобусе мимо регулировщиков под зонтиками от солнца, мимо храма Махалакшми – и вот она, Уорден-роуд! Плавательный бассейн Брич Кэнди! А вот, глядите-ка, магазины… но вывески поменялись: где «Рай Книголюбов» со стеллажами, полными комиксов о Супермене? Где прачечная Бэнд Бокс, где Бомбелли и его Шоколадки Длиною в Ярд? И, Боже мой, взгляните только: на вершине двухэтажного холма, где когда-то стояли увитые бугенвилией дворцы Уильяма Месволда и гордо взирали на море… взгляните на этого огромного розового монстра, на это здание, на перламутрово-конфетный небоскреб, обелиск женщинам Нарликара – он загородил собою все, он заслонил круглую площадку детства… да, то был мой Бомбей, но и не совсем мой, ибо вот мы доехали до Кемпова угла и обнаружили, что и рекламные щиты «Эйр Индиа» с маленьким раджою, и мальчик Колинос исчезли, исчезли навсегда, и сама компания Томаса Кемпа растворилась бесследно… эстакады перекрещивались там, где во время оно изготовлялись лекарства и эльф в хлорофилловой шапочке встречал проезжающих ослепительной улыбкой. Впав в элегическое настроение, я прошептал еле слышно: «Зубы Белые, Блестящие! Зубы Колинос Настоящие!» Но невзирая на заклинание, прошлое не хотело воскресать; мы продребезжали вниз по Гиббс-роуд и вышли неподалеку от Чаупати-бич.

Чаупати, по крайней мере, остался почти что прежним: грязная полоска песка, кишащая карманниками, бродягами, продавцами чанны-горячей-горячей-чанны, и кульфи, и бхельпури, и чуттер-муттер; но пройдя немного по Марин-драйв, я увидел, что натворили тетраподы. С земли, отвоеванной у моря консорциумом Нарликар, вздымались в небеса чудовищные громады, неся на себе странные, чужеродные имена: ОБЕРОЙ-ШЕРАТОН – кричала издалека яркая надпись. А где же неоновые вывески «Джипа»? «Пойдем, Картинка-джи, – изрек я наконец, притискивая Адама к груди, – Найдем то, что ищем, и покончим с этим; город изменился».

Что мне сказать о Клубе Полуночных Дерзаний? То, что он существует подпольно, тайно (хоть и известен знающему обо всем продавцу пана); на дверях его нет вывески, а

посещают его сливки бомбейского общества. Что еще? Ах да, управляет им некий Ананд (Энди) Шрофф, бизнесмен-плейбой, который едва ли не каждый день загорает на Джуху-бич, у отеля «Сан-энд-Сэнд», среди кинозвезд и лишенных гражданских прав принцесс. Спрашивается: зачем индийцу загорать? Но, похоже, это теперь вполне нормально, международные правила поведения плейбоя следует выполнять в точности, а они, кажется, включают и такое непременное условие, как ежедневное поклонение солнцу.

Как же я наивен (а я-то думал, что Сонни, со следами от акушерских щипцов, был настоящим простаком!) – ведь я и не подозревал, что существуют такие места, как Клуб Полуночных Дерзаний! Но, конечно же, они есть, и мы, все трое, вместе с флейтами и корзинами, где шипели змеи, постучались в дверь.

За небольшим отверстием на уровне глаз, забранным железной решеткой, наметилось какое-то движение: низкий, медоточивый женский голос попросил нас изложить, по какому делу мы явились. Картинка-Сингх возгласил: «Я – Самый Прельстительный В Мире. У вас в кабаре выступает другой заклинатель змей; я хочу вызвать его на поединок и доказать свое превосходство. За это я не прошу никакой платы. Это, капитанка, вопрос чести».

Дело было вечером; господин Ананд (Энди) Шрофф находился, к счастью, на месте. Короче говоря, вызов Картинки-Сингха был принят, и мы вошли в заведение, название которого уже выводило меня из равновесия, ибо содержало в себе слово «полуночный». «Клуб» напомнил мне киношный «Метро Каб», а в начальных буквах таился мой собственный тайный мир: К.П.Д., Конференция Полуночных Детей; теперь же все это присвоил себе тайный ночной притон. Одним словом, я чувствовал, что меня обокрали.

Двоякая проблема стояла перед утонченной, космополитической молодежью города: каким образом употреблять алкоголь в штате, где действует сухой закон, и как ухаживать за девушками в лучших западных традициях, то есть, чтобы всем чертям стало тошно, и при этом сохранять полную секретность, чисто по-восточному стыдясь публичного скандала? «Полуночные Дерзания» оказались тем решением, какое господин Шрофф предложил золотой молодежи города. В этом подполье, где дозволялось все, он создал мир стигийской тьмы, черный, как сама преисподняя; парочки встречались в тайне этой полуночной мглы, пили импортное спиртное и флиртовали; окутанные искусственной, разъединяющей людей ночью, они безвозбранно пускались во все тяжкие. Ад – не более чем чья-то чужая фантазия: всякая сага требует, чтобы герой хотя бы раз спустился в Джаханнам[415], и я последовал за Картинкой-Сингхом в Клуб с маленьким сыном на руках.

Нас вели вниз по пушистому черному ковру – черному, как полночь, как ложь, как вороново крыло, как Черный Ангел, как «ай-о, черный ты человек!» – короче говоря, по темной ковровой дорожке вела нас девушка из обслуживающего персонала, неотразимо сексуальная, в сари, эротически приспущенном на бедрах, с цветком жасмина, воткнутым в пупок; но когда мы стали спускаться в темноту, она повернулась к нам с ободряющей улыбкой, и я заметил, что глаза у нее закрыты, а зрачки и радужная оболочка неземного блеска нарисованы прямо на веках. Я не мог не спросить, почему… И она ответила просто: «Я слепая; к тому же те, кто приходят сюда, не хотят, чтобы их видели. Это – мир без лиц, без имен; здесь у людей нет памяти, нет семьи, нет прошлого; сюда приходят ради *настоящего,* ради одного-единственного настоящего мгновения».

И тьма поглотила нас; девушка вела нас по дну этой порожденной кошмарами ямы, где свет заковали в цепи и в кандалы, где невластно время, где история обесценивается… «Сидите здесь, – приказала она. – Другой человек со змеями скоро придет. Когда на вас направят прожектор, начинайте соревнование».

И мы сидели там много – чего? – минут, часов, недель? – и в темноте сверкали глаза слепых женщин, провожавших невидимых гостей к их местам; и мало-помалу, в кромешной тьме, я стал ощущать, что меня окружают нежные любовные шепотки, похожие на совокупление мышек с бархатной шерсткой; я слышал звон бокалов, и сплетение рук, и

415

мягкий шорох, с каким трутся друг о друга уста; здоровым и тугим ухом я различал беззаконные звуки секса, наполнявшие воздух полуночи… но нет, я не желал знать, что там происходит; и хотя мой нос был способен учуять в шепчущей тишине Клуба сколько угодно новых историй и начал, экзотических и непотребных любовных интриг, мелких невидимых помех и любовников-которые-зашли-слишком-далеко, то есть всяческой клубнички, – я предпочел ничего не замечать, ибо то был новый мир, в котором мне не было места. А мой сын Адам сидел рядом, точно завороженный, и уши у него горели, а глаза блестели в темноте; он слушал, запоминал, усваивал… и вот зажегся свет.

Луч единственного прожектора высветил небольшую площадку на полу Клуба Полуночных Дерзаний. Из сумрака за пределами озаренного светом пространства мы с Адамом увидели Картинку-Сингха: он сидел, скрестив ноги, а рядом с ним – красивый парень с набриолиненными волосами; вокруг обоих лежали музыкальные инструменты и стояли закрытые корзины, принадлежности их искусства. По трансляции объявили о начале легендарного состязания за титул Самого Прельстительного В Мире; но слушал ли кто? Обратил ли кто внимание, или у всех были слишком заняты губы-языки-руки? А противника Картинки-джи звали вот как: махараджа Куч Нахин.

(Не знаю, не знаю: присвоить титул легко. Ну а вдруг, а вдруг он и вправду был внуком той старой рани, которая когда-то, давным-давно, дружила с доктором Азизом; вдруг наследник той-что-поддерживала-Колибри, столкнулся, по иронии судьбы, с человеком, который мог бы стать вторым Мианом Абдуллой! Это не исключено; многие махараджи обеднели с тех пор, как Вдова перестала выплачивать им содержание).

Как долго тягались они в той не знающей солнца пещере? Месяцы, годы, века? Не могу сказать: я смотрел, завороженный, как старались они превзойти друг друга, заклиная змей всех видов, какие только можно вообразить; посылая за редкими экземплярами в Бомбейский змеиный питомник (где когда-то доктор Шапстекер…); и махараджа не уступал Картинке-Сингху, шел след в след, змея за змеей, заклиная даже удавов, что до тех пор удавалось только Картинке-джи. В этом адском Клубе, темнота которого лишний раз подтверждала, что владелец его помешан на черном цвете (не зря же он ежедневно загорал – дочерна, дочерна – у отеля «Сан энд Сэнд»), два виртуоза подвигали змей на невиданные свершения, заставляли их завязываться узлами, изгибаться луками, пить воду из бокалов, прыгать через обручи, охваченные пламенем… Презрев усталость, голод и годы, Картинка-Сингх давал величайшее представление своей жизни (но смотрел ли кто-нибудь? Хотя бы кто-нибудь?) – и наконец стало ясно, что молодой сдает первым; его змеи, танцуя, не попадали в такт флейте; и тут ловким движением руки, до того мимолетным, что я и не уловил, как это случилось, Картинка-Сингх набросил королевскую кобру на шею махараджи.

И вот что сказал Картинка: «Признайся, капитан, что победа за мной, иначе велю, чтобы она укусила».

То был конец состязания. Униженный принц оставил Клуб, позже сообщили, что он застрелился в такси. А на поле своей последней великой битвы Картинка-Сингх пал, как подрубленный баньян… слепые девушки (одной из которых я поручил Адама) помогли мне унести его прочь.

Но «Полуночные Дерзания» приберегли для меня кое-что еще. Единожды за ночь – просто чтобы придать развлечениям побольше остроты – блуждающий луч прожектора выхватывал из тьмы одну из беззаконных парочек и выставлял ее на обозрение всех прочих гостей: попадание в луч русской рулетки, несомненно, щекотало нервы молодым космополитам города… и на кого же пал жребий в эту ночь? Кто, с рожками на лбу, рябой от родимых пятен, нос-огурцом, оказался залит этим скандальным светом? Кто, ослепший, как и его помощницы, от подглядевшего постыдную тайну электрического луча, едва не выпустил ноги своего потерявшего сознание товарища?

Вернувшись в родной город, Салем стоял, ярко освещенный, в центре подвала, а бомбейцы хихикали над ним из темноты.

Быстро-быстро, ибо мы уже подошли к концу событий, я сообщаю, что в задней комнате, где разрешалось включать свет, Картинка-Сингх пришел в себя после обморока; и пока Адам крепко спал, одна из слепых официанток принесла нам праздничный, придающий силы ужин. На деревянном блюде, знаменующем победу: самосы, пакоры, рис, дал, пури – и зеленое чатни. Да, маленькая алюминиевая мисочка чатни, зеленого, Боже мой, зеленого, как кузнечики… Недолго думая, я схватил пури, а сверху положил чатни, а потом откусил кусочек – и едва не лишился чувств, подобно Картинке-Сингху, ибо вернулся в тот день, когда вышел девятипалым из больницы и отправился в изгнание, в дом Ханифа Азиза, где меня угостили лучшим в мире чатни… вкус этого чатни был не просто отголоском того давнего вкуса – это он и был, тот прежний вкус, тот же самый, способный вернуть прошлое, будто бы оно никуда и не уходило… Охваченный радостным возбуждением, я схватил слепую официантку за руку и выпалил, не в силах сдержать свой порыв: «Это чатни! Кто готовил его?» Я, наверное, закричал во весь голос, потому что Картинка-Сингх одернул меня: «Тише, капитан, разбудишь ребенка… да и в чем дело-то? Вид у тебя такой, будто тебе явился призрак злейшего врага!» А слепая официантка добавила с некоторым холодком: «Вам что, не нравится?» Я вынужден был обуздать рвущийся наружу вопль. «Нравится, – произнес я, замкнув свой голос в железную клетку, – *нравится,* только скажите мне: откуда вы его взяли?» И она, встревоженная, желая как можно скорее уйти: «Это „Маринады Браганца“, лучшая фабрика в Бомбее, ее всякий знает».

Я попросил ее принести банку; и там, на этикетке, был обозначен адрес: координаты здания с мигающей, шафраново-зеленой богиней над воротами фабрики, на которую взирает неоновая Мумбадеви, мимо которой проносятся, желтея-коричневея, пригородные электрички – «Маринады Браганца (Прайвет) Лимитед», на разросшейся северной окраине города.

Снова абракадабра, снова сезам-откройся: адрес, напечатанный на банке с чатни, открыл мне последнюю дверь в моей жизни… я преисполнился непреклонной решимости выследить того, кто изготовил это невероятное, возрождающее память чатни, и сказал: «Картинка-джи, мне надо идти…»

Я не знаю, чем закончилась история Картинки-Сингха; он отказался сопровождать меня в моих поисках, и по глазам его я увидел, что от усилий, затраченных в этой последней схватке, что-то в нем надломилось, что победа его была, в сущности, поражением; но остался ли он в Бомбее (может быть, работать на господина Шроффа) или вернулся к своей прачке, жив ли он еще или нет, я сказать не могу… «Как же я оставлю тебя?» – вскричал я в отчаянии, но он ответил: «Не дури, капитан: если ты должен что-то сделать, иди и делай. Иди, иди, что мне до тебя? Говорила же тебе старуха Решам: уходи быстрее, уходи-уходи!»

Я забрал Адама и ушел.

Конец пути: выбравшись из нижнего мира слепых официанток, я пошел пешком на север-на север-на север, неся сына на руках; и пришел наконец туда, где ящерицы заглатывают мух, и пузырятся котлы, и женщины с могучими руками перебрасываются непристойными шуточками; в мир надзирательниц с губами, вытянутыми в ниточку, и конусами грудей; вездесущего звяканья банок, что доносится из упаковочного цеха… и кто, когда я добрался до цели, вырос передо мной, уперев руки в бока, с волосками на предплечьях, блестящими от пота? Кто, как всегда, прямо и без околичностей, спросил: «Вам, господин, чего надо?»

– Я! – вопит Падма, которую это воспоминание взволновало и немного смутило. – Конечно: кто же еще? Я-я-я!

– Добрый день, Бегам, – проговорил я. (Падма вставляет свое слово: «О да, ты – всегда вежливый, и все такое!» – Добрый день, могу я поговорить с управляющей?

О хмурая, стоящая на страже, непреклонная Падма!

– Нет, нельзя; управляющая бегам занята. Нужно, чтобы вам назначили, тогда и приходите, а сейчас, пожалуйста, идите прочь.

Послушайте: я бы не ушел, я бы стал уговаривать, возмущаться, даже, может быть, схватился бы с Падмой врукопашную; но тут с железного мостика раздается крик – с того мостика, Падма, что ведет из конторы! – и с этого мостика кто-то, кого я до сих пор не хотел называть, смотрит на улицу, поверх гигантских котлов с маринадами и кипящими чатни – кто-то стремглав спускается, грохоча по железным ступенькам, крича во весь голос:

– О Боже мой, Боже мой, о, Иисусе, сладчайший Иисусе: баба?, сыночек, вы только посмотрите, кто пришел, арре баба, разве ты меня не узнаешь, смотри, как ты исхудал, иди же, иди сюда, дай я тебя поцелую, дай накормлю тебя пирожным!

Как я и предполагал, управляющая бегам «Маринадов Браганца (Прайвет) Лимитейтед», хоть она и называла себя госпожой Браганца, была не кто иная, как моя прежняя няня, преступница той далекой полуночи, мисс Мари Перейра, единственная мать, которая осталась у меня в этом мире.

Полночь, или около того. Человек, несущий сложенный (и совершенно целый) черный зонт, идет к моему окну от железнодорожных путей, останавливается, приседает на корточки, срет. Потом видит мой освещенный силуэт и, вместо того чтобы оскорбиться тем, что я подглядываю, окликает: «Смотри! – и продолжает исторгать из себя самую длинную какашку из всех виденных мною. – Пятнадцать дюймов! – возглашает он. – А у тебя какой длины получаются?» В другое время, когда я был более энергичным, я бы непременно выпытал историю его жизни; этот час, этот зонт у него в руках оказались бы тем сцеплением, какового было бы достаточно, чтобы вплести его в мою историю, и, без сомнения, я в конце концов доказал бы, насколько необходим этот человек любому, кто хотел бы понять мою жизнь и нашу смутную годину; но нынче я развинчен, обесточен, и мне осталось написать только эпитафии. И я машу рукой сруну-чемпиону, отвечаю ему: «Семь дюймов в удачный день», – и забываю о нем.

Завтра. Или послезавтра. Трещины подождут до пятнадцатого августа. Все-таки остается немного времени: завтра я закончу.

Сегодня я взял выходной и навестил Мари. Долго ехал в душном, пропыленном автобусе по улицам, на которых уже вскипает возбуждение близящегося Дня Независимости, хоть я и чую другие, более тусклые запахи: разочарование, коррупция, цинизм… миф о свободе, которому вот-вот стукнет тридцать один, уже не тот, что прежде. Нужны новые мифы; но это уже не мое дело.

Мари Перейра, ныне называющая себя госпожою Браганца, живет со своей сестрой Алис, ныне госпожой Фернандес, в одной из квартир розового обелиска женщин Нарликара, на двухэтажном холме, где когда-то, в давно снесенном дворце, она, прислуга, спала на коврике. Ее спальня включает в себя примерно тот же куб воздуха, в котором когда-то указующий перст рыбака приковывал к горизонту пару мальчишеских глаз; в тиковом кресле-качалке Мари баюкает моего сына, напевая «Красные паруса на закате». Красные паруса лодчонок-дау разворачиваются на фоне далеких небес.

Довольно приятный день, когда оживает былое. В тот день я обнаружил, что старый кактусовый сад пережил революцию женщин Нарликара, и, одолжив лопату у мали, садовника, выкопал давно погребенный мир: жестяной глобус с его содержимым – пожелтевшим, изъеденным муравьями широкоформатным снимком младенца, изготовленным Калидасом Гуптой, и письмом премьер-министра. День движется дальше: в десятый раз обсуждаем мы перемену в жизни Мари Перейры. Как она, Мари, всем обязана дорогой Алис. Чей муж, бедный господин Фернандес, умер от дальтонизма – ехал себе на своем стареньком «форде-префекте» и спутал цвета на одном из немногих в ту пору городских светофоров. Как Алис навестила ее в Гоа и сообщила новость: ее работодательницы, устрашающе предприимчивые женщины Нарликара, решили вложить часть вырученных от тетраподов денег в консервную фабрику. «И я сказала им: никто не готовит ачар-чатни так, как наша Мари, – поведала Алис, выказав недюжинную

проницательность, – потому что она в них вкладывает всю душу». Все-таки Алис – хорошая девочка. И представь себе, баба?, просто поверить трудно, всем-всем нравятся мои бедные маринады, их даже в Англии едят. А теперь, подумать только, я сижу там, где раньше стоял твой милый-милый дом, а ты тем временем Бог знает где, Бог знает как столько лет жил как нищий, что за мир, бапу-ре!»

И сетования, полные горькой услады: «Ох, бедные твои мама-папа! Госпожа, такая прекрасная, умерла! А тот бедолага, который не мог распознать, когда его любят, да и сам не знал, как любить! И даже Мартышка…» Но тут я вмешиваюсь: нет, не умерла; нет, неправда, не умерла. Тайно, в монастыре, ест хлеб.

Мари, присвоившая фамилию бедной королевы Екатерины, которая отдала эти острова британцам, посвятила меня в секреты приготовления маринадов. (Тем самым завершив процесс, который начался в том же самом воздушном пространстве, когда я приходил на кухню и смотрел, как она вкладывает свою вину в зеленое чатни). Теперь она сидит дома; поседевшая, постаревшая, она отошла от дел и снова счастлива – есть кого нянчить, кого растить. «Теперь, когда ты закончил писать-переписывать, баба?, у тебя будет больше времени, чтобы заняться сыном». – «Но, Мари, я ведь писал для него». – И тут она резко меняет тему, потому что в последние дни мысли ее, как блохи, перескакивают с предмета на предмет: «О баба?, баба?, посмотри на себя, как ты уже состарился!»

Богачка Мари, которой никогда и во сне не снилось, что она разбогатеет, до сих пор не привыкла спать в кровати. Зато выпивает по шестнадцать бутылок кока-колы в день, ничуть не жалея свои зубы, которые все равно уже повыпали. И снова скачок: «С чего это ты решил жениться – вдруг-внезапно, ни с того ни с сего?» – «Потому что Падма так хочет. Нет, с ней нет никакой беды, как бы она могла случиться, в моем-то состоянии?» – «Ладно-ладно, баба?, я ведь только спросила».

И день, как клубок, размотался бы мирно, сумеречный день, близкий к концу времен, да только вдруг, наконец, в возрасте трех лет одного месяца и двух недель, Адам Синай издает звук.

– Аб…

– Арре, Боже мой, послушай, баба, мальчик что-то говорит! И Адам продолжает старательно:

– Абба…

– Отец. Он зовет меня отцом. Но нет, он еще не кончил, личико напряжено; и вот мой сын, который должен быть магом, чтобы совладать с миром, завещанным ему мной, завершает свое первое, внушающее трепет слово:

– …кадабба.

Абракадабра! Но ничего особенного не происходит, мы не превращаемся в жаб, ангелы не влетают в окно: мальчонка всего лишь разминает мышцы. Я не увижу его чудес… Пока Мари ликует по поводу достижений Адама, я возвращаюсь к Падме, на фабрику; первое вторжение моего сына в сферу языка оставило у меня в ноздрях некий тревожащий аромат.

Абракадабра – вообще не индийское слово, кабаллистическая формула, происходящая от имени верховного бога василидианских гностиков: она содержит число 365, означающее количество дней в году, и небес, и духов-эманаций бога Абраксаса[416]. «Кем, – уже не в первый раз задаюсь я вопросом, – воображает себя этот мальчишка?»

Мои особые рецепты: я их коплю. В чем состоит символический смысл маринада: все шестьсот миллионов яйцеклеток, давших жизнь населению Индии, можно поместить в одну-единственную, стандартного размера, банку, а шестьсот миллионов сперматозоидов зачерпнуть одной-единственной ложкой. Каждая банка консервов (вы должны простить мне некоторую временную цветистость слога) чревата, следовательно, самой возвышенной из возможностей – допустимостью того, что историю можно чатнифицировать; великой

416

надеждой на то, что время можно поместить в маринад! Я-то ведь замариновал мои главы. Сегодня ночью, крепко закрутив крышку на банке с этикеткой *Специальная формула № 30: «Абракадабра»,* я добрался до конца моей пространной, многоречивой автобиографии; в словах и в маринадах я увековечил мои воспоминания, хотя и при том, и при другом методе искажений не избежать. Мы, боюсь, вынуждены жить в тени несовершенства.

В последнее время я управляю фабрикой вместо Мари. Алис – «госпожа Фернандес» – ведет бухгалтерию; на меня возложена творческая сторона нашей работы. (Я, конечно же, простил Мари ее преступление; я нуждаюсь в матерях, как и в отцах, а мать выше любой хулы). Среди исключительно женской рабочей силы «Маринадов Браганца», под шафраново-зелеными бликами неоновой Мумбадеви, я выбираю манго-помидоры-лаймы из корзин, которые с рассветом приносят на головах деревенские бабы. Мари, по-прежнему исполненная ненависти к «мущщинам», не впускает ни единого самца в свой новый, уютный мирок… за исключением меня, и, конечно, моего сына. Подозреваю, что Алис все еще заводит какие-то мелкие интрижки; и Падма положила на меня глаз чуть не с первого дня, дабы реализовать свою долго подавляемую потребность заботиться о ком-то; не могу ничего сказать об остальных, однако устрашающая расторопность женщин Нарликара отражается на блестящем полу этой фабрики, в мускульной силе и прилежании тех теток, что помешивают маринады в котлах.

Что потребно для чатнификации, для приготовления чатни? Сырье, разумеется: фрукты, овощи, рыба, уксус, специи. Ежедневно являются к нам рыбачки коли, чьи сари продернуты между ног. Огурцы-баклажаны-мята. Но еще: глаза, голубые, как лед, чей взгляд не обманет льстивая, гладкая поверхность фруктов, которые различают гниль под лимонной кожурой; пальцы, которые при легчайшем, как перышко, прикосновении проницают потаенные, непостоянные сердца зеленых помидоров; а более всего – нос, способный разбирать невнятные языки того-что-следует-положить-в-маринад, настроения, послания, чувства… на фабрике «Маринады Браганца» я слежу за претворением в жизнь легендарных рецептов Мари; но и у меня есть свои секреты – благодаря особым качествам моих подвергнутых дренажу носовых проходов я обладаю способностью добавлять в маринады воспоминания, мечты и мысли, тиражировать их целыми партиями, так что любой, кто попробует мою продукцию, узнает, что наделали перечницы в Пакистане, или каково это – быть в самом сердце Сундарбана… хотите верьте, хотите нет, но это правда. Тридцать банок стоят на полке и ждут, когда их напустят на страдающую амнезией нацию.

(Рядом с ними стоит еще одна банка, пустая).

Процесс пересмотра длится постоянно и не имеет конца: не думайте, будто я доволен тем, что сотворил! Что доставляет мне огорчение? Слишком резкий вкус маринадов в тех банках, где содержатся воспоминания о моем отце, некоторая двусмысленность любовной отдушки в «Джамиле-Певунье» (Специальная формула № 22), из-за которой лишенный проницательности человек может заключить, что всю историю о детях-подменышах я придумал только затем, чтобы оправдать свою кровосмесительную страсть; легкий привкус неправдоподобия в банке с этикеткой «Происшествие в бельевой корзине» – маринад пробуждает желание задать вопросы, на которые исчерпывающего ответа нет, например: почему Салему потребовался толчок, чтобы обрести волшебную силу? Большинство детей обошлось без… И еще, в «Индийском радио» и других – диссонирующая нота в выверенной партитуре приправ: могло ли признание Мари стать таким шоком для настоящего телепата? Иногда в замаринованном варианте истории Салем знает слишком мало, а порой – слишком много… да, следовало бы все это пересмотреть и исправить, но не остается ни времени, ни сил. Придется упрямо стоять на своем, прибегнуть к решительному утверждению: все было так, как было, потому что оно было так.

Нужно еще поговорить о специях, лежащих в основе состава. Сложные сочетания куркумы и тмина, тонкость шамбалы, когда большие (а когда малые) дозы кардамона;

мириады возможных эффектов от чеснока, тарам масалы[417], плиточной корицы, кориандра, имбиря… не говоря уже о том, что добавление от случая к случаю щепотки грязи придает смеси богатый аромат. (Салем больше не помешан на чистоте). Когда речь заходит о специях, приходится мириться с неизбежными искажениями, которые возникают в процессе маринования. Мариновать – значит наделять бессмертием, в конечном итоге: рыба, овощи, фрукты плавают забальзамированные в уксусе-и-специях; некоторое смещение, незначительное подчеркивание изначального вкуса – это ведь неважно, правда? Искусство в том и состоит, чтобы изменить интенсивность, степень вкусового ощущения, а не его род; главное (как в моих тридцати банках и еще одной) придать ему очертания, форму – то есть смысл. (Я уже говорил вам, насколько меня страшит бессмыслица).

Возможно, когда-нибудь мир отведает моих маринованных историй. Кому-то они покажутся слишком острыми, с чересчур сильным запахом, от которого слезы выступают на глазах; и все же, надеюсь, можно будет сказать, что они сохранили подлинный вкус правды… ведь они, несмотря ни на что, были порождены любовью.

Последняя пустая банка… какой будет конец? Счастливый – Мари в тиковом кресле-качалке и сынишка, заговоривший наконец? Перебирающий другие рецепты – все тридцать банок с названиями глав на этикетках? Меланхолический – погрузиться в память о Джамиле, и Парвати, и даже об Эви Бернс? Или снова приплести сюда волшебных детей… но должен ли я радоваться тому, что некоторые ускользнули, или же закончить трагическими, разлагающими последствиями дренажа? (Ибо именно дренаж явился причиной трещин: мое несчастное, стертое в порошок тело, дренированное сверху и снизу, растрескалось потому, что из него выкачали влагу. Иссушенное, битое-перебитое жизнью, оно сдалось, наконец. И теперь – крик-крэк-крак, и вонь, исходящая из расщелин: похоже, это запах смерти. Не распускаться: я должен владеть собой как можно дольше).

Или закончить вопросами: например, если я – а это чистая правда, готов поклясться, – вижу трещины на тыльной стороне ладоней, на лбу, между пальцами ног, то почему из них не идет кровь? Или я весь уже выжат-высушен-замаринован? Или я уже превратился в мумию самого себя?

Или снами: ведь прошлой ночью призрак Достопочтенной Матушки явился мне, взирая вниз сквозь дыру в прорезанном облаке, дожидаясь моей смерти, чтобы на сорок дней разразиться муссонными слезами… а я, воспарив над собственным телом, кинул взгляд на свой искаженный, укороченный образ, и увидел седоволосого карлика, того самого, который когда-то посмотрелся в зеркало и испытал облегчение.

Нет, так не пойдет, раз уж я описал прошлое, то должен описать будущее, установить его с абсолютной уверенностью пророка. Но будущее не закатаешь в банку; одна так и останется пустой… Вот что не попадет в маринад, поскольку еще не произошло: я доживу до своего дня рождения, тридцать первого по счету, и, несомненно, будет свадьба, и Падме нарисуют хной узоры на ладонях и подошвах ног, и нарекут ее новым именем, возможно, назовут ее Назим в честь подглядывающего призрака Достопочтенной Матушки, и за окном будут фейерверки и толпы, ведь настанет День независимости, и многоголовые чудища выйдут на улицы, и Кашмир будет ждать нас. У меня в кармане будут билеты на поезд, и придет такси; шофер – деревенский парнишка, когда-то мечтавший в кафе «Пионер» о карьере кинозвезды; мы поедем на юг-на юг-на юг, в самое сердце мятущихся толп, где люди брызгают краской друг в друга, и в закрытые окошки такси, словно уже наступил Холи, праздник красок[418]; а на Хорнби Веллард, где оставили подыхать несчастную псину, такая толпа, густейшая толпа, толпа без пределов, прирастающая, заполоняющая мир, и проехать невозможно, и мы покинем такси вместе с мечтами шофера, пойдем пешком в толчее, и,

417
418

конечно, меня разлучат с Падмой, мой лотос навозный станет тянуть ко мне руки из этой пучины, пока не утонет в толпе, и вот я один среди бесконечных чисел; числа проходят маршем, один-два-три, меня толкают то вправо, то влево, и тут «крик-крэк-крак» доходит до высшей точки, и тело мое вопиет, ему не вынести больше подобного обращения, но вот я вижу в толпе знакомые лица, все здесь собрались, мой дед Адам и его супруга Назим, и Алия, и Мустафа, и Ханиф, и Эмералд, и Амина, чье первое имя – Мумтаз, и Надир, ставший Касимом, и Пия, и Зафар, который мочился в постель, и даже генерал Зульфикар; все теснятся вокруг меня, толкают, давят и мнут, и трещины становятся шире, плоть отваливается кусками; вот и Джамиля оставила монастырь, чтобы присутствовать при этом последнем акте; ночь опускается, опустилась, ведется обратный отсчет времени к полуночи; фейерверки и звезды, фанерные силуэты борцов, и я понимаю – не бывать мне в Кашмире; как Джихангир, властелин из Моголов, я умираю со словом «Кашмир» на устах, мне не увидеть долины земных наслаждений, куда приходят, чтобы радоваться жизни или чтобы расстаться с ней, или за тем и за другим вместе; потому что я вижу и другие фигуры в толпе: устрашающий облик героя войны с несущими смерть коленками – он узнал, что я обманул его, отнял право рождения, он проталкивается ко мне сквозь толпу, теперь состоящую сплошь из знакомых лиц; вот Рашид, юный рикша, рука об руку с рани Куч Нахин, и Аюба-Шахид-Фарук с Мутасимом Прекрасным, а с другой стороны, с той, где на острове гробница Хаджи Али, вырастает видение из мифа – Черный Ангел, – но стоит ему приблизиться, как лицо его зелено, глаза черны; его глаза – глаза Вдов; Шива и Ангел близятся, близятся, я слышу лживые речи в ночи, кем ты захочешь, тем ты и станешь, самая великая ложь, теперь я трескаюсь, распад Салема, я – бомба в Бомбее, смотрите, как я взрываюсь, кости дробятся, ломаются под жутким напором толпы, мешок костей падает вниз-вниз-вниз, как когда-то в Джалланвале, но Дайера вроде бы нету, нет и меркурий-хрома, только сломленный человек распадается на куски, ибо жило во мне так много, слишком много людей; жизнь – не синтаксис, она допускает больше трех членов, и наконец где-то бьют часы, двенадцать ударов, свобода.

Да, они растопчут меня, числа пройдут, раз-два-три, четыреста миллионов пятьсот шесть, разотрут меня в частицы безгласной пыли, а после, в свое время, растопчут и моего сына, который мне не сын, и его сына, который не будет сыном ему, и сына его сына, который тоже не будет сыном, и так до тысяча первого колена, покуда тысяча и одна полночь не поднесет чудовищные дары и не умрет тысяча и одно дитя, ибо преимущество и проклятие детей полуночи – быть владыками и жертвами своих времен, оставить свой маленький мир, быть поглощенными гибельным водоворотом толп, жить в раздорах и умереть в непокое.